

К Л А С С И К А   З Е М Л И   К У З Н Е Ц К О Й

ИЗБРАННАЯ  
ПРОЗА КУЗБАССА

ТОМ II  
Книга первая

К Е М Е Р О В О  
2021

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
К 47

Руководитель проекта Б. В. Бурмистров

Редколлегия:

Б. В. Бурмистров, С. А. Донбай, Г. И. Карпова (общая редакция), Д. В. Мурзин,  
А. В. Правда, Т. А. Горохова, В. И. Лаврушкина, Е. И. Тюшина, И. А. Фролова

Составители:

Б. В. Бурмистров, Г. И. Карпова, Т. А. Горохова

Авторы литературно-критических статей и биографий:

В. С. Арнаутов, И. В. Ащеулова, С. А. Баруздин, Н. Н. Богданова,  
М. В. Войцеховская, Н. А. Герасимова, О. С. Голуб, Е. М. Зыкова,  
Г. И. Карпова, Т. Н. Киреева, Г. В. Косточаков, В. Я. Курбатов, Т. М. Потеряева,  
Н. М. Сергованцев, Л. П. Смокотина, Ю. С. Тотыш, Е. И. Тюшина, Е. В. Чазова

Иллюстрации О. Г. Чибисовой

К 47 Классика земли Кузнецкой: в 3 томах. Т. 2. Избранная проза Кузбасса, кн. 1 / [руководитель проекта: Б. В. Бурмистров ; редколлегия: С. А. Донбай, Д. В. Мурзин, А. В. Правда и др. ; составители: Б. В. Бурмистров, Г. И. Карпова, Т. А. Горохова]. – Кемерово : ГАУК «Кузбасский центр искусств», 2021. – 616 с. : ил. – ISBN 978-5-6045440-5-1. – Текст : непосредственный.

В первой книге второго тома 3-томного собрания поэзии и прозы кузбасских авторов представлены настоящие шедевры прозы. Книга предлагает читателю не только интересные и знаковые произведения, в которых в художественной форме запечатлена история Кузбасса и судьбы его жителей, но и уточненные биографии 12 прозаиков, развернутые статьи об их творчестве и о публикациях разных лет. Издание предназначено как для широкого круга читателей, так и для историков и литературоведов.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
ISBN 978-5-6045440-4-4  
ISBN 978-5-6045440-5-1 (Т. 2 кн. 1)  
© ГАУК «Кузбасский центр искусств», 2021

## ПРОДОЛЖАЮТ СВЕТИТЬ

Заголовком к этому предисловию я не случайно взял слова из названия книги писателя-фронтовика Владимира Ворошилова, потерявшего зрение на той Великой Отечественной... «Солнце продолжает светить». Свет и тепло на земле творятся и по воле Всевышнего, зажегшего для нас Солнце, и по воле людей, живущих на этой благодатной Земле...

Свет – это не только внешнее содержание, но и свет души, который с рождения оберегает нас от тьмы. Чем больше света там, в глубине души, тем больше понятен и виден наш земной путь.

Слава Богу, я видел свет,  
Слава Богу, я в свет окунулся.

Каждый ли видит, ощущает этот Божественный свет внутри себя? Ведь сохранение этого света и есть наша Память, потому как во тьме ничего не различишь. Язык народа – яркий, сочный, колоритный – несет в себе радужные оттенки всего живого мира. В одной из критических статей «Литературной газеты» я прочитал: «Русская литература состоит из страдания: страдает или персонаж, или автор, или читатель. А если все трое сразу – это шедевр».

В книге, которую ты держишь в руках, дорогой читатель, я уверен, литературные шедевры есть... Чтобы творения наших выдающихся мастеров слова стали достоянием нового молодого поколения, и была задумана серия «Классика земли Кузнецкой». В 2020 году вышел первый том «Золотой запас поэзии Кузбасса». В 2021 году, в преддверии празднования 300-летия Кузбасса, издается второй том избранной прозы.

Мы постарались отобрать те произведения, в которых наиболее ярко отражена жизнь нашего края, жизнь наших земляков. Чего только стоят «Рассказы сибирячки» Владимира Мазаева! Образ сибирячки Марии, пережившей с тремя детьми тяжелые годы войны. Великая боль, страдание и вера в лучшее в этих произведениях не только о жизни одной семьи, но и всего народа. В этом ряду и роман «Последний солдат Валуевки», и повесть «Житие солдата» Анатолия Яброва.

Военная тема представлена разнопланово: служба летчиков – у Владимира Ворошилова, молодых военных водолазов – у Анатолия Соболева, саперов – у Александра Волошина, разведчиков – у Михаила Прудникова и Виля Рудина, способность оказывать сопротивление фашистам, будучи военнопленным в концлагере, – у Владимира Власова. Первые романы и повести на кузбасском материале создавали писатели-фронтовики.

Шахтерский труд и яркие образы горняков – в романной дилогии Александра Волошина «Земля Кузнецкая» и «Всё про Наташку», романах Анатолия Яброва, рассказах Виктора Чугунова, Владимира Конькова. О послевоенном труде и быте жителей Новокузнецка (тогда – Сталинска) талантливо и с любовью рассказал в книге «Душа народа. Слово о родном городе» Геннадий Емельянов.

Интересна и правдива историческая проза Виталия Рехлова, Александра Голунчикова, Софрона Тотыша. Тема любви к природе родного края и ее защите отражена у писателя-натуралиста Ильи Зыкова, в прозе Владимира Чивилихина (повесть «Елки-моталки»), рассказах Геннадия Естамонова («Дядя Ваня») и, конечно же, в произведениях Владимира Мазаева.

В психологической прозе 1970–1990-х годов писатели Кузбасса обнажили острые нравственные проблемы современной социальной жизни. Бездушное отношение пьющих матерей к детям в рассказе Владимира Мазаева «Без любви прожить можно?», жестокое отношение к животным в повести Сергея Павлова «Собачий угол» и рассказах Екатерины Дубро, равнодушное отношение детей к родителям в рассказах Зинаиды Чигарёвой «Платок для матери» и Любви Скорик «Сюрприз». Серьезный разговор о равнодушии к чужим судьбам в связи с пьянством героев ведут с читателем в рассказах «Разговор по душам» и «Шутник» Владимир Коньков и Виль Рудин.

Образы героев с высокой духовно-нравственной жизненной позицией читатель найдет в рассказах и повестях Владимира Куропатова («Белая рубашка», «По семибалльной системе»). Героев, умеющих любить и жить с любовью к миру, окружающим людям, показали нам

талантливые кузбасские прозаики. Это пожилые женщины из рассказов Анатолия Соболева «Старуха» и Владимира Куропатова «Слепой дождь», молодые женщины, продавщица и маляр из рассказов Анатолия Яброва «Отсвет» и Зинаиды Чигарёвой «Праздник Маши Красильниковой», молодой учитель математики из рассказа Чугунова «Междуреченская новелла», герои рассказа «Рябина у крыльца» Конькова.

Народная речь и народная мудрость ярко представлены в шорских сказках Степана Торбокова, героическом эпосе Софрона Тотыша, в юмористическом цикле миниатюр Владимира Мазаева «Потеснись, завалинка!», прозе Владимира Переводчикова.

В 1966 году на проходившем в Кемерове Зональном семинаре молодых писателей Сибири и Урала было несколько творческих семинаров прозы, которыми руководили Виктор Астафьев, Владимир Чивилихин, Анатолий Иванов, Сергей Антонов, Иван Падерин, Анатолий Соболев. Прекрасные отзывы получили тогда молодые прозаики Виктор Чугунов из Междуреченска и Анатолий Ябров из Новокузнецка.

Сегодня многие пишут и прозу и стихи, но это часто не становится предметом творческих мук, терзаний и потому не является духовной и художественной ценностью. Много негатива много прогибаний перед малокультурным читателем. Пропаганда насилия, пошлости – а ведь литература должна возвышать, поднимать над обыденностью и суетой, давать ясные ориентиры жизни и честного человеческого отношения ко всему существу... Если вам есть что сказать – говорите. Если нет, то лучше помолчать. Иного не должно быть в литературе.

Правда жизни, честный, открытый диалог с читателем, тревога за будущее – вот главные направления в творчестве кузбасских писателей второй половины двадцатого века. В начале века двадцать первого появились новые талантливые прозаики Константин Акатнов, Дмитрий Хоботнев, но ранний уход не дал возможности раскрыться им в полную силу, поведать миру свою правду. Думаю, что их творчество увидит свет в других сборниках, возможно под названием «Они могли еще сказать...».

В создании исследовательских материалов о творчестве талантливых кузбасских прозаиков приняли участие ученые-филологи, кандидаты филологических наук, доценты Ирина Владимировна Ащеулова (*В. Мазаев, В. Чивилихин, З. Чигарёва*), Анатолий Семенович Сазыкин (*А. Ябров*), Геннадий Васильевич Косточаков (*С. Торбоков, С. Тотыш*), Галина Ивановна Карпова (*И. Зыков*), преподаватель литературы Костромского государственного университета Наталья Александровна Герасимова (*А. Волошин*), учитель-краевед Светлана Леонтьевна Старовойтова (*В. Коньков*), заслуженный учитель России Наталья Николаевна Богданова (*В. Чивилихин*), литературный критик Татьяна Александровна Горохова (*Е. Дубро*), зав. научно-исследовательским отделом Новокузнецкого краеведческого музея Ольга Сергеевна Голуб (*Г. Емельянов*), старший научный сотрудник Кемеровского областного краеведческого музея Любовь Пантелеевна Смокотина (*М. Прудников*).

Свой взгляд на творчество собратьев по перу представили писатели, члены Союза писателей России Виктор Степанович Арнаут (*С. Павлов, В. Рехлов*), Екатерина Ивановна Тюшина (*В. Ворошилов, В. Рудин*), Ирина Александровна Фролова, заслуженный учитель России (*А. Скорик*), а также писатели и журналисты, члены Союза журналистов Евгений Стефанович Чириков (*В. Переводчиков, В. Чугунов*), Татьяна Геннадьевна Карманова (*Г. Естамонов*), Елена Владимировна Трофимова (*В. Куропатов*). Не утратила своей актуальности и сегодня книга писателя Николая Михайловича Сергованцева о творчестве В. А. Чивилихина, а также статьи известных писателей и критиков Сергея Алексеевича Баруздина и Валентина Яковлевича Курбатова, посвященные А. П. Соболеву.

Статьи о творчестве и биографические справки о кузбасских прозаиках написали библиотекари-краеведы Вера Ивановна Лаврушкина (*В. Власов*), Елена Викторовна Чазова (*А. Голунчиков*), Татьяна Николаевна Киреева (*А. Соболев, С. Торбоков, А. Ябров*), Татьяна Михайловна Потеряева (*М. Прудников*), Татьяна Николаевна Соколова (*В. Чугунов*).

Большую помощь в составлении обновленных и уточненных биографий оказали ближайшие родственники известных прозаиков Куз-

басса, их вдовы, дети и внуки: Зинаида Ивановна Волошина и Наталья Александровна Герасимова, Светлана Александровна Мазаева и Марина Владимировна Войцеховская, Роза Петровна и Вадим Вильевич Рудины, Елена Владимировна и Ирина Владимировна Чивилихины, Лидия Васильевна Павлова, Елена Геннадьевна Емельянова, Татьяна Геннадьевна Карманова (Естамонова), Елена Владимировна Трофимова (Куропатова), Юрий Софронович Тотыш, Елена Александровна Чигарёва, Елена Михайловна Зыкова.

В книге представлены размышления о творческих судьбах известных кузбасских писателей, о многих из них рассказываются интересные жизненные истории. К примеру, ходят легенды о лауреате Сталинской (Государственной) премии Александре Никитиче Волошине. Вот что вспоминает его жена Зинаида Ивановна Волошина: «Ночью 8 марта 1950 года нас разбудил звонок Алексея Косаря: «Саша, включай скорее радио. Ты получил Сталинскую премию за роман Земля Кузнецкая!» Позже от друзей, которые были вхожи в кремлевские кабинеты, мы узнали, что на комиссии по премиям после зачитанного списка Сталин произнес: «А я слышал, что в Сибири появился писатель-фронтовик и написал хорошую книгу о шахтерах».

Размер главной литературной премии составлял 50 тысяч рублей. Никаких банковских счетов и сберегательных книжек у писателей не было. Деньги просто лежали в ящике письменного стола. И ящик был всегда открыт для тех, кто нуждался в помощи. Особенно Александр Волошин помогал своим пишущим друзьям. Много интересных историй можно вспомнить и о Геннадии Емельянове, и о других писателях военного и послевоенного поколения. Жили наши старшие товарищи открыто, доброжелательно.

Второй том «Избранная проза Кузбасса» из серии «Классика земли Кузнецкой» – это продолжение диалога писателей того времени с современным читателем.

*Борис Бурмистров,  
поэт, лауреат Большой литературной премии России,  
председатель правления Союза писателей Кузбасса*

**Александр Никитич Волошин**

*31 августа 1912 г., Санкт-Петербург – 27 мая 1978 г., Кемерово.*

*Участник Великой Отечественной войны.*

*Прозаик, драматург. Член Союза писателей СССР с 1950 года.*

*Лауреат Сталинской премии (1950).*

## ЗЕМЛЯ КУЗНЕЦКАЯ

(главы из романа)

### Пролог

И разыгралось же сердце у каждого воина, когда эшелон, миновав пограничный рубеж, помчался по родной земле. Сгрудившись у открытых дверей вагонов, солдаты молча глядели на израненные поля. Синий дымок вился за дальним лесом, редкие сизые облака ползли на запад, багровея в лучах заходящего солнца. Каждый вдруг понял, что давно в его жизни не было и таких туч, и такого розового заката, и курявых дымочков за лесом.

Родина! Сколько сынов не вернулось в твои просторы!..

– Заяц! Смотрите, заяц! – кричит сержант Данилов и, сорвав с головы пилотку, показывает на прыгающий по зеленому полю комочек.

Долго в этот вечер не ложились спать. Сперва беседовали под торопливый перестук колес, потом в несколько голосов пели «Из-за острова на стрежень». И про Ермака пели, и про славное море Байкал. Пели, томимые ожиданием скорых встреч.

Дверь не закрывали, и в бледном проеме ее до поздней ночи виднелась небольшая фигурка Степана Данилова. Этот парень с беленьким вихорком, упрямо торчавшим из-под пилотки, отличался удивительной непоседливостью. Но это была не детская непоседливость, а горячее желание поскорее присмотреться к родной земле, надышаться ее ароматами. Маленький, крепко сбитый Данилов очень прямо носил свою русую вихрастую голову. На его узком подвижном лице светились синие пристальные глаза. Стоило поезду остановиться, будь то рано утром или поздно вечером, он прыгал с подножки и сразу куда-нибудь бежал. Зато в вагоне все точно знали фамилию паровозного машиниста (37 лет стажа!), знали, что у этого старика племянница учится в московской театральной школе, а кроме племянницы, никого нет – всех немцы порешили.

Данилов же сообщил, что первая узловая станция после границы будет утром.

А утром он вдруг исчез. Сначала этому не придали значения. Ну, нет и нет человека, едет, значит, в соседнем вагоне или на тормозе. Но к вечеру всем стало не по себе. Аккордеоном заняться было некому, новостей не было.

– Отстал парень-то, – сокрушенно посетовал старый солдат Алексеев.

– Наверняка влюбился, – полушутя сказал Григорий Воцин. – Помните, когда еще из Германии тронулись, он заявил: «Как перееду границу – в первую же русскую девчонку влюблюсь!»

Только через двое суток, уже в Смоленске, Данилов явился в вагон и, ни слова не говоря, завалился на верхние нары. Выспавшись, он не торопясь съел котелок колхозного варенца, вытер губы, отряхнулся и потянул к себе аккордеон. Но после бойкого перебора вдруг остановился и задумчиво пригладил белый непокорный вихор.

– Был в Овражках, – сказал он негромко. – В сорок первом меня там так стукнуло – полгода валялся в госпитале, до пролежней.

– Ну и как? – насторожился Алексеев.

– Что как? До пролежней, говорю, валялся, вот как. Во мне и сейчас железа сколько угодно.

– Я не о том, – поморщился старый солдат. – Чудак человек, нашел чем хвастать. Я спрашиваю, как Овражки?

– Окоп своего отделения нашел... – Данилов растерянно улыбнулся, словно испугавшись, что его уличат в мальчишеском легкомыслии.

Но солдаты выжидающе молчали.

– Там, где первое отделение воевало, картошку посадили, а у самого моего окопа сад разводят... Вот люди! – Данилов помолчал и задумчиво добавил: – Жарко там было, черт!

На лицах демобилизованных появились несмелые улыбки.

– Видишь ты... – удивился Алексеев. – Сад!

Но Данилов уже встряхнулся и широко развел мехи аккордеона.

В Москве эшелон расформировали. Четверо сибиряков-попутчиков и дальше, уже пассажирским поездом, тронулись вместе. Сапер Моисеев, пожилой пехотинец Черкасов и Воцин – кряжистый, широ-

колицьй связист – ехали в Кузбасс, Данилов же был родом из Новосибирска.

Проворный маленький сержант занял верхнюю полку и залег там. Теперь он не бегал, а лежал чуть ли не целыми сутками, хотя духота в вагоне была нестерпимая.

За Уралом распахнулась необъятная сибирская ширь. Зеленые степи с голубыми осколками озер медленными кругами поворачивались за окном вагона.

Солдаты стали заметно молчаливее. Вошин и Черкасов, оба одинаково обстоятельные, только тем и выдавали свое нетерпение, что чаще обыкновенного перекаладывали в солдатских вещевичках скромные гостинцы для домашних. Моисеев же часто изумленно оглядывался и, потирая руки, говорил:

– А ведь кончилось!.. Товарищи! Вот, ей-богу, чудеса!

– Сиди уж! – подал однажды голос Данилов. – Все никак не опомнишься! Наш народ не впервой такие чудеса творит.

– Нет, в самом деле, воевал, воевал...

– А соображаешь туго! – снова поддел Данилов.

Моисеев сердито потянул себя за длинный прокуренный ус, но потом махнул рукой и вполголоса предложил, подмигнув:

– Выпьем?

Впятером скромненько выпили, разложив на газете пайковую селедку, яйца вкрутую и кусочки холодного мяса.

Только что миновали Омск.

Поблескивая синими захмелевшими глазами, Данилов рассказывал, как он познакомился с Вошиным.

– Ты молчи, молчи! – строго прикрикнул он на связиста, когда тот попытался возразить что-то. – Раз было дело, значит должен я рассказать, тем более что уважаю тебя... А было это двадцать девятого апреля. Мы уже в самом центре Берлина дрались. Лейтенанта нашего у Темпельгофа поранило, а капитана Рогова еще на Одере. Я командовал взводом, а во взводе четыре человека, если меня самого считать.

Утром передают приказ: «Вперед!» По улице немцы бьют из крупнокалиберного, да как! Перебежали мы до угла на Кирхенплатц.

Смотрю, у крыльца, посреди извести и кирпичей, двое наших лежат. Убитые. А третий, неизвестный солдат стоит и не хоронится. Пули тренькают, чиркают обо что ни попадя, а этот солдат стоит и плачет, плачет и ругается: «Сволочи, – говорит, – ребят наших загубили. Всю войну бились вместе... Сволочи, засели вон под тем танком и подыхать добром не желают!»

– Будет тебе, – смущенно останавливает Вошин рассказчика и хмурит густые, соломенного цвета брови. – С кем не бывало, сам знаешь...

– Все знаю, ты помолчи! – продолжает Данилов. – Так вот. «Подожди, – говорю я солдату, – размокнешь еще, чего доброго, дай оглядеться...»

Отдышался. В глазах свет прояснился. Небо на востоке чистое, будто его умыли. А на западе туча на тучу громоздится. Над головами гудит – это наши тяжелые идут. Идут эшелонами и, немного не дотянув до своего переднего края, разом ныряют. Посмотришь – даже голова в плечи уходит. Но бомбы точно следуют во вражеский адрес.

Берлин охает, гарью воняет. «Ага, – думаю, – это вам за Сталинград, за Овражки, будьте вы прокляты!» Говорю своим ребятам: «Видите угол, под которым танк завалился? Ну, вот нам хоть землю зубами грызи, а нужно хлопнуть фашистов, которые выстрачивают оттуда». Командую больше для бодрости духа: «Справа по одному!»

А справа у меня только один Колька Грачев – маленький, в чем душа, но въедливый, как клещ. Только крикнул я, как на наши головы столько штукатурки посыпалось – уму непостижимо! Переждали. А чуть утихло – Колька Грачев метнулся на тротуар и за тумбу. По нему и давай щелкать. Парень только головой мотает. Убьют, – думаю, – стервецы. А солдат, который плакал, тянет меня за ногу и просит: «Сержант, а сержант, дай я сам...» – «Поди ты, – говорю, – к черту, плакса! Не мешай серьезным людям воевать».

И вдруг этот плакса вскакивает, как на пружинах, и в окно, – только его и видели. А мой Грачев забрался уже в воронку от бомбы, в аккурат посреди улицы, но из воронки головы показать не может. У нас, у троих, положение не лучше. Так четверть часа прошло, не меньше, – и

вдруг на обломке балкона, прямо над головами немцев, показался солдат, плакал который. Я просто ахнул. Еще какая-то минута – солдат поднимается во весь рост и замахивается.

За танком взрыв, другой!.. Бежим туда. А там уже все аккуратно сработано. Солдат стоит и шатается. «Я, – говорит, – тут им... закончил войну...» – говорит и падает.

Вот и вся история, – усмехнулся Данилов, – хотя не совсем вся, потому что, когда я этого солдата провожал в санбат, произошел один интересный разговор, но об этом как-нибудь потом.

– Правильно, – облегченно вздыхает Воцин.

Несколько секунд они с Даниловым глядят в глаза друг другу, потом разом перемигиваются и уже совсем дружелюбно хохочут.

А где-то уже за Барабинском маленький сержант вдруг поднялся ночью, беспокойно потоптался среди узлов и чемоданов, потом присел рядом с Воциным.

– Ты понимаешь, друг, – заговорил он вполголоса. – Душа раздвигается. Если в Новосибирске остаться, так что я там буду делать? Ни родных, ни друзей. Голову приткнуть негде. Специальность тоже – знаешь, какая, – парикмахер. Не помирюсь теперь с этим.

– Бывает, – сквозь дремоту промямлил Воцин.

– Во-во! – оживился сержант. – А что если мне податься в Кузбасс? Как думаешь?

– В Кузбасс? – Воцин привстал.

– Ну, конечно, вот чудак!

– Отчего же, можно и в Кузбасс... Только ты же не шахтер, не металлург?

Данилов отмахнулся:

– Это неважно! Кто же шахтером родится?

Разговор заметно обеспокоил Воцина. Он минут пятнадцать поворачался с боку на бок, но, так и не заснув, вышел в тамбур.

Звездная широкая ночь неслась за окном все назад, назад... Перелески темными гуртами то подбегали к самому поезду, то стремительно отскакивали прочь. А сквозь грохот колес был отчетливо слышен мил-

лионоголосый стрекот кузнечиков. Казалось, весь мир населен кузнечиками, что-то старательно, почти неистово кующими под каждой былинкой, под каждым листочком.

Надышавшись вволю упругим ветром, Вошин отошел вглубь тамбура. Может, он не прав, обманывая Данилова? Может быть, следовало сделать как-то по-другому? Рассказать ему всю правду?

Вошин вспомнил, как в первую же встречу с Даниловым в Берлине они разговорились по пути в санбат.

– Сибиряки, земляки! – возбужденно говорил Данилов. – Эх, Сибирь, Сибирь... Далеко матушка!

Но Сибирь велика – уточнять стали: откуда? Оказалось, рядом живут – один в Новосибирске, другой в Кузбассе.

– Так ты из Кузбасса? С Березовского рудника? – обрадовался сержант. – Ну, дорогой, за такой удачей мне нужно всю жизнь гоняться. А ну, подожди, садись. Вот так. А теперь выкладывай: Тоню Липилину знаешь? Есть, есть там такая, не крутись! Знаешь? Я тоже. На Брянском встречались. Ранена там была дважды, потом опять воевала, потом мы потеряли друг друга. Адреса домашнего не имею. Вот горе! Ну?..

– Может, на перевязку сначала? – попробовал увильнуть Вошин.

– Ладно, ладно! – запротестовал Данилов. – Не умрем. Все равно через час в бой. Выкладывай.

Пришлось выкладывать. Тоню Липилину Вошин, конечно, знает, потому что она ему приходится двоюродной сестрой. Известно ему, что девушка воевала, а теперь...

– Адрес? – перебил Данилов.

– Вот и с адресом тоже. Неизвестен адрес... Скорее всего, переменяла она место жительства... – Вошин густо покраснел под пристальным взглядом синих глаз сержанта.

Разговора по душам не получилось. А когда они возвращались из санбата, Данилов, криво усмехаясь, сказал:

– Значит, сестра? А что ж ты так крутишься, будто тебя припекают? Имей в виду, я ведь все равно после демобилизации съезжу на этот рудник... Такое мое решение.

Трудно пришлось тогда Вощину, да и потом не легче было. Но что он мог сделать? Сказать всю правду? Сказать, что да, Тоня на руднике, вернее, в соседнем городе, в госпитале, что «не видят ее глазыньки свету белого», как написала однажды тетка Мария?

Нет, это он не мог сделать – нестерпимо жалко было и сестру, и солдата-товарища, невмочь было бы смотреть на то, как в глазах Данилова погаснут теплые огоньки... Пусть уж это как-нибудь по-другому произойдет.

– А может быть, все образуется? – вслух спросил Воцин и, выбросив окурок, оглянулся.

В двух шагах от него стоял Данилов. Хотел обойти его, но тот только шире расставил ноги.

– Степан, ты твердо решил в Кузбасс?

Сержант даже головой крутнул.

– Твердо. Мне надоело ходить вокруг этого. Давай разом договоримся. Я хочу видеть Тоню, и пусть она сама скажет окончательное слово. Что она скажет, будь уверен. Но еще не в этом вся суть, не потому только еду именно на тот же рудник, что и ты. Есть там такой человек, единственный для меня на всей земле... Гвардии капитан Рогов... – Данилов помолчал, а потом уже тише закончил: – Роднее брата мне этот человек. Расстались еще на Одере. Я должен видеть его. А тебе не буду надоедать, ночевки не попрошу.

Воцин гневно насупился.

– Ну-ну! – примирительно толкнул его Данилов. – Знаю, что солдаты порядочная публика.

Данилов вновь ожил, бегал на станциях за кипятком, без устали наигрывал русские, хватающие за сердце, песни и приобрел в вагоне немало почитателей.

От Новосибирска в соседнем купе ехала молодая женщина с шестилетним шустрым сынишкой. Мальчуган сразу же пошел по вагону, с живейшим любопытством прислушиваясь к разговорам взрослых. С первой же минуты он не выпускал из виду Данилова с аккордеоном. Чудесный перламутровый инструмент заворожил его. Наконец он осмелился и мимоходом тронул одним только пальцем серебряный клавиш.

Данилов подмигнул товарищам:

– Серьезный мужик!

Через минуту они познакомились, а через пять подружились. Поэтому довольно легко удалось выяснить, что Валерий очень обстоятельный человек. Во-первых, у него необыкновенная мать – горный инженер; во-вторых, едут они сейчас из отпуска к себе на рудник, где живет бабушка и где Валерий думает заняться рыбной ловлей. Между прочим, рыбная ловля – это только так, для потехи, а вообще-то он твердо решил тоже стать горным инженером.

Из дальнейшей беседы выяснилось, что и бабушка у Валерия тоже не такая, как у всех соседских ребятишек.

– Не-е-ет! – мальчуган машет рукой по адресу всех остальных бабушек и пренебрежительно выпячивает нижнюю губу. Собственная бабушка Валерия – мать-героиня называется. – Только... – Валерий подмигивает и с видом глубочайшей доверительности шепчет на ухо Данилову: – Только если по правде, на честное слово, то она никакая не мать, а бабушка.

Это он точно знает. Потому что если мать, то обязательно молодая, красивая, как вот у него.

– Ишь ты! – удивляется Воцин. – А где же твой папка? Тоже на руднике?

От окна быстро повертывается мать Валерия. Глаза у нее большие, испуганные. Сердце Данилова тревожно сжимается. Привстав, он энергично подмигивает Воцину.

– А он воевал с фашистами, он сильный! – охотно восклицает мальчуган. – Ты тоже воевал? А почему папу не видел?

Солдаты сумрачно переглядываются. А Валерий все настойчивее спрашивает:

– Он большой – мой папа... Ты видел его?

– Вот что, дорогой, – спокойно перебивает мальчугана Данилов, – приедешь домой, отправляйся сразу же на рыбалку. А потом учись на инженера. Папа твой вернется – это я точно знаю.

– Ты его видел?

– Видел, родной! – голос сержанта чуть заметно дрогнул, глаза стали пустыми, невидящими. Но он сейчас не глазами, а занывшим сердцем видел тысячи безымянных могил на полях родины, на берегах Буга, Вислы, Одера... Падают дожди на неприметные холмики, поднимаются буйные травы вокруг, колосятся необъятные хлебные нивы... – Играй, родной! – Данилов ставит огромный аккордеон Валерию на колени и, заметив благодарную улыбку на лице его матери, отвертывается и долго не может зажечь спичку.

– Да ты не тем концом чиркаешь, – замечает Вошин.

– Оставь! – сурово обрывает сержант.

В Белове, выглянув из окна, Валерий кричит на весь вагон:

– Мама! За нас большой трамвай зацепился! Бо-ольшущий!

– Не трамвай, деточка, а электровоз, – тихо объясняет женщина.

Слушая звон детского голоса, Вошин смущенно говорит Данилову:

– Умное дите.

Попетляв на Салаирских горных отрогах, поезд миновал маленькую станцию Артышта. Назад, в ясный предвечерний зной, все быстрее катились зеленые холмы. В открытые окна врвался тугой чистый ветер. Изредка сквозь железную скороговорку колес слышались короткие певучие сигналы электровозов. С грохотом обвала пронеслись мимо встречные поезда.

– Уголек... – коротко бросал Вошин и с довольным видом поглаживал колено, словно сам добывал этот уголек. – А это металл, с Кузнецкого. И алюминий теперь там делают, и машины, и эти... как их, ферросплавы, Кузбасс!

Светлые тени скользят по лицам солдат, на губах улыбки то появляются, то исчезают, а глаза сосредоточенно-строги.

Каким недосыгаемо далеким казался родной край, когда в январе 1943 года Григорий Вошин мерз трое суток на безымянном снежном увале, в 90 километрах от Орла, когда, не замечая ни обжигающего мороза, ни частых минометных ударов, он ожесточенно долбил каменно-твердую землю, чтобы было за что зацепиться. Далек был Кузбасс,

а ведь даже в самые страшные минуты не покидала надежда снова увидеть эту суровую землю с ее скуповатой, но такой близкой сердцу красотой.

Распустив чистые легкие паруса, летит над дальними холмами белое облако. Белые домики, выравниваясь по решетчатым оградкам, поднимаются в гору, ближе к солнцу.

– Новый поселок, до войны не было, – замечает Моисеев и начинает торопливо собираться. – Мне пора, – говорит он, взволнованно покашливая. – Понимаете, как-то вдруг: ехал, ехал, ждал, ждал, целых пять лет ждал!

На перроне прокопьевского вокзала простились с Моисеевым. Поезд тронулся дальше. Смеркалось. Народу в вагоне становилось все меньше. В соседнем купе капризничал Валерий и все спрашивал:

– А он не уйдет? А он даст поиграть на гармошке?

Данилов стоял у окна, медленно приглаживая волосы. Летела мимо смуглая вечерняя земля, взмывали и падали телеграфные провода, ворчали колеса под вагоном: скоро... скоро...

## Глава первая

Когда они поднялись на-гора через запасной ходок, с чистого неба падали последние дождевые капли. Упираясь в далекие горы двумя косыми столбами ливня, на восток уходило седое облако в розовой шапке.

Закурив, Дробот оглянулся на Рогова.

– Чувствуешь, инженер, как земляца кузнецкая пахнет? Умыло матушку.

С горы виден весь рудник – прямые зеленые улицы, многоэтажные жилые дома, квадраты усадеб, вогнутая желтоватая ладонь стадиона и, в двух-трех километрах друг от друга, конусы черных породных отвалов. Отвалы тлеют, над ними стелются сизоватые дымки.

Дробот идет впереди, осторожно ступая по крутой скользкой тропинке. У него неприятная стариковская манера говорить себе под нос. Ему уже за пятьдесят. Приходится до крайности напрягать слух. Очень

важно узнать, что он скажет после осмотра его горного района. Рогов старается не отставать. Но начальник шахты как будто забыл о деле, идет и принохивается к винному кисловатому запаху прелой сосновой коры, к тонким, еле различимым ароматам осенних трав, улыбается, распустив мелкие морщинки по широкому костистому лицу. Его седые брови растут прямо вверх, поэтому кажется, что он постоянно чему-то удивляется.

Махнув рукой в сторону рудника, Дробот спрашивает:

– Видишь, выстроились шахтеночки, как на параде? На днях читал в газете стих: «И в царство черных пирамид въезжает, как в Египет!» Насчет царства это хорошо, а про Египет зря: там же пустыня, а у нас не только на земле, а и под землей люди действуют.

Посмотрев на конусообразные терриконики соседних шахт, он лукаво подмигнул:

– Конкуренты! В прошлом году, когда тебя еще не было, договор подписывали. Пыль столбом! Обогнать обещали. Однако дудки! – почти выкрикнул он и круто остановился, вполоборота, одним глазом уткнувшись в лицо Рогова. – Это я не для лирики. Не люблю порожних слов. Это я для тебя. Дельный ты человек, хотя и беспокойный. Второй месяц приглядываюсь. Может, и придешься ко двору.

Рогов поморщился. Но Дробот предостерегающе поднял руку.

– Беспокойный, говорю! За все сразу хватаешься. Тут у тебя и цикличность, и крепление, и щиты Чинакала, а про добычу за текущую смену забываешь. Нельзя так. Советую утвердиться на одной мысли: чтоб план был, уголь таскай хоть шапками, хоть горстями.

– И так всю жизнь? – не сдержался Рогов.

Дробот, занятый рассуждениями, не обратил внимания на реплику.

– У нашей шахты традиции. Когда в мае чуть не дотянули программу, я выгнал на добычу всю конторскую братию, всех дамочек и кавалеров, – и выпрыгнул ведь! А с цикличностью, со щитами мы, дорогой, успеем. Соседи ведь тоже ничего еще не делают.

Дробот гордился тем, что держит шахту в кулаке, и не допускал даже и мысли, чтобы кто-нибудь, без его ведома, что-то переустраивал,

кого-то перемещал. Так Рогову и было сказано, когда он пришел сюда с назначением на должность районного инженера.

Вслед за Дроботом и Роговым в кабинет вошел остроглазый чернявенький парень – старший статистик. Не глядя на него, начальник открыл форточку, переставил по-своему, немного наискосок, кресло за столом и, отвернувшись к этажерке с пыльными книгами, спросил угрожающе:

– Ну?

– Не виноват, Петр Михайлович... – голос у парня сорвался, как у молодого петуха.

Дробот медленно оглянулся и подвигал бровями.

– Не виноват? Ты у меня эту десятую процента в пригоршнях будешь таскать из шахты! Из самого поганого забоя! Слышишь? В пригоршнях!

Рогов понял, что разговор идет все о той же утренней истории. Старший статистик, передавая сведения о добыче в трест, назвал фактическую цифру. А Дробот, посмотрев сводки с других шахт, обнаружил, что «его хозяйство» почему-то отстало на одну десятую процента от соседней. Немедленно же было приказано недостающую дробь дополнительно передать в трест. Но там заартачились, пожаловались управляющему. Дробот взбеленился и обвинил в ошибке «кавалеров из конторы».

– Молчишь?

Парень растерянно переступил с ноги на ногу.

– Я эти несчастные крохи возьму из добычи за сегодняшние сутки, – отчеканил Дробот. – Я вывернусь, а ты запомни: в другой раз кашлянуть вздумаешь – оглянись на меня. Взяли тоже моду: перед государством в ответе я, а командовать каждый лезет. – Дробот махнул рукой: – Отправляйся на место.

Он повернулся к Рогову:

– Забои твои мне понравились. Культурно.

Рогов поймал себя на том, что рад похвале, однако тут же и забыл об этом. Момент был благоприятный, чтобы высказать мысль, с ко-

торой он носился последнее время. Заговорил же с запинкой, словно только сейчас, на ходу, обдумывая предложение:

– Петр Михайлович... что если второму району немного увеличить задание?

Дробот недоверчиво фыркнул:

– Это почему такое?

– Вы же видели: две новые лавы нарезаны досрочно – хоть сейчас пускать.

– Ну и пускай! – добродушно усмехается начальник. – Твои лавы нам будут давать пять-шесть процентов...

– Правильно, даже больше!

– Подожди! – Дробот нетерпеливо пожевал сухими губами. – Я говорю, пять-шесть процентов сверх плана. Понимаешь, какой это капитал? Соседи позеленеют! Мы их обязательно обставим, и, может быть, первую скрипку в этом сыграют твои внеплановые лавы. Значит, держи язык за зубами! – Дробот внезапно подмигнул и, захохотав, похлопал Рогова по плечу.

Несколько обескураженный такой беззастенчивой откровенностью, Рогов с минуту не знал, что сказать. Но, вспомнив, что до завтра едва ли придется с Дроботом встретиться, спросил:

– Петр Михайлович, вы смотрели мою докладную записку? Я считаю дело совершенно неотложным.

– Записку?.. – Дробот сделал неопределенный жест. – Ах да, записку! Не читал, извини, некогда, я же человек дела, солдат, так сказать. Но я передал все это Филенкову. Зайди к нему.

Пока Рогов ждал главного инженера, ему заново припомнился сегодняшний обход участков вместе с начальником шахты. Хорошо все же Дробот знает свое дело, даже завидно! За это, пожалуй, можно простить и его грубоватость, и безапелляционность суждений, и то, как он круто, почти не думая, принимает решения. Только очень уж часто он подчеркивает, выгораживает доброе имя коллектива. Дело тут, по мнению Рогова, было не столько в коллективе, сколько в «добром имени» самого Дробота. А сегодняшняя история с процентами!

Как-то в мимолетном разговоре с Роговым районный инженер Нефедов рассказал, что Дробот попал на «Капитальную» в самом конце войны. Работал он до этого на одной из новостроящихся шахт и, по всему видно, работал неплохо, по крайней мере слух был, что командовал круто.

– Черт его знает, что с ним случилось – или не сумел перестроиться на мирную работу, или захотел поспокойней пожить. – Нефедов неприязненно посопел. – В общем, не знаю, как у него получилось, но только дело на «Капитальной» не пошло. Не пошло – и только. По-моему, он и здесь все решил взять одной командой. Понимаете, Павел Гордеевич, как это плохо даже со стороны выглядит?

Несколько раз Дробота «выправляли» и в тресте и в горкоме, но заметного улучшения не наступало. А время шло, время выдвигало перед шахтой все более трудные, сложные задачи, их нужно было решать по-новому, новыми средствами. Дробот же по-прежнему только командовал и назойливо ссылался на старые добрые традиции шахты, из которых он принимал только одну: во что бы то ни стало выполнять план.

Но и план выполнять становилось все труднее.

– Да в чем же дело? – резко спросил на одном из последних собраний Нефедов. – Давайте разберемся наконец, в чем же дело! Силы-то у нас те же самые, механизмов больше...

– План на триста тонн увеличили, – ворчливо отозвался Дробот.

– Вопросов мы задаем очень много, а работаем, прямо сказать, вразвалочку, – сказал кто-то из инженеров.

Рассказывая об этом, Нефедов невольно разводит руками:

– Я просто не нашелся что сказать... А сказать нужно было одно, что коллектив по-прежнему самоотверженно борется за план, но кое-кто из командиров, слишком положившись на Дробота, перестал ясно себе представлять, как надо работать для нового наступления, для решения не только сегодняшних, но и завтрашних задач. Вот в чем дело!

На шахте все чаще назначались ДПД – «дни повышения добычи». В такие дни план действительно перевыполнялся, но для этого сзывали всех вниз, закрывали подсобные цехи. Даже повара шли в забой.

Предлогов для организации ДПД изобреталось множество: то в начале месяца требовался «рывок», то в конце декады «дотягивали», «дожимали». Но эти своеобразные припарки мало помогали делу. Вслед за рывком почти обязательно наступал спад, забои расстраивались, шахту лихорадило.

– Баш на баш выходит, – услышал как-то Рогов замечание пожилого забойщика.

А районный инженер Нефедов однажды пожаловался Рогову:

– Суетимся, как сто чертей, – спать некогда. Всё есть – и люди и механизмы, а поразмыслить над работой не умеем.

Рогов попытался сделать первый практический шаг, изложив в своей записке основные, по его мнению, задачи шахты. Задачи, по существу, сводились к одному – увеличить добычу. Средство – цикличность. Но для достижения цикличности необходимо осуществить массу сложных мероприятий. Выискать среди них главное – дело текущего дня.

Дробот, значит, отмахнулся. Ну что ж, придется заглянуть в душу главного инженера.

Филенков был удивительно похож на Дробота интонациями, словами. Рогов даже усмехнулся про себя, заметив это. А может быть, главный инженер только старался быть похожим. Мало ли командиров на руднике делают это! Филенков, глянув на Рогова маленькими оплывшими глазками, сказал:

– Насчет записки? Посмотрю как-нибудь... – и, опоздав скрыть короткую позовоту, раздраженно спросил: – Все ищете, где собака зарыта?

– Ищу, Федор Лукич.

– А вы не думаете, что это немного кустарщиной пахнет?

– Не думаю. А вы?

– Что я... – Филенков грузно повернулся в кресле. – Я и швец, и жнец, и на дуде игрец. Мне некогда воспарять в заоблачные выси.

Рогов насупился и резко спросил:

– А цикличность – это что ж, фантазия, полет за облака?

– Я говорю о реальных возможностях...

– Так и я тоже! Все мои выводы построены на реальных возможностях. – Рогов обошел вокруг стола и остановился рядом с главным

инженером. – Федор Лукич, когда люди говорят о возможностях, которые придут сами собой, мне кажется, они забывают основное в нашей работе: равенние на лучших. Мы же наступаем, значит, закрепляться должны на тех рубежах, где оказалась передовая часть.

Филенков почесал толстым мизинцем лысеющую макушку.

– Вот видите, какой вы лихой солдат. Закрепляться начинаете на участке, который – говоря вашим военным языком – мы еще не штурмовали. Поговорите-ка с нашим Дроботом, сразу встопорщится: «Что? Цикличность? А где возьмем забойщиков? А как транспорт?»

– Но ведь вы главный инженер.

– Знаю... – Филенков усмехнулся. – Этакую новость вы мне преподнесите...

Он еще что-то хотел сказать, но тут зазвонили сразу два телефона, и разговор на время прервался.

Главный инженер был лет на десять моложе Дробота. По-видимому, хорошо знал свое дело, но Рогова бесила его малоподвижность, какое-то сонное равнодушие, с которым он относился ко всему, что выходило за рамки так называемой «производственной текучки», что не было предусмотрено дневным рабочим регламентом. Правда, иногда что-то вдруг словно бы вспыхивало в этом неповоротливом, замкнутом человеке, маленькие серые глазки его минуту-другую оживленно поблескивали, но он снова уходил в себя, снова лицо его расслабленно обвисало, и только нижняя прямая губа неизменно и упрямо подпирала верхнюю.

И все же что-то своеобразное было в Филенкове и привлекало к нему Рогова. Может быть, богатый практический опыт, к которому с такой жадностью тянулся Рогов. Хотя что стоит этот практический опыт, если он не обогащает людей.

– По существу цикл – простая вещь, особенно если разложить его на элементы, – говорил Рогов. – В сутках три смены. В одну из них лава готовится к добыче: если пласт горизонтальный или пологопадающий, он подрубается врубовкой, в нем бурятся скважины, потом придвигается или, вернее, переносится конвейерный став, кровля подхватыв-

вается креплением. Наконец, производится отладка. Следующие две смены качают уголь. Так должно быть.

– Правильно, так должно быть! – охотно согласился Филенков. – Но существует мнение старое и прочное – его нелегко преодолеть, – что шахта – это не завод, не кондитерская фабрика, здесь место рабочее постоянно передвигается. Следовательно, изменяются условия. Всего не предусмотреть, дорогой Павел Гордеевич, один раз лаву готовишь восемь часов, в другой – шестнадцать; один раз уголь качаешь две смены, а в другой и в три не справишься.

– Вы не имеете права так рассуждать! – Рогов требовательно глянул в лицо главного инженера. – Это же вакханалия!

Филенков предостерегающе поднял руку:

– Без громких слов, Павел Гордеевич! Я на «Капитальной» не первый год. За это время мы не меньше десяти раз приступали к забоям с цикличностью.

– И что же? – удивился Рогов.

– Как видите, ничего! – главный инженер почти приветливо улыбнулся. – Правда... – он на минуту задумался. – Правда, – медленно повторил он, – было у нас гораздо лучше, сильнее... Но это еще при покойном Николае Ильиче... – Филенков снова вздохнул и заметно потускнел. – Положим, «Капитальная» и сейчас тянется, уголек даем не хуже других и без цикла. А для цикличности требуется хороший забойщик. И не один, не десять, а двести шестьдесят... Приходится каждые сутки, каждую смену кроить, изворачиваться.

– И долго придется так изворачиваться?

Филенков развел руками:

– А это уже дело комбината.

– Нет! – Рогов встал. – Нет, Федор Лукич, это наше дело! Люди на шахте есть, их нужно расшевелить. Неужели мы для этого будем ждать каких-то особых указаний?

Филенков вздохнул, оттянул пальцем тугой ворот сорочки, выпятив подбородок, поворочал шеей, еще раз вздохнул и наконец нехотя согласился:

– Посидите минутку, я при вас прочту докладную.

Вначале он читал ее, бегло пробегая глазами, затем, видимо, заинтересовавшись, уже медленно и внимательно прочел до конца. – Хорошо, – сказал главный инженер, – своей властью я вам утверждаю один график. Но имейте в виду... за успех не ручаюсь, а перед Дроботом отвечать будете вы...

– Ручательства мне как раз и не нужно, – усмехнулся Рогов. – А за график спасибо.

Это была первая маленькая победа.

Начались переговоры с лесным складом, с транспортом. Но если на лесном складе согласились давать стандартный крепежник точно по графику, то с подачей порожняка, с откаткой груза дело застопорилось. Тут разговор даже с Дроботом не помог. Пришлось целых два дня ждать возвращения из комбината начальника транспорта Стародубцева.

Со Стародубцевым Рогов был знаком давно. Когда-то они вместе учились в Томском институте. Семен был отличным студентом, веселым товарищем. Вместе защищали дипломные проекты, вместе мечтали о будущем Кузбасса, старались представить, каким он будет через пять, через десять лет. С увлечением занимались разработкой планов сплошной механизации шахт – от забоя до самой последней транспортной операции. Но через два месяца после того, как они стали инженерами и приступили к работе, их разлучила война.

Когда Рогов возвратился на рудник, он сразу же пошел к Стародубцеву.

– Молодец! – обрадовался тот. – Значит, жив? И орденов дай бог каждому! Ну, да ведь ты шахтер бывший!

– Почему же бывший?

– Ну как же, у вас ведь там была совсем другая наука, от шахты-то она отучила. А вообще не теряйся, мы тут тебя быстро подтянем. Заходи вечером потолковать и, кстати, благополучное возвращение вспрыснуть.

В тот же вечер Рогов наведался к однокашнику.

Семен Стародубцев успел, оказывается, обзавестись семьей.

– А как же, – басом говорил он, улыбаясь и потирая руки. – Мы хотя и ночей недосыпали, уголек добывая, но и на личном участке не зевали. Имею двух дочерей. Аллочка – годик скоро исполнится – спит. – Семен кивнул в сторону соседней комнаты. – А Верочка – три годика – в гостях у бабушки. Ну и, как ты, очевидно, догадываешься, имею жену. Да я тебя сейчас познакомлю с ней! – спохватился он и негромко окликнул: – Клавочка, ты бы сообразила нам с Павлом Гордеевичем полграфинчика. А, Клавочка?

– Опять за графинчик? Боже мой, когда же конец этому будет? – отозвался из кухни сонный голос.

Семен виновато усмехнулся:

– Строговата она у меня... Извини, брат.

Вспомнили старых знакомых.

– Колька Семенцов? – переспросил Стародубцев и с досадой махнул рукой: – Э, брат, хватился! Его теперь не достанешь, второй год трестом заведует. Встретились недавно на совещании и поговорить не смогли.

– Зазнался?

– Да незаметно как будто... Дело, по-моему, в масштабах. У него четыре шахты, а у меня всего подземный транспорт на одной. Слава в этом, сам знаешь, невелика. – Семен лукаво подмигнул. – А ты не крути головой, думаешь – я за славой гонюсь, за орденами? Где уж там! У меня сейчас в чем главная задача? Работать так, чтобы от других не отстать да семью вот обеспечить всем необходимым.

Ничего не скажешь! Здорово изменился Семен Стародубцев.

Сейчас Рогов прошел в кабинет Стародубцева. Начальник транспорта, не подавая руки, кивнул небрежно.

– Здравствуй. Подожди, я вот разделаюсь с этим партизаном.

«Партизан» – низенький паренек, курносый, с выпуклыми смысленными глазами – стоял перед столом и в упор, но без всякого интереса разглядывал начальника.

– Ну что ты на меня уставился? – крикнул Стародубцев.

Паренек свел губы трубочкой:

– А что мне... Время свободное, вот и уставился.

– Отвечай по существу! Слышишь?

– Слышу.

– Под суд тебя, мальчишку, надо...

– Чего вы меня пугаете? Суд-то советский...

– Видел, – Стародубцев оглянулся на Рогова, – какой грамотный? Да ты понимаешь... – закричал он снова, обращаясь к парню. – Ты понимаешь, чем это пахнет? Ты знаешь, в какое время мы работаем? Видишь вон лозунг: «Все силы на выполнение послевоенной пятилетки!»? Все силы! А ты что делаешь? Ты не выполняешь приказа...

– Потому что незаконно, – тихо возразил парень. – Мало ли что... Меня учили на забойщика, а вы суете куда ни попало.

– Тебя государство имеет право посылать куда угодно!

– Так то ж государство, а то вы...

Стародубцев вскочил, растерянно потоптался и, наконец, трагическим жестом показав на дверь, прошептал:

– Выйди!

Забойщик степенно пожал плечами и вышел.

Начальник транспорта торопливо закурил и начал жаловаться на слабую дисциплину.

– Семен, у меня неотложное дело, – прервал его Рогов.

– С вагонами? – взъерошился Стародубцев. – Не дам! Шахту и так лихорадит – ни днем ни ночью покоя нет, а тут еще ты со всякими экспериментами!

– Но цикличность не эксперимент!

– Все равно! Не дам! Я и так уж собирался жаловаться на твое самоуправство. Хватаешь порожняк направо и налево, дежурный диспетчер то и дело кричит по телефону: «Опять Рогов!»

– Значит, не дашь?

– Я же сказал!

Не простившись, Рогов вышел.

## Глава сорок третья

Оставив Степана в штреке, Рогов вышел на-гора через запасной ходок. Приблизившись к устью уклона, совершенно неожиданно застал там Семена Стародубцева. Насилу сообразил, что Семен ведь является в некотором роде одним из трестовских руководителей по капитальному строительству, значит, забрел в такую даль не случайно. Галя что-то горячо доказывала ему. Рогов услышал, как она несколько раз настойчиво повторила:

– Это возмутительно, товарищ Стародубцев! Возмутительно!

– А, сам начальник шахты пожаловал! – повернулся Семен к Рогову. – Здравствуй, Павел. Извини, не было времени предупредить о своем появлении. Услышал, что на уклоне было туговато, вот и решил заглянуть.

– Ты лучше делаешься, – заметил Рогов.

– Почему?

– Да вот услышал, на уклоне неблагополучно, и летишь сломя голову. Раньше этого за тобой не водилось.

Семен примирительно улыбнулся и обратился к Гале:

– А он все такой же колючий. Помню его вот уже десять лет таким.

– Не изменяюсь, грешен, – сознался Рогов.

– Кто из нас без греха, – согласился Стародубцев. – В грехах иной раз, как в репейниках...

Рогов выслушал Галю о положении в забое, о том, что дело теперь только за мелкими доводками.

– Ну, спасибо! – он еще раз оглядел верхнюю плиту и улыбнулся, заметив, как покраснело лицо девушки. – Спасибо, Галина Афанасьевна, от всей шахты. У меня гора с плеч... Теперь двинем уголек...

– Вот я и безработная, Павел Гордеевич, – сказала Галя. – Что ж мне теперь, прикажете брать направление в отдел кадров?

– Как это в отдел кадров? – удивился Рогов. – А два внутренних уклона кто будет пробивать? А новый скиповой ствол? Вы что, Галина Афанасьевна? – Он приблизил свое лицо к ней и, не обращая внима-

ния на Стародубцева, заговорил вполголоса: – Понимаете, Галя, я был почти спокоен за уклон, потому что вы здесь. Вы отличный инженер... Давайте договоримся, что поработаем вместе еще очень долго! А?

– Очень долго?.. – в глазах у Гали мелькнуло что-то похожее на испуг, но она тут же спокойно сказала: – Мне все равно, Павел Гордеевич, на какой шахте работать, но... лучше, если рядом с вами. Надежнее.

– Очень хорошо! – отозвался Рогов и, глядя в глаза то Вожиной, то Стародубцеву, быстро заговорил: – Чтобы нас в следующий раз не давила вода, воспользуемся буросбоечной машиной Могилевского. Понимаете? Нарезаем рудничный двор, ставим машину на нижней плите и... бьем вверх по угольной пачке! Тут вода не страшна будет.

Стародубцев скромно потупился, но сейчас же заметил:

– Вообще-то работа на буросбоечной потребует филигранная: сечение скважины девяносто сантиметров, а угольная пачка всего метр двадцать – тридцать. Ошибка всего на одну десятую градуса... Это, знаете, немного напоминает игру: человек закрывает глаза, покрутит перед собой указательными пальцами, потом сводит их – сойдутся или нет? Так и здесь...

Рогов фыркнул:

– Хиромантия! Не от инженера бы слышать. Нам некогда крутить перед собой этими твоими пальцами. Слышите, Галина Афанасьевна: не принимать во внимание «предсказаний» Стародубцева! – Рогов улыбнулся. – А... помощью его мы воспользуемся.

Семен обратил все в шутку.

– Ты, Павел, не изменяешься, – вздохнул он. – Таким тебя люди и запоминают, даже те, с кем ты всего один-два раза встречался. Недавно в Новосибирске, беседуя с видным ученым, не успел я упомянуть о тебе, как он вдруг перебил меня: «Ах, позвольте, позвольте! Так я же знаю инженера Рогова, как же!»

– Что за ученый? – полюбопытствовал Рогов.

– Скитский Василий Пантелеевич.

– Скитский? – Рогов кивнул. – Хороший мужик, светлый.

– Умный! – подхватил Семен. – Жалко, мало с ним пришлось побе-

седовать – дело ограничилось моим скупым докладом и несколькими его замечаниями. Знаешь ведь, как он занят? А тут еще, понимаешь, весну человек переживает, так что и здесь у него можно кое-чему поучиться... – Семен сделал шуточный полупоклон в сторону Гали и тут же, немигающе глядя в лицо Рогова, небрежно закончил: – Женится профессор Скитский на своей аспирантке... Евтюховой.

– Вот как... – без всякого выражения ответил Рогов.

Галя инстинктивно сжалась, словно на нее замахнулись. Ни разу она не видела у Рогова таких обмелевших глаз, словно в одно мгновение перегорела в них влажная синь.

Он сказал:

– Хорошо, Галина Афанасьевна, значит, мы... договорились. А теперь я пойду.

Семен сделал было шаг за ним, но Рогов только чиркнул по его лицу взглядом и пошел сквозь кусты напролом.

– Вот так, Галина Афанасьевна... – начал Стародубцев в замешательстве.

– Оставьте! – резко оборвала Галя. – Оставьте! Вы сейчас сказали Рогову... Как это стыдно!..

Она быстро обежала бурый породный отвал, спустилась в ложок, прямо по воде перебежала ручей и, хватаясь за кусты противоположного ската, взобралась наверх. Только ступила на тропинку, как впереди показался Рогов. Шел он обыкновенным своим размашистым шагом, только необычно беспокойно двигались его руки, то отстегивая все три петельки на фуфайке, то вновь застегивая. Вот он остановился у золотистой сосны, придерживая кепку, поглядел на ее вершину и снова пошел. А когда увидел Галю на тропе, ни одним движением не выдал удивления, словно ждал этого.

– Павел Гордеевич... – Галя посторонилась с тропы, давая ему пройти. – Извините меня... но я хотела спросить...

– А спрашивать как раз и не нужно, – Рогов сжал ей локоть. – Не нужно, Галя, спрашивать. Просто Стародубцев притронулся к тому, что очень болит. Спасибо, Галя.

И пошел в гору все таким же ровным размашистым шагом... В этот час с горки можно было беседовать и с весной, и со всем миром, если, конечно, тебе понятен многоголосый, разноязыкий говор апрельского полдня.

Круто, широкими петлями, дорога поднимается к верховой рыжеватой седловине. На западном склоне почти нет леса – он дальше, за водоразделом. Изредка попадаются красноватые кустики молодой березовой поросли, да справа от дороги, над крутой каменистой осыпью, стоит одинокая мачтовая сосна, – стоит и задумчиво качает зелеными лапами веток, в дальнюю даль смотрит, словно и грустно ей, что еще одна весна мимо проходит, и легко, что под золотистой корой тронулись густые прохладные соки.

На одном из поворотов Рогов остановился, прищурившись от ярко-синего света, огляделся вокруг и вдруг, затаив дыхание, почти на носках пошел к невысокой годовалой березке и шагах в двух от нее остановился. Где-то здесь, – наступить можно, – опустилась маленькая пичужка.

Но где же она, неужели пешком ушла? Рогов даже пригнулся, в нем внезапно пробудился давний мальчишеский азарт.

– Ха!.. – сказал он удивленно, когда у него из-под ног выпорхнула быстрокрылая птица и с тихими вскриками: «Чьи вы! Чьи вы!» закружилась вокруг. – Ах, вот что! – Рогов усмехнулся. – Вас интересует, чьи мы? Не беспокойтесь, мы свои, тутошние.

И, все еще смеясь над своим ребячеством, он присел на корточки и осторожно раздвинул кустики прошлогодней жухлой травы. В маленьком углублении лежало гнездо – круглое, аккуратное, с загнутыми внутрь краями, выстланное тонкими былинками и молочно-голубым растительным пухом. Опустил пальцы внутрь и как будто тепло почувствовал или показалось это, но сердцу действительно почему-то тепло стало. А над головой звенело все беспокойнее, все жалобнее: «Чьи вы?.. Чьи вы?..»

– Ну, ладно, ладно, – поднимаясь, примирительно говорит Рогов. – Что уж ты на самом деле? Неужели не понимаю?

В другом месте он присел на пенек, пощупал на солнечной стороне его шершавую кожу. Да, здесь по-настоящему тепло.

Тепло... Рогов сильно трет лоб, как будто стараясь вспомнить что-то трудное и давно-давно забытое.

«Ох, Валя, Валя!...»

Нашел в кармане помятый листок письма и, разгладив его на колене, стал читать заново, от слова до слова. «Если бы я могла оградить тебя хотя бы от минутного горя... Павел! – писала Валя. – Я это могла бы сделать, но я ненавижу ложь. И ты, разве ты можешь... Нет, все не то! В последнее время я очень часто бывала мыслями и душой с Василием Пантелеевичем Скитским. Я изо всех сил боролась против этого, но он как-то незаметно вошел в мою жизнь. Я приезжала сказать тебе это. Хочу, чтобы тебе стало легче, надеюсь на это, верю в тебя. Прости, Павел. Валя».

Еще и еще раз перечитывает Рогов письмо, потом опускает его между коленями. «Ну разве так можно? – спрашивает он себя. – Разве можно, чтобы так трудно было?»

Потом он встает и снова начинает подниматься в гору. Дорога крутая, но сердце бьется уже спокойнее, мысли не мечутся, в голове ясно.

А вот и верховая седловина. Рогов выпрямился, медленно расстегнул фуфайку, снял кепку. Как же далеко видно отсюда!

Внизу глубокая падь – Черная Тайжина, а чуть подынешь взгляд – видишь бесконечную гряду то желтовато-лысых, то лесом укрытых гор. Прямо на востоке глаз еле различает далекое розовое полыхание вечных снегов на хребтах Алтая, на севере поднимается дымное облако над городом Сталинском.

А если бы подняться еще выше... Рогов на минуту закрывает глаза, потом снова всматривается в неоглядный весенний мир. Кузбасс! Но ведь это с лишком тысяча километров с юга на север, почти от Телецкого озера на Алтае, через поймы многочисленных горношорских рек, до Мариинской тайги у великой сибирской магистрали, вот он – Кузбасс!

Кузбасс, выросший, как рабочий, возмужавший, как солдат, чистый и строгий в своих простых одеждах...

Кузбасс – это шахты, заводы, электростанции, колхозные пашни. Кузбасс! Сколько же нужно прожить, не старея, не уставая, чтобы переделать хотя бы часть твоей великой, твоей нужной работы! И сколько тепла необходимо освободить из твоих щедрых глубин!

Рогов смотрит на нежные хребты, обрамляющие южный Кузбасс с востока, потом делает такое широкое движение, как будто кладет ладонь на острое плечо одного из горных отрогов.

– Подожди, – говорит он тихо, – подожди немного, и до тебя доберемся, и в твои недра придем. А сейчас... просто рук не хватает, ничего не попишешь...

Свежим воздушным током со стороны Черной Тайжины донесло звонкий перестук топоров. Глянул вниз – словно на крыльях с горных высот спустился. В снегах и желтых проталинах, в темной зелени пирамидальных пихт, в вербном цветении кустарников падь Черная Тайжина до краев наполнена серебристо-синим светом.

Даже руками развел, так не хотелось отрываться от всего, что глаза видят.

А пора, нужно еще пройти к новым шурфам. Рогов оглядывается на северный склон, по которому поднимался, и вдруг видит, что по извилистой тропе кто-то идет. Пристально всмотрелся и угадал Бондарчука. Парторг шел, широко махая руками, и по всему видать – торопился.

– Ты что ж это? – закричал он из-за кустов. – Ищу целый час, а он, извольте, разгуливает, Кузбассом любитесь!

– Правильно, люблюсь... – признался Рогов. – Жалел, что тебя не хватает рядом.

Бондарчук присел на соседний сухой бугорок, вытер вспотевшее лицо и устало передохнул.

– Уморился...

– А что случилось?

– Да ничего особенного. Знамя привезли прокопчане, тебя вот ищу – вот и все. Что могло случиться?

Потом им стало, очевидно, немного не по себе: сидят два взрослых человека друг против друга и в прятки играют. Рогов пригладил носком

сапога кустик сухой травы и машинально вытащил коробку папирос.

Бондарчук смахнул пот с бровей и, внимательно глянув из-под ладони на товарища, спросил:

– Что-нибудь очень трудное?

– Очень. – Рогов подал конверт с письмом.

Несколько минут Бондарчук читал и перечитывал письмо. Временами под глазами у него набегали морщинки. Потом он аккуратно свернул письмо вчетверо, вложил его в конверт и, ударив о ладонь, сказал:

– Пойдем!

А где-то уже в пути Рогов осторожно спросил:

– А ты что искал-то меня? Сердце весть подает?

– Подает, конечно, – подтвердил Бондарчук. – Была у меня Галина Вошина, рассказала о своей встрече с Валентиной, о твоём разговоре со Стародубцевым...

– Ага... – Рогов ускорил шаг.

Возвращались они уже в поздние сумерки.

На одном из крутых поворотов тропы остановились. Бондарчук положил руку на плечо Рогова, слегка притянул его к себе.

Внизу по цепочкам и созвездиям огней угадывались линии рудничных улиц, контуры кварталов. В серебристых сумерках на противоположном скате не видно было домов, и оттого светлые квадратики окон казались вделанными прямо в гору.

Земля дремала. Над горизонтом неслышно ступала негасимая синеватая зорька, на севере, по ту сторону гор, полыхали зарева огней над городами и рудниками. Неподалеку, в темных зарослях пихтача, кричала птица-невидимка, и дышала земля кузнецкая – сильно, молодо.

## ВСЁ ПРО НАТАШКУ (отрывок из романа)

### Глава восьмая

На шахте все обстояло, как обычно: из смены в смену к забоям уходили горнорабочие, рокотали конвейеры на крытых эстакадах обогатительной, хлопотливо жужжали арифмометры в конторе; в сквере перед административным корпусом на неярком солнышке покуривали свободные от работы шахтеры. Жизнь как жизнь, шахта как шахта. Но когда откуда-то стало известно, что полтора десятка человек делегируются на всекузбасское совещание передовиков – этому подивились. Значит, и они понадобятся для большого разговора. А ведь народ совсем было опустил руки после того, как целых три эксплуатационных участка, почти четыре сотни шахтеров, расформировали, раскассировали по соседним предприятиям. На ладан дышим.

...Смена в тот день не ладилась. Вера так устала – есть расхотелось. Вернулась домой и, даже не досмотрев «Огонек», уснула. Уже в сумерках ее о чем-то настойчиво расспрашивала, потом что-то втолковывала Люся. Потом – откуда возьмется такое, – Вера во сне, как наяву, отчитывала за непорядки на смене самого Михаила Степановича – директора обогатительной, а тот будто слезно каялся и, наконец, сказал Клавиным голосом:

– Да проснись ты, наконец, засоня!

Даже не открыв глаза, Вера сладко улыбнулась, обняла Клаву за шею и пожаловалась:

– Опять телевизор... Не хочу. Сил нет, как спать, девочки, хочется.

Клава всплеснула руками. Ну вот, святому святое, а этой – телевизор. Вера прислушалась. Что такое? Заседание шахтного комитета? Делегация на всекузбасскую? И в делегацию включена Вера Чугунова! Вот диво-то!

– Ее в люди выводят, а она дрыхнет.

В люди! Вера еще в детстве насышалась о двух старушечьих заповедях. Первым делом – выйти в люди, вторым – замуж за трезвого.

Вера рассмеялась: в люди так в люди. Правда, ничьей делегаткой она не бывала, если не считать пионерских времен, но, видимо, когда-то нужно начинать и по-взрослому жить.

Потом они с Клавой гладили и тщательно примеряли первый в жизни Веры скромный костюм, купленный на первые рабочие заработки. Ох, эти первые рабочие заработки, как тревожно, как радостно: значит, девчонка что-то уже начала делать на земле своими руками. А руки были еще не целованы.

Темную шапочку Вера решительно отвергла. Не личит. Шахтеры – народ строгий, чтоб ничего лишнего, чтобы со вкусом. На этот раз лучше обойтись клетчатой вязаной косынкой. Вон какой свет от нее на лицо – любо-дорого.

А бежевая Люсина сумка как нельзя лучше подошла к новым туфлям. Прищурившись, Клава оглядела делегатку. Что ж, когда-нибудь и Веруська научится распоряжаться своей молодостью, а пока лучше не придумать.

– Иди, да смотри там... слушай, да не всех слушайся.

...Солнце всходило, прозрачная дымка шелковой тетивой натянулась над дальними таежными лесами. Вера глубоко дышала. Главное, жить хорошо, никаких слов не подберешь, как жить хорошо. Это было очень праздничное чувство. Тут и неловкость, что мало еще кого знаешь, с кем приходится делить и радости, и заботы, это и ожидание каких-то необыкновенных открытий, чьих-то признаний, а может, своего собственного признания в любви – но кому? А как может получиться такое признание без слов, без песни?..

У небольшого служебного автобуса руку ей подал Митя Голдобин, тот самый Митя, машинист горный и горный комсорг. И она не утерпела и счастливо спросила его одними глазами: «А меня почему?»

Митя не ответил, может, не понял ее. И тут же для чего-то представил ей высокого плечистого парня в дорогом летнем пальто. Георгий Сибирцев. Горный проходчик. Батюшки, да это тот самый, про которого Клава еще недавно говорила: «У него характер за семью замками». А лицо славное, открытое, может, чуть с хмуриной, а может, это только кажется, а может, кажется Вере оттого, что хочется всем-всем скомандовать: да улыбайтесь же! Будьте добренькие, улыбайтесь.

Георгий Сибирцев улыбнулся. Ладонь у него была теплая и осторожная.

В автобусе Вера оказалась между двумя пожилыми шахтерами. Одного-то она знала: Антон Бабак, председатель шахтного комитета, тот самый, который любил свои речи начинать словами: «Трудовая дисциплина, товарищи, имеет тенденцию... и т. д.», а другой, что справа, с густыми, коротко стриженными усами – глаз под бровями не видно, – кого-то напоминал Вере. Кого же? Пока тронулись, пока машина, трудно подвывая, взбиралась на первую крутую горюшку, Вера мало-помалу осваивалась, а делегаты на скрипучих сиденьях слово за слово разговорились.

Седоусый сосед Веры спросил председателя комитета:

– Кто вчера учудил в горкоме угольщиков? Ты?

Бабак покосился через голову Веры.

– Чего учудил?

– Резолюцию. За такое по макушке бьют и плакать не позволяют. Шахта, видишь ли, теперь не шахта, а планово-убыточное предприятие. Закрывается. И директивы, и общественно-профсоюзное мнение. И нечего там брюхо надрывать – планировать на будущий год деньги на пионеров, на художественную самодеятельность, на дом отдыха, – распределяйте наши кровные посреди перспективных, как подскажет совесть и ВЦСПС. Отчебучил инициативу!

– На горкоме, Афанасий Петрович, не отчебучивают!

Вера плечом почувствовала, как Афанасий Петрович зло напрягся, но сказал более или менее мирным тоном:

– Твоя резолюция бьет по коллективу. Сорок лет не пойму: в кого ты уродился? Что касается шахты – бабушка еще надвое сказала, что касается тебя – снимать будем.

Вера не услышала, что сказал несчастный председатель, которого будут снимать, ее тронул за плечо комсорг Голдобин:

– Вера, переходи к нам, разговор есть...

Вера нерешительно оглянулась, но Афанасий Петрович внимательно присмотрелся к ней, чему-то усмехнулся и подбодрил:

– Переходи, переходи, с нами невесело, всю дорогу директивами будем обмениваться.

Заслонив рот ладошкой, Голдобин спросил Веру:

– Афанасий Петрович опять снимает с работы председателя?

– За что он его?

– Давняя история.

После Гражданской войны, в которой оба участвовали чуть не малолетками, – бесменно в шахте: то рядышком, то поодаль. Лет пятнадцать назад Антон Бабак «пошел по профсоюзной линии». Вначале это чуть не оскорбило заслуженного горняка: «Конторы еще не хватало, бумажек!» А потом, может, и не смирился, а просто понял, что поставлен тоже у нужного человеческого дела. Бывал твердокаменно злой, защищая шахтерские интересы. Но беда, может, в том, что интересы эти понимал как-то по-своему: «У металлургов, у строителей и у прочих есть свои профсоюзы, а наша статья – шахтерская». Лодырей, ловчил – за версту чуял и спуску не давал. Припрет такого в уголочке, стучит кулаком о кулак и употребляет слова или густо-русские, или вывернет что-нибудь не от мира сего: «Я тебе, разэтакий, не профсоюзный бонза из капитализма, я не позволю, растакой трудовой штрейкбрехер, пачкать нашу кровную рабочую честь!»

Потеряв на войне двух сыновей-близнецов, похоронив жену, жил бобылем в двухкомнатной квартире, почти половину жилья предоставив книжкам. «Полжизни в руках не держал, – горевал он искренне. – Уйду на пенсию – до отвала начитаюсь. Да толк-то какой от этого людям? С самого рождения опаздываю». Он и на пенсию давно опаздывал, а все не торопился.

– За что же его Афанасий Петрович?

– Снимает? Друзья – вот за что.

Не очень вразумительно. Но Сибирцев пояснил: только от друга и услышишь правильное слово.

Машину как раз стало отчаянно раскачивать. Сибирцев слегка отодвинулся, чтобы не толкнуть нечаянно мотористку, очень она комнатной, хрупкой казалась. Но хотя и встряхивает и раскачивает отча-

янно, а много ли девчонке времени нужно, чтобы рассмотреть поближе парня даже в такой толчее, даже только в профиль. Подбородок упрямый, нос с задоринкой, надо бы немного подлиннее, лоб широкий, под чуть приподнятыми бровями карие, с точечками, глаза, будто что-то припоминающие. И тут же Вера поняла, что парень приметил, как всего только два разочка она глянула на него. Поняла и рассердилась на него и на себя. Ведь не может не знать этот шахтер про тот глупый и горький случай с хулиганом.

Внимание Сибирцева привлекло негромкое восклицание Афанасия Петровича. Ага, Георгий так и подумал, что на этом перевале шоферу скамандуют крутой поворот направо, вот по этому проселочку. Прочертили березовые ветки по бортам машины, вот тут должен быть еще крутой поворот, а теперь – полянка... Шофер жмет на тормоз и открывает дверку.

Что это за остановка? Вера оглянулась, подождала, пока почти все не вышли. Куда они? Но уже что-то терпкое коснулось и ее сердца. И только потом поняла она все человеческое величие и непереносимую боль этой остановки на осенней горе, посреди редких березняков.

Серый гранитный четырехугольник, будто огромный твердый палец чьей-то гневно вскинутой из глубин руки, показывал в небо, на извечный звездный круговорот. Делегаты «Капитальной» стали вокруг неожиданного в этих местах обелиска. Ни оградки, ни холмика, только пожухлая трава да медленная прозелень в вышине, далекие реки по обе стороны водораздела, чуть видные на востоке снежные хребты Кузнецкого Алатау и близкие, по-осеннему неслышные, березовые колки.

Годдобин потянул Веру за рукав: перейди вот сюда. Она перешла и увидела на шероховатом камне, в каемке из нержавеющей стали зеркально полированный овал. Аспидно-черными буквами в овале написано:

ГРИГОРИЙ ВОЩИН – техник горный рождения 1917 г.

ГАЛИНА ВОЩИНА – инженер горный рождения 1921 г.

ЮРИЙ САЕНОГ – рождения 1923 г.

АЛЕКСЕЙ АЛЕШКОВ – рождения 1929 г.

ВАСИЛИЙ ТАБАРГИН – рождения 1889 г.

Погибли? Здесь, на горе? Почему? Вера недоуменно окинула взглядом своих спутников. Голдобин глазами показал не на обелиск, а на землю вокруг него. Там. На глубине в двести с лишним метров. В два часа тридцать минут утра.

Несколько месяцев горняки пробивали многокилометровый полевой штрек к мощной свите еще нетронутых углей, чтобы вытянуть шахту, не дать ей свернуться, как осенний лист, не дать ей захиреть на издерганных за годы войны эксплуатационных полях. Лучшие силы были брошены на проходку, с полевого Третьего глаз не спускал весь рудник, а бригадировал над этими силами горный техник Сибирцев, инструктором назначили Вощина, старого. В смену самого Сибирцева все и случилось. Дежурным инженером оказалась Галина Афанасьевна. Всех уже вторую неделю снедало нетерпение: по маркшейдерским, сотни раз перепроверенным выкладкам, через триста – четыреста метров наконец удастся вскрыть первый пласт этой хитрой синклинали. Ее в обиходе так и прозывали: «Хитрая». Галина Афанасьевна всю дорогу от пассажирской разминки шла молча, – может, как всегда, внимательно слушала бешеный гон воздуха по трубам «Проходки-500» или плеск воды в канаве, – а уж воды катилось, воды! – а может, она вспомнила свою недавнюю поездку в Румынию, Болгарию, Польшу. Потом вдруг приказала бригадиру:

– Вернись, Гоша, в диспетчерскую, передай дежурному по шахте: не нравится мне струя от шестой камеры.

И пошла следом за братом Гришей и еще тремя проходчиками. Еще через пятнадцать минут... Это был неслышанной силы выброс гремучего.

Это было... Вон сколько лет прошло с той ночи. Повзрослели, потом постареем, но во всю жизнь никогда ты не пройдешь, не проедешь мимо этого серого камня, чтобы не остановиться, как на перевале собственной судьбы, чтобы не помолчать, не попечаловаться и горько не погневаться.

Голдобин наклонился, глянул в лицо Веры и тронул ее руки. Ты поняла? Горюешь? Тогда правильная у тебя душа.

## НЮРА

### Рассказ

Пополнение после Днестровской операции гвардейская дивизия получила в лесах под Ковелем.

Наша маршевая рота долго шагала по ночным проселочным дорогам и где-то в негустом смешанном лесочке уже под самое утро объявили долговременный привал, с неторопливым перекуром, основательным подремыванием и перематыванием надоедливых обмоток. Я пристроил пилотку на чей-то пыльный ботинок, а на пилотку запрокинулся отяжелевшим затылком. Попробовал присмотреться к бледноватым предрассветным звездам, захотелось отыскать Большую Медведицу, Полярную звезду и определить свое местоположение на земном шаре, но явно не успел с этим и почти мгновенно заснул. Вернула уже в ясное тихое утро короткая привычная команда:

– Подъем! Ста-новись!

Со временем у солдата вырабатывается категорический рефлекс на все такие команды: дремлет ли он, обихаживает ли свое личное оружие или кашу со всем тщанием выскребает из котелка, а по команде «становись!» немедленно, с перевыполнением любых уставных нормативов оказывается в строю, точно на своем месте.

Окончательно развиднелось, и солдаты, мельком оглядевшись, стали узнавать друг друга: кто-то кивнул знакомому, кто-то подмигнул, может, кашу из одного котелка ели в эшелоне, махоркой ли поделились или домашние письма вслух почитали. Все это само собой, но ведь всех сейчас до зуда под мышками интересовал один животрепещущий вопрос: куда тебя на этот раз кинет твоя солдатская судьба? Кто ты будешь с сегодняшнего дня – просто «активный штык» или «штык с каким-нибудь особым смыслом», – разведчик, допустим, или, не дай и не приведи господь, минер!

Перед нашим разнокалиберным строем уже идет старший лейтенант – общевойсковой. Гвардейский значок над правым кармашком стираной аккуратненькой гимнастерки, на левой стороне груди две

серебряные медали, обе – «За отвагу». Молоденький, кажется, из самых что ни на есть молодых, а глазами быстренький, вострый, ростом средненький, лицо обыкновенное, мальчишеское, без всякого начальственного значения.

Он медленно пошел по фронту. Мне мимоходом кивнул: «Станьте, старшина, на правый фланг». Соседу моему так же точно кивнул: «Перейдите, старший сержант, на правый фланг...» Еще трем-четырем такими же словами скомандовал и опять ко мне: «Товарищ старшина, два шага вперед... Кру-гом! Вольно. Приведите строй в порядок. Докладите».

По-уставному, но с отвычки, наверное, излишне зычно привожу строй в надлежащий вид, печатаю шаг, докладываю:

– Товарищ гвардии старший лейтенант, команда пятьдесят три по вашему приказанию построена. Докладывает...

Скомандовал он «вольно», но тут же оглянулся в сторону невысоких кустиков, кого-то там высмотрел и уже сам подал звонкую такую, почти песенную команду:

– Смир-рна!.. Равнение н-на... середину!

Тотчас из-за кустов, можно сказать, не вышел, а степенно так выдвинулся грузноватый, среднего роста майор, с вислыми мужичьими плечами, крупными в кистях руками. Лицо широкое, открытое, нос вздернутый, конопатый. Чем угодно могу поручиться, что мужики с такими носами происходят если не с Енисея, не с Оби, то никак не западнее Кулунды.

Майор остановил доклад старшего лейтенанта, спросил:

– Люди проинструктированы?

– Никак нет! – вытянулся старший лейтенант.

– Накормлены?

– Никак нет, товарищ гвардии майор... Кухня задерживается. Ночью мостик через речку прямым попаданием...

– Ха-арошо начинаем воевать, ничего не скажешь. Да вы народ, по всем статьям, терпеливый, понимаете, что все обтерпится и образуется. – Он кивнул в сторону офицера: – Гвардии старший лейтенант

Завьялов – Пээнша – один, иначе: начальник штаба отдельного саперного батальона Гвардейского. Сталинградского. Я – командир вашего батальона, майор Романов Евгений Михайлович. Кое-кто из вас, может, и посетует на судьбу, определившую отныне воевать в саперах, в минерах. (Тут я не сдержался, вздохнул: твоими бы устами да мед пить, товарищ гвардии майор!) Ничем другим порадовать не могу, только замечу: всему учиться придется на ходу, а там все образуется. Каждый солдат в нынешней войне по необходимости становится и сапером и минером. Такая война. А теперь... мне чутье подсказывает, что где-то на подступах к нашему расположению двигается батальонная кухня. Наш повар славится наваристыми борщами. Командуйте, товарищ старший лейтенант.

А тот в свою очередь ко мне:

– Командуйте, товарищ старшина!

До конца войны, до Берлина провоевал я в рядах гвардейского саперного и, не утаю, ни разу не покаялся, что солдатская судьба именно так мною распорядилась. И командира батальона, потом подполковника Романова, изучил как будто в разных ситуациях досконально, но запомнил его вот таким, как при той первой встрече: и коротко категоричным, и между слов – добродушно-внимательным. Но и за этим широкоскулым добродушием всегда, как невидимая боевая пружина на взводе, крылось что-то необъяснимо волевое, отчего тебе в любой обстановке хотелось отчеканить: «Слушаюсь, товарищ гвардии подполковник. Сделаю!»

Помню, уже на Одерском плацдарме, весной 45-го, мне как-то случилось сопровождать командира батальона с паромной переправы к переднему краю, за населенным пунктом Рейтвейн.

Вышли ранним слякотным утром. Передний край глухо молчал, будто сама война притомилась от многодневной мартовской мокрогодицы.

Третьей у нас спутницей оказалась как есть девчонка-девчонка – тоненькая, малорослая, в коротеньком ватничке – санинструктор одного из артдивизионов. Эта так она сама доложила подполковнику, попросила разрешения присоединиться к нам, когда мы уже карабка-

лись с парома на прибрежную дамбу. Подполковник что-то разрешающе гугукул.

– Втроем всегда веселее, особо по такой плаксивой погодушке, – словоохотливо начала санинструктор уральской скороговорочкой.

А потом и понесла, и понесла, будто годами ни с кем не разговаривала. Вскорости нам стало известно, чем знаменит на всю Россию ее родимый Невьянский завод, запомнилось, что девятилетку она закончила – ни два ни полтора, а курсы санинструкторов одной из первых. Но войну она все равно ненавидит. Только иногда и полегчает будто, если удастся быстренько, благополучно доставить раненого до санитарного района. Только тогда чуток и полегчает. А третья батарея их арtdивизиона одна из лучших в соединении. Комбат Коля, из архангельских, совсем молоденький, но это опять же с какой точки на него посмотреть. Если уж третья батарея заговорила по целям, фрицы враз забывают и про свой очередной эрзац-кофий, да и про весь фатерлянд.

– И вообще, – она усмешливо двинула плечиком. – Он только очень стеснительный, комбат Коля, особо когда осматриваешь его по форме «двадцать». Даже ругается. А вообще, народ на батарее по-русски чистый, опрятный, ни животами не болеют, ни простуда их не касается.

А сегодня она в кои-то веки заночевала у девчат в санбате. Это же, чесслово, пионерский лагерь да и только – тишина и благоухание, – восемь километров от передовой. Постелька на соломенном матрасе, прохладные простыни, настоящий чай из самовара и к нему две карамельки «раковая шейка». Истинная фантазия! А посередь ночи переполох: какой-то заблудившийся дальнобойный как ахнет метрах в ста от палатки. Началось такое – хоть кино снимай! Кто-то скомандовал: «По щелям!» Еще одна потребовала: «Дневальный, прекрати безобразии, мне же в четыре на дежурство!»

– Воще, товарищ подполковник, тылы!

Я так и не понял, слушал, нет ли командир всю эту девчужкину информацию. Может, и слушал вполуха, а сам, видно, думал о делах на переднем крае. Как раз этой ночью во время минирования погибли три наших сапера.

Мы уже больше половины дороги одолели, и до Рейтвейна было рукой подать. И вдруг вокруг нас что-то как будто изменилось. Подполковник остановился, мы – рядышком. Слуха коснулся низкий подвывающий гуд с хмурого неба. Музыка знакомая – многомоторные «хейнкели». Какая еще нелегкая их несет в такую противопоказанную погоду? И к тому же на плацдарме к концу марта почти каждый куст, каждая ложбинка были до предела начинены зенитным огнем.

Потому-то, кажется, даже сам тоскливый воздух мгновенно загустел от взрывающегося шипящего металла, от перекрестных светящихся трасс. А «хейнкели», как замороженные, хоть бы немного строй нарушили. Секунда, другая, зенитный огонь все стервенел... Вдруг из-под всех трех бомбардировщиков рванулось хвостатое оранжевое пламя.

– Ур-ра-а! Капут всем!.. – восторженно закричала девчушка-санинструктор и вздела ручонки над головой.

Но подполковник только суховато мельком глянул на нее.

Из-под «хейнкелей», с пылающими хвостами, вынырнули три крылатые темные машины и на крутых виражах, видимо управляемые по радио, с очень резким снижением пошли на наши армейские переправы.

Самолеты-снаряды! Вон чем вздумал удивить нас Гитлер у самого порога своего логова. В ту минуту я и думать позабыл о лавине зенитных осколков, которые все яростнее низвергались с мокрого неба. У центральной переправы рвануло. Один раз. Мы напряженно прислушивались. Нет, всего один разок рвануло, а нырнули к реке три самолета-снаряда. Не иначе, подвела немцев своя чудо-техника. О «хейнкелях» же больше не думалось, то была забота зенитчиков.

– Старшина!..

– Старшина!..

Гляжу, а командир мой как-то неловко, боком, опускается прямо на сырую тропинку. Скулы серые, а в глубоких строгих глазах истинно мальчишеское удивление. Санинструктор первая, потом я – к нему. Но он уже почувствовался, отмахнулся:

– Пустое, солдаты... Своим осколочком, видно, задело... Они же на излете.

Но санинструктор решительно опустилась на колени и попыталась положить командира на спину.

– Разрешите, товарищ подполковник...

– Чего разрешите? – приподнялся тот. – Я же сказал, железка на излете...

– Разрешите осмотреть.

Подполковник насупился:

– Русский язык понимаете?

Санинструктор тряхнула русой челочкой:

– Русским языком и говорю: лежите!

Нет, это был не командирский окрик, а просто что-то по-женски властное и в то же время дочернее, от чего ни душой, ни глазами никуда не денешься.

Мгновенно блеснули ножницы – и ватник, гимнастерка, рубашка под ними распались, обнажив грудь повыше правого подреберья. Трескуче распечатались два индивидуальных пакета. Маленькие, обветренные, но чистые руки сноровисто делали свое неотложное дело, личико девушки было непроницаемо замкнутым, сухие губы сжаты почти в неприметную полоску.

На меня она только раз равнодушно зыркнула:

– Что столбом стал? Положи командиру сумку под голову...

Через самое малое время грудь командира туго перепоясали бинты. Санинструктор приподнялась, пощупала разрезы на одежде и сожалеюще причмокнула:

– Чинить придется, товарищ подполковник. Не обессудьте, испугалась я... Ранение касательное. В санбате всё сделают за одну минуту. Извините, товарищ подполковник, старшина вам поможет, а мне разрешите следовать в свое подразделение?

Командир был уже на ногах и с любопытством рассматривал все те же разрезы на своем обмундировании. Рассеянно кивнул:

– Идите.

– Счастливо, товарищ подполковник.

И санинструктор пошла легкой скользящей походочкой по извилистой тропке, меж фугасных воронок, через весенние мочажинки. Только тогда я снова глянул на своего командира. А он смотрел на далекие Зееловские высоты, на хмурое небо над нами, глаза его были неподвижны, как на моментальной фотографии, и почти белые от ненависти. Слов у него, видно, никаких не было, они, слова, должны были, не родившись, сгореть в этой яростной вспышке ненависти к войне, к смерти. Напротив своей личной смерти. Могла ведь умереть посреди этой чужой земли и махонькая девчушка, уходившая сейчас от нас.

Командир переступил, кашлянул, глаза его ожили, и он окликнул санинструктора. Та мгновенно обернулась и молча, бегом, перепрыгивая мочажинки, приблизилась, скоренько, коротко передохнула:

– Вам плохо, товарищ подполковник?

Он глядел, глядел на нее, потом виновато спросил:

– Уважь, доченька, скажи, как зовут-величают?

Она не удивилась вопросу, только на секунду прижала кругленький подбородок к своему плечу, искоса глянула на командира из-под тонких бровок и почти шепотом сообщила:

– Мамаля Нюсей кличет... Тятя, когда живой был, еще до Сталинграда, Нюрой меня в письмах называл...

– Нюра... – подполковник осторожно притянул ее к себе за плечи. – Нюра, я, видно, ровесник твоего бати... Я поцелую тебя, Нюра...

И она стремительно подняла к нему навстречу свое лицо – такое чистое, звонкое!

А потом снова пошла по весенней военной тропке. Оглянулась раз, другой – и пошла быстрее, быстрее. Ее ждала знаменитая третья батарея, которой командовал стеснительный молоденький парень из Архангельска.

Наталья Герасимова (Волошина)

## ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА ВОЛОШИНА

Центральное место в творчестве Александра Никитича Волошина занимают романы «Земля Кузнецкая», «Дальние горы», «Всё про Наташку». Что найдет сегодняшний читатель в этих книгах, написанных семьдесят лет назад? Те, кто постарше и знают советскую литературу, быстро сориентируются: «Ага, директор шахты, производственное совещание, собрание горняков... Да это же производственный роман! План, соцсоревнование, борьба хорошего с лучшим. Знаем-знаем! Читали, смотрели! Давно это было, как будто в другой жизни. Но ведь было в той жизни что-то очень хорошее и важное! Какой-то размах ощущался, как биение одного большого сердца в огромном организме страны. Сейчас что-то подобное бывает разве что на 9 Мая, во время шествия Бессмертного полка. Может быть, нам казалось, что всё «это» знали? Сегодня вновь пришла пора оглянуться назад и внимательно рассмотреть наше наследие, а заодно и себя самих. И тем, кто помоложе, нелишне было бы покопаться на библиотечных полках (своих-то библиотек в домах все меньше и меньше). На худой конец, погулять по просторам интернетовских книгохранилищ, приглядеться к своему литературному наследию. Может быть, не такими наивными были их деды и прадеды, в своих ватниках построившие страну, которую не победить ни в горячих, ни в холодных войнах? Это не праздные вопросы, они касаются каждого.

В последние годы по-новому прочитывают советскую литературу историки и литературоведы. О производственном романе уже не говорят с презрительной усмешкой, как о чем-то почти неприличном. Более того, именно производственный роман стали рассматривать как абсолютно уникальный жанр, созданный советской литературой. В чем же его уникальность?

Ответом на этот вопрос является роман Волошина «Земля Кузнецкая», конечно, наряду с другими произведениями этого жанра.

Уникально и неповторимо время, в котором разворачиваются события романа, – послевоенное время. Еще не отболели раны, еще свежи в памяти долгие дни и годы сражений, годы горьких потерь; они то и дело врываются в новую, такую желанную, заново обретенную жизнь.

Идет первая послевоенная пятилетка. Место действия романа – Кузбасс, шахта «Капитальная», одна из шахт Березовского рудника. Именно такое название носила первая шахта Кузбасса. Нельзя не обратить внимание на символику названия. Об этой символике хорошо написано в статье Г. И. Карповой о романе Волошина: «капитальная» – значит прочная, рассчитанная не на день-два, а на века. Жители Кузбасса легко узнают прототип шахтерского поселка Березовский – город Осинники. И место, и время читатель видит очень конкретно. Действие отнесено к 1946–1947 годам. При этом в роман включены военные эпизоды: рассказ главного героя Павла Рогова о подвиге его друга, снайпера Степана Данилова, рассказ самого Данилова о встрече с любимой девушкой Тоней Липиловой во время смертельного боя. Эти истории из недалекого военного прошлого вносят в повествование героическое напряжение. Герои романа – герои не только по своей роли, они герои по самой сути своей. И то, что они делают, – это тоже сражение. Выполнение четвертого пятилетнего плана – грандиозная задача: необходимо и восстановить разрушенные войной территории, лежащие в руинах города и села, и стремительно продвинуть страну в будущее, обеспечить безопасность, создать материальный плацдарм совершенно нового социального мироустройства, в котором каждому человеку будет дана возможность реализовать свой человеческий потенциал. Здесь, как в бою, нельзя расслабиться, понадеяться на других. Участие в великом деле созидания новой жизни вносит в судьбы людей героическое начало.

Главный герой романа – демобилизованный гвардии капитан Павел Рогов, горный инженер по профессии, приезжает в родной Кузбасс и начинает работать на шахте «Капитальная». Перипетии его отношений с коллегами: начальником шахты Петром Михайловичем Дроботом, бывшим однокурсником, а теперь начальником транспорта Семеном Ста-

родубцевым, главным инженером Федором Лукичом Филенковым, парторгом шахты Бондарчуком – во многом определяют развитие действия в романе. Герой спорит, доказывает и обосновывает необходимость нового подхода к работе шахты, преодолевает сопротивление одних, перетягивает на свою сторону других, добивается в конце концов поддержки коллектива. И читатель понимает, что в романе не один герой, Павел Рогов, человек с сильным характером и огромной волей к победе (не случайно автор дал ему такую говорящую фамилию).

Не менее важен и другой герой – трудовой коллектив шахты. Вот он-то, этот герой, и «дает стране угля». Не случайно возникло это выражение. «Давать стране угля» – значит делать что-то грандиозное, необычное. Сегодня мы часто произносим: «Ну ты даешь!», даже не задумываясь, что за этим восклицанием стоит вошедшее в язык выражение «давать стране угля», только в усеченном варианте. Уголь уже не занимает в народном хозяйстве того особенного места, которое занимал в годы первых пятилеток, когда имена шахтера Стаханова и его последователей были у всех на устах. Уголь все настойчивее вытесняют нефть и газ, они теперь «народное достояние». Но в Советской стране место угольной промышленности и шахтеров было чрезвычайно важным. От угля зависела металлургия, энергетика, станкостроение – базис советской экономической мощи. Уголь нужен был промышленности, как хлеб людям. Поэтому шахтерское дело имело особый статус, было приоритетным, наряду с военной промышленностью. Автор романа ведет читателей не только в кабинеты начальников, где идут дискуссии противников и сторонников новых методов работы. Он проводит их по забоям, лавам, штрекам, квершлагам. Техника и технологии производства, конкретные действия и особенности работы маркшейдеров, проходчиков, забойщиков, запальщиков – целая энциклопедия шахтерского труда проходит перед глазами читателя. Возможно, это создает некоторые трудности чтения для тех, кто далек от шахтерской жизни, но при этом придает повествованию абсолютную достоверность. Бывший шахтер Волошин пишет о том, что знает не понаслышке.

Жизненно достоверны и образы героев-шахтеров. Вот Афанасий Петрович Вошин, старейший и опытнейший профессионал своего шахтерского дела, рядом с ним его сын Григорий Вошин, «матерый шахтер», как уважительно характеризует его автор; вот старый маркшейдер Герасим Петрович Хомяков, а рядом с ним молодежь из бригады Михаила Черепанова, только-только окончившая ФЗО и бросающая вызов на соревнование богатырю-забойщику Хмельченко. Вот фронтовой друг Рогова Степан Данилов, Герой Советского Союза, работающий в комсомольской бригаде имени себя. Каждый из них индивидуален, обладает своеобразным характером, своей манерой мыслить и говорить.

«Найти за словом интонацию» – важнейшая задача писателя. Писатель с удовольствием рисует и внешний облик своих героев, их портреты. И вместе с тем все они – большая семья, где есть старики, взрослые и почти дети (одного из молодых героев автор с умилением и нежностью называет Митенька, Митенька Голдобин, одну из молодых героинь зовут Аннушка). В недрах этой большой семьи и происходит главное действие романа – рождается и растет творческая личность человека. Не какого-то одного человека, а почти каждого из героев. Очень точно сформулировал стержневую тему романа Е. Л. Цейтлин: «...Среди многих вопросов и тем есть одна, безусловно, самая главная тема для писателя и словно бы вбирающая в себя иные. Это тема творческого и нетворческого отношения к жизни. Творческого и нетворческого труда. Именно эта проблема определяет в конце концов расстановку основных героев романа, его истинный, продиктованный действительностью, а не дежурной литературной схемой конфликт, композицию да и стиль “Земли Кузнецкой”». Не тонны угля и проценты, не рост производительности труда, даже не процветание родной страны в целом, а рождение в труженике творца, в обычном человеке героя – самая важная, как мне кажется, мысль романа. Отсюда вытекает своеобразная патетика, приподнятость языка и стиля.

Интерес романа связан не только с особенностями жанра, но и с великой традицией русской классической литературы: он вписывается

в большое число произведений, дающих так называемый географический образ России. В прологе открываются перед возвращающимися с фронта солдатами просторы родной земли. Сразу приходит на память название поэмы Твардовского «За далью – даль». В традиции русской литературы, начиная еще с Ломоносова, так видеть Россию – в ее неоглядной шире. Писатель находит необычное слово, передающее волнение, восхищение солдат, когда их поезд пересекает западную границу и открываются родные просторы: «сердце разыгралось». Забилось быстрее от радости и предчувствия счастья. Сердечной теплотой, счастьем и гордостью наполнены страницы романа, посвященные Сибири.

Сибирь-матушка – великая любовь писателя Волошина. Он то отмечает ее скромную неяркую красоту, то любит величественными видами ее гор и стремительных рек. Особенно поэтичны картины сибирской весны: «Прямо в окно из синего бездонного океана плыло громадное белое облако. Вот это весна! Хоть так верти, хоть эдак – все равно весна. И где еще такую весну сыщешь, кроме Сибири, – она наступает вдруг. Словно солнце вспомнит однажды утром: «Стой, есть ведь еще у меня работающая Сибирь! Что же это она до сих пор укутана в снега? Нехорошо... А ну-ка!» И пошло! Загремят ручьи, осядут, подернутся звонкой глянцевиной коркой снежные сугробы, зачернеют проталины на лесных полянах, и, глядь, не успела просохнуть первая немудрящая кочка, а на ней уже две медуницы синеоко оглядывают окрестные дали. Здесь же, рядышком, раскрывает белые прозрачные лепестки подснежник, а в логах и распадках гремят новорожденные речки. Послушайте в час голубой зари, когда бархатные тени лежат под нижними ветками пихтача, и – слышите? – издали несет глухое бормотание тетеревов, а поближе будто серебряный рог запел – идет лось по тайной тропе; над болотными мочажинами завели хором сороки-хлопотуньи, частую дробь выбивает дятел, и где-то стороной просвистели в быстром лёте две пары уток. А день поднимается, вширь раздается, и, кажется, не будет ему предела, и воздух как молодое вино: глотнешь разок – сердцу жарко». На фоне этой искренней влюбленности не режет слух даже откровенная патетика таких слов: «Кузбасс,

выросший, как рабочий, возмужавший, как солдат, чистый и строгий в своих простых одеждах... Кузбасс – это шахты, заводы, электростанции, колхозные пашни. Кузбасс! Сколько же нужно прожить, не старея, не уставая, чтобы переделать хотя бы часть твоей великой, твоей нужной работы!» В романе происходит странная, на первый взгляд, встреча очень разных тональностей, очень разных образов миров: первозданного мира природы, где нежно, «неслышно ступает негасимая синеватая зорька», и созданного человеком мира городов и рудников, «полыхающего заревами огней».

Волошин именует сибирский край шахтеров то Кузбассом, то землей Кузнецкой. Устами Павла Рогова он уточняет, что Кузбасс – это «в просторечье» название земли Кузнецкой. Очевидно, оно возникло по аналогии с Донбассом. (Два угольных бассейна как два родных брата-шахтера.) В то время как земля Кузнецкая – имя собственное, неповторимое. Это и особый географический ландшафт, который не спутаешь ни с каким другим, и люди, ставшие неотъемлемой частью этой земли, вдохнувшие в нее высший человеческий смысл. Земля Кузнецкая на страницах романа прекрасна. Размышление о ней, ее образ развивают большую лирическую и философскую тему всего творчества писателя, тему общей мировой жизни человека и природы. Уже в первом рассказе «Победа» (1934) Волошин видит своего героя Володьку на вершине горы Елбань, самой высокой из окрестных гор. Автор пока не слишком озабочен подбором оригинальных сравнений: взгорья напоминают океанские волны. Непреоборимая сила гор влечет к себе юношу. Ему «хочется упасть в объятья далеких падей... Хочется обнять, прижать к себе это необъятное безбрежье земли, хочется без конца вдыхать запахи увядающих трав. Они так сладки... Мысли горячие, теплые, влекущие к чему-то далекому и неиспытанному, эти мысли волнуют кровь, и она толчками струится из сердца по мускулам тела, и руки тянутся к небу. Непреодолимо влечет пройти по бархатной синеве небесного свода и запеть. Запеть песню неслышанную, непропетую, так громко, чтобы слышал весь мир, вся земля, чтобы песня поднялась выше этих гор, леса». И вместе с тем «грудью, всем

телом, распластанным на земле, Володька чувствует глухие подземные гулы. На сотни метров ниже вершины подрабатываются угольные пласты. Там штольня, ее запахи слышны и здесь... От близости штольни на душе спокойней». Человек в этом эпизоде предстает как герой некоего мифа, связующий и своим телом, и своей душой небо и землю. Он живет в двух мирах, но не распадается, не рефлексировать. Он «связь миров, повсюду сущих» (Державин). Дальше в рассказе описана трудная работа молодых шахтеров, пробивающих шурф, выход на-гора, чтобы как можно быстрее дать воздух в забой. Никакой символики: все действия и обстоятельства изображены с натуры, просто, четко, конкретно. Сочетание романтической одухотворенности, восторженного любования красотой целого мира и погружение в конкретику производственно-социальных обстоятельств, локально и хронологически очерченных, - характерная черта художественного мира Александра Волошина с самого начала.

Во втором романе дилогии («Всё про Наташу») мы встречаем героев «Земли Кузнецкой» в неожиданной ситуации. Павел Рогов, любимый герой Волошина и многочисленных читателей «Земли Кузнецкой», оказывается в колонии для преступников. Из дальнейшего повествования мы узнаем, что Рогов был обвинен в гибели своих близких друзей и любимой женщины Гали Вощиной. Они погибли в шахте от взрыва метана. Далеко не сразу автор раскрывает нам причину такого крутого и страшного поворота в судьбе героя. И только в последних главах устами Афанасия Вощина объясняет происшедшую трагедию и поведение Рогова. В рассказе Вощина мы встречаем несколько объяснений того, почему Рогов пять лет отбывает наказание за взрыв на шахте, который не мог ни предвидеть, ни предотвратить. Это происки недоброжелателей, мстящих Рогову за прямоту, силу характера, нетерпение к приспособленцам всех мастей. Это бюрократическая волокита, с которой столкнулись защищавшие Рогова в суде шахтеры. Но главное – это добровольное страдание, признание своей личной вины за всякое зло, творящееся в мире. Как сказал об этом старый шахтер Вошин: «Случись землетрясение, скажи ему: ты виноват, и он за

милую душу сознается. Потому что в ответе за каждую душу». Мотив страдания развивает уже знакомые по первому роману темы ответственности за судьбу страны и каждого человека, борьбы за «тлеющий в сердцах уголек», который обязательно нужно разжечь, чтобы светил и грел. Но в новом романе он приобретает явно христианскую окраску в духе Достоевского. Все явственнее ощущается связь писателя с национальной традицией русской литературы. Если в первом романе, переживая разрыв с любимой девушкой Валею Евтюховой, Рогов с болью спрашивает: «Ну разве так можно? Разве можно, чтобы так трудно было?», то во второй книге он отвечает себе: «Что в жизни главное? Все главное. Все. <...> И потом, если уж напрямую подумать, то и страдание истинное существует. И счастье. Существуют рядышком».

Раздвигаются временные границы: в повествование вплетаются в роман истории, уходящие в годы не только Отечественной, но и Гражданской войны, еще глубже – в дореволюционное прошлое героев и целого региона. Вместе с героями читатель узнает о причинах катастроф на шахте: жертвой очередной из них становится сам Павел Рогов. Газовые камеры и гидрокамеры, своего рода подземные бомбы, были созданы намеренно еще немецкими и французскими хозяевами богатого ценными ископаемыми региона, чтобы заблокировать соперникам путь к самым угленосным местам. За слепой силой природы стоит отнюдь не слепая, проникающая сквозь земную твердь хищная воля европейских капиталистов.

Раздвигаются социальные границы романа. Появляются места и персонажи из других сфер жизни. Мир утрачивает целостность. Зло, предательство, насилие в прошлом и настоящем вносят в текст ноты печали и горькой иронии. Лагерь для преступников с колоритной фигурой вора-рецидивиста Коняка, с одной стороны, и с фронтовым другом Рогова, начальником лагеря, одиноким, тоскующим Кузьмой Кузьмичеом, с другой. Мы отправляемся в геологическую экспедицию, в которую откомандирован Рогов в начале романа. Ее возглавляет знакомый нам по первой книге соперник Рогова в любви профессор Василий Пантелеевич Скитский, ставший уже академиком. В экспедиции,

в делях сибирской тайги, Рогов встречается осужденную за убийство (из ревности) певицу Любу. На далекой башкирской станции Янаул знакомится Рогов с заведующей детским домом Ксенией Захаровной. Вернувшись из заключения, он встречается старых и новых друзей Вощина, Дубинцева, Черепанова, Бондарчука. Новое лицо в романе – Аким Акимыч, изобретатель-самоучка, ставший одним из ближайших друзей: Рогова. Входит в его судьбу Вера Чугунова и ее отец – таежный охотник Дмитрий Прокопьевич Чугунов.

И самое главное, рядом с героем появляется дочь Наташка. Случайная, короткая, как сибирское лето, любовь между Роговым и Любой, молодой женщиной со сложной судьбой и непростым характером, дарит герою романа самого родного на свете человека – дочь. Меня часто спрашивают: Наташка в романе – это я? С меня списана? Отвечаю: нет. Разве что такая же худенькая, как я в детстве. Не было в моей жизни бросившей маленького ребенка матери, драмы сиротства, детского дома. Вот разбитые коленки были, были поездки на машине-амфибии с другом семьи Яковом Яковлевичем Гуменником, гениальным изобретателем проходческой машины и Героем Социалистического Труда. (Он стал прототипом Акима Акимыча.) «Всё про Наташку» – название провокационное, потому что не маленькая девочка в центре повествования. По-прежнему стержень романа – судьба Павла Рогова. Роман впору было бы назвать «И это всё о нем». Какова в таком случае роль Наташки? Она как маленькое зеркальце, как капелька чистой прозрачной росы, в которой отражается герой и окружающий мир. В своих главных чертах Павел верен себе. Смысл жизни для него связан с шахтерским трудом. Став начальником треста, он в ответе не за одну шахту, а за целый район. И вновь ведет войну за новые достижения и успехи, объединяет вокруг себя живые творческие силы. Но присутствует в его жизни и держит в своей орбите родненькое (одно из любимых слов автора) дитя. Понятие «родина» наполняется не только торжественно-высоким смыслом, но и теплотой семейных кровных связей. Неполон тот человек, кто не познал своего народа и рода. Через частную человеческую жизнь, через малое дитя автор дает своему

герою познание глубочайших корней народной жизни. Не случайно с образом Наташки связан в романе мотив святости. Рогов называет станцию, где ждет его дочь, своей Меккой. Среди бед и бурь неустроенной жизни загорелась для него путеводная звезда, без которой уже немислимо жить.

Обратим внимание на новые художественные особенности романа «Всё про Наташку». Повествование утрачивает четкость смыслового единства. Появляется фрагментарность, диалоги обогащаются подтекстом. Все чаще звучат в романе старинные обороты речи, все колоритнее слова и интонации. Целые пласты языка, подобно угольным пластам, вскрывает автор. И появляются цитаты из церковнославянского языка, входят в текст такие слова и выражения, как «грех», «отцы-праведники», «Богом данная душенька», «в лености житие мое иждих, без ума смеяхуся». Герои-атеисты, декларирующие отказ от религии, хранят в своих душах христианскую по сути совесть и веру в высокое предназначение жизни. Как кержаки, сменившие спокойную зажиточную крестьянскую жизнь на беспокойную, опасную жизнь шахтеров и сохранившие при этом основательность семейных устоев. Герои Волошина и в первом романе не схематичны, но в последнем психологически сложнее и достовернее.

Удивительное свойство литературы – способность сопрягать очень далекие тексты через классические мотивы и символы. Волошин оставляет своего персонажа в пути. Его судьба одарила семейным счастьем, но она не завершена. Слепший после аварии на шахте, Рогов летит на самолете в клинику, где ему должны вернуть зрение. Повествовательный финал открыт. Но внутренний, философский план романа в свете литературной традиции практически завершен: слепота равна прозрению. Для того чтобы познать истину, не нужны глаза, ведь она познается сердцем. Сердцем чувствует Рогов любовь и поддержку Веры Чугуновой, восполнившей недостающее звено в семейной жизни Павла и Наташки – жены и матери.

В творчестве Александра Волошина ясно отражен этический идеал писателя. Лучших своих героев он характеризует такими чертами, как

чистота и свет. Чистый взгляд, чистое лицо, чистые глаза, чаще всего синие, – портретные детали, повторяющиеся в книгах не раз. В образах любимых героинь характерная деталь – лицо «матовой белизны». Чистота должна присутствовать в человеческой жизни и в своем буквальном значении. Мытье шахтеров после смены, часто повторяющаяся деталь в повествовании, помимо достоверности в изображении процесса шахтерского труда, имеет и символический смысл. Чистота – внешнее выражение внутреннего свойства, совести. Рогов требует чистоты не только в рабочем общении, но и в забое, где, казалось бы, не до чистоты. «Запомни, – Рогов уже с трудом сдерживал раздражение, – штрек на сто метров в ту и другую сторону – твое хозяйство. Вернусь сюда к концу смены, и если участок будет по-прежнему по уши в грязи, я назову тебя лодырем... При всех назову!» Для провинившегося шахтера это очень серьезная угроза. «Чего там... понял!» Какая детская совестливая чистота на грани наивности в этих людях!

Не менее важное определение внутреннего мира героев – светлый. У шахтеров особые отношения со светом. Они проводят всю свою рабочую жизнь под землей. Но мы не видим в романе «скорбный труд», страдание людей в «каменных норах» (кроме сцен завала в забое, когда в темной ловушке оказался молодой Дубинцев). Разительно отличается образ шахты у Волошина и в классическом романе о шахтерах Э. Золя «Жерминаль». Конечно, следует учитывать историческую дистанцию между этими произведениями, технический прогресс. Но принципиальна разница во взгляде на человека и его труд. В романе Золя шахтеры – рабы шахты, высасывающей из человека все силы, уродующей и тела и души. Шахта – мрачная ловушка, в которую их загоняют обстоятельства и далекие, недоступные хозяева.

Герои «Земли Кузнецкой» приносят в шахту не только электрический свет, но и свои светлые надежды и мысли. Фантазер Митенька Голдобин мечтает о создании над забоями огромных окон, чтобы свет из них лился на работающих шахтеров. Не менее фантастическую картину рисует в воображении Павел Рогов: «А вдруг бы мы с вами совершили сейчас невозможное – ухватились бы за край кузбасской земли

у подножья Алатау и приподняли бы его... А? Посмотрите-ка, что мы увидели бы! Ночь, а сразу над землей стало бы светло. Видите, сколько забоев, сколько людей, слышите, какой грохот поднимается к самому небу?» Сегодняшнему читателю, воспитанному на экологических спорах, эта картина может и не понравиться. Но для шахтерской темы она очень важна. Не слепая жадность движет этой массой людей, рушащих угольные пласты, добывающих земные богатства: они заняты вдохновенной работой по переустройству мира. Земные недра – это их достояние, как и вся своя собственная «наша земля». В конце романа писатель еще раз напомнит читателю мысль о родной земле как большом общем доме: «В серебристых сумерках на противоположном скате не видно было домов, и оттого светлые квадратики окон казались вделанными прямо в гору». Земля Кузнецкая не тяготится бурной энергией своих сыновей и дышит вместе с ними «сильно, молодо».

Многолетний творческий путь Александра Волошина – это путь поисков жизненной правды, поисков ответа на вечные вопросы: что такое день, в котором ты живешь? Писатель не может не видеть, что в стране происходит кризис официальной советской идеологии, и вместе со всеми мыслящими людьми своего времени ищет опору в глубине истории и национального русского характера. А где еще со всей полнотой проявляет себя характер народа, как не в бою за жизнь и свободу? Второй большой темой Александра Волошина является тема войны, причем и Гражданской войны, взятой широко как время победы и укрепления советской власти в Сибири, и Отечественной. Порой обе военные эпохи могут встретиться в одном произведении («Пора далекая»). Тема войны всегда волновала писателя, прошедшего по ее дорогам до Берлина. Так или иначе она отразилась в больших романах: во вставных эпизодах, в характерах героев, в концепции исторической эпохи – эпохи послевоенной.

Центральное место тема войны занимает в повестях и рассказах Волошина... «Зеленые Дворики», «Пора далекая», «Пойду, командир», «Нюра». В повести «Зеленые Дворики» события разворачиваются в сентябре 1941 года, в самую тяжелую пору, когда Красная

армия отступает: «...они все идут, идут – и в день, и в ночь, то чуть на север, то немного на юг или прямо навстречу солнцу, и кажется, не будет конца-краю этому непереносимому солдатскому исходу». Осталось у командира сводной роты Дмитрия Чугунова всего шестнадцать бойцов. Маленькая белорусская деревушка с трогательным названием Зеленые Дворики и стала для них тем смертным рубежом, за который они не могут дальше отступать. Не только для красного словца называет коммунист и председатель местного колхоза Николай Прохорович Грачев свои Зеленые Дворики – «богоспасаемые». Здесь и сейчас зреет, растет в душах защитников «чувство твоей необходимости». Оно «приневолит в землю зарыться, чтобы оттуда встретить врага, оно поднимет тебя выше всякой высоты, очистит от всех побочных забот и помыслов. Твоя необходимость и делает тебя солдатом в последней инстанции». И вот эти солдаты «в последней инстанции» совершают подвиг, кладут жизни за други своя. Не будут русские Зеленые Дворики называться ни Грюндорфом, ни Грюнхаузом!

На Одерском плацдарме в марте 45-го года встречаем мы героев рассказа «Нюра». Втроем они идут с паромной переправы на передний край. Это – старшина-сапер, от имени которого ведется повествование. Командир батальона подполковник Романов, в котором рассказчик узнает земляка-сибиряка. Портрет Романова как будто перенесен автором из шахтерских романов: грузноватый, «с вислыми мужичьими плечами, крупными в кистях руками», с широким лицом и вздернутым конопатым носом. Он из тех мужиков, которые «происходят если не с Енисея, не с Оби, то никак не западнее Кулунды». «Широкоскулое добродушие» подполковника сочетается с огромной силой характера, которую чувствуют окружающие его солдаты и офицеры. В любой обстановке на его приказ хочется отчеканить: «Слушаюсь, товарищ гвардии подполковник! Сделаю!» И вот рядом с этими бывальыми воинами оказывается молоденькая девушка-санинструктор, «как есть девчоночка-девчонка, тоненькая, малорослая». Она щебечет птичкой, «уральской скороговорочкой» про все на свете: про себя, про санбат, про комбата Колю, пересыпая речь словечками «воще», «чесслово».

Птичка и птичка! Как по-детски просто выговаривает она всю свою жизнь, где и начало любви, и опыт бомбежек, и ненависть к войне, и воспоминания о пионерском лагере как земном рае. Но именно эта девочка с трогательными детскими именами Нюся, как «кликала маманя», ими Нюра, как называл в письмах с фронта отец, сложивший голову под Сталинградом, – взяла на себя роль строгого командира, спасая жизнь раненого подполковника. В решительности ее действий, в сноровистости рук, делающих перевязку, в том, как замкнулось ее личико, как сжались сухие губы, автор узнает глубинную природу русской женщины, «что-то по-женски властное и в то же время дочернее, от чего ни душой, ни глазами никуда не денешься».

И в романе «Всё про Наташку» один из героев говорит о влюбленной Вере Чугуновой: «Она влюбленная – в этом весь и секрет. На всю жизнь она влюбленная. Это теперь уже русская женщина – таким не становись поперек самые геологические катаклизмы!»

В целом образы женщин в творчестве Волошина очень поэтичны при всем реализме их характеров. Как и во всей русской литературе, женщина, отношение к ней как к великой и прекрасной музыке (не случайно любимые героини Волошина любят и умеют петь) придают романам и рассказам писателя особенную задушевность.

Поразительна верность писателя себе в главных мировоззренческих установках и преданность своим темам и героям. Первый, опубликованный в 1939 году рассказ Волошина «Два товарища» в значительно расширенном и переработанном, но вполне узнаваемом варианте вошел в последнюю прижизненную книгу писателя «Время быть» (1976). Это рассказ о двух друзьях-подростках, которые наравне со взрослыми сражались против белогвардейцев в отряде сибирских шахтеров-партизан. Волошин как будто не может оторваться от своих любимых героев: Павла Рогова, Гаврилы Некрасова, Афанасия Воцина. Он возвращается к истокам, в их далекую юность. А для Рогова – в самое начало жизни, когда младенцем тот лишился отца Гордея Белова и матери Анны Роговой, казненных за помощь партизанам. В первом варианте рассказа один из друзей гибнет, а второй, потеряв лучшего

друга, выходит на бой с врагами закаленным бойцом. На приказ командира он коротко отвечает: «Пойду... командир...» Этими словами заканчивается рассказ, и эти слова становятся названием нового произведения – «Пойду, командир...». Многоточие вносит определенный смысловой оттенок. Ведь перед нами уже знакомые герои, автор уже дал им большую жизнь. В романах «Земля Кузнецкая», «Дальние горы» и «Всё про Наташку» мы на протяжении нескольких лет переживаем с этими матерыми шахтерами трудности и радости, потери и обретения. Эти слова в принципе повторены не случайно и начинающим писателем Волошиным, и зрелым мастером-лауреатом. Они чрезвычайно важны, потому что выражают своего рода символ веры автора, готовность человека к действию, к исполнению своей миссии на земле, если перед ним ясная и великая цель.

Наталья Герасимова

## БИОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВОЛОШИНА

Александр Никитич Волошин родился 31 августа 1912 года в Санкт-Петербурге. Его отец, Никита Лукич Волошин, родом из сибирских крестьян, после призыва в армию окончил в Петербурге школу прапорщиков, проявил недюжинные способности, получил чин подпоручика. За храбрость, проявленную на полях Первой мировой войны, был дважды награжден Георгиевским крестом. Семья Никиты Лукича и Пелагеи Афанасьевны Волошиных жила на 19-й линии Васильевского острова. На лето всей семьей вместе с детьми – старшим Александром и младшим Володей – выезжали в летние лагеря петербургских полков.

Успешная военная карьера отца была прервана в декабре 1916 года: Никита Лукич и Пелагея Афанасьевна с тремя маленькими детьми (7 мая 1916 года родилась дочка Оля) вернулись в Сибирь и оказались в самом центре роковых событий Гражданской войны. Как кадровый

военный, в июне 1918 года Никита Лукич был призван в армию Колчака. Командовал ротой 5-го Степного полка. Но в ноябре 1919 года вместе со своим отрядом вступил в Красную армию. Это был его сознательный выбор нового пути для себя, своей семьи и своей страны. Александр навсегда запомнил, как в холодном сибирском январе 1924 года ходил с отцом на станцию Каргат на митинг, посвященный смерти Ленина. Молодая советская республика прощалась с вождем революции и звала своих граждан к обновлению жизни, утверждению идеалов социальной справедливости и братства народов, к борьбе и труду.

После демобилизации Никита Лукич работал на железной дороге, и жизнь семьи была связана с работой отца: станции Чулым, Каргат, их окрестности, позже Новосибирск вот – места, где проходило детство Александра.

Что формировало характер будущего писателя Волошина? Какие детские впечатления он мог получить от перевернутой вверх дном революцией и войной жизни сибирских сел и станций? С одной стороны, – необъятные малонаселенные просторы Западно-Сибирской низменности с ее бесчисленными реками, озерами, болотами. Не оттуда ли любовь к воле, кострам у реки, рыбной ловле? Пелагея Афанасьевна вспоминала, как всей семьей ездили на озеро Чаны за рыбой, которую заготавливали бочками. С другой стороны, – транспортная артерия, по которой стремительно течет быстро меняющаяся, буквально на глазах, жизнь страны периода становления. И эта жизнь зовет молодое сердце принять самое деятельное участие в переменах. Трамплином становится учеба, участие в комсомоле, в ликвидации неграмотности. Воля, дерзость, вера в свои силы заставляют искать для реализации большие дела и проекты.

Оторвавшись от семьи, Александр отправляется туда, где куется будущая индустриальная Сибирь, на строительство Кузнецкого металлургического комбината. Он, действительно, не ищет легких путей. Да и были ли они тогда – эти легкие пути? Он работает на стройке землекопом, грузчиком, бетонщиком. Сил хватало и на тяжелый труд, и на общественную жизнь. Тогда происходит знакомство с одной из важ-

нейших творческих тем – с рабочим коллективом. Тогда проявляются таланты вожака, лидера, организатора.

Будущей сибирской металлургии требуется уголь. Так попадает Александр на Осиновский рудник. Становится секретарем комитета комсомола, руководит пионерским лагерем. Но главное, он становится шахтером: спускается в забой, работает запальщиком, забойщиком, познает тяжесть и ответственность этой опасной и такой необходимой стране работы. Шахтерскому труду, его печалям и радостям он навсегда отдает свое сердце. В 1934 году по совету старшего сына в Осинники переезжает вся семья Волошиных. Кто знает, было ли это роковой ошибкой или судьба все равно нашла бы свою жертву? Как у Тарковского: «..когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке».

В короткие 1934–1937 годы умещается служба Александра в армии, женитьба и рождение сына Валерия, учеба на заочном отделении Ленинградского коммунистического института журналистики им. Воровского. И море прочитанных книг... Литература занимает все больше места в жизни. Чтение сблизило Александра с первой женой, библиотекарем по профессии. В 1934 году в шахтерской газете «За уголь» состоялся литературный дебют Александра Волошина – публикация отрывка из повести «Победа». Открывались новые жизненные горизонты.

1937 год стал роковым для Волошиных, как для многих и многих семей той эпохи. Разделил жизнь на две половины, первая из которых внесет драматизм тайны, умолчаний, необходимость уходить от опасных вопросов о биографии или даже придумывать новую, в которой все идеологически правильно и твой отец не офицер царской армии (тем более армии Колчака), а рабочий Путиловского завода. Не пошли в зачет красноармейскому командиру конных разведчиков ни его идейный выбор, ни военная храбрость, ни участие в деле становления советской транспортной системы, когда потребовались грамотные служащие. По сфабрикованному обвинению Никита Лукич был расстрелян. Справку о его реабилитации сын получит только в марте 1957 года.

Перед своим арестом отец сказал сыну: «Ты отсюда уезжай от греха подальше». И на следующий день после ареста отца Александр с семьей уехал в Черемхово. Небольшой пока опыт сотрудничества с газетой приводит его в редакцию местной газеты «Черемховский рабочий», начинается путь в профессиональную журналистику. Пробой пера будущего писателя стал рассказ «Два товарища», опубликованный в «Сибирских огнях» в 1939 году. С этим журналом Александр будет тесно сотрудничать на протяжении всей жизни, он глубоко читал и уважал его редактора Савву Елизаровича Кожевникова. В «Сибирских огнях» будет опубликован в 1949 году первый и самый известный роман Александра Волошина «Земля Кузнецкая».

Великую Отечественную войну, все ее суровые и тяжкие четыре года прошел Волошин сапером, в 1942 году был ранен, контужен. После госпиталя вернулся в строй, вместе с наступающей советской армией гнал врага до западных границ, участвовал в освобождении Варшавы и штурме Берлина. Во время боев на Одере вступил в партию. Из Берлина в августе 1945 года был демобилизован в звании гвардии старшего сержанта 64-й инженерно-саперной Берлинской Краснознаменной бригады. Из нескольких заслуженных военных наград он особенно гордился орденом Отечественной войны и медалью «За отвагу». О переживаниях советских солдат, в том числе своих собственных чувствах и мыслях на пути домой, Волошин ярко напишет в прологе романа «Земля Кузнецкая».

Осенью 1945 года Александр возвратился туда, где начиналась его трудовая биография, в Сталинск (бывший Кузнецк). Сомнений в выборе пути уже не было. В Кемерове организуется литературная группа, куда входят Алексей Косарь, Антонина Полозова, Михаил Небогатов и другие. Активное участие принимает в работе литературной группы и Александр Волошин. Участники читают и обсуждают свои произведения, строят планы на будущее.

Желание писать, продолжать едва начавшуюся журналистскую деятельность приводит Волошина в областную газету «Кузбасс». Он работает собственным корреспондентом газеты по Сталинску, Меж-

дуреченску, Осинникам и Горной Шории, работает много и плодотворно. Страна быстро восстанавливается, Сибирь, вобравшая в себя эвакуированные заводы и фабрики, получает мощный толчок для развития. Много событий и историй должны найти отражение в печати, стать достоянием всего края. Волошин пишет много и быстро. Он то и дело появляется в редакции газеты с новыми материалами. За это его ценят, даже строгий главный редактор «Кузбасса» А. Бабаянц прощает ему независимый и строптивый характер. Здесь, в редакции, Александр встречается молодую девушку, машинистку Зинаиду Кукушкину, ставшую для него самым близким и дорогим человеком на всю жизнь, не просто возлюбленной и женой, матерью его детей, а еще и верной помощницей в творчестве. Чтобы помочь мужу в работе над задуманным большим романом, она уходит с работы, разделяет все трудности напряженного труда, все перипетии жизни, когда все отступает на второй план, а центром становится рождающееся произведение. Она верит в его талант и укрепляет в нем веру в себя. В 1947 году Александр переезжает в Кемерово.

С этого времени он постоянно живет здесь, до последних дней жизни. Несколько раз меняет адреса, а с 1952 года его адрес: улица Весенняя, дом 9, квартира 11. Дом угловой, и официальный адрес: Советский проспект, дом 104 (ныне дом 44). Сейчас на этом доме со стороны улицы Весенней висит памятная доска с барельефом писателя. Александр Волошин преданно любил Кемерово, не представлял жизни без растущего на его глазах города, его площадей и скверов, набережной реки Томи (любимое место прогулок). На предложения переехать в Москву, Иркутск, Новосибирск, которые посыпались в начале пятидесятых, отвечал отказом. Как жить без этой улицы и этой реки? Часто в 1960–1970-х годах видели кемеровчане его грузную фигуру на лавочке где-нибудь на бульваре Весенней или медленно хромающую, опираясь на палку, вдоль набережной.

Но это в будущем, а пока результатом самоотверженного творческого труда стал роман «Земля Кузнецкая». Одобренный сразу и редактором «Сибирских огней» С. Кожевниковым, и редактором «Нового

мира» К. Симоновым, роман был напечатан почти одновременно издательством «Советский писатель» в Москве и журналом «Сибирские огни» в Новосибирске. Публикация в журнале «Новый мир» была невозможна, так как в «Сибирских огнях» рукопись была уже в наборе. В романе Волошин открыл для читателей новую художественную территорию, целый материк жизни – землю Кузнецкую, землю шахтеров, незнаемое племя советских тружеников-энтузиастов, героев своей профессии и своего времени. Открыл этот материк в художественном слове, которое прозвучало свежо, убедительно даже для своих собственных обитателей, не говоря уже о тех, кто далек от горняцкого дела.

В марте 1950 года роман «Земля Кузнецкая» был удостоен Сталинской премии наряду с другими произведениями, напечатанными в 1949 году, такими как «Весна на Одере» Э. Казакевича, «Даурия» К. Седых, «Переяславская Рада» Н. Рыбака. Почти одновременно в 1950 году Александр Волошин получил диплом лауреата Сталинской премии (переименованной позднее в Государственную премию) и членский билет Союза писателей СССР.

Безусловно, Сталинская премия многократно усилила общественное значение романа: он больше двадцати раз переиздавался по всей стране, был переведен на иностранные языки (английский, венгерский, чешский, польский и даже китайский), как образец лучшей социалистической литературы.

Дальнейший творческий путь, как это и бывает чаще всего, лежал через неизбежные кризисы и дорого оплаченные успехи. В 1951 году выходит в свет второй роман Волошина «Дальние горы». Отвечая на запросы времени, Волошин обращается к драматургии, работает над пьесами «Испытание», «Цвести черемухе», сотрудничает с театрами Прокопьевска и Кемерово. Но работа идет трудно, начинается длительная полоса кризиса. Мало того что новый роман вызвал больше критики, чем похвалы, разгромная статья Ф. Гладкова «Об этике писателя», напечатанная в «Литературной газете» в 1954 году, открыла целый поток травли недавнего триумфатора. Тут и припомнили отца – врага народа, и брошенную обиженную первую жену, и чрезмерно широкую

расточительную натуру, которая еще вчера вызывала завистливые пересуды. Исключением из партии закончились эти разбирательства. На краю полного краха и отчаяния удержал Волошина А. Фадеев, отказавшийся исключить его из Союза писателей. В добавление к душевным мукам пришли и материальные проблемы. Еще вчера нетерпеливо требующие новых произведений, издательства и редакторы отказывались печатать посланные им рукописи. Мало того, требовали вернуть авансы, выданные ранее. Семья бедствовала. За долги была описана и продана замечательная библиотека, специально подобранная по просьбе покупателя в книжной лавке писателей в Москве. Долгим и трудным был выход из этого кризиса. Только к концу пятидесятых годов возвращаются творческие силы, возвращаются в работу задуманные и начатые произведения. Центральное место среди них занимает продолжение «Земли Кузнецкой» – роман «Всё про Наташку». Работа над ним занимает несколько лет, в течение которых, помимо романа, появляются в журналах и газетах многочисленные рассказы, повести, очерки, статьи.

Тяжелые переживания не сделали писателя нелюдимым, он никогда не замыкался в себе. Огромное место в его жизни занимает общение с людьми, встречи с читателями, поездки по Кузбассу, общение с коллегами, журналистами и писателями. Двери его дома были открыты не только для друзей, но и для всех, кому была интересна литература. Продолжается сотрудничество с областной газетой «Кузбасс». С 1959 по 1961 год Волошин работает главным редактором альманаха «Огни Кузбасса», собирает вокруг себя талантливую молодежь, читает огромное количество рукописей, присылаемых ему на суд, пишет отзывы и рецензии. В 1962 году в Кемерове было создано областное отделение Союза писателей. Александр Никитич принимает деятельное участие в работе отделения. Для многих начинающих писателей и поэтов Кузбасса рекомендация в члены Союза писателей, написанная им, стала путевкой в жизнь. «Доброе слово» – назвал он одну из своих рецензий и был всегда щедр на добрые слова о творчестве коллег.

В 1967 году Кемеровское книжное издательство выпустило в свет роман «Всё про Наташку», а следом дилогию: «Земля Кузнецкая» и «Всё

про Наташку». Это был пусть не оглушительный, но успех, завершение большой, почти двадцатилетней темы. Впереди ждали новые сюжеты и новые проблемы. Серьезные перемены в жизнь Волошина внесла травма ноги, полученная во время поездки с группой писателей в Междуреченск в декабре 1965 года. Автобус, в котором они ехали, столкнулся на сложном повороте с грузовиком. Шесть часов собирали новокузнецкие ортопеды раздробленные кости правой голени. Но нога так и болела все последующие годы, ломалась при падениях еще дважды. Нет сомнений, что эта травма отразилась на состоянии здоровья и существенно сократила дни жизни писателя. Он умер от инфаркта в своем кабинете, сидя в любимом старом кресле, 27 мая 1978 года. Символично, что его последняя книга, увидевшая свет в 1976 году, названа им «Время быть». Быть – не просто жить, существовать. Быть – значит осуществлять свою волю и веру, противостоять забвению и небытию. Для писателя «быть» – писать, для его книг «быть» – найти читателя.

В 1999 году учреждена областная литературная премия им. Александра Волошина. Присуждается за произведения в прозе, драматургии, публицистике, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в художественную культуру Кузбасса. В Государственном архиве Кузбасса в личном фонде № Р-1472 хранятся машинописные рукописи произведений А. Н. Волошина.

*Книги Александра Никитича Волошина:*

*Земля Кузнецкая : роман. – Москва : Советский писатель, 1949. – 322 с.*

*Земля Кузнецкая : роман. – Новосибирск : Новосибирское областное государственное изд-во, 1949. – 255 с.*

*Земля Кузнецкая : роман. – Москва : Советский писатель, 1950. – 323 с.*

*Земля Кузнецкая : роман. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 308 с. : 1 л. портр.*

*Земля Кузнецкая : роман. – Москва : Профиздат, 1950. – 302 с.*

*Земля Кузнецкая : роман. – Иваново : Облгиз, 1950. – 256 с.*

*Земля Кузнецкая : роман. – Иркутск, 1950. – 271 с.*

*Земля Кузнецкая : роман. – Пекин, 1950.*

- Земля Кузнецкая* : роман. – Москва : Советский писатель, 1951. – 329 с.
- Земля Кузнецкая* : роман. – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 1951. – 272 с.
- Земля Кузнецкая* : роман. – Будапешт, 1951. – 327 с.
- Земля Кузнецкая* : роман. – Прага, 1951. – 355 с.
- Земля Кузнецкая*: роман. – Братислава, 1951.
- Земля Кузнецкая* : роман. – Бухарест, 1951.
- Земля Кузнецкая*: роман. – Варшава, 1951.
- Земля Кузнецкая* : роман. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 315 с. : ил.
- Земля Кузнецкая* : роман. – Москва : Изд-во литературы на иностр. яз., 1953. – 439 с. – Англ.
- Испытание* : пьеса в 4 действиях 8 картинах. – Москва : Искусство, 1955. – 90 с.
- Земля Кузнецкая* : роман. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1958. – 308 с.
- Павлуша* : рассказ. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1958. – 20 с.
- С чего жизнь началась...* : рассказы; киноповесть; пьеса. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1958. – 238 с.
- Земля Кузнецкая* : роман о Кузбассе. – Новосибирск : Новосибирское кн. изд-во, 1960. – 303 с.
- Дороги зовут* : повести. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1963. – 245 с.
- Всё про Наташку* : роман. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1967. – 262, [1] с.
- Земля Кузнецкая ; Всё про Наташку* : дилогия. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1969. – 564 с. : фото.
- Земля Кузнецкая ; Всё про Наташку* : дилогия. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1970. – 560 с.
- Время быть* : повести. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1976. – 352 с.
- Земля Кузнецкая* : роман. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1980. – 287 с.
- Время быть* : [аудиокнига] / читает М. С. Толоконская. – Кемерово : Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, 2005. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Формат записи: МР3.

Владимир Сергеевич Ворошилов

*14 февраля 1919 г., Ленинск-Кузнецкий – 4 марта 1982 г., Кемерово.*

*Участник Великой Отечественной войны.*

*Прозаик. Член Союза писателей СССР с 1964 года.*

## СОЛНЦЕ ПРОДОЛЖАЕТ СВЕТИТЬ

(отрывок из романа)

Глава шестая

I

На третьи сутки к Томилову вернулось сознание. Болела голова, в висках сверлили острые буравчики. Пахло лекарствами. «Больница». Он протянул руки к лицу: на глазах повязка. «Зачем?»

Преодолевая боль, тяжесть рук, Сергей осторожным движением приподнял повязку.

– Что такое?

Он видел лишь густую тьму. За стеной глухо разговаривали. Из радиорепродуктора неслись звуки скрипки. Боль и шум в голове. Сергей приподнялся на локте. Наверное, ночь и выключили свет. Но нет – за дверью громкий женский голос: «Ходячие, обедать в столовую!» Так, значит, глаза!.. Глаза не видят!..

Вечером его повезли в город. И там, в клинике, точно приговор: «Потеряно зрение. Пока сделать ничего нельзя».

Двадцать суток Сергей лежал в городской клинике, переходя от тупого равнодушия к отчаянию, упорно ожидая какого-то случая, именно случая, который возвратит ему зрение. Он не допускал мысли, что свет и краски, играющие рядом, совсем рядом, могут погаснуть, навсегда утонуть в этом мраке.

Но случая так и не произошло. Только прекратились головные боли, затих шум в ушах да заросла рана над правой бровью.

Потом его выписали и проводили домой.

...Первая длинная бессонная ночь в своей комнате.

Отсюда Сергей когда-то видел людей, деревья, шахтовые постройки, землю, небо... мир! И в этом мире – чудесные карие глаза Ани, теплые губы, солнечное лицо!

Сколько успел он передумать в эту ночь! Порою измученный мозг переставал работать, и казалось, что тело летит куда-то в пропасть.

Сергей скрипел зубами, сжимал руками холодные перекладки спинки кровати. За изнеможением, как спасение, приходила дремота, но опять страшный толчок прерывал сон: слепой! слепой!

Сколько раз он мысленно и во сне видел забой вентиляционного – черное зеркало угля в раме крепления, предательский выступ неотбитого угля в левом нижнем углу, согнутую спину Фоломина. И сверло, стремительно вгрызающееся в уголь – наискось, прямо в недочет. «Да так можно сойти с ума!» «Пока ничего сделать нельзя... Пока...» – повторял и повторял Сергей. Какое коварное слово! Лучше бы сразу сказали: «Ничего сделать нельзя», чем это «пока».

И теперь часто вспоминался слепой гитарист, которого Сергей видел в вагоне...

Зашипел механизм стенных часов: раз, два, три... Семь ударов. Утро! Где-то светит солнце, смеются люди. Они идут на работу. От прикосновения их рук начинают работать станки, наполняются углем, лесом, металлом вагоны. А он...

С чем придет Аня, что у нее в сердце?

Чем поможет друг Николай?

Нет, уж лучше никого не надо!

Что-то теплое, невыразимо приятное коснулось лба, правой щеки. Сергей не сразу сообразил, что это такое... а догадавшись, жалко улыбнулся: «Солнце взошло!» Но с глаз словно еще не сняли повязку. Только разноцветные волны радуги набегали на какой-то внутренний темный экран и рассыпались...

– Доброе утро, Сергей Михайлович! – услышал он голос тети Груши. – Ну, вот и дома... Подои, соскучились?

Сергей обрадовался, его одиночество кончилось хоть ненадолго.

Хозяйка общежития принялась за уборку.

– Вот и опять стало хорошо в комнате! Только тюлевые шторы надо, наверное, снять, свет пропускают... Что-нибудь другое повешу.

– Зачем же, пусть висят, – остановил ее Сергей.

– Ну хорошо, лишь бы вы были довольны! – И, выходя, тетя Груша ласково сказала: – Сейчас завтрачек принесу.

Находясь в больнице и ожидая приговора врачей, Томилов гнал мысли о будущем. Сестры и няни заботливо ухаживали за ним: приносили пищу, подавали в руки нужные вещи. А дома всему надо было учиться заново. Теперь он должен сам заботиться о себе.

Натянув пижаму и пробравшись ощупью к столу, Сергей нашел стул, сел. Похлопывая рукой по столу, нащупал вилку. Взял кусочек хлеба. Но, пододвигая тарелку, опрокинул стакан с чаем. Спазмы перехватили горло, он наугад подбежал к постели, упал на нее.

Днем позвонили с шахты.

– Здравствуй, Сережа! Это я, Воробьев! Что же ты забыл нас? Я ждал звонка! И ребята ждут, интересуются, привет тебе от них!

В голосе Воробьева Сергей не уловил обидной жалости, и эти простые слова его подбодрили.

– В ночь-полночь? – невольно улыбнулся Сергей.

– В ночь-полночь, – серьезно подтвердил Воробьев.

Позвонил Макаров, пообещал зайти. Звонили с участка, справлялись о здоровье. Телефонная трубка стала для Сергея связью с внешним миром. Слушая и отвечая, он забывал о слепоте, как бы уравнивался с собеседником – ведь и тот не видел его.

Во второй половине дня в дверь постучали мягко, но решительно. «Аня!.. – промелькнуло у Сергея. – Как вести себя? Как держаться?» Но раздумывать поздно, стук повторился.

– Да-да, войдите! – разрешил он, напрягая слух.

– Здравствуйте, Сергей Михайлович!..

«Сергей Михайлович»! Будто и не было того счастливого дня в лесу. «Сергей Михайлович»! Сердце словно споткнулось, а щекам стало вдруг жарко.

– Здравствуйте, Аня!..

Пересохло в горле, но как подойти к графину? Надо шарить руками, а Сергею стыдно.

Не меньше волновалась и Аня. После аварии в шахте она сразу пошла в больницу и пробыла там до тех пор, пока не узнала, что с Сергеем. Глаза... Потерян свет... Плохо сознавала она полный смысл этой

короткой фразы. Ей ясно, отчетливо ясно было одно: Сергей тяжело ранен, болен. Она готова пойти в палату, сесть у койки и ждать, долго, долго ждать, пока он не выздоровеет. Но больничный порядок невидимым замком преграждал вход, и Аня с горечью подчинилась ему. А потом она послала телеграмму Николаю.

Она ежедневно справлялась о здоровье Томилова и тогда, когда его перевезли в городскую больницу, и каждый раз получала ответ: «Пока ничего определенного». А на вопрос: «Можно ли его повидать?» – слышала короткое и непреклонное «нет».

И вот он дома. Она может увидеть его. Но воображение рисовало лицо без век, без бровей, исчерченное шрамами. И Аня внушала себе: «Но ведь под этими шрамами остался все тот же Сергей, с тем же голосом, с той же улыбкой... Пожалуй, нет. Добрая улыбка, наверное, перекосилась рубцами и покажется теперь злой, насмешливой или жалкой».

Открывая дверь, она была готова к любой неожиданности. Но Томилов стоял невредимый! Только нос казался длиннее из-за ввалившихся, посеревших щек, над правой бровью краснел небольшой шрам с синей черточкой посредине, на левой стороне лица и на лбу местами чернели точки, похожие на веснушки. Такие есть и у отца. Так навек метит шахтеров уголь. Глаза будто совсем здоровые, чистые-чистые, только как-то неопределенно блуждают их взгляд. Совсем неопределенно...

Поверит ли Сергей, что она ждала его? И как сказать о том, что любит его? Что сказать? И сказала первое, что пришло в голову:

– Выздоровели, Сергей Михайлович? – И никак не могла заставить себя произнести «Сережа»...

Сергей пошел к столу, чуть откинувшись корпусом назад, протянув вперед руки. Правая рука, отыскивая что-то в воздухе, задела спинку стула. Он подвинул его и осторожно сел.

– Нет, Аня, не выздоровел. Здоровые работают, а я, как видите, безработный...

На столе в рамке, рядом с зеркалом, стояла вниз головой фотография матери. Наверное, он брал карточку в руки и поставил неправиль-

но. Это потрясло Аню! Она торопливо перевернула карточку и встретила взглядом с глазами... Сергея!.. Нет, почти такими же, какие были у него раньше: серыми, открытыми, смотревшими на нее то весело, то нежно. А сейчас... они безжизненны!.. Она опять посмотрела на фото. Белое круглое лицо, светлые, собранные в косу волосы, открытая шея ярко выделялись на коричневом фоне снимка. Казалось, женщина сейчас улыбнется. «Нет, пожалуй, она заплачет!» – подумала Аня. И спросила:

– Давно не стало вашей мамы?

– Не так уж много лет прошло, но для меня – давно, – вздохнул Сергей. – Впрочем, может быть, и лучше, что ее нет сейчас...

– А отца тоже нет?

– Отец погиб...

Тягостная неловкость сковала обоих. Аня еле сдерживалась, чтобы не расплакаться.

– Сергей Михайлович! – совладав с собой, сказала Аня. – Я вот пришла... принесла последние номера «Техники молодежи». Вы их любите. Хотите, почитаю...

– Ну что ж, давайте

...Когда Аня ушла, одиночество стало еще тягостнее. Чтобы хоть немного забыться, он попытался заснуть.

Проснувшись, долго лежал, припоминая приснившееся. Как и в предыдущие ночи, он был во сне зрячим. Он очень явственно, очень четко видел... Так что же приснилось?

Ах да! По узенькой тропинке через ослепительно-белое снежное поле, на котором почему-то росли красные и лиловые цветы, к нему навстречу шла... Нет! Это снилось ему прошлой ночью. Он еще свернул тогда с тропинки и, увязая в снегу по колено, щурясь от блеска, торопился нарвать для Ани красных цветов, минуя лиловые... И когда он в очередной раз нагнулся, высокий лиловый цветок больно хлестнул его по глазам... Вновь поплыло багровое пламя...

Это он видел вчерашней ночью.

А сегодня?

Каждое утро он долго лежал с закрытыми глазами, обманывая себя, надеясь на чудо: вот откроет глаза и... увидит свет! Но чуда не происходило. Сергей широко раскрывал веки, и каждый раз сердце пронизывала боль: все та же безжалостная тьма!

Едва он успел встать, одеться, постучали в дверь.

– Разрешите войти? – послышался громкий мужской голос, но незнакомый. Вошедший пожал Томилову руку, передвинул стул, усадил хозяина. – Я представитель районного отдела социального обеспечения, моя фамилия Трошин. Пришел оформить пенсию, а главное – поддержать дух. Человек, попавший в беду, нуждается в заботе. Ты, конечно, знаешь о Николае Островском. Сколько ему нужно было мужества, самоотверженности, чтобы бороться за жизнь. Ты вдумайся хорошенько, вдумайся в то, как этот замечательный герой со здоровьем тоньше папиросной бумажки создал такие прекрасные книги.

– Я писать не могу, – сказал Томилов.

– Разве только в писательстве заключается выход? – поправил представитель социального обеспечения. – Писательство не спасательный круг... Не умирать же теперь! Смерть сама придет, не торопись.

– Я и не тороплюсь. Но... чего вы хотите от меня?

– Нужно пройти комиссию, чтобы определить группу инвалидности. Потом оформим пенсию.

Слово «инвалидность» резануло слух.

– Может, за тобой некому ухаживать, – продолжал гость, – тогда мы тебя, браток, устроим в дом инвалидов.

– Дом инвалидов?! – вскипел Томилов. – Только этого не хватало! Я не нуждаюсь в ваших благодеяниях! Уходите!..

Когда ушел представитель собеса, Сергей подошел к окну, нащупал форточку, распахнул ее. Дернул себя за ворот рубахи, оперся руками на спинку стула. «Кто я, кто? Инженер Томилов? Нет инженера! Умер инженер! Осталась только тень, никому не нужная тень. Кто я? Слепой!.. – Горло сжало, на ресницы выкатились слезы. – Слепой!.. Какое счастье быть человеком! А разве я – человек?.. Я простейшая органическая клетка, способная только ощущать. – Он обхватил голову ру-

ками и тотчас отнял их, начал ощупывать одну другой. – Мои руки... Они же... на что же они теперь годны? Подайте напиток... Подайте, пожалуйста, мою палку... Подайте и подайте! А к чему ноги, если я без посторонней помощи не в силах пройти полсотни метров? Червь не видит тоже, но он передвигается самостоятельно. Нет, к дьяволу! Лучше смерть...»

– Привет, Сергей Михайлович!

Только после этого возгласа Сергей сообразил, что слышал легкий скрип двери и чьи-то шаги.

Макаров смотрел на него сквозь свои толстые очки, видел его взлохмаченные волосы, искаженное мукой лицо, распахнутый ворот рубахи. «Тяжело парню!»

– Узнаешь?..

Несколько секунд Сергей стоял неподвижно, облизывая сухие губы.

– Александр Васильевич! – и всхлипнул. – Это вы?!

Макаров подвел его к столу.

– Посиди... Успокойся, Сережа.

– Я... Александр Васильевич... Нет больше Сергея Томилова. Нет!..

Был и... нет. Все! Отжил...

Макаров сел рядом, застегнул Сергею рубашку, причесал волосы.

– Ну-ну, еще что?

Сергей плакал.

Макаров взял его за плечи, по-отцовски приблизил к себе, поцеловал.

– Эх, Сережа, Сережа! Милый мой... Знаешь что? Ну, поплачь, поплачь...

И Сергей уткнулся в грудь парторга, затих.

– Тяжело мне, Александр Васильевич!

– Знаю. И все-таки для музея ты не подходишь! – Макаров снял очки, сунул их в футляр, закурил трубку. – Помнишь, что Маяковский сказал про «плачущего большевика»? Нелегко тебе, дорогой! Знаю. И говорю это не просто ради утешения. Я верю, потому что сам пережил

такое. Я ведь, брат, побывал... в твоём положении. И кажется, ещё не минует меня чаша сия... Да...

Томилов недоверчиво насторожился, будто угадывал, серьёзно ли говорит Макаров или это воспитательный ход. «Лицо у него желтое, морщинистое, утомленное, – вспомнил Сергей, – а глаза... Какие у него глаза? Ведь их трудно было разглядеть сквозь толстые стекла очков...»

– Да, бывает время, когда человек не рад жизни, – как бы самому себе сказал Макаров. – Бывает невыносимо трудно. А все-таки надо стоять!.. Послушай вот...

## II

– Так никто и не видел, как разорвались бомбы! – смеясь, рассказывал о своём ведомом Китов, окруженный летным составом первой эскадрильи.

В минуты отдыха все обычно устраивались где-нибудь на зеленой поляне и выискивали «штрафника». Сейчас жертвой оказался бывший штурман, а теперь летчик. Его первый вылет был неудачен. Растерявшись, он даже не помнил, в каком месте сбросил груз.

Сейчас пилот лежал на земле и делал вид, что ничего не слышит.

– Так мимо цели, значит? – подтрунивал кто-то.

Сидевший в центре командир эскадрильи майор Макаров сказал, стараясь скрыть усмешку:

– Зачем мимо? Ну, бомбил переправу, а попал к теще в огород. Бывает...

Все как по команде залились хохотом. Не выдержал даже сам виножник торжества.

В конце поля показалась машина командира полка. Она шла прямо на первую эскадрилью. Летчики вскочили. Они поняли, почему автомобиль держит прямой курс, не сворачивая по пути в другие эскадрильи. Штабной офицер, выйдя из машины, подал пакет.

– Через двадцать минут вылетаем девяткой на ответственное боевое задание, – сообщил Макаров, складывая приказ и расправляя кар-

ту. – Групповой налет на крупный аэродром, – он указал на карте черную точку. – Мы сопровождаем бомбардировщиков и утюжим цель.

И вот уже девятка «ишаков»\*, построившись по звеньям, набрала высоту. Под самолетами плыли геометрические фигуры желтых, коричневых, зеленых полей, по серой паутине дорог муравьями ползли машины. Ничто не говорило о войне.

«Совсем как на прогулке...» – подумал майор Макаров, и рука его передвинула карту. В правом углу планшета оказалась фотография жены с дочуркой на руках.

– Еще одна бомбежка, – прошептал он, – и я чуточку ближе к вам...

Дочурка смотрела широко открытыми глазами, жена встревоженно.

– Хорошие вы мои!..

Ревел мотор. Кончились мирные поля. Самолеты летели над «большаком» – главным трактом. Там было черно от сплошного потока машин, повозок и людей.

Запад густо подернулся черным дымом. Оттуда несло гарью.

Командир положил карточку на место. «Приду, мои родные, приду... Ждите!»

И все внимание сосредоточил он на зловещей черноте горизонта. Подобно фейерверкам, то тут, то там рвались снаряды. Вражеские зенитки усеяли путь самолетов серыми букетиками взрывов.

Вот и фронт позади!

Рассеялся дым. Опять земля, но – другая: изуродованная, изжеванная, перекрученная... А вот вражеское летное поле, одним углом соединяющееся с большим, наполовину сожженным селом. По краям аэродрома, жуликовато спрятав свои горбы под зеленые халаты, стояли «юнкерсы». По всему видно, налет был для противника неожиданным. Бомбардировщики легли на боевой курс. Раздались первые взрывы. Темный клуб дыма мохнатой шапкой взметнулся вверх... второй... третий... четвертый!.. К небу потянулись огненные языки пламени. Улетала одна группа бомбардировщиков – тут же нависала другая. Аэродром горел, взрывались склады, бензобаки «юнкерсов». Одно-

\*«Ишак» – обиходное название истребителя И-16.

му «мессершмитту» все-таки удалось взлететь, но, не успев набрать высоту, он камнем пошел к земле. Зенитки вначале открыли огонь, но вскоре захлебнулись. Над аэродромом то нарастал страшный гул моторов, то стихал, то вновь накатывался откуда-то с востока. Снова и снова рвались бомбы.

Выполнив задание, бомбардировщики легли на обратный курс. Истребители прикрытия воробыиной стайкой пристроились поодаль. Не прошло и получаса, как слева показались темные точки: две... три... десять... больше двадцати... Точки увеличивались. Сверкнула змеевидная фашистская свастика. Воздушный бой стал неизбежным. Отстав от бомбардировщиков, красноезвездные истребители приняли на себя неравный бой.

Левый ведомый Макарова, тот бывший штурман, сбив одного «мессера», сам вспыхнул факелом. Еще два «мессера» врезались в обочины дороги и запылали кострами. Макаров, отправив к ним третьего, отбивался еще от двух. И вдруг его машина дрогнула, что-то горячее дохнуло в глаза.

На минуту он увидел родные лица: это были жена и дочь. Он протянул к ним руку.

Но пламя ворвалось в кабину. Секундное забытье майора прошло: он понял – самолет горит! И почти в беспомытстве оставил машину.

### III

Сознание приходило редко. Несколько суток Макаров бредил. В таком состоянии ему и сделали операцию – извлекли осколки. Первое, что он почувствовал, придя в сознание, было легкое прикосновение руки.

– Проснулись? – спросил женский голос. – А мы уж боялись. Вот хорошо!

Через несколько дней Макарову сняли с головы повязку. Он открыл глаза... Какая-то зелень, будто он смотрел сквозь толстый слой воды, набежала на него. Все предметы расплывались.

Постепенно Макаров начал привыкать к своему положению. Тяже-

лое ранение перестало угнетать его. Наоборот, находясь в окружении таких же раненых, он считал себя счастливее их, что сохранил хоть частичку зрения. Он, хотя с немалым трудом, мог передвигаться самостоятельно днем и ночью. Сосед по койке, сапер, потерявший глаза, обе руки и левую ногу, с завистью говорил:

– Эх, товарищ майор! Вы – счастливчик из счастливчиков!.. Остались бы у меня хотя бы руки... Эх, руки, руки... С руками жить можно, да и работа нашлась бы... А вот так трудноато. Если бы мне раньше, здоровому, сказали, что я потеряю одну руку, я бы повесился. Теперь же почти чурка, а умирать не хочется. Будь одно живое сердце и ум, все равно за жизнь хвататься станешь.

Макаров подолгу разговаривал с ним, помогал ему садиться, скручивал папиросы, давал прикурить. Сапер вызывал в нем уважение своей неистребимой любовью к жизни.

– А? наверное, я в госпитале один такой? – спросил сапер однажды.

Макаров не обманывал:

– Есть всякие: без глаз, без ног, без рук, – а с таким комплексом ранения, как у тебя, мало.

– Эх-ха-ха! – вздыхал сапер. – Вот как примут такого дома-то? Да... Все мы, братец, продукция войны!

Вскоре Макаров стал томиться. Все сильнее тосковал он о семье. «Где же они? Наверное, тоже ищут меня. Дочка теперь большая... Скоро, скоро встретимся! Только бы скорее приходил ответ. Может, где-нибудь недалеко? Они, конечно, давно эвакуировались, и жена работает в госпитале.

Однажды он заметил, что первые лучи солнца раздражающе действовали на глаза, а в туманной зелени появлялась красноватая сетка. Не придав этому особого значения, Макаров крепко заснул. Проснулся он от громкого возгласа соседа:

– Вставайте, товарищ майор, так можно все на свете проспять!

Майор открыл глаза и сердито пробурчал:

– Спать надо, а ты лунатишь!

– Так лунатят ведь только ночью?

Макаров рывком оторвался от подушки.

– Как ночью?! – тревожно спросил он. – А сейчас что? Разве не ночь?!

Он протер глаза и стал напряженно смотреть в сторону окон. Сапер, не понимая тревоги майора, продолжал шутить:

– Здорово всхрапнули! Уже двадцать минут второго. Собирайтесь, обедать приглашали!

...Макарова вызвали к профессору.

Сестра ввела его, посадила на стул и бесшумно вышла. У профессора давно уже хранилось письмо о зверском убийстве жены и дочери Макарова, но он ждал, когда у больного закончится воспалительный процесс. Теперь он узнал о новом ударе, зрение было потеряно полностью.

– Я вот о чем хочу с тобой поговорить... – начал профессор. Он подошел к больному и заглянул в остекленевшие глаза. Твердо сжал пальцами левое плечо. – Послушай меня. Мне ведь за шестьдесят, а тебе немногим разве больше тридцати пяти... Пойми, не тебя одного постигло такое несчастье. Посмотри, вся земля под бурей и сколько льется слез, сколько болит сердца от тоски и горя. И у меня погиб единственный сын-полковник... – голос профессора дрогнул, – погиб со Звездой Героя на груди. А твой сосед сапер?..

Макаров молчал.

– Я знаю, тебе сейчас очень тяжело, но я не имею права скрывать от тебя вести о семье...

– Говорите! – почти крикнул Макаров и привстал.

– Твоя жена, эвакуируя госпиталь вместе с последней группой раненых, не успела оставить город. Раненых пришлось попрягать по частным квартирам. Теперь город освобожден. Из части пришло письмо, сообщающее о трагической смерти твоей жены и дочери.

Слова профессора доносились как сквозь сон.

Макаров попросил:

– Больше ни слова, профессор. Пусть проводят меня в палату...

Екатерина Тюшина

## СВЕТ ДУШИ ВЛАДИМИРА ВОРОШИЛОВА

Писателю-фронтовику Владимиру Ворошилову жизнь уготовила серьезное испытание. Окончив в 1939 году авиационное училище, он служил в летном полку. С первых дней войны летал на средних бомбардировщиках, затем на истребителях. 30 сентября 1941 года в бою под Смоленском Ворошилов был тяжело ранен. Произошло это так. Отбомбив аэродром врага, восемь бомбардировщиков возвращались домой под охраной истребителей. Рядом с линией фронта самолеты были атакованы 35 «мессершмиттами». В неравном бою самолет Ворошилова был сбит, а сам он получил тяжелое ранение в лицо. Вслепую Владимиру удалось выбраться с парашютом из горящего самолета. Где приземлился и сколько пролежал, пока его нашли, не знал, так как был без сознания. Его подобрала крестьяне села Демьяновского. Шесть суток Владимир находился без сознания и очнулся только в госпитале города Калинина, где ему была сделана сложная операция. Жизнь Ворошилову врачи сохранили, а вот зрение было утеряно. Шесть месяцев он не мог говорить.

Еще трижды Владимира оперировали, пытаясь вернуть зрение, но все было безрезультатно – слепота была полная. Несмотря на страшный диагноз, Ворошилов в госпитале чувствовал себя счастливым, ведь рядом с ним в палате лежал человек, лишившийся рук, ног и зрения. Поэтому свое ранение Владимир считал легким. Полностью свое горестное положение он почувствует позже. В сентябре 1942 года его вывели под руки из поезда в Новокузнецке. К нему бросилась жена Клава, и тогда он понял, что больше никогда не увидит любимое лицо. Так закончилась первая жизнь Владимира Ворошилова и началась другая, вторая жизнь. Вначале молодая семья жила с родителями, где кроме них с дочкой в двух комнатах ютились еще два брата и сестра с ребенком. Затем поселились отдельно. Клава оставила работу и на многие годы стала для Владимира не только любимой женой и другом, но и секретарем, стала его глазами.

Чтобы рассказать людям о том, что ему довелось пережить, Ворошилов решил стать писателем. Но он понимал, что писательству, как

и всему на свете, надо учиться. Жена читала ему вслух все, что его интересовало, и за несколько лет они прочитали всю мировую классику, побывали вместе на многих лекциях, в театрах, на концертах. Каждый вторник прохожие могли видеть, как молодая женщина ведет слепого военного во Дворец культуры металлургов, где собиралась литературная группа. Ворошилов написал несколько рассказов из фронтовой жизни. Их напечатали в районной газете. Также о фронте сочинил пьесу, но она была раскритикована рецензентом Новосибирского издательства, куда Владимир ее направил. После этого Ворошилов не писал много лет. И не потому, что не хотел, просто решил подождать.

В 1945 году Ворошиловы переехали в Кемерово. Владимира Сергеевича избрали председателем Кемеровского областного правления Всероссийского общества слепых, и он с головой погрузился в новую жизнь. Лишенный зрения сам, он стал заботиться о товарищах по несчастью: помогал получить незрячим образование, улучшить жилищные условия. А чтобы трудоустроить инвалидов по зрению, Ворошилову приходилось налаживать очень сложные производства. Писать было некогда, но Владимир Сергеевич с большим интересом наблюдал за жизнью окружающих его людей и по-прежнему много читал. В 1954 году он приступил к роману «Солнце продолжает светить».

Сама жизнь определила темы его романов. Ворошилов считал себя обязанным рассказать о тех людях, с которыми работал. На этот труд у него ушло десять лет. Писал сначала самостоятельно, накалывая тысячи точек на бумагу. Потом диктовал текст жене. Клава записывала, перечитывала, критиковала, поправляла. Они много и подолгу спорили. Ворошилову было трудно выстроить сюжет, не хватало опыта охватить все сразу, как это могут зрячие, поэтому книга получалась композиционно рыхлой. Но наконец роман был отпечатан, и Ворошиловы поехали с ним в Новосибирск в редакцию журнала «Сибирские огни». Здесь к нему отнеслись с большим пониманием. Вместе с редактором рукопись была переработана, и в 1960 году роман «Солнце продолжает светить» напечатали в журнале.

Читатели очень тепло встретили публикацию. Судьба главного героя Сергея Томилова очень взволновала людей, и на автора обруши-

лась лавина писем от читателей. Литературная общественность также отметила новое произведение. Высокую оценку роману дал писатель Павел Федоров: «Пожалуй, ни одно литературное произведение последних лет меня так не взволновало, как взволновал роман «Солнце продолжает светить», – писал он. – Владимир Ворошилов совершил еще один поистине героический подвиг! Надо было иметь много нравственных и физических сил, чтобы написать книгу на таком исключительном материале. Книга Ворошилова проникнута глубоким идейным содержанием, она заставляет читателя о многом призадуматься. Автор горячо и проникновенно любит своих героев, он пишет о них с большой душевной теплотой... Надо прямо сказать, что автор написал хорошую, нужную книгу. Роман имеет огромное воспитательное значение, выходящее далеко за рамки областной литературы. Его нужно срочно переиздать и широко разрекламировать. Я поздравляю автора с большой несомненной удачей».

Роман был доработан и в 1963 году вышел в Кемерове отдельной книгой, которая разошлась почти мгновенно. В одно из воскресений мая 1964 года на площади возле Кемеровского областного драмтеатра состоялся большой книжный базар. Большая очередь образовалась за книгой Владимира Ворошилова «Солнце продолжает светить». Её обладатели могли получить автограф автора: он стоял рядом, держа в руке авторучку. Ощупав пальцами книгу, писатель открывал ее и медленно выводил на титульном листе большими неровными буквами: «Владимир Ворошилов».

Позднее роман был дважды переиздан московским издательством «Советский писатель». Через пять лет была написана вторая часть под названием «И не погаснет». В 1968 году роман Ворошилова «Солнце продолжает светить» вышел полностью в Кемеровском книжном издательстве и стал любимым произведением у читателей. Его обсуждали на читательских конференциях, издательство и автор получали тысячи писем со всех уголков страны. В 1964 году Владимир Сергеевич Ворошилов был принят в члены Союза писателей СССР.

Многие моменты в книг «Солнце продолжает светить» биографичны. Да и люди, подобные героям романа, были очень близки авто-

ру: Ворошилов сам жил и работал среди таких людей, помогал им строить жизнь по-новому, как это делает и главный герой Сергей Томилов. Но все же – это разные люди. Сергей Томилов – горный инженер, потерял зрение во время аварии в шахте. А сам Ворошилов спускался в шахту всего несколько раз, когда писал свою книгу. Многое он изучал по учебникам. И все-таки схожесть в характерах этих героев есть. Она заключается в преодолении горьких обстоятельств, которыми была наполнена и жизнь героев, и жизнь самого автора.

Владимир Сергеевич не раз вспоминал тяжелое чувство, возникшее у него после первого знакомства с предприятиями, где трудились незрячие. Такие же чувства переживал и директор производственной мастерской слепых Сергей Томилов, принимая разваленное хозяйство. Это примитивная пимокатная, где в кислотных испарениях, в жаркой сырости работают люди, теряя зрение, у кого оно еще есть. И Сергей начинает борьбу за новое производство. Ему приходится ломать в первую очередь психологию и привычки самих людей. Томилов видит смысл жизни в том, что делает своими руками счастье других людей: он никогда не забывает о людях, каждый его день начинается с заботы о своем большом коллективе и об отдельном человеке. Это роман не о товарищах по несчастью, а о людях со зрячими сердцами, прекрасных людях, которым и во мраке слепоты солнце продолжает светить. Автор показывает, как люди, подавленные несчастьем, под влиянием труда в рабочем коллективе проникаются сознанием своей нужности и полезности.

Чем же так волнует читателя эта книга? В первую очередь жизненной достоверностью, правдивостью и смелостью изображения жизни, глубоким знанием ее. Читателям полюбился Сергей Томилов, человек ясной души и большого мужества. И он стал идеалом для многих современников.

Тот, кто посещал Кемеровское общество слепых в 1960–1970-х годах, мог на деле увидеть, как – словно в романе! – изменилась жизнь организации. В производственных цехах работали конвейеры и полуавтоматы, была по-настоящему передовая организация труда. А рядом с цехами вырос целый городок: большой детский комбинат, клуб, библиотека, магазин, несколько жилых домов. И за всем этим – насы-

щенные трудом и заботами годы, спартанский образ жизни, короткий сон, вечные командировки, планы Ворошилова, о которых он говорил словно читал стихи, планы реконструкции старых и создания новых предприятий в Новокузнецке, Белове, Прокопьевске и других кузбасских городах.

Писатель Ворошилов предпочитал самый трудный творческий метод: сначала построить со своими героями жизнь, а потом рассказать о ней читателю. Поэтому читаешь роман и, зная биографию писателя, невольно проводишь параллели и сравнения между героем повествования и его автором, и в сознании переплетаются судьбы Сергея Томилова и Владимира Ворошилова.

Эта книга не только о сильной личности. Ведь Томилов вряд ли смог бы один преодолеть свое несчастье. Его поддерживали люди, настоящая, большая любовь и крепкая мужская дружба на всю жизнь. Рассказывая журналисту о том, что происходило с ним, когда потерял зрение, Ворошилов, признался: «Дальше я понял: если хочешь остаться в жизни – иди к людям, не замыкайся в себе, не прячься в свою скорлупу. И я пошел». Эту мысль писатель пронес через все произведения.

В последнем романе В. С. Ворошилова «Капля света» Сергей Томилов становится педагогом, создает школу восстановления трудоспособности незрячих. Перед нами раскрывается еще одна сторона этой одаренной личности. Томилов пишет кандидатскую диссертацию, в центре которой стоит актуальная проблема: как вернуть гармонию человеку, которому врачи уже не в силах вернуть зрение, как достичь жизненной гармонии, если она кажется утерянной навсегда?... На многих страницах этой книги есть размышления героя, в которых легко узнаются размышления самого автора.

В жизни Сергея Томилова происходит невероятное: он получает возможность сделать операцию, которая вернет зрение. Но за это придется заплатить большую цену: любые физические, а главное, нервные перегрузки могут снова вызвать мрак. Томилов вынужден будет бросить любимую работу. Перед ним стоит выбор по-своему неожиданный и даже жестокий: стать зрячим и оказаться не у дел или снова вернуться во мрак, но при этом остаться самим собой. И герой выбирает второе. Для него это единственно возможный вариант судьбы.

А еще раньше такой же выбор совершил сам автор. Владимир Сергеевич Ворошилов отказался от операции, которая могла вернуть ему зрение, потерянное почти сорок лет назад. Все годы он больше всего мечтал увидеть краски мира. С этой мечтой уверенно шел по жизни. Когда он стал писателем, то упрямая жажда видеть определила даже названия его книг: «Солнце продолжает светить», «И не погаснет», «Капля света». Раньше операция была невозможной из-за того, что была не готова медицина. Ворошилов следил за новейшими исследованиями в области глазной хирургии и даже предсказал, когда наконец ему скажут – можно. Но когда стало можно – отказался. А когда его спросили почему, ответил: «Да ведь все решено несколько лет назад. В моей новой книжке есть даже схожая ситуация».

И это, действительно, так. В произведениях писателей очень часто кроется разгадка их судеб. Всей жизнью и своими книгами Владимир Сергеевич Ворошилов стремился доказать, что, попав в беду, человек должен всегда бороться: с болезнью, несчастьем и прежде всего с самим собой.

В должности председателя областного правления Всероссийского общества слепых Владимир Сергеевич проработал 37 лет, до конца своих дней. Четвертого марта 1982 года, возвращаясь из командировки (посещал первичную организацию ВОС города Осинники), он заснул в машине и не проснулся. Можно сказать – счастливая смерть. Но хочется сказать – счастливая жизнь. Об этом сказал сам Владимир Ворошилов устами своего героя Сергея Томилова: «Я люблю жизнь, борюсь за нее! И если на мою долю оставили бы только мышление, только разумье, я все равно бы стал драться за такую жизнь!»

Екатерина Тюшина

## БИОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА ВОРОШИЛОВА

Владимир Сергеевич Ворошилов родился 14 февраля 1919 года в городе Ленинске-Кузнецком в семье почтового работника. Из-за службы отца семья переезжала из города в город. Больше всего ему запомнилось поселение Мыски. В Мысках жило много шорцев, и он выучил

шорский язык. Увлекался радиотехникой, писал стихи, посещал драмкружок, мог играть на аккордеоне и других музыкальных инструментах. После школы был избачом, комсоргом, воспитателем в детском доме, учителем начальных классов.

В 1938 году уехал на Дальний Восток и поступил в авиационное училище. В 1939 году Владимир женился, в семье родилась дочь. После окончания училища служил в летном полку. Когда началась война, лейтенанту Ворошилову шел двадцать второй год. С первых дней войны он сделал более 90 боевых вылетов. Сначала летал на средних бомбардировщиках, затем оказался в истребительной авиации. В сентябре 1941 года в бою под Смоленском самолет Ворошилова был сбит, а сам он получил тяжелое ранение. Жизнь Ворошилову врачи сохранили, а вот зрение было утеряно.

В сентябре 1942 года он вернулся в Новокузнецк к семье. Чтобы рассказать людям о том, что ему довелось пережить, Ворошилов стал писать. Посещал литературную группу во Дворце культуры металлургов.

В 1945 году Ворошилов с женой Клавдией Антоновной и дочерью Виолеттой переехали в Кемерово. Владимира Сергеевича избрали председателем Кемеровского областного правления Всероссийского общества слепых. Лишенный зрения сам, он помогал незрячим получить образование, улучшить жилищные условия. Чтобы трудоустроить инвалидов по зрению, Ворошилову приходилось налаживать сложные производства.

В 1954 году он приступил к роману «Солнце продолжает светить». Сама жизнь определила темы его произведений. Ворошилов считал себя обязанным рассказать о людях, с которыми работал. В 1960 году роман «Солнце продолжает светить» был напечатан в журнале «Сибирские огни». В 1963 году он вышел в Кемерове отдельной книгой. Впоследствии переиздавался много раз в Москве и Кемерове. В 1964 году В. С. Ворошилова приняли в Союз писателей СССР. Через пять лет была написана вторая часть романа под названием «И не погаснет». В 1968 году роман «Солнце продолжает светить» вышел полно-

стью в Кемеровском книжном издательстве и стал любимым произведением у читателей.

В 1960–1970-х годах Ворошилов активно развивал производство Всероссийского общества слепых. В цехах начали работать конвейеры и полуавтоматы, была передовая организация труда.

В должности председателя областного правления ВОС Владимир Сергеевич проработал 37 лет. Необходимо отметить его огромный вклад как хозяйственника и руководителя в строительство Кемеровской областной офтальмологической больницы. Благодаря личной инициативе и участию Ворошилова, три миллиона рублей было вложено в строительство Больницы учебно-производственным предприятием ВОС г. Кемерово. По свидетельству кемеровского врача-офтальмолога А. Ф. Шураева, это был неоценимый вклад в дело перехода на совершенно новый уровень в лечении пациентов, страдающих глазными заболеваниями.

В. С. Ворошилов – автор книг «Солнце продолжает светить» (1963), «И не погаснет» (1968), «Капля света» (1981). Писатель получил несколько тысяч писем от читателей, часть которых вошла в документальную книгу Евсея Цейтлина «Свет не гаснет» (1984).

Ворошилов проводил большую общественную работу. Выступал с беседами и докладами по радио, телевидению и просто перед трудящимися на предприятиях, стройках и в сельских клубах. В 1948 году за храбрость и отвагу, проявленные в Великой Отечественной войне, В. С. Ворошилову был вручен орден Отечественной войны II степени, в 1967 году – орден Трудового Красного Знамени, писатель-фронтовик был награжден многочисленными медалями, почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1979), областными наградами.

Писатель ушел из жизни 4 марта 1982 года. Похоронен в г. Кемерово на Центральном кладбище № 1.

В Кемерове живет внучка писателя Анна Борисовна Плешивцева. К 100-летию со дня рождения В. С. Ворошилова на сайте Специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих создан виртуаль-

ный музей прозаика-фронтовика: <http://kemosb.ru/proba/index.htm>  
(архивные документы, фотографии, аудиозаписи и др.).

*Книги Владимира Сергеевича Ворошилова:*

*Солнце продолжает светить : роман. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1963. – 285 с.*

*Солнце продолжает светить : роман. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1964. – 293 с.*

*Солнце продолжает светить : роман. – Москва : Советский писатель, 1964. – 296 с.*

*Солнце продолжает светить : роман. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1965. – 306 с.*

*Солнце продолжает светить : роман. – Москва : Советский писатель, 1965. – 305 с.*

*Солнце продолжает светить : роман в 2 частях. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1968. – 470 с.*

*Солнце продолжает светить : роман в 2 частях. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1971. – 480 с.*

*Солнце продолжает светить : роман в 2 частях. – Москва : Советский писатель, 1981. – 436 с.*

*Капля света : роман. – Москва : Советский писатель, 1981. – 436, [2] с. : портр.*

*Солнце продолжает светить : роман в 2 частях. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1982. – 431 с.*

*Капля света : роман. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1982. – 430 с.*

*Солнце продолжает светить : говорящая книга / читает М. С. Толоконская. – Кемерово : Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, 2005 ; 12 см электронный оптический диск.*

Александр Максимович Голунчиков  
(Максим Сибирцев)

*12 марта 1929 г., с. Инское, Новосибирская обл. – 7 июня 2002 г., Юрга.  
Прозаик, киносценарист. Член Союза писателей России с 1996 года.*

**КОЛЬЧУГА ЕРМАКА**

(главы из романа)

## Часть первая

## Глава 2

## ЧЕРНАЯ СТРЕЛА

Взмыленный конь вынес чернобородого татарина в богатой одежде на высокий берег Иртыша. Всадник резко осадил коня, с губ которого клочьями спадала желтая с сукровицей пена, и развернул разгоряченного жеребца в обратную сторону. Но в этот миг из ближайших зарослей вжикнула длинная стрела с черным оперением и ударила всадника прямо под левую руку против сердца. Ударившись в кольчугу и не пробив крепкой брони, она упала под ноги беспокойно переступающего коня.

– Ля иллях, иль алла!<sup>1</sup> – воскликнул татарин и огрел скакуна короткой увесистой камчой. Поднял его на дыбы и бросил вперед. А в это время с таким же тонким вжиком прилетела вторая черная стрела и сбила с головы всадника дорожную шапку, отделанную волчьим мехом.

Мамет-бек, сын мурзы Кайдаула, еще раз перепоясал коня тяжелой плетью и кинул презрительный взгляд в ту сторону, откуда летели стрелы.

– Уй, шайтан! – зло выругался он. – Будь проклят весь твой род, а дети его пусть пьют молоко волчицы вместо молока матери, – и, ударив саврасого, пустил его галопом к виднеющемуся вдалеке городку Сузун-туру.

Но тут наперерез беку из густых зарослей молодого пихтарника на резвых долгогривых конях с гиком вылетели четверо всадников, преграждая путь отхода храброму Мамету. У каждого в руках по дальнобойному луку с заложенными в них стрелами. Они безжалостно рвали губы коней, заставляя их вздыбливаться на месте.

Отступать беку некуда. Четыре стрелы, направленные в его грудь, – преграда серьезная. Позади круто падающий берег Иртыша. Выбора нет. Либо прорываться через стрельный заслон, либо поворачивать к берегу, с которого до воды не менее пятнадцати локтей. Понимая, что

---

<sup>1</sup> Нет Бога, кроме Бога! (тюрк.)

бросать скакуна с такого обрыва равносильно безумию, Мамет решил на прорыв. Его саврасый, будто поняв хозяина, дико заржал, высоко вскинул горбоносую голову и рванул в сторону улуса, выбрасывая изпод копыт большие комья влажной земли. Это был опытный боевой конь, прошедший через десятки смертельных схваток с противником. В его сильном теле побывали не только стрелы, но даже казацкие пули, а золотистая шкура во многих местах посечена клинками.

– Тор сукры!<sup>2</sup> – громко выкрикнул тархан<sup>3</sup> Бегиш и торопливо пустил стрелу.

– Кись, шайтан!<sup>4</sup> – взвизгнул второй лучник и тоже выстрелил.

Но бек рванул коня в сторону и вовремя ушел от возможной гибели. Черноперые стрелы просвистели мимо, хотя и в непосредственной близости. Мамет рассмеялся и крикнул противникам:

– Карагуш<sup>5</sup> не ловит ваших черных мух!.. Вы, презренное племя карги<sup>6</sup>, слышите?

И, вскинув тугой лук, молниеносно пустил стрелу с белым оперением. Один из четырех всадников тут же, пораженный насмерть, склонился к шее коня. А тот, почуяв ослабленные поводья, метнулся в сторону и понесся сломя голову.

Среди нападавших возникло кратковременное замешательство. Оно еще больше усилилось, когда они увидели, как воин свалился с коня, запутавшись ногой в стремянном ремне. Но лошадь продолжала волочить убитого по земле, скособочась от тормозящего груза.

Воспользовавшись временной паникой, вызванной не только гибелью нукера хана Сейдяка, но и отвагой Мамет-бека, прорывающегося через заслон, отпрыск рода Шейбани успел наложить на лук еще одну белоперую стрелу, и она с изумительной точностью нашла вторую цель. Схватившись за горло, широкоплечий всадник выронил лук.

<sup>2</sup> Стой, проклятый! (тюрк.)

<sup>3</sup> Тархан – военный дворянин с особыми привилегиями монгольской знати.

<sup>4</sup> Бей дьявола! (тюрк.)

<sup>5</sup> Орел (тюрк.).

<sup>6</sup> Черная ворона (тюрк.).

Остались двое против одного. Но давно известно, что в бою нередко побеждает умение и отвага, а не число.

– Ля иллях, илла ху!<sup>7</sup> – снова воскликнул бек и направил своего коня прямо на противников.

Расстояние между ними не дальше полета стрелы, и оно быстро сокращалось. Пригнувшись к шее долгогривого скакуна, Мамет-бек бесстрашно гнал его на своих врагов, крепко сжимая в руке обнаженный бухарский клинок, похожий на только что народившийся месяц. Сверкала на солнце не только сталь, но и бритая голова бека. Сверкали налитые кровью глаза коня и узкие, рысьи глаза его хозяина. Человек и конь, слившись воедино, были готовы к любому исходу.

Такого дерзкого натиска первым не выдержал напарник тархана Бегиша. Он трусливо развернул коня и пустил его вскачь, полосуя бока животного плетью. Мамет-беку предстояло выбирать: либо догонять убегающего нукера, либо сбить вертлявого тархана, который тоже не терял времени даром. Навстречу беку уже летела очередная черноперая стрела – знак рода Тайбугинов. И как бы ни быстро несся конь Мамет-бека, и как бы ни крутился под Бегишем его собственный, стрела все же попала в цель, ударив в правое плечо. И снова спасла кольчуга – кольчуга Ермака, искусно изготовленная русскими мастерами-оружейниками из крепчайшей броневой проволоки. Панцирь казацкого атамана оказался не по зубам вражеской стреле. Из-за этого булат-саута, как называли кольчугу люди Дикого поля, два рода Чингисов – Тайбугинов и Шейбани – вели кровавый спор. И каждый из них стремился заполучить волшебную броню, о которой по всему бывшему ханству Кучума уже слагали легенды.

И вот в очередном поединке сшиблись отпрыски двух непримиримых сторон: Мамет-бек, сын мурзы Кайдаула из рода Шейбани, берущего свое начало от Джучи – сына Чингизхана, и тархан Бегиш – родственник Сейдяка из рода Тайбугинов, тоже уходящего корнями к одному из сынов «завоевателя вселенной».

---

<sup>7</sup> Нет Бога, кроме него! (тюрк.)

## СТРАНИЦА ИСТОРИИ

А началось с того, что в одной из вспышек гнева после разорения Бухары Чингисхан убил своего близкого родственника, татарского князя Мамыка, а его сына по имени Мар послал на север в междуречье Иртыша и Оби тайбугой, собирать ясак с покоренных племен вогулов и остяков. На крутом Красном яру, при впадении Ишима в Иртыш, тайбуга Мар поставил городок-крепость Кызыл-туру. С той поры и пошли сибирские ханы татарского происхождения с примесью монгольской крови Чингисов. Как утверждают многочисленные легенды: «...народ узкоглазый, ловкий в обращении с конями, тугими луками, кривыми ножами и седельными арканами, на коих можно волочить пленников и рабов, сохранил облик и обычаи татар-ногаев. Они не были похожими на светловолосых и рослых казанских татар».

Но из ногайских степей пришел хан Ибак и убил хана Мара. Зато Махмет, внук Мара, в свою очередь убил Ибака. Он восстановил власть Тайбугина рода и построил на Иртыше новую столицу Кашлык, названную русскими летописцами городом Сибирью. Но города Чимги, как называли раньше Тюмень, на реке Туре Махмету покорить не удалось, и там основалось отдельное Тюменское ханство. И вот внук Ибака, хан Кучум, в 1557 году убил царствующих братьев Едигера и Бекбулата и отнял у них царство. Покорил Тюменское ханство и подчинил себе всех татар и племена от Исети и Тобола до Барабинской степи. Даже чуди с низовий Оби и берегов Ледовитого океана стали его данниками. Власть сибирского хана Кучума, внука Ибака, ведущего свой род от Шейбани – Батыева брата и сына первенца Джучи, на целых двадцать пять лет в очередной раз утвердилась на Сибирском ханстве.

Эта власть иногда переваливала даже через Каменный пояс, достигая Камы. Он казнил непокорных князьков и беков, одаривал преданных, а город Кашлык, окруженный со всех сторон городками и городищами, стал главной столицей царства Кучума. Город-стан на Желтой горе. Глиняный и деревянный. Из дерева избы богачей и полные черного дыма земляные лачуги бедняков. Каменные кузни, где ковалось

оружие, на высокой площади, и там же гнусавили в толпе слепцы, выли, гремели железом, а оборванные, в заплатах, иссохшие дервиши пророчествовали и творили разные заклинания от всех напастей и даже боролись силачи. Как утверждают летописцы, кому удалось побывать в те годы в Кашлыке, «в Кашлык стекались разные люди: тут и рысы шапки северных охотников, птичьи перья пришлых лесных людей, козловые штаны степняков, залубеневшие от лошадиного пота... И надо всем – над нищетой, кизячьим дымом и пестрыми лоскутьями – верблюжий рев, конское ржание и собачий лай».

Город Кашлык вырвался за стены и рвы. Оброс множеством кибинок и земляными норами бедняков... А когда-то на его месте стоял другой город неведомого народа из бревен и даже обожженного кирпича. Тот народ без остатка пал под ударами Чингисов, оставив после себя обгоревшие срубы и груды кирпича. Потому многие называли Кашлык старым городом – Искером.

Из Бухары появился шейх, будто ему было открыто, что «кости семи мучеников за веру покоятся в Сибирской земле», и после этого магометанская вера тюркских народов Сибири стала господствующей. За шейхом пришли муллы и брат Кучума Ахмет-Гирей. Вместе они закрепили законы пророка. Произошло то, что случилось на Руси в конце X века при киевском князе Владимире. Как утверждают те же летописцы, многие татары разбили своих болванов и приняли обрезание, как законы Магомета. А кто не согласился с утверждением новой веры, их кровью досыта напоили кости семи мучеников, якобы увиденные святым шейхом сквозь землю у берегов Иртыша.

Но если слегка приоткрыть завесу древности, Сибирское татарское царство возникло на гибели некогда древнего народа сыбыр-мирных охотников и земледельцев. Сегодня от них сохранились лишь курганы и остатки разрушенных городищ. Пришедшие с Дикого поля татары<sup>8</sup> уничтожили этот народ. В те же далекие времена карта расселения на-

---

<sup>8</sup> Татаро-монголы – это один и тот же народ. Они одного тюркского корня. Обобщенное слово «монголы» ввел в обиход Чингисхан, поскольку сам вышел из небольшого племени, называющего «монголы». Когда-то Монголия и Западный Китай, где жили многочисленные тюркские племена, назывались Татарией, а сами племена – татарами.

родов Сибири представляла собой несколько иную раскладку. По великим сибирским рекам и на равнине жили тогда племена землепашцев, рыбаков, охотников и рудознатцев. В горах Алтая ковырялись дулгасцы, пришедшие из Китая в поисках драгоценных металлов. Находили, плавили их и продавали Скифии. Летописцы Рума, как назывались тогда Византия и Греция, повествуют, что жившие в те времена греки по берегам Понта Евксинского породили одну из многих красивых легенд и поведали ее Геродоту о каком-то никому не ведомом народе аримаспах, называя его муравьиным. И будто бы народ тот похищал золото у грифов, которые стерегли его в далеких неведомых краях, где лютей холод превращал землю в гранит на протяжении восьми месяцев в году. И что народы эти с берегов Енисея, Оби и Иртыша были голубоглазыми и рыжеволосыми. Они знали множество ремесел, растили хлеб и водили многочисленные стада скота. Владели письменностью и даже вели переписку с китайскими купцами. Но пришли с юга орды жуань-жуани и гун-ну. Они поглотили и растворили в себе сибирский народ. И, сформировавшись как гунны, потрясли мир. Потрясли своим нашествием. Жуаньский же хан стал властителем Алтая.

Спустя шестьсот лет, уже будучи в Азии, Чингисхан узнал про страну Шибир и направил часть своих орд на ее покорение. Уже в те годы о горе Сьювыр пели на Оби и Енисее. Люди сыбыр исчезли с лица земли под ударами татаро-монголов, как и кануло в лету татарское ханство, оставив после себя название невообразимо обширной сибирской земли.

К началу же покорения Сибири Ермаком карта уже выглядела по-иному. С верховьев Иртыша и Оби Сибирское царство подпирали калмыки с примесью кипчаков. На юге в Прибалхашских степях совместно с калмыками по сухим пустыням толкались немногочисленные племена киргиз-кайсаков – родоначальников современных казахов, гранича с обширным подбрюшьем Сибирского ханства – Большими ногаями, обитавшими по Эмбе, Яику, правобережью Волги и в северной части Прикаспийской низменности и Прибалхашья...

Шло время, не утихала кровавая вражда. Соперничество за власть между двумя родами Чингисов продолжалось. Кучуму не удалось до

конца вырвать корень Тайбугинов. Беременной жене убитого Бекбулата удалось бежать в Бухару, где она и родила сына по имени Сейдяк. А он, войдя в возраст, вернулся в Кашлык. Убил нескольких сыновей Кучума и его брата Ахмет-Гирея и скинул с царского престола сына Кучума Али. Сам же Кучум избежал смерти лишь благодаря тому, что после поражения от Ермака в битве у Чувашева мыса он бежал в степи верховьев реки Ишим.

Гибель общего врага – Ермака на некоторое время примирила враждующие роды. Да и воевать им уже было не за что. В сущности, Сибирское татарское царство рухнуло. И хотя сын Кучума Али занял покинутую казаками столицу Кашлык, само ханство как таковое уже было обречено. Подняться ему после смертельного удара Ермака уже не суждено.

На какое-то время наступил своеобразный вакуум: казаки ушли, а рати Ивана Грозного еще не прибыли. От племен северных чудей, кочевий Епанчи, Лабуты, туралинцев и Кондинских юрт, некогда поддерживающих хана Кучума, ничего не осталось. Они разбрелись всяк в свою сторону. Сам же Кучум продолжал пребывать в бегах. Он скрывался в степях Ишима и Барабы, жестоко расправляясь с отколовшимися юртами, иногда появляясь вблизи Кашлыка и все еще на что-то надеясь. Он знал, ратники царя Ивана уже не за горами. С хорошо организованным и боеспособным отрядом непримиримых татар и калмыков Кучум по-прежнему называл себя ханом и царем.

Вакуум этот после гибели Ермака продолжался три года. А пока суда да дело, события в бывшем Сибирском ханстве шли своим чередом. И шла кровавая резня за овладение волшебной кольчугой казацкого атамана, в которой, по убеждению, продолжала таиться сверхъестественная сила, способная свергать и воздвигать даже ханов. Ведь в дележе трофеев с Ермака больше всех обойденным оказался хан Сейдяк, ему достался лишь кафтан. Одной кольчугой завладел мурза Кайдаул из рода Шейбани, вторая досталась кодскому князю калмык-хошотов Аблаю, а Караче-мурзе, главному советнику Кучума, – сабля с поясом. А вот Байбагишу-тайше кипчаков и ногаев не перепало ничего. Но

вскоре нижняя кольчуга, снятая с погибшего Ермака, попала к кодскому князю Алаче, а он отослал ее в святилище белогорского шайтана, после чего след ее потерялся на полвека. Хан же Кучум во время дележки не взял себе ничего.

И вот за верхнюю броню Ермака началась отчаянная драка. В ней схлестнулись не только два враждующих рода Чингисов – Шейбани и Тайбугинов, но и калмыки, и ногайцы, кипчаки и даже остяки с вогулами. И каждый из них возжелал завладеть волшебным булат-саутом...

На этот раз черная стрела рода Тайбугина не достигла цели. Мамет-бек пришпорил коня и в одно мгновение проскочил мимо тархана Бегиша. Довольно быстро нагнал убегающего всадника, а поравнявшись с ним, со всего плеча наотмашь взмахнул клинком. Еще продолжал скакать гнедой конь, и еще какое-то время, прежде чем свалиться, сидел на нем человек в монгольском халате, но уже без головы. И когда чернобородый Мамет-бек развернул своего саврасого, то Бегиша он не увидел. Его нигде не было. И сын Кайдаула подумал, что тархан скрылся от него позорным бегством.

Мамет-бек усмехнулся. Его конь, перейдя на шаг, еще долго просил поводи́ев, мотая головой. Зорко поглядывая вокруг, всадник направился к тому месту, где черная стрела сбила с него шапку. А отыскивая ее, он слез с саврасого, вынул из седельного баксона-сумы молитвенный коврик и, разостлав его у копыт коня, прочел куфтан – последнюю, пятую молитву Аллаху, за то что Он, Великий и Всемогущий, отвел от него руку врага. Сегодня, по возвращении в Сузун-туру, бек прикажет резать самого жирного барана и приготовить из него ароматный бешбармак. Будет пить сброженное кобылье молоко и славить Всемилостивейшего, что Он и волшебная кольчуга казак-хана оборонили его от стрелы. Мамет-бек не снимет панциря даже на ночь в знак благодарности ему во имя избавления от неминуемой гибели.

Окончив молитву, бек свернул коврик, сунул его в баксон, подобрал шапку и вскочил на коня. Солнце уже клонилось к закату. Повсюду зеленый ковер молодой травы, усыпанный летними цветами.

Уже сверкал серебром нежный пух ковыля, а в голубизне высокого безоблачного неба медленными кругами парил белохвостый орлан. Он высматривал добычу. И Мамет подумал: «В этом мире каждый ищет, кого бы сожрать. Но удача переменчива: сегодня меня стрелой в шею, а завтра я ему в ребра клыш. И соси кровь первым. Высосал – подводи врагу своему пятки к затылку...» Бек снова усмехнулся и тронул коня.

В ближайшем перелеске пронзительно заверещал сорокопут. Знать, кто-то опасный потревожил его. Мамет-бек насторожился и слегка придержал коня. В это время шевельнулись кусты. Бек успел заметить качнувшиеся ветки. Мгновение – и тело всадника уже перекинуто на другую сторону лошади, прикрывшись ею, как щитом. Такой прием у татар бытует столетия, его применяли во время внезапных нападений, если успевали заметить грозившую опасность. Но в таких случаях, как правило, погибал конь либо получал тяжелое ранение. Черная стрела ударила саврасого ниже передней лопатки. Громко заржав от боли, жеребец вскинулся на дыбы, и тут же, падая, он начал заваливаться набок, дергая передними ногами. Бек успел откатиться чуть в сторону и укрылся за павшим конем. Сквозь густые ветки краснотала его острый, рысий взгляд все же различил затаившегося врага. Сомнений быть не могло: это Бегиш. Однако условия поединка оказались далеко не равными. Мамет открыт со всех сторон, и стоило ему подняться и даже высунуться из-за коня, как он рисковал тут же быть проткнутым стрелой, тогда как его противник прикрыт деревьями.

Мамет-бек осторожно потянул из саадака лук и наложил на него стрелу. И как только в очередной раз качнулись ветки краснотала, в них тут же ударила стрела. Тархан Бегиш, выронив из рук оружие, схватился за глаз и с волчьим воем закружился на месте. Стрела не пробилась черепа, потеряв силу, задевая за ветви куста, но левого глаза у Бегиша как не бывало. Его содержимое вытекло в ладони верного слуги хана Сейдяка.

А в это время, обложенный со всех сторон мягкими подушками с золотыми кистями по углам, хан Сейдяк полулежал на урндыке, как называлась приподнятая половина комнаты для еды и сна, а его холеные руки лениво поглаживали белую бухарскую кошку, лежащую у его ко-

леней. Рожденный и выросший в Бухаре, воспитанный непримиримым врагом Кучума – князем Шигеем в суннитском<sup>9</sup> духе, он с молоком матери впитал в себя не только бухарский диалект во многом смешанного языка, где тесно переплелись тюркский и арабский, персидский, индийский и даже китайский. В жилище Кучума в покинутом казаками Кашлыке, Сейдяк привез из далекой Бухары многие предметы обихода и роскоши, вплоть до кальяна.

Крупная голова хана увенчана сорокаоборотной чалмой-тильпеч из лучшего и тончайшего гиланского шелка Ирана. Широкий бухарский халат из золотистого аксамита и мягкие расписные сапоги-сутулы без каблуков с загнутыми носками. Под правой рукой серебряной чеканки кальян, сработанный стамбульскими мастерами. Повсюду огромные персидские ковры самых невероятных расцветок. На них много разнообразного оружия. Здесь не только кривые бухарские и дамасские клинки из крепчайшей стали, но и османские ятаганы, кавказские кинжалы и турецкие клычи, широкие татарские клыши, а рядом с ними длинные и короткие луки в богато отделанных саадаках, круглые щиты, кольчуги и стальные шлемы и три черные стрелы, вложенные в богатый колчан<sup>10</sup>.

Согнувшись вдвое, в помещение шагнул небольшого роста человек с окровавленной тряпичей на голове. Он ткнулся перед ханом в пол и застонал.

– О всемилостивейший хан! Прикажи казнить, – не поднимая лица от пола, пробормотал тархан Бегиш. – Из нас четверых уцелел только я один, и то без глаза. Этот сын собаки и свиньи налетел на нас двумя десятками нукеров, побил твоих верных слуг и снова улизнул. Его тулпар<sup>11</sup> быстрее ветра.

– Даджал! – взвизгнул хан, что означало «предатель». – Презренный желтый шакал!.. Жилан вертячая! – наградил он еще одним пре-

<sup>9</sup> Мусульманство делится на два крыла: сунниты и шииты. С одной стороны турки-османы, с другой – персы и некоторые другие народы стран Ближнего Востока.

<sup>10</sup> Верхушка татаро-монголов имела в своих колчанах определенное количество стрел, в зависимости от ранга. У хана Батыя их было три, красного цвета. Простые воины носили полный колчан.

<sup>11</sup> *Тулпар* – сказочный крылатый конь в монгольской мифологии.

зренным именем змеи своего верного слугу. И, ухватив кошку за хвост, которую только что ласкали ханские руки, зло отбросил ее в дальний угол и вскочил.

– Аман! – взмолился тархан, но просьба о пощаде осталась ханом не услышанной.

– Алыб барын! – приказал Сейдяк стоящим за дверями телохранителям. Но когда те вбежали, чтобы уволочь ослушника в подземную тюрьму-зиндан, хан остановил их, подняв руку. Затем махнул, выпроваживая воинов и считая, что страху на Бегиша он нагнал предостаточно. И теперь, пусть даже с одним глазом, этот сатрап будет служить ему вернее собаки. Булат-саут Ермака должен принадлежать ему, хану Сибирскому, и никому больше! Панцирь тот – это не просто добыча, взятая с поверженного врага, в нем сила волшебная! И тот, кто владеет им, – он непобедим. Казак-хан с горстью воинов, счет которым не больше, чем зерен в кукурузном початке, сокрушил целое царство Кучума, зревшее три с половиной века! И только благодаря волшебной кольчуге. Даже щепоть земли, съеденная с могилы казак-хана, как уверяют татары, творит чудеса, исцеляя людей от хвори.

– Дарую тебе жизнь, презренный деренчи, – уже снисходительнее проговорил хан. – Иди к табибу, он вставит тебе глаз рыси, чтоб ты зрил им и днем и ночью... И чтобы панцирь Ермака висел вот на этом ковре! – махнул Сейдяк рукой на стену.

– Рахмат, всемогущий хан, – уползая задом к двери и не отрывая лица от пыльного пола, пробормотал тархан Бегиш. – Все будет так, как ты сказал... Да пошлет тебе Аллах свою милость. Аллах экбер.

Закрылась за безглазым дверь. Хан Сейдяк снова опустился на ложе и торопливо схватился за мундштук кальяна. Забулькала вода. Хан затянулся несколько раз подряд, пока в его глазах не поплыли разноцветные радуги и не начала затухать вспышка гнева. Отброшенная белая кошка осторожно приблизилась к хозяину, улеглась возле его бока и мирно замурыкала, простив обиду. Сейдяк протянул к ней руку и, нащарив голову, провел по ней рукой. Потом пальцы перешли на шею и быстро сдавили ее. И как бы ни извивалось несчастное животное, как

бы ни рвали его когти руку хана – цепкие пальцы не разжались, пока зверек не перестал вздрагивать.

Сейдяк с отворачиванием откинул к порогу мертвую кошку, хлопнул два раза в ладоши и указал вбежавшим слугам:

– Убрать мусук!

## Часть вторая

### Глава 3

### СКОЛЬКО ВОЛКА НИ КОРМИ...

Упырь и Ивашка Цыган, прозванный так колодниками во время этапа за свою черноту, весь остаток ночи продирались сквозь тайгу. Перед тем как скрыться в ней, завернули на территорию прииска с целью разжиться топором либо другим каким инструментом, чтоб освободиться от цепей. Топоры, лопаты, кайла – все это хранилось в одном из сараев под замком. Проникнуть в него беглецам не удалось. Помешали работные люди у печей, плавящие руду и в ночное время; тут же стражник с ружьем. Риск был велик. Обойдя копи, они по мелководью перебрали речку и, спотыкаясь в темноте о что попало, поспешили скрыться в лесу. Утро застало их уже верстах в семи от прииска.

Светало. Уставшие донельзя беглецы лежали под елью на старой хвое, где их не смог бы увидеть сам Господь Бог. Польшали огнем и стонали в кровь растертые кандалами ноги. Кровоточили сбитые пальцы и проколотые подошвы. Если к этому добавить еще и цепи, избавиться от которых они пока не видели способа, пустой желудок, дремучую тайгу, где очутились впервые в жизни, босые ноги, то положению беглых не позавидуешь. Но уж слишком велика у людей жажда свободы! Кто не терял ее, тому не понять. Человек идет на многое ради одного ее глотка. Упырь был далеко не дурак и понимал, что каторга – это медленная и мучительная смерть. С нее на волю не возвращаются, а уходят только в землю.

Конокрад поднялся и сел, обхватив гудящие и стонущие ноги, сцепив пальцы в замок. Он медленно обвел вокруг себя уставшим взглядом,

не останавливаясь надолго на чем-то одном. Кругом завалы упавших лесин, заросли всевозможных кустарников и ягодников – смородины и малины. Повсюду на земле рыжая хвоя и мхи на деревьях вперемешку с зеленовато-седыми космами лишайников на старых умирающих лесинах. Они прядями свисали со стволов, особенно с их северной стороны, и трепетали даже при малейшем дуновении ветерка. Повсюду причудливые козырьки грибов-наростов, по-местному – губы, но на березах и осинах их значительно больше. Выворотни, гнилушки, черные зевы дупел, запах прели, сырости, дух жирующих трав и ко всему этому – лесной сумрак: сюда с трудом пробивалось солнце. И надо всем этим невидимым облаком висела настороженная таинственность, пугающая человека своей непредсказуемостью.

Подобные урманы по вкусу лишь неистовому разбойнику тайги соболю, а человеку тут делать нечего и зверю копытному тоже. Он тут с первых шагов переломает себе ноги. Зато в таком лесу вольготно крылатым: глухарю, филину... Здесь селятся и выводят потомство черные дятлы, тут для них обилие корма. Тут устраивают берлоги медведи и роют логова волки.

Долго глядел Упырь в окружающую его урему. Повернулся к напарнику по побегу, вкручивая в него черные, без зрачков, глаза. Оскалив по-волчьи белые зубы, спросил:

– Ну и что дале?

Цыган лежал на спине, подложив руки под голову. Он даже не пошевелился, а только приоткрыл глаза.

– Спать. Всю ночь бились о коряги, как слепые кошенята. Куды с такими ногами? – приподнял Ивашка обе окровавленные ступни. – Пуцай заживут малость.

– А жрать сам себя будешь?

– Жрать? – приподнялся Цыган. – Не-ет, Степан. Себя не дело. Тайга эвон какая! В ней найдется что на зуб положить, ежели ты не морговитый.

– Поначалу от браслетов ослобонись. С ними дальше могилы пути нету.

– Зубило да молот дашь? Или у тебя за пазухой пила вострая? – со злом – спросил напарник. – Можа, кузня где вблизиах?

– Юродивый, – усмехнулся Упырь.

– Поведай тоды, как ты скинешь свои юзы? – не унимался Ивашка, втайне надеясь если не на чудо, то еще на какое-то решение, созревшее в голове конокрада. Порази гром, самому ему в башку пока ничего спасительного не приходило, хотя он и бился над поиском.

– Точить будем.

– Чем?

– Камнем. Камнем, ослеп! Другого снаряда у нас нет окромя зубов.

– Но это же до морковкиного заговения, – вздохнул Ивашка, садясь и поудобнее устраивая битые ноги.

– По-другому – смерть. Подымайся. К реке пробираться будем. Там нужный камень отыщем. А потом ей же отправимся вверх по течению. На север. Тут все речки с севера на юг текут. К Иртышу. А нам с тобой подале от него убираться надо. И от острога тоже.

– И доколь итить будем?

– Доколь добредем. Где пристанище отыщем. Бог не Яшка, видит, кому тяжело.

– А ежели лесовики спымают? Сказывали мне работные на печак люди, что есть в тайге такие, кому деньги дают за поимку. Они по таежным заимкам живут. Охотой промышляют на зверей и людей. Двуперстием по лбу машут.

– Вот они-то нам и нужны. В них наше спасение и надежда. Сгинем мы без лесовиков, как токмо холода накроют... Ежели еще до них с голодухи не опрокинемся. Вставай!

С трудом поднялся Упырь, встал за ним нараскоряку и Цыган. Первые шаги как по битому стеклу. Мужики подтянули цепи так, чтобы охватные железа оказались как можно выше, на еще не стертых местах. Осторожно, выбирая под каждый шаг ступни место поглаже, колодки пошли под уклон в надежде выйти к какой-нибудь реке. А где река, там и путь, иди берегом – и не запутаешь, не будешь кружить по тайге в одном месте.

Они вышли на небольшую светлую поляну, заросшую кустами красной смородины. И, забыв о жгучей боли в ногах, навалились на недозревшую ягоду. Набили брюхо так, что больше некуда. Не прошло и часа, как из них понесло коромыслом, не успевали штанов надевать. Наконец до того выполоскались, что в изнеможении свалились. Лежали долго, подавляя позывы, зовущие до ветру. Ходить туда уже было нечем, а вся съеденная ягода давно выброшена из кишечника.

– Все. Больше не могу.

– Хлеба нет, – ехидно ответил Упырь.

– Не гальничай!

– Цыц! Не ори. Придушу и съем.

Ивашка струхнул. Такими зубами Рваная Ноздря на самом деле разорвет на куски и проглотит, не жуя, вместе с костями, по-волчьи. Голод – явление страшное, необоримое. Есть ли в природе что-либо страшнее его? Тем более в таком положении, как у них. Он осторожно глянул на напарника и решил на будущее не задирать его. Упырь шутковать не станет, если дело дойдет до серьезного.

Так, в пассивном отрешении, прошло некоторое время. Желудок, кишечник и все остальное понемногу начали успокаиваться, хотя до полного спокойствия было еще далеко. Молчание нарушил Цыган:

– Сказку мне одна сказывали. Хошь послушать?.. Один старик, помирая, завещал сыну удавиться.

– Заместо наследствия? – усмехнулся Упырь.

– Похоже, так. Сын евоный был послушным мужиком и сполнил волю отца. А доска возьми да и отвались. И оттель, где крюк был вбит, мешок с деньгами выпал.

– К чему ладишь? – смеется конокрад.

– К тому. Вот худо у нас этот день, а завтра все не так может быть.

Наоборот.

– Надежа?

– Без нее неможно. Всю жись человек живет ей.

– С ней и подышает... Вот ты, как и я, вор. Ну, я знаю, пошто коней уводил, а ты? Ты не конокрад. За мошной гонялся? Купцом хотел изладиться? А сколь душ загубил, покуда мошну отымал?

– Не губил я душ. Токмо по нужде великой, когда жись свою оборонял.

– Значит, за засапожный нож хватался? – добивал Упырь дружка.

– Ну, есть такой грех.

– И таперь ты человека тожить погубишь, ежели дело к тому приспеет? Иль нет?

Цыган замялся.

– Ну, ежели на кон жись моя станет.

– Как же тогда быть с твоей надеждой, коли ты чужие отымаешь? – загонял Упырь дружка в угол.

Снюхались они на этапе, когда сковали их в паре. Своего один в другом почуял. Такой народец сходится быстро.

– Ты допроса мне не чини. Не пристав. Пошто тебе ноздрю рвали?

– За коней.

– Ой ли?.. Ну да бог с тобой. Не сказываешь – не надо. Носи в себе... А ежели доспело время нам удвох покаяться?

– Кайся, ежели грешен. Я – нет. Падай перед лесиной на колени и понужай, а я не стану.

– Тогда ты Сатана.

– Верно! – рассмеялся конокрад. – Так меня в Бессарабии обзывали. Не было такого коня, коего бы я не увел. Прихожу в табун иль на конюшню, свистну, а избранец сам ко мне бегит и голову в узду сует. Не веришь?

– Врешь.

– Истинно. Чтоб мне конскую подхвостку сожрать, ежели брешу.

– Тоды ты и есть истый Сатана! Мне не свистел, а я за тобой побежал, как теля на веревочке. Слово такое знаешь?

– Слова не знаю, а многих уведу куда хошь.

– Как же ты попался, ежели такой увертливый? Даже вон красу тебе спортили. С одного боку мужик ладный, с другого... А главное, приметный. Где б ни объявился, сразу вором назовут. Таперь тебе токмо в такой дремучей тайге и проживать, с медведухой спать. Добрая баба поморгует.

– На мой век дурех хватит. Было бы кое-что в исправности... Попался, говоришь? Все воры когда-то все одно попадают. Там, в Малороссии, так говорят: гарцевал пан, да с коня пал. Вот и я тожить. Сто коней увел, на сто первом оскользнулся... Всяк по своему толку живет, свыше ему означенном. Я – тоже. Есть люди, за чужую иглу не запнулись, а проку? Жил в муках и помер в них же. Одни лошадь поперек оглобелъ ставили, другие – телегу задом наперед. Пущай я Сатана, но по-ихнему не жил. И ежели последним к Богу Сатана явится, с ним вместе и я приду.

– Ну, а ежели б нам под ноги пал тот мешок с деньгами, о коем я тебе сказку поведал, сызнова бы коней свистел?

Конокрад подумал и ответил со всей прямоотой:

– Сколь живут люди на земле, столь живет меж ними вор. Столько и непутные бабы живут. Вор да гулящая не играют в прятки. Они здравствовали всегда.

– А вот я бросил бы свой промысел, попадись мне в руки мешок с деньгами. Кончил бы все дела.

– На глаголице! – издевательски рассмеялся Упырь. – Рядом со мной. Моли Бога, штоб веревка поскольжее досталась. Так што, со-товарыш мой по беде, на свою худоумость жалобиться зазорно... Подымайсь, застегивай покрепче очкур портков – и потопали. Время не ждет. Да и гузно, видать, малость охладилось, – поднялся на непослушные ноги конокрад.

Багряное солнце садилось на горные вершины правого хребта, окрасив его пики в бледно-розовый цвет. Его косые лучи легко скользили не только по гребню каменной гряды, но и по поверхности быстрой речушки, куда наконец вышли беглые колодники. Вода в реке казалась до багровости красной, ровно как и зависшие в неподвижности над горизонтом кучевые облака. Красный цвет везде: на хвойных вершинах лесов, стремительно взмывающих ввысь, подобно гигантским стрелам, на шелестящей листве кудрявых берез, на высокой таежной траве – всюду, куда только проникали вечерние лучи заходящего солнца. А вокруг, дыша покоем, стояла изумительная тишина.

Едва переставляя израненные ноги, кандальники подошли к воде и долго пили, утоляя жажду. Охватные железа скользнули на открытые раны, и Цыган застонал.

– Не ори, баба! – процедил сквозь зубы Упырь, хотя и сам едва не кричал от боли, но характер этого человека заставил его покрепче сомкнуть зубы. Конокрад не стонал даже тогда, когда ему рвали ноздрю.

Ночь провели тут же на берегу, надрыв для лежаков травы. Под плескающий шум реки спали как убитые, лишь иногда то один, то другой стонали сквозь тяжелый сон. Даже прохлада с реки не могла прервать его. Но когда остыли камни речной косы и они начали источать холод, беглецы проснулись. Первым – Цыган. Поеживаясь от холода, он с трудом поднялся на изуродованные ноги.

– Не греми цепями, юродивый! Спать не даешь, – недовольно рявкнул Упырь и сел. Потом довольно шустро встал и, придерживая цепь одной рукой, пошел к воде. Вяло поплескал ладонями в лицо. А когда вернулся, спросил: – Кто куда? – И, не дождавшись ответа, договорил: – Удалий на печь... Сиди тут, пойду точило искать. Заклеп резать надо. С нашим ожерельем дальше версты ходу нет. Не собьем кандалы – зверю на корм. Покуда нужный камень ищу, веток с ягодой наломаю. Хоть и жидким хлестать будем по-вчерашнему, а все еда.

И пошел конокрад по каменистому берегу, шаря глазами по земле. То один камень поднимет, то другой. Оглядит со всех сторон, постучит и швырнет. Нужен был крепкий и шершавый.

Ивашка нехотя поднялся с травяной подстилки и, с трудом передвигая ноги, пошел к зарослям ягодника, где вдоволь было не только смородины, но и малины и даже полужеленого шиповника. Подходя к одному из густых кустов, Цыган едва не сел от неожиданности. Из-под его ног с шумом поднялась крупная серая птица. Порхнув на сажень, она снова свалилась в траву и, бороздя по траве крылом, начала уходить от человека. Ивашка подумал, что несчастную птицу кто-то тяжело подранил и ее легко поймать.

Забыв о боли в ногах, кандальник кинулся за птицей. Это была глухарка. Подпуская человека на столько, чтобы он не сумел ухватить ее,

птица ухитрялась взлететь из-под самых рук. Цыган падал, путался в цепях, полз за желанной добычей, но она неизменно уходила в самый последний момент. Такой безуспешный поединок продолжался довольно долго. Потом глухарка спокойно поднялась на крыло и, сильно взмахнув, скрылась за ближайшим ельником. Только тогда понял человек, как легко его одурачили, уводя от выводка. Мать спасала детей. Таежники это знают давно.

Все боли сразу же вернулись на место, и Цыган обессиленно опустился на траву. «Где же ее выводок? – подумал он. – Они остались там, откуда поднялась глухарка, и далеко убежать не должны». И кандалник поспешил к тому месту.

Вот и большая колодина с высохшими ветвями. Ивашка пал на колени и начал раздвигать под ней густую траву. Выводок еще не на крыле, стало быть, он где-то здесь. Затаился и ждет призывного голоса матери. Ползает беглый на коленях, путается в высокой траве каторжанская цепь, сдирают охваты последнюю шкуру с ног. Но царь-голод превыше всего.

Наконец-то Цыган обнаружил притаившегося в теснине под валежиной глухаренка. Он припал к земле, сжавшись от страха и втянув голову в плечи. Но рука человека рванула его из захоронки и тут же... Не прошло и пяти минут, как от цыпленка не осталось и следа. Только окровавленный рот и такие же руки у Цыгана.

Ивашка продолжил поиски выводка, но все было тщетно. Глупый цыпленок оказался единственной его добычей. Что ж, спасибо и на этом, птичье мясо не ягоды, пусть даже сырое. От смородины не успеваешь надевать портков. Все звери, птицы едят, клюют, жрут сырое мясо. И даже без соли. Пращуры человека тоже его не варили и не солили. Ничего, жили.

Цыган вытер о траву пальцы, отер с губ кровь и начал ломать ягодник с недозревшими плодами. Это для Упыря. Пусть жрет. Попоносит да перестанет, усмехнулся он, подумав о напарнике.

Вернулся Упырь. В его руках несколько небольших камней черного цвета. Вскоре на прибрежную косу прибrel и Ивашка с полной охапкой веток смородины. Бросив их на одну из лежанок, нехотя проронил:

– Ешь.

– А ты?

– Не хочу. Со вчерашнего гузно дерет. Как в огне горит.

– Ишо кого нажрался? – подозрительно глянул Упырь на дружка.

– Требухи коровьей, вареной! – зло ответил тот.

– А пошто харя в крови? Пошто? Сказывай, лукавец!

– Лягуху съел, – струхнул Ивашка, зная крутой характер друга.

– Без соли? – ослабился тот. И двинул напарничка под дых.

Ловя широко разинутым ртом воздух и захлебываясь им, Цыган пластом опрокинулся навзничь. И долго лежал с закрытыми глазами.

– Вставай. Делом заниматься надо. – И, когда Ивашка поднялся, жестко добавил: – Запомни, живота лишу, ежели еще слукавишь. – И стал срывать с ветки ягоду, жадно пережевывая ее крепкими белыми зубами. А когда набил брюхо зеленью, приказал: – Бери вот этот камень и понужай по заклепу, пока семь потов не сойдет.

– До зимы не управимся.

– Шоркай или подохнем вот на этом берегу! Иного спаса у нас нет. Три, лукавец! – И начал остервенело двигать камнем по головке заклепки на ножном охвате.

На самом деле, а что еще оставалось кандальникам? В юзах со стертыми до живого мяса ногами они отсюда уже не уйдут. Либо голодная смерть, либо хоть какая-то надежда на спасение.

...И только на шестой день, вконец обессиленным от нелегкой работы и голода, им наконец удалось избавиться от оков. Один Бог да они сами знали, каким адским трудом были сброшены цепи.

Не веря даже самим себе, беглые еще долго лежали на своих травяных подстилках, до крайности изможденные, но уже с новым живым блеском в глазах. Желанная свобода обретала реальные формы и дохнула на них обнадеживающим теплом. Пусть полураздетые, босые и голодные, но уже без кандалов.

Отлежавшись и уняв дрожь в уставших руках, Ивашка спросил:

– Куды таперь?

– Белый свет велик, – как всегда, усмехнулся Упырь. – В тайге сто дорог и все лесом.

– К людям подаваться надо. Пропадем...

Снизу от реки появились двое изможденных в изодранных рубищах и босые. Они еле шли, с трудом переставляя в коростах и кровоподтеках ноги. Оба черные волосом и глазами. Опоясаны веревками и с посохами в руках, скорее похожими на боевые палицы. Увидев во дворе Прохора, пришлые люди повернули в его сторону.

– Мир дому твоему, хозяин, – низко поклонился Упырь.

То же самое проделал и Цыган.

– Вам тоже, добрые люди. Ежели табак не жгете и не сосете, милости прошу.

– Благодарствуем, – во второй раз склонился конокрад. – Степаном меня зовут, а его Ивашкой, – повел он рукой в сторону товарища. И сразу решил играть в открытую: – Беглые мы... Хошь – пускай на порог, хошь – дрекольем гони.

– Прохором зовите, добрые люди.

– Мы беглые, Прохор, – повторил Упырь. – Из серебряных копей, что на речке Филипповке. Этим летом этапом пригнали. У царя-батюшки Пугача Емельяна Ивановича служили. За то и заковали нас в цепи... Смилоствился над нами Господь, пособил не токмо бежать, но и юзы скинуть.

...Отмыли колодники едва ли не годичную грязь, отпарили, вшей из лопатины выжарили над каменкой. Полшкуры слезло вместе с грязью и паршой. А после Прохор усадил обоих на банную лавку и принес низенькую шайку с распаренными травами. Велел поставить в нее ноги. И, поливая их от колен из деревянного ковша, приговаривал:

– Мать жива вода! Омываешь ты круты берега, желты пески, бел горяч камень своей быстрой и золотой струей: обмой-ка ты с рабов Божьих Степана и Ивана все хвори и недуги, уроки и призоры, щипоты и ломоты, злу худобу и холеру. Будьте мои слова крепки и лепки. Аминь!..

Закончив со Степаном, начал поливать ноги Ивашки. И приговаривал совсем иным голосом. И слова были иными:

– Цвет полевой растет на сугорах... Кровь очищает...

Так и лечил их поочередно: то одного, то другого, и все с наговорами.

В ту же ночь после жаркой бани, обильной пищи, заговоров и наговоров бывшим колодникам постелили в завозне на широком настиле, где хранилась разная хозяйственная утварь и кое-какая старая одежда из самотканой посконины и самодельного сермяжного сукна. Охапки прошлогодней соломы, конопляная дерюга, брошенная на нее, – блаженство! Едва уронив головы, воры тут же погрузились в глубокий сон.

Ночью Упырь разбудил Цыгана и зашептал:

– Кольчугу на стене видал?

– Ну, видал, – не понимая, в чем дело, сквозь сон пробормотал подельник. – Железная рубаха, токмо и всего. Чо булгачишь среди ночи? Спи.

– Дурак ты, Цыган. Воистину сказано: не родом юроды ведутся, а на кого Бог укажет. Ты хоть разглядел ее?

– Кого?

– Шары продери. Про кольчугу говорю.

– Нет. Видал, медью изукрашена.

– Лоб у тебя медный! Ей-богу, ты дурак. И пошто я повязался с тобой? Орлов видал?

– Не видал.

– Из золота они. Я раньше тебя из бани вернулся. Ту железную рубаху всю разглядел. По фунту в каждом орле того золота, ежели не более. Микитишь?

Наконец Ивашка начал понимать смысл разговора. Он протер глаза и сел, зашуршав соломой...

Однажды ранним июльским утром Прохор поднялся до ветру и сразу же обратил внимание, что ворота завозни, где спали пришлые люди, раскрыты настежь. И так нехорошо стало на душе у мужика в предчувствии чего-то неладного. Заглянул в завозню Прохор и не увидел там беглых. А оглядевшись, понял, что они ушли. Не оказалось на месте и мешка с зерном, где было пуда два ржи, приготовленной для помола.

Прохор метнулся в избу. Окинул взглядом колышки. В жар бросило мужика: исчезло два лука с полными колчанами стрел. Но самое обидное – пропала кольчуга Ермака.

– Забодай меня комар! – только и сумел выговорить ошарашенный Прохор.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Кто сегодня укажет людям то место, где покоится прах легендарного покорителя Сибири, атамана казачьего Ермака Тимофеевича? И где тот тайник, куда навечно упрятана его броня? Если верить легенде, то могилу сыскать можно по свету горящей свечи. А потаенное место с кольчугой как угадать?

Сибирь-матушка необъятна, от края до края орлу не долететь. Под силу лишь памяти людской. Потому что она нетленна и неподвержена времени, если мы до конца останемся ей благодарными. А «ревели буря, дождь шумел...» еще долгие столетия будет волновать наши сердца и души не только в торжественные минуты, но и в минуты грусти. Эти слова песни напомнят нам, живущим на Российской земле, не только о великом человеке и его времени, человеке, подлинного имени которого так никто и не знает, свершившем подвиг, равный бессмертию, но и о многом другом. И о том, что реву бурь над державой, как и проливным дождям, бушевать еще бесконечно долго...

Сказ о кольчуге Ермака – это всего лишь миф. Возможно, на атамане в момент его гибели было две брони. Возможно... Доказательств тому нет, кроме предположений. Но люди верят в этот миф. И дай бог, чтобы вера эта жила вечно. Без веры в жизнь или в тот Великий Дух, живущий по ту сторону ее, не бывает самой жизни даже тогда, когда она становится в тягость, а в радость лишь смерть.

Люди утверждают, что одна ложь портит тысячу истин, а дух лжи самое чистое жилище превращает в хлевище. И только оставшись один на один с верой, человек обретает искренность своих помыслов. Так уж скроена в том числе и загадочная душа русская. Мы во многое верили или готовы поверить: в красивую сказку, в легенду, ласкающую наш слух и душу. Верим в прекрасную мечту, которой зачастую не суждено сбыться, и ради нее терпим реки горести. Нередко стыдимся своих естественных желаний, утешая себя, что «без стыда и рожи не износишь».

А стыдиться нам есть за что и перед предками, и перед будущими поколениями. Ермаки наращивали земли российские кровью и

собственными смертями, мы же с легкостью подвыпившего ямщика базарим их. А кто не согласен – того в тычки да взашеек. Вот почему нам нужны не только кольчуги, но и кресты, и прапоры российские, установленные на сибирских и среднеазиатских просторах, Востоке Дальнем и берегах Берингова пролива, Балтики и Днестра, равно как и на холодной Аляске и в жаркой Калифорнии, так же как и боевой щит вешего Олега на вратах Цареграда.

И как бы ни вопили наши недруги, делают они это в угоду гипертрофированным националистическим помыслам, искажая факты истории, шельмуя и подменяя их, выдавая желаемое за действительное. И не экспансия двигателя деяниями первопроходцев русских вглубь земель, а стремление освоить их, поставив открытые богатства на службу человеку. А также учинить прочный заслон все тому же Дикому полю, которое, начиная от гуннов, лава за лавой на протяжении тысячелетий катилось по нашим землям, огнем и мечом уничтожая на своем пути все живое и мертвое.

Оказавшись демографическим парником, Восток раз за разом выплескивает из своих недр на Запад, будто вечно действующий вулкан, раскаленную магму в облике диких кочевников. И они катятся от моря до моря.

Истории человечества было угодно распорядиться так, чтобы на пути этих огненных лав встала Русь. И вот уже тысячу лет она свято несет свой тяжкий крест, покрывая его не только горечью поражений, но и немеркнущей славой, о чем забывать нельзя.

Кольчуга Ермака – это всего лишь один из скромных предложений оживить некоторые страницы истории и напомнить людям о временах оных и нынешних, о вечных ценностях, память о которых должна оставаться нетленной и сохраниться в сердцах людей русских. А что из этого получилось – судить не автору данного романа.

*Май 1997 – июль 1998  
Сибирь, Юрга*

Елена Чазова

НРАВСТВЕННЫЕ, ДУХОВНЫЕ,  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА ГОЛУНЧИКОВА

*Блажен, кто...  
В жизни шел большой дорогой,  
Кто цель имел и к ней стремился,  
Кто знал, зачем он в свет явился...*

А. С. Пушкин

Поздно придя в литературу, Александр Максимович Голунчиков работал весьма напряженно и плодотворно, целиком посвятив себя писательскому труду.

За десять лет литературной деятельности, после первой публикации в журнале «Эльбрус», с 1989 по 2002 год им создано двенадцать романов и три повести. Повесть А. М. Голунчикова «Конфликт» (1989) издана отдельной книгой в издательстве «Эльбрус» в Нальчике. Вторую повесть «Королева карьера» (1990) писатель опубликовал в журнале «Эльбрус», а третья повесть «Птаха-малаха» (1991) появилась в журнале «Литературная Кабардино-Балкария».

В 1992 году вышел роман «Крутояр», давший А. Голунчикову путевку в Союз писателей. Приключенческий жанр, захватывающие коллизии романов о Черном Волке сразу привлекли внимание читателей. Книги выходили одна за другой. Не каждому писателю сопутствует такая удача. Друзья-писатели называли Александра Голунчикова «русским Джеком Лондоном».

В основу романа о Черном Волке легла судьба сибирского таежного охотника из Агудара Федора Истомина, прослеженная автором от юношеских лет героя до его глубокой старости, от довоенных времен до сегодняшнего дня. Эта судьба вместила в себя жизнь трех поколений Истоминых, прошедших через беды, потери и радости.

Попад за тюремную решетку, за то что вызволил из передвижного зоопарка спасенного когда-то им в тайге снежного барса, Федор Истомин знакомится с Кара-Каскыром. Это и есть Черный Волк – человек, за которым тянется кровавый след его злодеяний. С первой своей встречи главные герои обречены на бескомпромиссный конфликт, ибо борьба добра со злом всегда непримирима. И жизнь сталкивает их снова и снова. Матерый хищник, Кара-Каскыр совершает дерзкий побег из тюрьмы, и снова за ним кровавый след. Он выходит живым и невероятным из самых сложных и невероятных ситуаций.

Несомненная писательская удача – яркие образы таежницы Манефы, старого охотника деда Платона, лютого до денег браконьера Горбуна и его сожительницы Шишиги. И что особенно привлекает в романах Александра Голунчикова – это глубокое знание тайги, сибирской природы и ее неписаных законов. Тайга стала чуть ли не главным героем его повествований.

Роман «Последней тропой» вплотную продвинул в наше время, время смут и распада, неверия и растерянности. Все, что происходит в романе, символично. Гибнет главный источник зла – Кара-Каскыр, но и охотник из Агудара, несмотря на свою силу, измотанный в борьбе за справедливость, стареет с каждым днем, и его кончина, кажется, близка. Но мать-природа пытается спасти своего защитника.

Все русские писатели черпали вдохновение в русской природе. Неповторимой и прекрасной предстает она в произведениях А. Голунчикова. И не случайно выбрал он себе псевдоним Максим Сибирцев. Знание законов суровой сибирской природы присуще автору. Какая тишина в сибирской тайге! Величавая, вечная. Лишь пение птиц и голоса насекомых, шелест листьев и трав... Лес – наш друг. А человек? Друг ли он лесу? Друг ли другому человеку?

Эти мысли мы встречаем в романах Голунчикова «Падера», «Возмездие», «Кольчуга Ермака», «Последней тропой», «Черный Волк». В них столько ценных научных знаний, житейского опыта, а также легенд, сказов, что порой кажется: читаешь энциклопедию о природе.

Современная цивилизация погубила природу, «убила душу в человеке». Слова «человек есть царь природы» нигде не звучат так фальшиво, как на природе. В корне неверная фраза. Сначала человек стал покорителем, а затем – грабителем, погубителем природы, потребителем. Читая романы Голунчикова, понимаешь, что автора волнует все в этом мире: быт и судьба отдельного человека и глобальные проблемы, ошибки политиков и браконьерство, нищета народа и псевдокультура, умирающая природа и падение нравов, духовная деградация общества.

Много внимания изучению романов А. М. Голунчикова уделил заслуженный учитель РФ, почетный гражданин города Юрги Анастасия Николаевна Томышева. Большой знаток его творчества, она так отзывалась о седьмой книге многотомного детективно-приключенческого романа о Черном Волке «Падера»: «Слова «падера» нет ни в одном словаре, но сибиряки знают, что это непогода, выворачивающая душу, бешеная вьюга, когда ни зги не видно. «Падера» – от слова «падать» (от взбесившейся стужи невозможно устоять на ногах). Лишь избранные Богом способны устоять. Остальные либо падают так, что не подняться, либо падают и поднимаются. Такова жизнь людей. В этом суть бытия. Ошибаться, падать и вставать. Так шли по жизни лучшие герои Л. Толстого Андрей Болконский и Пьер Безухов. Герои Чехова, Пушкина, Лермонтова, Бунина, Шмелева, Распутина, Астафьева и других писателей. Вся русская литература боролась за человека, помогая читателям понять самих себя, мотивы своих поступков, вселяя уверенность в свои силы, освещая путь в будущее. Роман «Падера» полемичен, герои в нем постоянно спорят. Немало места занимает тема жизни, деградации русского языка, гибели культуры. Что мы оставим нашим детям? Изуродованную культуру, исковерканный язык... Кто и кому дал право на грабеж, разорение, нищету и несправедливость?

Произведения А. Голунчикова ценны тем, что современны, отражают нашу эпоху, они раскрывают Россию последних трех десятилетий, в том числе и начала двадцать первого века. В последнем романе писателя, как в зеркале, отразился наш сегодняшний день. И он ужа-

сает, удручает и вселяет тревогу за наш завтрашний день, напоминает об ответственности за содеянное... И открывает нам глаза на красоту окружающего мира, мира природы и зовет нас к красивым поступкам, к служению Добру, Истине и Красоте».

Из авторского предисловия к роману «Излом», который не был опубликован при жизни писателя, мы узнаем шокирующие своей душевной болью факты: «Этот роман я решил написать еще и потому, что в моем столе, терпеливо ожидая своей участи, целых полвека пролежали черновые наброски рукописи, рожденные в сложнейших условиях лагерной жизни послевоенного периода. Писались они почти на ощупь во тьме лагерного барака после десятичасового каторжного труда в каменоломне, когда казались непреодолимыми смертельная усталость, барачный мрак, холод и голод и когда казалось, что все человеческое в тебе убито, загнано в какой-то чудовищный угол и заморожена душа. Но потому-то и не было ей покоя: она стонала и просила выхода, и тетрадь, сшитая из коричневых обрывков цементных мешков, и тупой карандаш – были единственным лекарством тех трудных лет... Слово за словом выводит карандаш по черной, как сама душа, бумаге, и с каждым таким словом понемногу очищается душа». После этой исповеди понятной становится вся глубина творчества Александра Голунчикова, человека непростой судьбы, который смог противопоставить миру зла принципы чистоты и порядочности, силу и волю, веру в нравственное начало и понимание чужой боли. Нет ничего выше, чем стремление человека в любых жизненных испытаниях оставаться человеком.

Каждый читатель откроет в романах Александра Максимовича Голунчикова что-то свое: кому-то придется по душе детективная и приключенческая сторона произведений, кого-то впечатлит любовная линия романов, кого-то вдохновят пейзажи сибирской тайги. Сам писатель считал лучшим своим произведением роман «Кольчуга Ермака». И с этим можно согласиться. «Кольчуга Ермака» не просто историко-авантюрный роман в стиле Вальтера Скотта, а увлекательнейшая книга, в основу которой положен один из многих мифов о покорителе Сибири.

Чем дальше горизонт ушедших веков, тем больше событий и знаний, больше гордости и боли за трагические страницы истории. Роман-легенда «Кольчуга Ермака» передает нам знания и устные предания о временах покорения Сибири. Здесь много исторических лиц и событий. 1585 год. Пятьсот человек во главе с Ермаком сокрушили Сибирское ханство, просуществовавшее три с половиной столетия.

Три с половиной года держались казаки под предводительством Ермака, оставшись без помощи русского царя. Казаков осталась горсточка да стрельцов десятка два под началом сотника Глухова. Коварный мурза Карачи, выдавая себя за друга русских, заманил Ивана Кольцо и перебил весь его отряд. Героическая трехмесячная оборона крепости Кашлык закончилась неравной битвой и гибелью Ермака. Через десять дней после его смерти, 15 августа 1585 года, казаки собрались на прощальный товарищеский круг в центре городища, у бывшей ханской избы. Спорили долго. Остаться здесь или возвращаться домой? Решили временно затаиться, разбившись на мелкие отряды и рассыпавшись по всей Сибири. Тарас Тумаш ушел в верховья Иртыша, Глухов со стрельцами – на Обь, атаман Мещеряк отплыл на Тавду, а оттуда – до Бии и Катуня.

Город Кашлык опустел после гибели Ермака, и его занял сын хана Кучума – Али, которого вскоре изгнал татарский князь Сейдяк. Так род Тайбугин одолел род Шейбани, оба Чингисиды. Калмыки, киргизы, казахи, ногайцы – все эти племена будут втянуты в борьбу за власть, за кольчугу Ермака, которая по легенде имела волшебную силу.

Согласно легендам, все вещи Ермака обладали магическими свойствами, а сам он был святым человеком. Труп его нашли через неделю после гибели, а когда стали снимать кольчугу, изо рта и носа хлынула свежая кровь... Хоронить его не собирались, но знатным татарам было грозное видение и приказ: предать тело земле и справить поминки. Шейхи ислама запретили упоминать имя Ермака, но могила его светилась по ночам.

Все говорили, что кольчуга Ермака спасает от смерти в бою и лечит раны. Оба «панцыря» (кольчуги) подарил Ермаку Иван Грозный за заслуги перед отечеством. Верхний панцирь с золотыми орлами присвоил мурза Кайдаул. Когда делили вещи Ермака, Сейдяк взял только кафтан, а Карача – саблю с поясом. Они посчитали себя обделенными, и началась кровавая резня, длившаяся много десятилетий.

Защищая одного, кольчуга губила другого.

Великая империя Чингисхана за триста лет правления уничтожила не только коренной народ Сибири – шабыр, но и другие лесные племена. Чингисхан поделил империю так: младшему сыну Угэдэю отдал Алтай, междуречье Иртыша и Енисея; старшему, Джучи, – Западную Сибирь – до Волги и земли по Амударье и Сырдарье, а их междуречье – среднему, Чагатаю. Так возникли Казанское, Астраханское, Сибирское ханства и Белая Орда, которая распалась на Ногайскую Орду, узбекскую и Туркменскую.

В XVI веке эти царства покорил Иван Грозный, а Сибирское ханство присоединил к России Ермак. Через год после гибели Ермака заложили крепость Тобольск, еще через год – Тюмень, в 1596 году – Нарым на Оби, через 8 лет (в 1604 году) – город Томск, следом Семипалатинск, Кузнецк, Красноярск и др. Без подвигов Ермака не было бы ни этих городов, ни Кузбасса. Русские осваивали Сибирь, двигались на восток: Обь, Иртыш, Енисей, Тобол... Всюду звучит теперь русская речь.

...После восстания Пугачева в Сибирь потянулись ссыльные, колодники. Среди них были и законченные преступники. Теперь они будут охотиться за кольчугой Ермака.

...Больше ста лет пролежала кольчуга в пещере, там ее и нашел случайно охотник Прохор. Его, обессиленного, медведь приволок к себе в берлогу как добычу. Очнувшись, раненый заметил кучу камней, разгреб, а там в берестяном туесе – свернутая кольчуга, пистоль, старинные сабли, пояс... Автор рассказывает на страницах романа и о том, как попали сюда эти вещи. Прохора поразила записка на бересте: «Люди русские, сия кольчуга с плеча атамана казацкого Ермака. Храните ее,

другим завещайте, равно дар Божий. Тарас Тумаш, донской казак дружины Ермака. 1648 г., День Святой Троицы». Прохор нашел ее тоже в День Святой Троицы! Берег кольчугу Прохор, но ее увидели завистливые глаза двух недобрых людей – бежавших колодников-уголовников. Один Упырь, конокрад Рваная Ноздря, другой – вор Ивашка Цыган. Их, отощавших, с искалеченными ногами, вылечил травами Прохор, а они откормились и ушли, прихватив кольчугу!

Судьба свела с Прохором еще троих беглецов: Богдана Кольцова, его друга Кучумку и бывшего попа Еремея. Но это были хорошие люди. Вылечив и их, Прохор рассказал им о кольчуге и записке. Эти трое знали в лицо Упыря и Ивашку и решили отплатить Прохору за спасение добром. Ивашка Цыган, обокравший к тому же и церковь, получил наказание: филин выклевал ему глаз. Подельники спрятали кольчугу в дупле могучей лиственницы. Но Богдан и Кучумка так и не узнали об этом, так как в схватке с ними Цыган и Упырь погибли... Богдан Кольцов и Кучумка стали охотниками, женились на дочерях Прохора. Их внуки и правнуки трудятся на полиметаллическом комбинате возле Рудогорска.

Правнук Богдана, зная историю кольчуги, пытается вернуть ее государству. Но, как всегда, рядом с добром ходит зло. Демочка-комочек, жадный мужичок, решил спилить лиственницу на дрова. Помогает ему бывший ученый, потерявший работу и спившийся, но не потерявший совести и доброты. Когда стали пилить поваленное дерево, наткнулись на клад в дупле. Чтобы завладеть кольчугой, уголовник Ершук сжег живо Демочку и его жену. Собрался продать золото в городе, да сел не в ту машину. Жадность многих доводит до преступления. Шофер грузовика Зыркин перехитрил вора и овладел кольчугой. Но и он поплатился за это. Опять погони, приключения, убийства. И кольчуга снова спряталась от людей. Автор «проверил» каждого своего героя кольчугой. И мы увидели, кто есть кто.

Писатель, безусловно, верил, что, встретившись с историей родного края, мы будем любить свой край, гордиться славой предков. Ермак приращивал земли к России. Там, в глубине веков, хранятся уроки му-

жества и патриотизма, они в песнях, былинах и мифах, они в нашей истории и в нашей крови.

Проза Голунчикова затрагивает самые сокровенные струны души человека, заставляет размышлять над разными сторонами бытия и любить природу, любить жизнь. Что ждет нашу Родину в будущем? Не брался предсказать это Александр Голунчиков. Но он вложил свою лепту в осмысление судьбы России.

Елена Чазова

## БИОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ГОЛУНЧИКОВА

Александр Максимович Голунчиков (псевдоним – Максим Сибирцев) родился 12 марта 1929 года в селе Инском Черепановского района Новосибирской области. Детство, отрочество прошли в Кузбассе. Трудиться начал с 1941 года, с первых дней войны: в колхозах, старательских артелях. Позже возил по деревням и показывал немое кино. Овладел рабочими профессиями: был автослесарем, газосварщиком, слесарем-ремонтником на предприятиях оборонной промышленности, цветной металлургии, геологии.

Коренной сибиряк, Александр Максимович Голунчиков с конца 1940-х годов более четверти века прожил с семьей, женой Людмилой Павловной и дочерью Любовью, в Кабардино-Балкарии. Александр Голунчиков имел три законченных образования. Имея дипломы горного электромеханика и техника-лесоведа, окончил Высшую партийную школу (с журналистским уклоном), освоил профессию журналиста. А. М. Голунчиков прошел нелегкий путь от рабочего до директора филиала завода электронного машиностроения в Кабарде (область в центральной части Северного Кавказа, с 1992 года – Кабардино-Балкарская Республика).

С 1989 года стал профессиональным писателем, хотя первые пробы писательского ремесла уходят в далекое детство. По-настоящему в литературу Голунчиков как писатель пришел, когда ему исполнилось

шестьдесят лет. Первая публикация появилась в журнале «Эльбрус» в 1988 году. Вот как отзывался о его творчестве главный редактор журнала «Литературная Кабардино-Балкария» писатель М. Эльберд: «Много лет знаю Максима Сибирцева как талантливого писателя, как человека непростой судьбы, пережившего в юности глубочайшее потрясение, человека с богатым жизненным опытом. Это страстная, напористая и целеустремленная личность. Он не только беспощаден к себе, но и человек чести, слова и дела. И потому уверен, что возьму в руки еще не одну его книгу. Максим Сибирцев не пишет собственной биографии, а пишет саму жизнь во всех ее ипостасях своеобразно и интересно. Писатель не выдумывает большинства героев и их судьбы, а берет готовыми из своих запасников, преломив их через свое понимание жизни. Видимо, поэтому они не оставляют читателя равнодушным, а их высокая нравственность подкупает. В этом, на мой взгляд, и кроется успех Максима Сибирцева, удачно нашедшего одну из коротких дорог к сердцу читателя».

В 1995 году Александр Максимович вместе с семьей вернулся в Сибирь, на родину, и поселился в Юрге, в районе школы № 6. Этот талантливый человек жил рядом с нами, писал книги, ходил по нашим улицам.

В 1996 году А. М. Голунчиков стал членом Союза писателей России. Он автор 12 романов и трех повестей.

В 2002 году в издательстве «Сибирский писатель» в авторской редакции вышел детективно-приключенческий роман «Возмездие», который Голунчиков с поклоном и любовью посвятил «своей милой дочери Любушке – прекрасному человеку, кристально чистому душой и мыслями».

7 июня 2002 года на семьдесят четвертом году внезапно оборвалась жизнь писателя. Похоронен Александр Максимович в Юрге, на городском кладбище.

Уже после его смерти, в 2003 году, тиражом 500 экземпляров в Юрге вышел роман «Падера», а десять лет спустя в Кемерове издан еще один, ранее не публиковавшийся роман, посвященный сложной теме преступного мира и человеческих судеб, – «Излом». Несколько

произведений Александра Максимовича остались в черновиках. Одно из них – роман «По велению Петра» – посвящено первопроходцам Рудного Алтая.

В Юргинском городском краеведческом музее хранятся документы, рукописи, личные вещи, переданные писателем.

Книги Александра Максимовича Голунчикова (Максима Сибирцева):

Конфликт : повесть / Александр Голунчиков. – Нальчик : Эльбрус, 1989. – 206 с.

Крутояр : роман / Александр Голунчиков. – Нальчик : Эльбрус, 1992. – 310 с.

Конец Черного Волка, или Приключения охотника из Агудара : роман / Александр Голунчиков ; Художник К. Х. Кокаев. – Владикавказ : Ир, 1992. – 230 с. : ил.

Призрак Тигровой пади : приключенческий роман / Александр Голунчиков. – Нальчик, 1994. – 334 с.

Чайхана у дороги : роман / Александр Голунчиков. – Нальчик : Эльбрус, 1996. – 332 с.

Черный Волк : в 3 кн. Кн. 1. Конец Черного Волка, или Приключения охотника из Агудара : роман / Александр Голунчиков. – Нальчик : Эль-Фа, 1997. – 294 с.

Черный Волк : в 3 кн. Кн. 2. Призрак Тигровой пади : роман / Александр Голунчиков. – Нальчик : Эль-Фа, 1997. – 363 с.

Черный Волк : в 3 кн. Кн. 3.оборотень появляется ночью : роман / Александр Голунчиков. – Нальчик : Эль-Фа, 1998. – 352 с.

Последней тропой : приключенческий роман / Александр Голунчиков. – Кемерово : Сибирский писатель, 1998. – 395 с.

Кольчуга Ермака : роман / Максим Сибирцев. – Кемерово : Сибирский писатель, 2001. – 424 с.

Возмездие : детективно-приключенческий роман / Максим Сибирцев. – Кемерово : Сибирский писатель, 2002. – 492 с.

Падера : детективно-приключенческий роман / Александр Голунчиков. – Юрга, 2003. – 152 с.

Излом : роман / Максим Сибирцев. – Кемерово : Печатный двор Кузбасса, 2013. – 356 с.

Геннадий Арсентьевич Емельянов

*11 мая 1931 г., с. Паночёво, Красноярский край –*

*14 апреля 2000 г., Новокузнецк.*

*Прозаик, журналист. Член Союза писателей СССР с 1968 года.*

## ДУША НАРОДА\*

(слово о родном городе)

1

Ты каждый день идешь знакомой улицей и мало думаешь о том, зачем живешь и интересна ли твоя жизнь. Ты торопишься. В такие минуты город окружает тебя молча, он отодвигается далеко и все же он рядом, он есть как нечто, данное изначала, как воздух, которым дышишь, как солнце, которое греет, как синее небо над головой. Но однажды в тихий и рассеянный час город позовет тебя ненавязчиво, он скажет тебе: «Годы катятся, друг. Я молодею, ты стареешь. Мой век, – скажет город, – не равняй со своим, я ведь вечен, ты, мой творец, смертен».

И ты увидишь скамейку, где целовался, когда был молод, увидишь старые тополя. По этой улице провожал старых друзей на кладбище. Увидишь дом, где игралась твоя небогатая свадьба. У тебя не хватит смелости постучать в дверь чужой теперь квартиры и попросить хозяев: «Разрешите, я вот тут посижу немного, в уголке. Здесь сиживал мой отец, и его уже нет, но он вернулся сюда с войны». Не переступишь ты чужой порог, потому что в прошлое не возвращаются.

Город знает о тебе все. Ты о нем все знать не можешь, он ведь неизмерим, как Вселенная. Но он достоин твоей любви и преданности, он неотделимая часть твоей судьбы, моей судьбы, нашей судьбы. Здесь все начиналось, на этой благословенной земле испытана удача и недоля, здесь бьется большое рабочее сердце Сибири, и пульс его слышит Россия.

Сегодня город позвал меня в прошлое.

...Помню себя мальчишкой. Нам выпало военное детство. Голодное, холодное, но все равно – детство. Сейчас вот и не пойму, почему мы любили ездить вагагой на Водную станцию, теперь, кажется, заброшенную, купаться. Вода была и поближе. Но станция на берегу реки Кондомы манила нас неотвязно, наверно, потому, что поездка туда была связана с немалыми приключениями.

---

\*Печатается в сокращении.

Трамваи на остановке возле теперешнего «Детского мира», на Пионерском бульваре, брались штурмом. Сколько народу забирали облупленные вагоны, сосчитать невозможно. Удивительно, как железо выдерживало такую тяжесть. Кряхтело, скрипело, но дюжило. Ехали на «колбасе», на крышах, на решетках, что огораживали колеса. Тем, кто чудным образом стоял на решетках, держась за рамы открытых окон, выпадала самая рискованная доля – столбы, деревянные, кстати, почему-то были вкопаны так близко от путей, что шоркали спины. Стоило лишь малость заезваться – и ты рисковал быть сшибленным наземь и всерьез пострадать.

На Водную вела однопутка, на пустырях иногда часами дожидались встречного состава. Особенно томительные задержки выпадали тогда, когда по единственному узкому мосту у Топольников шли эшелоны с углем. Зато на Водной было раздолье. Веснами здесь прямо пахло черемухой, речным илом и запустением. У причалов качали волну полузатонувшие лодки, подернутые зеленой тиной, усыпанные палым листом прошлой осени. В пустых летних ларьках, где раньше, до войны, торговали газировкой и пивом, с плачущим скрипом на ветру качались двери. Аллеи и тропки позарастали дурнотравием, а поляны были засажены картошкой и фасолью. Потрескалась, обшелушилась краска на вывесках: «Комната смеха», «Тир» и «Аттракционы». Чертовое колесо застыло таинственно и жутковато, как машина пришельцев с иных планет, потерпевших беду в наших пределах.

На Водной я давно не был и не знаю, как она сейчас выглядит. А тогда мне казалось: вот однажды объявят по радио, что войне конец, и на другой же день поутру все здесь заблестит, заиграет свежей краской, павильоны откроются, полные товаров, и красноносые клоуны станут зычно призывать честной народ зайти и повеселиться наконец досыта. Мне казалось, что празднику, который я придумал, не будет конца. Но война шла – длинная, тягостная война. Взрослое горе ложилось и на нас, мы жили в тени черной тучи, и та туча стояла, точно прибитая к небу. И все-таки это было детство, протекающее в гуще значительных событий.

Мы, пацанва, едва ли не первыми в городе узнали, что фашист дрогнул, качнулся и повернул свои кованые сапоги в сторону фатерлянда, ведь на свалку Кузнецкого комбината (она располагалась за старым зданием Сибирского металлургического института) начала поступать эшелонами битая техника: танки с крестами, мятые пушки, зенитные пулеметы и прочее разнообразнейшее военное имущество. На площади перед заводом долго лежал немецкий самолет, сбитый где-то над полем боя. Лежал он на одном крыле и смахивал на огромную ворону, застреленную из дробовика. Самолет ходили смотреть семьями, приводили, конечно, ребятишек. Сейчас так ходят, принаряженные, в театр или на премьеру в цирк. Город торжествовал. Торжество это было негромкое, но такое нужное в лихой и тревожный час.

Свалка за институтом была неохватна. И чего там только не было. Мы с братом откопали там натуральные латы зеленого цвета и думали попервости, что это театральный реквизит. Однако фронтовик, списанный из строя подчистую по случаю тяжелого ранения, растолковал нам, что латы – личное изобретение маршала Семена Михайловича Буденного и предназначены для кавалерии, для сабельных схваток, однако в армии оно не прижилось, потому как сабельных схваток почему-то не выпадало и супротивник наш надежду клал на танки да на артиллерию, ну и на авиацию, конечно. Так нам говорил бывший фронтовик и почему-то притом тяжело вздыхал.

В городе появились странные грузовики – высокие, голенастые, как петухи, с кузовами из свежеструганых досок. Картошку возили на тракторе с трубой, напоминающей по форме стекло от керосиновой лампы. Трактор был игрушечный, но шустро таскал большую самодельную телегу, доверху набитую мешками. Эти машины были воскрешены на свалке и спешно пущены в дело, чтобы хоть как-то облегчить работу, которая в те дни составляла существо бытия. Только работа, самозабвенная, изобретательная, поистине героическая, могла нас оборонить и спасти. Ведь Кузбасс, Новокузнецк являли собой тот последний рубеж, от которого начиналась победа. Или рабство. Или смерть. Такова правда, и никуда от нее не спрячешься.

Тыловой город... Не совсем это правильно, по-моему, так говорить и так писать. Тыла не было, война кричала отовсюду, каждую минуту кричала. И каждый час. Время мерилось заводскими гудками, мерилось сменами, тоннами, метрами. Время мерилось сталью, углем, пулеметами, минами, ведрами картошки, граммами кислого хлеба. Истинную цену человека определяла все та же работа.

...Помню былинного старика, он каждое утро, раным-рано, приходил на то примерно место, где сейчас автовокзал. Там стоял тогда зеленый крытый павильон, предназначенный для ожидания трамвая. На козырьке павильона красовались внушительного размера деревянные буквы – СГЖД. Аббревиатура эта расшифровывалась так: Сталинская городская железная дорога. (Новокузнецк в те поры назывался Сталинском.) Но была еще одна, обиходная, так сказать, расшифровка: «Сидите, граждане, ждать долго!» Так вот, приходил сюда старик, устраивался возле тротуарчика в две доски, засоренного семечной шелухой. Белая его борода достигала живота, на нем были лапти и всегда чистые онучи. Старик был гренадерской стати, суровый и играл на гуслях, пел длинные песни и каждую кончал так: «А воинам, павшим на поле брани, вечная память». Мне представлялось тогда и представляется теперь: то был посланец из прошлого. Он наставлял и приказывал не сгибаться.

Старик исчез аккуратно в День Победы. Мистика? Но это же было! Старик благословлял нас и отвергал милостыню, он тоже воевал – как мог.

Ясно помню Победу.

День выпал безоблачный и теплый. И было ликование – особое. Оно не повторится никогда, потому что такой праздник выпадает один раз на жизнь.

Город заполнил народ, и никто никуда не торопился. В тот день я увидел глаза Победы – счастливые, озаренные усталостью и печалью. Играли гармошки, в домах пораскрывали окна, за окнами пели «Катюшу» и «Синенький скромный платочек». В тополях бежал теплый ветерок, и мне казалось – деревья смеются.

На перекрестке улиц Энтузиастов и Metallургов вроде из ниоткуда появилась бабуся с лицом лукавой сказочницы, в кофточке горошком и черной юбке. Перед ней стоял лагун литров на тридцать, почитай бочка, и на той бочке лежал цинковый ковшик. Бабуся сидела на низком стульчике, предназначенном, скорее всего, для дойки коров, и наливала медовуху. Наливала только военным – тем, что были в гимнастерках или штанахгалифе.

Она вставала, осеняясь крестным знаменем, кланялась и говорила одинаково:

– Выпей, сынок. Сегодня сам Бог велел. И спасибо тебе за радость народную.

Парни с нашего двора, постарше которые, мигом сшибли где-то офицерскую фуражку, надевали ее и медленно, гусиным шагом проплывали мимо заветного лагуна.

Но бабуся самозванцам грозила пальцем:

– Не налью, варнак, не заслужил!

В ту ночь над Кузнецким комбинатом вспыхивали и разливались малиновые сполохи. За мартеновскими трубами, за горами вроде бы трепетало, перекатывалось волнами красное знамя во все небо, до самых высоких звезд. Знамя Победы.

...Война стояла в воздухе, она даже имела свой звук – глухой, шероховатый, звук тревоги и напряжения. Война отпустила нас не на второй день после Победы, а лишь когда в парке отдыха на Водной закурилось чертово колесо и клоуны позвали веселиться...

Было еще одно притягательное место – городской базар, и туда мы тоже ходили часто – смотреть и слушать. Базар шумел и бился, как большая река на перекате, и имел ворота как раз на том месте, где сейчас скверик на трамвайной остановке «Улица Куйбышева», – за сквериком пятиэтажные хрущевки. Здесь по воскресеньям собиралась многотысячная толпа.

У заборов, в отдалении, стояли распряженные кони, понурясь. Топтались овцы, привязанные к тележным колесам. Исходили пронзительным визгом поросята, шевелясь в мешках. Горками лежала картошка. Валялась сбруя, сыромятная и пахнущая лошадиным потом.

Крытые прилавки были завалены товаром самого разнообразного назначения – от икон до велосипедов, и разнообразие это не истощалось никогда. Торговали самодельными пузатыми диванами, крытыми плюшем и с высокими спинками да полочками на них, куда принято было ставить слоников на счастье и на удачу. Продавали табуретки, венские стулья, полу́пленные, являющие собой остатки прежней роскоши. Присутствовала обутка, портняжные изделия, мужские и женские, любых фасонов и размеров.

Всего не перечтешь. То был целый мир, наполненный до краев суетой и хлопотами.

Всене непременно присутствовали два базарных персонажа – Гриша Маленька Головка и Варя-дурочка. Гриша носил кепку, прихваченную сзади булавкой для соблюдения размера, ненужная часть головного убора торчала у затылка и напоминала ослиное ухо. У Гриши голова была чуть больше кулака, зато нос, прилепленный вроде по ошибке к желтому личику, торчал горбатый и острый, наподобие турецкого ятагана. И голос Гриша имел не по стати – густой, трубный, как у прото-дьяка.

Он гудел в толпу:

– Расступиси, Гриня и деть!

И расступались с вежливой готовностью: как же, сам хозяин толкучки изволил припожаловать... И потому по ритуалу жертвовали кто что мог: кусок пирога, краюшку хлеба, вареную картофелину, иной раз и кусок зажелтого сальца, чтобы, значит, боярин тело нагуливал...

Варя же всегда сидела в сторонке, на ящике. У ног ее, босых и грязных, лежала газетка, куда клали подаяния.

Про Варю говорили:

– Опять с роддому сбегла. Облегчилась ребеночком и сбегла.

Она была голубогаза, белолица и статна. С ума сошла после того, как муж, разъяренный ревностью, пытался утопить ее в проруби...

На базарное действо я всегда глядел с жадным любопытством: то была особая, сочная жизнь, полная неожиданных поворотов.

Особо подолгу останавливался возле хрипастых зазывал, приглашающих попытать счастья.

Они орали, наливаясь сивушным румянцем:

Бабка Алена  
Прислала денег полмилльона  
И велела все проиграть...

И потом еще, шибко напрягаясь:

А хто глаза пучит,  
Тот ни хрена не получит!

Перед зазывалой на картоне лежали карты. Все просто: отгадай масть, бери кон. Тусовкой это, кажется, называется. Вокруг такого лиходея подковой располагались зеваки. Психология толпы непредсказуема: все ведь знали, что тусовщик непременно облапошит очередного простака, иначе какой прок ему тут шаманить, если затея в убыток. К тому же водку хлещет непотребно, значит, вполне при средствах. Знали, но обязательно находился удалец и кидал на картонку мятые трешки или червонцы: где наша не пропадала! Сначала дерзкому давали выиграть – для заправки. Потом он уходил, вяло махнув рукой, с пустыми карманами и не серчал при этом, дивясь ловкости рук базарного прохиндея.

Среди рискованной братии выделялся обличьем и особой наглостью безногий парень. Он сидел на коляске, сбитой из реек. Вместо колес его передвижное устройство имело четыре подшипника, которые весело и громко шумели, когда этот джентльмен удачи пробирался сквозь людскую толчею. Был он кряжист, мордаст и одет в тельняшку. Надо полагать, калекой он стал на флотской службе. Звали его Федей.

И вот как-то ближе к вечеру я стал свидетелем такой сцены.

Грудастая и кареглазая молодка в мужском пиджаке с подсученными рукавами нежданно ввязалась в рискованную игру и за какие-то, может,

полчаса просадила немалую сумму, вырученную от продажи коровы. Когда рубли иссякли, она прижала руки к горлу и заголосила пронзительно, заливаясь слезами, о том, какая она непорядочная, потому как обрекла родимых детушек на лихо, оставила их без куска хлеба, и что двор ее осиротел без кормилицы-буренки, и некому ее утешить и оборонить от беды: муж ее Ваня никогда не воротится, он убит в Сталинграде.

Горе женщины было глубоко и неподдельно. Народ, что оказался поблизости, сочувствовал, но и осуждал: нечего соваться куда не след.

Федя-моряк сказал мятым голосом и криво улыбнулся:

– Снявши голову, баба, по волосам не плачут! – И собрался стронуться от греха подальше.

Но тут какие-то бородачи сельской наружности стали бить моряка молча и споро. Били жестоко, насмерть: большое его тело вздрагивало, тельняшка же враз была залита кровью. У меня затряслись колени, я побежал прочь и долго не мог проглотить комок, застрявший в горле. В те минуты я ненавидел всех – и обманутых, и мстителей и жалел всех – голодных и злых. Всех жалел.

Не имею представления, сколько минут или часов я крутился по базару, продираясь сквозь людскую круговерть. Домой мне идти не хотелось, и я оказался в пустом закутке на отшибе, где всегда, даже в жару, стояла неистребимая лужа: вода копилась возле чугунной колонки, которая текла. И там я опять увидел моряка Федю. Он был гол по пояс, пегие его волосы висели сосулинами. Возле суетилась давешняя молодуха, проигравшая корову, и опять причитала.

– Прости ты меня, мила-ай. Простишь, а?

Федя не отвечал, лишь отфыркивался, когда она лила на его плечи, украшенные кровавыми подтеками, воду из большой консервной банки и растирала битого чистым холщовым мешком.

– Ты простишь меня, а? – И плакала беззвучно. – Больно тебе, а?

Федя наконец отозвался хрипло:

– Деньги я отдал тебе?

– Отдал!

– Возьми еще, – моряк полез в карман и выгреб оттуда мятый и замокревший уже комок. – Остальные возьми, все одно пропью. Детишкам леденцов хоть возьми, что ли... Выручила – жизни бы решили, сурьезные мужики... Сколько их у тебя? Детишек-то?

– Двое, мальчик и девочка.

Денег она не взяла, сказала, разгибаясь:

– Ты тут побудь маленько, я счас.

Вернулась она на одноконной телеге. Федя тем временем пил, отплевываясь, теплую водку из четвертинки и мотал головой. Потом трудно карабкался на телегу и сел там, похожий на толстый пенек.

Она хлестнула вожжами, и они уехали, куда, не знаю. Но с того дня Федю на базаре я не встречал.

Война, пожалуй, не отпускает нас и сейчас... Может, теперь тем более?.. Но вот звук той войны покинул меня внезапно. По радио Левитан объявил об отмене карточной системы. Мама дала мне тридцатку единой бумажкой и велела на пробу сходить за хлебом в магазин на улице Кирова. Переждав очередь, я купил две буханки, прижал их сильно к груди по привычке и пошел домой.

Я отщипывал горбушку, жевал пахучий хлеб, и росло во мне остреее желание взлететь сейчас же, раскинув руки крыльями, сделаться в небе точкой, раствориться в безбрежности, как растворяются там птицы, в густой синеве.

В ушах моих вдруг что-то звонко лопнуло – так рвутся перетянутые струны, – и наступила тишина. Я понял: сейчас, вот только что, наступила, грянула какая-то важная перемена, не слышно было уже надсадного шороха, преследующего нас годы, вместо него наступила нежная тишина мира.

Я прислонился к чугунной загородке сквера и заплакал. Я теперь знал: никто не отберет у меня хлеб, дед у вокзала не будет больше петь свои нескончаемые песни, которые кончаются одинаково: «А воинам, павшим на поле брани, вечная память». И никто теперь не будет умирать от усталости и плохой еды. Только вот инвалиды останутся инвалидами, а матери и вдовы никогда не иссушат своих слез.

Что же представлял собой Новокузнецк (Сталинск) после Великой Отечественной войны? По представлениям и понятиям тех лет – довольно солидный промышленный центр с населением в двести тысяч. Но по нынешним меркам это был город неустроенный, имеющий две-три современные улицы. Сразу же за асфальтом начиналась непролазная грязь и квадратные километры, застроенные бараками, землянками, которые гордились на время, но стали, увы, постоянными.

В тридцатых годах нашим отцам представлялось, что в самое скорое время у них будут дворцы с кафелем и мрамором, но на повестке дня был металл, уголь и все остальное, что составляло мощь государства. Мы ведь отставали от Европы и высокомерной Америки по всем статьям, а отсталых, как известно, бьют.

После войны началось восстановление народного хозяйства – пора затяжная и трудная. И Новокузнецк опять впрягся в работу – давал по плану и сверх плана все, что от него требовалось. Что же касается облика города, то он менялся медленно.

За кинотеатром «Коммунар», где сейчас разбит парк имени Гагарина, через торфяное болото и дальше, к самому берегу Томи, были проложены трубы большого диаметра, они то возносились высоко на подставках из шпал, то пропадали, вкопанные в землю. По этим трубам было удобно ходить после кино тем, кто жил на окраинах: не замараешь ноги. В трубах, если подставить к шершавому железу ухо, что-то булькало и хлюпало и дышало вроде бы. Так дышит в тайге вялый ручеек. По трубам намывали грунт в низины, в те самые, где сейчас новые кварталы...

По городу прокатился слух, что на перекрестке улиц Кирова и Металлургов соберут вскорости небоскреб, на его крыше поставят бронзового сталевара, голова которого будет прятаться в облаках. Сталевару предназначалось, по замыслу архитекторов, символизировать трудовой подвиг кузнечан в военное лихолетье.

И верно: на том месте, где сейчас дом с магазином грампластинок и с большой столовой, вырыли однажды глубокий котлован, он стоял,

наполненный водой, долго. В этом озере вездесущая пацанва скручивала проволокой плотики и устраивала военные баталии с абордажами и рукопашной. Схватки неизменно кончались купанием в грязной жиже. Отважные моряки плакали на берегу в предвидении жестокой выволочки дома.

Небоскреб так и не родился, и сталевар не вознесся к облакам. Вместо него возник многоэтажный «карандаш» с вполне прозаическим назначением. Но амбиции остались: еще долго говорилось, что все равно «карандаш» самый высокий в Сибири.

Может, так оно и было, у нас многое происходило впервые. Трамвай, например. Старый газетный репортер рассказал мне однажды такую историю. Случилось это в разгар строительства Кузнецкого металлургического комбината. На площадку приехал Орджоникидзе. Ну, рабочие и пожаловались: грязь, мол, товарищ нарком, непролазная, на работу ходить далеко и утомительно – вы бы там, в верхах, обеспокоились таким положением пролетарских масс. И Орджоникидзе будто распорядился забрать вагоны из Новосибирска, где как раз собирались открывать первый городской маршрут, и переправить их в Новокузнецк. А у нас молодежь по выходным, в свободное время и без оплаты проложила рельсовый путь от вокзала до строительной площадки. И пустила трамвай.

Город стал заметно расти в пятидесятых годах. Главная наша магистраль, проспект Metallургов, начала удлиняться со стороны теперешнего сквера Космонавтов в сторону горбатого моста через речку Абу.

Этим мостом, кстати, тоже гордились, утверждая, что он такой единственный в мире: клепаный, предварительно напряженный, стоит на роликах. Чуть ли не по мановению волшебной палочки с берега на берег перекинули его комсомольцы, опять же без оплаты и опять же самодельно. Однако горбатый со временем почему-то убрали, несмотря на его уникальность, и поставили на его месте обыкновенный – прямой и широкий, по нему мы ходим и ездим сейчас.

Кстати и попутно.

На пустырях, подготовленных для закладки фундаментов под жильё, некоторое время ковырялись пленные немцы и мадяры, поз-

же пригнали и японцев. Их охраняли слабо: куда денутся! Я, бывало, останавливался возле работающих, влекомый естественным любопытством, угощал их сигаретами, когда просили. Один мадьяр, сносно говоривший по-русски, размаячил мне, весело улыбаясь, что, когда их посадили в «телятники» и путь до места назначения занял три недели, им всерьез казалось, будто состав ходит по кругу. География географией, но они не имели реального представления, что Земля в натуре такая большая и Сибирь так далеко.

Однажды я стал свидетелем такой сцены. По центру города гнали колонну бывших завоевателей, и дядька в милицейском кожаном плаще, распаленный водкой, выдернул из колонны тощего паренька, повалил его на землю и принялся пинать. Охрана не моргнув глазом продолжала путь. Пленного отняли у пьяного лихача бабы, стоявшие в очереди за тюлем.

Они кричали вразнобой:

– Ты, стервец, наверно, в тылу отсиживался, а теперь лютуешь! Ты бы там, где в атаку ходили, лютовал. Беги отседова, пока зенки твои бесстыжие не выцарапали!

Немец, согбенный, закрыв лицо руками, поплелся догонять своих, а бабы горевали вслед:

– Господи! Одет-то совсем легко, ить насмерть замерзнет...

На дворе было за сорок, и деревья оделись серой куржой. Мог враг наш заклятый и впрямь околеть. Позже, год примерно спустя, завоевателей строем приводили к двери гастронома на улице Энтузиастов, выгоняли покупателей и отоваривали чужаков по первой категории. И то был уже другой немец – румянолицый и в теле. По всему было видать, что впереди у них маячит фатерлянд.

И эки строили город – наши, кровные.

Зимой, когда опускались сумерки, стражники, чтобы рассеять толпу зевак, стреляли вверх из наганов...

Стояла, помню, слякотная осень. Мы с другом притулились возле зеленого киоска, каких тогда было немало, с намерением купить пачку «Беломора». А тут как раз эков гонят. Но не стреляют, потому что было еще светло.

Я вовремя отскочил в сторону, а приятелю моему, который замешкался, стражник показал штыком: встань сзади. Приятель было взбунтовался, но после увесистой оплеухи команду выполнил. Я бежал вслед за серой колонной и кричал в каменные спины эмвэдэшников, что мой товарищ Юра – он способный к математике, он вполне советский и комсомолец. Я бежал до самого лагеря, расположенного в том месте, где сейчас водозабор возле нового моста через Томь. Меня сковал немалый страх, ведь посадят моего Юрку, сгноят за колючей проволокой.

Зэки втянулись в зону, наглухо закрылись железные ворота. Я тихонько выл и сучил ногами, чтобы согреться.

С вышки улыбался опричник азиатского обличья, он крикнул:

– Чего торчишь тут? Нэла торчать!

Я объяснил ему по возможности вежливо, в чем моя забота.

– Нэ бойса, пэрэшшытают и под зад дадут.

И верно: вскорости чей-то тяжелый сапог придал моему дружку ускорение посредством удара ниже спины, и он распластался, уже свободный, в черной луже. Обратно мы пустились рысью, затравленно озираясь: вдруг догонят или, хуже того, стрельнут?! Мне тогда сказали: охранники так шутят часто. Оно и понятно: работенка у них скучная. Правда, юмор черный, но то уж дело другое.

### 3

Новокузнецк – город особенный, но в каком-то смысле и нетипичнейший. Он вырос и утвердился в годы первых пятилеток, стал остро нужен стране во время смертоносной войны, не потерял своего первостепенного значения и сейчас.

Ночами, когда тихи и пустыжны наши улицы, когда город спит, я слышу иногда голос диспетчера, усиленный динамиком, доменного цеха КМК. Диспетчер опять велит подавать состав под чугун. На какой-то из печей начинается выпуск металла. Металл льется днем и ночью вот уже больше полувека...

В Москве глухая ночь, когда мой город просыпается. Зимой у нас темнеет рано и светает поздно. Трамваи пробираются по путям осто-

рожно, потому что пути заметают снега. Летом наше солнце такое же большое и жаркое, как в Европе... Сибирь, поверьте мне, не такая уж и суровая сторона.

Идут трамваи на Кузнецкий комбинат. На правый берег Томи с вокзала берут разбег электрички, они торопятся к Запсибу. Утром тысячи шахтеров спускаются под землю. Утром открываются двери институтов, клиник, школ... Когда начнет бодрствовать столица, мы уже сделаем много. Из ковшей польются сталь и чугун, рядами лягут на адьюстаж рельсы, уголок, арматура. Прокат сперва имеет темно-малиновый цвет и остывает долго, громко отщелкивая окалину. Встанут строем, блестя свежей краской, буровые машины на машиностроительных заводах с маркой «Сделано в Новокузнецке».

Спроектировано в Новокузнецке, изобретено в Новокузнецке. Мой город может почти все. Как-то главный механик на Запсибе, Шинкаренко, в полушутку сказал мне: «Самолет, пожалуй, не осилим, автомобиль тоже, все остальное – пожалуйста, и в лучшем виде».

## 4

Несколько лет назад ехал я по делам на шахту «Байдаевскую». Была весна. Снег, ноздреватый и темный, похожий на корки ржаного хлеба, истаивал на асфальте, пускал ручейки, подернутые радужными пятнами бензиновой гари. Дюжий парень в шапке набекрень кормил с ладошки семечками воробьев. Три женщины на площади подкрашивали памятник горнякам, погибшим на войне. Красили они веселым цветом. Чему тут удивляться: на городском кладбище оградки мажут зеленым, голубым, оранжевым. Смотришь сверху на этот букет, и приходит мысль горьковатого свойства: у нас и помирать приятно.

На памятнике, что стоит по дороге на шахту, перечислены поименно те, кто ушел и не вернулся, кто пал, как писалось в похоронках, смертью храбрых. Я долго стоял возле женщин и думал, не впервые думал: «А почему мы не чтим тех, кто не вышел из-под земли? Список «штатских» будет намного длиннее списка военных».

На Байдаевке самая крупная авария случилась зимой 1944 года: тогда из списка живых было враз вычеркнуто более ста человек. Гробы везли на лошадях, скорбный этот кортеж растянулся на несколько верст.

После взрыва начался пожар. От Томи спешно была проложена многожильная трасса труб, по ним качали ледяную воду, чтобы залить нижний горизонт и спасти уголь.

Сперва по привычке ссылались на диверсию, спустя же время с горечью и раскаянием поняли, что самый главный диверсант – неумение. С кого же было спрашивать по большому счету, коли в забои спускались женщины и дети, чтобы, согласно первой заповеди, дать план, потом уж заботиться о другом. Как ведь рассчитывали: вот кончится война, придут домой настоящие хозяева, умелые мужики, и наладят все как следует – по порядку и по науке. А пока шуруй до изнеможения, потому что другого не дано.

Раньше об авариях и мертвых молчали, прикрываясь государственной тайной. Сегодня же, как свидетельствует статистика, на каждый миллион тонн угля, добываемого в Кузбассе, – одна жертва, и ее мы кладем на алтарь ради общего и долгожданного благополучия. Можно, наверно, избавиться от такой дорогой жертвы или хотя бы свести ее к минимуму, если взять курс на новейшую технику, если внедрять ежедневно и ежечасно строжайшую дисциплину в соблюдении техники безопасности, невзирая на привилегированность добытчиков «черного золота»...

У металлургов есть музеи – в городе и на Антоновской площадке, и они принимают экскурсии. Школьники и гости издалека путешествуют среди действующих макетов, слушают подтвержденные документами факты об особой, поистине выдающейся роли наших заводов в народном хозяйстве страны. А вот шахтерских музеев у нас нет, и мало кому известно, что Кузбасс в военные годы поставлял предприятиям Союза две трети коксующихся углей и не только кузнецкая сталь спасла нас и оборонила, но и уголь спас – давал пар, электричество, давал хлеб котлам и домнам и согрел, наконец.

Если бы я открывал такой музей, я бы целый раздел посвятил шахтерской лошади. Стоит подчеркнуть, что машины стали появляться под землей лишь в пятидесятых годах, а до тех пор всю тяжелую работу справляла лошадка.

В детстве да и позже попадалось мне немало рассказов, исполненных мастерски и не очень, о горняцких лошадях. И сюжет был типовой. Это была, как правило, история о том, как старого коня, изломанного недолей, подняли из липкой темноты забоя на приволье, в степь или на гору, в лес или на дорогу – поглядеть на широкий мир, вобрать запахи разнотравья, земли и ветра. А лошадь красоты этой видеть не могла: она была слепа. Она, задрав голову, внимала запахам – и из ее глаз, огромных, как озера, катились вполне человеческие слезы. Лошади давали хлеб, она брала его теплыми губами. А потом вдруг перестала брать – уронила голову и длительно вздохнула, словно старуха, решившая, что перед самой дальней дорогой это уже и ни к чему...

В 1913 году Кузбасс давал 2,7 процента общероссийской добычи, к концу же первой пятилетки (1932) мы давали уже 7,4 процента общегосударственной добычи. Это значило, что постепенно, но и довольно масштабно центр тяжести угольной промышленности смещался на восток. А в наши дни это уже, по-моему, само собой разумеется, поскольку Донбасс на Россию уже не работает. Он в свое время имел ведущую роль лишь потому, что в силу своего географического положения был близок к основным промышленным центрам Союза. На том преимущество украинского бассейна и кончалось. Кузбасс же по запасам и разнообразию углей, пожалуй, единственный в мире.

...Долгое время в клубе треста «Кузнецкпромстрой» вела балетную группу замечательная женщина Вера Федоровна Павлова. Она учила танцевать молодежь, да так учила, что дерзала ставить балетную классику и выезжала со своими воспитанниками даже, представьте себе, в заграничные гастроли – так далеко и глубоко простерлась слава этого коллектива.

И вот однажды, после спектакля то ли в Венгрии, то ли в Польше, ей-богу, не помню, публика и профессионалы были натурально возмущены «советской профанацией», поскольку в афишках было от-

печатано: партию такую-то ведет каменщик Сидоров, а в напарницах у него малярша Иванова... Так вот. После спектакля публика выбрала наугад крановщика: ты, мол, сейчас на глазах у нас разоблачишь советскую ложь. Полез парень на кран, ну и показал класс – работал он не хуже, чем танцевал. Скептики развели руками: такого не может быть! И сомнения свои пригасили. Однако и не совсем пригасили: очень уж профессионально держались на сцене молодые парни и девчата из далекого и неведомого города. Факт этот, за него ручаюсь головой, имел место, но вот фамилий, убей меня, не помню.

Когда Вера Федоровна уехала, группа ее потихоньку распалась. Пробовали, само собой, сохранить добрую традицию, да не удалось. Большевики изобрели расхожую истину, будто незаменимых нет. Есть незаменимые!

## 5

Время подобно реке, в воду которой не ступить дважды. Время течет, уходит за горизонты, тает в дымке забвения. Но человечество непрерывно и бессмертно, оно имеет память, связывающую нас воедино. Предки наши сквозь застойное невежество Средневековья, сквозь кандаальный звон каторги явили нам свое доброе и мудрое лицо, протянули нам на ладони знание мира. Мы взяли его и приумножаем.

Предки дали нам Отечество, над которым каждое утро поднимается солнце. Они шли навстречу мечу, пуле, штыку, падали на полях брани, чтобы были мы. Умирали отцы и деды со светлой надеждой, что идущим вслед будет лучше, что проживут они отпущенный им век беспечально и справедливо.

Так было всегда. Так будет и с нами: помашем мы рукой однажды с усталой грустью молодым, провожая их в дальнюю дорогу, да пожелаем им всего хорошего, оставив в завет доделать то, что не доделали мы, – додумать за нас, долюбить, добороться. Ну и, само собой, не повторять ошибок, совершенных нами. Такова логика сущего, таков порядок вещей: без прошлого ведь нет настоящего.

Предки дали нам, наконец, культуру, оставили нам понятие о красоте, о добре и зле, о ценностях истинных и мнимых. Они дали нам уклад, что принято называть национальным. Повторяю здесь расхожие истины, но без них не обойтись. Народ, уважающий свою историю, выше того народа, который все забыл, все разметал в сумятице. Забыл, значит, обрек себя на разрушение.

Для осмысления истории, хочу подчеркнуть еще раз, порой не так важна ее общая обрисовка и толкование событий с точки зрения дня сегодняшнего, как подробности, факты, детали, добытые по крупицам из толщи времен пристальным и долготерпеливым исследователем. Незнание или, хуже того, поверхностное знание прошлого ведет прямой дорогой к поистине неисчислимым потерям, и самая трагическая из тех потерь – затухание святого чувства патриотизма.

Собрались мы, помнится, в доме-музее Федора Михайловича Достоевского по случаю какого-то юбилея. Попили чайку с тортом, кто мог и хотел – речь сказал, кто не мог и не хотел – промолчал. Словом, все шло по стандарту. Притомились и вышли на улицу.

День был ясный и с ветерком, на тополях шелестел лист, на траве играли блики, от зазеленевшей воды в болотце пахло сладкой прелью, по небу плыли облака, похожие цветом на табачный дым.

Ко мне подошел телерепортер, молодой и несколько развязный. Он намеревался поговорить со мной «за жисть», интервью взять. Ну, бери, коли надо. Я ему что-то вскользь про гордость помянул.

Парень даже камеру с плеча опустил:

– А разве есть чем гордиться-то?!

Искренне спросил и с долей сарказма: чего, мол, городишь, пень сырой?

Эх-ма! Это мне уже знакомо: разом и косяком поперли шустряки, встали в передние ряды и самозабвенно, с видимым удовольствием клеймят, разоблачают, и святого для них ничего нет. Хотел ему ответить словами анархиста из «Железного потока»: а где же вы были, когда мы трон сотрясали?

Вы яритесь, потому что вам теперь разрешено пинать мертвого льва и наступать лежачей корове на хвост. Вас не интересует история, вы не вникаете ни во что и не мыслите глобально, да к тому же ничего

знать не хотите. Ну, почитал бы человек, поразмыслил на досуге о том о сем – для общего, так сказать, развития. Тогда, может быть, что-нибудь и кого-нибудь и зауважал.

Специально для того репортера процитирую здесь выписки из моего запаса. Итак...

«Спецовка моего первого подручного так пропиталась потом, что стояла колом. Мы сбросили спецовки и работали в одних рубашках. Беру наконец пробу. Вылил металл в ложки, прынули искры. Значит, с углеродом нормально. Следует команда: «На выпуск!» Все. Точка. Так мы впервые в сентябре 1941 года сварили броню за одиннадцать часов вместо восемнадцати».

*(Из воспоминаний А. Я. Чалкова, сталевара КМК)*

«В последние дни перед пуском водовода напряжение достигло наивысшего предела. К секретарю партийной организации Х. В. Безлюдной подошел прораб с такой просьбой:

– Ты, Безлюдная, не уходи, а стой здесь, потому что рабочим невмоготу. Они будут видеть, что ты стоишь здесь, значит, парторганизация с нами, и у них будет подъем.

И женщина осталась на участке до рассвета. На градуснике в ту ночь было минус 53 градуса по Цельсию».

*(Городской архив. Дело 303, лист 9. Из воспоминаний З. В. Самсоновой)*

«Вот наш новый мост через Абушку специалисты строили аж четыре года. Нам это надоело. Комсомольцы субботниками, воскресниками сделали основу для моста, плотники сбили опалубку, бетонщики ее залили. Все работы по строительству моста проходили под духовой оркестр. И мы его за 24 часа сделали».

*(Городской архив. Дело 78, лист 7. Из воспоминаний И. И. Громова)*

«Жил в тот период у земляка Шумилова. В землянке нас собралось 15 человек, и в такой тесноте, что мне приходилось спать под кроватью, теперь имею квартиру».

*(Городской архив. Дело 285, лист 1. Из воспоминаний Н. И. Пругова)*

Я мог бы продолжать в том же духе долго, да, полагаю, нет смысла. А мораль проста и очевидна: народ свой почитать надо, пусть обманутый, пусть обделенный благами, но уважать народ надо за святой и бескорыстный порыв, за веру в светлое завтра, за великое терпение и невзгоды, переносимые ради детей и внуков. И самая великая потеря сегодня – это потеря цели, потеря любви к Отечеству. Душа из нас уходит, мы вплотную приближаемся к роковой черте, когда человек человеку становится врагом. Вот так, господин репортер. Вот так!

6

Как-то, дело было по осени и году в 1943-м, шел я по горбтому мосту через Абушку, навстречу мне – женщина, довольно пожилая и, сразу видать было, из интеллигенции. Несла она в сетке две буханки черного хлеба. Вдруг сзади накатились откуда ни возьмись два пацана – хватъ они сетку с хлебом из слабой руки и скорым бегом ударились прочь, в сторону Болотной. Существовал такой район в городе, запруженный разномастными землянками. Народ мигом сколотился в толпу – сочувствовать. Раздались голоса в том духе, что этих подонков следует давить на месте без суда и следствия. Кто-то из мужчин вызвался догнать жулье поганое и совершить расправу.

Пострадавшая сняла почему-то шляпку в форме горшка, рассыпав по вискам седые булки, потом сняла очки, протерла их белым платочком, сказала, подрагивая губами:

– Не надо догонять, товарищи: дети голодные.

– А вы не голодные?

– Я тоже голодная, но перетерплю, да и жить мне уже немного осталось. – И заплакала.

Я посчитал, что тетка малость чеканутая: совершенно вероломство, а она в жалость ударилась. Но теперь, с позиций своих лет, понимаю, что на моих глазах был совершен благороднейший поступок, сравнимый разве что с подвигом, поскольку хлебушко был добыт путем натурального обмена на базаре. И цена двух буханок – подвенечное золотое колечко.

...Новокузнецк кинул гирию немалого веса на чашу исторических весов, и чаша та медленно, но и верно склонилась в нашу пользу. У города особая, неповторимая судьба, отмеченная массовым самопожертвованием и массовым героизмом, поэтому нам есть кого вспомнить и чтить добрым тихим словом, есть кого отметить, запечатлеть в мраморе и бронзе.

Прискорбно, что молодежь имеет весьма слабое представление о прошлом, далеком и недавнем, своей земли, не испытывает участливого интереса к тому дереву, от корней которого взято начало и от которого прирастает.

Землячка наша поэтесса Любовь Никонова удачно выразила в стихах мысль о значении патриотизма:

Чем больше человек, тем больше Родина,  
а значит, и понятие о ней...

Чем больше человек!

Когда я писал эти строки, меня не покидало естественное чувство горечи. И вы меня поймете. Однако я не склонен полагать, что наш поезд ушел. Склонен смотреть вперед с верой и оптимизмом.

Почему же так получилось, почему многое порушено, а создано и взлелеяно так мало? Только ли по вине и преступному легкомыслию отдельных людей, наделенных властью, город лишился прошлого? Да, фамилии назвать можно, события проследить можно, слово, со слезами смешанное, произнести можно в порядке констатации. И оправдать себя можно: я, мол, здесь ни при чем, есть ответственные, им за это деньги платят. И немалые. Пусть они и краснеют, а ежели краснеть разучились, пусть отвечают по законам суда и совести...

В силу ряда известных причин, о которых нынче вещают иногда нарочито громко, многие годы в стране не существовало четко выраженного общественного мнения. Пора та, прожитая с насупленными бровями, надеюсь, канула в Лету насовсем. Сегодня же общественное

мнение должно обязательно предполагать и действие. Вот эти слова я бы выделил курсивом. Наболтались мы лет на сто вперед. Пора засучить рукава, дорогие мои земляки! Одни разрушали, другие же с запоздалым протестом возносили руки к небу: как же так можно!

Я лично пришел к твердому убеждению: хранить памятники и создавать новые во славу Отечества должен сам народ. Так было издревле, то была одна из самых благородных традиций старой Руси.

Есть ли прецеденты у нас, в Кузнецке? Да. В 1905–1907 годах на средства, собранные с миру, был построен Народный дом – храм по тем меркам, где город отмечал праздники и принимал именитых и желанных гостей, а позже, в революцию, здесь проходили жаркие дискуссии о том, как жить дальше.

В 1980 году дом, приготовленный для реставрации, сожгли прибудные ханыги, хотя был он вроде бы при сторожах и под опекой отдела культуры горисполкома...

Старый Кузнецк захотел – и смог. А мы? Мы при наших силах и умении можем всё, если захотим.

*(Роман-газета. 1996. № 11.)*

Ольга Голуб

## СЛОВО О РОДНОМ ГОРОДЕ ГЕННАДИЯ ЕМЕЛЬЯНОВА

«Ты каждый день идешь знакомой улицей Новокузнецка и мало думаешь о том, зачем живешь и интересна ли твоя жизнь. Ты торопишься. В такие минуты город окружает тебя молча, он отодвигается далеко и все же он рядом, он есть как нечто, данное изначально, как воздух, которым дышишь, как солнце, которое греет, как синее небо над головой... Город знает о тебе все, ты о нем все знать не можешь, он ведь неизмерим, как океан. Но он достоин твоей любви и преданности, он неотделимая часть твоей судьбы, моей судьбы, нашей судьбы. Здесь все

начиналось, на этой земле испытана удача и недоля, здесь бьется большое рабочее сердце Сибири, и пульс Новокузнецка слышит страна» – так написал в очерке «Мой город» Геннадий Арсентьевич Емельянов.

Для писателя город не просто географическое место, в котором он живет, а живой организм, имеющий характер и душу. У города Новокузнецка, так же как у Петербурга, Рима или Венеции есть *genius loci*. Именно поэтому тема родного города стала одной из главных в творчестве Геннадия Емельянова. Особенно ярко она прозвучала в 1986 году в очерке «Мой город». Глубокое знание истории Новокузнецка, гордость за его прошлое и настоящее, восхищение людьми, которые в городе живут и работают, чувствуются в каждой строчке очерка.

Первая книга Геннадия Емельянова «Когда друзья рядом» (1961), написанная в соавторстве с Гаррием Немченко, рассказывает о строительстве металлургического завода в Новокузнецке – Запсиба. И Емельянов, и Немченко были в то время сотрудниками заводской многотиражной газеты «Металлургстрой», поэтому книга состоит из коротких очерков, зарисовок, репортажей с места событий. Проблемы, увиденные на Запсибе, главной из которых стала – «человек и его дело», долгие годы будут основной темой в творчестве обоих авторов.

Большая часть произведений Емельянова вышла в 1960–1980-х годах. Прозаик Геннадий Емельянов проявил себя в различных жанрах: это производственный роман и лирическая повесть, сатирическая повесть и очерк, фантастическая повесть и юмористический рассказ. Последний, незаконченный при жизни роман «Двое из-за бугра» вышел отдельным изданием в 2020 году после завершившегося всероссийского конкурса на написание продолжения романа. Этот конкурс был проведен по инициативе дочери писателя Елены Геннадьевны Емельяновой. В 2018 году подвели итоги, победителем конкурса стал новокузнецанин Александр Савченко, который создал лучший вариант продолжения детективно-фантастического романа «Двое из-за бугра».

Говоря о городе, Геннадий Емельянов затрагивает следующие темы: строительство Западно-Сибирского металлургического комбината, Сталинск (Новокузнецк) в годы Великой Отечественной войны,

история и современность Кузнецкого металлургического комбината, роль города в развитии промышленности страны, экология, хоккей.

Образ Новокузнецка отразился в произведениях Г. Емельянова «Когда друзья рядом» (1961, в соавторстве с Г. Немченко), «Берег правый» (1965), «Хочу удивляться» (1965), «Кузнецкий металлургический комбинат» (1974, в соавторстве с С. Знатковым), «Капля из моря» (1975), «Запсиб – железная держава» (1979, в соавторстве с В. Колюбакиным), «Горячий стаж» (1985), «Мой город» (1986), «Душа народа (слово о родном городе)» (1996), «Двое из-за бугра» (2020, в соавторстве с А. Савченко).

Геннадий Емельянов – патриот, беззаветно любящий свой город, он гордится его историей, его особым вкладом в развитие промышленности Советского Союза: «Новокузнецк кинул гирию немалого веса на чашу исторических весов, и чаша та медленно, но и верно склонилась в нашу пользу. У города особая, неповторимая судьба, отмеченная массовым самопожертвованием и массовым героизмом». Во всех произведениях Геннадия Арсентьевича Емельянова Новокузнецк – это город-труженик, город-работяга, который круглосуточно работает на благо страны: «Металл льется днем и ночью вот уже больше полувека... В Москве стоит глухая ночь, когда мой город просыпается... Когда начнет бодрствовать столица, мы уже сделаем много... Мой город может почти все».

Необыкновенно важной вехой в истории города является для Емельянова время Великой Отечественной войны, когда весь промышленный потенциал был направлен на производство стали, в том числе броневой, вооружения, добычу угля: «Мой город Новокузнецк не слышал пушек, но он был тем не менее как бы прифронтовым. Мы помним, как на фронт уходили от нас бесконечные эшелоны. Уходили. И, возвращаясь, везли на платформах сплошь рваный, в опалинах металл. И битые танки с крестами... Кузнецкий комбинат переплавлял теперь и вражескую, крупновскую сталь, снова от нас брали начало эшелоны. Город-работяга не уставал, он не устал бы еще долго, сколько надо». И еще: «Только работа, самозабвенная, изобретательная, поистине ге-

роическая, могла нас оборонить и спасти, ведь Кузбасс, Новокузнецк являли собой тот последний рубеж, от которого начиналась победа. Или рабство. Или смерть. Такова правда, и никуда от нее не спрячешься». Действительно, Новокузнецк в годы войны стал местом размещения госпиталей, многих промышленных предприятий, эвакуированных из западных областей Советского Союза. «Тыловой город... Не совсем это правильно... Тыла не было, война кричала отовсюду, каждую минуту кричала. И каждый час. Время мерилось заводскими гудками, мерилось сменами, тоннами, метрами. Время мерилось сталью, углем, пулеметами, минами, ведрами картошки, граммами кислого хлеба... Война стояла в воздухе, она даже имела свой звук – глухой, шероховатый, звук тревоги и напряжения».

Г. Емельянов, начавший творческую деятельность в заводской многотиражке, много писал на заводскую тему. Существовавший со времен первых пятилеток завод – Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) – и строившийся при непосредственном участии писателя Западно-Сибирский металлургический комбинат (Запсиб) – стали героями нескольких его произведений. Роман «Берег правый» и повесть «Хочу удивляться» рассказывают о строительстве в Новокузнецке Запсиба в конце 1950-х годов. «У стройки теперь много внушительных эпитетов: она и важнейшая, и ударная, и на сегодняшний день чуть ли не единственная в своем роде. Говорят о ней пространно и с удовольствием. Проектировщики, нацеливаясь на будущее, с удовольствием рассуждают о красоте своего детища, московские инстанции в папиросном дыму обсуждают директивные бумаги, газетчики, соответственно, бьют во все бубны, и только у строителей сермяжная доля, для них остаются узкие места и неувязки». Начало жизни завода сопряжено со множеством трудностей, не хватает строительной техники, жилья, большая текучесть кадров, маленькие зарплаты, неустроенность быта: «Через дорогу прямо впритык один к другому стоят три дома – два общежития и столовая из шлакоблоков, дальше – магазин. Рядом с ним одноэтажный особнячок, тоже из серых блоков. Это – объединенный партком и комитет комсомола. Слева, совсем на отши-

бе, контора, окрашенная желтым, повыше, у самой Лысухи, котельная, недостроенная пекарня и растворный узел. Труба котельной торчит посреди белого поля, как восклицательный знак на пустой странице. Ни строгости, ни стати, ни красоты. Будто все это скатилось с горы и кое-как остановилось». Тем не менее: «До пуска первой домны вырос огромный поселок, он стал новым районом Новокузнецка. Здесь было уже около 400 тысяч квадратных метров жилой площади со всеми атрибутами культбыта... Были, конечно, первые колышки на пустырях, стояли и палатки, но жили в тех палатках недолго – были они натянуты скорее для доброй романтики». В романе «Берег правый» тесно переплелись проблемы 1950–1960-х годов: экономические, технические и морально-этические. Что такое преемственность поколений? Какой человек может называться современным рабочим? Что такое трудовой героизм и романтика первых трудностей? Автор поднимает и самую важную тему всего его творчества: человек и его дело.

Через 15 лет после выхода романа «Берег правый» появится большой очерк Емельянова об истории строительства и работе завода «Запсиб – железная держава». Здесь автор подробно расскажет о работе различных цехов, выпускаемой продукции, о людях, производственных процессах, развитии социальной сферы завода и Заводского района.

Когда Запсиб только строился, КМК был уже мощным, одним из крупнейших заводов в стране. Благодаря этому заводу вырос и город Новокузнецк, названный в романе «Берег правый» Новинском. «Новинск – дымный рабочий город, построенный наспех, с муками, в годы первых пятилеток, когда заморскую мысль оплачивали золотом, а сами ели ржаной хлеб не досыта. Новинск вырос вместе с металлургическим комбинатом». Слова «чугун», «прокат», «сталь» были понятны и знакомы каждому новокузнецчанину. КМК описывается в романе «Берег правый» как какое-то мифическое, живое существо, как великан, который дышит, у него есть сердце, и сам он является сердцем города: «Он (город) раскинулся в большой вогнутой чаше. Там, внизу, качалась иссиня-серая пелена дыма. Солнце как раз уходило, и закатный

свет его ударил вдруг в полную силу, на минуту оживил красками мрачно-ватую панораму, и силуэт металлургического комбината четко отпечатался на алом фоне. Это было впечатляюще. Казалось, сама земля прогибается под тяжестью громадины из железа, что здесь мощно и ровно бьется сердце города и пульс его слышит вся страна». «Комбинат дымил... Вверху дышали цеха». «От людей пахло железом. Вверху размеренно дышал завод».

В очерках книг «Горячий стаж» и «Капля из моря» подробно воссоздается атмосфера становления и совершенствования металлургического производства на знаменитом КМК, обращается автор и к его предшественникам – Томскому и Гурьевскому заводам, рассказывает историю появления металлургии в Сибири. Без кузнецкой брони, убеждены многие персонажи этих документальных книг, страна не достигла бы Победы в Великой Отечественной войне. Писатель показал знаменитых металлургов, опытных профессионалов. Лукьян Викторович Селицкий, Василий Григорьевич Гурьянов, Александр Яковлевич Чалков, Александр Сергеевич Шинкаренко и десятки других имен проходят перед глазами читателя.

Геннадий Емельянов был страстным хоккейным болельщиком и не раз писал о развитии хоккея в Новокузнецке. В 1960–1970-х годах новокузнецкая команда «Металлург» замечательно играла, была одной из сильнейших в стране. В те времена все горожане болели хоккеем – этот факт тоже является предметом гордости для писателя: «У нас поклонников хоккея – весь город... Мы узнавали даже со спины, по походке узнавали своих – Короленко, Григорьева, Бедарева, Заруцкого, Окишева. Это были корифеи!» «От былой хоккейной славы Новокузнецка остались крохи, а ведь взлетала она когда-то красиво: в высшей лиге играли, не как-нибудь. Вспоминаю те благословенные времена с легкой и неизбывной грустью. Вспоминаю, как директор стадиона... накануне, а то и дня за два до очередного матча «уходил в подполье», потому что болельщики преследовали его настойчиво и сердито – требовали билет, контрамарку и вообще любую бумажку, позволяющую

попасть на матч. Сидячих мест не было, крыши – тоже. Люди, чтобы занять места получше, валили на стадион с утра. Это при сорокаградусном-то морозе! Пессимисты предрекали, что деревянные трибуны не выдержат тяжести и рухнут однажды, поскольку публики набивалось без всякой меры. Оптимисты отвечали, что дерево сибирское, оно просто обязано выдюжить... Было замечено, что на Кузнецком комбинате в ночную смену падала производительность труда, когда «Металлург» проигрывал, и, наоборот, резко подскакивала, когда мы брали верх. Болельщик был вездесущ, трепетно предан своей страсти, и любовь та не делала различия между шустрым соплячком и степенным дядей... Конечно, хоккей не такая уж и важная веха в биографии города, но ведь из таких именно штрихов складывается его социальный портрет, на таком материале воспитывается чувство патриотизма и гордости».

Геннадий Емельянов не был коренным новокузнецанином, но город стал для него родным. В своих произведениях писатель размышляет об истории, культуре, промышленности, людях Новокузнецка. Настоящий патриот своей страны и своего города, он пытался воспитать любовь и чувство уважения к родным местам и у читателей: «... народ свой почитать надо, пусть обманутый, пусть обделенный благами, но уважать народ надо за святой и бескорыстный порыв, за веру в светлое завтра, за великое терпение и невзгоды, переносимые ради детей и внуков. И самая великая потеря сегодня – это потеря цели, потеря любви к Отечеству».

Его очерки, рассказы и повести выходили отдельными изданиями, печатались в московском журнале «Наш современник», сибирских журналах «Сибирские огни», «Огни Кузбасса». Творчество Геннадия Арсентьевича Емельянова является одной из самых ярких литературных страниц Новокузнецка.

Ольга Голуб

## БИОГРАФИЯ ГЕННАДИЯ ЕМЕЛЬЯНОВА

Геннадий Арсентьевич Емельянов родился 11 мая 1931 года в селе Паночёво (Поначево) Курагинского района Красноярского края в семье сельских служащих Арсения Федоровича и Зои Ивановны Емельяновых. Он был третьим ребенком, у него было две старшие сестры – Антонина и Валентина. Отец часто уезжал в командировки, мама оставалась с детьми одна. Из села семья Емельяновых сначала переехала в Минусинск, а в 1936–1937 гг. – в Артемовск. Родители старались хорошо воспитать и образовать детей, покупали книги, игрушки, выписывали детские журналы, записывали в библиотеку, поэтому читать Емельянов-младший научился в 5 лет. Читал он много, любил наблюдать за людьми, вечером обо всем рассказывал отцу.

В 1942 году отец ушел на фронт. Матери нужно было заботиться не только о детях, но также о бабушке и племяннице. Зарплата у нее была небольшая, и в 1944 году Зоя Ивановна с семьей переезжает в Сталинск (Новокузнецк) к сестрам. Геннадий первое время очень скучал по городку Артемовску, где остались его друзья и счастливое детство, он даже написал стихотворение в память об этом городе. В Сталинске Геннадий учился в школе № 12. Его сестра Валентина Арсентьевна Безбородова вспоминала: «После окончания школы решил стать журналистом, родители были согласны, мы с сестрой уже работали. Первый год учебы в Москве Гена жил у отцовской младшей сестры в Останкине, но долго он там не задержался, перешел в общежитие. В комнате проживало восемь человек. Он один был русский, да еще из Сибири. Подготовка по-иностранному оставляла желать лучшего. Он даже хотел из-за этого предмета бросить институт. Но ребята, прошедшие дороги войны и учившиеся вместе с ним, говорили Гене: «Ты один сибиряк во всем институте, не подведи своих». Все годы учился хорошо, был сталинским стипендиатом, после каждого учебного года ехал к себе на родину. После окончания университета

мог остаться в городе Горьком, но он вернулся в Сибирь, считая, что здесь чище воздух и люди добрее».

В 1955 году, окончив факультет журналистики МГУ по специальности «редактирование политической и художественной литературы», Емельянов возвращается в Сталинск. Здесь он стал сначала высококвалифицированным журналистом, а затем и профессиональным писателем, хотя первая публикация его рассказа была в газете «Московский комсомолец» еще в 1952 году. Геннадий Емельянов работает сначала ответственным секретарем и заместителем главного редактора газеты «Колхозник Кузбасса», затем – собкором газеты «Комсомолец Кузбасса». В 1959-м он становится редактором газеты «Металлургстрой» – главной газеты строившегося Западно-Сибирского металлургического комбината. Работа на Запсибе дала Емельянову огромный жизненный и творческий опыт. Здесь жили и работали не только герои его журналистских статей, но и многие литературные персонажи. С 1963 года Емельянов – собкор газет «Комсомолец Кузбасса» и «Кузбасс».

В 1968 году случается важное событие в жизни Геннадия Арсентьевича: он становится членом Союза писателей СССР (третьим из новокузнецких писателей, в 1964-м членами СП стали Гарий Немченко и Анатолий Соболев).

В конце 1950-х годов произошли изменения и в личной жизни писателя: у него появляется семья, в 1960 году родилась дочь Елена. Из воспоминаний дочери: «Время было золотое. Мы – папа Геннадий Арсентьевич, мама Валентина Николаевна и я – жили на проспекте Курако. У отца отдельная комната. Стол, на нем телефон, печатная машинка. Часто я засыпала под ее стук. Отец на ней стучал, как дятел, часто работал ночью. Он мне объяснил, что машинка – это его рабочий инструмент. На рабочем столе у отца всегда был порядок, бюстик Маяковского и всегда отточенные карандаши... Они с дядей Сашей, мужем папиной сестры Валентины, сбили полки. Получился книжный

шкаф. Отец покупал книги серии «Библиотека всемирной литературы», полные собрания сочинений Достоевского, Тургенева, Паустовского. Сохранились книги серии «Жизнь животных» в шести томах, сохранились книги, которые дарили отцу на встречах с читателями. Гостеприимным был дом, хлебосольным. Моя мама – замечательная хозяйка, отлично готовит.. Я занималась музыкой, играла на пианино.. Батя был удивительным рассказчиком. Я могла слушать одну и ту же байку несколько раз, и все менялось, как мизансцены в театре. Мгновенно реагировал на реплики присутствующих, на ходу перестраивался. Перевоплощался моментально. Его мастерству позавидовал бы любой актер. Очень требовательно относился к себе. Порой мучительно долго бился над одной фразой, искал разные варианты. Обращался к архивам, очевидцам событий. Материалы тщательно проверял».

Г. А. Емельянов умер 14 апреля 2000 года в Новокузнецке, похоронен на Редаковском кладбище. Шестого июля 2003 года на могиле писателя открыт памятник в виде свитка рукописи, изготовленный по эскизу студента строительного техникума Сергея Кравченко (памятник установлен по инициативе депутата Государственной Думы С. Неверова). В 2006 году в честь 75-летия Геннадия Арсентьевича Емельянова на фасаде здания на ул. Кирова, 10, где жил писатель, открыта мемориальная доска.

*Книги Геннадия Арсентьевича Емельянова:*

*Когда друзья рядом : о молодежи на строительстве Запсиба / Г. А. Емельянов, Г. Л. Немченко. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1961. – 100 с.*

*Глубокая борозда : очерк. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1964. – 26, [1] с. – (Люди земли Кузнецкой).*

*Друг Серега : сборник рассказов. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1964. – 35 с.*

*Хочу удивляться : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1966. – 85, [1] с. : портр. – (Кузбасс литературный).*

*Берег правый* : роман. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1967. – 283 с.

*Берег правый* : роман. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1969. – 287 с. – (Молодая проза Сибири).

*Далекие города* : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1972. – 160 с.

*Кузнецкий металлургический комбинат* / Г. Емельянов, С. Знатков. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1974. – 21, [1] с. : ил.

*Капля из моря* : рассказы о доменщиках КМК. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1975. – 106, [3] с.

*Берег правый* : роман ; *Хочу удивляться* : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1976. – 317, [1] с. : портр.

*Далекие города* ; *Бабьим летом* : повести. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1979. – 398, [2] с.

*Запсиб – железная держава* / Г. А. Емельянов, В. Н. Колюбакин. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1979. – 219, [2] с., [3] л. ил. : ил. .

*В огороде баня* : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1980. – 157, [1] с. : ил.

*Истины на камне* : фантастическая повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1982. – 192 с.

*Арабская стенка* : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1983. – 175, [1] с. : ил.

*Две встречи* : повести. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1985. – 326, [2] с. – (Современная сибирская повесть). – Содерж.: *Истины на камне* ; *Проснитесь, скитальцы!*

*Горячий стаж* : очерки : о сибирских металлургах и шахтерах. – Москва : Советский писатель, 1985. – 302, [2] с. : портр.

*Мой город* : слово о Новокузнецке. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1986. – 199 с. : ил.

*Орджоникидзевский, шахтерский* / Г. Емельянов и др. – Новокузнецк : [б. и.], 1990. – 57, [8] с., [10] л. фот. : ил., портр.

«*Байдаевской*» – полвека / Г. Емельянов, И. Агафонов, Ю. Осадченко. – Новокузнецк : [б. и.], 1990. – 139, [1] с. : фот., табл.

*Пришельцы : фантастические повести / послесл. В. Махалова. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1991. – 365, [2] с. – Содерж.: Проснитесь, скитальцы! ; Медный таз из сундука.*

*Выручайте, мужики! : юмористические рассказы. – Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 1994. – 95 с. : ил.*

*Двое из-за бугра : детективно-фантастический роман / Г. Емельянов, А. Савченко ; вступ. ст. А. Раевского. – Новокузнецк : Союз писателей, 2020. – 251, [2] с.*

**Илья Васильевич Зыков**

*28 июля 1899 г., с. Кутузово, Кировская обл. – 6 декабря 1985 г., Кемерово.*

*Писатель-натуралист, краевед,  
действительный член Географического общества СССР.*

## СВЕТ НА БОЛОТЕ

Подшло такое время, когда на речках и озерах появились забереги, а в холодном прозрачном воздухе полетели «белые мухи». Подмерзает не только ночами, но и днем, как бывает перед началом зимы. И уже ни одного листочка на деревьях, давно обнажилась Зеленая горка, теперь далеко видимая сквозь поредевший лиственный лес. Бледный солнечный луч освещает поблекшую и порыжевшую траву, мокрые листья на земле. Где летом трудно было пройти, там теперь нельзя укрыться даже небольшому зверьку.

Сосновый бор все тот же: высокие деревья, стволы из меди и верхушки из желтовато-зеленой кисеи, по земле же мягкий бархатный ковер, в одном месте зеленый из кукушкиного льна, в другом – блестящий из серебристого оленьего ягеля.

От соснового бора дальше к низине потянулся березняк, оголенный, прозрачный. За березняком кочкарник, поросший невысокими кедрами, увешанными длинным лишайником-бородачом. Вместе с кедром на болоте растут корявые березы, редкие лиственницы и сумрачные, тоже в прядях бородача, елки. Болото образовалось на месте когда-то существовавшего озера, и поэтому ближе к его середине топь и «окна», где по тонкому мшистому слою зыбуна не решаются пробегать даже маленькие звери.

Реже и ниже кедры. Вот грань леса, а дальше ровное-ровное моховое болото с редкими кустарниками по краям. А еще дальше только сфагнум, немного побуревший от осенних холодов, обманчивый сфагнум, в котором тонет нога.

В угрюмых слоистых облаках, плотно обложивших небо, время от времени возникают просветы, в которые проглядывает чистая и яркая синева. В один такой просвет ворвались солнечные лучи, осветившие сразу окрайку леса с кустарниковой березкой и низкими кедрами и болото. Поток лучей медленно передвинулся по пустынному болоту, скользнул по деревьям на противоположной стороне и тотчас скрылся за облаками.

Но и за это короткое время произошло нечто феноменальное, незабываемое.

Когда солнечный луч двинулся по болоту, поверхность сфагнома вдруг стала розоветь, на ней вспыхнули тысячи красных точек, словно вдруг выпал ярко-розовый дождь.

Что это?

Но присмотритесь внимательно, и вы увидите на поверхности сфагнома множество розовато-красных ягод. Это самая позднеспелая ягода лесов, вернее лесных болот – клюква.

Маленький, совсем миниатюрный ползучий вечнозеленый кустарничек растет на холодном, сыром болоте и никогда не поднимается своими веточками выше поверхности мха сфагнома. Только в непосредственной близости можно различить тонкие веточки с игрушечными листочками, а весною со светло-розовыми цветами.

На какой почве растет клюква? О почве нечего сказать, минеральной почвы тут нет, корни кустарничка расположены в отмерших частицах сфагнома. Невольно удивляешься многообразию природных явлений при виде того, как вот такое маленькое растение, да еще в необычных в нашем представлении условиях, дает столь ценные плоды со значительным содержанием сахара, лимонной кислоты и других веществ – плоды пищевого и лекарственного значения.

В развитии и плодоношении этого растения особенно сказалось обильное солнечное освещение летом в наших широтах. Как бы ни были суровы природные условия болота, а солнца много, и маленькое растение есть подлинное дитя солнца.

(«С ружьем и котомкой по тайге», 1957)

## ОГНЕВКА ИЗ ГОЛУБОЙ ДОЛИНЫ

1

Как-то в начале лета, отправляясь в горы, я завернул в Голубую долину к давнишнему моему приятелю Кондрату Ефимовичу, лесному объездчику и известному в округе охотнику.

Он ходил в одиночку на медведя, но только осенью. Зимнюю охоту на спящего отощавшего зверя считал несостоящей и даже недостойной хорошего охотника. Бил он волков, лисиц, выслеживал соболя.

Голубая долина прилегала к горам, на которых начиналась мало тронутая горная тайга – богатейшие охотничьи угодья. С запада Голубая долина ограничивалась довольно высоким горным отрогом, вершина и склоны которого покрыты сосновым и смешанным лесом. Разнообразные леса сохранились в самой долине: сосновые и лиственничные рощи, кое-где по низинам темнохвойные породы и на большой территории, как обычно, березняки, кустарниковые заросли. Раздолье для зверя, птицы.

Несмотря на свои шесть десятков лет, Кондрат был прямым, поджарым, мускулистым человеком. Он был способен без усталости шагать по тайге на большие расстояния, держался в седле, как настоящий кавалерист. Он имел зоркие глаза, сильную руку, и этот еще не стареющий человек был твердо убежден, что звери созданы для охотника. Вместе с тем он строго соблюдал промысловые законы и приучал к дисциплине других. Браконьеры его боялись.

За утренним чаем охотник рассказал о трофеях за минувший год: два медведя, пять волков, около трех десятков лисиц, не говоря уже о мелких зверях и множестве птицы.

Затем он запряг коня в легкие дрожки, и мы отправились в объезд горного отрога и многочисленных ложбин. Тут-то и произошла встреча, послужившая завязкой для этой повести.

Проезжая мимо парового поля, мы увидели недалеко от дороги большую рыжую лису, за которой шел следом, осторожно ступая по

комьям, худой, большеголовый, на длинных ногах лисенок огненного цвета.

– Огневка, – сказал Кондрат, поднимая от удивления брови, – для наших мест редкий случай... Ну что ж, по чернотропу или по первому снегу я ее приберу.

– А не рановато загадывать? – усомнился я. – Лиса, Кондрат Ефимович, осторожный зверь, ее не вдруг-то приберешь...

Кондрат скривил губы.

– Осенью шкурка вот этой самой огневки будет в «Союзпушнине» на моем счету.

В этой случайной встрече лисенок получил имя Огневки и судьба зверька была предрешена. Кондрат на самом деле был настойчивым и неутомимым следопытом, а звери созданы для охоты.

Мы еще раз оглядели лису и ее детеныша, хорошо видных на темном фоне вспаханного поля. Как раз взрослая лиса поймала мышь и подбросила ее в воздух. Большеголовый лисенок подпрыгнул и схватил добычу на лету. Они не обращали внимания на нас, едущих на лошади.

Но вот дрожки остановились, лиса выпрямилась, что-то сказала на своем языке лисенку, и тут же оба исчезли с глаз, как растаяли.

## 2

Но этой случайной встрече предшествовало трагическое событие в жизни лисьей семьи.

...Как-то утром со стороны гор прилетели два орла и начали парить над обширной Голубой долиной. Далеко видящими глазами хищники выискивали добычу среди оврагов, березовых колков, по берегам озера, такого же голубого, как и небо. Орлы описывали большие круги в воздухе, изредка взмахивая могучими крыльями, и вдруг одновременно ринулись к земле. На склоне оврага среди кустов они увидели маленьких прыгающих зверьков. То была семья лисицы.

Старая лиса в это время бежала с поля, неся в острых зубах несколько мышей. Она славно поохотилась и поэтому опоздала. Увидев

два растерзанных трупа лисенят, следы крови на земле, лиса бросила мышей, обежала площадку несколько раз и громко завывала, подняв морду вверх, к небу. Может быть, она поняла, что беда упала с неба – около трупов детенышей валялось перо хищной птицы.

Потом старая лиса-мать упала на землю около растерзанных останков своих детей и, казалось, замерла от невыносимой боли. Так лежала она недвижно, уткнув нос в сухую горячую землю.

Солнце поднималось выше; в кустарниках, по склону оврага щебетали птицы; каркая, пролетел мимо сумрачный ворон, подозрительно оглядевший неподвижно лежавшую лису.

Вдруг из норы донеслось осторожное урчание. Лиса встрепелулась и, пошатываясь, подошла к норе, а затем быстро юркнула туда. Через короткое время она выскочила из своего гнезда, неся в зубах огненно-красного лисенка. Один все же остался в живых. Лиса запомнила эту утрату, и теперь, уходя за добычей, она загоняла малыша в нору и сердитым урчанием заставляла его сидеть в надежном убежище, не вылезая. А когда тот подрос, она стала брать его с собой, чтобы он научился добывать себе пищу, чтобы узнал суровые законы жизни.

## 3

Прошла золотая осень, за ней период дождей, мокрых снегопадов, и наконец установилась прохладная сухая погода, когда земля подмерзает и уже не оттаивает днем. На речках все увеличиваются ледяные забереги. Лучшее время охоты по чернотропу на лису, на волка, белку, зайца.

Короткий, но замечательный охотничий сезон. В один такой прохладный и сухой день Кондрат решил добыть Огневку. В спутники к нему напросился тоже страстный охотник – агроном из соседнего совхоза. Они были верхами, с собаками, а на ремнях, рядом с Кондратом, бежали две гончие. Их приберегали для решительного момента, когда другие собаки выгонят Огневку на чистое место.

Охотники медленно ехали по склону сухой полuzаросшей ложбины, где попадались лисьи норы, а в густых кустарниках любили прятаться и сами лисицы. Но вот пора и остановиться.

Деревья укрывали их, а между тем с седел далеко проглядывались кустарники, луговины, а за ними поля. Надо было ждать, кого выгонят собаки.

Иногда в березняках или в ближних оголенных кустарниках раздавался глухой отрывистый лай.

– Зайцев вспугнули... в обход пошли... – замечал Кондрат. – Так, так, забирай его в круг!

– Только бы лисы не ушли в горы, – беспокоился агроном.

– Не уйдут... а уйдут, так вернуться... Тут для них самое подходящее место... А ну, слушай!

Лай стал особенно настойчивым, залихватным. Охотники насторожились. Голоса собак то отдалялись, то вновь приближались, вероятно, зверь метался, пытаясь оторваться от преследователей. Но вот гон слышался опять ближе, собаки гнали зверя прямо на охотников.

Кондрат поднялся на стремянах, готовый в одно мгновение сорваться с места. Лошади начали нетерпеливо переступать, гончие натянули сворку, агроном быстро спрыгнул с седла, чтоб сразу же отвязать их.

Лай ближе... И вот по краю полянки стремительно прокатился огненно-красный шар. Гончаки рявкнули, взвился ремень, охотник по-разбойничьи громко засвистел, и началась погоня.

...В это утро Огневка и ее мать отдыхали в густом колке около поля. Нору в овраге лисы давно оставили и после того бродили по долине, не имея постоянного пристанища. Где была пища, там был и дом. В колках и кустарниках лисы ловили зайцев и птиц, но все-таки главным образом они охотились на поле за мышами. Инстинкт и школа опытной старой матери скоро научили Огневку добывать пищу при любых обстоятельствах.

Собаки! С ними лисенок еще не встречался в своей короткой жизни. Но мать-то их знала. И как только раздался лай, она поднялась и коротко позвала лисенка за собой. Враги!

Колки чередовались с полянами, тут трудно уйти от преследователя, и лиса инстинктивно это знала. Она бросилась к мелколесью, в кустарники, в труднопроходимую чащу. Лай на некоторое время от-

далился и лисы остановились. Кровожадный хорь с большой птицей в зубах пробежал мимо, оглядев лисицу злыми глазами. В другой раз старая лиса попробовала бы отобрать добычу, но теперь было не до этого. Ветер снова принес запах собак, – они бежали теперь не по следу, они учуяли лис, а когда лисы в страхе метнулись от колка к колку, собаки увидели их и погнались прямо на охотников.

Выскочив на открытое место, старая лиса увидела людей, услышала их крики, звук рожка. Эти звуки напомнили ей старые предыдущие облавы, она оглянулась на лисенка, хрипло твякнула и, собрав все силы, бросилась через поляны в кусты. Огневка не отставала, она делала то же, что и мать. Теперь целая свора с гончаками во главе ринулась за ними. Нет, не уйти, видно, на этот раз!

По оголенной бровке оврага мчались на взмыленных лошадях охотники. Иногда, на открытых местах, они видели лис и собак, и лисы все еще были целы. У крутого спуска лошади, захрапев, остановились.

– Ладно, сделаем обход, – сказал Кондрат. – Слышишь, вон куда повернули! Значит, у речушки им и конец!

...Гончие со свежими силами настигали, а старая лиса устала.

Впереди крутой берег речушки. Лиса на неуловимо короткое время взглянула, и в ее расширенных зрачках мелькнуло отчаяние. Тогда, почти на краю обрыва, она издала резкий крик, понятный лисенку, и, круто повернувшись навстречу собакам, угрожающе оскалила зубы.

Огневка на ходу сделала сильный прыжок и, не задев воды, очутилась на другом берегу. Впереди была густая прибрежная чаща, дальше – склон горного кряжа, покрытый тоже густым березняком.

Скоро Огневка почувствовала, что погоня отстала, но, повинуюсь строгому приказу матери, продолжала бежать, пока не укрылась в березняке. И тут она впервые остановилась. Далеко внизу расстилалась равнина с лесками, полями, луговинами, купалось солнце в озерных водах.

Матери не было, и маленький зверек заскулил от одиночества. Потом боязливо оглянулся на шорох и при виде молодого волка, пробежавшего мимо, оскалил зубы.

В жизни Огневки началась новая, взрослая полоса.

Огневка была так напугана облавой, что долго не решалась вернуться к сухому долу на равнине. Она держалась в предгорьях, где преобладали хвойные леса, менее богатые жизнью, чем березняки. Редко удавалось поймать птицу, бурундука или заигравшуюся на земле белку.

Лиса – насельник не лесных дебрей, инстинкт звал Огневку ближе к полям.

В один из голодных дней Огневка вышла на гребень горного кряжа, постояла, словно в раздумье, и стала спускаться в долину. В лесу лежал глубокий снег, а на равнине ветер сметал его в кустарники. Поля были оголены, и лиса скоро нашла добычу. Тонкий нюх помогал ей обнаружить обитаемую норку мыши, а дальше в ход пускались острые когти и зубы. Теперь она не испытывала голода. А вскоре вновь встретилась с охотником.

Кондрат этой зимой взял уже несколько лис, но следы Огневки были потеряны. Как-то, проезжая краем полей, он издали увидел мышкующую лису. Задувала поземка, и было трудно разобрать, что там за лиса. Лишь когда, крадучись, он подъехал поближе, сразу же узнал Огневку. На фоне снега и голых черных кустарников лиса выглядела как вспыхнувший костер.

Нужны были всего секунды, чтоб достать и поднять ружье. Но в эти секунды ветер донес до лисы запах человека. Даже не оглянувшись, она сделала стремительный прыжок в сторону, как раз в тот момент, когда раздался выстрел. Это спасло ее. Она оглянулась на человека и запечатлела в глубинах своего звериного инстинкта: вот еще одна опасность!

Охотник искренне досадовал на свой неудачный выстрел, ибо такое с ним случалось редко.

Может, он волновался, увидев лису, за которой уже неудачно охотился. Нет, рука у него тверда, и глаз верный! Значит, лиса услышала удар курка раньше, чем произошел выстрел.

Кондрат ударил лошадь и свернул с дороги в сторону убежавшего зверя. Снег был мелкий, легкие санки в минуту домчали его на расстоя-

ние выстрела. Но когда он на ходу поднял ружье, лиса юркнула в кусты. И второй выстрел не достиг цели.

Кондрат не сказал об этом случае никому, но вторая неудача лишь укрепила его желание во что бы то ни стало добыть Огневку.

Тою же зимой Огневка узнала, что такое капканы. Инстинкт, унаследованный от множества поколений, заставлял ее ходить только по своему следу. И вот как-то в кустах она нашла замерзшего зайца с капканом на ноге. Запах железа напомнил о ружье, о человеке. Железо и человек. Она не притронулась к зайцу и все же долго ходила вокруг, запоминала.

Чем больше познавала она окружающее, тем внимательнее становилась, когда проходила по своей тропе. Нет ли других запахов, кроме запахов леса, не шагал ли кто другой по этим следам. И если ее след пересекали чужие, незнакомые следы, она выбирала новый путь.

Однажды Огневка долго наблюдала из густого колка, как человек, преследовавший ее (она теперь знала его), делал что-то на ее тропе. Когда человек ушел, она приблизилась к тому месту и тонким чутьем опять угадала железо. Запах был тот же, что от предмета на ноге мертвого зайца. Лиса проложила другую тропу.

Потом привычная настороженность спасла ее от новой опасности. Как-то на поле она почувствовала манящий запах съестного. На свою удачу, она была сыта и не бросилась стремительно вперед, а подошла медленно. На снегу лежал небольшой кусочек мяса – источник запаха. Лиса обнюхала его и отпрянула. От мяса шел еле уловимый незнакомый запах. Потом она наткнулась еще на один кусочек и еще.

А дальше! Лиса остановилась, и шерсть на ее загривке поднялась. На тропинке лежало тельце маленького зверя, странно вытянутое, похолодевшее. Горностай. Значит, нужно было опасаться и кусочков с вкусным запахом.

## 5

В укромном углу долины поднималась березовая роща с вечнозелеными густыми высокими елями. Тут же в лощинках простирались

непроходимые заросли кустарников. Зимой в этой глуши держалось много птицы, разных зверьков, заходили и крупные хищники.

В январе Кондрат выбрал это место для зимней охоты на приваду. Узенькая полянка, на которой стояла старая охотничья изба, была покрыта множеством следов лесных обитателей. Снежный покров все равно что раскрытая книга – умеи только читать. Кондрат очень надеялся, что у привады, может быть, увидит и Огневку. Он не забыл о ней.

Искусно были поставлены капканы, петли, ловушки, а через день звери почуяли запах мяса и крови – на полянке лежала коровья туша.

В первую ночь в капкан попал хорь, наиболее голодный и решительный из живущих тут зверей. Близко к поляне подходили и были волки, но к туше не подошли. Изба стояла хотя и с заколоченными окнами, но запахи доносили о близости человека. Об этом же свидетельствовали и лыжные следы по краю поляны.

Но голод заставлял зверей забывать об осторожности. На другую ночь в прорезь ставня охотник увидел волка. Хищник со вздыбленной шерстью медленно обошел тушу и прыгнул на мясо. Кондрат ждал, не подойдет ли более ценный зверь, он надеялся на приход Огневки и мечтал также, что авось из глубины тайги, с гор подойдет чернобурая лиса, которая одна окупила бы и стоимость туши, и труд охотника.

Волк был убит. Осматривая участок леса около поляны, охотник обнаружил следы двух лисиц, которые, очевидно, почуяли капканы и не подошли к приваде. Капканы были убраны, а снежок подпорошил следы на поляне, даже след самого человека.

Ночь удалась светлая, лунная. Лисы пришли.

...В начале зимних игр Огневка встретила крупного лиса с темно-рыжей гривой. Он победил одного за другим двух соперников, и Огневка признала его достойным другом жизни. В те дни, когда охотник устроил приваду, лисы, играючи, бегали от колка к колку, иногда делали большие передвижки по долине. Они вели беззаботную бездомную жизнь, так как Огневка еще не ощущала потребности обзавестись норой и соорудить гнездо для нового поколения. В березовой роще они успешно охотились на тетеревов. И вот запах мяса. Лисы

пошли на этот запах и, передвигаясь от дерева к дереву, от куста к кусту, стали осторожно приближаться к полянке. Бьющийся в капкане хорь отпугнул их, они убежали.

Но вскоре опять пришли. Днем охота на птиц была неудачной – и запахи мяса непреодолимо манили к поляне. Только на этот раз зашли с другой стороны. Кондрат видел в щель, как впереди шла Огневка, а за нею лис. Так ярко светила луна, что нетрудно оказалось различить оттенки шерсти и узнать старую знакомую. Расстояния были строго измерены, и лисы шаг за шагом подвигались к своему концу.

Старый, опытный охотник неожиданно почувствовал, как бьется его сердце.

Два раза уходила эта огненная лиса. Прошли обещанные сроки, когда он должен был сдать ее шкурку в «Союзушнину». И вот она в третий раз перед ним.

Не дойдя до привады, лиса остановилась и потянула воздух. Какое-то едва ощутимые, но опасные запахи заставили ее насторожиться. Казалось, сам воздух был пропитан опасностью. Лиса инстинктивно приготовилась к прыжку.

Огневка не дошла до привады, потребовалось всего чуть-чуть переместить ствол ружья, и это решило дело: послышался едва уловимый скрип мерзлого дерева, и лиса тотчас прыгнула в сторону. Может быть, через мгновение раздался выстрел, но заряд пролетел мимо. Охотник едва успел поднять курок, а лисы уже были за кустами. Кондрат еще раз убедился, что Огневка обладает совершенно непонятным для человека умением опередить выстрел прыжком в сторону. И вот еще одна неудача. Ну что ж, охотник должен быть немного и философом.

## 6

Приближалась весна. Как-то по-особенному прозрачен и чист становился воздух, словно обновленный снежными метелями. В дневные оттепели подтаивал, оседал снег, рушились тропы, исчезали следы.

Теперь Огневка была насторожена больше, чем когда-либо. Она несла в себе биение новой жизни, и это устанавливало ей новые прави-

ла поведения. Все больше времени она проводила на лежке. Нужен был покой, возникала надобность в гнезде для будущих детей.

Она обошла старые знакомые места, где родилась, выросла. В зарослях по оврагу держалось много птиц, а недалеко на полях и луговинах водились мыши. Но в овраге еще не растаял снег и днем лиса глубоко тонула в разбухшем снежном покрове. Эти следы были замечены.

И когда Огневка опять стала бродить по склону оврага в поисках норы, она все-таки попала в капкан. Обманул весенний ветер, напоенный волнующими звуками, запахами. Подул ветер с высоких гор, и смолистый аромат молодящейся хвои заглушил запах хорошо упрятанного железа.

Запах железа ворвался в ноздри неожиданно, и нельзя было определить: откуда он? Лиса свернула со своей дороги, и тогда ее ударило по задней ноге. Она рванулась вперед и сразу осела от невероятной боли и тяжести. Небо, светившее ей своей синевой, вдруг померкло, опустилось, глаза перестали видеть далекие манящие холмы. Тогда лиса подняла вверх тонкую длинную морду и завывала. Болтливые сороки удивленно глядели с кустов, как она мечется и не может сдвинуться с места.

Вдруг Огневка сунулась головой в снег и затихла. Птицы, вероятно, решили, что зверь мертв и можно за его счет пожить. Болтая и ссорясь, сороки слетели на снег и начали приближаться к лисе. Наиболее смелая уже совсем приблизилась и косила взглядом на сломанную ногу. Но тут же крикливые птицы испуганно поднялись в воздух – лиса ожила, вскинула голову. Что вернуло ей силы? Или запахи принесли ей весть, что приближается грозный враг, а вместе с ним и неминуемая смерть? А может, перед ней встали бескрайние дали, синие горы, воля, зовущая в свои просторы?

Лиса подняла голову, но не взглянула на птиц.

Изогнув свое гибкое тело, она достала зубами капкан и начала его грызть. Но железо не поддавалось. Тогда Огневка впиалась острыми зубами в свою ногу у самого капкана. Кость была сломана, и лиса несколькими движениями острых зубов разорвала кожу и сухожилия. Она освободилась, но не сразу ушла, а только после того, как внима-

тельно обнюхала каждую пядь подтаявшего снега, в нем ведь был упрятан не один капкан.

Оставляя кровавый след, она поднялась на пригорок и далеко видящими глазами осмотрела местность. В долине между колками и в зарослях кустарников еще держалось много снега, но склоны далеких холмов обнажились и парили под солнечными лучами. Ковыляя, Огневка направилась в ту сторону.

Способ, с помощью которого Кондрат в эту зиму поймал уже пятнадцать лис, был прост: на лисьем следу он ставил капкан так, чтобы, дойдя до него, лиса сразу бы его заметила. Она бросалась в сторону, где на разном расстоянии было хорошо упрястано еще несколько капканов. В один из них зверь и попадал.

Но на этот раз, осматривая снасти, Кондрат нашел лишь обломок ноги. Он сразу понял, кто здесь был и что произошло. Даже на этого кремневого человека эпизод произвел впечатление. Он крякнул, покачал головой и потом всю дорогу хмурился.

...Огневка устроилась в заброшенной норе барсука. Пришло время, и у нее появились дети, четыре большеголовых лисенка с умными быстрыми глазами. Два малыша по наследству получили огненные шубки. Когда в первый раз Огневка вывела своих детей из глубокой норы, лисята увидели на далекое расстояние долину с полями, лесами, озерами, оврагами. То была Голубая долина. В стороне от нее поднимались горные кряжи. А над долиной и горами висел голубой полог, по которому катился светло-желтый шар, настолько яркий, что лисенята зажмурились и бросились под защиту матери, ибо для них в этом возрасте мать была всем.

А Огневка смотрела на долину, и ее тянуло туда, к сухому оврагу, к полям и перелескам.

## 7

Агроном совхоза, занимавшийся изучением долины для распашки ее земель, сказал как-то Кондрату:

– Эта долина когда-то давно, несколько тысяч лет назад, была степью, потом ее заняли леса, а теперь снова лесостепь... Сегодня я заметил порядочно нор на окрайках полей, по сухим оврагам, по целине среди редколесья. Много мышей, хомяков, даже сусликов появляется. Сусликов пока мало, так и чувствуется, что кто-то мешает им распространиться. Думаю, что сусликов лисы уничтожают. Кроме них, некому.

– Значит, лисы полезны? – удивляется Кондрат. – Может, на них и охотиться не следует?

Агроном кивнул.

– А что ты думаешь? Если бы среди наших полей было больше колков и лесных полос, а в них жили бы лисы, то многие тысячи пудов зерна они сберегли бы хозяйству. А теперь эти тысячи пудов поедаются грызунами. Нешуточный вопрос.

– Сплошное ущемление для охотников твоя теория, – мрачно заметил Кондрат.

С Огневкой Кондрат и его друг встретились еще раз летом, когда начался сезон охоты на водоплавающую птицу. Как-то ранним утром они сидели в шалаше у озера и невольно обратили внимание на то, как недалеко, среди редких кустов, кто-то вспугнул один за другим два выводка тетеревов.

– Кто бы это мог беспокоить птиц? – проворчал Кондрат.

– Уж не тот ли зверь? – пошутил агроном, показывая на суслика, который хорошо был виден на ближнем возвышении.

Он стоял, как серенький столбик, и беззаботно насвистывал.

Присмотревшись, охотники одновременно увидели, как из-за кустов вышла лиса. Она не пряталась, вероятно, потому, что увидела, как улетели птицы, значит, добыча ускользнула.

Но вдруг она прижалась к земле и словно слилась с травой, – она заметила суслика.

И тут охотники едва удержались от восклицания: позади лисы крались еще четыре маленьких существа, четыре лисенка. Что делала мать – точь-в-точь повторяли и они: и ползли на животе, и коротко прыгали, а то замирали, прижавшись к земле. Так же внимательно, напряженно стояли их ушки.

– Учит жизни, – шепнул агроном. – Но какая школа!

Наконец лиса достигла подножья холмика. Как раз в тот момент, когда суслик медленно опустил, готовый нырнуть в свое земляное жилище, лиса сделала отчаянный прыжок и схватила его за шею. Четыре лисенка в несколько прыжков очутились рядом.

И кстати: хищная птица, тоже уследившая суслика издали, опоздала всего несколькими секундами и пронеслась над холмиком с шумом и писком. Лисята вцепились в суслика, а взрослая лиса с оскаленными зубами подскочила навстречу пернатому сопернику. Первый луч солнца осветил поднявшуюся на задние лапы, разъяренную лису, и шерсть блеснула огненно-красным отсветом.

Да, это была Огневка.

(«С ружьем и котомкой по тайге», 1957)

## **ВОТ ОН, КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ!**

Голец и таскыл – одно и то же. Голец – название русское, таскыл – хакасское. С гольца, на котором ночуют и днюют облака, открываются бесконечные дали. Так перед нами встал во всей красе Кузнецкий Алатау.

Несколько прозаических справок. Исследователи считают, что протяженность Кузнецкого Алатау от района Телецкого озера до окраин в междуречье Яи и Золотого Китата – около 500 километров. Наиболее возвышенная его часть находится между 53-м и 55-м градусами северной широты, здесь будто специально собраны высокие кряжи и вершины. В южной части поднимаются Шор-Тайга, Большая Куль-Тайга; в северной – Большой Таскыл и Церковная, а в середине – Амзас-Таскыл, Большой Каным, Сотне-Таскыл, Челбак-Таскыл и целый кряж Тегри-Тыжи, что значит Небесные Зубья. От главного хребта по всем румбам отходят дочерние и сыновние кряжи и гряды. К северу от Большого Таскыла горные кряжи понижаются, выделяется только Кийская гряда, ровная, высокая. За горами уже можно различить светлую полосу северной лесостепи с полями, а за нею, у самого горизонта, темную линию равнинной тайги – сибирского лесного океана.

На северо-западе видно продолжение главного хребта Алатау. Выше Большого Таскыла вершин на главном хребте уже нет, кряж понижается. Наиболее заметны среди множества гор и отрогов Малый Таскыл, Соболиная, Северная, а дальше горы приобретают характер холмов, и только кое-где по берегам рек вдруг поднимаются темные скалы, как бы напоминая, что здесь еще горная местность. И повыше Соболиной виден массив Алатагской горы, где облака обнимаются с горной тайгой, как на таскылах.

Широкая картина открывается в западном и юго-западном направлениях. Через невысокие горные гряды и отроги с главного хребта видна Кузнецкая котловина, линия больших городов Кузбасса от Кемерово до Новокузнецка, вернее, марево городов с дымами заводских труб. Совершенно отчетливо поднимается на горизонте стена Салаирского кряжа, видны кряжи Горной Шории и поблескивающая снежником вершина горы Мустаг, гору эту называют и Пустаг, что в русском переводе значит Ледяная гора.

Кузбасс как на ладони! Проводник рассказывает, что в особенно ясные дни в бинокль можно заметить поезда на Кузбасской магистрали. Какое удачное название – котловина! Впадина между двумя горными стенами. Единственное, пожалуй, на Земле место, где на столь небольшой площади находится такое могучее скопление даров природы.

К югу от Большого Таскыла выделяется Зеленая гора, Дедова гора, массив Тыдына, покрытые на северной стороне снежниками, очевидно, перелетками. Еще дальше видна целая цепочка высоких, почти равных между собою вершин, расположенных в широтном направлении. Это кряж Двенадцать Вершин, находящийся на левом берегу Верхней Терси. И на каждой вершине с северной стороны снежное пятно.

На юго-востоке – линия главного хребта. Одна за другой горные вершины, как гигантские корабли в кильватерной колонне. За двуглавым Большим Таскылом идет двуглавая же Церковная гора, за ней большой массив Чемодана с резким обрывом на севере, Медвежий голец, Азаргал-Таскыл. Выше всех соседних гор поднимается в дымке облаков Большой Каным-Таскыл, еще дальше такой же высокий Пух-та-

скыл, потом гольцы, темноголовые с ярко сияющими воротниками и накидками вечных снежников. И там, вдали, в широтном направлении целая линия увенчанных снегами гор. Это Небесные Зубья – самый высокий горный кряж в Кузнецком Алатау, с глубокими ущельями и светло-синими, как небо, горными озерами. Выше всех в этом кряже Верхний Зуб, который кеты называли Амзас-Таскыл – Мать рек, потому что отсюда берут начало Белый Июс, Бельсу, Караташ, Казыр и несколько более мелких рек. Высота Амзас-Таскыла – 2178 метров. Небесные Зубья (Тегри-Тъжи) закрывают горизонт и вид на южную часть Алатау (она же Абаканский кряж) и на Минусинскую котловину.

Здесь, на главном хребте, каждая гора дает начало реке или речушке, а гольцы-таскылы, на которых есть снежники и горные озера, – нескольким рекам и речкам, нередко в оба бассейна, питающиеся водами Кузнецкого Алатау: Чулыма и Томи.

На востоке меньше отрогов, чем к западу от главного хребта, но подземные силы когда-то «поработали» и в этой части Сибири, проявили себя. Вот длинный Солтонский кряж, обнимающий лесостепные районы Красноярского края. Где-то в конце его земная кора вздыбилась, образовав короткий, но высокий хребет Арга, опоясанный светлым поясом Чулыма. Этот изгиб реки зовут чулымской петлей, но он больше походит на красивый широкий пояс.

Большой кряж разделяет Кию и Урюп; есть кряж, разделяющий Урюп и Чулым; в северную Хакасию уходит Батеневский кряж; есть еще восточные кряжи и гряды. Но на востоке Кузнецкий Алатау обрывается более круто.

В Кузнецком Алатау нет огромных вершин, подобных вершинам Кавказа, Алтая, Памира, и, может быть, это еще больше усиливает впечатление системы – здесь вольный горизонт.

Когда я в первый раз увидел Алатау, стоя на макушке гольца, впечатление было непередаваемым. С чем сравнить громады гор, перемежающиеся с долинами, межгорьями, гор темных и блестящих, покрытых пологом темно-синей тайги, на фоне которой снежники и высокогорные ландшафты, скалы и осыпи создают разнообразие красок, слож-

ность световых и цветовых сочетаний? С морем сравнить нельзя, море однообразнее. Таинственны и увлекательны у моря глубины, а неведомые недра гор – разве они менее таинственны?! А разве мало неведомого в глухой горной тайге? И разве бывают в море волны в сотни метров высоты? А здесь длинные гряды с блестками снежников, словно опущенные пеной, как валы-гиганты, поднимаются к небу. А есть места, где такие гряды вздымаются одна над другой.

Величественное, неподражаемое, остановившееся море еще от той поры, когда земная кора переживала великие изменения...

Некоторые гольцы, если смотреть на них с севера, напоминают гигантских орлов: высоко поднятые головы и распростертые крылья с белыми подкрыльями. Край орлиный! Белые подкрылья – фирновые снежники – всегда волновали людей, и сибиряки дали красивое название горам со снежниками – белогорья.

На юге Кузнецкий Алатау как бы сливается с Алтаем, но это две различные горные системы. Алтай более могуч, величав. Но зато природа Кузнецкого Алатау, на мой взгляд, разнообразнее. В Алатау меньше безжизненных горных вершин. Камень красив, когда он не один, а в рамке лесов и трав. Гольцы Алатау только подчеркивают зеленое богатство, они лишь небольшие островки над морем тайги, да и туда пробралась растительность горных тундр и альпийских лугов. Гольцы стоят в обрамлении мхов, трав, кустарников и низкорослых деревьев.

Нет, не случайно красотами Алатау любовались не только писатели и художники, но и люди более прозаические – ученые.

Жаркий июльский день. Горы застыли в своем величии, а над ними неподвижно стоят громады кучевых облаков с плоскими основаниями и кудрявыми, белее снега, вершинами. Словно такие же горы отразились в необъятной голубизне. Над некоторыми гольцами-таскылами облака так низко, как будто играючи на одну пирамиду поставили другую, на темную – светлую, для красоты.

Затишье такое, что у низкорослых пихт и кедров, подобравшихся близко к основанию гольца-купола, не шелохнет веточка, и деревья каждой своей хвоинкой пьют благодатное солнечное тепло.

Жаль, ничего не увидишь в межгорьях, заполненных темнохвойной тайгой, смотри хоть в самый сильный бинокль. А наверняка в это время где-то движутся группы геологов, изыскателей, а то и просто туристов, любителей родной природы. Сколько еще неизведанного, сколько и для дела, и для души! Да что говорить: многие кряжи, вершины, урочища не имеют до сего дня даже названия. И далеко еще не выяснено, что скрывают от нас горы.

Нелегки, конечно, горные тропы. Но даль манит.

(«Облака над горным перевалом», 1968)

## ЖУРАВЛИ ЛЕТЯТ

В конце апреля – начале мая над нашей страной летят косяки журавлей, и трубные, чуть переливчатые их клики «курлы-курлы» люди принимают как гимн весне. Издревле народ радостно приветствовал прилет этих птиц.

Однажды весной в окрестностях Кемерово мы увидели около колка стайку пролетных журавлей. Они сели отдохнуть или подкормиться. Ребята видели этих птиц вблизи впервые, и мы долго не уходили, разглядывая их.

Журавли были от нас не так далеко, их удобно было наблюдать в бинокль. Какие это красивые, величавые птицы!

Журавли, в том числе и из Западной Сибири, осенью улетают далеко в Африку, в верховья Нила. Там на обширных болотах они находят себе пристанище и корм.

Приходит март. Местные африканские журавли начинают делать себе гнезда, а точно такие же птицы, но прилетавшие сюда на зимовку, теперь собираются в стаи и начинают отлетать на далекую родину. Им предстоит огромный путь. По прямой больше десяти тысяч километров!

Ураганы, голод, охотники, многие другие опасности и лишения подстерегают пернатых путешественников на этом пути через знойные пустыни и высокие горы, через густонаселенные области.

Что же ими движет, что заставляет тратить столько энергии и даже погибать? Нет, не только инстинкт размножения, не только поиски пищи, но, пожалуй, главным образом чувство родины. И не случайно ведь прилетают они точно в те места, где родились, где выросли.

Чехов писал Плещееву в марте 1888-го: «...холодно чертовски, а ведь бедные птицы уже летят в Россию! Их гонят тоска по родине и любовь к отечеству; если бы поэты знали, сколько миллионов птиц делаются жертвою тоски и любви к родным местам, сколько их мерзнет на пути, сколько мук они претерпевают в марте и начале апреля, прибыв на родину, – то давно бы воспели их...»

Немало журавлей весною возвращается и к нам. В Кузбассе есть несколько мест, где держатся, гнездуют стаи этих птиц: Шестаковское болото на Кии, болото Красуля на Яе, озеро-болото Ата-Анай в Промышленновском районе, Новоивановское болото на Песчанке, Банновские болота и окрестности Косого порога на Томи.

По многим рекам и речкам, где имеются заболоченные и заросшие участки поймы, гнездуют журавли небольшими группами или даже отдельными парами (по Антибесу, Чумышу, Берикую, Дудету, Кондоме, Мрассу и другим рекам).

Как-то я был в горах. К удивлению моему, охотники-следопыты сообщили, что гнездовья серого журавля встречаются даже в горной тундре и вообще на горных болотах, в частности в районе Небесных Зубьев.

У нас в Кузбассе преобладает серый журавль, редко встречается красавка (ее видели в скоплениях на осенних отлетах) и уж совсем редко – черный. Черный журавль попадался, например, по долине Кии, и, пожалуй, единственное в крае чучело его хранится в музее мариинского Дома пионеров. К месту сказать, пойма Кии особенно богата пернатой фауной.

Разнообразное значение имеет эта птица в природе. Уже одно ее существование обогащает и украшает природу; речные долины и болота без журавля бедными кажутся, пустыми. Любовь народа к нему стала традиционной и выражается в ласковых названиях – журка, журавка.

Ценит народ эту птицу и за то, что она очищает болота от разной нечисти. Где прижился журавушка, там скоро не станет змей, под покровительством спокойного великана начнут гнездовать мелкие птицы, особенно те, что устраивают гнезда на земле, на невысоких кустарниках.

Любят селиться около него утки, чирки, кулики. И тоже понятно: пернатый хищник-разоритель ведь не посмеет напасть на журавля, который ударом клюва и крыла может нанести серьезное ранение даже человеку.

А вообще-то журавль добродушен и доверчив. Не трогай его, так поселится совсем близко к человеку, впрочем, как и многие другие птицы. Дикая природа вообще доверчива к человеку, если человек не разоряет, не бьет, имеет милосердие к «меньшим братьям» в природе.

Прямо можно сказать, что солнечные, теплые и светлые дни весны были бы для человека менее радостными, если бы в синем небе не летели к нам косяки, стаи, караваны больших и маленьких птиц с их разнообразными звонкими голосами. А журавлиные «курлы-курлы» заставляют усиленно биться человеческое сердце.

Курлычут они главным образом в воздухе, во время полета, особенно весной и осенью. Очевидно, курлыканье – это звучная песня смелых путешественников, которая бодрит уставших, ослабевших. Это в своем роде марш.

Если можно так выразиться, «в быту», между собою, на болоте в говоре птиц звучат уже несколько иные интонации, пожалуй, даже более сложные. На Шестаковском болоте в «мокрые лета», когда болото становится труднопроходимым, держится много журавлей. Как-то с местным жителем мы проходили по окрайке этого болота. Слышались громкие голоса журавлей.

«Разговор» был такой. Старый говорит будто так: «Кирилло-крилло-кубырло-топоррр-нашел», а молодой ему отвечает попроще: «Паррнишко-топоррр-нашел».

Прислушайтесь-ка!

(«Свидание с природой», 1980)

Галина Карпова

## ВОСТОРЖЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ-НАТУРАЛИСТ ИЛЬЯ ЗЫКОВ

Личность Ильи Васильевича Зыкова многогранна. Ученый-географ, музейный работник, педагог, путешественник, писатель-натуралист, биолог, краевед. Он был тонким знатоком сибирской природы, посвятившим ее исследованию всю свою жизнь. Во многих рассказах и повестях, очерках, зарисовках, эссе писатель воспел природу Кузбасса. Чего стоит его эссе «Вот он, Кузнецкий Алатау!». Это гимн красотам земли Кузнецкой. А лирический рассказ-миниатюра «Свет на болоте» – это восторженный рассказ о жизни нашей сибирской клюквы. «Многие зарисовки И. Зыкова можно назвать стихотворениями в прозе – настолько они поэтичны» – так писал Михаил Небогатов о книге Ильи Зыкова «Соболиный след» в газете «Кузбасс» 29 октября 1965 года.

Совершив в конце 1940-х годов с двумя местными проводниками восхождение на лошадях на гору Большой Таскыл (находится в Тисульском районе Кузбасса), Зыков написал очерк, который был опубликован в 1949 году во втором номере альманаха «Сталинский Кузбасс». Очерк писатель завершил коротким описанием спуска с горы и любованием ее величавой красотой: «Спуск с вершины Большого Таскыла оказался более легким и быстрым, чем восхождение. Этот путь наиболее короткий и сразу выводит на тропу и ущелье Громатухи. Ущелье в этом месте почти до краев наполнено снегом, вернее, льдом-снежником. Он легко выдерживает людей и лошадей. Ущелье падает круто, дорога скользкая. Лошади очень осторожно выбирали место для каждого шага. Под нами, на дне ущелья, шумел поток. После остановки у озера мы сошли со снега на едва приметную тропу. В последний раз я посмотрел на Большой Таскыл. Грандиозный северный купол горы, темный от обнаженного камня, возвышается на фоне ясного неба».

По материалам поездок и походов по Кузнецкому Алатау, Салаирскому кряжу и другим местам Кузбасса Зыков, кажется, описал всех животных, птиц, все растения, горы, озера и реки в своих «Очерках природы Кузбасса» (1956) и в трех изданиях «Календаря природы Кемеровской области». Неоспоримо, что эти книги пробуждают любовь к родной природе и имеют познавательное значение. По словам члена Всесоюзного географического общества Анатолия Григорьевича Дубровского, они стали «настолярными книгами для преподавателей географии и биологии, краеведов и охотников».

В 1949 году Илья Васильевич встретился с юннатами из летнего пионерского лагеря «Арчекас» под Мариинском и описал эту встречу. В 1950–1960-х годах И. В. Зыков много общался со школьниками, совершал походы с ребятами, где они собирали листья для гербария. Один из таких походов описан в зарисовке «Большие листья» из цикла «Рассказы о сибирской природе» («Огни Кузбасса». 1959. № 12). Ребята выясняли, почему у молодых двух-трехлетних тополей такие большие листья, измеряли молодую поросль и узнали, что за одно лето тополя вырастают на полтора метра. «Ребята со свойственным им остроумием сравнили молодой большелистый тополек с большеротым птенцом и искренне посмеялись над этим сравнением. Когда мы уходили, самый младший из компании, Степа Садков, снял фуражку и помахал тополям: «Растите, малыши!»

В Кемерове писатель жил на улице Волгоградской в пятиэтажном доме. В середине 1960-х годов это была окраина города, дальше начинался лес. Вместе с Витькой-третьеклассником и двумя молодыми соседями-рабочими установили на четырех балконах скворечники и стали наблюдать за жизнью скворчиных семей. Так родилась весенняя новелла «Дневник скворчиной семьи» («Огни Кузбасса». 1969. № 4).

Не только о животных и птицах писал Илья Зыков. Есть у него рассказ «Певучая скрипка» («Огни Кузбасса». 1969. № 1) – о встрече с удивительным человеком, бригадиром совхозной плотницкой бригады Константином Ильичом, который в таежном селе сумел сделать скрипку и сыграть на ней в сельском клубе. А увлек его и немного об-

учил игре приехавший из большого города в село учитель. Лесорубы помогли увлеченному музыкой плотнику найти в лесу «певучее» дерево, из которого после многочисленных попыток была изготовлена «певучая скрипка».

В рассказе «Проездом на Сахалин» Илья Зыков воссоздал образ А. П. Чехова, побывавшего в Мариинске («Огни Кузбасса». 1956. № 9). Упоминание о Чехове есть в новелле «Зимняя роща» («Земля Кузнецкая», 1975) и в рассказе «Журавли, журавли летят!» («Огни Кузбасса». 1979. № 2).

Большинство рассказов и зарисовок Ильи Зыкова посвящено животным и птицам Кузбасса: «Здравствуй, сохатый!» (лоси), «Антибесские новоселы» (бобры), «Фламинго летят» («Сибирские огни». 1968. № 2) и др. Перечисляя в рассказе «Пасечник» (1970) многообразное кузбасское «птичье царство» (дрозды, снегири, свиристели, чечетки, дубоносы, пуночки, синицы, дятлы, сойки, тетерева, куропатки), автор делает вывод: «Не напрасно сказал пасечник: “Птицы и летом и зимой веселят душу, радуют сердце. Я так думаю: кто любит птиц, тот дольше и живет на белом свете”».

Илья Зыков стал ходячей энциклопедией, большим знатоком природы Кузбасса и как географ-ученый, биолог, и как неутомимый путешественник. Но как писатель-натуралист он хорошо видел и губительные следы деятельности человека. Автор-повествователь в художественной прозе Зыкова – личность этически и эстетически развитая, философски осмысляющая проблему взаимоотношения природы и человека, негативно воспринимающая «бесприродных» людей-потребителей, их духовный недокорм.

В одной из лучших своих повестей «Огневка из Голубой долины», вошедшей в книгу «С ружьем и котомкой по тайге» (1957), писатель знакомит нас с жизнью лисиц. Встречи Кондрата, профессионального охотника, с лисой Огневкой, ее матерью, затем и с молодыми лисятами, наблюдения за жизнью Огневки постепенно рождают новое видение – видение эстетическое, видение красоты животных и природы. Кондрат изменяется на протяжении повести, совершенствуется его личность в восприятии и познании природного мира. Как-то иначе

он начинает понимать процессы сосуществования природы и цивилизации. Убивший за сезон 15 лисиц, охотник-промысловик начинает впервые сострадать животным, когда находит остатки лапы Огневки в капкане. А когда наблюдает, как Огневка обучает лисят охоте на суслика, то восхищается заботливой и умной матерью. Узнав от агронома, что от лис есть большая польза (уничтожая сусликов, лисы помогают сберечь урожай зерновых), старый охотник впервые задумывается о вреде охоты на животных.

В рассказе-миниатюре «Журавли летят» писатель, размышляя о жизни журавлей, о долгих и героических перелетах, приходит к выводу о патриотизме птиц, их неизменной любви к родному месту на Земле. Писатель размышляет о добродушии и доверчивости журавлей и приходит к выводу, что без этих птиц жизнь человеческая не была бы такой радостной, особенно весной.

Автор-повествователь в прозе Зыкова высший смысл жизни видит в умении людей разглядеть красоту природного мира, в жизни осуществить пришвинскую идею сотворчества человека и природы. Ландшафтные образы, образы животных и птиц позволяют писателю знакомить читателя с миром дикой природы, показывать ее значительность и равноценность при сопоставлении с человеческой жизнью. Как и проза Михаила Пришвина, Виталия Бианки, Николая Сладкова, творческое наследие кузбасского писателя-натуралиста Ильи Зыкова особенно актуально в двадцать первом веке, в эпоху технократической цивилизации, эпоху растений из пластика и природы по телевизору. Николай Сладков так сформулировал творческую задачу писателей-натуралистов: «Хочется нам, чтобы поняли все, что лес – это не только дрова, луг – это не только сено, а птицы и звери – не только мясо и перо. Говорим, что в природе начало всех начал, истоки мудрости и познания. Сожалеем, что ребята наши часто больше знают про джунгли, чем про тайгу, про прерию, чем про степь. Знают они о львах, о зебрах, слонах и бегемотах – и это очень хорошо. Но плохо знают наших маралов, росомых, глухарей и дикуш – и это очень плохо!» Книги Ильи Зыкова знакомят нас с богатейшим животным миром сибирской тайги.

«Прислушайтесь-ка к природе, учитесь у нее, любуйтесь ею» – эти призывы читатель невольно слышит в замечательной, душевно-проникновенной прозе Ильи Васильевича Зыкова. Попробуем и мы увидеть и услышать, хотя бы суслика, который «стоит, как серенький столбик, и беззаботно насвистывает».

Елена Зыкова, Галина Карпова

## БИОГРАФИЯ ИЛЬИ ЗЫКОВА

Илья Васильевич Зыков родился 28 июля 1899 года в селе Кутузово (Зыково) Яранского уезда Вятской губернии (ныне деревня Кутузы Пижанского района Кировской области), в крестьянской семье. Родители – Василий Михайлович Зыков (1874 г. р.) и Анисья Никифоровна Зыкова (1874 г. р., в девичестве Царедворцева) были русскими, православного вероисповедания. В семье было шестеро детей. Илья был старшим ребенком в семье. Младшая дочь Глафира Васильевна Зыкова прожила более ста лет.

Свой день рождения И. В. Зыков отмечал в Ильин день. День памяти ветхозаветного святого пророка Илии, почитаемого на Руси с IX века, отмечался по старому стилю 20 июля и 2 августа по новому стилю. В селе Кутузово (Зыково) Яранского уезда была деревянная Троицкая церковь 1884 года постройки, в которой был крещен будущий писатель. Стоявшая на возвышенности церковь была небольшой, но красивой, уютной, с богатым оформлением. Самая большая служба проходила в Троицу, в престольный праздник в приходе (отсюда еще одно название села – Ново-Троицкое). В 1889 году здесь было открыто земское начальное училище, позднее преобразованное в начальную школу. В приходской школе, где преподавали священники, детей обучали четыре года. Кроме чтения, письма, литературы, истории и арифметики был предмет под названием «родная деревня», на котором изучали историю родного села. Жители прихода в основном занимались хлебопашеством.

Илья Зыков окончил Петроградское артиллерийское училище. Существует легенда, якобы он в годы Гражданской войны служил в белой армии адмирала Колчака, при правительстве Колчака в министерстве финансов или культуры. Но сам И. В. Зыков этого не подтверждал и не отрицал.

В 1925 году находился под арестом. Жил в г. Яранске Кировской области. Работал заведующим школой взрослых 2-й ступени г. Яранска. В 1928 году вновь был арестован и приговорен Особым совещанием при Коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР к трем годам ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь). В ноябре 1929 года был досрочно освобожден.

В 1930-х годах работал в Котельническом краеведческом музее. В молодости, занимаясь научной и преподавательской работой, И. В. Зыков написал ряд исследовательских работ по изучению климата Европейского Севера нашей страны и продвижению отраслей земледелия на север.

В 1938 году жил в Горьком. Работал преподавателем Комвуза. Третий раз был арестован 10 марта 1938 года. Приговорен Особым совещанием по ст. 17-58-8, 58-10, ч. 1 к пяти годам ИТЛ. Отбывал наказание в Сиблаге, был освобожден условно-досрочно в октябре 1942 года.

С 1945 по 1964 год жил в Мариинске Кемеровской области. Со своей женой Илья Васильевич Зыков познакомился в Сиблаге. Ия Борисовна Куликова (по профессии юрист, адвокат) была также репрессирована по политической статье, сослана в Мариинск. В 1945 году Илья и Ия поженились, жили по ул. Коммунистической, д. 73 (адрес взят из письма И. В. Зыкова А. Н. Волошину от 29.09.1959). В 1950 году в семье Ильи и Ии Зыковых родилась дочь Наталья Ильинична Зыкова (24.05.1950 – 20.12.1998). Отцу был 51 год, а маме 45 лет. У Натальи родилась дочь Елена, внучка Ильи Зыкова.

С середины 1940-х годов много статей и заметок И. В. Зыкова публиковала областная газета «Кузбасс». В 1950–1960-х годах он тесно сотрудничал с редакцией районной газеты Мариинска, где печатал свои путевые заметки, очерки о природе, об экологии города и района. Являлся членом и руководителем литературной группы при редакции

газеты «Заря» (впоследствии – «Вперед»). С 1949 года материалы и рассказы Зыкова постоянно публиковал альманах «Огни Кузбасса» (до 1955 года «Сталинский Кузбасс»), особенно часто в рубрике «Человек и природа». В 1979 году кузбасский альманах был награжден памятной медалью Всероссийского общества охраны природы, благодаря и публикациям Ильи Зыкова.

Илья Васильевич Зыков являлся действительным членом Всесоюзного географического общества, занимался изучением природы Сибири и Кузбасса. В 1964 году переехал в Кемерово, входил в Совет по охране природы. Выступил (в полном одиночестве) против проекта перекрытия реки Томи. Из воспоминаний А. Дубровского о встрече с И. В. Зыковым в 1979 году в кемеровской квартире писателя: «Туризм, ежегодный, ставший привычкой, закалил тело натуралиста, и в свои 70 лет он выглядит бодро и даже несколько могуче. Борода, темная, густая, роднит его с жителями лесных глухоманей, что-то в ней от отшельничества. Но от отшельничества не остается и следа, когда первое впечатление сменяется последующими. Удивительно гостеприимство этого интересного и очень занятого человека. Проводив меня в свой кабинет, где царствуют книги и журналы, карточки и рукописи, хозяин сразу же, как давно знакомому, начинает рассказывать мне о том, чем он сейчас занимается. Достается с полка одна книга, другая, журналы – академические, научно-популярные, тома энциклопедии – и везде статьи с авторством Зыкова. Широкий диапазон научных интересов автора, но главное в них – биология. И понятным становится, когда Зыков заявляет, что он не просто краевед, а краевед-натуралист, биолог. Научная деятельность натуралиста Зыкова имеет сезонные особенности: лето – пора путешествий, походов, экспедиций; зима – работа по обобщению, описанию собранных фактов. Но всегда Зыков в центре человеческих интересов, всегда он связан с сотнями людей» (из собрания Николая Николаевича Терентьева, журналиста, краеведа из Мариинска).

Рассказы, очерки, статьи Ильи Зыкова печатались во многих журналах и сборниках: «Огни Кузбасса», «Сибирские огни», «Известия Всесоюзного географического общества», «Ботанический журнал»,

«Природа», «Землеведение», «Турист», «Вопросы географии», «Снежный покров», «Родная природа».

Автор десятка книг: «Природные условия Котельничского района» (1930), «Очерки природы Кузбасса» (1956), «С ружьем и котомкой по тайге» (1957), «Календарь природы Кемеровской области» (1960, 1963, 1972), «Соболиный след» (1965), «Облака над горным перевалом» (1968) и др. Умер И. В. Зыков 6 декабря 1985 года в Кемерове. В Кемерове живет его внучка Елена Михайловна Зыкова. Неизвестным художником написан живописный портрет писателя, который хранится в Литературно-мемориальном доме-музее В. А. Чивилихина в Мариинске. На обороте портрета сделана дарственная надпись: «Милому моему сердцу писателю Илье Васильевичу с пожеланиями здоровья и творческих успехов. Григорий [фамилия неразборчиво]. 26.02.1978».

*Книги Ильи Васильевича Зыкова:*

*Природные условия Котельничского района : (Популярный очерк). – Котельнич : Котельничский краеведческий музей Нижегородского края, 1930. – 18 с.*

*Религиозные течения среди марийцев. – Нижний Новгород : Огиз – Нижегородское краевое изд-во, 1932. – 50 с.*

*Очерки природы Кузбасса. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1956. – 143 с. : ил.*

*С ружьем и котомкой по тайге. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1957. – 183 с. : ил.*

*Календарь природы Кемеровской области. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1960. – 129 с. : ил.*

*Календарь природы Кемеровской области. – 2-е изд., испр. и доп. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1963. – 218 с. : ил.*

*Соболиный след : рассказы и этюды. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1965. – 155 с. : ил.*

*Облака над горным перевалом. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1968. – 138 с. : ил.*

*Календарь природы Кемеровской области. – 3-е изд., испр. и доп. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1972. – 291 с. : ил.*

## Владимир Михайлович Мазаев

*12 мая 1931 г., с. Васильчуки, Алтайский край –  
23 февраля 2015 г., Кемерово.*

*Прозаик, журналист. Член Союза писателей СССР с 1966 года.*

## ГАРМОШКА НА ТОМ БЕРЕГУ

Наша деревня была старинной, жили в ней коренные сибиряки, чалдоны. На другом берегу Кондомы – переселенцы из центральных губерний. Прежде так и говорили: «в расейцах» гостем был, или: «в сибиряки» плавал.

...От крутого «расейского» берега звуки далеко катились мячиком по воде. Однажды вечером ко всем прочим звукам «из расей», к которым «сибиряки» привыкли и не замечали их, – стуку вальков, стрекоту веялок возле амбаров, влзаиванию собак – примешался новый: робкие переборы гармоники. Кто-то на том берегу учился играть. Новичок пилил, пока не стемнело, а потом смолк, уморился.

На следующий вечер все повторилось. Гармошка басила, словно забавляла, и девчата наши поголосистой стали кричать через реку веселые вещи. Но «расейский» был упрям и необидчив и вскоре довольно сносно сыграл какую-то простенькую песенку.

Так и повелось. Наступал вечер, отходили заботы многотрудного сельского дня, и над притихшей рекой раздавались аккорды знакомой гармоники.

Играл гармонист все без разбора, нажимая больше на русские народные песни, на революционные, часто играл входившие в моду «Спят курганы темные» и «Катюшу». Но потом стали замечать склонность гармониста к лирике.

С особенным чувством и загадочной настойчивостью играл он одну мелодию. «Коль жить да любить – все печали растают, как тают весною снега, – пела гармошка, и голос ее при этом был трогательно наивен, словно игравший сам только что разгадал ту истину и спешит поведать ее миру. – Звени, золотая, шуми, золотая, моя золотая тайга».

Никто на нашем берегу уже не смеялся над незадачливым гармонистом. Слушая его, мы вдруг с изумлением и непонятной радостью, будто бог знает какое открытие, поняли, что гармонист – влюбился! Потом гармошка поведала всем, что у парня вышла размолвка, уж слишком явно, недвусмысленно принимались слова старой песни: «За

окном осенняя распутица, как безлюдно рано поутру. Только листик запоздалый кружится, только птицы зябнут на ветру».

Даже пожилые, сидя вечером на бревнышках, грустнели. «Гармонист-то наш – слышите? – опять в тоску попался», – говорили они.

Думал ли «расейский», что его слушает наш берег, не знаю... Может быть, ему это было безразлично. Но мы к нему уже не были безразличны. Его талант и открытая душа, которая с такой простотой и доверчивостью выливалась в песенных импровизациях, подкупали.

Парень помирился со своей любимой. А потом у него состоялась свадьба: гармошка стала спокойней, радость ее сдержанней, а грустных мелодий не слышали вовсе. Да и играл гармонист вечерами понемногу. Что ж, все понимали – когда в доме молодая жена, допоздна не погуляешь...

Спустя год у гармониста родился сын, это случилось в апреле, когда только что прошел лед, и Кондома еще дышала холодом. Гармошка звучала чуть не до рассвета, охрипла; на нашем берегу смеялись: простудил на радостях-то сердешную!

Однако недолгой была радость заречного гармониста: через два месяца грянула Отечественная война.

В черед замелькавших трагических дней, в проводах мобилизованных мужчин, в слезах женщин, в скупых, холодивших сердца сообщениях Информбюро пролетело лето.

Уже под осень, как-то в сумерках, когда обычно возвращались с полей, по нашим сердцам, особенно сердцам женщин и девочек, больно ударил с того берега знакомый голос гармошки. Все вроде бы забыли о ней, а может быть, она это время не играла. Но сейчас, когда вдруг услышали, так обрадовались ей, что многие заплакали.

Гармошка слышалась над рекой еще несколько вечеров, а потом затихла.

Очень надолго затихла гармошка. Прошел военный год, миновал второй. Деревня наша жила иступленной работой на полях и ожиданием вестей с фронта. Иногда вспоминали гармониста с того берега, гадали о его судьбе, жив ли он еще. Похоронки тогда приходили едва ли реже писем...

Он сам напомнил о себе мелодией, внезапно хлынувшей с «расейского» берега.

Теперь мне почему-то кажется: гармонист знал, что его слушают не только односельчане. Играл он и для нас, для нашего притихшего, пустынного берега.

Был разгар войны; гармонист, вероятно, вернулся домой по ранению. Мы радовались, что он жив, и были благодарны ему за щедрость его души. Истосковавшиеся по инструменту руки играли на этот раз с особенной, какой-то трагической проникновенностью.

Недели через две гармошка снова замолчала. И молчала теперь уже до самого конца войны...

Началась демобилизация. Снова у женщин стали застилаться слезами глаза – у одних от радости встреч с любимыми, сыновьями, у других – от уходящей теперь уж навсегда надежды, что проклятая похоронка, может быть, соврала.

Ожила потихоньку деревня. Девчата снова стали выходить на берег, вспоминали о заречном гармонисте, что-то долго он не возвращается.

Прошла вскоре и вторая демобилизация, за ней – третья, вернулись все, кому суждено было вернуться. А гармошка на том берегу молчала... Мало кто из наших знаком был с гармонистом, но невозвращение его все переживали так, будто потеряли близкого...

Жизнь входила в мирную колею. Девчата, помнившие гармониста, повыходили замуж, их захлестнули семейные заботы. Подросли дети; горе вдов закаменело временем. Кондома вечерами была тиха и пустынна...

И вдруг – случилось это тоже вечером, в мае, когда северные ветры обивают черемуху и гулко шумят в голых и залитых половодьем топольниках, – наша деревня замерла: с того берега просочились и полились тоненькие, неуверенные, сбивчивые звуки гармоники. Инструмент был тот же самый, но взявший его в руки был – ну совсем новичок. Пальцы соскакивали с клавиш, звуки всхлипывали и трепетали.

Женщины оставляли самую неотложную работу, выходили на крыльечко, стояли со скорбными лицами. У вдов начинали дрожать спр-

танные под фартук руки. Дети затихали, чувствуя по лицам матерей: происходит что-то значительное.

Играл сын гармониста. Правда, еще играл робко и нечто неопределенное. Однако уже чувствовалось по всему – упрямством он пошел в отца. И хотелось думать, что будут еще дни, когда гармошка зазвучит снова уверенно и ладно над примолкшими берегами, с подкупающей откровенностью ведая миру о щедрой душе своего нового хозяина...

1968

## ДОРОГУ ДЕЛАЕТ НЕ ПЕРВЫЙ

Вам случалось, должно быть, ходить по крепко натопанной лесной или таежной тропе? Занимала ли вас мысль, как умно проложена тропа? Какое безошибочное у нее чутье на характер местности. Впереди ничего еще не видно, кроме перепутанного частокола деревьев, кустарников, а тропа уже свернула в сторону – и вот вы обходите болотце. И к горному склону, чтоб его преодолеть, подходит в самом пологом месте. И к ручью, чтоб его перебрести, сворачивает в самом мелком.

Какой же прозорливостью, думаете вы, чутьем каким должен обладать человек, первым прокладывающий тропу!

Вспоминаю одно давнишнее лето.

Наш геофизический отряд пробивался вверх по реке Бельсу. Для съемки района горы Топхан, в Кузнецком Алатау. Мы двигались пешим ходом, ведя в поводу завьюченных лошадей. Шли по совершенно нехоженным местам, ориентируясь лишь по карте и компасу. Короче говоря, мы первыми прокладывали нашу тропу к Топхану.

Но бог мой, какая то была мучительная, изнуряющая работа. Мы то и дело упирались в гнилье завалов, вязли в болотной трясине (а в этой горной стране болота не редкость и на склонах), бесконечно рубили с пихт нижние голые и крепкие, как кость, сучья, чтобы прошла лошадь с вьюком. Спускались по головокружительно крутым склонам, «подтормаживая» лошадей за хвосты. Иногда, вскарабкавшись на

возвышенность или вброд перейдя ручей, мы отмечали, оглянувшись: прошли далеко не лучшим путем. Но что делать! Да, думалось мне, среди нас прозорливых и ясновидящих нет.

Недавно случилось мне побывать в тех же местах, пройти по тому же маршруту. Тропа была уже крепко, широко натоптана. Все наши неоправданные зигзаги были предельно спрямлены, трясины заранее обойдены (или покрыты гатью). Колодина, которую мы просто обогнули, была теперь перепилена и отброшена (у нас на это уже сил не хватило). И поворот к ручью сделан чуть раньше, чем сделали когда-то мы...

Каждый новый путник вносил в черновик нашей тропы свои поправки. И как же умно, рационально бежала теперь она через горную тайгу, сохраняя человеку время и экономя силы...

1966, 1971

## БАБЬЕ ЛЕТО БОЛЬШОГО КАНЫМА

### 1

Когда грохочущая машина, попрыгав, как на горячем, опускается в круге, сложенном из речного окатыша, и ты, слегка оглохший, ступаешь на землю и над тобой затихает хищный свист лопастей, – с этого самого момента начинается твое незаметное сначала, но неуклонное приобщение к Большому Каньому. В глазах твоих еще увиденные с птичьего полета горы. Горы, недвижно уплывающие назад, в хмарь горизонта. Вершины – гладкие, в венчиках бледной растительности, вздыбленные, загроможденные острым камнем, сгладить который бессильны века, и снова – округлые, вытертые, как верблюжьи горбы.

Слева в иллюминаторе промышленная дымка Кузнецкой котловины; далеко справа – двуглавая вершина Амзас-Таскыл (Верхний Зуб) – картонный, словно вклеенный в небо, хребет Тегри-Тиш; затаеженная Саргая.

А прямо на тебя наплывают отроги Большого Каньма, окруженного целой сворой разношерстных гольцов – Черный Ворон, Братья, Соловей... Уместившиеся в овале иллюминатора, высвеченные белым солнцем до последней трещинки, гольцы похожи на изящно сделанные муляжи. Они для тебя сейчас так же неощутимы, как неощутима минусовая температура за пленкой стекла или пропасть высоты под вертолетом.

В глазах твоих нереальные, игрушечные горы, а ногами ты уже стоишь на вполне реальной земле, сухой и каменистой, и вполне реальный холодок сквозит под твою почти что летнюю одежду, и ты смущенно тянешь из рюкзака шапку, и перчатки, и теплую куртку с капюшоном (спасибо друзьям – предупредили!).

## 2

Никогда, казалось, не бывало такой осени на Каньме, такого сдержанно-слепящего солнца и синего, с мучнистой дымкой неба и такой грустной тишины альпийских полей, едва уловимо пахнущих горечью полегшей в зелени травы. Как говорят в народе: пришло яснопогодье.

На восходе сентября выпал снег. Сырой, сахарной тяжестью лег на травы, расплющил их, набился в раструбы папоротников и в пустые птичьи гнезда. Но сама земля, и гниющие пни, и муравейные кучи еще хранили в себе тепло и не приняли снега. Скаты гор запестрели, стали рябенькими, словно плохо постиранная холстина.

Листва осин, не успев загореться золотом и облететь, покоробилась и зашуршала. Теперь пройдут многие дни и даже недели, а листва эта, уже ненужная деревьям, будет сухо шуршать, пахнуть тленом, пока не налетит шквальный ветер с дождем – падера – и не сорвет ее силой. И уже глухой осенью, в пуржливую пору, заскользят листки-паруса по неровному льду реки, по насту. И не одно заячье сердце замрет в тревоге, услышав эти царапающие звуки.

Но первый снег – обреченный снег. Он ушел тихо, незаметно – без ручьев и капель. Солнце уже не в силах было растопить его – оно его

просто высушило. А ближе к вершинам, в тундре, снег остался и лежал курчаво-белыми, как завитки бересты, крапинами.

Сухая осень, пришедшая после ночных приморозков и снега, осталась без ярких, первобытных красок: ни пылающих костров черемухи, ни чистой акварели осинника. Все приглохло, ушло в полутона, как уходит в скорлупу напуганная улитка.

И, словно освобождаясь от конкуренции, нежно-дымчатой прозеленью вокруг зацвели камни. Длинные осыпи на тундровых склонах гольцов имитируют огромных, греющихся на солнце ящериц...

Я вскарабкался в эту тундру, на высоту полутора тысяч метров, где так заманчиво светили снега, весело цвел валунник и где небо было густо-синее, как в окне высотного лайнера.

В разгоряченное лицо мне пахнуло ознобом декабрьского полдня. Среди стерильной белизны снежников я почувствовал себя весьма неуютно. Осыпи, потерявшие вблизи свою нежную прозелень, превратились в мрачную груду песчаника, покрытого накипным лишайником.

Природа, казалось, здесь уже умерла.

### 3

Но это было не так. На кромках снега, под слюдяными козырьками льда, как в крохотных теплицах, топорщились зеленые звездочки полярного мха, раскручивала листочки черника, розовели лепестки незнакомой мне травки.

Карликовые березы с круглыми, с копеечку, листьями росли густо, как трава, и все были наклонены в одну сторону, словно причесанные. Отличный ориентир для определения розы ветров!

Пихтач стоял тесными группами – куртинами. Я нигде не увидел отдельного деревца и подумал, что это не случайно. В борьбе со стихией высокогорья такой коллективизм сохраняет деревьям жизнь. Я подошел к одной из куртин и понял, что ошибся. Это была не группа деревьев, а одно дерево, распластавшее по земле ствол. От ствола, как от корня, росли вверх целые выводки пушистых пихточек.

Я срезал одну из веточек. Место среза мгновенно покрылось бисером капель. Растение, спровоцированное солнцем, гнало по капиллярам сок. Запахло резко, сладковато. Весь день потом ладони мои пахли хвойной зеленью.

Как жадно все хочет жить!

Где-нибудь на припеке, среди можжевельника, одуревший от обилия солнца тетерев вдруг взъерошит перо, зачужфывает, заболбочит и даже крылом чиркнет по земле, но тут же отрезвеет, оглянется на стаю и начнет сконфуженно щипать черно-сизые сморщенные ягодины.

Шумная кедровка мечется на горях, на выломах леса, проверяет свои ореховые запасы. И делает это совсем зря. Бурундук да и соболь тоже крадутся следом, беззастенчиво грабят запасливую, но бестолковую птицу.

Заяц-беляк уже вычесал в зарослях остатки своего серого пуха и теперь, как погорелец, в исподнем. Убедившись, что с перемаскировкой нынче поторопился, скачет аллюром в гольцы, поближе к спасительной белизне снегов.

Давно уже побелела, отрастила на зиму длинные когти куропатка. И теперь она тоже ютится к снегам, лишь с сумерками совершает вылазки вниз, на плантации черничника, сохранившего еще жесткие, убитые морозом плоды.

Сбились в осенние пары рябчики. И нетерпеливые петушки, пригревшись, то и дело издают молодецкий посвист, как бы вызывая соперника на бой.

Но все это в солнечный полдень.

#### 4

А ночами, особенно на ранних зорях, часу так в шестом, столбик ртути колеблется ниже нуля. Воздух в морозной стыни, в нем ни движения, ни звука живой природы. Восточный окоем неба над гольцами – холодный блеск цинка. Кажется, что и грани гор, и тайга, и столбы дымок над поселком геологов у подножия Каныма, и сам небосвод влиты в гигантскую глыбу стекла.

Белый овал солнца долго катится по остриям пихт. Тонкое, как спица, облачко вспыхивает на немислимой, космической высоте и тут же исчезает, как его не было.

С вершин Каныма опадает, точно обгорая, пепельная вуаль. И весь оглаженный ветрами тысячелетий необъятный кряж становится вдруг необъятно обзорим в своей редкостной осенней чистоте.

Ревет на кривунах и порогах Верхняя Терсь. Тут, в отрогах Каныма, ее исток. Из ночных поединков с холодом река выходит, гремя ледяшками, как древний воин доспехами. Сверкающие купола валунов опоясаны причудливой вязью хрусталя. Огромная ель упала поперек русла. Ветви обросли за ночь гирляндами сосулук, дрожат в брызгах пены, искрятся на солнце всеми цветами радуги.

В струях летящей воды метелица листьев. Донный коряжник разрядился в бахрому чужих одежд. Ложе плесов – сплошной цветастый ковер. Листья текут, матово вспыхивают в черноте дна, будто играющая рыба. Но рыбы тут уже нет, вода пуста. Таймень ушел в ямы. Скатился с верховий вместе с опавшим березовым листом хариус.

И берега пустынно тоже. Улетели на зимовку крикливые кулички. Глотнув первого ледку, снялись утки. Убралась вместе с ними и пернатая мелочь. И лишь неунывающий ручейник – темная кургузенькая птичка ростом со скворца – пританцовывает на ледяных закраинках, радуясь солнцу. Ручейник и на зиму останется здесь, где-нибудь около разводий, будет мужественно нырять в дымящуюся воду, переворачивать острым клювом донные камешки...

## 5

Перед отъездом я снова взбираюсь на гольцы. Но не к самым снежникам, а пониже, где летом горят маками альпийские поляны, звенит птичий гам, а сейчас осенняя голь, прозрачность и тишина.

Солнце продолжало греть, но под ногами уже мертво хрустело, и муравейники были пусты. И я понял: идут последние дни редкого здесь бабьего лета. Скоро, может быть уже завтра, захмурит Каным,

уйдет в облачность, в дождь косохлёт. А потом ударит падера и неделями зарядят обильные снегопады. Спасаясь от снегов, пойдут по своим вековым тропам на восток, в Хакасию, олени.

А поодаль оленьих троп положит в рыхлом снегу свой медвежий пятипалый след росомаха – самый хитрый и загадочный зверь наших лесов...

Мысль о чем-то древнем, изначальном, чему нет определенного имени, но что живет всегда и будет всегда жить – в смене ли дня и ночи, в зимней ли мудрой спячке дерева, в трубном ли, полном нерастроченной силы стоне лося сентябрьской зарею, – мысль эта захватывает тебя, волнует, и родная земля становится еще родней, потому что только она может дарить тебе вечную радость узнавания – лучшее из того, что может подарить человеку природа.

1968

## ЧЕРЕМУХОВЫЕ ХОЛОДА

Велик ли мой век, а три войны пережила.

Ну, те – мировую и Гражданскую – помню смутно, а вот эту последнюю, Отечественную, и по пережитью лет вспомню – только «ох!» скажу, больше ничего.

Поселочек наш на озере Инголь стоял; озеро Инголь не то чтобы большое по сибирским понятиям, но воды много держало, глубокое было – на середине дна не доставали. А уж ладное да красивое – это я только теперь издалека понимать стала.

Наш берег ярлом обрывался, из мела весь, а в прослойке красный. На восходе глянешь, ну будто облако легло и зажглось. А поверх – луговина, за луговиной черневая тайга. И на дальнем берегу тайга по склону, однако не везде, а гривами. А между грив, по низинам – покосы, светлые места, ухоженные.

И только Долгий мыс окидан был черемушниковым кустарником. Он, черемушник-то, и зимой, и осенью особенно черный стоит, аж угольный, грач залети – и пропал. Зато в мае он свое берет. Сперва

светленький дымок, сзелена как бы, потом пеной, пеной – будто кто взбивает.

С ветром – и запах, а когда прибой, то и цвет на берег выбрасывает. Сколькo цвету! А до мыса того, если на гребях идти, час расстоянья, не меньше.

Зато небо – всему голова. Утром выходишь, прежде всего кверху гляди. Что небо обещает – тому быть. И красит всю природу небо тоже, настроение дает. Оно пасмурное, морочное – и озеро злое, пасмурное. Оно голубое да веселое – и вода в озере бирюзовая да прозрачная. И тайга небом живет, его цветом да отблеском дышит.

В поселке с довойны еще промхоз организовался, рыбой, да диким мясом, да орехами промышляли. Железный рудник по договору обеспечивали.

Местные старожилы хорошо жили, на окнах фикусy, пить сядут – стаканы с подстаканниками. Да и нам, поселенцам, жаловаться было грех. Конечно, не в капитале жили, по нынешним временам не сравнить. Но достаток нашего дому тоже не обходил.

Павлуша в рыбацкой бригаде состоял, а я как бы в помощниках при нем. Ну – это когда дети позволяли. Их к тому сроку у нас с ним трое narosло. Старшенькой Ольке девять лет, Кате шесть, а младшенькому Мите – три годочка.

Да еще жил с нами свекор, древний уже, летом пимов не снимал. И совсем памятью оскудел. Не помнил даже, как пальцы на руках называются. Бывало, скажет: «Пальцы-то не помню какие. Это вот прихватный (значит, большой), а тот-то мизинец, что ль?» В сорок третьем, по весне, я за него чуток было ума не решилась. Ну, да лучше по порядку.

И вот взялась эта проклятая война; мужчины наши пошли. Скоро поселочек осиротел. Павлушу моего уже к осени призвали. И сразу на фронт, сразу на первую линию попал.

Провожали мы его, он ребят перецеловал, меня, говорит: «Смотри, Мария, береги ребятишек, сына береги. Все прощу, а за ребятишек – нет». И залез в грузовик, ни слова больше... Он меня любил сильно, он меня по душе брал...

Ночь или две проревела я, шутка ли в деле: один мал, другой меньше, третий еще меньше. Да еще старый в придачу, по уму ровня этим троим, за самим пригляд нужен. Уревелась вся, но сколь реветь – слезы-то не песня. Надо жить.

Пополнили бригаду стариками, подростками, меня звали, но не пошла. Артельная работа – по всему дню, а у меня дети, домашность, куда уж. Решила самостоятельно рыбачить, тут я себе хозяйка, когда время выпростается, тогда и ладно. Договор небольшой подписала, ставные сети мне, тару, все честь по чести. А лодка у нас с Павлушей своя была, добротная лодка, края широки, разливисты; захочешь, да не выпадешь. Стала я промышлять единоличным как бы способом. Выметнула сети – двенадцать стенок, недалеко, напротив Долгого мыса. Старшенькую с собой посадила, Ольку, подержать там что, подать, все подмога.

Поплыли через день, одни сетки порожние, в других есть. Натряси две корзины – сорога и окуня маленько. Воротились с легкой душой, слава богу, лиха беда начало.

И пошло-поехало. Уловы не сильно щедрые были, но ровные. Два три захода – и готов бочонок, а в нем, считай, центнер. Павлуша мой увидел бы меня в деле, порадовался: хваткий ему ученик попался!

Однако и осень та первая тихой да робкой выпала, будто заманивала, вихорь ее подыми! Уже октябрь – вот он, трава отзябла, северная утка пошла, а Инголь как маслом, скажи ты, залитой, и небушко голубое до самого окоема. Яснопогодье, словом.

Так-то с яснопогодьем и в зиму ушли.

А зимы у нас глухие, пагубные. Наши бригадные и по льду рыбачат, я уж в отставке, по дому кручусь. Выбежишь, бывало, к конторе, сводку послушаешь да что люди говорят – и назад. От Павлуши живые весточки идут, пусть и не часто. А получу письмо – подушка по всей ночи сырая. Радоваться бы надо, веселеть, но нет. Дак это ведь как в старину: хоть по любви выходишь, а на свадьбе плачь!

Ну, помаленьку обманули зиму, однако запасцы порастрясли. Да горевали мало, вера была: одолеют наши немца в сорок втором году. Сталин сам говорил.

Лед на озере рухнул – я опять за свое. Снасти починила, лодку подконопатила, в порядок привела. Здесь уж мне свекор помог, Савелий Ильич, мастер он был по лодочной части. И скажи ты, голова забывала, а руки помнили!

Вот с весной, новой-то путиной, и началась моя эпопея, довеку не забыть!

Подымаю раз сетку, она ровно с камнями, окуня зеленым-зелено, почитай, в каждой ячее по окуню. Трясла я трясла, руки отерпнули. Другую из воды, а там та же прорва. Третью, четвертую... и кругом окунь, аж рябит.

Полдня с ним прохлесталась, руки закровянила, еле дышу. Олька моя на корме сидит хныкает – и есть хочет, и продрогла. А я рыбу в сетях бросить не могу, закостенеет, тогда со слезами не выдерешь. Ну – управилась, приплыли домой, солить надо. До темноты солила, два бочонка с верхом, и еще себе оставила.

Назавтра плывем, поддеваю шестом первую тетиву, под ней живая кипень. Окунь растреклятый, опять все сети загрузил! Да что делать, надо выбирать. А уж одно к одному – ветер посвежел, волнишку вздыбил, лодка ходуном. Говорю Ольке: садись, доченька, за весло, придержи живой на ветер сколько можешь.

Села она, подгребают, а весло тяжелое, неухватистое. У нее жилочки на шее как струнки... Не помню уж, как и опорожнила я сетки, под вторую доску натрясла, это надо же!

Гребусь домой, сама думаю, куда улов определять, вся тара запростана. Прибыла, бегу в контору рысью, заявляю: звоните приемщику, тара нужна, пусть подвезет. День до вечера – ни тары, ни приемщика. Снова в контору, шуметь начинаю, улов же пропадает.

А мне в ответ разъяснение: ты, Мария, не шуми, потому как тарой в первую голову бригадная рыба снабжается. Это почему же, говорю. Или мой договор недействительный, или моя рыба не из того же озера?

А какая рыба-то? Окунь? Ну вот, говорят, ты сама трезво прикинь. При нынешней ограниченной таре, поскольку бондарей нету, мобилизованные, кому преобладание: бригадному сигу и хайрузу или твоему единоличному сору?

Баба я была задорная, рьяная, если заденут – все гужи порву. Я что, кричу, выбираю этот сор? Да с этим окунем маеты, чтоб он сдох, вроде не знаете. На свет народились? Будь мой Павлуша здесь, вы бы не так разговаривали, а вынь да положь!

Пошумела я, как колокол соборский, побунтовала, душу отвела, а потом стоп: да ведь правильно все, законно, по расчету. Бригада промылять уходит за десять верст, на ямы, там и живут. Приемная цена хайруза пять рублей кило, по-старому-то, а сига дак восемь пятьдесят. Мне на ямы не под силу, я до Долгого мыса и обратно на гребях дойду – руки после всю ночь в плечах ничо не слышат. А под мысом окунь да сорога, ну и щука иногда. Цена окуню девяносто копеек, а сороге и того чище – семьдесят. Истинный сор! Какой с того заработок, сосчитайте, если одна соль шестьдесят копеек кило.

Да ведь и то правда – знала я все и прежде, чего ж теперь задним умом бухгалтерию ворошить. Только обидно что. Ну да обиды копить – с людьми не жить.

Дальше – больше. Май был, уже зелень выбросило, и вдруг занепогодило: шторма, мокрый снег, ночью берег аж гудит. Прокрадемся с Олькой под Долгий мыс, там вроде затишок, а обратно – ну хоть ты матушку-репку пой. Повдоль берега, где помельче, бурлаками. Измокнем все, исхлещемся, я-то взрослый человек, а она что – ребенок, девчонка. Дома сядет на лавочку, Катюша да Митька, как мурашки, вокруг нее, обувку сдергивают, полушалок развязывают – сама-то уже вся.

Тут как-то накануне штормило сильно, приплываем, а сетей нету, меня так и подсекло. Стала багром шарить, подцепляю одну. Как веретеном перекрученная, в траве да тине, ничего злее не бывает. Выудила и остальные, а две так и пропали.

Сели мы с Олькой под берегом, разбираемся. Да ведь только подумать – сеть после такой холеры разобрать. Дешевле выбросить, да где новую взять?

А вода, ой какая вода, как железная, холодная, и сивер будто с цепи сорвался, насквозь. У Ольки шубеночка некорыстная, сторбилась девка, траву дерет, а трава злая, осочистая. Нет-нет да и рыба попадетса,

колючки растопырила, выдерешь – наплачешься. Гляну на ее руки, они как гусиные лапки. Брось, говорю, доча, побегай, посогрейся, сама управлюсь.

Ну – не управилась, верно, на завтра оставила. Утром бужу ее, она ни в какую. Я уже и к лодке все стаскала, она все спит, одеялком укрылась. Да тут еще Савелий меня в разор ввел, забыл корзину на берегу, ее и смыло. Олька, кричу, ты подымешься или тебя скалкой подымать, бессовестную, да вгорячах одеяло с нее дерг!

А она... лежит в рубашоночке, коленки сгорбатила, сжалась, глаза на меня выставлены, а в глазах слезы... Личиком дрожит и руки под себя запихивает, как бы прячет.

Оборвалось во мне, беру их, разжимаю, а пальцы все в язвинках, в язвинках, и ладошки разъедены, как банные.

Тут надо мной будто потолок раскололся, огнем по сердцу. Боже мой, чего же я делаю, куда гляжу, до чего дите родное довела, баба безмозглая, нерадивая. Упала на колени перед постелью и зашлась, а потом в голос. Вспомнила: третьего дня Олька из рук блюдец выронила, а я ее прибила за это. И оттого – еще пуще. Ребятишки испугались и тоже в рев.

Пропади ты, думаю, рыба, девчонку с собой больше не поташу, сама как-нибудь. Да и младшенькие без догляда, страх смотреть: перестыли, осопели. Как зверята голодные, то на подогретом, то вовсе на холодном, всухомятку.

Однако же главное нас впереди караулило.

Питались мы с этой весны, считай, уже гольной рыбой. Летом огородишко подсоблял (да робко росло, земля тощая), а зимой что – опять рыба разного звания. И соленая-то, и вяленая, и пареная, а то еще сушили, в ступах толкли, мука получалась.

Вторую зиму мой младшенький совсем заплошал. То ничего, веселенький, а то кричит по всей ночи, будто грызь какая напала. Рыбки поест, а ее обратно. Я к нему: Митенька, Митенька, где болит, где вава, покажи ручкой, он только пуще того. Напою его сушеной медуницей, он вроде бы успокоится. Значит, с животиком неладно.

А потом стала замечать: он головку плохо держит. Или бежит-бежит да на ровном хлоп, упадет. Тогда я что – в охাপку его и к санитарке в пункт. Та помяла, послушала, говорит: тут, тетка Мария, моего дела нету, тут от питанья все, от рационау...

А войне конца-краю нет, лютует немец, нашей земли домогается; и здесь слышим, наподдали ему под Сталинградом, окружили и в пух. Прорва его там полегла. Ну, слава тебе, вздохнули мы в одно сердце: и на нашу улицу дождались праздника.

Да вот с той поры от Павлуши письма как отрезало. Перегорело во мне все тогда, только и живу детьми, ложусь с маетою, как завтрашний день одолеть.

Солнце припекать стало, я Митю укутаю в разную одежку и вынесу на пригревочек (ножки у него уже не ходили). Он сидит, жмурится, а сам как льдинка весенняя. Господи, думаю, дотянуть бы нам до чистой воды, до первой зелени, а там уж мы не поддадимся. В апреле, только снег посогнало, я с ребятишками в тайгу, на болотины и согры – клюкву собирать. Отожму сок и пою Митю.

Да ведь как говорят: пришла беда – открывай ворота.

Савелий наш к тому времени совсем, считай, обеспамятел. Иной день ходит здравый, по хозяйству чего-то соображает, к ограде досочку прибьет или тяпку наострит; а то крышу решил латать, полез было, да я увидела, не пустила – убьется ведь. А иной...

Однажды нету и нету Савелия, куда, не пойму, старого удуло. Под вечер время, входит соседка, а за ней Савелий. «Принимай, Мария, своего блудного!» – «Как так?» А вот так. Спускаюсь с угора, а он, Савелий-то, сидит у родника, на колодезном срубе. Ты чего, спрашиваю, дед Савелий, тут высиживаешь? А он нá тебе: дорогу, говорит, забыл, где дом, не знаю!.. Ну дите и только».

Стану с тех пор отлучаться, ребятишкам, Ольке с Катей, наказываю: за дедом присматривайте, на шаг со двора не отпусайте!

А дней через десять или больше (когда уже началась моя третья путина, ох) возвращаюсь домой еле живехонька, а деда Савелия опять нету. Я на ребятишек грозой: где дед, почему недоглядели, марш ис-

кать! Пошмыгали они по поселку да по-за огородами, вернулись ни с чем. А уж сумерки, вызвездило. Вижу, дело худо, схватилась и сама. Все дворы избегала, изругалась на старого, и на озеро, и по угору поднялась, покричала: может, где отзовется. И наново по дворам, да ведь никто из поселковых не видел его тот день. Ах ты, родимец тебя сломай! Всю ночь глаз с глазом не свела; чуть обутрело – я снова да ладом, искать заблудшего. Полдня пролетала, совсем ног решила – нету, хоть ревмя реви.

Побежала в контору, человек, мол, пропал. Собрали стариков, кто шевелится, баб, ребятишек постарше, айда местность округ поселка обшаривать. День шарили, два, всю тайгу огласили – никакого результата. Из сил вымотались, да и у каждого дела, домашность, отступились искать.

Через неделю у меня самой руки пали: сгинул дед Савелий. Восемь с половиной десятков на свете прожил, мастером слыл в свои годы – на удивление. И охотник, и рыбак, и бондарь. Лучшие в краю лодки – его, Савелия Ильича, руки. Охотничьи избушки-зимники на сто верст по тайге – им рублены. И вот пропал, ни тебе следочка, даже могилки на земле, как ровно вознесся, ой лихо какое! Да ведь и рассказанное – не все.

Как-то вскоре полезла я в сундук с бельем, вижу: вроде не мой порядок. Предметы не так положены. Ребятишки, думаю, похозяйничали, да не должны, не балованные. И будто кто меня под руку толкает. Лезу дальше, в уголок, где дедова одежка, где его чистое исподнее, а там пусто, ну то есть ничего.

Брякнулась я на сундук, сижу, в ум никак прийти не могу. А потом мне вроде горькое озарение: не потерялся дед Савелий, не заблудился! Сам ушел, своим желанием, чтобы обузой не быть, лишним ртом. Умереть ушел!

Уж не знаю, может, моя тут вина, укорила его когда ненароком, так не помню, не было, а все равно казись. И такое в голову хлынуло, так сердце замозжило, хоть живи, хоть на оборочке удавись...

Май сорок третьего стоял с густым таким небом, с далью. Мимо просохших тропок ветреник зажелтел, под оградой крапивку щепотью уже взять можно. Сойдешь яром к воде, а по воде черемушный цвет,

будто чешуя, играет. Мартышки уже прилетели (чайка у нас так зовется), галдят, табуняются, пищу делят.

Май на исходе, а и под шубейкой знобит. От воды, от высокого небушка холодом так и накатывает (старики наши об этом времени говорят: это, мол, на севере льды раскалывает). Да ведь мне, молодой, только за весла сесть – самое лучшее согревательное.

Стала я с весны промышлять, иду и ружье с собой в лодку кидаю. Охотник из меня – смех один, сроду по-серьезному не охотилась, а ну гоголь какой или шилохвостка вывернется, неуж упущу? Бывает, над самой головой так и фыркнут. Мне сейчас в моем состоянии ничем брезговать не след.

Выходила из дому ой как рано, еще на сутёмочках, едва брезжит. Пока до места доплыву – светло, выбирать сетки можно. На воде тишина, глушь, даже мартышек не слышно. Один звук – под днищем похлопывает. Гребусь так, чтоб наш белый яр (его и в сумерках видать) чуть правее кормы оставался; и не оглядываюсь плыву, уверена – в акkurat на Долгий мыс попаду, привычно уж.

Руки знай работают, а голова вся в заботах на день. Первое, думаю, как вернусь, грядки дорыхлить край надо. Не то срам: у соседей уже батун на вершок, а у меня трава сорная, летошная. Ребятишки, ох, обувкой вконец обносились, босые выскакивают, чирей одолел, ничего не помогает. Придется Ольку в пункт послать, может, какое втиранье дадут. Вчера мукой отоварили, а она лёглая, затхлостью отдает; дождя бы не было, так рассыпать на листе, проветрить. А тут саму черт под руку толкнул: на неделе стекло ламповое чистила да раздавила, ума не придумаю, где взять, а без стекла – копоть и глаза за шитьем да починкой тупеют.

Ко всему еще этот камень на душе – дед Савелий. Рано ли поздно, а Павлуша объявится (вера во мне какая-то жила) и тогда отписать ему придется. А как писать-то? Ушел, мол, отец – и с концом. Как так ушел, куда? Каково ему читать на фронте?

Плыву я, заботы в уме перебираю, рассортировываю. Ни ветра, ни зыби, ходко иду. Небо просветлело, и озеро за ним следом.

Тут возьми я и оглянись мельком, далеко ли до мыса. Ну, недалеко, рукой подать; снова гребу, а в глазах какая-то точка на воде, какая-то заковырочка осталась, запомнилась. Что такое, снова оборачиваюсь, остро гляжу.

По правую руку наш берег, а по левую – черемуховый мыс, коска песочная. Инголь будто река – в самую даль, докуда глаза хватают. Гляжу, и вот оно: ровно живое что двигается, рябь гонит.

Налегла я на весла, ближе. Ума не придам – то ли лошадь через озеро плывет, то ли телка, морда над водой стелется.

Постой, сама себе, да откуда тут скотине быть? И уже различаю: серое, срыжа; уши то торчком, то в лежку. Сохатуха! Меня так всю жаром и обнесло.

Залихорадилась я, завертелась посреди лодки, как ужака на муравьище – туда, сюда. Шутка ли в деле, сохатуха!

Хватаю круче к мысу, ей напересек. А та уже заметила меня тоже, башкой задвигала, закрутила и быстреей ходу. Я в азарте шубейку с себя, полушалок с себя – началось у нас соревнование.

На гребях идти – меня этим не испугаешь, по часу, бывало, плюхаю без отдыху (оттого и ладони как наждаки, ребенка погладить боюсь). Ну а тут, что ты будешь делать, отмахала саженой сто и, то ли от азарта, то ли от суеты да спешки, вижу: все, зашла, задышка берет, млею. Сама себя костерю: ну, говорю, Мария, ну Мария, ну растяпина дочь, упустишь случай, больше не жди. Такое раз в жизни бывает.

Брошу глаза через одно плечо – вот он, носок, а перед ним, знаю, долгая отмель; гляну через другое – вот она, сохатуха, морда с холкой в струну, аж воронки за спиной выются; тоже знает, что напротив носка отмель, ее спасение.

Слезы закипели во мне – от переживанья сердца, от неудачи. Уперлась я пятками в упругу, в дугу и из последних своих силенок, только бы, думаю, поясницу не пересекло. Еще саженой пятьдесят отмахала, ну это уже на износ; оборачиваюсь, воздух ртом хватаю, гляжу. А волосы не покрыты, распушились, на лицо ливнем, не вижу сохатухи, ничего не вижу (коса у меня с молодости была толстая да длинная –

садилась на нее). Волосы отгребая, головой круть-верть, глазами по отмели шарю – нету, по берегу – нету. Что за наваждение?

Тут слышу, лодка передком обо что-то торк! и враз фурчанье – как бы из-под самого днища. Оглядываюсь, а это она, голубушка. Лодкой ее по башке ушибло, она аж курнулась по самые уши. Вынырнула, ушами стригет, давай кашлять. Сама кашляет, носом фурчит, а сама мордой туда-сюда, туда-сюда. Да столь близко, жутко даже; никогда я столь близко зверя живого не видела.

Оторопела я, сию полоротая, ум отсекло – как быть? Ружье в корме валяется, да и чего сейчас им делать, ружьем, на глубине-то?

А сохатуха и к корме повернет, и к носу – лодку обойти. Я веслами тоже – то вперед гребну, то назад, загораживаю, а для чего, сама, убей, не скажу. Вот такие догонялки устроили.

Озеро чистое, проглядное. Видно, как она всеми четырьмя ногами шевелит; а шерсть по ней дыбком. Гоняемся, гоняемся, и тут вижу, стала она морду задирать. Засипела, зубы ощерила, а круп все глубже и глубже в воду. Бросила я весла, вскочила. Чего же это такое, неуж тонет?

А она уже зубами воду хватает, пузыри вокруг, и на меня глазом косит. А в нем, господи... такой крик, такая мука... И сквозь зубы стоном...

Здесь уж я совсем из здравого рассудка выбыла. Куда робость отлетела. Подгреблась к ней, на край грудью упала, охватила за шею, как бы удержать, не дать утонуть. Да мыслимо ли? И уж мелькнуло в отчаянности: да выплывай ты, животина окаянная, ступай себе, холера с тобой, век тебя не видела и не надо, только выплывай.

Держусь за нее, обнимаю, а по ней дрожь, руками чую. И дух как от мокрой скотинки. Лодка с края на край ходуном, того и гляди вместе курнемся. И уж вконец огрузла она, ну никакого спасу; ладони мои по шерсти потекли-потекли.

И вдруг – откуда что! Как она морду свою горбатую кверху вскинет да ударит! Лодка краем черпанула, а я в корму снопом.

Поднимаюсь на четвереньки, в висках бубенцы, а сохатуха аж до плеч из воды высигивает, да раз за разом, кипень стоит. Знать, задними ногами дна достала, отмели. Задела копытом по лодке, отщепина так и полетела!

Лодка моя заболталась на волнах и – каруселью, а я сижу ни жива ни мертва, локоть щупаю – отсушила, падая. Зверюга скачет, храпит, донная муть за ней ключом, и уже берег вот он. А когда всеми четырьмя ногами dnaхватила, тут и пошла!

Все во мне разом схлынуло, вся жалостливость, куда что. Будто отрезвела: уходит сохатуха, такая добыча уходит!

Не стану говорить, что я детишек своих вспомнила, нужду свою, разруху. Не было в те моменты этого; вроде никаких, ну никаких мыслей не было, а один голос души: чего же ты, баба, скисла, чего медлишь?!

Выдергиваю из-под себя ружье (аккурат на него локтем упала), подымаю, мушка прыгает, разбегается. Сохачью голову ловлю, за ухом самое верное место, это я знаю: Савелий Ильич, упокойничек, много раз про охоту рассказывал.

И ведь мыслимое дело. Сызмальства в Бога не верила, иконки в доме не держала, а здесь целюсь и губами шепчу: Господи, не дай промахнуться, Господи, пособи...

И тут на́ тебе! Вот так в створе – сохатуха, берег с откосом, выше – черемушник стеной. И вижу в момент, краем глаза (как бы и не я вижу), выскакивает из-за кустов, из черемушника, теленок-сеголеточек.

Выскочил и бежит. Бежит-бежит прискоком, аж ушки встрепываются. К матери бежит. Из себя такой рыжей, только побелее, лобастенький, а копытца как стеклышки.

Оторопела я, охнула в себе. Не вижу телка, света не вижу, за что же мне еще это наказание?

Сжала я душу в горошину, окаменела.

А он будто почуял что, замер с разбежки и стоит, привскакивает, носом-бирюлькой фукает, торопит как бы.

Выстрелила я...

Сохатуха башкой замотала – и из воды, только песок комьями. Перобежала берег, мимо своего телка и на откосок.

Промажнулась, Мария, промазала!

А сохатуха впрыгнула на откосок, впрыгнула и стала, как врытая; стояла-стояла да и повалилась тут.

...Не перескажу, как доплыла я до поселка, спеклось во мне все, и равнодушие одолело.

На подмогу особо уговаривать не пришлось; старики и бабы аж замолились на меня: как сумела да как сладила?

Вернулась я с людьми на Долгий мыс уже к полудню. Сохатуха под черемушником, как была, а телка нету. Взялись старики разделявать, а он вот он, из кустов голову просунул и смотрит...

Ушла я к лодкам, что-то знобко мне стало; легла ничком и лежала, пока не погрузились. И ведь ни кусочка того мяса я после сама не съела – не могла, хоть ты что.

А среди лета уже, каким-то случаем, отыскался наш Савелий Ильич. Лежал он в одной из своих дальних промысловых избушек (нашел же дорогу!), весь в чистом, как щепочка высветил, и свеча в головах обгорелая.

1973

## БАГУЛЬНИК – ТРАВА ПЬЯНАЯ

Так я скажу: что баба, что кошка – живучие. Бабу бей, бей, на другое место перетащи – оживела! Пересилили мы лихие года, в нитку вытянулись, а главную заповедь исполнили, детишек оберегли, не растеряли, ни единого во всем поселочке.

И вот он, желанье сердца нашего – май! Отпраздновали мы Победу, отликовали; женщины наши пьяненькие песни попели на голосах, друг у дружки на плече выплакались да и назавтра опять в лямку.

А через какое-то время, под вечер как раз, гляжу – соседская девчонка Настенька за калиткой скребется: тетка Мария, тетка Мария, беги в совет, телеграмма вам!

Я так и присела.

– Какая еще телеграмма, господи?

– А я почем знаю? Анна Филипповна велела мне рысью!

Анна Филипповна у нас бухгалтер в совете, да и за секретарку она, а то за самого Ипполита Федосейча.

– Что ж не принесла? – спрашиваю.

– Дак телеграмма же. Расписываться надо.

Схватила я – и со двора, как была разуткой. Бегу и обмираю. Бегу и обмираю. Сроду телеграмм боялась. Аж душа спекается: неуж с Пашей что? Последнее письмо в апреле было, аккурат перед Победой, из госпиталя. Мол, лежу на выздоровлении, а как, чего – ни словечка. Все бы ладно – да не его рука! И с той поры опять ни слуху ни духу.

И тут нá вот тебе – телеграмма.

Суеверная стала я за войну, ох, спасу нет. Как-то долго от Паши не было. Бог знает, как долго, с полгода, это со Сталинграда еще. Почтальонка все мимо да мимо. И как-то раз стою, руки случайно так пальцами сцепила, идет почтальонка и еще издали письмо кажет: от Паши, жив, родименький! С того случая впало в сердце, что сцепить руки – это мне к жданной вести.

И вот бегу в контору – от баба с глупинкой! – и одна заноза в голове: как зайду – не забыть руки сцепить, не забыть руки сцепить!

Не помню даже – было солнце, не было, прибежала.

Анна Филипповна за столом. Курит, бумажки какие-то на косточках перещелкивает. Она у нас характерная была, курила, нервы осаживала, на ней весь совет держался.

Протягивает листочек, так вот по концам запечатанный, а я не беру. В задышке стою вся, руки с порога сцеплены. Взробела окончательно.

Рвите, говорю, читайте.

А она, смотрю, улыбается. Чего – вроде того что – рвать, чего читать-перечитывать – и так знаю. Сама по телефону из района принимала, сама заклеивала! «Встречай четырнадцатого, поезд пятьсот-веселый. Твой Павел».

Села я на скамью, к стеночке, молю Анну Филипповну: читайте еще. «Встречай четырнадцатого, поезд пятьсот-веселый. Твой Павел». Она, родненькая моя, повторяет, а у меня в ушах только: встречай... твой Павел... Встречай... твой Павел.

И тут подскочила я, будто змейкой щелкнутая: а сегодня-то какое?

– Тринадцатое с утра было, – отвечает.

– Выходит, завтра?! Господи, если по-доброму, мне утром затемно выезжать надо. Брички-то есть незапростанные?

– Когда они были у нас незапростанные? – Это Анна Филипповна. – Ну, да ты лети на конный к Брюхову, тебе дадут. Такой случай. А чуть чего, от меня, скажи. Да ну, и без того дадут. Он что, Брюхов, без соображенья?

И верно – дали. Брюхов слова впроть не сказал, только постучал деревяшкой о пол в рассуждении. А когда уже помогал запрячь, сказал так:

– Поздравляю, Мария. Павел, значит, у нас девятый будет. – И вдогонку еще крикнул, чтоб лошадь не зажгла. Не гнала на радостях почем зря.

Подъехала я к дому, лошадь разнуздала, сенца ей. А ребятенчишки мои уже вповал спят. Ну ладно. Была у меня в запасе горстка муки, расшурудила я печь, постряпалась на скорую руку.

И только за окном стало зариться, бужу большенькую свою, Ольку. Она у меня уже пятый класс прошла, считай, невеста. Подымайся, доча, отца встречать едем! Она спросонок тычется, не знаю, поняла, нет ли. Я тем временем Катю с Митенькой в охапку и на бричку, они холеры, хоть бы тебе стрепенулись! Укрыла, в соломку утискала всех троих – поехали, таборяне!

До станции нашей, до Итатской, сорок с лишком километров. Повдоль берега Инголя, по таежке, а там на свороток – и по колкам, по колкам на тракт. А уж по-за трактом – колхозные поля. Согровый низинный лес вперехлестку с пашенными гривами. И уж до самой железной дороги глазу схватиться не за что.

Едем, трусим, на тракт выбрались. Солнышко выплыло, подводы навстречу, редко-редко машина обгонит, пыль взобьет. А пыль тяжелая, росная – ведренный день будет. Спит моя дивизия, только головенки по соломке катаются!

Ну – приехали: показалась станция, поселок большой, просторный, паровозы гукают, углем запахло. Подъезжаем, а там проть вокзала пустырек. Весь, ну как есть весь подводами заставленный. И народу как мураша. Чистая ярмарка! Раным-рано, часов шесть, а гляди ты!

По правую руку палисадник из ранеток, без загородки палисадник, столбцы торчат. Привязала лошадь за столбец, бужу Ольку: встань, доча, присмотри, я сбегаю поузнаю.

Толкнулась я в одно оконце, в другое, да де там! Идет в красной фуражке, я к нему: когда пятьсот-веселый будет?

– Это какой? С западного направления?

– Ну да, оттуда, от Новосибирска.

– С западного – неизвестно.

– Да как же неизвестно?

– Так и неизвестно. На то он и пятьсот-веселый, да еще с западного! – Это красная фуражка уже на ходу мне.

Чтоб те стрелило, думаю. Никто ничо не знает, вот порядочки.

Вдруг шум, гром – залетает на станцию состав. В брезенте весь, и парнишки на платформмах, солдатики; да все молодые, загорелые, гимнастерки как в щелоче выбеленные. А состав без остановки – и на проход. За ним вскоре другой, и тоже только вихорь следом. И всё туда, на восток, на восток. Что за аллюр такой, война-то в другой стороне, да и та кончилась...

Вернулась я к своим. Олька, моя дежурная, спит, я сена лошади труснула и тоже под бочок к ребятишкам.

Лежу, а кругом народ гвалтится, разговоры, смех. По разговорам, демобилизованный состав ждут. Кто-то на гармошке играет да какие-то присказульки поет. Бабы тут, мужики. Больше баб, конечно. Ребятишек – хоть метлой заметай, рады суете.

Дрема меня не знаю как одолела. Лежала, лежала и сбредила: будто сию дома на приступочке, пряжу на клубок сматываю. А другой конец Павлуша держит. Он держит, а пряжа возьми да и порвись. Я свяжу только, а она снова. Смотрю я на Павлушу, а у него лица нету. Я как закричу и очнулась тут.

Лежу, глупый сон этот на сердце переживаю. И не во сне уже, а въяве хочу увидеть Павлушино лицо – и нет. Не получается. Плывет в глазах. Забыла! Да что же, думаю, такое?..

Гвалт тут, гам, закричали: демобилизованный подходит! Кинулись все гуртом к вокзалу, к линии, и я не усидела. Шмыг с брички, ребяти-

шек поукрывала и за всеми следом. Думаю: а ну знакомого кого встречу. Да и так любопытно: фронтовички возвращаются, победители, родные наши. Хоть глазом глянуть, на людское счастье порадоваться. И еще мысль упала в голову: а вдруг и Павлуша тут! Ну – пересел там по пути или как ли, бывают же случаи.

Поезд показался, паровоз с красной опояской. Потом вагоны разного обличья. Сперва пассажирские, пять или сколь там, а после уж простые, теплушки. И везде в дверях, в окнах – лица, лица, лица. И все пожилые солдаты-то, в годах. Кто и с усами. Молодых и не видать. Старшие возраста, словом. Думаю: отвели войну, родимые, живые вернулись!

Затормаживает поезд, а мы повдоль стоим, скучились, замерли и не дышим, господи. Каждому своего увидеть! Вагоны тихонько так идут-идут. Тишина по толпе – вмертвую, мне аж озноб по телу.

А невдалеке от меня женщина, в платочке цветастеньком, кофта обшивочками – крестьянка обличьем, колхозница. Мальчонка возле нее, большенький уже. И вот как она встрепенется, вскричит: «Ваня! Ванюша-а!...» – и сквозь людскую кипень к вагону.

Тут и прорвало. Что началось! Крики, плач, слезы; гармошка было где-то вскинулась – плюснули гармошку. Я тоже стою и вот-вот зареву. Ах, бабоньки, бабоньки, думаю, страдалицы вы и счастливицы. Праздник-то, день-то какой!

Ой, да что тут было! На гвардейе одном три женщины повисли и ни в какую (одна в годах, а те молодые). Он шагу ступить не может, аж скраснел весь. А вокруг еще четвертая бегаёт, девчонка, за юбки тех отдергивает: «Папка, я сейчас, папка, я сейчас!...» Смех и грех, да и только.

Какой-то из демобилизованных, погоны горбыльком, вышел, выдрался, чемодан в охалке, а жена сбоку. Ему кричат: «Чего чемодан-то вместо жены обнял?» – «Дак ручка оборвалась», – отвечает. «Ну, ты хоть дома не забудь», – смеются.

Прошел состав, вернулась я, ребяташки мои, смотрю, проснулись. Сидят в соломе, как галчата, сужатся: где мы очутились? А Олька – та знает, спрашивает: где папка-то? Едет еще, говорю, наш папка, скоро приедет, ждать будем.

Пососкакивали они, запрыгали, у Митеньки глаза вразбежку, диковинкой всё. Я сразу наказ: от брички никуда! Гляньте, какая беда народу, позаплутаете, а тут линия, паровозы, транспорт кругом. Не наводите меня на нервы!

Прилегла сама, а не лежит. Смотрю, женщина мимо чекушку в руках несет. Я возьми и спроси: дают де или как?.. Ой, да знатьё бы – дак лучше и не спрашивать, и не видеть чекушки этой!.. Ну, спросила. Она: да тут, в коммерческом, вон на горочке, выбросили.

Думаю: ага, ради такого особого случая не слётать ли и мне? Деньги-то у меня были.

Раз-два, зарысила молодая да заполошная. Отыскала магазин, в самделе есть. Правда, очередь – хвост наружу. Заняла, стою. И гляжу, финики выносят, а кто еще горбушу. Ну, рыба нам своя в глазах настряла; думаю: возьму ребятишкам фиников, какое-никакое лакомство.

Более часу уже стою, и обуяло меня беспокойство. А ну как поезд пришел, а я тут за чекушкой перетаптываюсь. И всех, кто от станции, пытаю: как там пятсот-веселый с западного? Нет, не пришел вроде.

Говорят люди «нет», а мне все одно беспокойно, душа дрожит, как балалайка. И стоять невмочь, и очередь бросать жалко, вот такую себе раскоряку устроила.

Ну, достояла, взяла – и чекушку эту несчастную, и фиников детишкам кило. Все денежки фуганула! А, думаю, жалеть... Теперь вдвоем – заработаем!

Бегу обратно с горки чуть не впереворотки. Солнце уже на макушке, жварит почем зря – никакого спасу. Прибежала, а поезда нет как нет... Да и ладно бы нет, а то...

Прибежала я, а девчонки ко мне, хнычут: Митька потерялся де-то! Мы, мол, уже искали-переискали...

Думаю: ох, дите это половину веку мне убавит. От стервец, не мальчишечка, наказывала же: никуда!

Покидала я свои покупки в бричку – пропади они пропадом! – и сперва в палисадник. Под деревцами тенечек, люди и стоят и лежат. Спрашиваю про мальчишку, не видел кто такого? Нет, не видели. Я

вокзал обскакала, там у крыльца легковушка еще была, и в легковушку даже заглянула. Ну де еще? Ударилась на станцию, по путям. На какие-то склады натакалась, там постовой автоматом заляскал – чуть не заарестовал. Тьфу!

Вернулась к бричке, пот с меня ключом. И не знаю, куда бежать, де блудную коровенку искать, голова кругом. Может, в поселок удрал, в улицы, за мной следом да и заплутал там. Надо лететь в поселок.

И только успела подумать – вот оно тебе извещение: пятьсот-веселый на подходе...

Тут-то и завилась я в веревочку!

Села, вскричала: ой, что же нам, девки, делать-то, рази разорваться. То ли за мальчонкой, то ли отца, нашего папку долгожданного, встречать.

Дак ведь и в самделе, доведись до любого, запричитает, поди!

Вот чего, говорю, Олька: ты оставайся возле брочки, смотри тут, а мы с Катюшей на перрон. У самой сердце так и замозжило: а ну-к Павлуша инвалидом возвращается (сон проклятуший!), сойдет с вагона, а помочь некому. Что он про нас подумает...

Олька уперлась и ни в какую: «Я тоже папку встречать хочу!» Нет, говорю, доча, сиди смотри Митеньку, вдруг прибежит, а нас никого.

Тогда, говорит Олька, я его отлуплю!

Ой, ладно уж, говорю, отлупи, только не шибко: может, мальчишка и не виноватый.

Выскочили мы с Катюшей на перрон, и вот он тебе, пятьсот-веселый, пыхтит-подкатывает. Глянула – батюшки вы мои! В вагонах битком, как в хлебной очереди, на площадках и того чище. Всякого обличья – гражданские, военные. А кто из отчаянных – и на крышу угнездилися... Действительно, веселый, веселее бы надо, да некуда.

Повалили из вагонов, притиснули нас с Катюшей к заборчику, да ладно у самого выхода, всех видать. Подняла я девчонку на руки, стоим выглядываем.

Я как увижу в военном обличье – сердце так и рухнет! А поближе – нет, не он. И особо гляжу, которые на костылях. Втемяшила себе: раз из госпиталя, значит, на костылях или с пустым рукавом (в письме-то недаром чужая рука).

А Катюша все канючит: «Мамк, я его признаю?» Признаешь, доча, почему не признаешь? Ты только смотри востренько. «А он нас?» И он, говорю, признает. У него наша карточка есть. «А вот тебя он не признает». Это она мне вдруг. Почему же, доча? «А ты плачешь и некрасивая. А на карточке ты красивая, веселая». Ой, правда, доча, умничка ты моя, дай я тебя отпущу да вытрусь.

И стоим мы с ней как две забытых сиротинушки, пассажиров уже мало-мало, остались только которым дальше.

...Стоим, а издали так, с конца, прямит на нас в защитном кителе. За плечами вещмешок, в правой чемоданчишко, на другой шинелка перекинута. Ну и прямо на нас так и целит.

Задрожало во мне все. И не признаю еще глазами, а в каждой моей жилочке крик: он это!

Подошел, чемоданчик с шинелкой из рук выронил и обнял нас – меня и Катюшу разом.

Обнял он нас, колючий наш папаня, а меня, глупую, лихорадит: господи, с чего давечь сбредила, будто лицо его в памяти позабылось. Да никогда... Ни в какую жизнь... Умирала бы вдовой, а каждую его кровинку помнила б, с собой уносила...

Встретили, значит, идем. Катюша чемоданчик у отца перехватила, тащит, как путевая (кряхтит, а не отдает), я шинелку несу. Павлуша чего-то спрашивает, я чего-то в ответ – впопад, нет ли, и не соображу. Я, главное, бричку свою выглядываю и уж бричку вижу, Ольку возле, а Митеньки, вижу, нет. От беда так беда...

Ну, а дальше... Ох, дальше такой оборот вышел, такой оборот – только руками развести. Митенька наш уже взрослый стал, отдельным домом жил, а мы всё его как соберемся, так подзуживаем: а ну-к расскажи, как ты папаню с фронта встретил!

Ладно, подошли, Олька увидела, как кинется к отцу на шею, расцеловал он ее и уже заглядывался: где же сын-то?

Да здесь де-то мотается, бормочу, счас мы его сыщем.

А солнцепек кругом, спасу нет. В палисаднике, вижу, тенечек свободный. Я говорю: Павлуша, ты с дороги, усталый, в тенечке покуда

посиди, мы его същем. Беру охапку соломы с брички и под ранеткой трушу (там же ни травиночки!). А у самой голос рвется... уж не владею собой...

Труснула это я соломы, расклонила и как-то так глаза вверх спрокинула... Как-то так глаза спрокинула... а на ранетке, между веточек, пяточка грязненькая шевелится.

Батюшки святы!

Я в сторонку чуть, где прогляднее, а он вот он – весь тут, сыночек наш непутевый. На сучочке сидит, головку на развилочку приклонил, ручонки сцепил и спит. Спит, разъязви его, мальчишечку, только губенки отдуваются!

Упала я тут на соломку – смеюсь и плачу, плачу и смеюсь. Гляди, отец, где твой сынок тебя встречает!

Павлуша залез осторожненько на дерево, сонного на плечо – и вниз, а внизу уж я приняла. Он проснулся, луп-луп, ничего не сообразит, почему смех. И как задаст реву.

Получилось-то как? Увидел мальчишка ягоду и влез, а та зеленцом еще. Ну – поел не поел, тут слышит – ищут его девчонки. И вздумал, поганец такой, в прятки с ними поиграться. Сидел-сидел, ждал-пождал, когда сыщут, да и заснул, не дождавшись...

Выехали мы со станции далеко за полдень. Девчонки к отцу лепятся: большенькая, Олька, правда, как бы стесняется, то за руку подержит, то бочком прислонится. Митенька бычился сперва – совсем ведь папку забыл, – а потом тоже размяк, даже разбаловался. Стянул с отца пилотку, медаль себе перестегнул, запрыгал по бричке, пришлось приструнить.

А уж Катенька-лизуня – та на отце так и висела.

Едем, а солнце палит, зной. Павлуша китель расстегнул, смотрю я: похудал-то как, родимый. Ключицы хоть руками бери. Дак ведь не в гостях был – в госпитале, а в госпиталях не шибко-то растолстеешь.

И все хочу спросить, но все робею: куда раненный был? Ноги-руки вроде целые, голова, а письма сам не мог. Ну, решила, спросила: куда, мол, раненный? А он ребятишек чуть отстранил, приобнял меня

за плечо, улыбнулся и: «Ты, Мария, спроси лучше, куда не ранен...»  
Сказал так, а я к руке его щекой прижалась и уж больше ничего спрашивать не стала.

Солнце в закат – мы к Инголю свернули. Въехали на крутик, бережок высокий, Павлуша заволновался, говорит: останови, хочу на озеро поглядеть. Четыре года во сне только видел.

Соскочил он, а я думаю: ага. Лошадь в сторону – и на покосную полянку, к стожку. Ребятишкам говорю: все равно домой засветло не поспеем, собирайте плавник по берегу, костер запалим, ночевать тут будем!

Уж они запрыгали, заверещали, а я смеюсь, дурачусь вместе с ними, сама себя не узнаю.

Распрягла, стреножила лошадь, пустила пастись. И за ужин. Ребятишки вопят: купаться! Пускай и папка с нами искупается!

Да бегите, махнула, окупнитесь, хоть пыль с морда́х смоете.

Ведерко над огнем наладила, вышла на бережок, села. А мои внизу бутлыхаются, визг, брызги, на отца верхом! Митенька-то голышом, Катюша в рейтузиках, а Олька – та в рубашонке, ну как же, ей уже стеснительно.

А я на Павлушу смотрю. Ой, родненький! Смотрю: через всю грудь белая борозда, а на ноге вдавлилки, как кто гвоздем ткнул да и осталось. А на спине дак с блюдце вдолбина...

Искупились они, я ребят возле костерка усадила. Пожевали они у меня лепешек, огурцами похрумкали. Отец американску колбасну концерву вынул – так давай сюда! Чаем с душимянкой напоила. А теперь, говорю, вот вам кулек фиников, марш в бричку спать. Если мало соломы – сенца надергайте, не то к утру наготово околеете.

Остались мы вдвоем у костра, я чекушечку достаю, протягиваю:

– Ну что, муженек ты мой долгожданный, за встречу или как?

А он посмотрел так как-то... Так как-то посмотрел, говорит:

– Неплохо бы, Мария, но мне, – говорит, – нельзя.

– Да это как так – нельзя?

– Вот так. Выписывали, сказали: забудь.

– Дак ведь какое это питье? Глаза токо запорошить. Я вот сроду не пила, ты знаешь, и на май победный едва пригубила, а и то сейчас бы... Вон Фомихин Антон вернулся вовсе без ноги, а так забудыривает – ой да ну, и ничо. А у тебя руки-ноги, слава богу, целы, схудал, правда, на больничных рационах, но ведь дома теперь, в семье, быстренько в тело войдешь, наберешься... За встречу ведь, Павлуша...

Ох, да и правильно наша Анна Филипповна, секретарка, все, бывало, говорит: у тебя, говорит, Мария, язык как молотильная палка. Молотит и молотит. Ну к чему я про Фомихина завернула, навроде как раззадорила...

Подсел Павлуша ко мне, обнял, приласкал:

– Ну, так и быть, жена, за встречу давай. За встречу нельзя не выпить. Одну наркомовскую я приму.

Пожунали, разговариваем, да больше я говорю. Павлуша спрашивает, что мы тут да как.

А уж звезды заяснели, ночь. Кузнечики стрекочут, лошадь невдалеке фырчит, хрумает. Ушли мы под стожок, леги.

А за стожком – там уж некое, вроде сухой болотинки. Болотинка вся-вся, ну вся багульником обросла. Цвет густой, белый. И пахучий-пахучий, просто спасу нет, какой пахучий. Особо после ведренного дня, после зною. Походи по нему – пьяный сделаешься.

Павлуша спрашивает:

– Чем так пахнет?

– Дак багульником, – говорю, – родной ты мой, забыл?

– Ага, забыл.

Я руку ему под нательную рубаху просунула – и сразу на шрам натакалась. «Больно?» – шепчу. «Нет, – тоже шепотом, – наоборот, кожа как чужая, ничо не слышит». – «А тут?» – «И тут тоже».

...Ой да и исцеловала я ему раны, изласкала его, изластила. Все мои ночи бессонные, все слезы невыплаканные – тут со мной были да и отлетели.

Не знаю как – сон примаая, уснула. Проснулась, будто мне кто под бок льду подсыпал. Павлуши рядом нету! А уж небо слиняло, зоречки рассеяло, пичуги впересвист, утро.

Вскочила на ноги, озираюсь. Берег, и дорога по берегу, и покос – все чисто, проглядно, а за стожком за нашим, по болотинке, туман-ползун. И гляжу: Павлуша – ох, господи! – по туману тому уходит.

Окликнула его, а он без вниманья. Кинулась за ним, бегу, а никакой это не туман – багульников цвет! Спросонок-то бог знает что смерещится.

Догнала, остановила, а он так на меня... Ну как сквозь стекло. И с лица смененный. Я страх испугалась! Обнимкой его, обнимкой, хочю повернуть, а никак.

– Павлуша, чего ты, родимый, куда, идем обратно...

А он, ровно мои слова не к нему, отстранил меня, а после вдруг спрашивает, да жутко так:

– Где Хряпунов?

Рухнуло сердце у меня.

– Какой Хряпунов? Никакого Хряпунова тут нету. Это я, жена твоя Мария. Идем, родненький.

А он как окостенел, свое:

– Хряпунова ко мне!

Ой да лихо! Не могу с ним совладать. Нету тут Хряпунова, твержу. Детки наши есть, больше тут никого. Идем к ним, к детям. Олька там, Катюша, Митенька, все спят. Идем проведедем.

И вот как я ему про детей затростила – Олька, говорю, Катюша, сынок Митенька, – он вроде обмяк, а я силком его, силком, чуть не таской – и обратно к месту.

Уложила, он лег, сама пала рядом, дышу, раскосмаченная вся. Он глаза закрыл, забылся. Жалость распламенила душу мне, повалилась я, обхватила ему голову, прижала к себе...

Прижала голову, затылок прижала, он... он как дернется от меня да прискочит, ровно его проводом ударило!

Сел, а сам то землей возьметса, то весь как стенка. Скребнул он по мне рукой, оттолкнул меня, а на мне рубашка была миткалевая – так на ремки и пошла! Он на четвереньках ползет круг стожка, за стожок, ну как бы спрятаться от меня. Ползет и стоном стонет. И головой мотает... И уполз.

Кинулась я, обежала стожок... Люди добрые, да что же такое делается?! Он на земле, а его веретеном, веретеном так и завинчивает. Под ним кострига, бодылья покосные, он по ним и грудью, и лицом... и лицом...

Подхватила голову его на колени себе, держу, крепко держу, аж руки отерпнули. Бился-бился он, струной напряжинивался, а после стал притиха-ать.

Притих, в поту лоб весь. А ото лба через висок ссадинка. Припала я к ней губами...

Осторожненько волосы ему на затылке подняла... Подняла-то я волосы, а там пролысинка, с монетку величиной. А вместо кожи пластиночка серебряная серебрится...

...Уснул он на моих коленях. Укрыла я его одежкой и сама легла и тоже уснула, да так крепко, как в воду канула.

И уж пробудило меня окончательно солнце, щеку подожгло. Как-то я так пробудилась, хорошо, тихонько-тихонько, будто поплавочком всплыла... Глазами туда-сюда: ни Павлуши около, ни ребятишек в бричке.

Да тут голоса вдалеке, с соседней луговинки. Смеются, слышу, перекликаются. И Павлушин смех тоже слышу.

Ой, да сроду так поздно не просыпалась!

Привстал на локоть, смотрю в ту сторону. Возвращаются они, идут все вчетвером, голосишки наперебой.

Аж зажмурилась я. Родные мои, счастье-то вы мое выстраданное. Отец девчонок то одну закружит, то другую. Они визжат, довольнехоньки.

А Митенька впереди как мячик, в кулачке что-то, издали кричит:

– Мамк, а мы с папкой жука поймали, щекотится!

И Павлуша-то, Павлуша-то мой... Китель нараспашку, и лицом такой светлый, улыбается. С добрым утром, мол, с веселым днем!

Господи, или приснилось мне ночное все, сбредилось?

Подходит он, а и по глазам видать: не помнит ничего! Я скорехонько кофту на себя, лоскутки от рубашки запрятываю. Ну и ладно, ну и хорошо. И я ничо не помню, да и не было ничо. Истинно, что приснилось.

Гляжу на него, родного, тоже улыбаюсь. Вот только вижу, через висок ссадинка, которую, знать, я так и не зацеловала...

## ЛИЦО ОСУШИТ ВЕТЕР

Из всех утренних процедур труднее всего было приладить деревяшку и застегнуть брючный ремень. Все-таки одна рука – это одна рука.

В первые дни, когда его выписали из госпиталя, он был в отчаянии: не мог почти ходить. И не из-за пристегнутой к колену деревяшки, которая в общем-то работала сносно, а из-за пустого рукава. При малейшем резком движении его заносило в сторону, заваливало, он терял равновесие и чуть не падал. Никогда не думал он, что рука нужна при ходьбе почти так же, как нога.

Застегнув наконец ремень, Андрей Кузьмич вышел на кухню и первым делом включил электроплитку. Пока умывался, чайник зашумел. И тут же над головой щелкнуло, зашуршало радио, начались утренние передачи.

Он весь напрягся и даже чайник снял на пол, чтобы тот не пищал. Но *сообщения* опять не было.

Диктор читал очередной приказ Верховного главнокомандующего – с перечислением взятых штурмом населенных пунктов (чужие мудреные названия сразу вылетали из головы), с торжественным долгим перечислением отличившихся генералов и их войск. Причем генералов самого высокого ранга.

Фронтовик, он знал, какая масса людей подчинена даже генерал-майору – начальному генеральскому чину. Тут же генерал-майоры лишь замыкали список. Он думал: какая же это силища! Но вот поди ты, уже неделя, как взят Берлин, а сообщения нет. А ведь еще недавно казалось: Берлину конец – войне конец.

Андрей Кузьмич подождал, не передадут ли еще что важное, вышел на улицу.

Внизу, в котловине междуречья, лежал город, вернее – его каменный центр. Краинам давно было тесно, и они растеклись, рассредоточились по склонам отлогих сопок, окружавших котловину. Металлургический завод, вытянувшись по краю котловины, походил издали

на эскадру. Клубы пара и дыма – то багрового от всплесков огня, то ослепительно-белого, как речная пена, – завихрялись на город; в многоэтажных кварталах его дрожал сумрак, хотя солнце уже взошло.

Идти ему было недалеко, только вот трудновато: все время на спуск, под горку. Но зато часть горки попадала на березовую рощу. Березы насажены были руками строителей завода и этого молодого сибирского города лет двенадцать назад, разрослись веселой лентой по косогору. Сейчас, в первые дни мая, кроны только распушились, и запахи первой зелени сильно и властно перебивали дух сгоревшего угля – от расположенной почти сразу за рощей товарной станции.

Было начало седьмого, однако Никифоровна сидела уже на высоком крыльце почтового отделения – в неизменном своем ватном тулупчике, валенках с галошами из автомобильной резины, ждала. Он хмуρο кивнул, простучал мимо нее, стал снимать пломбы и открывать замки.

Вскоре подъехал автофургон, Андрей Кузьмич принял почту. Вошла Никифоровна и, стараясь быть незаметной и в то же время желая, чтобы он все же заметил ее, села на краешек скамьи, стала смотреть, как он рассортировывает письма, газеты. Сгорбленная застывшая фигура ее, темные глубокие глаза из-под мужской шапки-ушанки выражали одно: покорное ожидание.

– Нету тебе ничего, Никифоровна, иди отдыхай, – сказал Андрей Кузьмич привычную для нее давно фразу и, подождав, пока женщина послушно уйдет, взялся за мешок с газетами.

Еще больше года назад, в начале сорок четвертого, получила Никифоровна военкомовское известие о том, что пропал без вести ее сын. Она была матерью-одиночкой, работала ночным сторожем на товарной станции и каждое утро, возвращаясь с дежурства, заходила сюда, в святой наивности ждала весточку: может, отыскался? Ее здесь считали женщиной не в себе, перестали даже сердиться на нее и между собой так и звали: Тихая Никифоровна.

Сегодня почта была не самой тяжелой, всего три похоронных извещения на их обширный окраинный район. Хуже было другое: все три попадали на участок Верочки Трошкиной – хоть ты что, не везет девчонке.

Вскоре стали собираться почтальонши. Кто тщательно, кто торопливо просматривали они свои ящички, расписывались в ведомостях, болтали между собой, смеялись. Последней прибежала Верочка Трошкина (все знали, она носит сына в ясли, дома больная свекровь, а муж на фронте).

– Девочки, Андрей Кузьмич! – сказала громко она с порога, смахивая полушалок на плечи, улыбаясь своим круглым и скуластеньким лицом. – Радио включено? Сегодня должно быть сообщение! Встретила знакомую с центрального телеграфа, говорит: сегодня...

Поднялся шумный галдеж; но мало-помалу женщины успокоились – работа не ждала, – с тяжелыми брезентовыми сумками через плечо стали расходиться по участкам.

Андрей Кузьмич сидел за прилавком, кирпично-пестрым от сургуча и чернил, дробно колотил по конвертам штемпелем, искоса наблюдал за Верочкой. Та подошла к своей клетке, привычно перекидала пачку и – вдруг замерла...

К обеду возвратилась она с опустевшей сумкой, растерянная, сникшая, подошла к стойке Андрея Кузьмича, проговорила:

– Андрей Кузьмич... не могу.

Села на табурет; круглое лицо ее задрожало, она всхлипнула, комкая полушалок у горла.

– Сил моих больше нет...

Тот заморгал, зашарил в карманах, стал неуклюже, одной рукой, сворачивать папиросу. Он не выносил слез.

– Ну ладно, вот что: давай сюда, – сказал он.

– Ой, что вы! Да меня девки загрызут.

– Ничего, мне для тренировки полезно. Врачи рекомендуют. Давай, давай сюда, не ерепенься!

Верочка шумно вздохнула, неуверенно выкладывая на стол три желто-серые бумажки извещений.

– Андрей Кузьмич, миленький, это недалеко. А я за вас – ну вот что хотите сделаю...

Верочку знал Андрей Кузьмич еще девчушкой и мужа ее, Юрия Трошкина, знал. Тоже – когда он бегал еще в фабзайцевском синем буш-

лате, ушастый. И на фронт проводил его едва ли не на следующий день, как сам вернулся из госпиталя. Будто эстафету передал... И жили они в одном подъезде. Только на разных площадках. Жена Андрея Кузьмича умерла перед самой войной, детей у них не было. Верочка иногда забегала к Андрею Кузьмичу. По-соседски – то за щепоткой соли, то узнать новости: Андрей Кузьмич никогда не выключал репродуктор.

Участок Верочки Трошкиной начинался за дальним краем березовой рощи. Сначала пять двухэтажных домов и два длинных барака, называвшихся улицей Техпоселок, потом улица Транспортная, там жили преимущественно семьи железнодорожников, еще дальше – россыпь домов частного сектора, просторными порядками спускавшихся в лог.

Миновав снова рощу, из которой полуденным ветерком были уже повывудуты все запахи – и угля, и молодой листвы, – Андрей Кузьмич по косой улочке поднялся наверх. Там начинались воронки шахтных провалов, заполненные снеговой стллой водой, между ними клочки картофельных огородов, еще пустынных и голых сегодня, облитых дрожанием от майского солнца воздухом. Один из адресов был за этими, будто разбомбленными, картофельными полями, в частном секторе, где-то на самом спуске в лог.

Он решил начать оттуда.

Нужную улицу нашел он с трудом, помогли бегавшие ребятишки. Подойдя к дому, остановился. Нога, упиравшаяся в деревяшку, уже саднела в колене, и ремень в паху жег, точно раскаленный. Домик был невзрачный, обшит тарной дощечкой, под окнами дерева ранетки. В глубине двора женщина взрыхляла землю, тяжело и размеренно наступая на штыковку. Посреди улицы стояла полторка. Пожилой шофер, топчась в кузове, шуровал в газогенераторных баках, прикрепленных по сторонам кабины, длинной клюкой, так что дым валил коромыслом.

Андрей Кузьмич поправил на лбу кепку с широким свисающим козырьком, взялся за калитку. Но неожиданно обернулся к шоферу. Тот, оставив клюку, стоял теперь и внимательно сверху смотрел на него. Андрей Кузьмич подошел к машине. «Может, это хозяин, с мужиками иметь дело легче».

– Мне Богатиковых, – сказал Андрей Кузьмич.

– Я... Богатиков.

– Петр Степанович?

Шофер молча перенес ногу через борт кузова, нащупал колесо, медленно спустился. Одутловатое лицо его блестело в поту, а глаза слезились. Он остановился в трех шагах, смотрел словно бы замороженный, как Андрей Кузьмич, морщась от дыма, нашаривает в кармане кителя и отделяет нужный листок.

«...Ваш сын гвардии сержант Богатиков Николай Петрович... – Зажатая в черных пальцах шофера бумажка так отчаянно затрепетала, что он вынужден был придержать другой рукой. – ...пал смертью героя в боях за Родину 15 апреля 1945 г. Похоронен в братской могиле под г. Санкт-Пельтен (Австрия)...»

Уходя, он кинул взгляд в глубину двора. Женщина стояла теперь, опершись о лопату, разговаривала через ограду с соседкой. Голос ее с грудным певучим тембром звучал ровно и буднично. Не ведала женщина, что беда уже вот она, за калиткой.

Андрей Кузьмич невольно заковылял быстрее. Сейчас, через минуту-другую грудной голос этот, исказившись в крике, выплеснется на улицу, настигнет, ударит по сердцу... Тяжко.

Второй адрес – двухэтажный дом по улице Транспортной.

Дом, как баррикадами, был плотно обставлен ларями для угля и дров, стайками, сараюшками. Ватага разнокалиберных мальчишек прыгала по ларям – с гиканьем и визгом, изображала погоню. Многие окна были распахнуты навстречу первому, почти летнему теплу, слышалась музыка.

Андрей Кузьмич прикинул, где тут нужный номер квартиры, и вошел в подъезд, поднялся на второй этаж. На стук никто не отозвался. Он толкнул дверь, ступил в полутемный коридор. Из трех дверей две были заперты, а третья – дальняя – от толчка открылась.

На высокой кровати, у стены, сидела старуха, с костистым лицом, укрытая до пояса одеялом, что-то сосредоточенно жевала, запуская щепоть в алюминиевую чашку на коленях.

Андрею Кузьмичу пришлось трижды задать свой вопрос, прежде чем та подняла голову и вдруг увидела незнакомца.

– Марея! – крикнула старуха, уставившись на Андрея Кузьмича. – Марея, тут пришедши!

В смежной комнате захрустели пружины, грузно шлепнули о пол босые ноги. Вышла, зевая и запахиваясь в пестрый халат, женщина. Веки ее были обведены, припудрены несмываемой угольной пылью.

«Тут дело худо, одни бабы». Андрей Кузьмич сдернул с головы кепку, положил на стул, взялся за клапан кителя. Он увидел, как испуг всплеском ударил по глазам женщины. «Написано на мне, что ли?» – с горечью подумал он и проговорил почти умоляюще:

– Вы Мария Дмитриевна?.. Прошу вас, возьмите себя в руки...

...Позже он не мог восстановить в последовательности всю сцену. Помнит только, как Мария с разметавшимися волосами трясла за плечи старуху мать и, давясь рыданиями, кричала ей в самое лицо:

– Мама! Алешу убили!

Та испуганно зевала ртом и невпопад кивала, была, должно быть, крепко глухая. А женщина в каком-то исступлении все трясла ее, повторяя: «Мама! Алешу убили! Мама! Алешу убили-и!» – точно единственной целью ее сейчас было донести до глухой матери эту страшную, невыносимую в своей реальности весть.

Когда Андрей Кузьмич, припадая на ногу сильнее обычного,ковылял со двора, какой-то дошлый пацан уже кричал со стаяк:

– Дядю Алексея Василенко убили!

И сейчас все мальчишки, прервав игру, сурово и враждебно смотрели в спину Андрею Кузьмичу, точно это он убил дядю Алексея.

Колено просто разламывало от боли, оно болело, даже когда он, останавливаясь, переносил тяжесть тела на здоровую правую ногу. На пути попалась колонка. Он качнул рычаг, напился из пригоршни и сел на краешек сырого, прохладного помоста, с наслаждением вытянул вперед деревяшку.

Оставалась последняя. Он шагал теперь совсем медленно, с частыми отдышками. Рядом тянулся дощатый тротуар. Он давно уже не хо-

дил по тротуарам, боясь заклинитья деревяшкой между досок. «Если бы последняя, – твердил он, смахивая с бровей пот. – Если бы последняя...»

Над крышами замаячили ярко-зеленые, призывные макушки березовой рощи. Круг, сделанный им, замыкался. Вот и улица вразброс стоящих домов со странным названием Техпоселок, третий адрес. Крутые козырьки подъездов, заставленные цветочными горшочками широкие окна.

Взрослых дома не оказалось. В приоткрытую дверь высунулись две стриженные головенки, одна над другой, увидели деревянную ногу, тут же захлопнулись. По коридору шла пожилая женщина, прижимая к бедру тазик с бельем. Андрей Кузьмич спросил, кивнув на дверь: где хозяйева?

– Агния, что ли? На смене, наверное, – ответила женщина, приостанавливаясь, гадая, для чего понадобилась этому инвалиду их Агния. – Дети-то дома, шумните, откроют.

– Нет, мне взрослых.

– Тогда ждите, придет.

– Ждать мне недосуг. – Андрей Кузьмич вынул извещение, повертел в пальцах. – Может, вы передадите?

Женщина, вытянув шею, пробежала глазами текст, ахнула, отступила:

– Нет, что вы, не могу. И не просите.

– Как же быть? – спросил Андрей Кузьмич уже с раздражением: испуг этой женщины показался ему фальшивым, ненатуральным.

– А вы в ящик бросьте, – посоветовала та.

– Не полагается. Только в руки.

Он вышел из дома и даже почувствовал некоторое облегчение. Все-таки он здорово устал, не только физически, но и душевно.

Он уже углубился в рощу, ощутил потным лицом ее зеленую успокаивающую прохладу, когда сзади негромко окликнули:

– Говорят, вы меня спрашивали?

Андрей Кузьмич, обернувшись, взгляделся в приближавшуюся женщину, и сердце его упало. Он вдруг впервые за сегодняшний день

по-настоящему пожалел, что взвалил на себя эту тяжкую миссию – разносить людям беду. Женщина была молодая, лет двадцати пяти, и красива необычайно. Щеки ее от быстрой ходьбы рдели, а волосы густо катились на лоб, она досадливо отгребала их, отбрасывала за ухо полной в запястье рукой.

Все-таки оповещать здесь, посреди тропы, было нельзя, невысказано.

Андрей Кузьмич коротко сказал: «Пойдемте» – и заковылял обратно к дому. Женщина шла чуть сзади, нервно сбиваясь с шага, и ее прерывистое дыхание, казалось, жгло ему затылок...

Они стояли друг против друга посреди комнаты, за притворенной дверью, и Агния, с гримасой жалкой, неуместной улыбки на губах, твердила как заведенная:

– Нет... нет... нет. – Отрывала взгляд от листка – и снова: – Нет... нет.

– Что – нет? – переспросил Андрей Кузьмич.

«Может, произошла ошибка?» – мелькнуло у него.

– Нет! – простонала вдруг женщина, отбрасывая листок. – Неправда!

– Я не знаю... – пробормотал Андрей Кузьмич. – Разве здесь не вашего мужа имя?

– Да! Моего! Но это неправда! Слышишь ты?... Ложь!

Она шагнула на Андрея Кузьмича, и он невольно запятился. Красивое, с разлетами бровей лицо ее, искаженное слезами и откровенной ненавистью к нему, принесшему эту ложную бумажку, прыгало перед ним бесформенным пятном.

– Лжете! Неправда! И бумажка ваша лжет! Я только позавчера письмо получила! А ты... Ходишь тут, разносишь... Пристроился!..

Она смотрела на него так, что его изуродованное войной тело, с деревяшкой вместо ноги и с пустым рукавом вместо руки – изуродованное, но живое, живое! – показалось ему самому чем-то таким, на что не имел он сейчас права.

И он стоял, прислонившись к стене спиной, расстреливаемый ее жестокими несправедливыми словами. До тех пор, пока она не выплеснулась вся и не затихла, сев и привалившись к столу...

Минуты три протекло в обоюдном молчании. Агния подняла голову и долго, неосмысленно, как бы недоумевая, вглядывалась в Андрея Кузьмича, в его кособокую, странно усеченную фигуру.

Внезапно краска стала заливать ее лицо. И Андрей Кузьмич понял, что она, ослепленная сначала предчувствием беды, а потом самой бедой, просто не видела его; то есть не видела его фигуры *в подробностях*.

– Простите меня, – прошептала она одним дыханием. – Ради всего святого – простите...

Сжав зубы, докондыбал он снова до рощи, в полном изнеможении повалился на траву. Потом отстегнул деревяшку, лег навзничь. Земля успокаивающе холодила, покачивала. Сквозь шевелящуюся листву летела белесая, задымленная веселая голубизна.

Среди ночи проснулся он в своей комнате от какого-то шума за стеной, топота ног, резких и возбужденных, перебивающих друг друга голосов; и даже как будто выстрел хлопнул! Окна слабо мерцали, двоились, темнота за ними то таяла, то сгущалась – словно небо за окном раскачивалось.

Черный круг репродуктора тоже, казалось, раскачивался по стене, грохотал словами:

«...Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, – Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил...»

Вот оно! Наконец-то!

Андрей Кузьмич сел на разворошенной постели, тиранул ладонью грудь под рубашкой – так сдавило, стиснуло; казалось, больше недохнуть. За окнами уже явственно бухнул пистолетный выстрел, за ним другой, третий... и поехало! Кто-то неистово разряжал в воздух всю обойму.

В дверь застучали – громко, призывно. Андрей Кузьмич охнул в душе, рывком, как в молодости, соскочил с постели, резко шагнул – и

вдруг полетел в пустоту. Больно, до хруста в суставах, ударился пустым плечом. Загремел опрокинутый стул. Он приподнялся на руке, но его снова стало заваливать.

А в дверь колотили и колотили, что-то кричали, а он никак не мог найти в спешке равновесия и хотя бы устойчиво сесть. Потом, задышавшись, пополз к порогу; дотянувшись, откинул крючок.

В распахнутую дверь ударил свет. Стремительно вбежала Верочка, крикнула звонко, ликующе:

– Андрей Кузьмич! Победа! Победа-а!.. – Оглядела пустую комнату, кухню. – Где же вы?

Андрей Кузьмич сидел у ее ног, привалившись к косяку, поджимая культю с болтающейся кальсонинной, растерянно улыбался.

– Андрей Кузьмич, миленький... да что же вы?..

Верочка опустилась рядом с ним на колени, прижалась к нему, к его нательной рубашке лицом, заплакала:

– Миленький... ведь победа...

А над их головами громыхало:

«...не разрушать и не причинять никаких повреждений парходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам, оборудованию... и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны...»

Окна взрывались всплесками света; зазвенели у соседей распахнутые рамы, и уже где-то схватилась, взвилась гармонь, но тут же смолкла. «Ур-ра! Кача-ать!..»

Андрей Кузьмич гладил дрожащей ладонью Верочкино плечо, успокаивал:

– Ну вот и все. И все... Так оно и должно быть. Наше дело правое...

Сам успокаивал, а у самого прыгал подбородок и слова с хрипением протискивались сквозь горловые спазмы:

– И дождалась... Ты дождалась Юрку. И сын твой папку дождался...

Будто ее Юрий уже стоял сейчас, сию минуту, на пороге, живой и невредимый, улыбающийся!

Он-то знал: войне конец, но ее тяжкий маховик еще долго будет крутиться. Похоронки будут еще идти – и завтра, и послезавтра, и че-

рез неделю. Будут умирать в госпиталях солдаты от ран, будут уточняться списки... да мало ли что!..

Но он знал также, что говорит святую правду (ей выпало счастье дожидаться, а скольким нет). И знал, чувствовал, что она верит ему с благодарностью.

Святая правда и святая вера! Им жить вечно.

«...Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках, – чеканил диктор. – Только русский и английский тексты являются аутентичными...»

Рано утром Тихая Никифоровна сидела на той же ступеньке, в ушанке и валенках с галошами, сгорбившись, засунув руки в рукава тупчика, хотя было по-весеннему тепло, солнечно. Ждала почту.

– С Победой, Никифоровна! – сказал Андрей Кузьмич и остановился, снял кепку. – Вот и на нашей улице праздник, а?

Женщина шевельнулась, заморгала, как бы с трудом разлепила губы:

– И тебя, Кузьмич, тоже. – Голос у нее был глуховатый. – Доконали, проклятого...

Он вынес из помещения лестничку, потом – свернутый на древко флаг. Приставил тщательно к высокому козырьку крыльца лестницу, насунул на лоб плотнее кепку, зажал флаг под мышкой.

– Придержи-ка меня малость, Никифоровна.

Женщина уперлась в лестницу руками, строгим взглядом смотрела, как он подвигается вверх, с трудом попадая растоптанной деревяшкой на бруски перекладин. Усилием вкручивает древко в патрон, пробует на прочность.

Налетевшим порывом раскрутило флаг. Алое полотнище обняло, шершаво скользнуло Андрею Кузьмичу по щеке. Будто опалило. Он задохнулся, закашлялся. В горячущих глазах его все расплылось: далекие городские кварталы; багрово задымленные, ошетиленные трубами корпуса завода; а ближе – ряды путевых складов; зеленое нежное

молодое облако рощи; улица, уже заполненная, несмотря на ранний час, ликующими людьми – как много людей!

Он медлил спускаться, стоял с мокрым от слез лицом, не в силах вытереть их, ждал, пока лицо его осушит ветер – единственной рукой крепко держался за древко.

1978

## ЖИВ ОСТАНУСЬ – СВИДИМСЯ

Случилось это после третьей лихой зимы, в сорок четвертом. Как-то уж память не держит: ли в марте, ли апреле. Цыган уж шубу продал! С крыш снега посогнало, в полдень пригреет – над избами, над дровяниками воздух ходит, воспаренье. Капель гудит! Среди дня хоть раздевайся. Зато к ночи такой трескун завернет... Митька мой за день пимишки-катанки выбродит, в сенцах под порогом забудет, утром пимы – как колотушки!

Позвали меня раз в контору, с обозом на Рудник идти. Работа была очерёдная и для меня при моей ораве – нож вострый, дак ведь не откажись, куда!.. Но – посидели, обговорили, возвращаюсь, а так свечерело уж. Подхожу, а в заулке к нам, под изгородью, ничком кто-то скорчился. Подумалось сперва: ребятишки мои балуются, в прятки ли такую поздноту играют, ну задам им прятки!

Подхожу, приглядываюсь – и аж обмерла вся. Варька, Игнатьевой Веры дочка, в засольном цехе учетчицей, соседи мы через три двора. К жердине привалилась, обнялась, коленочками в снег и вроде памятью отошла.

– Варька, – зову, хватаюсь за нее, – ты чего?.. Да ты чего, Варька?

А она глаза сжмурила, дышит – и ни звуку. Подхватила ее, помогла, веду к себе. Ребятишек моих черти с квасом съели, где-то лётают, в окнах темь. На топчан уложила, полушалок раздернула, катанки с нее долой – коленочки-то, чую, примерзли. Лампу зажгла, а она без кровинки в лице, чего с девкой стряслось? Шубейку на ней расстегиваю.

Расстегиваю шубейку-то, а петли в талье туго-претуго, внатяг. Мне сперва даже ни в ум. Расстегнула, потом легонько так по животу ладошкой. Господи, господи, да ты никак, девка, беременная...

Шлепнулась я рядом на топчан, одуматься не могу.

– Варька, вихорь тебя подыми! – наклоняясь, бормочу. – Да с ума ли ты?.. Как угораздило?

Отворачивается, молчит, губы морщит.

А я слупа думаю: но в самом деле – как? С какого ветру? У нас вроде и мужиков способных не осталось. И еще про себя задним умом рассуждаю: то-то я примечать стала последнее время. Заглянешь к ним по-соседски, а на ней, Варьке, ли шубейка эта, ли фуфайка бабкина разлетаистая. И у нас в дому, прибежит за чем, ни в какую не раздевалась, так куклой и сидела.

Опять я к ней:

– Варь, слышь, может, фельшерицу позвать?

Она даже испугалась, мотнула головой: нет! Ладно, нет так нет.

– На котором уже? – спрашиваю.

– Вроде как на седьмом, – шепчет, а сама оглядывается беспокойно, нету ли кого в доме.

– Ох, «вроде»! – качаю над девчонкой головой. – На кой леший засупонила так? Омороком, гляди, ушибло... Мать хоть знает?

А мать у нее, Игнатьева Вера, бригадирша, женщина деловая, строгая. Всю зиму, считай, на лове, на дальней тоне. Раз или два в месяц домой наезжает, Варьку с бабушкой больной проведать да в баньке погреться.

Молчала она, молчала, утерлась, говорит:

– Теть Мария, я к тебе зачем шла? Услыхала, ты с обозом на Рудник наладилась. У меня на Руднике тетка живет. Прошу – отвези к ней. Одной-то да пешком мне не докарабкаться.

– Но удумала, но удумала! – говорю. – Рассуди сама, мать с озера вернется – как я перед ней? Чего врать буду?

– Скажешь, погостить уехала...

– Батюшки, – всплеснула я, – какие нынче гости? Кто поверит? А с работой как? А бабушку на кого?

– С работой не знаю, как-нибудь... Все равно из меня теперь работник-то... А за бабушкой – Ольку твою упрошу или вон Настеньку, они уж девчонки самостоятельные. Всего-то сварить раз на дню и на улку проводить. До мамы всего ничего осталось, может, неделя какая. – Варька губы закривила, глазами морг-морг, заплакала. – А если... если я здесь соберусь, позору-славы на весь поселок и мать меня изведет. А тетка у меня хорошая, в рудоуправлении работает, она за меня заступится. Поживу у нее до срока... А здесь – хоть в прорубь головой.

Думаю: но девка, душа ты горькая, расклинила ты свою жизнь до самой сердцевиночки.

– Ладно, – соглашаюсь, – раз твердо решила, собирайся. Завтра в ночь выезжаем, как прихватит (днем дорога уже не держала). Говорю: строго у нас насчет попутчиков, кони и без того замороженные, но да чего теперь, зайцем поедешь. Стой возле осокоря на выезде, я на задней связке буду. Да оденься потеплее, глупая, петли чуток расшей, поняла?

Она с топчана слезает, на колени бух.

– Ой, тетя Мария, чего не понять, все поняла, все сделаю, буду где сказала. Ведь это счастье – ты едешь. Другой-то никто, может, и разговаривать не стал, да я бы к другому кому и пойти не посмела.

Какое уж тут, про себя думаю, счастье. Глажу девчонку по волосам, успокаиваю. Какое уж тут, прости господи, счастье...

Восемь саней нашего обозу составилось. Рыба в рогожных кулях. Полтораста пудов. Последний наш зимний вылов. Весь – было постановлено – в Фонд обороны. Нас, возниц, четверо. По две упряжки на возницу. Такая вышла арифметика. На передовом коне – Ипполит Федосеич. С тех пор как больного с печки сняли, на председателя поставили, стал ходить важный, живот клином. Обозы на Рудник самолично возглавлял. Потом Ганька, подросток четырнадцати лет, и еще – Пермякова Степанида, сорок ей тогда было, крупная из себя, кули эти на складе перекидывала не хуже мужика всякого. Мы каждый раз в черед с ней попадали, со Степанидой. Хваткая она была в дороге. И воз под-

может вытолкнуть, коня перепрячь. Как, бывало, возьмется за подпругу – конь на ногах шатается!

Загрузились назавтра, отъехали со склада поздно, на самую полночь, как подморозило. Провожали нас кладовщик дед Иван, конюх Брюхов и бухгалтерша Анна Филипповна. Эта все к Ипполиту с порученьями да наказаньями: то не забудь привезти, другое, будто не он председатель, а она. Ладно я вчера не дала оплошки, Варьку за поселок выслала. Тут бы ей, в складском дворе, от Филипповны нашей – прямой заворот! Сквозь весь двор шли: Филипповна папиросой пыхтела, дед Иван ключами тряс, Брюхов – тот дальше всех деревяшкой по насту побряхтывал, уж шибко за коней своих переживал. Отстали провозальщики. Я потихоньку сдернула куль, на вторые сани перекинула, три пуда куль, считай – Варькин вес.

Осокорь зачернел-замаячил, поравнялись, Варька из-за осокоря, как совка ночная, шмыг мне в сани. Узелочек при ней. Пала рядом, притиснулась, сопит, будто гору пробежала. Никто не видел – но и ладно, у всякого плута свой расчет! Едем, молчим, таимся. В низинках туманом накатывает. Только коняги наши многострадальные от соломенного рациону попукивают.

Ох уж эта рудничная дорожка! Сперва по нашей Каменушке, все петельки развяжет, все кривуны обойдет, а потом перевалка через Косую Гриву. А Казачью одолеешь – тут уж рукой подать. Внизу Кия-река, леспромхоз Малая Алчедатка. Минуешь поселок и по реке, поймой, километров двадцать пять, и вот он тебе – Рудник. Но легко сказать, а попробуй с нашей гужевой техникой одолей. Последний раз я февралем месяцем ходила, аккурат под праздник Красной армии, на переметельных местах вешек не отыщешь, не то что. А перевалки, прахом их подхвати! Пластаешься, пластаешься, ну – выдрался. У коней аж кровь из норок. Вниз – другая напасть: воза враскат, хомуты – с ушей, упряжь рвет-кособочит, ох лихо!

Да то среди зимы, в снега, в морозы клящие, а нынче колея крепкая, наторенная, только бы не отпустило. Варька в рукавички свои кошачьи зарылась носом и тишком-молчком. Я тоже – думы бабьи свои разма-

тываю. Грех сказать – всех наших наличных мужиков по пальцам пересчитала, нет, никоторый не лепится!.. Ах, Варька, Варька...

Где чуть в горку – я с саней. Варька зашевелится – я ей: сиди не колготись, весу-то в тебе... Еще, думаю, Ипполит оглянется – скандалу не оберешься. Знаю, скандалу и без того не миновать, да уж лучше не в дороге...

Опять же, взять нашего Ипполита Федосеича. Как он с нами войну сдюжил, отпредседательствовал? В годах и здоровьем никуда (по молодости еще грыжу с надсады заработал). Дак ведь: податлив был! Но правду признаться, чуть чего – в крик, в шум, в мать-перемать. Распетушится как петух, разбегается. Ругается наш Ипполитушка – как песни играет! А прокричится, проругается – веревки из него вей. Только, бывало, напослед потрясет кулаком и скажет с сердцем, в досаде: «От эли бы ты была мужуком!..» Зато нынче я как понимаю? Оттого и сдюжил, что податлив был. Твердый-то – давно бы с копыток, сломался.

Каменушка в сторону отошла, дорога на Косую Гриву. Перевалили Косую, особо и упираться не пришлось. А вот перед второй перевалкой, через Казачью, за которой леспромхоз, – неустойка вышла. Стал наш обоз, как уперся, стоим, голоса впереди. Побежала узнать. Там все наши топчутся: Ипполит, Степанида, Ганька. А ночь выдалась лунная, как на зеркале все видно. Наст блестит, натеки по склону, ельник топорщится. И дорога вверх по ельнику, гляжу – что такое? В крошеве, в глызах льда, выворотнях. Мамай воевал! Ипполит наш, тулуп нараспах, с бичиком в руке, вверх по извозу ушагал. Вернулся, сопит, по глызе в сердцах хлесь!

– Курвов таких надо забивать в дым! – сказал. – Што с дорогой сделали, што сделали!

– Да кто? Чего? – в толк не возьмем.

– Кто-кто? Диверсанты! Хуже диверсантов. Оккупанты! Трактористы леспромхозовские! Чума из тайги нанесла. Днем размесили, а счас спекло. Искурочили! Весь косогор! Это ж воза порвем, коней ухайдакаем – как пить дать.

– Не поворачивать же?

– Еще чего! – Тулуп с себя, на воз швырком. – Ну, девья... (Он всех нас так звал: и молодых, и нет.) Ну, девья, помалу за мной, помалу. Конням отдышку давай, горячку не пори. А ты (к Ганьке) поостерегись, не поддазь шибко, чтоб нечаянно возом не стерло. Ну – помалу...

Бегу назад, Варьке объясняю: дорога тракторами порушена, пеша в гору придется. Та – мне: ой и ладно, я хоть посогреюсь.

Потянулись мы по этой порушенной дороге в гору...

Бывало, осенью, перед ледоставом, снегом озеро обуранит, сала нагонит, заторосит, и тут морозы. Лед дыбком. Дорога санная по озеру – мука мученическая. Воза с сеном опрокидывает. Вот и тут. Всего ничего протащились – хлесь! Сани мои наперекосяк, кули с саней кувырком. Тпру, холера! Взялась ворочать кули, ворочаю, коня ругаю, себя костерю, с трактористов-диверсантов заодно душу вынаю. Варька рядом суетится, норовит помочь.

– Отойди, – говорю, – глупая, не хватайся. Да не хватайся, холера тебя!.. Вон, глянь, бежит сюда кто-то, схоронись.

Степанида сверху подходит:

– Чего у тебя, давай подмогну.

– Сама справлюсь, – отвечаю.

– Давай-давай.

Выправили с ней сани, кули уторкали, она уходить было, да как ойкнет:

– Ой, кто это там?

– Где? – будто мне невдомек.

– Да взади, взади. За тем конем. Человек нито?

– Варька это Игнатьева, – бормочу. – На Рудник со мной попросилась.

– Варька? Чего ей?

– Не знаю, тетку проведать, ли чего.

Степанида головой закрутила:

– Но Марья, но Марья, рисковая ты баба. Ведь постановление было... Ладно, твое личное дело. С конями только полегше, у Ганьки вон один уже охромел.

Сказала – и к своим возам. Тронули и мы с Варькой. Продернулись еще с полгоры, передний мой – все, стал – и ни в какую. Сбросила я рукавицу с руки, руку на холку ему, холка потная да горячая, жилки так и трепещут. Господи, думаю, упадет – не подынешь. Бичика даже в руках не держу, под кули упрягала, осердится бичика – вовсе с места не собьешь. Одна надежда на сознательность. Уговариваю: отдохни, наберись. Косит глазом, ушами прядет, понимает. Постоял он, постоял, вздохнул, ну будто человек, сапнул – и ходу. И пошел, и пошел, и пошел! Ах ты, умница. А за ним и второй... Убились, пока наверх выбрались.

Стали, стоим отдыхиваемся. Варька тут как прискочит: «А где мой узелок?» Какой узелок? Нет узелка. Посеяли! Чуть не плачет, побежала, нельзя ей без узелка. А луна уже на сходе, и морок вокруг луны, мгла. Не отыщет девка узелка! Стою жду. Подходит Ипполит:

– Чего стоишь, воза не растрясла? Ганька вон, раззява, два куля подрал. Коней с перепоту застудишь. Мы трогаем, долго тут не чикайся.

Я ему:

– Поезжайте, я тут по своему делу, нагоню.

Ладно, ушел. Нету Варьки, ой нету! Я на спину коню – свой тулуп, на второго – какую-то рванинку. И впрямь бы не застудить. А сама вниз, за Варькой следом.

Сбежала дотуда, где нас опрокинуло, приглядываюсь. Сидит моя Варька на глызе, узелок свой к животу прижимает. Нашелся, слава тебе...

– Чего ты, Варь? Чего рассиживаешь-то?

– Не знаю, – отвечает, а в голосе испуг. – Я счас, я маленько... Ноги чего-то осеклись.

Присела рядом, а плечико у нее и сквозь шубейку, и сквозь чего-то еще там пододетое – как шильце востренькое. Но ровно я Ольку свою двенадцатилетнюю обнимаю. Ох, Варька, ну какому стервецу слаборукому ты понадобилась, баб рази мало?

– Посиди, посиди, – говорю, – оклемайся. Куда лететь было так из-за узелка... Он-то, ну который... про это знает?

– Про чего, тетя Мария?

- Про чего, про чего. Не понимаешь будто – про чего.
- Нет, – бормочет, отворачивается, – откудова же?
- Да оттудова, глупая, неразумная! Чего ж он?.. Глаза его срамные.

Или вы уж не встречаетесь?

Пошевелила она плечиком, отстранилась и как в рот воды, ни слова. Ну, молчи.

Посидели. Поднялись, побрела она, свята душа на костылях, хром-хром. Я узелок отняла, саму под локоть веду. Кони услышали нас, запереступали, зафукали. Боялась – а вот уйдут? Нет, не ушли, умницы. Разбросила я тулуп, заставила прилечь, тулупом и прикрыла. Кони застоялись, резво пошли. Вот и Малая Алчедатка зачернела. Живого голоса не слышать, скотина не ревнет, собака не гавкнет, все спит, все вымерло. Проехали Алчедатку. Дорога в Кию упала, но – скоро своих нагоним. А тут ветер-тягун вдоль поймы, вдоль льда, встречу нам, ой, дух в груди перехватывает. Не успеваю коням носы обтирать. И сама – то перебежкой, то вздпятки – щеки живьем сдирает!

Варька зашевелилась, под тулупом засуёжилась, слышу – окликает.

– Чего ты, Варь? Замерзла?

А у нее шаль сбилась на лицо, разгребает руками, разгребает, никак не может.

– Ты лежи, лежи, – говорю, – если не замерзла. Тут сплошь равнина, колея наезжена...

А она разгребла, шепчет губами:

– Больно мне...

Ногу, может, сильно подвернула, когда за узелком бежала, ли как уж?

– Да где больно-то? – спрашиваю: мне сразу-то ни в голову.

Она молчала, молчала, после:

– Всяё больно, тетя Мария, всюё изрывает...

Меня как бухом. Ох, господи, всюё!

– Ничо, Варь, ничо, – утешаю, – так бывает, потерпи, отпустит. Вот я сдвину куль, а ты вытяни ноги. Ноги-то вытяни, ляг попросторней. Давай-ка тебе шаль поправлю.

Да где наши-то, холера их! Не сбились бы кони с пути после Ал-

чедатки, не плутаем ли? Да нет, вот же – на левую руку берег, скалки знакомые по небу проступают – небо-то уж пробрезжило. Коней придержу, послушаю впереди – нет, никого впереди не слышать. А мороз на рассвет так и завинчивает.

Бреду за санями и чего делать – убей не знаю. Кони тащатся, укатались за ночь, морды обынчевели, как в сметане. Думаю: если до Рудника обойдется, потерпится – дак все равно живьем девку заморожу. И уж в мыслях примериваюсь на крайнее: воза разгрузить, рыбу бросить и легкими санями, с одной Варькой – вперед аллюром, пока духу достанет.

По берегу скалки раздвинулись, ложок затуманил, дорога в ложок. Пригляделась, а внизу обоз чернеется, наши стоят, родненькие, от тягуна в ложок попрятались. Костерочек прямо посреди дороги посверкивает. Дожидаются, окаянные!

Бежит навстречу Ипполитушка, тулупом ковыхи метет. И не доходя начинает свои песни играть: «Где тебя чума занесла! Околеваем тут, как собаки подзаборные! Перемать! Хоть коней, слава богу, не погробила!..» И пошел-поехал как по писаному..

– Да живы твои кони, чего им станется, – огрызаюсь, а сама думаю: счас главная канонада начнется, держись, Марья.

– А вот не говори! – кричит. – Не говори! У Ганьки начисто охроме, оттого и стоим, а ты думала!.. Постановили по кулю на всех разбросить.

– Не получится такая раскладка, Ипполит Федосеич.

– Почему не получится? Ты, Марья, гляди мне! Жалеть! Всякому своих жалко. – Подошел, охлapyивает морды коням, а уж так развиднелось. – Да твои пока ничо глядят. Ничо, ничо, ничо, вон какие орлы.

Охлapyивает, упряжь походя трогает, и тут вдруг: под тулупом! Шевелится кто-то! Ажно в столбняк его.

– Кто тут? Чего? Откудова?

Ну я, делать нечего, объясняю. Варька, мол, дочка Веры Игнатьевой, бригадирши нашей, попросилась на Рудник, в больницу.

– Варька Игнатьева? В больницу? У нас что, своего пункта нету? Кто разрешил?

– Ты погоди, не разоряйся! Я же говорю: хворая она...

– Хворая?! – взвился Ипполит. – Выезжали – никакой не было! Вчера еще утром возле конторы вертелась, што-то хвори в ей не наблюдалось. Коней ухайдакали, страшно глядеть! Кто разрешил самовольство, спрашиваю?.. Ты у меня, Мария, ответишь. Вы у меня обое ответите, по закону военного времени! А ну, вылазь с-под тулупа! Вот бичом задницу опояшу, моментом выздоровеешь!

К саням подскочил и уж за тулуп было схватил – сдернуть. Кинулась я, отпихнула (меня ведь тоже только раззадорь!), кричу:

– Ты чего, председатель, ополоумел? Гляди!

И сама тулуп откинула. А у Варьки уж губы жаром обнесло и глаза как в яме.

Сел он на обводину саней, бичом скрученным по голенищу хлесь!

– От эли бы ты, Марья, была мужуком, я б тебе сказал, кто ты такая есть! – Сплюнул в сердцах, после поостыл малость, спрашивает: – Ладно, што за хворь-то ее обуяла?

Тут и Степанида подошла, и Ганька, раскрывши рот, стоит.

Да, вижу, делать нечего, маскировка моя прахом пошла, говорю:

– В положенье она, Варька-то.

Ипполит мой Федосеич, бедный, глаза на лоб:

– Што-о?!

– А то самое, что сказала. Я, конечно, виноватая, не хочу успорять, дак с меня спрос после. А сейчас девку спасать надо от беды, в болях уж она. Разгрузите мне одного коня, тогда я, может, ее успею.

Ипполит руками за голову, прямо-таки в стон:

– Куды разгрузить? Посреди пути? Шутка в деле, шешнадцать пудов сига и хайруза на отбор! Фонд обороны! Пока обернемся – тут растащут все, расфулюганют. Кто ответ держать будет?

– Давайте Ганьку оставим. Его-то воз тоже облегчать надо.

– Как же! Останется!

– Ганя, – говорю, – останешься, покараулишь?

Ганька носом зашмыгал, глаза сбьчил на сторону:

– Не, боязно мне тут.

– Да кого бояться-то? – говорю. – Вон уж развиднелось почти. Раз-ве собака промхозовская прибежит, дак ты ее палкой. Я вот тебе – свой мешочек с провиантом, будешь костерок палить, чай варить будешь.

– А как вы в ночь не воротитесь?

– Да куда мы денемся, шальной!

Молчит Ганька, сопит, пимом глызу примороженную обпинывает. Степанида, смотрю, подошла и ему тихо:

– Ганечка, родненький, золотко, или не мужик ты, ведь помрет Варька...

Сопел, сопел, надувался, потом говорит:

– Пускай, – говорит, – мне Ипполит Федосеич кресало свое даст. А то костер загаснет, а у меня распалить нечем.

Слава тебе, уговорился!

Ипполит наш сидел, сидел, горбатился, после махнул и сказал, да кручинно так:

– Мне с вами, девья, две стратегии впереди маячут: или на подсудимую скамью, или в сумасшедшую палату. Чума с вами, разгружайте моего передового, он покрепше других будет.

Соскребла я со всего обозу всю соломку, какая отыскалась, все рванинки, все рогожки, укрыла Варьку, с боков обтыкала – и дуй не стой! Конь с легкими санками бодро пошел, машисто. Выскочили из ложка, дорога снова в коренной берег, не успела вожжи разобрать, как следует усесться, – оглянулась, а наших позади и не видеть.

Проехали сколько-то, заглядываю под тулуп, а у Варьки шаль опять на лицо, дышать не дает. Подсовываю под щеку, поправляю, а щека – ладонью чую – мокрая.

– Ты чего – плачешь?

И заплакала, заплакала моя Варька!

– Теперь-то плакать чего? – говорю. – Чего плакать-то? Вишь как едем. Весело! Вон, кажись, и подвесной мост виднеется. Минуем его, а там и делов-то! Ты только не замерзай, шевелись, чувствуй себя. Дай закрою хорошенько.

– Нет, тетя Мария, не закрывай, чего-то страшно мне, я лучше глядеть буду. – Глядела, глядела да и забормотала: – Я что тебе хочу... Ты

зря о нем так плохо. Не знает он ничего, и не виноват он вовсе...

Господи, о ком я плохо? Кто не виноват? И чего плохо-то? Неужли девка заговариваться стала?

– Лежи, лежи, – шепчу, наклонилась. – Ничего, теперь дотянем.

Она затихла, глаза сожмурила, потом вдруг:

– Теть Мария, я помру?

– Что ты, дурочка, разве от этого помирают? Нас бы уж не было. Доктора рудничные счас за тебя примутся, только держись. Они небось по этой работе наскучились.

А она свое:

– ...помру, а ты будешь думать, мамка тоже... все будут... – Помолчала, потом: – Помнишь, прошлым летом, под осень, двое к тебе попросились, один хворый...

– Двое-то? Как не помнить, помню.

И только она проговорила: «В прошлом году, мол, двое...» – тут-то меня в момент, голову мою несдогадливую и озарило!

Прошлым летом, верно...

Сижу как-то за починкой, а уж темь на дворе, и с утра моросит. Стучатся. Кого, думаю, несет? Отворяю: стоят двое. Один вроде старик, а второй молоденький, лет восемнадцать. Мокрехонькие оба, у старого аж с бороды ручьем. Говорит:

– Приисковые мы, хозяйка, не пустишь до утра, напарник мой вот занемог чего-то.

– Да уж входите, куда вас...

Обсушились они, чаю попили. А которого я за старика приняла, как сел проть лампы – ему и сорока пяти годов не оказалось: дак сезон не брился!

Наутро встаем, а парнишка – его Володькой звали – лежит на полу на ряднинке, разметался весь, лоб как печка. Я руку положила – дак каленая! День проходит, другой – никакого облегчения. Старший тут заперевивал, говорит: «Хозяйка, мне дольше тут никак нельзя, позволь Володьку у тебя оставить. Нам послезавтра на призыве быть. Как бы нас в дезертиры не зачислили».

Думаю: чего ж, куда такого, пусть остается.

Лежит неделю, десять дней, фельшерлица прибежит, какое-то втирание даст, а парень все пластом.

У меня домишко – одна горенка да запечная загородка. И повертелась эти десять дней! Тут на свою-то ораву рук не хватает. Но ладно, как я дома, а как на озере, на тоне? Пришлось Варьке Игнатьевой кланяться, а на ней ведь и без того бабка. Да Варька – девка золотая, безотказная. Бегала она к нам, бегала, присматривала, да тоже – много ли набегаешь, когда и в цеху работа. Раз говорит:

– Теть Мария, ну чего мы эдак хворого человека мучаем, давай уж к нам. У нас дом, считай, пустой, и мне сподручней: где за одним пригляд, там и за двумя.

– Ой, Варенька, спасибо!

Скачу днями к Игнатьевым, курник состряпала своему больному. Смотрю – Володька на приступочке сидит, глаза внутрь укатили, как старичок на солнышко жмурится, ожил, бедолага! Недели через две или как ли зашел попрощаться (и Варька с ним рядом). Помню, еще сказал: «Жив останусь – свидимся». И Варьку так за плечико приобнял, она аж засветилась. Я тому не придала: благодарность человек выказывает! С тем и отбыл...

– Варь, а Варь, – спрашиваю осторожно. – Он-то, Володька, тебе пишет?

Она губы покусала-покусала, заморщилась, шепчет:

– Одно с дороги было.

– Одно и все?

– Одно, теть Мария. В узелке вон со мной лежит.

– Так у тебя что, и адреса его нету?

Катнула она молчком головой: нету, значит. Ах ты, господи...

– Я, – говорит, – напросилась с тобой еще потому, что на Руднике Володины отец-мать живут. Думаю: может, у них есть...

Ой, девка, святая душа, может, и есть, может, и есть...

Но – доехали мы, на раннем солнышке, она уж подпослед голоса не давала. Там санитарки с носилками, прямо с тудупом – на носилки,

унесли... Унесли мою Варьку! Осталась я столбом посреди двора, стою. Коня разнуздали, соломки бросила, а он не соломку, а снег хватает.

Вышла санитарка, тулуп в руках:

– Заберите.

– Да жива ли хоть? – кидаюсь к ней.

– Жива, жива, одежда есть ли какая, документы – давайте.

Я к саням, узелок ее распустила, там бумажки в платочек завернуты, перебрала, нашла письмо, угольничек потертый, прочитала обратную фамилию – Кравчук. Узелок санитарке протягиваю. Тут, мол, бельишко ее, гребень, справки какие-нито, денег двадцать пять рублей, две рыбки...

Где дом Кравчуков, мне возле рудоуправления двое мальчишек сразу показали: белые ставни и труба, тож побеленная, – далеко видать. Сам рудник-то в подошве горы, в сограх, а улицы, а дворы – на косогору влезли. А на Кравчуков двор, как на ласткино гнездо, и смотреть-то – голову заламя!

Ладно еще – снег только за солнышком где сохранился, а так уж по всему косогору гольная земля. Как тут гололедом ходят не убиваются? Пока закарабкалась, сопрела, как паренка. Стучу – никакого отзыва. Толкнула дверь – не заперто, вошла. У печи женщина, в ведре замешивает, платок клетчатый козырьком, пожилая из себя. Радио на стенке играет. Поздоровалась я, говорю:

– Вы меня не знаете, я со Златогорки...

Она мешалку отставила, руки об фартук.

– Ох те, я и не слышу, и не бачу, как вошла-то. Ну-ка я радиво, погоди, выткну.

Говорит, да интересно так, вроде с напевкой, и слова по-хохляцки выворачивает, мне и не передать.

– Прошлым летом, – говорю, – Володя ваш, как с прииска шел на призыв да захворал, у меня в семье десять дней оставался.

Она:

– Да ненаглядка ты моя, сынок нам про то рассказывал! Да спасибочки-то вам, добрая вы женщина. Сымай шубу, садись, я вот варенца

гличик из печи выну, сидать будемо. Старика вот разбужу, с ночи он...  
Правду сказать, молчун он у нас, слова не докупишься.

А из-за шторки кряхтенье:

– Не сплю, Остаповна, зараз я.

– Ой, выйди, Степану, тут гостья, про Володеньку мы...

Вышел Степан, рубаху застегивает, под рубахой цепка блестит. В вере, значит. Сел, газету на сигарку ногтем рвет. Бритый такой, в усах, а лицо худое, оспенное. И вправду, молчун: сел, сколько сидел, только «доброе вам здоровьица» и вымолвил.

Я к главному хочу подступиться. Что, мол, там Володя, где теперь, чего пишет?

Остаповна как раз рогачом из печи гличик вынимала. Отставила она рогач, села на лавку, в передник засморкалась, завсхлипывала:

– Да одна-единственная весточка и была. Еще ж с пути, с эшелону.

– И больше никаких известий?

– Ох, да ненаглядка моя, нияких. Тому, считай, пять мисяцив нияких. – Поднялась, достает из-за зеркала угольничек, точь-в-точь как у Варьки в узелке. – Я вже Степана к военкому засылала, у военкома усе один ответ: сведений не имеется... Мабудь, на особом заданье?

А Степан ни слова, только слушает да сигаркой: пфу, пфу.

Я киваю и про своего Пашу рассказываю. Полгода тоже не было известий, чего не передумала, а потом объявился. И у вас так же будет, вот увидите.

Остаповна глаза вытерла, говорит:

– Да спасибочки тебе на добром слове. Ведь совсем хлопчик он у нас, поздно мы его народили, це так життя наша окаянная сложилась...

Степан на это плечами зашевелил, она про жизнь и осеклась. Выпила я кружку варенца, спасибо, стала прощаться. Остаповна опять в слезы... Ну – попрощались. Я адрес свой оставила, мол, случится от Володи весточка, сообщите, очень прошу, ждать буду. Степан, гляжу, следом, ноги в пимы, за мной на улицу – проводить.

Вышли, он оглянулся так на дверь – и мне:

– Слушайте, ходемте сюды!

И сам поворачивает к пристройкам, к сараюшкам во дворе.

Пошла за ним, а ума не приберу – зачем. Он впереди молчком, пи-мами в галошах шорк-шорк, лопатки под рубахой взгорбил – но ровно коршун, когда глядит, где бы цыпушку сплоха унести! Я аж обробела иду.

Заводит он меня через порог в потемки, в горесь банную, захолоде-дую, оконце низенькое блестит. В баньке мы! Дверь притворил, боком оборачивается, сел. И гляжу, сел и цепку из пазухи вытягивает... Вытягивает-то он цепку, а возле крестика на цепке – гаманочек кожаный. Такие я прежде у золотых старателей только видела. Развязывает гаманочек, а руками не владеет, трясутся руки-то, пальцы-то! Да господи... Развязал, протягивает, все молчком, все молчком! Гляжу, бумажка серенькая, пробочкой свернутая. Я к оконцу ближе. Расправила пробочку, развернула в листочек...

Прочитала – и стою как под громом, к оконной притолоке склонилась.

Стук за спиной, аж сдрогнула! Оборачиваюсь, а Степан сидит и, господи, затылком об стену, об стену, об стену!.. Лицо черное, страшное, и кадык в горле костью прыгает. И слезы по щекам, по морщинам, в усы.

Дак вот как мужики-молчуны плачут, вот как они плачут, каменные...

И здесь я, в холодной баньке этой сидючи, не сдержалась и в утешение – или как уж там вышло, не знаю, – Степану про Варьку с Володей, про их ребеночка нечаянного как есть все и рассказала...

Родила Варька мальчишку, совсем слабенького да хиленького, думали – не жилец. Дак нет, выжил, выходился, месяцев пять на с'оске висел (у матери молока-то не хватало), такой сбитень стал, на удивленье.

1982

## ИСКУШЕНИЕ СОРОК ПЯТОГО ГОДА

На календаре – последний военный январь. Сводки с фронта летят победные, а январь здесь, в глубоком сибирском тылу, ведет себя – ну как последний диверсант. То обрушивается на город небывалым гололедом, рвет провода, погружая целые кварталы во тьму, загуливает вьюгой, и тогда вязнут в заносах трамваи, битком набитые рабочими сменами металлургического комбината, буксуют посреди улиц грузовики.

В одно из тех январских утр меня привычно будит сестра Тоня – перед тем как самой побежать на курсы медсестер: «А ну, подымайся при мне, живо, опять ведь задрыхнешь, знаю тебя!»

Застилая кое-как постель, еще полусонный, я вяло сдергиваю за ухо подушку и – замираю в легком столбняке: под подушкой яблоко...

Из меня мигом вылетают остатки сна.

Яблоко?! Елки-моталки! Крупное, румяное, какое мне в мои десять с половиной приходилось видеть разве что на картинке. Неужели настоящее? Я беру его в обе ладони – гладкое и прохладное, увесистое. Подношу к лицу, запах – сказочный.

Завтракая на кухне в одиночестве, кладу яблоко поодаль. Смотрю на него. Пристально, почти замороженно. Жую при этом оставленный мне сестрой ломтик комбинированного хлеба, тоненько смазанный горклым маргарином.

Отставляя стакан с чаем, беру яблоко, обнюхиваю по-собачьи, как бы приноравливаясь, с какого боку куснуть. Обнюхиваю. И возвращаю на место. Исключительно силой воли, которую я с некоторых пор стал в себе культивировать.

Мама наша работает в госпитале, кастеляншей. Работы, жалуется, «гибель». Госпиталь далеко, мама приходит поздно – когда я уже сплю, а уходит рано – когда я еще сплю. Если трамвай ломается, что бывает частенько, она вовсе не приезжает, ночует там на мешках с бельем. Мы с ней редко видимся, и мне ее жалко.

Яблоко под подушкой – это, конечно, мама. Как-то я таким же манером нашел пряник, а после еще петушка на палочке. Но где она раздобыла среди голодной зимы яблоко?..

Вскоре я с брезентовой сумкой через плечо бреду по еще сумеречной, переметенной снежными горбами улице. Яблоко во внутреннем кармане ватной шубейки приятно надавливает бок.

Желание слопать с ходу фантастический фрукт этот я не без труда, но одолел. Все-таки сила воли – не баран чихнул. Да я и не какой-то там Васька Утусик с предпоследней парты, который нет-нет да притащит в класс что-нибудь, а потом, отвернувшись в окно, тайно поглощает. И надо быть круглым дураком, чтобы не сообразить, что тебя, жадюгу, с потрохами выдают твои шевелящиеся уши.

Мне ничего никогда не удавалось принести. Как и многим в классе. Нам нечего было приносить. Да теперь-то у меня есть! И я несу. Такое, такое!.. Но я поступаю, конечно же, иначе...

Надо сказать, что с первых же недель войны в городе были введены продуктовые карточки. Школьникам меж тем стали выдавать хлеб дополнительно, сверх карточного. В наш класс притаскивает поднос с 50-граммовыми пайками староста Костя Кукушкин. Пацан ниче так, толковый, шустрый. Эвакуированный из Донбасса. А честнога, честнога, аж противно.

На большой перемене Костя поскачет в хлеборезку. Я догоню его в коридоре и скажу: «Кукушкин, – скажу, – на-ка вот это, – и протяну яблоко, – разрежь там на дольки и положи на каждую пайку по дольке, понял? Вон оно какое, в карман не влезло». Кукушкин страшно удивится. Нет, он просто опупеет: «Что-о? Настоящее? Да откуда у тебя? Фантастика! И тебе не жалко?» А я ему: «Да ни на грамм!» И добавлю небрежно: «Хоть вспомните, как пахнет заморский фрукт, а я уже нанюхался!» И Кукушкин, всегда надутый такой при своей хлебной должности, скажет: «Ты молоток! С тобой бы я в разведку пошел» – или что-нибудь в том же духе...

В раздевалке, повесив шубейку, прячу яблоко в сумку с учебниками.

Туда же – рукавички-вязанки. Вход в раздевалку до начала уроков открыт, и карманы, случается, чистят.

Большая перемена – после третьего урока. Надо ли говорить, что учебный процесс первых двух прошел как-то мимо меня. Сижу, добро-

совестно тарашусь на доску. И во всех мыслимых деталях обкатываю план моего грядущего триумфа.

Но вот захожу я после второй переменки в класс – и первое, что вижу: уткнувшись в дальнее (заледенелое!) окно, стоит меж собственных ушей Васька Утусик. И уши его, розово просвеченные, как витражи, плотоядно шевелятся...

У меня аж глаза остолбенели! Как же я забыл про Утусика! Получается, на хлебную пайку этого жадюги и скупердяя тоже ляжет ароматная долька моего яблока? Елкин пень! Неужели свершится такая вопиющая несправедливость?!

Весь третий урок я просиживаю – вернее, проерзываю – терзаемый столь горестным для меня открытием.

А что, если шепнуть Косте Кукушкину: на пайку Утусика дольку не клади!.. И тут же спохватываюсь. Ну да! Честнога этот несчастный, эвакуированный, еще разорется на весь коридор.

Снова сижу думаю, изо всех сил.

Звонок на долгожданную большую перемену! Костя Кукушкин первым, как всегда, срывается, мчит в хлеборезку. Только вот я почему-то не вскакиваю, не бегу вдогон. Сижу как отмороженный. И думаю, думаю. Голова прям как чумовая сделалась.

Кукушкин возвращается, на растопыренных руках поднос с хлебной горкой. Важно, с чувством невероятной ответственности плывет вдоль парт. Каждый ухватывает с подноса кусочек.

Я тоже беру свои законные пятьдесят граммов, с довеском, приколотым щепочкой, и стараюсь не смотреть при этом Кукушкину в лицо. Будто крепко обманул его только что и он по убегающим моим зрочкам может раскусить мою сущность.

Новый удар под дых я получаю со звонком на следующий, то есть четвертый, урок. А четвертый, елки, физкультура! Это значит – в спорткласс. Значит, черт побери, оставлять все здесь – сумки, портфели. Идти без ничего!.. А как же яблоко?!

Тут-то я и завертелся, как червяк на муравейнике. Оставить в сумке? Удернут. Как пить дать удернут. Кто дежурный-то, который остает-

ся в классе сторожить наши шмотки? Мамлеева? Моя соседка по парте? Она-то первая и удернет! Недаром же, когда я лазил в сумку взять то учебник, то ручку, она носом крутила. Наверняка унюхала!

Класс быстро пустеет. Остались двое: дежурная Мамлеева, вытиравшая в эту минуту доску, и я – со своим увесистым заморским фруктом в сумке. Дурак дураком.

Кажется, с триумфом придется погодить. Где бы тихомолком уж слопать его, что ли, думаю с тоской я.

Мамлеева от доски оглядывается на меня. Чего, вроде того что, рас-сиживаешь один, закосить от физкультуры хочешь? А знаешь, что за это бывает?.. Умная какая нашлась.

И тут только меня озаряет: наш школьный дровяник!

Торопливо (минуты-то идут!) достаю из сумки рукавицу-вязанку. На ощупь под партой запикиваю в нее яблоко. Едва влезло. Мамлеева у доски косит глазом. Я прям спотел.

Выбегаю за двери. Мамлеева, зануда, тарашится вслед: че это такая пузатая в моей руке варезка?.. Ну какое твое свинячье дело!..

Крадусь к выходу во двор. Только бы на завуча не налететь: на «линейке позора» завтра настоишься. Выскакиваю на крыльцо. Вижу, дровяник, как всегда, распахнут. Но в сумраке его кто-то деловито копошится. Ну, конечно же, наш истопник дядя Петя. Снова невезуха!

Щеки мои и уши кусает морозец.

В углу заснеженного школьного двора, под пышной белой шапкой – дощатый домик с отдушиной-трубой. К нему свежая дорожка. Затравленно, как приговоренный, смотрю туда. «Туда?! Ни за что!..» И через секунды жутких колебаний мчусь, хватаясь за уши, именно «туда». Больше-то тут – куда?

Набрасываю за собой крючок. Проволочный крючок, перегнутый сто раз, предательски слетает. Осматриваюсь, придавленный «обстановкой». Под ногами ледяная желтизна, стены по старой побелке исписаны гадостями, а запах! Будто попал сюда впервые... Но и здесь тянуть резину нельзя. Как бы не приспичило кому.

Выдавливаю из рукавички яблоко. Скорей! Какое все-таки оно большое, где такие растут? Зажмуриваюсь и впиваю зубы в его тугой, сочный бок. Грызу с хрустом, с чавканьем, сок бежит по моим губам.

Внезапно ловлю напряженным слухом отдаленное: скрип-скрип. Приникаю к дверной щели. Так и знал! По расчищенной дорожке скрипит-шкандыбают истопник дядя Петя... Ну, елки, почему мне сегодня так не везет?..

Дядя Петя потерял на фронте ногу. Теперь у него вместо ноги круглая деревяшка. Ковыляет он перевалисто, с опаской, боясь поскользнуться. И я ловлю себя на отвратительной мысли, что радуюсь, что у него вместо ноги деревяшка – подольше протащится!

Сам я весь, от головы до пяток, становлюсь как в крапивной лихорадке. Жру это несчастное яблоко с остервенением преступника, избавляющего себя от улики. Глотаю непрожеванное. При том что вкус мой и обоняние начисто парализованы стылым ароматом зимнего отхожего места.

Боль в деснах. Запихиваю в рот последний огрызок – мельком вижу на нем розоватый след прикуса. Кровь? Отчего?! Едва не давлюсь при этом. На глазах моих слезы. Мама, мама, зачем ты положила мне это яблоко...

Входит тяжело, со скрипом, дядя Петя. Я торопливо дожевываю, поворачиваясь к стене. Делаю вид, что застегиваюсь. И вдруг со стыдом и отчаянием осознаю, что дядя Петя видит, как предательски шевелятся мои уши...

К школьному крыльцу я плетусь с тяжестью в желудке. Точно кусок свинца проглотил. Стою в дверях спорткласса, держась за живот. С ужасно жалким выражением на лице. Причем выражением неподдельным – в эти минуты я по-настоящему жалок. И слезы мои неподдельные, только вот, что называется, крокодиловы...

Учительница:

– Почему опаздываем? Почему слезы? Ты нездоров?.. Милый мой, да на тебе лица нет. Отправляйся-ка лучше домой...

Вечером, когда мы с сестренкой Тоней ужинаем на кухне, едим

картошку в мундире, она неожиданно замечает на моей картофелине розоватые, подозрительные прикусы.

– А ну, дай сюда! – говорит она, отбирая картофелину. Вперивается в меня взглядом: – И давно у тебя?

– Что?

– Кровь из десен, вот что. А ну, открой рот. Шире! – командует Тоня и чайной ложечкой стучит в моих зубах, надавливает холодом ложечки на десны. Хмурится...

К вечеру следующего дня, когда кастрюля с кипящим отваром заполняет кухню горячим смолевым духом сосны, я, почуяв недоброе, делаю попытку ушмыгнуть из дому. Но сестра проявляет бдительность. Отобрав шубейку и шапку, усаживает меня на табурет посреди кухни. Подносит к моему рту эмалированную кружку черно-зеленой, страшно вонючей жидкости, приказывает: «Пей!» Отхлебываю глоток – и чуть не падаю с табурета. Я знал, что отвар этот не мед, но чтобы настолько... Натурально давлюсь теплой тошнотной горечью.

Тоня, стоя надо мной, вбивает в мою взъерошенную макушку усвоенное на медицинских курсах:

– У тебя, дорогой братец-кролик, характерные симптомы цинги. А цинга, если хочешь знать, – это болезнь, вызываемая острой нехваткой витаминов. Ее особенности: сперва ты синеешь, становишься как старая промокашка. Пей, кому говорят! Иначе за шиворот вылью! Затем у тебя происходит выпадение зубов. И ты, дружок, не успеваешь и моргнуть, как в свои десять с половиной превращаешься в бабу-ягу.

Нашла чем пугать! Ты про яблоко еще не знаешь, тоскливо думаю я, косясь в бездонную кружку. И еще думаю: вылет, не вылет? И если все-таки вылет – много ли еще там этой гадости...

...А яблоком этим, действительно сказочным, маму угостил в госпитальной палате раненый капитан, к нему приезжала родственница из Алма-Аты.

## «ОКРУЖЕНЕЦ»

Буровая вышка – на северном отроге горы Большой Каным, район Кузнецкого Алатау. Бульдозер выровнял площадку, повалил и распахал по краям поверженные пихты, земля оголилась. И теперь, как только разбегутся тучки и пригреет солнце, земля парит, как пашня, густо пахнет содранным корьем, папоротником.

Старший мастер Храпов сидит на поваленной лесине, расстегнув спецовку. Сидит, вытянув ноги в литых резиновых сапогах, давая отдых натруженному за смену телу. А смена была тяжелой, аварийной. Мы с ним ждем вездеход, который должен увезти нас вниз, в поселок.

Храпов – фронтовик, почти долгих три года, чуть ли не всю войну, протопал в качестве командира пехотной роты и остался жив, редчайший (подтвердят ветераны) случай. Летом 42-го попал в окружение. Вышел – с десятью бойцами своей роты.

Вездеход из поселка запаздывал, и я, чтобы заполнить паузу, спросил его: что было потом, после выхода?

Храпов снимает кепку, тут же опять надевает. Долго смотрит на носки своих сапог. Рассказывать ему не хочется, но я молча, эгоистично жду, и он:

– Да что было?.. Попал сразу на переформировку. Там полковник. Посмотрел мои бумаги, спрашивает: «Кем последнее время воевал?» – «Командиром стрелковой роты». – «Не учился?» – «Нет, не пришлось». – «Подучиться тебе надо, езжай-ка в училище...» И направил он меня в город Киров. «В распоряжение командира запасной бригады, для определения в пехотное училище» – такая запись была.

Приезжаю в Киров, представился. Командир бригады спрашивает: – «На фронте был?» – «Был, с июля 41-го». – «Командовал ротой?» – «Да, с ноября 41-го». – «А на гражданке, говоришь, учительствовал?» – «Было такое». – «Да милый мой, какая тебе учеба? Ты сам учить должен! У меня таких фронтовиков, как ты, с опытом, раз-два и обчелся. Вот тебе взвод, бери учи».

Стал я командовать курсантским взводом. Ну, мне легко было. Все эти планы, конспекты, устав там, тактика – знакомое же дело. А взвод был, как рота – 70 человек.

Включили меня в тройку военного трибунала, заседателем. И этой работенки немного покушал... Судил-то майор, а я и еще один лейтенант сидели да слушали, ну и подписывали... Какие дела разбирали? Да все больше за дезертирство. Да и дезертирство-то... выскочит солдат на станции за кипятком, а поезд ушел. Патруль его хап – вот тебе и дезертир... Ну, служу, новобранцев обучаю, месяца уже два или три прошло. Вызывает неожиданно комбриг: «В окружении был?» – «Был». – «Где и сколько?» – «В районе Смоленска, десять дней». Покачал он головой, поморщился: десять дней! Берет мое личное дело, запечатывает на пять сургучных печатей. Вручает мне: «Езжай в Суздаль, там обратишься вот по этому адресу». Я спрашиваю: «Что, новое назначение?» Он хмуро: «Да, новое».

Еду в Суздаль, старинный городишко, церкви одни. Спрашиваю на улице у военного: как пройти по такому-то адресу? Показывает: беленький домик, с крылечком. Вхожу, чемоданчик с мелким барахлишком со мной. Сидит подполковник госбезопасности. Подаю свое личное дело, запечатанное. Читает долго. Потом вызывает девушку: «Проводите его». И ни слова больше – куда, зачем? Меня тут беспокойство взяло: почему – госбезопасности? Может, в их войска переводят?

Иду за девушкой, та молчит. Подходим к старой крепости – так я сперва подумал. Высоченная глухая стена, кованые ворота. Глазок в воротах. Часовой у девушки пропуск проверил. Она ему: «А этот – со мной». И приводит меня к капитану. Я спрашиваю, уже напрямки: «В чем дело?». Он говорит: «В окружении был?» – «Был, ну и что? Сам был, сам и вышел». – «А то, что будем тебя просвечивать». Я уже заводиться начал: «Рентгеном, что ли?» – «Вот-вот, – лыбится капитан, – и рентгеном тоже. Так что, если есть за душой что, не прячь, все равно отыщем...»

Обыскали меня, общупали, ремень сняли, погоны. Чемоданчик забрали. Отвели в камеру, в спину бросили: «Без права переписки и выхода на территорию!» А в камере человек пятьдесят, сесть не знаю куда, не то что лечь. Как позже узнал – кто из плена, кто, как и я, окруженцы. Понял я, что закатали меня в суздальскую тюрьму. Сам припрыгал! Наслышан был много о ней... А недавно уже прочитал: в Суз-

дале, в тюрьме той самой, сидел и Паулюс, всем известный. Выходит, мы с фельдмаршалом как бы «односидельцы»...

Две недели прошли. Никуда не вызывают, ниче не спрашивают. Кормят два раза в день – жидкая баланда. Ложки не было, через верх выпивал. Потом – вызывают. Сидит лейтенант. Стал расспрашивать, как я попал в окружение, с кем. Узнал, что я из Сталинска, говорит: «Да мы с тобой, лейтенант, земляки, я из Барнаула! Как дела на родине? Что пишут, кто?» Да тут-то я сразу понял: разговор этот «земляков» – продолжение проверки... Еще ровно месяц просидел. Нас, человек двадцать, которые «рентген» прошли и криминала не дали, выстраивают в тюремном дворе. Когда вывели во двор, чуть не упал, голова от воздуха закружилась...

Выстроили нас, капитан тот лыбистый речь сказал. Направляетесь, мол, для продолжения службы, надеемся, что будете служить так же честно и добросовестно... Ну, и так далее. А среди нас и майоры были, и подполковник один. Накормили «довоенным» обедом – первое, второе, третье. И строем под оркестр из тюрьмы вывели... А еще через месяц с небольшим я снова был на фронте... Командиром роты...

Храпов умолкает, оглядывается на гудящую вышку. Потом долго смотрит вниз, в разлогу. Там никакого движения. И мне кажется, что смотрит он не в разлогу, а в свое прошлое.

Я не сдерживаюсь – и с журналистской настырностью:

– А как получилось, что всю войну лейтенантом и в одной должности? Я слышал, на фронте каждые три-четыре месяца в боевых условиях – по звездочке прибавляли. Неуж вас ни разу не представили?

– Да представляли... Как дойдут до графы: «Был ли в плену, в окружении?» – так и стоп-команда.

– Это за десять-то дней?!

Храпов молчит. Военные воспоминания действуют на него угнетающе.

Буровая после аварии уже два часа как снова в работе, станок гудит – все, кажется, в порядке. Но Храпов, по всему видать, не может

успокоиться. Сменный мастер, молодой и неопытный, допустивший аварию, – его ученик. Способный, старательный, но – с кем не бывает!

Храпов снова снимает кепку, ладонью приглаживает слипшиеся от пота поредевшие волосы. Стаскивает раскалившиеся на солнце сапоги. На правой ноге, от лодыжки – белые строчки шрамов. Он массирует ногу, морщится, шевелит на ветерке пальцами.

– Ранение? – спрашиваю я. – И что? До сих пор болит?

– Да не то что болит, а как бы тянет. Особо когда смену на ногах попляшешь. Да это что... Вот когда мне хирург осколок отсюда вынимал... – Храпов говорит и при этом тщательно обматывает, должно быть, еще по солдатской привычке, вокруг голенищ влажные портянки. – Приклеил на окно снимок, заморозил мне ногу. Я лежу, смотрю... Долго он ковырялся, долотом колотил. Не может вытащить, потерял осколок. Кровью все залило. Командует: тащите его под рентген. Там сунули зонд до самого осколка. Принесли обратно на стол. Хирург по зонду пошел и снова «заблудился». А замораживание стало уже силу терять. Боль несусветная. Подо мной все от пота мокрое, хоть выжимай. Снова меня под рентген, и прямо там, под рентгеном, хирург стал продолжать.

Рядом сестричка. Я говорю: можно я за вас держаться буду, не могу больше терпеть. Она руку протягивает. Ухватился я выше локтя ей. И как мне уж совсем невмоготу станет, я пальцы стисну – вроде легче мне. Наконец хирург выдернул осколок, пот с него тоже градом. Бросил осколок в чашку. На, говорит, твой подарок. И сестре: перевязывайте! И ушел. Утром сестра подходит – смотрю, а у нее, родненькой, выше локтя пять черных синяков от моих пальцев...

Снизу донеслось долгожданное жужжание взбирающегося на гору вездехода. Храпов стал обуваться.

– Вот что, – говорит он неожиданно, – ты поезжай, а я, наверное, задержусь еще.

– Как «задержусь»? Ведь транспорта на поселок больше не будет.

– Ничего, – отвечает. – Я пешочком, потихоньку.

– Да справится он без вас, – убеждаю. – Эта авария ему знаете какой урок!..

Вместо ответа Храпов улыбается, протягивает мне руку. Рука его темна от соляра, перевита венами. Пожатие короткое, но крепкое, хватистое.

И я пытаюсь представить себе госпитальных сестричек, слабых женщин, которые так просто, буднично брали себе часть боли таких прочных мужиков, как старший буровой мастер Иван Николаевич Храпов.

(«Судьбы солдатские», 1993)

## БЕЗ ЛЮБОВИ ПРОЖИТЬ МОЖНО?

Если бы она пришла днем, как обещала, и покормила его, он ни за что не полез бы на эту полку и не уронил эту банку. Да и не ронял он ее вовсе, даже не притронулся. Сама уронилась.

Как все было? Утром она проспала (она часто просыпала), подхватила, побежала по комнате, шлепая голыми пятками, отчего он и проснулся. Уходя, она наказала ему, чтобы ел в кастрюле картошку и пил чай на плитке. В обед прискочит принесет чего-нибудь. Но чтобы плитку включать не смел. «Руки одеру!» – пригрозила уже с порога, и дверь за ней захлопнулась.

Она спросонок забыла: картошку он доел еще вчера. Сейчас он выскреб ложкой пригорелые остатки, попил стылого чаю и занялся игрушками. Их у него было много. Во-первых, толстая пластмассовая рыба-кит (такая толстая, что могла быть и барабаном, если крепко колотить по ней чем-нибудь), во-вторых, железная корзина из-под бутылок. Эта тяжелая штуковина могла быть чем угодно, но лучше всего – самосвалом. По крайней мере, громыхала по полу, когда потащишь, ну прямо настоящий самосвал. Потом – два колесика и к ним обломок лыжной палки с наконечником. Колеса надевались на палку, а можно было катать и так. Ну и еще кое-что. Например, старый резиновый мяч.

Если выдавить из него воздух и сплюснутый надеть на голову, то мяч сам надуется и спрыгнет с головы, как живой.

Однако играть что-то не хотелось. Он посмотрел на стрелки часов. Она придет, когда обе стрелки соединятся в самом верху. Сейчас до верха еще вон сколько. На стрелки долго смотреть не стал, ибо знал по опыту: когда смотришь долго, они перестают двигаться.

Он решил погулять по двору, за пределы которого ему также под страхом наказания выходить запрещалось. Деревянный дом их стоял в ряду улицы, зажатой двумя пригородными дорогами. С одной стороны день и ночь гремели поезда, с другой – с ревом и дымом устрашающе проносились машины. От больших домов за переездом часто долетали гулкие ритмические вздохи свай-бабы: оп-па! оп-па!

Внизу за огородом, заросшим лебедой и пушистым, теплым от солнца чертополохом, протекал ручей. К нему подходить тоже нельзя («Узнаю, возьму прут, бока налуплю!»). Но он подходил, конечно. Из-за мути угольного шлака дно не просматривалось, отчего ручей казался глубоким, жутковато пугающим и в то же время манящим.

Он не утерпел однажды, забрел в него по колено, долго, заворуженно смотрел на быструю щекочущую воду – закружилась голова и он упал на четвереньки, едва не захлебнулся при этом. Выполз на берег, и его тут же стало тошнить. Он не понимал, что с ним, сильно напугался, уполз в огородную траву, там долго лежал.

К враждебности рычащих по дороге самосвалов, острых камней шлака во дворе прибавилась враждебность ручья.

Двор – маленький, голый, с белесой от придорожной пыли травкой и белесыми же сникшими головками одуванчиков вдоль ограды из кривых штакетин. В дальнем конце приткнулась большая, сбита из досок собачья конура. Стояла она тут давно, с тех пор как он помнит себя. В ней обитал приبلудный пес по кличке Пират – большой, под стать будке, и, должно быть, старый, со слезящимися глазами, весь в пучках линиялой шерсти.

Он изредка выносил ему кусочек хлеба или картофелину. Пират одним махом сглатывал подношение, и чувство голода от этих скромных

угощений только обострялось. Но все равно Пират был в лучшем положении, чем он. Если псу становилось совсем неважно, он мог сбегать на промысел к большим домам за переездом, к мусорным бакам во дворах. Это зимой. А летом кроме того порыть мышей в огороде. Вот и сейчас Пирата в конуре не было – значит, промышляет.

Он подошел к ограде. У него была большая, не по тщедушному телу голова, оттопыренные уши. Он сунул голову меж двух разошедшихся штакетин – куда пролезла, – стал глядеть на улицу. Машины пронеслись, вздувая и волоча облака пыли. Мимо по обочине, как бы крадучись, пробежали изредка прохожие. Машин было много, а людей мало, лучше бы наоборот.

Вот показалась высокая голенастая девочка с пластиковым ярким пакетом в руках. Сквозь пластик просвечивали яблоки.

Он протянул из штакетника растопыренную пятерню. Девочка удивленно посмотрела, достала из пакета яблоко. Он молча схватил его грязной лапкой.

Девочка наклонилась к нему, большеголовому, смешному, в обвисших, как лягушачья кожа, колготках, назидательно спросила:

– А что нужно при этом сказать?

Он на всякий случай быстро надкусил яблоко, чтобы не отобрала.

– Ты не знаешь, что при этом нужно сказать? – противным голосом повторила она с улыбкой. – Ай-яй-яй!

– Стерва, – сказал он набитым ртом. – Я тебе всю морду побью.

Высокая девочка ужасно покраснела, оглянулась зачем-то по сторонам, торопливо ушла.

Вскоре прошагали два огромных дядьки, громко разговаривали, его за штакетником даже не заметили.

Долго обочина пустовала, только страшно рычащие самосвалы взад-вперед пронеслись, сорили на дорогу то углем, то гравием. Когда же с ним поравнялась толстая бабка в белом платочке (шла она медленно, с одышкой, несла хозяйственную сумку неизвестно с чем), он снова требовательно протянул руку.

– Чего тебе? – спросила та, приостановившись.

– Дай! – сказал он.

– Что? – не понимала старая.

– Дай! – он сжал пальцы в кулачок и снова разжал, что, вероятно, должно означать: «Чего тут непонятного? Чего есть!»

Бабка покачала горестно головой, долго шарила в сумке. Вынула из ее недр пачку фруктовых вафель. Горбатым, неуклюжим пальцем стала расковыривать обертку, бормоча: «Сичас, милый, сичас...»

Делала она это ужасно медленно, так что он, танцуя от нетерпения, успел просунуться сквозь штакетины, дотянулся и вдруг выхватил из бабкиной слабой руки всю пачку. Обдирая уши, рванулся назад, отбежал в глубину двора, не забывая поддегивать на ходу сползающие с голой попы колготки. Но побежал не в дом, а шмыгнул в огород за домом, спрятался в бурьяне.

Убедившись, что бабка за ним не погналась, он разорвал обертку и стал жадно хрумкать – вафлю за вафлей. На этот хрум откуда-то из бурьянных зарослей высунулся Пират, нос в земле, помахивал хвостом, так что сзади шевелился бурьян. Он же, энергично жуя, думал при этом: дать Пирату кусочек или нет? А когда все-таки решил дать, то уже все вафли до одной были съедены.

Сильно захотелось пить. Прокравшись в дом (вдруг бабка из-за ограды караулит?!), он напился воды из ведра и сел в углу среди своих игрушек: двух колес, лыжной палки, корзины, рваного резинового мяча. Вскоре его сморил сон, и он уснул, где сидел.

Проснувшись, он первым делом глянул на часы, огорчился: она давно уже должна прийти – и вот нету и нету. Болело ухо, поцарапанное о штакетину, да это пустяки, у него всегда что-нибудь болело. То коленку обдерет, то наступит на острый кусок шлака, а то и затылком об пол трахнет (он часто падал – ни от чего, просто так: должно быть, голова перетягивала).

Теперь снова захотелось есть, да так сильно, что если бы не липкие ладошки, то он бы решил: вафли ему приснились.

Над кухонным столом висел шкафчик, задернутый марлевой тряпичей. Он знал: в нем, в этом шкафчике, никогда ничего не бывает, одни

шуршащие тараканы. И все же решил проверить: вдруг да есть? Встав коленками на стол, он потянул марлю, которая зацепилась, дернул.

Тут-то с полки и грохнула пузатая банка, ударилась о стол, с ужасным звяком раскололась на мелкие дребезги. Вонючая мутная жидкость оплеснула ему колени, потекла певучими громкими струйками на пол. Он в испуге отбежал, спрятался за шифоньер.

...Она пришла поздно, в первых сумерках. Широко, на весь проем распахнула со стуком дверь, замаячила на пороге, ухватившись за косяк.

Он, лежащий одетым в своей кровати, сжался, потому что понял: пьяная.

Была она в широкой рабочей куртке и штанах, обрызганных известью, – значит, опять забыла переодеться. В руке обвисшая сетка с десятком яиц. Сетка стучалась о порог, и из нее текло.

– Где ты... – бормотала она, шлепая по стене ладонью, добираясь до выключателя. – Где ты, моя радость?..

Он в кровати тихо заплакал.

Он знал все, что за этим последует. Теперь она станет нестерпимо ласковой и любвеобильной, какой она никогда не бывает, если не пьяная. Станет тискать его вялыми руками, мокро целовать и визгливо смеяться при этом неизвестно чему. А потом сразу, в один момент уснет. Он ненавидел ее поцелуи.

Щелкнуло наконец. Вспыхнула на потолке лампочка, высветила серые стены, нищенски убогую обстановку, тряпье постелей, замытый пол, грязную посуду под раковинной и на полу.

От нее, когда она склонилась над ним, прижалась, пахло точно так же, как от той банки, которую он разбил. И он ненавидел эту банку даже больше, чем ее мокрые поцелуи.

У нее были красивые густые волосы. Косынка сползла на спину, и волосы распушились, взлохматились, осыпали ему лицо, он задохнулся в них, закашлялся.

– А я-то, сволочь такая, опять вдрабадан... – смеялась со всхлипами она. – Вот, аванец получила... шеисят два рубчика, – сообщила она, жулькая в руке горсть бумажек.

Одна упала на пол, и она наклонилась, долго ловила ее. Выпрямилась, стала разглядывать бумажки, складывать одна к одной, бормоча при этом:

– Какие это, бля, деньги... да это только глаза запорошить... ну чо с ними делать... два раза моргнуть – и деньги все...

Потом тяжело прошла к столу, опустилась на табурет. Долго качалась в молчании, нахохленно, опершись руками о края табурета, блуждая взглядом – по голым стенам, по печи с облупившимся боком, но ничего не видела.

Она была сейчас далеко – в своем пугающе тайном, непредсказуемом, недоступном ему мире. Но вот что-то неуловимо переменялось в ее облике. Лицо разгладилось, помолодело. Проступил в нем далекий неясный свет, легкое зарево, отблеск надежды, оно стало совсем юным.

Она тихим и чистым, чуть дрожащим голосом, какого он у нее никогда не слышал, вдруг запела протяжно:

Заиграла гармоза,  
А я думала, гроза.  
Без любви прожить можно,  
А я думала, нельзя...

Смысла слов он не понимал, но лицо ее, но ее голос! Он уже готов был выскользнуть из своего тряпья, подбежать к ней, уткнуться в бок, ведь он так любил ее!

В эту минуту за тенью окна прогромыхал состав, мелко сотряс дом. Створки кособокого шифоньера со скрипом отворились... Она очнулась, минута погасла. Глаза ее уставились в стол, только сейчас она увидела на нем россыпь битого стекла.

В одном из осколочков блестели капли мутной жидкости. Она обмахнула палец, лизнула. После чего подняла и вперила взгляд в полку.

Расслабленные алкоголем мышцы ее лица напряглись, отразили мучительную работу ума. Наконец она произнесла хрипло, почти шепотом:

– Ты? разбил? банку?

Он, украдкой следивший за ней издали, в ответ тоненько и длинно, как волчонок, завыл.

Она с шаткой ревностью, которая неизвестно откуда взялась в ней, подбежала, нависла над ним, крикнула надрывно:

– Зачем ты туда лазил?.. Зачем, спрашиваю?! И ударила его, но подавшееся покорно под рукой тощенькое тело только вызвало в ней новый приступ злобы. Выкрикивая бессвязные слова, из которых «стервец», «гаденьш» и «ирод на мою голову» были самыми безобидными, она в каком-то исступлении схватила, сдернула его вместе с постельным тряпьем на пол.

Он уже не выл, всхлипывал и полз к ней, все к ней, цеплялся за पिравшие его ноги, чем еще больше распял ее.

Но вот она устала, волоком – за ворот рубашки – протащила его к двери, перекинула через порог в сенки. Большая голова его при этом стукнулась о половицу, как костяной шар.

– Будешь знать наперед, тварь! – И дверь захлопнулась.

Силы ее враз покинули. Она прислонилась к косяку, вздохмаченная, потная, тяжело сквозь зубы дышала. Потом опустила на пол.

Через минуту, сидя у порога, обмякла: навалившись спиной на дверь, она спала.

Он, боясь громко плакать, а только поскуливая, нащупал так безжалостно хлопнувшую за ним дверь, поскребся, стал толкать изо всех сил – не поддавалась. Значит, она закрылась от него на засов, решил он.

В сенях было темно, страшно. Он выбрался во двор.

В сумеречном дворе тоже все было угрюмым, неузнаваемым. Под сполохами света проезжавших тяжелых машин черной решеткой скалился штакетник. В зарослях за домом угрожающе шуршало. Земля от вечерней росы была влажной. Сквозь протертые колготки стали зябнуть ступни. Продолжая тихо скулить, он побрел вдоль штакетника, пока не набрел на что-то темное, угловатое – собачью конуру. Из дыры тянуло живым теплом, и он, дрожа от озноба, заполз в конуру.

Невидимый во тьме Пират шевельнулся на сухой истертой подстилке, лизнул его в лоб горячим языком. Он безбоязненно обхватил,

общупал собачью морду, мягкие свисающие уши и лег, подкатился под лохматый, тепло и покойно дышащий бок.

Рано утром двор огласился хриплым со сна, встревоженным зовом. Проревел по дороге самосвал, тяжелая росная пыль оседала за ним ливнем. С отекившим лицом, растрепанная, в брезентовой, забрызганной известью грубой робе, она заметалась по двору.

Потом побежала в огород, скоро вернулась. Постояла растерянню, пооглядывалась в разные стороны – и двинулась к собачьей конуре. Присев на корточки и нервно отбрасывая падающие на глаза волосы, заглянула внутрь.

Пират неожиданно зарычал.

Она испуганно отпрянула, однако успела разглядеть его, скукожившегося от холода, его щеку в засохших разводах вчерашних слез.

– Ах ты, подлюка, – сказала она псу, сразу успокоившись, – ну я сейчас... – и, бормоча на ходу угрозы, побежала в дом.

Вышла вскоре с обломком лыжной палки в руке. Просунув железный наконечник в конуру, она принялась яростными тычками ширять пса под ребра. Пес жался к стенке, рычал, огрызался, а потом, когда, должно быть, стало невмоготу, цапнул ее за палец. Она вскрикнула и выронила палку.

От поднятого шума он проснулся, выполз из конуры, жмурясь на свет. Она трясла запястьем, плакала, ругалась сквозь слезы.

– Гляди, – кричала она, – чего этот зверюга сделал... до крови кусил. А если бешеный? Ой, лихо мне, сегодня же будку в прах разломаю...

И с причитаниями, мелкой пошатывающейся трусцой заторопилась снова в дом.

Пес затих в глубине конуры, сталлизывать разодранную железным наконечником губу.

Подняв выроненный ею обломок, он живо влез внутрь и неловко ткнул наконечником Пирату в бок:

– Ты зачем кусил, а? Зачем кусил?

Пес заперебирал лапами, теснясь своим костистым задом в дальний угол конуры.

– Тварь такая, – сказал он и ударил Пирата по голове.

Пес взвизгнул жалобно и заморгал, отводя взгляд (осознал, видать, старый, свою оплошку!). Тогда он снова ударил.

В этой собачьей покорности и беззащитности ощутил он внезапно некую не испытываемую прежде для себя сладость. И захотелось еще!

В слезящихся глазах Пирата стояли недоумение и боль, в то время как он, распаясь, ширял его под ребра железным наконечником, при этом торжествующе приговаривал: «Тварь... тварь... тварь...»

Заиграла гармоза,  
А я думала, гроза.  
Без любви прожить можно...

Уже вовсю громыхали по улице мастодонты-самосвалы; сизый дым, восходя, смешивался с трепещущим над ручьем бесплотным туманом. Со стороны больших домов заохала, гулко застреляла свай-баба: оп-па! оп-па! И тяжкий ритм ее ударов странно и загадочно совпадал с ритмом этой нехитрой песенки, звучавшей ниоткуда – из воздуха, из дыма выхлопов, из собачьей боли, из стойкого безлюдья грохочущей улицы.

1992

## ПОТЕСНИСЬ, ЗАВАЛИНКА!

Электорат сомневается

– Да голосовали мы допрошлый год за одного тут, горластого. Он нам сулил-сулил, сулил-сулил, а суленого ничего нету... И я теперь в ем шибко сумлеваюсь.

Электорат в рассуждении

– А мы-то... ну какие мы правильные? Где схвастаешь, где сплутуешь, ково-нить обсудишь, че-нить не соблюдешь. Рази это не грех? Где уж нам в святые попасть... А што уж говорить об етих депутатишках...

### Шершавым языком фольклора

Все тетери улетели, тетерята скрякали.

Мы с миленком рассчитались, только щеки сбрыкали!

### Национально озабоченный

– Говорят, ты вчера в своем дворе скворцов из скворешни гонял?  
За что ты их, бедных?

– А за что? Пускай только свои живут.

– Что ли, они у тебя мечены? Какие «свои»?

Молча, сосредоточенно закуривает. С дымом выдохнул досадливо:

– А таки! Немазаны сухи! Воробьи называются, не слышал?

### Слезами

– Я уж земляны поклоны не могу класть. Шибко плоха сделалась. Кости отерпли. А зайду в церкву, ажно блеск везде. Стану, у меня в грудях тает. Стою, стою, и так влияет на меня хорошо... А молюсь я, родимая, слезами...

### Лапочка

– Внучек у меня пакостливый, а так хороший. Станешь над ним строгиться: а кто это опять в штанишки нафурил? Где ремешок? Где попа? А он ручонки так растопырит и тоже: де? де? И смотрит на тебя, глазки вытрескал. Такой лапочка... А то найдет гвоздик и гвоздиком по стеклу зыкат, зыкат! Убила бы!

### Болтаем сидим, а то язык на че?

– Мне, бабы, вот че поинтересоваться. Чего это он не женится и не женится? В самой вроде поре мужик.

– Хох, чего! Понятно дело чего. Выходит, чего-то не того, неладно. Женилка, должно, не работает.

– Бабы, бабы, глянь на Нюську, ты че така пунцова стала? Мы ж это шутьем! Болтаем сидим, а то язык на че?

### Просто анекдот

Сидят на завалинке два замшелых деда.

– Помнишь, Митрий, как мы с тобой в ту ерманскую, в 14-м годе, в окопах сидели? Нам там еще в пищу порошок сыпали. Энтот... штобы женщины не снились.

– Дак и што?

– Дак ведь, курва, начинает действовать!

1999

### «РОЖДЕН ДЛЯ МУК И В ЩАСТЬЕ НЕ НУЖДАЮСЬ»

Новый театральный сезон открывался спектаклем «Искупление». Все билеты были проданы.

В день открытия, придя в театр задолго до спектакля, чтобы еще раз, по установленному себе правилу, без режиссера и партнеров, проговорить, проиграть один из монологов, Анатолий Кутергин внезапно обнаружил: текст на глазах безбожно сыплется.

Давно найденные в поте лица и уже проверенные на зрителе жесты и интонации обескровились. А заключительная, прежде полная внутреннего достоинства фраза героя: «Я убью его, ибо он давно убил меня крайней степенью моего унижения!..» – теперь фраза эта своей фальшью прямо-таки застревала в горле.

Сперва это расстроило его, погода – испугало. До первого звонка оставалось всего ничего. Из грим-уборной он ушел, малодушно скрылся в заваленный бутафорией тупик темного коридора. Сел там – не сиделось, нервно заходил маятником, запинаясь обо что-то угловатое, торчащее.

Его начало даже потихоньку лихорадить.

Здесь-то и нашел его уже впавший в панику помощник режиссера.

– Толя, ты чего? – спросил свистящим шепотом, сверля Кутергина глазами.

– Сам не знаю... – пробормотал Кутергин, отворачиваясь.

– Заболел, что ли? – слегка струсил тот.

– Да не то чтобы... но – понимаешь...

У помрежа затряслись щеки.

– Так какого тогда!.. – крикнул он и побежал злой рысцой в сторону сцены.

Кутергин помедлил минуту и потащился следом, стиснув зубы, каждой клеткой ощущая, что приближается к какому-то в себе пределу.

\* \* \*

...Полтора месяца назад он, актер областного драмтеатра, молодой, из подающих надежды, вернулся с летних гастролей, которые прошли весьма прилично. Он был занят в четырех спектаклях: в трех – на ролях второстепенных, почти эпизодических, а в четвертом – на заглавной. Эта-то – заглавная – и принесла ему первое серьезное признание.

В бухгалтерии он получил зарплату и премию. Часть денег сразу отделил, спрятал в пистончик, остальные оставил в бумажнике; в отличном настроении вышел на улицу. В киоске спросил газету. Сегодня, как пролетел по театру слух, должна быть рецензия.

Газета еще не поступила, но должна – вот-вот.

Он решил пока зайти неподалеку в кафе «Льдинка». Даже неплохо – побыть одному, сосредоточиться, поразмышлять о будущем; еще раз мысленно – и самокритично! – пережить свой успех.

Настроение было приподнятым, чуть ли не праздничным еще и потому, что перед самым концом гастролей он получил предложение сняться в кино.

Заказал он два коктейля с пикантным названием «Пикантный». Помешивая в фужере соломинкой, огляделся.

Было еще далеко до полудня, кафе практически пустовало. Лишь в углу сидела пожилая супружеская пара, мяла ложечкой колобки фруктового мороженого – молча, сосредоточенно, будто выполняла мало-приятную, но необходимую для здоровья процедуру.

Из-за пластиковой перегородки, возле которой сидел Кутергин, из служебки, доносились голоса.

Еще в училище Анатолий Кутергин взял себе в правило развивать наблюдательность – как-никак будущая профессия обязывала.

И он действительно был наблюдателен, тонко подмечал детали, всякие характерные штришки, жесты. Особенно в те минуты, когда помнил, что ему надо быть наблюдательным, вот как сейчас.

Именно чувства, пережитого самим, не хватало ему при работе над ролью в спектакле «Искушение». Ролью, надо сказать, острой, драматичной, характерной. Режиссер устало-раздраженно внушал: страдай, мучайся, но, ради бога, не играй страстей, не играй страданий, буди их в себе, живи, пропитывайся ими. Вы же с героем ровесники, вам обоим по тридцать. Забудь его, играй себя!

«Легко сказать: буди! живи! пропитывайся! – усмехнулся Кутергин, крутя на свет фужер цвета крепко заваренного чая. – Как разбудить то, чего сам в жизни не испытал даже отдаленно? А именно: великой драмы плен. И возможности выжить, вырваться лишь ценой крайнего, чудовищного унижения».

Ни больше ни меньше.

И ведь он сыграл эти страсти! И, должно быть, круто сыграл, забористо – поверил зритель, поверила, кажется, даже скудоумная местная пресса. Да и режиссер вынужден был признать, что он «ухватил нечто» (не преминув добавить тут же, что на репетициях получалось гуще, забористей, вот зануда).

О кино он мечтал издавна – болезненно и тайно. И вот мечта на пороге осуществления. Ему предложено сняться в роли чем-то близкой той, которую он играет в «Искушении». С одной стороны, это слегка огорчало: эксплуатировать однажды найденное? Но с другой – имитировать ощущения киногероя, скажем, свалившегося с лошади, гораздо легче, убедительней, нежели имитировать того же свалившегося с лошади – но только на театральной сцене. Где лошадью и не пахнет.

Только подлинные вещи способны вызывать подлинность чувств, тут и к цыганке ходить не надо...

Допивая второй коктейль, стал он присматриваться к пожилому супругу в углу. Сумел бы сыграть этого человека? Вот так вот, просто: слопать на сцене колобок мороженого, молча, сосредоточенно (именно фруктового, пятикопеечного) – и зал смеется! Самый драгоценный

для актера смех. Ибо зал часто смеется не потому, что смешно, а потому, что правдиво...

За пластиковой стенкой голоса усилились. Разговаривали двое – мужчина и женщина. Кутергин невольно прислушался и понял: речь идет о вагоне яблок, которые стоят двадцать пять, а мужчина с четко выраженным акцентом предлагает по сорок. Короче, идет махровая торгашеская сделка!

Некоторое время спустя мужчина, природный брюнет, и женщина, бежевая блондинка, вышли, продефилировали через зал. Оба мелкорослые, оба весело-округлые. Она с крепким футбольным бюстом, он с тугим джинсовым задом, будто их только что сняли с полки отдела надувных игрушек.

Решение вмешаться, сорвать жутьническую сделку пришло как-то вдруг, импульсивно. Кутергин быстренько распахнул дверь, пошел следом, подзадоренный забавностью неожиданного приключения. Главное: пронаблюдать и запомнить, какое у прохиндеев будет при этом кислое выражение...

Нагнал их в скверике, примыкавшем к кафе, окликнул. Они остановились. У брюнета на запястье болталась кожаная сумочка, застегнутая на молнию. В такой штуке, мелькнуло у Кутергина, удобно носить свинцовый брусок.

Он приблизился к ним и с улыбкой, весело передал слово в слово их застенный разговор.

– Ты, приятель, видно, перебрал с утра, не забывай мне баки. Топай куда шел, – сказал брюнет, и они пошли по аллее дальше.

Причем лица их остались невозмутимы, точно он попросил прикурить, а спичек у них не оказалось. Любая другая реакция его бы удовлетворила, утешила: ага, трухнули, заметали икру, значит, сделка пыхнула. Что и требовалось доказать. Но тут Кутергина заело: какая самоуверенность! Он снова нагнал их.

– Вы подумали, я шучу? Ошибаетесь, граждане торгаши.

Брюнет приподнял свою сумочку на ремешке. Кутергин напрягся: он владел некоторыми приемами самбо, спасибо Виталию Эрастовичу.

Брюнет дернул молнию и вытащил плоский, уже початый бутылек коньяка четыре звездочки, протянул этому наглому приставале.

– Слушай, дорогой, хлебни, похмелись – и расстанемся приятно, а?

Глаза его при этом усмехались. Никакой психолог даже на самом их дне не обнаружил бы тени смятения или хотя бы легкого испуга, на что Кутергин рассчитывал.

Жестом ладони он отвел протянутое:

– Побереги, пригодится!

Мужчина выпятил губы, переглянулся со своей спутницей, они опять пошли. Кутергин двинул следом, он уже завелся. Хотя настроение, с которым он вышел из бухгалтерии театра, сидел в «Льдинке», его не оставляло. Только примешалась легкая горечь уязвленности – реагируют на него как на докучливую дворовую псину, не более.

Они подошли к ресторану, поднялись в зал, заняли столик. Он вошел следом, тоже сел – поодаль. Подозвав официантку, спросил, кивнув в сторону пары «надувных» (так он их окрестил), не знает – кто такие? Официантка странно как-то, озадаченно посмотрела на него, сказала, что нет, понятия не имеет.

Брюнет, оставив женщину, вышел из зала, через три минуты вернулся, стал изучать меню. «Сделку обмывают, ну прохиндеи».

У столика Кутергина неожиданно нарисовался мент в погонах старшего сержанта. Кутергин вопросительно поднял взгляд. Круглое лицо, белесые ресницы, нос пуговкой. Тот козырнул коротко, чуть склонился, сказал тихо, даже как бы участливо:

– Гражданин, пройдем.

– Куда? – не понял Кутергин.

– Пройдем, гражданин, там разберемся.

Кутергин пожал плечами, поднялся. Они спустились по лестнице, вышли на улицу. На все попытки выяснить, куда он его ведет и, главное, за что, сержант только отмалчивался.

Они пришли в участок, о чем извещала табличка на двери, которую сержант стал открывать ключом.

Расположен был участок в коммунальном доме, в секции первого этажа. На площадке в позах терпеливого ожидания стояли двое, по все-

му – муж и жена. Она худенькая, скуластенькая, какая-то вся блеклая, застиранная. Он вислопечий, в спортивной майке с олимпийскими кольцами, толстыми, как баранки. На руках мужчины спала девочка, уткнувшись ему в грудь.

При появлении сержанта лица супругов как по команде приняли одинаковое выражение – покорной и тупой надежды.

– Здравствуйте, – поздоровалась первой женщина, мелко кивая, – а мы, гражданин участковый, опять к вам.

– Ну и зря, – бросил через плечо сержант, работая ключом в замке, который заело. – Я же вам, Белоуськи, неоднократно русским языком: не могу я удовлетворить вашу просьбу, не положено. И чего ходите?

– Так как же... – заикнулась было женщина.

– А вот так. – Сержант пропустил Кутергина и захлопнул за собой дверь, оставив супругов на площадке.

Он сел за конторского вида стол, сдвинул с потного лба фуражку с гербом, обнажив надавленный рубчик. Внимательно посмотрел на Кутергина, его рослую фигуру, моргая короткими белесыми ресницами.

Кутергин, еще не принимая привода всерьез, тоже смотрел на участкового, стараясь оставаться наблюдательным. Он уже отметил привычку того часто, мелко моргать. В школе, помнится, процветала игра: махнуть неожиданно перед «физией» приятеля и, если моргнет, – щелчок по лбу, «за испуг»! Вот бы с сержантом сыграть, сразиться. Я б ему нащелкал! Правда, шибко уж лобик узенький, попасть трудно...

– Что же вы, гражданин, вроде интеллигентный с виду, а к людям на улице вяжетесь, с шантажом пристааете, – сказал сержант. – Некрасиво получается.

– Я – с шантажом?

Кутергин засмеялся, хотя его царапнуло от этих «вроде» и «с виду». А скорее оттого, что его в своем родном городе, кажется, не признали.

– Кто вам сказал?.. А, те двое, надувных? Да это ж прохиндеи чистой воды.

– Еще и оскорбление? Зафиксируем. – Сержант выдвинул ящик стола, достал чистый лист, авторучку.

– Да нет, – Кутергин сдержанно улыбнулся, – вы бы послушали сперва, раз уж на то пошло.

– Фамилия?

– Моя?

– Ну не моя же!

– Кутергин, – сказал Кутергин хмурясь.

За годы, которые он после окончания театрального училища прожил тут, он частенько выступал по телевизору – и в спектаклях, и в литературных передачах, читал сочинения местных авторов. Был ведущим рубрики «Клуб творческих встреч». Его на улице, в автобусе узнавали, здоровались, особенно женщины. Над известностью этой провинциальной он в приятельском кругу иронизировал – и вполне искренне, как ему казалось.

Однако сейчас отчего-то самолюбие было уязвлено.

Отложив ручку, сержант снял тяжелую фуражку, стал протирать носовым платком клеенчатый изнутри ободок. Кроме привычки мелко, по-пороссячи моргать он, оказывается, склонен к обильному потению. Замечательная деталь.

В дверь, не переступая порога, просунулась блеклая женщина:

– Гражданин участковый, войдите в положение, мы с мужем со сме- ны отпросились. Нам без этой справки...

– Закрой! – тоном приказа потребовал сержант.

Дверь покорно захлопнулась.

– Значит, как все было? – сделав над собой усилие, проговорил Ку- тергин. – Сижу в кафе «Льдинка»...

– Сколько принял?

– Да не принимал я! Там днем не подают. Коктейль пил.

– Коктейли разные бывают.

– Коктейль «Пикантный», – сказал Кутергин подчеркнуто. – Два раза. Устраивает?

– Меня устраивает одно. Чтобы вы... – участковый скосился в ли- сток, – Кутергин, вели себя подобающе. – Он снова надел фуражку,

тщательно ребром ладони выровнял козырек. – Итак, сидим в кафе, пьем коктейль «Пикантный». В котором, между прочим, наличествует ликер... Дальше?

Кутергин терпеливо вздохнул:

– Слышу за стенкой разговор. Слышу вот как вас. О вагоне яблок. Яблоки по двадцать пять, а этот... брюнет, предлагает по сорок. Вагон! А разница... понимаете?

– Вы его прежде видели?

– Да откуда?

– Продолжай.

– Они вышли, я за ними и сказал им, что слышал весь их торгашеский сговор.

– Для чего это? – быстро спросил сержант.

– Ну... – Кутергин заколебался, – ну... хотя бы для того, чтобы посмотреть, какие у них при этом будут физиономии.

– Странное желание.

– Может быть. Но ведь до чего обнаглели, средь бела дня...

– Стоп. Вот этого пока не надо. Этого не надо. Говорите, вышли. А почему уверены, что вышли те? Они что, когда вышли, продолжали разговор о вагоне яблок?

– Да это глупо, – усмехнулся Кутергин.

– Что именно? – Сержант мелко-мелко заморгал, словно очередь выпустил.

– Думать, что те, выйдя, будут продолжать прилюдно свой сговор, – с вызывающей насмешливостью, мстительно произнес Кутергин, уже слегка презируя этого моргающего и потеющего пинкертона.

– Что ж, и это зафиксируем. – Сержант наклонился над столом, ручка довольно напряженно поползла по бумаге.

Кутергин хотел спросить, что, собственно, тот намерен фиксировать, но все в нем вдруг всколыхнулось от возмущения. Да что я тут бисер мечу? Только что из полуторамесячной поездки, дома еще толком не был, умотался как собака, а этот...

Он уже со злостью взглянул на сержанта, который старательно, как

первый ученик, писал, только что язык не высунувши от старания. Нос пуговкой, капля пота со лба... палец с тупо остриженным ногтем, надавливающий ручку, похож на отвертку... Взглянул и – не сдержался:

– Послушай, сержант, а тебе в детстве не говорили, что ты похож на поросенка?

Тот перестал писать. Посмотрел на кончик шариковой дешевой ручки. Уши его сдвинулись. Аккуратно положил ручку. Самое впечатляющее – он перестал моргать. Поднял телефонную трубку, накрутил номер: «Прошу оперативную группу ко мне. Прошу срочно!»

Встал и с застывшим взглядом пошел к двери.

Коротким рывком распахнул ее:

– Белоуськи, вы здесь? Войдите!

Вернулся за стол, но не сел, остался на ногах.

Кутергин с интересом, сразу успокоившись, наблюдал за сержантом. Так болельщик следит за разочаровавшей его командой, которая ударилась внезапно в малопонятные пока, но чем-то интригующие финты.

Вошли супруги, с тем же одинаковым выражением покорной надежды, стали у стены. Проснувшаяся девочка теперь сидела на руках матери.

Сержант выждал паузу.

– Вот что, Белоуськи, я выдам вам вашу справку, – сказал он значительно. – Но вы подтвердите: этот гражданин сейчас ударил меня.

Кутергин оторопел: уж не ослышался ли?

Блеклая женщина напряглась остренькими скулками, бросила взгляд на мужа, и хотя тот молчал, ей, должно быть, достаточно было и его молчания. Она закивала сержанту и стала опускать девочку на пол, точно уже собираясь пройти к столу «подтверждать», а девочка мешала. Муж вздохнул, и, сцепка колец-баранок на груди, символизировавших спортивную дружбу, слегка удлинилась.

Тогда сержант сбил с себя фуражку, рванул на плече погон и сел писать акт. На сей раз перо его резво, без остановок бежало по бумаге.

Кутергин продолжал оторопело смотреть во все глаза на эту такую деловую, такую откровенно подлую сцену.

Он еще не вполне осознавал, что ситуация начинает принимать скверный оборот.

– Вы что?.. Да как же так можно?.. Послушайте! – попробовал он апеллировать к супругам, но те глядели мимо, враждебно, только девочка у их ног смотрела ясными, чистыми глазами.

Это поразило его. Мелькнуло злобно-насмешливое – уже к самому себе: «Тоже не узнают! Так тебе и надо, говенная ты телезвезда!»

– Послушайте, не знаю кто вы, но из-за какой-то справки, бумажки... Ребенка бы своего постеснялись!..

И окончательно понял: тут глухо, тут – не достучаться... Он повернулся круто к сержанту, с плеча которого свисал собачьим языком погон, все в нем клокотало.

– А ты, оказывается, не поросенок, я ошибся, ты свинья...

Сержант выскочил из-за стола и коротким тычком ударил Кутергина в сплетение. Тот всхлипнул от неожиданности и боли, качнулся и недолго думая, тем же приемом, только вложив в него всю свою скопившуюся обиду, врезал сержанту.

Сержант согнулся в три погибели, закачался волчком.

Мужчина кинулся на Кутергина, обхватил сзади, заломил руки, стал давить книзу. Хватка была железная, профессиональная, что-то вроде «двойного нельсона», хрустнуло в суставах.

Сержант очухался. Пользуясь тем, что на Кутергине гирей висит мужчина, он сильно, рассчитанно, как по груше, нанес ему несколько ударов в подреберье. Жгучая, стойкая боль облила, оплеснула Кутергину живот, поясницу, он замычал.

Девочка, прижимаясь к ногам матери, заплакала в испуге.

– Знаешь, сколько тут у меня таких, как ты, проходит? – выдохнул сержант, отходя и сплевывая.

– Если бы... таких, как я, – прохрипел Кутергин, – ты бы, подонок, из реанимации не вынимался...

– Ну счас еще вложу, за подонка, – пробормотал сержант, обращившись.

Но тут входная дверь распахнулась, на пороге вырос лейтенант милиции и за ним два дружинника с повязками.

Увидев участкового с оторванным погоном, мужчину, заломившего Кутергину руки, лейтенант без труда разобрался в обстановке, дал знак дружинникам – вести!

Кутергина пихнули в машину, в ее железное сумрачное чрево, захлопнули с лязгом дверь, похожую на люк. При этом он сильно ушибся плечом. Вскоре машина тронулась. Было душно, отвратительно пахло кислятиной, выхлопными газами. Сквозь заднее оконце он видел головы дружинников, они оживленно болтали, косоротились в смехе – анекдоты травили, не иначе.

Все произошло так быстро, так ошеломляюще унизительно, что Кутергин не успел даже возмутиться, запротестовать, целую минуту сидел весь заторможенный, чувствуя только боль в плече, локтевых суставах и медленно, неотвратимо нарастающие гулы сердца.

Пронзила мысль: если он сейчас же, сию минуту не предпримет что-то – случится ужасное, непоправимое...

Ладони скользнули брезгливо по изъеложенной до стеклянной гладки скамье. Кем, богамать, изъеложенной? Задами насильников и убийц, алкашей! Но он-то разве алкаш? Разве насильник и убийца?!

Он саданул кулаком в дверь. Дружинники в «предбанничке» обернулись, но тут же продолжили свою веселую болтовню.

Тогда он стал колотить непрерывно, требуя хотя бы выслушать его. У него и слова теперь для этого есть, единственные, убедительные. Зачем же его, известного в городе человека, вот так вот, руки за спину, навывом – и в темную? В железный ящик!

Дверь-люк открылась столь внезапно, что он попал кулаком в пустоту. Дружинники нырнули к нему в ящик, сели напротив. Это были молодые, самоуверенные «подручные» органов, с неприкрытой в глазах наглинкой. Правда, оба ни ростом, ни статью не удались. У одного рысьи баки ниже ушей, у второго легкий шрам оттягивал уголок глаза, придавая ему вид азиата (а может, он и был азиат). Ударил первый, с баками, так что Кутергин рта не раскрыл. Пересекло дыхание. Потом – «азиат». Зато таким изощренным приемом, что у Кутергина все поплыло и он свалился со скамьи на жестяной пол, успев выдавить сквозь зубы: «З-за что?..»

– За сотрудника... и за нарушение режима... – приговаривали они с каждым новым ударом.

Ехали долго, под конец тряско, так что, когда дружинники, изрядно подустав, ушли в свой «предбанник», его, лежащего на полу, продолжало подбрасывать, точно его все еще били, приговаривая: за сотрудника... за нарушение режима...

«Убью...» – думает он и впервые так обжигающе-обнаженно, сладостно чувствует истинный, первородный смысл этого слова, его могильный холод.

Машина наконец замерла, Кутергин с трудом поднялся, сел. Косяком был в грязи, под мышкой прореха, это еще от схватки с «олимпийцем». Циферблат часов – вдребезги...

Щелкнул запор, дверь откинулась.

– Выметайся!

Он сидел не двигаясь.

– Позови лейтенанта, – выдал он.

– Чего?.. Послушай, мужик, может, хватит борзеть? Тебе и без того тюряга маячит.

Он сидел не двигаясь.

– Выходи, говорят! Лейтенант ушел в отделение... Или помочь?

И Кутергин вышел. Это было отделение незнакомого ему окраинного района. Уголовное «тюряга», так легко, небрежно брошенное ему в лицо, заставило что-то в нем дрогнуть.

И пока дежурный вписывал в журнал данные о задержанном, до Кутергина стала зримо, отчетливо и трезво доходить вся драматичность его положения.

Стремительным шагом вошел лейтенант, приблизился к нему, и Кутергин при этом непроизвольно вскинул локоть. Движение было слабым, едва заметным, но лейтенант заметил.

– Что вы, у нас этого не водится, – усмехнулся он.

Кутергин взглянул на лейтенанта, на его смуглое от загара, крепкое лицо с правильными чертами, на русский аккуратный пробор (такие лица он называл плакатными) – и так же, как недавно в ящике, ощутил

болезненно усиливающиеся удары сердца под самое горло. Он едва не задохнулся. Вот он, святой момент, толкающий человека на кровь... или на добровольную смерть!..

Дружинники стали деловито обшаривать его карманы, выложили на стол: расческу, ключи от квартиры, носовой платок, старый авиабилет. Достали и раскрыли бумажник. Деньги пересчитали у него на глазах, оказалось 2000. Он отлично знал, что получил в бухгалтерии 3115, из них 115 сунул в пистончик, ими и расплачивался за коктейль. Остальных не трогал.

Он понял, они при пересчете каким-то образом выпустили 1000. Но как – не заметил и, подписывая протокол обыска, промолчал.

Только слезы в глазах вскипели. Он отвернулся.

Его отвели в камеру предварительного заключения.

Здесь не было окон, зато вся дверь была прозрачная, из толстого оргстекла, так что дежурный, сидя за своим прилавком в глубине коридора, мог без помех видеть все, что происходит в камере.

Горел зарешеченный холодный свет. На единственной лавке, схожей с баннным полком, лежал небритый мальч в майке и стоптанных сандалиях на босу ногу, спал. Руки широко, вольно разбросаны. На предплечье красовалась наколка: «Рожден для мук и в щастье не нуждаюсь».

Кутергина одолела враз такая бешеная усталость, что он сел прямо на пол (больше некуда было), откинулся затылком к кирпичной замызганной стене, зажмурился...

Храпел сосед по камере, то захлебывался могучим храпом и затихал, то вновь стремительно, как аварийная сирена, набирал силу. Все меньше доносилось звуков извне. Ходьба по коридору прекратилась. Узкое окно за спиной дежурного потемнело, на столе вспыхнула лампа, время, видать, перевалило за полночь.

Дежурный за прилавком был уже другой – вида пожилого, крестьянского, погоны на форменной рубашке съехали с плеч, фуражка околышем вверх – рядом с телефонным аппаратом. Время от времени он прохаживался, разминал ноги, снова садился, закуривал, разворачивал газетку.

Взгляд Кутергина давно был прикован к телефонному аппарату.

Наконец он решился. Подошел к двери, завалывшейся в кармане монеткой поударял по стеклу. Дежурный повернул голову. Кутергин жестами стал объяснять: в туалет бы...

Шагая под молчаливым равнодушным конвоем обратно, возле прилавка с телефоном он остановился, попросил:

– Разрешите?

– Служебный... оперативный, не положено занимать.

– Жена ничего не знает, с ума уже, наверное, сходит... Разрешите?

– Шагаем, шагаем, – хмуро махнул дежурный.

– Ну я прошу! Два слова! – стал умолять Кутергин, уже не возмущаясь бессмысленным запретом, даже готовый согласиться с ним, с его бессмысленностью, если для него, Кутергина, будет сделано исключение.

Как бы подтверждая обоснованность запрета, телефон зазвонил. Дежурный взял трубку, при этом лежавшая на прилавке газетка соскользнула на пол. Кутергин машинально поднял – неужто? Та самая! Он быстро перевернул на последнюю страницу. Взгляд сразу уперся в размашистый заголовок – «Гастрольный успех».

Торопясь, не вникая в смысл, поскакал по строчкам и уже во второй колонке выхватил свою фамилию. Газета в руках завибрировала. Проклятие, никогда прежде, кажется, собственное имя в газетной колонке не было ему так желанно. И он, тыча в страницу пальцем, стал объяснять хмурому дежурному, что он актер театра и о нем тут, между прочим... да вы прочтите, прочтите!.. И все это срывающимся голосом, просительно, заглядывая тому в глаза, боясь, что не дослушает, что грубо оборвет.

Дежурному такой оборот с газетой показался забавным, и он (от ночной скуки, должно быть) не поленился, полистал журнал происшествий, сличил фамилии, хмыкнул: ну дела!

Толкнув к Кутергину небрежным жестом аппарат, снисходительно бросил:

– Только без болтовни мне.

Жена, выслушав его сбивчивые, торопливые слова о том, где он и что с ним, охнула. Он тотчас положил трубку.

Остаток ночи провел он в той же позе, сидел на грязном полу камеры, приваляясь к стене.

Храпел небритый мальй. Кутергин, борясь с нервной, изматывающей дремой, то и дело погружался в какие-то бредовые, фантазмагорические видения, выныривал из них. Варьировался один и тот же сюжет: он, трезвый, ведет под руку себя самого пьяного. Впервые посетил его этот идиотский сон давно, еще в годы учебы. Тогда его растолкали ребята, соседи по общежитию: он плакал. Странное, в общем-то, раздвоение. Посмеяться, рассказав кому, и забыть. Но – не рассказало и не забылось, вторглось в размягченный полусном мозг, томит душу...

Грубо его трясут за плечо, веки не поднять, будто каменные. Над ним навис небритый мальй:

– Глохни, сука! В мокруху врюхался, что ли? – хрипит он и грузно шаркивает на свой персональный полук.

Кутергин подымается на затекшие ноги, ежится, как в сквозняке, ходит из угла в угол. И – накатывает ужасающая в своей реальности мысль, что жизнь с этого дня сломана. Тюрьма, которую предсказал ему дружинник, становилась действительностью, она уже была сама действительность.

Утром за ним пришли и повели по длинному полутемному переходу, потом по бетонным вышарканным маршам на второй этаж, потом опять по переходу, но уже вроде бы в обратном направлении. Наконец привели и посадили возле двери.

Путь этот представился впечатлительному Кутергину как *начало этапа*.

Он огляделся. Дверь густо обита блестящими заклепками. В окне напротив шевелится зелень тополей. Над зеленью сияет синяя даль неба, особенно синяя вокруг белого одинокого облака...

Вскоре привели соседа по камере, небритого малого, в майке, в растоптанных сандалиях. Тот сел – нога на ногу. Сидели рядом, можно считать – «подельники», а говорить не о чем. Через некоторое время нога соседа затряслась, так что зазвенела расстегнутая пряжка.

Кутергин спросил его, кивнув на дверь в заклепках: чем тут занимаются? Сосед был мрачен, в послезапойном колотуне, поэтому объяснил коротко, но исчерпывающе:

– П-пятнадцать суток к-клепают, п-падлы...

Ждать пришлось вечность. В голове Кутергина все перепуталось. Он будто впал в анабиоз. Первым вызвали соседа. Пробыл тот за дверями совсем малость, вышел и в сопровождении мента пошел куда-то. Должно быть, отсиживать свои стабильные пятнадцать суток. Уходил, звеня, как кандалами, болтающимися пряжками.

Следом затребовали Кутергина.

За длинным столом-тумбой, придвинутым к раскрытому окну, – средних лет женщина в строгом жакете, сбоку, за приставным голенастым столиком – совсем молоденькая девушка в светлых брючках. Ветерок игриво шевелит разложенные по столам бумаги.

В душе Кутергина что-то растормозилось. Возможно, тому способствовали миловидные лица женщин, призванных решить его судьбу (особенно той, что в жакете), распахнутое по-домашнему окно, а может быть, просто отсутствие в комнате людей в ментовской форме.

И он, еще минуту назад не помышлявший ни о чем подобном, стал умолять женщину в жакете (без сомнений, судью) – только не пятнадцать суток! Я лишусь роли, лишусь всего! У меня отобрали бумажник, в нем договор, можете убедиться... Через неделю мне лететь на киностудию. Что угодно, только не пятнадцать суток!

Он умолк, кровь густо стучала в виски.

Та, что в жакете, потребовала сухо:

– Выйдите, гражданин Кутергин. Мне надо принять решение. Дело, между прочим, – добавила она бесстрастно, – тянет на уголовное. Неуж не догадываетесь?

Вышел он из комнаты с холодным камнем внизу живота.

Приговор был: платить в течение трех месяцев двадцать пять процентов. Из-под стражи освободить. Ему вернули вещи, бумажник с деньгами и документами, заставили еще раз расписаться, сказали: вали отсюда...

На ступенях отделения его ждала жена, взяла молча под локоть, как больного. Он не сразу заметил в стороне черную знакомую «Волгу».

Из машины вышел Виталий Эрастович, отец жены, поздоровался крепко за руку, распахнул заднюю дверцу.

Вел машину сам Виталий Эрастович. Года два назад у него стали прибалывать глаза, и с тех пор он редко позволял себе это удовольствие – покрутить баранку собственной служебной машины. Сегодня – позволил.

Кутергин откинулся в угол сиденья, желая как бы отстраниться, скорее отойти от всего, что случилось в эти сутки. Мягко покачивало. Врывающийся полуденный сквознячок освежал лицо, шею.

Укрытый коротким и плотным, как войлок, волосом затылок Виталия Эрастовича тоже в такт покачивался. Жена сидела рядом, напряженно смотрела в окно.

Кутергина, прижавшегося в углу, словно медленно выносило из тоннеля, краски и черты окружающей реальности проступали все ясней, все четче. Он подумал вдруг: чего бы им обоим молчать, не поинтересоваться даже – что, собственно, произошло с ним, почему схватили, почему выпустили? Неуж знают?.. И вот подкатили как раз к тому часу, когда выпустили. Это-то, черт побери, откуда стало известно?

Тормоза на ухабе скрипнули, он невольно подался вперед и на какой-то момент в зеркале над лобовым стеклом встретился с тестем взглядами. Тот ободряюще подмигнул ему: «Не сцы, лягуха, болото наше!» – любимая присказка Виталия Эрастовича...

Отклонившись на спинку сиденья, Кутергин поморщился. Подушки не оберегали от болевых ощущений избитое тело. Всплыли лица судейских женщин, их плохо спрятанные усмешки – вполне заслуженная реакция на его столь страстный и столь суетливый монолог, смысла которого был до постыдного прост и однозначен: не наказывайте меня пятнадцать сутками не потому, что невиновен, а потому, что лишусь роли. Жалкое в их глазах явил он зрелище.

Ворот полотняной рубашки свободно облегал старчески-суховатую загорелую шею тестя. Но Кутергин лучше, пожалуй, чем кто-либо, знал, как еще крепка и жилиста эта шея.

Все свои молодые и зрелые годы тесть, по его собственным словам, отдал «оперативной деятельности». Однако в детали его деятельности, которую вынужден был почему-то оставить, вдаваться не любил. Сохранилось в нем от того славного времени лишь увлечение самбо. Занятий по самбо (теперь уже чисто любительских) он не бросал много лет. Странная, до болезненности затянувшаяся потребность изредка «размять кости и разогреть кровь» сохранилась до сих пор. Приобрел он к этому и Кутергина – своего молодого зятя – в качестве спарринг-партнера.

Однажды, когда они после разминки сидели позади душевых кабин приятно расслабленные, посасывая рыбную косточку, Виталий Эрастович признался, что в молодости владел боевыми приемами карате – причем отменно владел! Особенно ему удавался так называемый «арестантский удар». Этим ударом он мог выбить напрочь двери со всех запоров. Зять усомнился было, на что Виталий Эрастович обронил: «Я бы и сейчас мог показать, как это делается, но, сам понимаешь, годы не те...» – и рука его, сжавшая побелевшими пальцами стакан с чаем, задрожала.

Выехали на центральные улицы, пахнуло нагретым гудроном. Кутергин снова уперся взглядом в маячивший тестев затылок. Густая проседь вокруг макушки завивалась протуберанцем. Прежде он как-то не замечал у него этой крутой проседи и этой войлочной плотности волос на затылке.

Кажется, зря он тогда усомнился...

Подрулили к дому. Виталий Эрастович, не выходя из машины, попрощался с зятем, еще раз заговорщицки подмигнул и добавил, что непременно заедет завтра, а сейчас – на службу, на службу!

Жена приготовила ванну, белье и тоже заторопилась на работу.

Кутергин остался один – и был рад такому обстоятельству.

Погрузился осторожно в ванну, лежал без движения, впитывая всем телом ласковое, успокаивающее тепло воды...

Перед тем как одеться, долго осматривал себя, ощупывал, терпеливо надавливал пальцами подреберье. Тяжелыми спазмами теснило

горло, не от боли – от трезвого сознания, что ни опротестовать, ни пожаловаться кому – ничего-то теперь ему не светит.

И уже вспоминалось болезненно, терзая душу, как непроизвольно вскинул он в защите локоть, когда к нему быстрыми шагами приблизился лейтенант с плакатным лицом. Или как заискивающе подсовывал дежурному газетку с рецензией, вымаливая телефон. Или как, выставленный за дверь судьей, стоял с камнем внизу живота в ожидании приговора («только не пятнадцать суток!»).

Странно, что зрительная память запечатлела так много, вплоть до случайного, мимолетного. Не потому ли, что на этот раз он был не наблюдателем, а участником? Помнила не память, а тело, которое били. Помнили глаза, которые видели обращенную к нему несправедливость. Помнили нервы, обжигаемые унижением.

...Новый театральный сезон открывался спектаклем «Искупление». Все билеты были проданы...

1988, 2006

Ирина Ащеулова

НИ ЕДИНОЙ БУКВОЙ НЕ СОЛГАВ:  
МАСТЕР СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ  
ВЛАДИМИР МАЗАЕВ

Прозу Владимира Михайловича Мазаева по праву можно считать классикой кузбасской литературы. Он не только выступил создателем литературного пространства Кузбасса, в разное время был главным редактором Кемеровского книжного издательства, руководил Кемеровской областной писательской организацией, возглавлял журнал «Огни Кузбасса» («Литературный Кузбасс»), но и создал неповторимый авторский стиль, узнаваемый сразу.

Первый рассказ В. М. Мазаев опубликовал в далеком 1953 году. Владимир Михайлович вошел в литературу, когда она живо откликалась на все общественные, политические и культурные события. Это время в истории принято называть «оттепелью», и Владимир Михайлович был «шестидесятником» по убеждениям, по внутреннему ощущению, по тематике прозы. Действительно, страна в это время живет трудовым энтузиазмом, продолжается строительство гидроэлектростанций, заводов, освоение земных недр (о трудностях и проблемах этого процесса «Селевой поток», «Дамба»). В конце 1960-х – 1970-х советскую прозу начинают волновать экологические вопросы, и Мазаев включается и в этот контекст, достаточно вспомнить «Картинки с тропы». Тематика его вещей может быть отнесена как к производственной прозе, так и к экологической, онтологической, военной и философской.

Но острая социальная проблематика не отменяет, думается, главной темы Мазаева – это осмысление человеком современной жизни и выбор, поиск своего места в ней. Для Мазаева значимыми в отношениях между людьми являются любовь, понимание, жалость, ответственность, постоянно ощущаемое чувство вины. Вспомним, как мучается шофер Гоша из рассказа «Задача с двумя неизвестными» от сознания своей вины перед двумя женщинами, которых он одинаково горячо любит. Он не может оставить ни одну из них, не способен предать, собственно, и вины нет, но мучения Гоши символизируют внутренний непокой, желание решить жизненную задачу. Это пафос «шестидесятников», верящих в возможность нравственного совершенствования человека. Но о чем бы ни писал Мазаев: о войне («Жив останусь – свидимся»), любви («Я забуду тебя, я тебя позабуду», «Хочу лететь на Модуйку»), социальных или производственных проблемах («Дамба»), природе («Картинки с тропы») – главной темой для писателя остается многообразие жизни. Мазаев вновь и вновь фиксирует чрезвычайную сложность жизни, невозможность однозначных решений и вину героя перед жизнью и любовью за отсутствие поступка, за нежелание его.

В 1970–1980-х годах писатель не чуждается остросоциальных тем. Мазаев фиксирует глобальные социальные изменения: тотальное пьянство, особенно женщин, равнодушие к судьбе детей, жестокость. В этом смысле рассказ «Без любви прожить можно?», представленный в подборке, вписывается в контекст натуралистической, «чернушной» прозы конца 1980-х – 1990-х годов («Печальный детектив» В. Астафьева, «Маленькая страна» Л. Петрушевской, «Смирненное кладбище» С. Каледина). Писатель с болью пишет о брошенном пьяной матерью, больном ребенке, лишенном простых человеческих чувств и понятий о жалости и благодарности. Перед читателем проступает образ звереныша, современного Маугли, с той лишь разницей, что Маугли понимал связь всего живого, любил и ценил братьев меньших. Мальчик же в рассказе Мазаева транслирует только те модели поведения, которые видит в отношении матери. Поэтому ничего, кроме агрессии по отношению к миру и людям, он не проявляет. Поэтому кульминация рассказа «Без любви прожить можно?» – сцена избияния мальчиком собаки, которая спасла его от холода. По-человечески умный, добрый, мудрый пес в ответ на заботу и жалость получает абсолютно немотивированную ненависть. Мальчик, по мысли писателя, обнаруживает изнанку человеческой природы – животную, тварную сущность, об этом страшном изменении писатель пишет с болью. Мазаев, выстраивая собственный художественный мир, достаточно пессимистичен. Он не видит простого проявления радости в окружающей реальности, не слишком доверяет человеку в его поступках и устремлениях, скорее проза писателя настораживает, заставляет задуматься о сущности жизни и человеческих поступках.

Особо важной и значимой темой для Мазаева является Великая Отечественная война. Доля военных рассказов достаточно велика в контексте творчества писателя. И предлагаемая подборка включает повесть в новеллах «Багульник – трава пьяная» («Черемуховые холода», «Жив останусь – свидимся», «Багульник – трава пьяная»), рассказы «Окруженец», «Искушение сорок пятого года», «Лицо осушит ветер». Рожденный в 1931 году, Мазаев войну запомнил че-

рез детское восприятие. Что может помнить десятилетний мальчик? Но его рассказы передают точное чувство военного времени, тот внутренний психологизм, тончайшее ощущение, которое свойственно людям, пережившим войну сполна.

Остановимся на повести в новеллах (жанровое определение самого Мазаева) «Багульник – трава пьяная». Я искренне завидую тем читателям, кто прочтет эти новеллы впервые. Каждый раз при их перечитывании я останавливаю слезы и поражаюсь силе художественного мастерства Мазаева, способной передать мельчайшие движения души, мысли, чувства простой женщины-крестьянки. Рассказчиком в трех новеллах выступает молодая женщина Мария, мать троих детей, хозяйка, оставшаяся без мужской поддержки, без кормильца на долгие четыре года войны. Безусловно, героиня повторяет судьбу многих советских женщин, вынесших на своих плечах всю боль, труд, трагедию войны. Но именно детализация, такие подробности, как волдыри на детских руках от выбирания рыбы из сетей на морозе, выстрел в лосиху-мать, мясо которой просто необходимо для спасения жизни сына, ночные слезы в подушку, чтобы не слышали дети, – создают образ Великой Отечественной войны, великой беды, которую преодолели, пережили наши бабушки и прабабушки.

Сюжет повести продуман хронологически и тематически. Первая новелла – это начало войны, начало рыбной путины, вхождение в мужскую работу двух слабых женщин – мамы Марии и старшей, девятилетней дочери Ольги. Вдвоем они выполняют ежедневную норму по ловле рыбы, солят и сушат ее, сдают в контору, в Фонд обороны. Кульминационными событиями воспринимаются эпизоды молчаливых терпеливых слез Оли, стершей руки о колючую рыбу, уход деда Савелия в тайгу умирать, чтобы не быть обузой, и гибель лосихи-матери, которую подстрелила Мария, чтобы добыть мяса для слабеющего сына. Именно слезы одной матери по другой, невозможность даже попробовать кусочек вкусного лосиного мяса выражают ту глубину боли и вины, что испытывает Мария перед «сохатухой», перед оставшимся сиротой лосенком. «Ушла я к лодкам, что-то знобко мне стало; легла

ничком и лежала, пока не погрузились. И ведь ни кусочка того мяса я после сама не съела – не могла, хоть ты что».

Вторая новелла – середина войны, «после третьей лихой зимы». Главное сюжетное событие – поездка на Рудник для сдачи рыбы, последнего зимнего улова. Мария становится как бы заложником чужой тайны: соседка Варька Игнатьева напрашивается в попутчики, что строжайше запрещено, но, оказавшись беременной, видит в Марии единственного помощника и защитника. При всей драматичности повествования: начавшиеся в дороге роды, недоношенный ребенок, гибель отца ребенка Володьки, горе родителей парня – новелла оставляет чувство радости. Мария спасла не только жизнь Варьки и ребенка, вовремя приехав в больницу, но и взяла на себя ответственность за их дальнейшую судьбу, сообщив отцу погибшего Володи о внуке. Рождение нового человека во время, когда люди погибают, символизирует вечное торжество жизни, закон которой незыблем: в мир будут приходиться новые души. Ребенок спасает и семью Кравчуков: отчаявшиеся, убитые горем мать и отец вдруг обретают другого Володю и смысл жизни вновь становится ясен и радостен.

Третья новелла о Победе 1945 года. Начинают возвращаться воины-победители, и Мария дожидается счастья, муж и отец живой возвращается домой. Но, как часто бывает в произведениях писателей-фронтовиков, образ светлой Победы омрачен виной перед невернувшимися, пониманием той великой цены, что заплатили за Победу. Кульминацией новеллы становится ночь у костра, когда Мария осознает, что война останется с ней, ее семьей навсегда. Многочисленные ранения Павла, ночные приступы эпилепсии обнаруживают ответственность Марии за жизнь мужа, потому что ей придется постоянно следить за питанием, сном, режимом.

Итак, тема войны, военного времени, военных лише не оставлена вниманием Владимира Мазаева и раскрывает огромный духовный и душевный потенциал людей, прошедших тяжелые испытания.

Поклонники прозы В. М. Мазаева хорошо знают, что он много работал в геологических партиях. Геология питала прозу Мазаева замечательными наблюдениями за кузбасской и алтайской природой –

так рождался цикл «Картинки с тропы», две зарисовки из которого представлены в подборке («Дорогу делает не первый», «Бабье лето Большого Каныма»). Безусловно, по тематике это пейзажная, экологическая проза. Но по стилю, по ритму – можно говорить о стихотворениях в прозе, с такой любовью и художественным воплощением передана красота и величественность природы, гор, тайги. «Никогда, казалось, не бывало такой осени на Каныме, такого сдержанно-слепящего солнца и синего, с мучнистой дымкой неба и такой грустной тишины альпийских полян, едва уловимо пахнущих горечью полегшей в зелени травы. Как говорят в народе: пришло яснопогодье».

Для Мазаева природа не существует как нечто параллельное, ее жизнь, ее цикличность всегда в сознании и мыслях человека. Отсюда отчетливо притчевый сюжет в очерке «Дорогу делает не первый». Таежная тропа, о которой пишет Мазаев, не только путь в непроходимой тайге, но и тропа жизни, тропа судьбы. Верно, что тропу нашей судьбы делаем не только мы сами, но все те близкие люди, что влияют на нас и нашу судьбу: родители, учителя, друзья, дети, любимые, недруги. Тропа постепенно, в течение жизни спрямляется, расширяется, становится удобнее и помогает не только тебе, но и другим. Об этом так емко сказал Мазаев: «Недавно случилось мне побывать в тех же местах, пройти по тому же маршруту. Тропа была уже крепко, широко натоптана. Все наши неоправданные зигзаги были предельно спрямлены, трясины заранее обойдены (или покрыты гатью). Колодина, которую мы просто обогнули, была теперь перепилена и отброшена (у нас на это уже сил не хватило). И поворот к ручью сделан чуть раньше, чем сделали когда-то мы... Каждый новый путник вносил в черновик нашей тропы свои поправки. И как же умно, рационально бежала теперь она через горную тайгу, сохраняя человеку время и экономя силы...»

Особо хочу остановиться на философском, экзистенциальном дискурсе прозы В. М. Мазаева. Категории пограничья, выбора, распутья, развилки, страха и сомнения в рассказе «Рожден для мук и в щастье не нуждаюсь» определяют и сюжет, и психологию персонажей, и поступки главного героя. Рассказ многопланов, глубок, может быть осмыслен в различных семантических полях. С одной стороны, в нем

обнаруживается «кемеровский текст» позднего социализма (1985 год) с точной топонимикой драматического театра, кафе «Льдинка», Советского проспекта. С другой стороны, сюжет глубоко психологичен и драматичен: главный герой Анатолий Кутергин оказывается в круговороте, сцеплении обстоятельств, которые необратимо меняют его представления о жизни, людях и о себе. Немаловажно, что герой – актер, его карьера на взлете, он успешен в драматическом театре областного города, ведет передачу на телевидении, приглашение в кино, в местной прессе появляется большая статья о его ролях. Кутергин уверен в себе, самонадеян, считает себя вполне состоявшимся человеком, поэтому интрига, которую он затевает, связана с неким психологическим актерским этюдом. Он слышит разговор двух дельцов и пытается «развести» одного из них на эмоции, на реакции, которые можно использовать в роли.

Однако жизнь оказывается многомернее, нежели актерские алгоритмы. Кутергин сам оказывается центром жизненного абсурда: оговор в районном участке милиции, избивание, ночь в камере, суд, угроза пятнадцати суток – все сливается в сплошной кошмар, когда рушатся жизненные установки и полностью меняется мировоззрение. Рассказ потрясаяще воспроизводит реакции человека, попадающего в экстремальную, неоднозначную ситуацию, когда страх становится определяющим механизмом поведения и поступков. Кутергин должен сделать выбор, должен определить свое отношение к тому опыту, что обрел, но финал рассказа открыт, герой понимает лишь, что по-старому он жить больше не сможет. «Странно, что зрительная память запечатлела так много, вплоть до случайного, мимолетного. Не потому ли, что на этот раз он был не наблюдателем, а участником? Помнила не память, а тело, которое били. Помнили глаза, которые видели обращенную к нему несправедливость. Помнили нервы, обжигаемые унижением».

В завершение размышлений о поэтике прозы В. М. Мазаева отметим, что писателю была подвластна любая стилистика. От высокой трагичности рассказа «Лицо осушит ветер» до игровой частушечной речи «Потеснись, завалинка!». От разговорной стихии новелл до фи-

лософской, эссеистической манеры «Картинок с тропы». В. М. Мазаев очень любил человека и природу, они были интересны ему во всей многогранности и глубине – от стихийности и противоречивости до величественности и человечности. В этой любви заключен гуманистический пафос прозы Мазаева. И в этом смысле его творчество является продолжением традиции гуманистической русской литературы.

Марина Войцеховская (Мазаева)

## БИОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА МАЗАЕВА

Родословная Владимира Михайловича Мазаева восходит к казакам Мазаевым из села Колыбельского Липецкой области (ранее входило в состав Рязанской). Это было военное поселение на южной границе Московского государства с середины XVII века. Его предки были служилыми людьми, состояли на государевой службе, охраняли границу и занимались земледелием. Факт прибытия предков Мазаева из Центральной России в Сибирь в середине XIX века очевиден. Первым из известных нам Мазаевых был Андрей, казачий сын. Сын его, Семен Андреевич, согласно документам Томской консистории, служил учителем в церковно-приходских школах Томской губернии. У Семена Андреевича Мазаева было пятеро сыновей: Лаврентий (1868–1920), Архип (1874–1917), Николай (?–?), Ермил (1882–1938), Яков (1885–1937). Метрические книги села Красный Яр Ордынской волости Томской губернии, где родились младшие сыновья Семена Мазаева – Ермил (дед Владимира Михайловича Мазаева) и Яков, сохранились только с 1903 г. (хранятся в госархиве Новосибирской области). Упоминание Якова Мазаева в этой истории оправданно: братья были очень близки не только по родству, их судьбы были крепко связаны.

Сыновья учителя Мазаева хорошо знали грамоту и были лучше образованы, чем многие их сверстники. Но продолжили учебу в учительской школе в том же Красном Яре только двое сыновей – Ермил и Яков. После окончания четырехлетней учительской школы были

определены учителями в церковно-приходскую школу своего села. Удивляет количество и разнообразие преподаваемых ими предметов: Закон Божий, церковное пение, русский язык, чтение, чистописание, арифметика. Оба брата обладали прекрасными голосами, играли на нескольких инструментах (домра, гитара). Одновременно с началом преподавания в школе стали служить псаломщиками в местном храме. Прослужив некоторое время в качестве учителей и псаломщиков, оба брата приняли решение стать священниками. В этом было их истинное предназначение.

Братья были рукоположены в священнический сан (после сана дьякона): Яков – в 1913 г., Ермил – в 1914 г. После рукоположений разъехались по своим приходам. Сведения найдены мною в документах Томской духовной консистории за 1898–1914 гг.: «Томские епархиальные ведомости» и «Справочная книга Томской епархии». Служили честно, добросовестно, были не раз отмечены епархиальным начальством, но им не суждено было прожить жизнь спокойно и мирно: 1917 год стал тем Рубиконом, перейти который удалось не каждому, особенно тем, кто был священником или монахом.

Первым ощутил на себе внимание новой власти Ермил Семенович Мазаев. С 1914 года он служил в с. Васильчиково (сейчас Васильчуки) на территории нынешнего Ключевского района Алтайского края. В 1923 году был лишен избирательных прав и имущества, изгнан с семьей из дома. Перебрался в с. Ново-Ильинка Алтайского края, где служил в Покровской церкви до 1933 года. Был арестован 16 марта 1933 г., осужден по ст. 58-10 («контрреволюционная агитация») и сослан на 5 лет, с запрещением служения, в Красноярский край. В уголовном деле он значится как ссыльнопоселенец, плотник, никакого имущества, кроме личного, не имел. Жил где-то на квартире, ходил ежедневно отмечаться в комендатуру. Так продолжалось до 7 февраля 1938 года, когда он вновь был арестован сотрудниками НКВД и доставлен в городскую тюрьму г. Енисейска. Его обвинили в «антисоветской агитации, участии в контрреволюционной организации». Тройка УНКВД по Красноярскому краю приговорила его к

высшей мере наказания. Погиб он 25 мая 1938 года. Место захоронения неизвестно. Он умер весной и не знал, конечно, о судьбах брата Якова и своего старшего сына Михаила, их к тому времени уже не было в живых.

Мой отец, Владимир Михайлович Мазаев, не помнил своего отца, Михаила Ермиловича (1904–1938). Всю свою сознательную жизнь пытался узнать его судьбу, но в советское время это было почти невозможно. Все, что он знал об отце, рассказали ему мама, старшая сестра и несколько человек, знавших его отца лично. История Михаила Ермиловича Мазаева вкратце такова. Родился в 1904 г. в пос. Александровском Барнаульского уезда Томской губернии. После окончания педагогического техникума в 1923 г. стал работать учителем начальных классов в школе с. Васильчуки Алтайского края. Приехал сюда с родителями в 1914 г., когда его отец был назначен настоятелем местной церкви (молитвенный дом во имя Рождества Пресвятой Богородицы).

В июле 1931 г. Михаил Ермилович Мазаев с семьей, двухмесячным сыном Володей (родился 12 мая 1931 года), женой и дочерью, переехал в д. Куртуково Сталинского (сейчас Новокузнецкого) района, куда был направлен городским отделом народного образования на должность учителя начальных классов с одновременным заведыванием школой. Преподавал различные предметы: русский язык, чтение, географию, арифметику, природоведение. По рассказам его дочери, Антонины Михайловны, уроки природоведения Михаил Ермилович проводил почти всегда на природе: то в поле, то в рощицах, всегда наглядно показывая, как живут птицы, водоплавающие и болотные зверьки, летом знакомил с жизнью насекомых. Сам делал чучела птиц и зверьков для кабинета природоведения, собрал из деталей радиоприемник – первое радио в деревне. Человек он был очень грамотный для своего времени, очень одаренный: хорошо пел, играл на балалайке и гитаре, проводил занятия пения с детьми, вел кружок разных домашних поделок. Его дочь рассказывала, что отец ходил с детьми по дворам, помогал пожилым жителям деревни в изготовлении клеток для кроликов, скворечников и других поделок, все это делали сами ученики с его помощью.

Так прошло шесть лет. В июле 1937 г. был арестован и расстрелян дядя Михаила Ермиловича, о. Яков Мазаев. А 26 декабря 1937 г. пришли за Михаилом Ермиловичем. У Владимира Михайловича только одно воспоминание осталось от той страшной ночи. Приближался Новый год, его отец съездил в город, где приобрел полмешка елочных игрушек для школьной елки (в 1937 г. советскому народу был возвращен праздник Нового года и разрешено устраивать елки). В ночь с 25 на 26 декабря в дом учителя Мазаева ввалились толпой люди в шинелях и с оружием, стали все переворачивать, выбрасывать вещи из шкафа и сундука, вытрясли из мешка и елочные игрушки.

На всю жизнь остался у Владимира Михайловича в памяти хруст раздавленных сапогами стеклянных елочных игрушек. Ходили по дому чужие люди, хрустели осколками игрушек, искали «доказательства», подтверждающие причастность сельского учителя к «контрреволюционной организации». Михаила Ермиловича Мазаева увели с собой, как оказалось, навсегда. На следующий день его супругу, Марию Михайловну, с детьми (дочь Антонина 8 лет и сын Владимир 6 лет) выгнали из учительского дома. Собрал немного вещей, добрались до Сталинска, где жили родственники, которые их приютили. Жили они до 1945 года, по словам Владимира Михайловича, «в страшной тесноте» в районе вокзала, в Сад-городе. Михаила Ермиловича держали в КПЗ при городском отделе НКВД Сталинска и несколько раз водили на допросы. Его осудили по ст. 58-10 УК РСФСР – «участие в контрреволюционной монархическо-повстанческой организации для подготовки свержения советской власти, распространение поразительных слухов о скорой войне и гибели советской власти». Он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 4 января 1938 года. Реабилитирован в 1957 году.

Можно с уверенностью сказать, что пострадал Михаил Ермилович главным образом потому, что близкие родственники – отец и дядя – были священниками, служителями культа, а сам он был грамотным и передовым для того времени человеком. Дом Мазаевых сохранился до сих пор, в нем живут люди, и они знают, что здесь до войны жил заведу-

ющий школой. Сейчас эта школа носит имя Героя Советского Союза В. П. Зорькина (1925–1943), который был учеником Михаила Ермиловича. Многие его ученики впоследствии участвовали в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Вот таких людей учил и воспитывал простой учитель Мазаев Михаил Ермилович, «участник контрреволюционной организации».

Не всегда права пословица: «На детях природа отдыхает». Братья Мазаевы, Ермил и Яков, были обычными, «негероическими» людьми, но они заложили в своих детях такой мощный генетический заряд порядочности, талантливости, столько сильных, ярких, честных черт их характеров передалось по наследству, что можно с уверенностью сказать, что их жизнь продолжилась в потомках. Читая их уголовные дела, видя всю нечистоплотность следователей, выдумывающих «факты» для усиления эффекта, тем не менее не видишь никаких ссылок на «единомышленников». Никого не назвали в своих «признаниях», никого не оклеветали ради своей выгоды.

Лучшие наследственные черты, такие как тяга к знаниям, живой ум, душевность, разнообразие интересов в жизни, любовь к чтению, музыкальность и то, что называют «творческой натурой», перешли к их потомкам, среди которых наиболее выдающиеся – это актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Нина Яковлевна Мазаева (дочь о. Якова) и писатель Владимир Михайлович Мазаев (внук о. Ермила).

Родился В. М. Мазаев 12 мая 1931 года в селе Васильчуки Ключевского района Алтайского края. В 1941 году в Сталинске Володя пошел в школу, после школы с 1952 по 1956 год учился на отделении русского языка и литературы Сталинского (Новокузнецкого) педагогического института. Вместе с ним на курсе учился будущий поэт-сатирик и юморист Владимир Матвеев. В 1953 году газета «Комсомолец Кузбасса» опубликовала рассказ студента Мазаева «В половодье». В 1956 году дипломированный специалист по распределению приехал в Прокопьевск, но место учителя русского языка и литературы было занято, и Владимир Мазаев поехал в Кемерово, где был принят литературным сотрудником в областную молодежную газету «Комсомолец Кузбас-

са». В 1957 году состоялась студенческая свадьба Владимира Мазаева и Светланы Смирновой, студентки третьего курса Сталинского пединститута. Род Мазаевых продолжили их дети – дочь Марина и сын Михаил.

С 1956 года живя в Кемерове, В. М. Мазаев первые семь лет трудовой жизни посвятил журналистской работе, стал членом Союза журналистов СССР, в это время продолжал писать и художественную прозу, отдавая предпочтение малым жанрам (рассказы, повести). С августа 1956 года штатный литературный сотрудник, с 1958 года ответственный секретарь газеты «Комсомолец Кузбасса», с 1960 года разъездной корреспондент, с 1961 года завотделом пропаганды, с декабря 1961 года замредактора газеты «Комсомолец Кузбасса». С августа 1962 года литсотрудник, с декабря 1962 года ответственный секретарь газеты «Кузбасс».

В 1963 году вышел первый сборник его рассказов «Конец Лосино-го камня». С 1963 по 1968 год был главным редактором Кемеровского книжного издательства. С 24 февраля 1966 года Владимир Михайлович Мазаев – член Союза писателей СССР. С 1968 по 1989 год редактор альманаха «Огни Кузбасса», с 1990 по 1993 год главный редактор журнала «Литературный Кузбасс». Руководитель (ответственный секретарь) Кемеровской областной организации Союза писателей РСФСР с 1971 по 1983 год.

Автор более двадцати книг прозы: «Конец Лосино-го камня» (1963), «Русин» (1964), «Птицы не поют в тумане» (1965), «Последний цветок лета» (1968), «Гармошка на том берегу» (1969), «Разомкнутая цепь» (1971), «Коль жить да любить» (1975), «Лицо осушит ветер» (1978), «Мы всегда виноваты перед погибшими» (1979), «Грозовая аномалия» (1982), «Зиму пережить» (1984), «Праздник возвращения» (1987), «Без любви прожить можно?» (1995), «Крутизна» (2003), «Синь-Тайга» (2012).

Всесоюзную известность писателю принесли книги рассказов и повестей «Особняк за ручьем» (1972), «Жив останусь – свидимся» (1984) и «Селевой поток» (1989), изданные в Москве издательствами «Современник», «Советский писатель», «Молодая гвардия».

Рассказы «Танюшка», «Странная командировка», «Жив останусь – свидимся» переведены на немецкий, венгерский, чешский, словацкий языки.

В 1979 году Владимиру Мазаеву была присуждена премия журнала «Наш современник» за рассказ «Багульник – трава пьяная» из цикла «Рассказы сибирячки». По его произведениям студиями Москвы и Кемерово поставлено несколько теле- и радиоспектаклей: «Разомкнутая цепь», «Дамба» (ведущий – актер Юрий Яковлев), «Странная командировка» (с Юрием Соломиным в главной роли), «Особняк за ручьем». Владимира Мазаева называют классиком сибирской прозы. Он работал в трудном жанре литературы – жанре рассказа, короткой повести, требующем от писателя большого мастерства. В Кемеровском областном драматическом театре в течение нескольких лет, начиная с мая 2003 года, с большим успехом шла пьеса Владимира Мазаева «Живы будем – свидимся» по знаменитым «Рассказам сибирячки». Главные роли в спектакле исполняли народные артисты РФ Лидия Цуканова и Евгений Шокин. Режиссер-постановщик – Наталья Шимкевич. В 1983 году известный кузбасский художник Герман Захаров написал два портрета писателя, один из них находится в библиотеке имени В. М. Мазаева. В одном из красивейших мест Кузнецкого Алатау – на Поднебесных Зубьях, на реке Рамазин, Михаилом Шевалье с друзьями в знак искренней благодарности известному земляку был сооружен туристический приют «Мазаевский стан».

Лауреат областной литературной премии им. А. Н. Волошина (2000). Заслуженный работник культуры РСФСР (1983). Лауреат премии Кузбасса (2007). Награжден медалями «За доблестный труд, в ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2000), «60 лет Кемеровской области» (2003), «К 100-летию М. А. Шолохова» (2004), «За служение Кузбассу» (2012); бронзовым знаком «За заслуги перед городом Кемерово» (2013).

Владимир Михайлович Мазаев умер 23 февраля 2015 г. Похоронен в Кемерове на кладбище № 3, квартал 6, аллея 5. На могиле установ-

лен памятник из черного гранита с портретом писателя и надписью на плите: «Ты память о себе увековечил тем, как талантливо и искренне творил».

В Государственном архиве Кемеровской области создан личный фонд В. М. Мазаева (Р-1268). В декабре 2017 года библиотеке (г. Кемерово, ул. Тухачевского, 12) присвоено имя В. М. Мазаева. На сайте <http://библиотеки.кемеровские.рф> открыт виртуальный музей В. М. Мазаева. В 2021 году в Кемерово в год 90-летия писателя была установлена мемориальная доска на доме по Советскому проспекту, 71, где с 1975 по 1994 год жил Владимир Мазаев. В Кемеровском драмтеатре возобновлена постановка спектакля «Живы будем – свидимся».

*Книги Владимира Михайловича Мазаева:*

*Конец Лосиного камня : рассказы. – Кемерово, 1963. – 95 с.*

*Русин : рассказ. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1964. – 32 с.*

*Птицы не поют в тумане : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1965. – 122 с.*

*Последний цветок лета : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1968. – 151 с.*

*Гармошка на том берегу : рассказ. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1969. – 26 с.*

*Разомкнутая цепь : повесть и рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1971. – 266 с.*

*Разомкнутая цепь : повесть. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1972. – 207 с. : портр. – (Молодая проза Сибири).*

*Особняк за ручьем : рассказы. – Москва : Современник, 1972. – 102 с.*

*Коль жить да любить : рассказы, повести. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1975. – 272 с.*

*Лицо осушит ветер : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1978. – 144 с.*

*Мы всегда виноваты перед погибшими : повести, рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1979. – 368 с. : ил.*

*Грозовая аномалия : повести.* – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1982. – 208 с. – (Современная сибирская повесть).

*Жив останусь – свидимся : рассказы и повести.* – Москва : Советский писатель, 1984. – 319 с.

*Зиму пережить : повести.* – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1984. – 286 с.

*Праздник возвращения : повести, рассказы.* – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1987. – 254 с.

*Селевой поток : повести.* – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 238 с.

*Мы всегда виноваты перед погибшими : повести, рассказы.* – Кемерово, 1994. – 256 с.

*Без любви прожить можно? : повести, рассказы.* – Кемерово, 1995. – 360 с.

*Крутизна : повести и рассказы.* – Кемерово : Кузбасс, 2003. – 319 с.

*Грозовая аномалия : повести, рассказы.* – Кемерово : Офсет, 2008. – 440 с. : портр.

*Синь-Тайга : повести, рассказы.* – Кемерово : Офсет, 2012. – 267 с. : портр.

## Михаил Сидорович Прудников

*15 апреля 1913 г., с. Новопокровка, Ижморский район,  
Кемеровская область – 24 июня 1995 г., Москва.*

*Участник Великой Отечественной войны,  
Герой Советского Союза (1943).*

*Прозаик. Член Союза писателей СССР с 1975 года.*

## ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

(отрывок из повести)

### Часть вторая

#### Глава 4

#### СОБЫТИЯ НА МОТОВИЛИХЕ

Как-то хозяйка Алексея – Пелагея Ивановна – принесла завернутые в газету валенки.

– Вот вам заказ, – сказала она.

– Чьи это? – полюбопытствовал Алексей.

– Из города, дамочки одной...

– Какой дамочки?

– А которая в управе служит, – ответила Пелагея Ивановна.

Расспросив хозяйку, Алексей узнал, что валенки принадлежат переводчице бургомистра. Принесла их старушка, которая «живет при этой дамочке». Эта же старушка рассказала Пелагее Ивановне о несчастье Ивашевой: Софья Львовна совсем помешалась от горя – она нашла свою дочку мертвой на Доронинском карьере.

– А за что, про что – одному Богу известно, – вздохнула Пелагея Ивановна, которая, как заметил Алексей, принимала чужие беды близко к сердцу.

И тут до него дошло, что дочь Ивашевой – Рита – это медсестра, та самая кокетливая, изящная девушка Рита, которая так внимательна была к нему одно время. Угощала принесенными из дома пирожками с картошкой. Еще тогда заигрывания девушки показались ему подозрительными. «Доигралась со своими гестаповцами», – подумал он невольно. Но тут ему пришла в голову и другая мысль: эта женщина, у которой немцы убили дочь, может оказаться полезной.

Вечером Алексей подшил валенки, а на следующий день, расспросив у хозяйки, где живет «дамочка», отправился в город.

Алексей нажал кнопку звонка квартиры номер двадцать семь. Ему открыла маленькая седенькая старушка.

– К тебе, Софушка! – крикнула она в глубину квартиры, выслушав Алексея.

В прихожей появилась высокая, уже немолодая женщина с изможденным печальным лицом. Она внимательно посмотрела на Столярова.

Алексей сказал, что он принес ее валенки.

– Шел в город и решил сам занести заказ, – объяснил он.

Софья Львовна предложила ему в качестве платы буханку хлеба – он взял половину. Сказал, что замерз, и попросил разрешения посидеть погреться. Софья Львовна пододвинула ему стул, а старушка тем временем принесла из кухни стакан чая.

Алексей рассказал о себе: сам москвич, во время войны случайно оказался здесь, да так и застрял в городе. Он рассказывал свою новую легенду, сочиненную по документам, которые ему дал Лещевский.

– Из Москвы? – заинтересовалась Софья Львовна. – Бог мой! Я так давно не была в Москве. У меня там уйма родственников! Немцы твердят, что Москва взята, но мне что-то не верится...

Ивашева с любопытством рассматривала гостя. От его плотной, широкоплечей фигуры исходило спокойствие, не то, которое достигается хорошим воспитанием и постоянной тренировкой, а то, которым дает о себе знать врожденная внутренняя сила. У нее закралось подозрение, что сапожник знал лучшие времена и был, видимо, более интеллигентным, чем казалось по его профессии.

Алексей в свою очередь приглядывался к хозяйке. Можно ли довериться этой женщине?

Он заметил седые пряди в висках, боль, застывшую в огромных, сухо блестящих глазах, икону в углу.

«Не может быть, чтобы эта женщина была на стороне тех, кто отнял у нее самое дорогое».

Впервые со дня смерти дочери Софья Львовна оттаяла душой. И ее совсем не удивил вопрос сапожника.

– Вы разрешите заходить иногда к вам?

– Да, да, буду рада.

С тех пор Алексей стал время от времени заходить в квартиру номер двадцать семь. Бывало это обычно по воскресеньям. Однажды Софья Львовна заговорила с Алексеем о своей дочери.

– А я ее знал, – как всегда, спокойно и немного задумчиво сказал гость. – Я лежал в этой больнице.

– Я пришла на Доронинский карьер под вечер, – продолжала Софья Львовна. – Слышала раньше, что на этом месте расстреливают евреев и коммунистов. Но не увидела сначала никаких трупов. Вокруг возвышались снежные бугры, и я не сразу поняла, что эти бугры, слегка присыпанные землей и снегом, человеческие тела. И хоть я пришла искать сюда дочь, я страшилась самой мысли, что найду ее здесь. Меня вдруг начал бить озноб, перед глазами все поплыло. На мгновение мне показалось, что все это кошмарный сон: бугристая низина, морозная дымка, низкое солнце. Мне хотелось бежать, но я не могла сдвинуться с места.

Софья Львовна судорожно сглотнула, нервным движением поправила платок, в который куталась.

– Я словно окаменела. Не знаю, сколько так простояла, а потом стала руками разгребать снег.

Софья Львовна на минуту умолкла и уже вполголоса добавила:

– Девочку свою я нашла на следующий день... там... на этом кладбище...

Это был страшный рассказ. Алексей сидел не шелохнувшись, глядя на преждевременно поседевшую женщину.

«Нет, – твердил он себе, – она не может помочь тем, кто заставил ее пережить все это».

– Бог мой! А я считала, что хорошо знаю немцев. Я когда-то жила некоторое время с мужем в Мюнхене. Чистый город, вежливые, приветливые люди. Но что случилось с немцами? Там, на Доронинском карьере, я увидела дикость и озверение. Боже мой, какой же я дурой была! Вы знаете, за моей дочерью ухаживал немецкий офицер, он бывал у нас дома. Я играла ему Шопена. А он уходил от нас и отдавал приказы о расстрелах! Как я могла... Не понимаю... Но все равно не могу себе этого простить! – Помолчав, Софья Львовна добавила потухшим голосом: – Кругом столько несчастий, столько бед, что не знаю, как все это можно перенести.

Алексей, кивнув на икону, сказал:

– И вы возложили все надежды на Пресвятую Богородицу?

Софья Львовна задумчиво проговорила:

– На кого же мне надеяться?..

– На людей. И ни на кого больше.

Софья Львовна подняла голову.

– На людей? – как бы с удивлением переспросила она. – На каких людей? Где они? Каждый теперь думает только о себе. Каждый стремится только выжить, выжить, выжить любой ценой.

– Неправда. Люди есть разные.

Софья Львовна молча смотрела перед собой.

Алексей взял старый иллюстрированный немецкий журнал. С его страниц смотрел Гитлер. Вот он принимает парад, вот поднимает рюмку на дипломатическом приеме, вот, сцепив руки на животе, позирует в обществе каких-то блондинок с ослепительными зубами.

– Это откуда-то принесла дочь, – сказала Софья Львовна, глядя через плечо Алексея на улыбающихся киноактрис. – Странно, что кто-то сейчас может веселиться, смеяться и надевать бальные платья...

Она вдруг ткнула пальцем в фотографию Гитлера и почти закричала:

– Неужели ему все это сойдет? Вы только посмотрите, что они вокруг натворили. Я потеряла только дочь. Но вокруг погибли целые семьи, уничтожены тысячи людей. Ведь должен же кто-то отомстить!

– Почему кто-то? Почему не вы? Хотя бы за свою дочь, – вполголоса проговорил Алексей.

Софья Львовна удивленно посмотрела на него; губы ее скривились в усмешке.

– Я? Вы шутите? Что я могу сделать?

– Можете.

Алексей отшвырнул в сторону журнал, взял Софью Львовну за руки и усадил ее в кресло. Сам сел напротив.

– Послушайте меня. Вот вы работаете в управе, через ваши руки проходят десятки документов... Согласны ли вы помочь тем, кто мстит и будет мстить за вас, за ваше горе и за горе других людей? И не только мстить, но бороться за счастье тех, кто остался жить.

Софья Львовна молчала.

– Подумайте, – продолжал Алексей. – А чем вам это грозит, вы знаете.

– Что мне терять? Самое дорогое я уже потеряла...

Губы ее дрогнули.

Алексей отошел к окну, давая Ивашевой время прийти в себя. Он еще не знал, сумеет ли эта женщина стать членом его группы, но в одном не сомневался: перед ним человек, который ненавидит врага.

Когда Софья Львовна успокоилась и он снова подошел к ней, она спросила:

– Но кто вы?

– Сапожник, – отшутился он.

– Хорошо, не говорите. Так, пожалуй, будет лучше. Но чем я-то могу быть полезна?

– Для начала узнайте, что затевают на Мотовилихинском пустыре.

– Попытаюсь.

– Заходить к вам сюда я уже не смогу. Если где-нибудь столкнемся на улице, делайте вид, что мы незнакомы.

Софья Львовна согласно кивнула головой.

...Алексей договорился встретиться с Софьей Львовной через несколько дней на бульваре Декабристов. Она должна была ждать его там. Подходя к условленному месту, он заметил Ивашеву у входа на бульвар перед стендом с объявлениями. Он подошел к стенду, остановился у Софьи Львовны за спиной. Скользя взглядом по объявлениям, шепотом поздоровался, спросил:

– Что нового?

– На Мотовилихе строят склад боеприпасов, – так же шепотом, не оборачиваясь, ответила Софья Львовна.

– Это точно?

– Да. Видела по нарядам комендатуры.

Алексей тихо прошептал:

– О следующем свидании вам сообщат.

В тот же день Алексей отправился к месту строительства склада на Мотовилихе. Вышел к нему крайними улочками, прошелся по тро-

туару, как будто разглядывая номера на домах, на самом деле тщательно изучая местность. Бывший пустырь теперь был огорожен высоким забором.

То и дело подъезжали грузовики, крытые брезентом. Охранники проверяли у шоферов документы и распахивали высокие ворота. Останавливались грузовики у платформы с подъемным краном, стрела которого виднелась поверх забора.

Алексей не мог простить себе, что узнал о строительстве склада так поздно. Если бы расчистка пустыря еще велась, то можно было бы незаметно пронести на его территорию противотанковые мины и зарыть их где-нибудь в центре. Хоть одна, может быть, взорвалась бы, и склад взлетел бы на воздух. Великолепная операция, почти не связанная с каким-либо риском! Теперь пронести что-нибудь в строго охраняемый склад было невозможно.

Ночами Алексей не мог уснуть, обдумывая всевозможные варианты диверсии.

И вот, как-то «прогуливаясь» неподалеку от склада, Алексей увидел санитарную машину с красным крестом на дверце. Она пронеслась мимо, по дороге к воротам. Сквозь ветровое стекло мелькнуло знакомое лицо с нахмуренными мохнатыми бровями. Лещевский!

С тех пор как Алексей вышел из госпиталя, он с хирургом не встречался. Спросил как-то Аню, где живет Лещевский, но адрес и ей был неизвестен. Пришлось прибегнуть к помощи Шерстнева. Тот через полицию быстро выяснил, что Лещевский живет почти в центре города на бывшей Красногвардейской улице.

Боясь не застать Лещевского дома днем, Алексей отправился к нему вечером после комендантского часа. В кармане у Алексея лежал пропуск негласного сотрудника полиции, добытый Шерстневым.

Лещевский открыл дверь только после того, как Алексей сказал, что он из госпиталя и ему срочно нужен врач.

Адам Григорьевич встретил его в большой комнате, заставленной шкафами с книгами. Потрескивала большая, выложенная изразцами голландская печь, у дверцы валялись мокрые от снега поленья. Лепные карнизы потолка терялись во мраке.

При виде Алексея брови Лещевского полезли вверх, на лоб набежали морщины.

– Попов? – вскрикнул он.

В следующую секунду он уже тряс руку Алексея, расспрашивал о раненой ступне, тут же приказал снять валенок и внимательно осмотрел ногу.

– Теперь я вам могу признаться, – сказал он, – я полагал, что в конце концов вам грозит ампутация. Да, собственно, надо было сразу отнять ступню, но стало жалко: здоровый, молодой мужчина. Решил рискнуть. Ну, как себя чувствуете?

Этот человек, казавшийся Алексею в госпитале сдержанным и холодноватым, сейчас был искренне рад своему гостю. Лещевский поставил на стол початую бутылку шнапса, рюмки, тарелки, коробку консервов... Свою рюмку хирург выпил залпом.

– Раньше, до войны, я избегал пить крепкие напитки, – сказал он, положив себе в тарелку немного содержимого консервной банки. – Боялся, будут дрожать руки.

– А теперь не боитесь? – спросил Алексей.

– Нет.

Лещевский был возбужден от спиртного или от встречи с Алексеем – неясно. Хирург то вставал и подбрасывал в печь дрова, то снова садился за стол и подливал себе шнапса, то принимался расхаживать по комнате. И курил. Большие, сильные пальцы его то и дело шарили по карманам в поисках спичек. Алексею не верилось, что этот неврастеник и тот массивный, хладнокровный человек, который сутками не отходил от операционного стола, – одно и то же лицо. И невольно приходила мысль: Лещевский частенько прикладывался по вечерам к рюмке. Топит в вине внутреннюю неугасимую боль души.

А хирург тем временем рассказывал о неудачной операции перед войной, за которую его отдали под суд. Вот почему его не пустили на фронт, как он ни просился.

– А семья? – спросил Алексей. – У вас есть семья?

– Есть. Жена и ребенок. Их я успел отправить к родителям в Куйбышев. А сам, дожидаясь все-таки повестки из военкомата, застрял здесь.

Лещевский присел у печки, достал совком уголек, прикурил погасшую сигарету.

– Помните, как меня вызвали немцы и предложили, вернее, приказали работать в их госпитале, в глубине души я знал: у меня только один выход – согласиться. Но все думаю, наши-то с меня спросят, когда вернутся... Врагам служу. Но ведь вы мне посоветовали идти в этот госпиталь. Да и нашу больницу не бросил – стараюсь помочь своим.

– Мне-то вы помогли, спасибо вам. Знаю, на какой риск шли. Если б тогда нас поймали с документами того, умершего... вам бы несдобровать.

Алексей видел: человек мучается и сейчас пытается разобраться в том, что с ним произошло.

Некоторое время они молчали.

– Да, я хорошо помню наш разговор, – нарушил затянувшуюся паузу Алексей, – я действительно посоветовал вам пойти работать в немецкий госпиталь.

Алексей раздавил в пепельнице сигарету.

– Вы слышали о расклеенных листовках, о взрыве на станции Бережная? – спросил он, посмотрев на Лещевского.

– Да.

– Так вот, фронт не только под Москвой. Он и здесь. Вы могли бы помогать нашим и дальше. Особенно теперь, когда работаете в немецком учреждении.

Лещевский опустил голову, вертя в руках пустую рюмку.

– Чем? – спросил он еле слышно.

Алексей положил свою руку на кисть хирурга.

– На днях я видел, как вы на санитарной машине въезжали в склад на Мотовилихе. Так вот, слушайте меня внимательно.

Лещевский уже не один раз по срочным вызовам бывал на складе. Видимо, немцы торопились со строительством – травм и аварий было довольно много.

Алексей предложил Лещевскому такой план действий. Перед очередной поездкой Лещевский постарается дать знать Шерстневу, чтобы

тот был начеку. И когда хирург будет садиться в санитарную машину, «полицейский» попросит у врача прикурить и незаметно передаст мину с часовым механизмом, которую врач спрячет в чемоданчик с инструментами.

(Этот план Алексей предварительно разработал вместе с Корнем, а мину Шерстневу доставили партизаны.)

На Мотовилихе Лещевский остановит свою машину рядом с грузовиком, пошлет шофера (а это русский военнопленный, которому Лещевский делал в свое время операцию) разыскать пациента, а сам тем временем постарается сунуть магнитную мину в ящик со снарядами.

Лещевский не без колебаний согласился реализовать этот план.

Повеселев, он сказал Алексею:

– Не умею говорить о своих чувствах. Но спасибо, что поддержали дух. Все, что надо, сделаю.

Случай вскорости представился...

Когда через два дня после встречи с Алексеем Адам Григорьевич выехал на санитарной машине к артиллерийскому складу, то чувствовал он себя скверно. Ему казалось, что все: и шофер, и часовой на контрольно-пропускном пункте, и полицейские – подозрительно косятся на его чемоданчик. Больших усилий Лещевскому стоило держаться спокойно. Он начал было шутить с шофером, но потом, решив, что излишняя общительность тоже может вызвать подозрение, замолчал.

Когда санитарная машина подъехала к воротам склада, Лещевский с ужасом увидел, что грузовиков со снарядами около склада не было. И мысль, что все может сорваться, на время заглушила беспокойство и страх.

Однако врач все-таки решил не отступать от задуманного плана. Он приказал шоферу остановить машину метрах в десяти от ворот склада и попросил его разыскать раненого фельдфебеля и узнать, может ли пострадавший сам выйти к машине или она должна въехать в ворота. Шофер ушел. Лещевский спрятал чемоданчик под сиденье, вышел из машины, походил вокруг, как бы разминаясь, подошел к пожилому полицейскому с карабином, попросил прикурить. Сновавшие вокруг

солдаты и охрана не обращали на человека в белом халате особого внимания. Некоторые знали его в лицо и здоровались. Шофера не было.

Лещевский вернулся к своей машине, и вдруг до слуха его донесся рев мотора. Он оглянулся: по дороге тяжело брали подъем два серо-зеленых крытых грузовика.

«Снаряды! – пронеслось в голове Лещевского. – Сейчас не упустить момент».

Хирург, стараясь унять дрожь в руках, достал чемоданчик.

«Только бы не вернулся шофер, только бы не вернулся шофер», – повторял он про себя.

Через несколько минут грузовики подъехали к складу и поравнялись с санитарной машиной, чихая густым черно-сизым дымом. Автомобиль Лещевского стоял справа на обочине, и теперь огромные грузовики закрывали его и от будки часового, и от барачков, в которых жили охрана и солдаты, обслуживающие склад.

Лещевский осторожно переложил мину из чемодана в карман халата. Шофер первого грузовика, хлопнув дверцей, побежал к будке. Шофер второго грузовика остался в кабине. Лещевский обошел этот грузовик и, держась одной рукой за борт, встал на запасной баллон. Оглянулся. Все было безлюдно. Сзади темной лентой через поле вилась пустынная дорога в город. Лещевский осторожно отогнул брезент грузовика. Сквозь неплотно пригнанные доски ящиков поблескивали снаряды. Лещевский проворно сунул мину в один из ящиков, снова, осторожно озираясь, застегнул брезент и спрыгнул на асфальт – и как раз вовремя. Вернулся шофер первого грузовика, и машины тронулись.

Когда ворота склада закрылись за ними, Лещевский достал носовой платок и вытер мокрые, несмотря на легкий мороз, ладони...

В тот же день Лещевский, проходя мимо дежурившего около комендатуры Шерстнева, подал ему условный знак, что задание выполнено.

Казалось, все обошлось благополучно.

Однако жизнь приготовила Лещевскому еще одно неожиданное испытание.

Часовой завод мины должен был сработать через трое суток, ровно в двенадцать часов дня. В загруженный только на три четверти склад немцы срочно завозили боеприпасы, и подпольщики рассчитывали, что к моменту взрыва он будет целиком заполнен.

Именно в день взрыва Лещевского вызвал к себе дежурный врач.

– На объекте В-одиннадцать опять неприятность, – сказал он. – Так что, герр доктор, выезжайте немедленно.

Объект В-одиннадцать было зашифрованное название артиллерийского склада на Мотовилихе.

Адам Григорьевич машинально взглянул на часы. До взрыва оставалось сорок минут. Хирург похолодел.

– Но у меня консультация, – возразил он дежурному врачу, стараясь говорить спокойно.

– Придется отложить. Травма серьезная. Пострадал офицер... Больше послать некого.

Лещевский вышел в коридор госпиталя, чувствуя, как гулко, до боли колотится сердце. Задержаться с выездом? Но это сразу навлечет подозрение. Выехать со склада до взрыва он тоже не успеет. Отбирая необходимый инструмент в чемоданчик, Адам Григорьевич то и дело бросал взгляд на часы и лихорадочно подсчитывал секунды. Пока он сядет в машину, пройдет минут пять, двадцать уйдет на дорогу. Значит, на складе он будет без десяти двенадцать. Что делать? Как поступить? Где бы задержаться по дороге?

Во дворе госпиталя ждала санитарная машина. Шофер, скуластый парень, шурясь от солнца, светившего по-весеннему ярко, спокойно курил самокрутку. На снегу лежали голубоватые тени.

Оглянувшись, Лещевский выронил чемоданчик. Инструменты рассыпались около заднего колеса. Адам Григорьевич поспешно присел на корточки и, собирая ножницы и хирургические щипцы, вонзил ланцет в резиновую крышку.

Усевшись в машину, приказал шоферу:

– К Мотовилихе! Инструменты придется прокипятить на месте!

Алексей зашел в портняжную мастерскую Аниного отца. Ателье находилось на Сенной улице в центре города. Алексей и Шерстнев последнее время встречались там под видом заказчиков. У Афанасия Кузьмича насчитывалось много клиентов, дверь хлопала часто, и это было довольно удобное место явки.

Когда Алексей пришел, Афанасий Кузьмич снимал мерку с заказчика, грузного усатого человека в хромовых сапогах и брюках галифе. Завидев Алексея, отец Ани глазами указал ему на дверь в другую половину мастерской.

– Подождите там. Примерка еще не готова, – сказал Афанасий Кузьмич.

В маленькой комнатке, у стола с лоскутами, сидел Шерстнев. Они поздоровались.

Не отрывая от Алексея взгляда косоватых улыбающихся глаз, полицейский прошептал:

- Здорово, здорово, именинник.
- Именинник? – удивился вошедший.
- Конечно. Сегодня же день Алексея, Божьего человека.
- Не устроить ли нам по этому поводу маленькое торжество?
- А что, пожалуй.

Тимофей хитровато улыбался. Чувствовалось, что он жаждет сообщить какую-то приятную новость.

– Ладно. Выкладывай, – засмеялся Алексей. – Задерживаться тут особенно не стоит.

– Эх! – вздохнул Шерстнев. – Надо бы заставить тебя потанцевать, да место неподходящее. Так и быть – смотри.

Тимофей снял шапку, достал откуда-то из-под подкладки крохотный листок бумаги и протянул Алексею.

На листочке карандашом была выведена цифра: 0017951 – номер партийного билета чекиста Алексея Стоярова.

Дело в том, что давным-давно Алексей просил Карновича связаться с Центром и передать несколько слов: «Коршун» жив. Ждет указаний». У местных подпольщиков рации не было: немцам удалось

запеленговать ее, и она попала в руки гестапо. Поэтому подпольщики держали связь с Москвой через партизанский отряд Кузьмича, действовавший в лесах за Днепром.

Партизанский связной принес в подкладке пальто зашифрованное послание, представлявшее собой небольшую колонку цифр. С Фатеевым еще в Москве было условлено, что Центр подтвердит получение первых сведений от группы «Ураган» номером партийного билета Столярова. И вот теперь Алексей вертел в руках крохотный листок бумаги с долгожданным ответом и всматривался в знакомые, дорогие цифры.

Он чувствовал на себе пристальный взгляд Шерстнева: тот наслаждался произведенным эффектом. Столяров не мог произнести ни слова. Горло тугой невидимой петлей сдавили спазмы. Алексей отвернулся к стене: не хотелось, чтобы Тимофей видел его заблестевшие глаза. Успокоившись, выдавил:

– Ты даже представить не можешь, какая это для меня радость.

Да, это был праздник. Пришел конец одиночеству, неизвестности. Те, кто посылал его сюда, снова с ним! Они помогут, посоветуют, направят...

Интересно, дали ли знать домой, что он жив? Да иначе быть не может. Жена, наверное, даже всплакнула от радости.

– Но это еще не все, – проговорил Шерстнев. – Я не сказал еще самого главного...

Полицейский подошел к двери, проверил, плотно ли она закрыта.

– Карнович получил новое задание из Центра, – прошептал он.

– Из Центра?

– Да. Москва рассчитывает на тебя. И на нас, разумеется, тоже.

Алексей пододвинул табурет поближе к Шерстневу. За дверью слышались приглушенные, невнятные голоса. С шумом пронеслась мимо дома машина.

– Так вот, – продолжал Тимофей, выталкивая изо рта облачко табачного дыма. – Корень просил передать тебе, что Центр интересуют все планы гитлеровцев на нашем участке. Информация по всему райо-

ну представляет большую ценность. Передислокация войск, переброска вооружения, расположение аэродромов и так далее... Я думаю, не мы одни будем этим с тобой заниматься. Но на нас возлагают особую задачу: в сорока километрах от города находится Дретуньский аэродром. Это какой-то сверхсекретный аэродром. Нужно разведать все, что там происходит. Я случайно слышал разговор жандармов, что из района этого аэродрома выселили всех гражданских на десять километров вокруг. И еще: судя по всему, где-то на востоке от города у Новых Выселок расположен какой-то штаб. Об этом Готвальд сообщил Корню через меня.

– Готвальд?

– Да.

– Вот что, – сказал Алексей. – Надо мне с ним снова повидаться.

Предупреди его.

– Постараюсь.

Столяров взглянул на ходики, мирно тикавшие на стене. Они показывали без четверти одиннадцать.

Пора было расходиться. После взрыва наверняка устроят облаву, и надо заблаговременно выбраться за городскую черту. Первым из мастерской вышел Шерстнев.

Толстый заказчик уже удалился. И Алексей, помедлив несколько минут, тоже вышел из мастерской.

...До взрыва оставалось двадцать три минуты, когда санитарная машина выехала на Витебскую улицу. Мелькали низенькие окраинные домишки. На карнизах трепетали отсветы капли. Воробьи стайками вылетали прямо из-под колес автомобиля.

«Еду на собственные похороны», – думал Лещевский. Он ждал, когда же наконец спустит камера заднего колеса, но машина шла полным ходом.

Хирург откинулся на спинку сиденья, щурясь от бликов солнца, бивших ему в глаза. В зеркальце над ветровым стеклом увидел свое бледное, напряженное лицо и испуганно метнул взгляд в сторону шо-

фера. Тот не обращал на своего пассажира никакого внимания. К губам его прилип окурок самокрутки.

Лещевский думал о покрышке. Достал ли ланцетом до камеры? А вдруг она осталась цела?

Вот кончилась улица, и машина выскочила в поле. Впереди чернел забор и низкие крыши артсклада. Вокруг муравьями суетились темные фигурки людей.

Было без семнадцати минут двенадцать... Вдруг машина сбавила ход.

– Что случилось? – спросил Лещевский.

– Баллон сел, – равнодушно ответил шофер.

До слуха Лещевского донеслось злое гусиное шипенье.

Шофер чертыхнулся и остановил автомобиль.

Пока он неторопливо ходил вокруг «опеля», что-то бормоча и вздыхая, затем доставал из-под сиденья домкрат и ползал под машиной, Лещевский сидел не шевелясь, вглядываясь в темную полосу колючего забора.

Время тянулось мучительно медленно. Лещевский то и дело посматривал на часы. Нервы его напряглись до предела, по лицу струился пот...

«Только бы шофер не успел заменить баллон...»

Но вот шофер полез в машину, вытирая на ходу руки о грязное тряпье. Сел за руль, включил зажигание... Мягко заурчал мотор. Однако двинуться с места они не успели.

Прежде чем Лещевский услышал звук взрыва, он увидел, как над забором косо брызнула струя сизого дыма. В следующее мгновение склад обволокло черное огромное облако... Страшный, оглушающий грохот, казалось, придавил их к конвульсивно вздрагивающей земле. В наступившей вдруг темноте Лещевский рассмотрел безумно выкаченные глаза шофера, его рот, распяленный в крике. Шофер зачем-то пытался открыть дверцу, но Лещевский схватил его за рукав ватника.

Трясущаяся рука шофера лежала на баранке руля.

Взрыв на Мотовилихе вызвал переполох в гестапо и среди сотрудников абвера. Это была первая крупная диверсия в городе. Взрыв произо-

шел днем, на глазах у всех. Партизаны действовали откровенно и дерзко. Провели за нос и охрану и полицию... Горожане перешептывались. Некоторые уверяли, что склад разбомбила группа советских бомбардировщиков, и нашлись даже очевидцы, своими глазами видевшие якобы самолеты с красными звездочками на крыльях. Другие рассказывали, что какой-то смельчак бросил на территорию склада связку гранат... Этого смельчака поймали, но будто бы он ни в чем не сознался...

Расследовать причины диверсии из Минска прибыл ответственный чиновник абвера фон Никиш, седой, respectable человек лет пятидесяти.

Собрав эсэсовцев, он заявил:

– Должен, господа, со всей откровенностью сказать, что последняя диверсия русских в чрезвычайно невыгодном свете показывает вашу работу. В Берлине вами недовольны. И согласитесь, господа, что на это есть основания. Совсем недавно в результате взрыва на железной дороге погибла группа штабных офицеров корпуса. И вот теперь еще один совершенно возмутительный инцидент. Создается впечатление, что некоторые наши сотрудники не справляются со своими обязанностями.

Фон Никиш создал комиссию для расследования причин взрыва на Мотовилихе.

Со словом «расследование» у Венцеля были связаны весьма неприятные воспоминания. После того как полетел под откос поезд с группой штабных офицеров и двумя батальонами пехоты, в город приехал представитель СД, которого интересовал вопрос: откуда просочилась информация о передислокации дивизии к партизанам? Он назначил проверку, а Венцель изрядно перенервничал.

Тогда, зимой, дня за три до диверсии на железной дороге, он встретился с Ритой у себя на квартире. До этого всю неделю Венцель был очень занят. Его откомандировали на железнодорожную станцию Свольна в помощь абверовцам, которые принимали меры, чтобы обеспечить тайну переброски нескольких дивизий в направлении Воронежа.

Когда Рита пришла, Венцель был уже пьян. Он попытался обнять Риту, она мягко отстранилась.

– Ты изменился ко мне, Курт, – сказала с упреком девушка. – Исчез на целую неделю...

Венцель заверил Риту, что, если б не служба, он проводил бы с ней каждый вечер.

– Вот подожди, – бормотал он, – через два дня пройдут эти чертовы дивизии через Свольну, и я – к твоим услугам.

Курт забыл об этом разговоре, но вдруг вспомнил о нем, когда состав со штабом подорвался на mine и началось расследование.

Представитель СД искал щель, через которую утекли секретные сведения. И тогда-то Венцеля охватила паника.

Арестовать и допросить Риту? Так или иначе комиссия дознается, что он проболтался, все выплывет наружу. И тогда прощай, карьера! Загребит Венцель вниз по ступенькам, ломая ребра. Чего доброго, лишат звания и отправят на фронт в штрафной батальон. Нет, он, Венцель, не намерен слетать из-за какой-то русской девицы с высокого поста, на который он взбирался сам, без помощи влиятельных друзей и родственников.

Больше всего Венцель боялся, что Риту станут допрашивать. Ведь Венцеля не раз видели с девушкой в офицерском ресторане. Может быть, предупредить ее, чтобы она не проболталась о том ночном разговоре? Бесполезно, он слишком хорошо знал, как умеют допрашивать в гестапо!

Рита и в самом деле ему нравилась: у нее были такие великолепные глаза. А фигура! Когда он появлялся с ней в офицерском ресторане, все поворачивали головы в их сторону.

...Целый день Венцель не находил себе места. Он все время ловил на себе подозревающие взгляды сослуживцев, каждый пустяковый вопрос казался ему провокационным. А когда кто-то из обычных его собутыльников сказал какой-то комплимент в адрес подруги Венцеля, гестаповец совершенно потерялся от страха. К вечеру позвонил, вызвал к себе сотрудника. Тот записал домашний адрес Риты и место

работы. Младшую Ивашеву схватили в тот же вечер у ворот госпиталя и, даже не приводя в тюрьму, втокнули в машину, в которой находилась группа евреев. Всех расстреляли в ту же ночь на Доронинском карьере...

Теперь Венцелю нечего было бояться опасных показаний Риты. Тайна была похоронена вместе с участницей опасного разговора.

При взрыве на Мотовилихе погиб почти весь взвод гитлеровских солдат, обслуживающих склад, а также полицейская охрана...

1969

Татьяна Потеряева

### ЕГО НАЗЫВАЛИ «НЕУЛОВИМЫМ», А ОН ГОРДИЛСЯ, ЧТО СИБИРЯК

Имя Михаила Сидоровича Прудникова не так широко известно в Кузбассе и за его пределами. О народном герое хорошо известно в Белоруссии. Псевдонимом «Неуловимый» Михаила Прудникова наградила в годы Великой Отечественной войны народная молва. Для кузбассовцев особенно важно, что одной из значимых личностей, одним из самых талантливых командиров партизанского движения в глубоком вражеском тылу в Белоруссии в годы войны был наш земляк Михаил Прудников.

По окончании войны, когда вся страна вернулась к мирной жизни, Михаил Сидорович продолжил нелегкую службу в органах госбезопасности. Много лет по роду службы он вел дневники. В конце пятидесятых годов прошлого столетия стал все чаще склоняться к мысли оформить дневниковые записи в единое целое.

Так, параллельно с профессиональной деятельностью, в жизни М. С. Прудникова начался новый этап – литературный. Многогранный

талант нашего земляка в полной мере проявился и на литературной стезе. Испытав на себе всю военного времени, остроту и драматизм событий, которые прочно вошли в историю тяжесть, он считал своим долгом рассказать об этом потомкам. Первая его книга, которая увидела свет в 1961 году, называлась «Неуловимые». Период времени с 1942 по 1943 год, когда Михаил Сидорович командовал партизанской бригадой «Неуловимые» в Белоруссии нашел отражение в данной повести. Писатель не мог досконально описать все события: имела место секретность. Будучи по характеру очень скромным человеком, Михаил Прудников никогда не подчеркивал свою роль в выполнении боевых заданий. Он всегда приводил в пример боевых товарищей, их вклад в общее дело.

Знакомясь с произведениями фронтовика, уроженца Кузбасса, невольно обращаешь внимание на глубокое и тонкое знание материала, на достоверность описываемых реалий, что, наряду с живым словом, придает повествованию особую убедительность. Герои его повестей – это люди, которые действуют зачастую в острых обстоятельствах, испытывающих человека на прочность. Повесть «Неуловимые» имела огромный читательский успех прежде всего благодаря реалистичности описываемых событий. Читая «Неуловимых», начинаешь вместе с автором проживать ту жизнь, испытывать всю гамму чувств, которые переживают его герои.

На страницах повести «Неуловимые» Прудников отразил лишь часть тех операций, которые были разработаны и реализованы партизанской бригадой в тылу врага в Белоруссии. Книга вызвала большой резонанс, читатели в письмах рассказывали свои фронтовые истории и благодарили автора за его творческий труд. Несколько десятилетий военные архивы, в том числе и по партизанской деятельности, находились под грифом секретности. Однако повествование о героических буднях партизан и местного населения Белоруссии требовало своего продолжения. Так увидели свет еще две книги на данную тему: «Неуловимые действуют» (1965) и «Разведчики «Неуловимых»» (1972). Получилась своеобразная трилогия. Книги из серии про «Неуловимых»

раскрывают нам будни партизанских отрядов, жизнь местного населения и зверства фашистов в оккупированной Белоруссии. Острый, динамичный сюжет и кажущаяся простота изложения, доступная широкому кругу читателей, – это лишь часть уникальных свойств, присущих произведениям Михаила Прудникова.

22 мая 1967 года Михаил Прудников был делегатом Четвертого съезда писателей СССР, открытие которого прошло в Большом Кремлевском дворце.

В 1969 году издательством «Молодая гвардия» была выпущена приключенческая повесть на военном материале «Особое задание», переизданная затем в 1986 году. Содержание повести увлекает с первых страниц. Автор рассказывает о первых днях войны, о зарождении партизанского движения на территории, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Показаны образы обычных советских людей, оказавшихся в экстремальных условиях, их характеры и желание защитить свою Родину даже самой высокой ценой – ценой жизни. Всепоглощающее чувство патриотизма проходит канвой по всему сюжету, выражено автором не лозунгами и высокопарным слогом, а искренне и честно. Особую роль Михаил Прудников в книге отвел женским образам. Вместе с мужчинами на защиту Родины встали женщины, оставаясь при этом нежными, трепетными, сохраняя свое истинное предназначение.

В 1971 году М. С. Прудников побывал в Кемерове и родном Ижморском районе, подарил колыонским школьникам книгу «Неуловимые действуют» с автографом: «Колыонской школе – родному славному коллективу в знак глубокого уважения и на добрую память от автора. М. Прудников. 13.10.71 г.». В 1971 и 1972 годах главы из повестей «Неуловимые действуют» и «Особое задание» публиковала районная газета «Заря коммунизма». В школьном музее хранится присланная из Москвы писателем-земляком книга «Особое задание» с дарственной надписью: «Учащимся и преподавателям Колыонской школы на добрую память от автора. 30 марта 1987 г. М. Прудников».

Осваивая новое для себя дело – литературное творчество, Михаил Сидорович не оставлял службы в органах госбезопасности, где понятие «нормированный день» отсутствовало. Как бы ни было тяжело и трудно, он приступил к работе над очередной повестью. В 1975 году увидела свет книга «Операция «Феникс». В новой книге Прудников отразил будни советских контрразведчиков в условиях мирного времени. Автор приоткрыл нам слегка завесу далеко не романтических будней бойцов невидимого фронта. В книге показаны приемы и методы как иностранной разведки, основанные на эгоизме, беспринципности и алчности, так и советских контрразведчиков, действующих на принципах патриотизма, дисциплины, веления долга.

В 1975 году Михаил Сидорович Прудников был принят в члены Союза писателей СССР. Как человек скромный, привыкший всегда оставаться в тени, он со смущением воспринимал это почетное звание. А ведь еще в 1943 году за боевые заслуги он был удостоен высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза!

И все же тема партизанского движения в годы Великой Отечественной войны на территории оккупированной Белоруссии не была автором раскрыта полностью. В 1978 году вышла в свет книга «Домик в лесу. Записки партизанского командира», сюжет которой основан на реальных событиях. Книга имела ошеломляющий успех! История, где партизаны «Неуловимых» спасли 300 воспитанников детского дома, которых в первые месяцы войны и неразберихи не успели эвакуировать. Детский дом оказался на территории, оккупированной немцами. Блестяще разработанная и реализованная военная операция по спасению детей не имела аналогов. Детдомовцы, которые были обречены на гибель от голода и болезней, были спасены.

Историю спасения воспитанников детского дома описал и военфельдшер партизанской бригады «Неуловимые» Александра Никандровна Прудникова, супруга писателя. Ее художественно-документальную повесть «Тихий домик» выпустило в 1969 году издательство «Просвещение» в серии «Библиотека школьника».

С момента издания книги Прудникова «Домик в лесу» прошло более сорока лет, но история, которую поведал нам автор до сих пор не оставляет никого равнодушным. По мотивам повести «Домик в лесу» в 1981 году был снят художественный фильм «Оленья охота». Сценарий для кинофильма написал сам М. С. Прудников.

В 1977–1978 годах творческим объединением «Экран» был снят трехсерийный документальный фильм «Частная хроника времен войны». Автором сценария совместно с режиссером Игорем Беляевым был Михаил Прудников. В фильме снимались бойцы и командиры партизанской бригады «Неуловимые», жители деревень Полоцкого района Белоруссии.

С 1979 года в Москве в Центральном академическом театре Советской армии с успехом шел спектакль «Схватка» по пьесе Михаила Прудникова. Радиоверсию спектакля о противостоянии советской и иностранных разведок можно послушать на канале «Советское радио».

Прудников был одним из авторов сценария четырехсерийного телевизионного художественного фильма режиссера Владимира Савельева «Выгодный контракт». Детектив был снят на киностудии им. А. Довженко в 1979 году. Премьера фильма состоялась на Центральном телевидении 17 июня 1980 года.

Желание автора донести до читателя без прикрас и искажений события военного времени, о которых он знал не понаслышке, будучи одним из действующих лиц, побудило Михаила Прудникова продолжить тему «Неуловимых». В 1980 году издана книга «Пароль получен». Повесть носит художественно-документальный характер. Здесь автор особое внимание уделяет воинам-интернационалистам, волею судьбы оказавшимся в глубоком немецком тылу и сражавшимся плечом к плечу с бойцами бригады «Неуловимые». В 1983 году подготовлена к печати повесть, получившая название «Дальний билет». На фоне действия бригады «Неуловимые» раскрывается роль советских контрразведчиков, работающих в тылу врага. В 1986 году грузинским издательством «Мерани» выпущен сборник повестей под названием «Боевое противостояние. Чекистские были». Издание по-своему

уникально. Открывает сборник повесть Михаила Прудникова «Неуловимые. Шалва, Георгий и другие...», в которой автор рассказывает об отважно сражавшихся в бригаде «Неуловимые» грузинских товарищах, искренне восхищаясь их мужеством, отвагой и смекалкой. В 1989 году издана повесть «На линии огня», где приоткрыт еще один пласт событий, которые произошли с «Неуловимыми».

Творческое наследие Михаила Сидоровича Прудникова поражает своей уникальностью и неповторимостью. Его книги – это серьезные истории о реальных событиях и реальных людях, с использованием фраз из официальных документов, протоколов допросов. Такого рода материал требовал художественно-документального стиля – другой стиль написания для Михаила Прудникова, сотрудника госбезопасности, был неприемлем.

Годы жизни на оккупированной территории Белоруссии оставили неизгладимый след в душе прозаика. Михаил Прудников хотел донести до современников и последующих поколений всю страшную правду о войне, о той жестокости, ежеминутной опасности и в то же время передать ощущение крепкого, надежного плеча своих товарищей, показать патриотизм и безграничную любовь к Родине. Писатель дал немало жизненных уроков, веря, что, усвоив их, потомки никогда не допустят подобной трагедии.

Книги Прудникова и после ухода из жизни автора продолжают жить и находят своего читателя независимо от смены политических событий в стране и в мире. Жизненный путь и достижения нашего земляка Михаила Сидоровича Прудникова являются образцом для современной молодежи, а его творческое наследие заслуживает отдельного, более тщательного исследования.

Татьяна Потеряева, Любовь Смокотина

## БИОГРАФИЯ МИХАИЛА ПРУДНИКОВА

Михаил Сидорович Прудников родился, по официальным документам, 15 апреля (2 апреля по старому стилю) 1913 года в селе Но-

вопокровка Мариинского уезда Томской губернии (ныне Ижморский муниципальный округ Кемеровской области). В метрической книге храма Святителя и Чудотворца Николая в селе Колыон за 1913 год есть запись регистрации о рождении 2 мая и регистрации о крещении 5 мая нареченного в честь святого преподобного Михаила Улумбийского (празднование 7 мая по ст. стилю) сына «крестьянина деревни Ново-Покровка Исидора Петровича Прудникова и законной жены его Анны Петровны, оба православного вероисповедания. Таинство крещения совершил священник Порфирий Веселов» (Государственный архив Кузбасса. Фонд № Д-60. Оп. 4. Д. 571. С. 93).

Родители Михаила Прудникова – Сидор Петрович и Анна Петровна (в девичестве Рубцова) прибыли в Сибирь из села Петрышки Могилевской губернии Белоруссии осенью 1906 года в качестве переселенцев по Столыпинской аграрной реформе. В Новопокровку добирались более полугода, в пути старшая дочь Дарья, 1895 года рождения, заболела и умерла. Младших детей родителям удалось сохранить: это Иван (1900 г. р.), Ефим (1902 г. р.), Анисья (1903 г. р.), Ефросинья (1906 г. р.). Семья жила очень бедно. С трудом, но удалось выстроить свой домик, который сохранился до настоящего времени. 15 апреля 1913 года родился сын Михаил. В 1915 году от острого приступа аппендицита и отсутствия своевременной врачебной помощи умер отец. Семья осталась практически без средств. Старшие дети «пошли в люди», стали батраками у более обеспеченных сельчан.

Первые жизненные уроки Михаил постиг от своей матери Анны Петровны, малограмотной крестьянки, обладавшей природным умом, тактом, безграничной добротой и любовью. В семье не всегда в достатке был хлеб, но уютом и душевным теплом мать окружала всех детей. Михаил Прудников не помнил отца, но как могли отца ему заменили старшие братья Иван и Ефим.

Ветер перемен в стране коснулся каждой семьи, в том числе и семьи Прудниковых. Дети смогли продолжить образование. Именно советская власть, как утверждал впоследствии М. С. Прудников, дала ему безграничные возможности. Окончив в 1927 году семь классов в школе

колхозной молодежи в соседнем с Новопокровкой селе Кольон, Михаил Прудников пошел работать: надо было помогать матери. Уже тогда в нем проявились черты лидера: вступив в ряды ВЛКСМ, он вскоре возглавил местную комсомольскую ячейку. В 1930 году по комсомольской путевке был направлен в Томск на работу в Западно-Сибирском речном пароходстве, где служил матросом на буксирном пароходе «Новосибирск». Освоив новое для себя дело, Михаил в 1931 году был призван в ряды Красной армии. Служил красноармейцем в 15-м Алма-Атинском полку пограничных войск ОГПУ СССР, участвовал в ликвидации басмаческих банд в каракумских песках и горах Памира.

Пытливый ум парня, природную смекалку, физическую выносливость, неприхотливость в быту, огромное желание постичь науку военного дела заметило руководство, и по окончании службы в 1933 году Михаил был направлен на учебу во 2-ю Харьковскую пограничную школу. Незаурядные способности и выносливый характер сослужили немалую службу для Михаила: учеба давалась легко, а воинская дисциплина прочно вошла в его сознание. Смыслом жизни стала служба на благо Родины.

В 1940–1941 годах – курсант Высшей пограничной школы НКВД СССР. Великая Отечественная война застала Прудникова в Москве. Как опытного командира, у которого за плечами немалый боевой опыт, его назначили командиром батальона особого назначения. 7 ноября 1941 года батальон Прудникова прямо с парада на Красной площади ушел на фронт, принимал участие в ряде сложнейших боевых операций в битве под Москвой. В феврале 1942 года Михаил Прудников получил новое назначение военного командования. Он возглавил группу опытных пограничников-чекистов, заброшенных в глубокий тыл врага – Витебскую область.

Военное командование приняло решение направить отряд ОМСБОН в количестве 28 бойцов под командованием капитана Прудникова для организации руководства и объединения сети партизанского движения. Отряд, преодолев на лыжах более 600 километров, прибыл на запланированный объект – в лесной массив в районе

деревни Большая Щеперня Полоцкого района. Именно здесь, в так называемом транспортном треугольнике Витебск – Полоцк – Невель, где наблюдалось значительное скопление немецких войск, намечалось провести работу среди разрозненных отрядов партизан для организации последующей диверсионной деятельности при взаимодействии и поддержке местного населения.

С февраля 1942 по май 1943 года Михаил Прудников командовал оперативной группой, а затем партизанской бригадой «Неуловимые» на оккупированной территории Белорусской ССР, руководил боевыми действиями партизан в Витебской и Барановичской областях. Отряды совершали крупные диверсии, громили вражеские гарнизоны, нанося гитлеровцам ощутимый урон в живой силе и технике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм подполковнику Прудникову Михаилу Сидоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В послевоенные годы Михаил Сидорович продолжил обучение в Военно-юридической академии, по окончании которой в 1953 году продолжил службу в Главном управлении пограничных войск КГБ СССР; с 1970 года в звании генерал-майора. Жил в Москве.

В семидесятых годах Михаил Сидорович Прудников дважды побывал в Кузбассе, на своей малой родине, встречался с родными, знакомыми, сверстниками. В селе Новопокровка жил с женой и шестью детьми его старший брат Иван Сидорович Прудников, очень умный, рассудительный и справедливый человек, он много лет был председателем местного колхоза. Умер в послевоенные годы от воспаления легких, похоронен на сельском кладбище. Его старший сын Михаил Иванович Прудников пропал без вести на фронте в 1943 году. Второй брат Ефим Сидорович Прудников, с началом Великой Отечественной войны ушел на фронт, тоже пропал без вести в 1943 году. Сын старшей сестры Михаила Прудникова – Анисьи Сидоровны – Павел Степано-

вич Щеглов воевал, имел немало наград. Жили они в соседнем селе Новоорловка. Сестра Ефросинья Сидоровна Резинкина с мужем и тремя детьми жила в пгт Яя. С Ефросиньей долгие годы жила мать Анна Петровна Прудникова, которая умерла в 1954 году, похоронена в Яе.

Михаил Прудников создал свою семью в середине 1930-х годов. В браке с женой Полиной в 1935 году родился сын Валерий Михайлович Прудников, который пошел по стопам отца, служил в органах госбезопасности. В настоящее время в звании полковника ФСБ вышел в отставку, живет с семьей в Москве.

После Великой Отечественной войны Михаил Сидорович Прудников женился на Александре Никандровне Павлюченковой, которая вместе с ним прошла сквозь огонь войны и служила военфельдшером в партизанском отряде «Неуловимые». В 1946 году родилась дочь Светлана. Светлана Михайловна Прудникова окончила Московский институт иностранных языков имени Мориса Тореза, живет с семьей в Москве.

При посещении малой родины и школы в селе Кольон 13–14 октября 1971 года Михаил Прудников принял участие в торжественном приеме школьников в пионеры и сам стал почетным пионером Кольонской школы. Во время встречи один из школьников попросил разрешить потрогать Золотую Звезду Героя. Михаил Сидорович посадил мальчишку к себе на колени и дал возможность потрогать награду. Он любил детей.

Генерал-майора Прудникова всегда сопровождали высокопоставленные лица, но, как вспоминают жители села Кольон, он держался от сопровождающих лиц всегда в сторонке. Помпезность и пышность приемов были чужды нашему земляку. Он, достигший таких высот, оставался в душе обычным сельским пареньком, скромным, честным и обаятельным. Всегда подтянутый, в военной форме, со стеснительной улыбкой, светясь ясными, лучистыми глазами, он сразу привлекал к себе внимание. Как утверждают его односельчане, рядом с ним становилось тепло и уютно, возникало стойкое ощущение надежности и крепкого плеча. Любимой песней Михаила Прудникова на долгие годы стала

«Ой, туманы мои, растуманы», которую в 1942 году впервые исполнил хор имени Пятницкого. Как вспоминают его родные, вечерами, работая над рукописями, он тихонько напевал мелодию полюбившейся песни.

В годы службы в органах М. С. Прудников постоянно вел дневниковые записи, которых накопилось немало. Со временем набралось достаточно материала для книг. В 1959 году творческое начало Михаила Сидоровича взяло верх над профессиональной сдержанностью чекиста. Он начал работу над первой книгой. Михаил Сидорович Прудников был уникальным человеком с многогранным талантом – проявил себя как в военном деле, так и на творческой стезе.

Член Союза писателей СССР с 1975 года. Автор книг «Неуловимые» (1961), «Неуловимые действуют» (1965), «Особое задание» (1969), «Разведчики “Неуловимых”» (1972), «Операция “Феникс”» (1975), «Домик в лесу. Записки партизанского командира» (1978), «Совещание собирается экстренно...» (1979), «Пароль получен» (1980), «Дальний билет» (1983), «Боевое противостояние» (1985), «На линии огня» (1989). Автор сценариев к кинофильмам «Как вас теперь называть?» (1965), «Оленья охота» (1981) и др.

Среди 22 наград М. С. Прудникова – два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды, Звезда Героя Советского Союза (№ 1749). Михаил Сидорович Прудников ушел из жизни 24 июня 1995 года, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Имя М. С. Прудникова высечено на плите мемориального комплекса «Воинам-сибирякам» (Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, Московская область), а также на мемориальной плите Аллеи Героев у Монумента славы воинам-сибирякам в Новосибирске. На родине героя в селе Новопокровка в честь М. С. Прудникова названа одна из улиц. Музей славы «Неуловимых» при жизни писателя был создан в Московской школе № 96 (Большой Тишинский переулок, 39). Экспозиция о М. С. Прудникове создана в музее школы № 88 г. Новосибирска (ул. Сибирская, 35).

28 марта 1986 года в московской квартире М. С. Прудникова (Зоологический переулок, 8) побывала его землячка – Любовь Пантелеевна Смокотина, выпускница Кольонской средней общеобразовательной школы, тогда молодой научный сотрудник Кемеровского областного краеведческого музея. Михаил Сидорович много рассказывал о себе, подарил книги с автографами, фотографии. Много лет переписывалась с Прудниковым преподавательница истории Кольонской школы Фаина Максимовна Мельникова, создатель школьного музея о знаменитом земляке. В 1996 году в Кольонской школе, где учился писатель, открыта мемориальная доска, в школьном краеведческом музее создана экспозиция, бережно хранятся письма и поздравительные телеграммы М. С. Прудникова, его книги, фотодокументы.

19 мая 1986 года имя Прудникова было присвоено пионерскому отряду Ижморской средней школы № 1. При участии классного руководителя Антонины Николаевны Кравченко школьники 4 «А» класса переписывались с М. С. Прудниковым и получили телеграмму с одобрением присвоения его имени пионерскому отряду.

По инициативе историка-краеведа Михаила Николаевича Шеховцова, методиста Ижморского Дома творчества, 30 января 2014 года Совет народных депутатов Ижморского района принял решение о присвоении Ижморской центральной библиотеке имени Михаила Сидоровича Прудникова. 28 мая 2014 года на здании библиотеки в память о знаменитом земляке была установлена мемориальная доска (пгт Ижморский, ул. Ленинская, д. 82). В 2020 году в библиотеке им. Прудникова в дополнение к музейной экспозиции создана диорама – объемная экспозиция, отражающая быт семьи Прудниковых и дислокацию отряда «Неуловимых» в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.

С 2015 года именной библиотекой был запущен социокультурный проект-акция «Прудниковские чтения», проведена акция-эстафета «М. С. Прудников. Читаем вместе». К живому чтению книги «Неуловимые» подключились люди трех поколений. В 2020 году стартовал международный проект «Слово сильнее времени». Силами сту-

денческого поисково-добровольческого отряда «Память поколений» Кемеровского государственного университета (командир Ксения Штейзель) была создана видеокнига «Домик в лесу», в записи которой приняли участие 330 кузбассовцев.

В Кузбасском государственном краеведческом музее в отделе военной истории среди экспонатов есть ретроавтомобиль Ford-40 Model V-8 1934 года выпуска. Именно автомобиль такой модели захватили партизаны бригады Прудникова, взяв в плен офицера высокого ранга, и потом три месяца использовали фашистский трофей для выполнения боевых задач на оккупированной территории Белоруссии.

*Книги Михаила Сидоровича Прудникова:*

*Неуловимые : повесть. – Москва : Воениздат, 1961. – 205 с. – (Военные мемуары).*

*Неуловимые. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1964. – 208 с. : портр. – Переиздание. – (Военные мемуары).*

*Неуловимые действуют. – Москва : Воениздат, 1965. – 176 с. – (Военные мемуары).*

*Особое задание : повесть. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 304 с.*

*Разведчики «Неуловимых» : документальные повести. – Москва : Советская Россия, 1972. – 286 с.*

*Операция «Феникс» : повесть. – Москва : Воениздат, 1975. – 256 с.*

*Домик в лесу. Записки партизанского командира. – Москва : Детская литература, 1978. – 158 с.*

*Совещание собирается экстренно... : повести. – Москва : Воениздат, 1979. – 319 с.*

*Пароль получен : повесть. – Москва : Политиздат, 1980. – 280 с.*

*Дальний билет : повесть. – Москва : Воениздат, 1983. – 315 с.*

*Боевое противостояние: повести. – Тбилиси: Мерани, 1985. – 435 с.*

*Особое задание: приключенческая повесть. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 254 с. : ил. – Переиздание. – (Летопись Великой Отечественной).*

*Избранное : Совещание собирается экстренно... Дальний билет : повести. – Москва : Воениздат, 1988. – 543 с. : портр.*

*На линии огня : повесть. – Москва : Советская Россия, 1989. – 336 с. : портр.*

*Домик в лесу. Записки партизанского командира / рисунки А. Лазенко. – Кемерово : Кемеровский государственный ун-т, 2020. – 149 с. : ил. – Переиздание.*

Виталий Степанович Рехлов

*3 апреля 1914 г., д. Копёны, Красноярский край –  
1 мая 1975 г., Кемерово.*

*Прозаик, журналист. Член Союза писателей СССР с 1963 года.*

## ГОРНЫЕ РЕКРУТЫ

(отрывок из повести)

### Глава 2

Салаирские рудники, где добывают руду для сереброплавильного завода, расположены в полугоре. С ее вершины, от рудничной конторы, видны крыши Гавриловской слободки. Расстояние тут всего версты три-четыре.

Перед окнами конторы – просторная площадь. У дальнего конца ее виден приземистый сарай. Там спуск в первый рудник. Возле него – кучи руды и пустой породы.

Казармы с подслеповатыми окнами, затянутыми бычьими пузырями. По соседству – избенки рудокопов. Эти с семьями не уместились в переполненных казармах.

...Сейчас вся площадь перед конторой запружена подводами. Телеги одноконные, пароконные. Лошади всех мастей – рыжие, чалые, карие, пегие. Перед некоторыми на земле немного сена. К мордам других подвязаны торбы. Только вместо овса в них насыпана прелая мякина. Третьи так и стоят неразнузданные, с подтянутыми чересседельниками.

Со всех сторон несется разноголосый людской гомон. Слышны ребячий плач, конское ржание.

В ряду с другими – подвода деда Федота. Зажав в левой руке бич с тонким черенком, старик, привалившись к телеге, поправляет соломенную подстилку и негромко говорит:

– Переключку вот пройдем – определяют к работе. Теперь уж скоро...

От одной из подвод к Федоту подходит невысокий кряжистый мужик Егор Ляпин, знакомец еще по рудничной работе.

– Здорово, Карпыч! – улыбается он. – Кто-то сказывал, что ты совсем зачах. А вижу, прыгаешь. Обыгался?

– Ну, хоть и не прыгаю, а болячка не одолела. – В знак приветствия Федот приподнимает шапку.

– В рудоразборщики определяешься? – Смеющимися темно-карими глазами мужик оглядывает старого обжигальщика.

– Приехали вот, – кивает тот на ребяташек. – Исполняем наказ горного начальства.

Егор поинтересовался жизнью Федота.

– Живу... – усмехнулся старик. И отшутился: – День да ночь – сутки прочь, и ладно. По-стариковски много ли требуется... Как ты здравствуешь?

Егор махнул рукой:

– Почитай с рудника не вылезая...

Он рассказал, что по спискам горной конторы из их деревни на рудничные работы должны приезжать двадцать восемь человек. А бывает только тринадцать...

Заметив недоумение Федота, мужик поясняет:

– Списки-то с последней ревизии (переписи. – *Прим. авт.*), а она эвон когда была... С той поры мужики многие уже поумирали или сильно немощные стали. А работа дана на все ревизские души... Вот и приходится живым исполнять работу и за себя и за мертвых. Кряхтим да стонем, а выполняем да ждем новой ревизии, чтоб неживых вычеркнуть из списков...

Людской гомон вокруг стал почему-то тише. Федот насторожился. Спешно простившись с Егором, он некоторое время высматривает кого-то в людской толчее, а затем со словами: «Вон и до нас скоро дойдут» – снова усаживается.

Присмирившие от многолюдья, ребята с любопытством осматриваются. У соседней подводы густобородый мужик что-то сердито говорит хнычущему парнишке.

В стороне стоят два бритощеких старика в потрепанных солдатских мундирах. Иссеченное морщинами лицо одного неподвижно, как будто застыло. О чем он думает, не поймешь. Добрые глаза второго смотрят на ребят ласково. Вдыхая, он сокрушенно качает головой.

Это – дядьки. Они ожидают окончания переключки, чтобы всех ребят из дальних мест, назначенных к ним на рудник, увести в казарму. Все лето дядьки будут присматривать за мальчонками.

Между подводами медленно идут старший канцелярист рудничной конторы и низенький пожилой писчик. Эти проверяют, сколько

рекрутов и из каких деревень привезено. Канцелярист спрашивает, откуда ребятишки, и, сличив со списком, передает его помощнику. Тот ставит в графе крест гусиным пером, обмакивая его в чернильницу, висящую на шее...

Вот наконец оба останавливаются возле телеги деда Федота. Не оборачиваясь, канцелярист протягивает руку назад, и писчик вкладывает в нее бумагу.

– Из какой деревни? – спрашивает канцелярист, отыскивая нужную графу.

Длинный тонкий палец его долго бродит по строчкам.

– Верно... правильно... – кивает он, выслушав ответ.

Бросив беглый взгляд на старика, канцелярист возвращает бумагу писчику и круглыми совиными глазами смотрит на ребят, а затем, указывая на подводу Федота и две соседних, где тоже по четверо парнишек, говорит: – Всех двенадцать записать не на рудник, а на Гавриловский заводской рудный двор. – И, поколебавшись, добавляет:

– Не надо бы этого делать, не по правилу. Возле рудника должны робить. Да ладно... Быстрее пойдет разборка... – Канцелярист идет дальше. – И спокойнее будет... Нарядчик с Гавриловского передавал: их командир в Горный округ жаловаться собирается, породы пустой с рудника начали много привозить. Пусть и на рудном дворе ребятишки еще отчищают.

1962

## СЕРЕБРЯНЫЙ РУДНИК

(отрывок из повести)

### Глава 2

Колодец первой Салаирской шахты пробит к руде с полугоры. Над ним – высокий дощатый сарай с конным воротом. И днем и ночью канат ворота в движении. То руду из шахты или работных в бадьбе поднимают, то сосновые подпоры для крепления штреков и орт в шахту спускают.

Вокруг сарая навалы руды. Целые горы серых, черных, коричневых камней. Многие с кварцевыми прожилками, с цинковым блеском. Руды так много, что рудоразборщиков почти не видно, хотя работает здесь больше тридцати человек.

Возле навалов разостланы конские шкуры, мехом вверх. Тяжелыми молотами ребята дробят на них камни. Сохранять велено даже мелкие крошки руды. Их бережно стряхивают в кучи чистого разбора...

То к одной группе разборщиков, то к другой часто подходит надзиратель – следит, чтобы работали с прилежанием.

Оглядывая ребят, он замечает, что трое малолеток, побросав молоты, что-то внимательно рассматривают на земле.

– Эй, вы! – окликает он. – Леня разглядываете? – И делает шаг в их сторону. – Сейчас мы леня посадим на ремень...

В руках у надзирателя появляется ременная плеть. Но ребята не ждут, когда плеть пройдет по их спинам. Миг – и все снова на местах.

...Вот два подростка протащили на носилках ближе к подъезжающим рудовозам готовый разбор. Передний – Пашка Шайкин, веснушчатый, рыжеголовый, в залатанной холщовой рубаше – идет, сбывчившись от усилия. Другой, Ганька Крутых, лихо сдвинув на затылок отцовскую шапчонку, старается показать, что носить тяжести для него – раз плюнуть. Даже улыбаться пытается. И только по выражению круглых, с желтоватым отливом, немигающих глаз его можно увидеть, как тяжела ноша.

После того лета, когда пришлось работать на Гавриловском рудном дворе, Пашка еще трижды ездил зимовать в свою деревню. А как умерла мать и отец взят в Сузунский медеплавильный и монетный завод, Пашка вот уже четыре года неотлучно находится в Салаире. От снега и до снега – на разборе. А живет на хлебах в семье Ганьки.

...Свалив груз, они увидели, как недалеко два солдата провели каторжного в кандалах. Пашка неотрывно глядит на солдат, подталкивающих вперед каторжного. В глазах паренька вспыхивают злые огоньки. А Ганька язвительно замечает, по-отцовски приподняв бровь:

– Во, еще одного сейчас поместят на подземное житье... В дальних ортах поселят... Шестеро их теперь будет там...

– Кажись, не наш, не салаирский, – вглядывается в каторжного Пашка. – Или наш? – заколебался он, стараясь увидеть лицо арестанта. Тот идет с низко опущенной головой.

– Наш, наш, – утвердительно шепчет Ганька. – Я знаю его... Терехин это... Селиван... С первой шахты... Помнишь, прошлым летом в лазарет снесли после палок. Там подправили, а зимой снова водили сквозь строй. Остатки приговорного в спину вколачивали... Думали, не работник будет... А он, вишь, поднялся. Вот и ведут в шахту – отрабатывать долг казне...

Заслонив глаза от солнца, они вместе с остальными рудоразборщиками наблюдают, как, подойдя к воротам надшахтного сарая, один солдат выдвинулся вперед и вошел первым. Второй по-прежнему замыкал шествие.

«Боятся, чтоб каторжный не утек через другие ворота сарая, – недобро, по-взрослому, усмехается Пашка. – А то не возьмут в толк, что бежать ему сейчас никак нельзя. Людей много кругом... И день...»

Пашка вспомнил слышанный однажды разговор стариков о беглых. «Смотри, что делается, – говорил Федот. – Не проходит недели, чтобы с которой-нибудь Салаирской шахты не ударился в бега работный, а то целая ватага. И знают, что в таежной дикости не райское житье. Не от зверя сгинут, так от голода, а все равно бесперечь бегут».

«Побежишь, – сурово ответил старый каторжник. – Уж коли Нерчинской каторге завидуют, ложно показывают на себя убийство, чтобы только избыть рудничную работу, понятно, сколь тяжело людям...»

– Ой, ребята, – жалостливо вздыхает в это время Санька, стоявший близ Пашки с Ганькой. – Вот спустят его (парнишка кивает в сторону каторжного) в шахту, и не увидит он больше света белого... Страшно...

– Уви-и-идит, – уверенно говорит Ганька и настороженно оглядывается. – Не он, так его белый свет увидит, когда поднимут из шахты для похорон... Отец всегда так говорит...

– А каторжных хоронят в шахте... Я знаю... Забросают камнями в завале – и вся недолга... Чего с ними возиться...

Это сказал пятнадцатилетний Пантей Кислицын, прозванный ребятами Прыщом, – сын надсмотрщика со второй Салаирской шахты,

хилый, не по возрасту высокий, с прыщеватым лицом. Он всегда всех перебивает, как будто только ему все доподлинно известно. Рудоразборщики его не любят.

– Ты, цапля, замолчи, – зло косится на него Пашка. – Тебя самого надо в завале живьем закопать...

– Храбрец запечный... Вот расскажу сейчас ребятам...

Возле ребят появился надзиратель:

– Вас по отдельности звать к работе надо?

Он схватил было Пантея за рукав, но тотчас отпустил. «Углядел, что сын знакомца, – думает Пашка. – Не тронет...»

– А вы чего прячетесь? – напустился надзиратель на них с Ганькой. – Переживаете, чтоб за вас малолетки сделали?.. Идите сейчас же породу в отвал таскать... Да носилки большие берите... Вон какие дылды, хоть небо подпирай... – Надзиратель одного и другого дернул за руки и толкнул в спину.

Притихшие рудоразборщики безостановочно мельчат руду... При каждом ударе молотов во все стороны летит град мелочи... Крошки больно секут лица, руки...

От резкого и неловкого удара кого-то из ребят крупный камень отскочил и сильно ударил по колену разборщика Петюху Шубина.

Ойкнув, парнишка бросил в сторону молот и заплакал, зажимая рукой ушибленное место.

И сразу все побросали работу, заговорили. Ближние повскакали с мест, обступили Петюху. Наперебой советуют:

– Растирай ладонью... Растирай... Боль утишит...

– Зажимай сильнее...

– Ребята, ребята, – размахивает руками Санька, пытаясь что-то сказать. Но в суете и разноголосом гомоне можно понять только отдельные слова: – ...буду караулить... надзиратель... упрежу...

Бросив носилки, присели на корточки возле Петюхи Пашка с Ганькой. Осматривают Петюхино колено. Пашка, набрав в горсть земли, засыпает ею рану и заматывает поданной кем-то грязной тряпкой.

– Только не развязывай, – говорит он строго. – Земля быстро подсушит... А с коростой легче...

Раздавшийся вдруг резкий свист Саньки заставил ребят разбежаться по местам. Вот-вот может появиться и надзиратель.

Петюха тоже попытался пересечь ближе к навалу, но не смог. Так и остался сидеть, беспомощно озираясь. Знал, что кончится все это для него поркой. Дневной урок в тридцать пудов разбора с больной ногой он никак не выполнит...

Из-за рудных навалов, в самом деле, вышел надзиратель. Идет не торопясь, руки заложены за спину. Лицо такое равнодушное. Но маленькие мышинные глазки все замечают вокруг... Вот ему показалось, что парнишка дробит руду крупно. Раз! И надзиратель вклеил ему затрещину. Другого стегнул ремнем по спине только за то, что он будто бы лениво шевелится...

Заметил надзиратель и плачущего Петюху. Замерев, как собака, обнаружившая дичь, он в следующий миг ринулся в его сторону. Но неожиданный поворот событий помешал ему расправиться с разборщиком.

На самый высокий рудный навал вскочил Санька и пустился в дикий пляс. Надзиратель, забыв о Петюхе, озадаченно уставился на него.

А малолетка-рудоразборщик, всегда такой смиренный, сейчас дико размахивает руками, страдальчески выкрикивая:

На разбор нас посылают,  
Шибко нас дерут и лают...

– Ты что это, ты что?! – как бы опомнившись, кричит надзиратель и, злобно сверкнув глазками, бежит к навалу.

В день дерут нас по пять раз,  
Пока вырубешь наказ... –

продолжает выкрикивать Санька, преодолевая страх.

– Покажу я тебе сейчас, бергальский ты обрывок, как шибко дерут! – Надзиратель карабкается к Саньке. – Сейчас узнаешь!

Но привести в исполнение угрозу ему не удается. Камни под ногами рассыпаются, надзиратель падает.

А Санька, теперь уже со злой удалью, частит:

Не успел под розги лечь,  
Как валится кожа с плеч...  
Да оттудова валится,  
О чем петь нам не годится...

Надзиратель с поцарапанным лицом снова пытается взобраться, бормоча ругательства. Санька, стремительно сплясав, проворно прыгает с навала...

Восхищенно смотрят ребята, как он ловко увертывается от надзирателя. Обежав несколько навалов руды, парнишка останавливается на мгновение, а затем внезапно бросается в сторону отвалов породы. Следом за ним рысит надзиратель...

– Вот это малец! – восхищенно, с нотками зависти, говорит Санькин сосед. – Никого не боится...

– По виду смирный, а гляди, что делает, – одобрительно кивает в сторону убежавшего другой Санькин сосед – Захарка – и тотчас морщится. После недавней порки он с трудом может сидеть. – Теперь ему столько прутьев вкатят, что до зимы будет занозы вытаскивать.

– Он это Петюху выручал, – серьезно смотрит на товарищей рассудительный Ромка. – Если б не Санька, его сегодня выпороли бы...

Громко ругаясь, к разборщикам подходит надзиратель.

– Ни одному теперь не поверю, – бросает он на них яростные взгляды. – Уж на что этот обрывок ягненком казался, а гляди ты, что натворил! – Надзиратель прикладывает к царапинам тряпичку. – Ну, да утром явится... Покажу я ему тогда кузькину мать... Вовек не забудет...

Привстав на камень, он оглядывает парнишек. Зачем-то начинает было пересчитывать их, тыча в пространство перед собой пальцем, но, не dokonчив, останавливается. Смотрит на Петюху, снова взявшегося за молот, затем соскакивает на землю и молча идет меж рудных куч.

«Ай да Санька! – глядя вслед надзирателю, думает Пашка. – Себя не пожалел, чтобы товарища выручить».

Он указал Ганьке глазами на понурюю фигуру надзирателя, и оба улыбнулись.

А горячее солнце продолжает радостно играть трепетными лучами, сверкать на гранях кварца, на чешуйках слюды, высветлять ребячьи головы, расцветивать синие, желтые, красные рубашки разборщиков.

Вдруг за спинами ребят раздался веселый голос:

– Эй, рудобои, расхватывай поклоны! Целый короб привез!

Оглянувшись, ребята увидели коренастого молодого мужика с легкими корявинками на лице. В зеленоватых лукавых глазах его прыгают веселые искорки. Это – Макся, рудовоз с Гавриловского завода.

– Чего молчите? Верно говорю, поклоны привез.

– От кого это? – настороженно спрашивает Пашка. – У нас там один знакомец – дедушка Федот... Мы вчера виделись. В гостях он был... у нас... Да и сегодня, поди, у Якова Ивановича еще...

– Не-ет, – сверкнув белозубой улыбкой, качает головой Макся. – Выше бери... Нарядчик Блинов поклон передает!

Заметив, как вытянулись лица у разборщиков, а Пашка даже сплюнул под ноги, Макся серьезно пояснил:

– Шучу, ребята... Один поклон от дружка вашего – Митри Зобачева. Он вчера с матерью насовсем переехал в слободку. Отца-то схоронил в деревне. «Передай, – говорит, – поклон всем ребятам, кто помнит меня. Соскучился я о них».

Выжидательно замолчав, Макся переводит внимательный взгляд с одного лица на другое и заканчивает:

– И Федот Карпыч поклон передает... Я только что привез его с завода.

«Как же это? – удивленно переглянулись Ганька с Пашкой. – Сказал, что побудет дня два-три в Салаире... Повидается с дедушкой Яковом, с Тишкой... А сам?... И зачем он ходил в Гавриловку?..»

## ПОВЕСТЬ О МИХАЙЛЕ ВОЛКОВЕ (отрывок)

Вежа шестая

Плещется Томь, перемывает камешки у берега, оглаживает бока лодок в устье Чесноковки. Левее устья по колени в воде стоит запряженная лошадь. Держась за бочку, белобрысый молодой казак прямо с телеги черпает в нее воду. Одет он в коричневый кафтан, полы которого щеголевато заткнуты за опояску, в белую рубаху и темно-синие штаны. На ногах – кожаные бродни. Шапка лихо заломлена на затылок.

Вылив в бочку последнее ведро, он вскидывает к глазам ладонь и долго щурится на реку, трепещущую в лучах заката. Почудилось, будто недалеко скрипят уключины. Однако так ничего и не углядев, казак вытирает заслезившиеся от яркого света глаза, берет вожжи и правит на берег.

– Эй, служилый, погоди! – доносится до него возглас с реки.

Обернувшись, казак видит причалившую к берегу лодку с двумя людьми – густобородым мужиком и худеньким пареньком. Выскочив на песок, они закрепили лодку, и мужик направился к остановившейся на подъеме телеге. Поздоровавшись, он видит напрягшуюся лошадь и не может утерпеть:

– Назад сдай. Не мучай коня.

– Ты мне начальник человек? Да? – вспыхнул казак, чувствуя правоту совета и свою оплошность. – Говори лучше, для чего звал? Указчик у меня дома есть.

– Ну, вот и осерчал, – миролюбиво смотрит на него мужик, подпывая под колесо камень, чтобы облегчить лошадь. – Я к тебе за добрым словом. Видишь, мы люди захожие. Укажи, где у вас в городе на постой примут.

Казак пытливо оглядывает мужика.

– Каждый приют даст. В нашем Верхотомском остроге...

Однако договорить ему не удалось. Мимо на водопой прорысило несколько лошадей. Упряжной конь заволновался, и казак, так ничего больше и не сказав, начал понукать на взвоз...

Хотя сентябрь только в начале, сумерки рано спускаются на землю. Кажется, совсем недавно мужик с пареньком причалили к берегу, а пока шел расспрос, пока выгрузились да поднялись к острогу – стемнело.

...На постой попросились в первой подвернувшейся избенке не в дальности от городских стен, оцетинившихся в темное небо частоколом бревенчатого тына. Как и повсюду в сибирских краях, они были немногословно, но приветливо встречены. Хозяин – рядовой служилый Авдей Щеглов – в ответ на просьбу о ночлеге указал на просторные полати, широкую глинобитную печь:

– Места хватит. Оставайтесь. Сейчас вот и ужинать будем. Только... – Он замялся, но тут же решительно докончил: – Сын боярский, что на время остался за воеводу, настрого наказал без ведома никого не принимать. «Беглых много скитается, – говорит. – Надо знать, кого приючаем». Так что для всякого спроса назовите свои имена, звания.

И когда человек сказал, что его имя – Михайла Волков, что он рудознатец, а с ним рудного дела ученик Лаврентий Еськин и у них есть от Горной конторы проходная бумага, засмоленная для сбережения от сырости в дощатую коробку, что он может эту бумагу достать, если надо, Авдей успокоился.

...Поужинали при свете лучины. Авдеева женка, убрав со стола, смахнула ветошью крошки и принялась в кути горячей водой мыть посуду. Лаврушка полез на полати спать. Михайла тоже поднялся было, но сейчас же снова сел.

– Слышь, хозяин, – обратился он к Авдею. – Чуть не запамятовал. Вот о чем спросить хочю. Давеча мы видели дым своеобразный в обрыве речном. Вверх по Томи это, где правый берег сразу за окатистой лесистой горкой идет сюда, к острогу, высокой крутой стеной. Сажен двадцать высоты будет. На другом берегу, наискосок, в устье ручья заимка еще виднеется. Знаешь то место?

Авдей утвердительно мотнул головой.

– Дивовались мы с Лаврушкой, гадали и так и этак, но ничего не придумали. Что там горит? И дым какой-то непохожий – бледный, чуть желтоватый. Я было подумал, что он от костра, но присмотрелись – нет.

Горит в обрыве. Сразу в нескольких местах из земли, саженях в десяти от низа, вырывается дым. Хотели мы ближе рассмотреть, да времени было в обрез. – Волков вопросительно смотрит на Авдея: – Что это?

Тот недоуменно пожимает плечами:

– Кто ведает? Не первый год дымит. – Как бы что-то припоминая, он добавляет: – Наши сказывали, молнией землю зажгло.

Рудознатец задал еще несколько вопросов, но ясного ответа почти ни на один не получил. Только и узнал, что речка, впадающая в Томь с левобережья, против окатистой горки, прозывается Искитим, а заимка в ее устье принадлежит казаку из зажиточных Прокопию Щеглову. «Как на опаре поднимается хозяйство, – с завистью сообщил Авдей. – В прошлом году одного работника держал, а нынче и второго нанял. Нашего, посадского, – пояснил он, – из выкрестов татарских».

Михайла спросил, каков в этом году урожай, хорошо ли земля хлеб родит, добавив, что он мало слышал в сибирском крае жалоб на засуху, недород.

– Тоже всяко бывает, – неопределенно махнул тот рукой. – Часом с квасом, а порой и с водой. Кто в силе, управляться в хозяйстве есть кому – тем хорошо. Работы пашенные делают в срок, урожаи получают ладные. А в страдную пору и нанять лишнего человека могут. Такие на жизнь не жалуются. У них достаток. А вот когда в хозяйстве вдвоем с женкой, – не сильно густо в амбаре. Службу городовую аккуратню надо исполнять, и по хозяйству все делать, и пашню вовремя перепашать, заборонить, засеять, хлеб сжать, сена накосить. Конь хоть один да в придачу коровенка немудрящая, а корму порядочно требуется. Сам изведешься да и женку за лето иссушишь. Хлеба же все равно хватает только-только до новины.

Он умолкает, угрюмо насупив брови.

...На дворе уже непроглядная ночь. Только изредка затянутые бычьими пузырями избяные окна озаряются яркими сполохами и доносится глухое ворчание грома. Где-то стороной проходит гроза... Прислушиваясь к ночным шумам – хлопанью плохо укрепленных досок, тоскливому свисту ветра, – рудознатец зябко поводит плечами. Бес-

приятно чувствует себя человек в такую осеннюю беспокойную ночь. Наконец, как бы стряхнув оцепенение, Авдей шумно вздыхает и встает.

– Спать давай ложись, рудознатец, – указывает он на печь. – Место сугревное. Косточки хорошо распаришь... Да и мне надо отдохнуть. Утресь в караул.

Построенный на правом берегу Томи, примерно в полпути из Томска в Кузнецк, Верхотомский острог являлся одним из укреплений оборонительной линии Томск – Сосновский острог – Верхотомское – Кузнецк – Бийская крепость, должной противостоять набегам подвластных Джунгарии монгольских и алтайских воинственных племен на русские поселения.

Со времени возникновения в пятидесятых годах XVII века на береговом мысу при впадении в Томь речки Чесноковки почти столетие он был обнесен земляным валом и бревенчатым тыном поверху с дозорными башнями. Гарнизон, как и в других укреплениях, – пешие и конные казаки. Наряды конников разъезжали не только по правому берегу, близ острога, но, переправившись через Томь, углублялись в ковыльную степь, зорко оберегая от внезапного нападения. Однако в первые десятилетия XVIII века, когда граница на юге отодвинулась еще дальше к Джунгарии, военное значение Верхотомского острога уменьшилось: сократился гарнизон; хотя на башнях и продолжали дежурить дозорные, ворота почти по целым дням были открыты.

Вокруг острога к тому времени настроилось много изб – служилых и посадских. Тучный чернозем благоприятствует земледелию. Густые сочные травы – хороший корм для скота. Земли свободной много, и мужики, имеющие в хозяйствах наемных работных людей, расширяют: распахивают новые земли, строят заимки.

Утром, после завтрака, Михайла и Лаврушка вместе с Авдеем вышли на крыльцо.

– Вижу, что не тати, не убойцы, – продолжает казак начатый в избе еще разговор, – но все равно сказаться на съезжей – чьи, откуда, по какой надобности – должны. А после сходите и по рудоискательским делам. – Прищурился, он смотрит на солнце, недавно вставшее из-за

лесистого взлобка за Чесноковкой, затем, поправив ремень и складки кафтана в поясе, направляется к воротам: – Пойду. Сейчас караул сменяться должен.

Когда за Авдеем закрылась калитка, Михайла вздохнул с сожалением: – Придется зреть и Верхотомскую съезжую...

Они вынесли на крыльцо мешки с дорожным имуществом, отложили кайлы и коробку с документом.

...Возле дверей съезжей пришлось задержаться. Городовой наряд – двое хожалых – никак не могут затащить в тюремную камеру пьяного. Он цепко хватается за дверные косяки, пружинисто изгибается, норовя укусить. И ругается. Отчаянно, с пеной у рта. Казаки действуют молча. Только который нет-нет да и примется очурывать:

– Елисей, не буйствуй... Опомнись... Елисей, Лисейка...

– А это ведь знакомец, – приглядевшись, говорит Михайла, указывая на пьяного. – Вчера на берегу разговаривали... Ишь, какой оказывается.

Наконец пьяный на запоре. Запыхавшиеся хожалые, оправляя растрепавшиеся кафтаны, негромко переговариваются.

– Что ты будешь делать, – сокрушается рыжеусый казак. – Когда в своем уме – человек, а забражничает – буян, горлохват... Добрые люди делом занимаются, а Елисей с утра за зелено вино.

– Он дома накуролесил вечер, – сообщает другой. – Обоих рабочих со стряпухой отец на заимку усладил снопы на ток возить, а Лисейке велел по хозяйству помогать... Пришлось воды с реки на лошади привезти. Это он сделал, это для мужика не зазорно. А когда женка велела еще и телятам отнести пойло, Лисейка раскричался. Что я, говорит, наемный рабочий или баба? Прокопий Сергеевич пригрозил вожжами, а сынок в ответ совсем взбеленился. Ушел из дома да всю ночь и прображничал с Гришкой-запивухой. – Казак кивает в сторону тюремной каморы: – Видел, до чего дошел? Совсем обличья лишился. Чуть-чуть убойцем не стал.

– Не пойму, чего отец поблажает? – недоумевает рыжеусый хожалый.

– Чего же не понять, Лисейка – единственный сын. И хоть легковат головой, с пыльцой, как говорится, а все наследник. Вот перед отцом и куражится.

Вдруг рыжеусый, словно прозрев, увидел Михайлу с Лаврушкой:

– А вы что за люди?

Он хмурится, досадуя, что чужие слышали их разговор.

Михайла сообщает, что они рудоискатели и явились к воеводе или сыну боярскому сказаться.

– Эк шустры, – иронически смеется казак. – Довольны будьте, коли писчик выслушает. – Согнав с лица улыбку, он указывает на дверь: – Все в присутствии, идите.

Не было рудознатца около половины часа, а когда появился, засовывая за пазуху коробку с проходным свидетельством, Лаврушка обрадованно схватил его за рукав.

– Погоди, парень, погоди, – говорит Михайла, оправляя азым. – Все как быть, ладно. – Он обводит глазами просторное безоблачное небо, съезжую, ближние строения, зубчатый верх стены и облегченно улыбается: – Ну, а теперь, Лаврентий, за дело...

В первые годы после постройки острога кряжистые сосны и ели совсем близко подступали к бревенчатому его частоколу, но затем начали отдаляться. Оттесняли их порубки, пожоги. И теперь ближе полуверсты растет только мелкий кустарник да высокая трава. Зато дальше, вдоль берега и в отдалении от него, лес стоит плотной стеной. Неторная, в глубоких рытвинах лесная дорога, что тянется от острога на юг, робко пробирается меж деревьями. Идти по ней сущее наказание. Ноги скользят, подвертываются. Того и гляди упадешь. Поэтому за полтора часа, прошедших после отправления из Верхотомского, рудознатцы едва одолели половину намеченного пути. А тут еще Лаврушка – то задержится у куста малины, выставившей к дороге веточки с остатком переспелой ягоды, то возле смородинника, густые заросли которого нет-нет да и уведут в сторону, то залюбуется рябиной, задумчиво покачивающей красноватыми гроздьями, то углядит стройную березку, взметнувшую к небу тонкие веточки... Михайле частенько приходится останавливаться, дожидаться его.

– Знаете, Михайла Иванович, – говорит Лаврушка, отирая рукавом потный лоб. – По такой дороге быстро притомисься. – И, смутившись, поясняет: – Только не подумайте, я не устал.

Рудознатец ласково на него поглядывает: «Оно и видно. До седьмого поту юлой вертисься». Вслух же сообщает:

– А я устал. Сейчас дорога сойдет в низину, к речушке. Там и передохнем... Пока же дай-ка мне твою кайлу.

Сразу за речкой с топкими берегами, заросшими гибким тальником и густой высокой травой, начался еле заметный подъем. Появились березы. И чем дальше, тем их становится больше, растут они гуще, переплетаясь раскидистыми кронами. Пронизанные солнечным светом, березы излучают мягкое нежно-зеленое сияние.

...Верст шесть отмахали Михайла с Лаврушкой от острога. Перешли один ручеек, через малое время – другой и вдоль него спустились к Томи. Засмотрелись было на речной простор, но, вспомнив о деле, стали пробираться отмелью, что прижалась слева к обрыву.

Вглядываясь снизу от воды в то место обрыва, откуда струится дымок, рудознатец удовлетворенно говорит:

– Вот мы и пришли. – Он достает из-за опояски топор и протягивает Лаврушке: – Держи. Я полезу наверх, а ты оставайся здесь да запаси дров. Плавника вдоль берега вон сколько.

Пядь за пядью пристально изучает Михайла обрыв, отыскивая удобный подход. Показалось, что доберется легко, но, когда полез, заткнув за опояску кайлу, увидел, что ошибся. Некоторые выступы и неровности обрыва, едва за них ухватывается рука, беззвучно отваливаются и с шуршанием летят вниз. Помогла кайла. С размаху втыкая ее в обрыв, Михайла медленно, с большим опасом, забирается все выше и выше. Вот до намеченной цели осталось меньше сажени. Кажется, еще усилие – и можно передохнуть. Неожиданная помеха заставила остановиться. Дымок, казавшийся издали таким безобидным, вблизи источает смрад. Глаза защипало. В горле запершило. Смежив веки, из-под которых текут слезы, Михайла зашелся в удушливом кашле. Мелькнула предательская мысль – уйти, отступить. В этот момент ветерком дым

понесло в сторону. Дышать сразу стало легче. Изловчившись, рудознатец подтянулся на руках, нашел упор для ног и, выпрямившись, оказался на уровне дымящейся земли.

Цель достигнута!

«Надо укрепиться», – думает он, разглядывая уступ. Освободив кайлу, осторожно, не нагибаясь и не делая резких взмахов, начал долбить землю возле ног, увеличивая площадку. Работу несколько раз останавливал дым, едкими струями обволакивающий горщика всякий раз, как только стихал ветерок.

Наконец рудознатец кончил подготовку. На площадке можно свободно стоять, не боясь оборваться. Михайла внимательно глянул на дымящуюся землю. Странно! Теперь, вблизи, она уже не кажется черной, а только темно-серой. «Дождем, что ли, высветлило?» – подумал он. И еще: «Пожалуй, кайлом-то не размахнешься». Но, против ожидания, при первом же несильном ударе тычком, без замаха, из-под острия обильно брызнули легко раскрошившиеся камешки. Когда затем кайла ушла в углубление, а внизу скопилась горка мелких камней, рудознатец спустился с обрыва, чтобы на огне испытать их.

– Молодец, Лавруха. Люблю проворных, – похвалил он паренька, успевшего за это время не только наготовить дров, но и развести огонь. – Давай-ка испытаем, – Михайла высыпал на костер добытые камни.

Проверка закончилась полной неудачей. Как рудознатец ни увеличивал жар, как ни поыхало пламя – камни не горели. Все попытки запалить их так ни к чему и не привели.

Сев на чурбак возле огня, рудознатец задумался: «Почему не горят? Взятые из того же места, где сочится дым». Машинально он поднял серый камешек из тех, что добыты в обрыве, повертел в руках, подивился, что он весь в мелких трещинах вроде бы от жара, как вдруг осенила мысль: «Это же зола! Огонь ушел вглубь горы, а снаружи осталось то, что гореть не может. Конечно, зола!»

Проворно встав, Михайла быстро пошел по берегу, оглядывая обрыв. Шагов через пятьдесят остановился.

– Здесь испытаю, – махнул он Лаврушке.

Опять добрался до приметной полоски земли, удобнее пристроившись, из глубины надолбил камешков, спустившись, ссыпал их в костер, и... снова неудача, хотя на этот раз были камешки темнее, менее трещиноватые. «Почему не горят?» Рудознатец прикидывает и так и этак, стараясь догадаться. «Если в первый раз я золу поджигал, – рассуждает он, – то сейчас, кажись, нет. Почему не горят?»

Тяжело уходить, не выполнив задуманного. На плечи наваливается тяжесть, ноги передвигаются устало.

Такое самочувствие и у рудознатца сейчас. Пока отмелью и берегом ручья поднимались к дороге, что ведет в острог, дважды присаживались отдыхать.

– Плохо дело, – глухо говорит Михайла. – Сегодня вот еще день минул впусте. Ничего полезного не досмотрели. – Он указывает на березы, отдельные ветки которых начали кое-где принимать уже багряный цвет: – Видишь, осень вплотную надвигается.

Устремив взгляд в пространство, рудознатец сосредоточенно думает... За сучья ближайшей березы зацепились длинные седые нити паутины. Колеблемые ветерком, они развеваются, предвещая сухую погоду...

– И к Томскому пора, – негромко, как бы соображая вслух, говорит рудознатец, – и здесь надо еще поискать. – Чувствуется, что он не знает, как поступить. – Пока реки не замерзли, на Урал следует продвигаться. А раздумываешься: как на полпути бросить дело? Ведь что-то же горит в обрыве над Томью. – Наконец, после колебаний, Волков принимает решение: – Еще дня два побудем здесь. Благо и погода стоит добрая. Посмотрим, поищем...

Снова идут рудознатцы вдоль лесной дороги, выбирая поровнее и посуше места. Однако не прошли они и ста саженьей, как чуткий ухом Лаврушка сообщил:

– Подвода догоняет, Михайла Иванович. Слышите, телега поскрипывает.

Тот оглянулся. В самом деле, из-за ближнего поворота выехала телега. Сытая лошадь бежит легкой хлынцой, екая селезенкой. Правит

черноволосый молодой мужик. Во всем облике – смуглолицем, кареглазом – что-то нерусское. «Из татарской породы», – отмечает рудознатец. Поравнявшись, мужик останавливает лошадь.

– Садитесь. Ногами долго путь мерять. – Он подвигается к передку телеги, освобождая место.

...Первое время ехали молча, но постепенно разговор налачился. Полюбопытствовав, что за люди его попутчики, мужик сказал, что он с заимки, едет домой за хлебным запасом и в одночасье должен вернуться, что он вместе с женой в постоянных работных у Прокопия Сергеевича. Свои конь и корова весной пали от черной болезни, кормиться стало нечем, вот и пришлось закабалиться.

– Трое ребятишек у нас, – сообщает он. – Есть-пить просят, обувь, одеть надо. А откуда взять? Четверо нас, братьев Кемировых, да все в работных.

...Через несколько лет после постройки острога, когда возле его стен появился посад, к воеводе однажды обратился молодой татарин Темир – житель ближайшего улуса верхотомских татар. Он просил разрешения поселиться среди русских. Что его побудило к этому – неизвестно, только вскоре близ домишек посада появилась юрта.

Вначале жил Темир один. Пас своих овец да трех коней. Когда же в остроге привыкли к нему, увидели его расторопность – стали нанимать пастухом... А через три-четыре года он пас овец у доброй половины жителей.

Женился Темир на русской – молодой вдове из посада, родившей четырех крепких смуглотовых и кареглазых мальчишек-погодков. Очень доволен был отец, любуясь сыновьями.

«Сильными будут, – любил повторять он. – Богатырями будут». Но в жизни получилось не так. Когда сыновья подросли и Темиру особенно тяжело стало прокормить всю ораву, пришлось старшим идти в работные к зажиточным. Выносливых и трудолюбивых пареньков нанимали охотно, кормили, одевали, зная, что они с лихвой вернут добросовестной работой все затраты.

Шли десятилетия. Темировы сыновья так и состарились в работных. Работными стали и дети Темировых сыновей. Только и разницы было с

отцами, что из дедова имени в остроге образовали для внуков фамилию. В окладных книгах и других бумагах Верхотомской канцелярии сначала появились Темировы, затем – Кемировы, а позднее – Кемеровы.

...Над избенками посадка сгущаются вечерние сумерки. Мужики, только что вернувшиеся с пашни, распрягают лошадей. Слышно, как те в ожидании отдыха нетерпеливо фыркают, шумно отряхиваются. В загородках женщины доят коров. Тугие струи молока бьются о дно подоюника. Изредка доносится голос которой-нибудь хозяйки, негромко уговаривающей корову: «Стой ты, гулена... ишь, размахалась хвостом... стой...»

Авдей, недавно вернувшийся из караула, только закончил ужин. Подвинувшись к краю стола, он вслушивается в слова сидящих рядом рудознатца и сивобородого верхотомского казака Саввы Корнева. Тот зашел к Авдею в надежде узнать от его постояльца, что в других городах и деревнях делается. Разговаривают они порядочное время, и теперь уже не старик задает вопросы, а рудознатец. Он выпрашивает все, что может помочь разгадать тайну подземного пожара.

– Давно ли камни горят, спрашиваешь? Этак, пожалуй, годов с двадцать или поболее. В те поры, как наши мужики в первый раз дивились, что над рекой земля загорелась, мой старший внук только начал ходить. А прошлым Покровом и свадьбу ему сыграли. Видишь, сколько времени пробежало. – Савва внимательно глядит на Михайлу, задумчиво перебирающего пряди бороды: – Ты, мил человек, кручинишься чего-то, как я замечаю?

– То не кручина. Загадку не могу разгадать, что задала горелая гора. Почему в обрыве огонь, а камни оттуда не загораются? Что там? Или не все пыхает, что на пути огня встречается, или... – Михайла встрепенулся, – может, это и впрямь зола?!

– Дымит-то уж сколько лет, знаешь? – спрашивает старик. – Давненько ведь. Так неужто огонь все с краю держится? – Савва решительно мотает головой: – Нет, конечно, вглубь ушел. А сверху, ты правильно молвил, наверно, зола. Испытай в ином месте. Любопытно, что у тебя получится?

Охваченный нетерпением быстрее проверить догадку, Михайла, едва забрезжил рассвет, был уже на ногах. Растолкал и Лаврушку, хотя тот вначале никак не мог понять, что ему говорят. То и дело засыпал, даже пытался прикорнуть на лавке, уже обувшись. И только когда Михайла плеснул на него водой из ковша, пришел в себя. Наспех позавтракав, они захватили кайлы, а Михайла сверх того попросил у Авдея еще и веревку.

– Понадобится сегодня, – сообщил он, перекидывая ее через плечо.

...Дойдя по отмели до остатков вчерашнего костра, рудознатец решил действовать иначе. Осмотревшись, он продвинулся по берегу дальше, туда, где не было дыма, кинул на гальку азам, шапку, потуже перетянулся опояской, затем веревкой и полез на обрыв, велел Лаврушке держать в костре огонь наготове.

Просторный вид открывается с верха горелой горы на заречные дали. До самого горизонта по холмистым увалам, по долинкам – высокое густотравье и березовые перелески. Даже сейчас, в сентябре, пойменная ширь радует глаз. Полюбовавшись привольем, рудознатец с грустью подумал: «До чего схожие места! Так родиной и запахло». Глянул вниз и вдруг увидел в серой стене обрыва темный пласт земли. «Как начинка в пироге», – мелькнула мысль.

Обвязав веревку вокруг крепкой березы, что растет ближе других к обрыву, Михайла поправил кайлу за опояской и осторожно начал спускаться.

Нелегкий путь выбрал он. Хотя ладони и загребели от постоянной работы с лопатой, кайлой, веслами, но уже через четыре-пять саженей их начало саднить: слишком большой упор пришелся при спуске.

...Но вот горщик у цели. Закрепив конец веревки, он разглядывает матово-черную землю. Достав кайлу, примерился и по-вчерашнему, без замашки, начал долбить. Вначале вниз устремился град мелочи, но затем рудознатец почувствовал: чем больше кайла углубляется, тем труднее бить и в то же время все крупнее откалываются камни. Такие глянцевиные он видит впервые.

Посмотрев вниз, Михайла увидел, что скопилась порядочная черная куча, выделяющаяся маслянистым блеском на сером песке и гальке побережья. Рудознатец спустился на отмель и положил в костер несколько камней из кучи. Загорятся или опять неудача?

Глядя на огонь, Михайла ждет... Вот поленья в середине просели. На камни навалились пышущие жаром угли... Прогорая, они покрываются нежным сизоватым пеплом...

Но что это?! Показалось, будто камни тоже горят. Без пламени, распространяя сладковато-душливый смрад. Не поверив, рудознатец отгреб их в сторону. Горят!

Это было столь необычно, так противоречило с детства усвоенным представлениям, что камень и вода не горят!.. Рудознатец даже немного растерялся. Но тут же мелькнула заманчивая мысль: «Знатное подспорье дровам, а может... и замена!» Воображение живо нарисовало картину: к заводским домнам, горновым, молотовым фабрикам везут не древесное уголье, над выжигом которого мучается столько людей, а этот... камень. Впрочем, какой же это камень? Это уголье, только каменное... Каменное уголье!

Взяв в руки лоснящийся камень, Михайла пристально его разглядывает. Чутье опытного рудоискателя подсказывает, что сыскан особенный, досель невиданный минерал... Вот она, руда, о которой столько лет думалось, которая поможет семье избавиться от барской кабалы, от крепки... Как он обрадует мать и жену, когда положит перед ними вольную отпускную! «Не надо, – скажет, – теперь надрываться на барщине, проливать слезы отчаяния. Теперь мы – вольные!» Счастливейшее это будет время! Ведь на всем белом свете ничего нет более дорогого, чем быть свободным человеком!

...Через день, на рассвете, когда еще вся река была укрыта туманом, рудознатцы отправились в дальнейший путь. На сей раз в Томск.

1960–1972

Виктор Арнаутов

«ПОБЕДИЛ САМОГО СЕБЯ...»  
(о Виталии Степановиче Рехлове)

В кемеровском сквере, двумя стройными рядами тополей, лиственниц и елок обрамляющем площадь, между областной научной библиотекой и главным корпусом технического университета, стоит памятник. Всякому кемеровчанину, да, пожалуй, и кузбассовцу, известно, что это памятник Михайле Волкову, работы скульптора Георгия Баранова. На постаменте мужик в длиннополом кафтане, сапогах, с непокрытой головою и окладистой бородой прижимает к груди обеими руками большой кусок черного камня. Камень тот – угольный, а мужик – первооткрыватель кузнецких углей. А чуть поодаль, в сторонке, плоская отшлифованная серая стела, на ней высечены слова из донесения Берг-коллегии: «Сей минерал если не нам, то нашим потомкам зело полезен будет». И дата – 1721 год. Но совсем мало кому известно, особенно нынешнему молодому поколению, что самого-то Михайлу Волкова открыл нам не столько скульптор Баранов, сколько писатель Виталий Рехлов. Случилось то открытие в конце 1950-х годов. Михайло Волков никак не состарился, точнее, памятник ему. Как и книга о нем. Ведь книга – это тот же памятник, который можно в любое время открыть для себя.

Кто же такой писатель Виталий Рехлов, открывший миру рудознатца Михайлу Волкова? Начну с одного эпизода, описанного в книге Геннадия Юрова «У родника на Красной Горке»: «Летом 1971 года в помещении театра оперетты праздновалось 250-летие Кузнецкого бассейна. Дата исчислялась с того момента, когда рудознатец Михайло Волков нашел «горючий камень» на склоне горы Горелой. Произошло это в 1721 году на правом берегу Томи. Писатель Виталий Степанович Рехлов, известный как автор повести о рудознатце Волкове и других произведений, связанных с горным делом в старом Салаире, с русскими землепроходцами... жил на первом этаже дома, что рядом с театром

оперетты. Когда участники торжественного собрания следовали мимо отмечать событие, о котором он, Виталий Рехлов, написал популярную книгу, писатель вышел из подъезда, оперся на костыли и наблюдал из-под кустистых лохматых бровей. А когда двери театра закрылись и оттуда донеслись аплодисменты, писатель сел на лавочку и заплакал...»

Понятно всякому, что это были не слезы радости и умиления, а жгучей обиды от незаслуженного забвения. Забыли... Не скоро ли? А за семь лет до упомянутого Г. Юровым эпизода в газете «Кузбасс», по случаю пятидесятилетнего юбилея прозаика Виталия Степановича Рехлова В. Карпович написал: «Живет здесь, рядом с нами человек сильный, могучий и крепкий, как вековой дуб. Он выстоял бури, грозы и победил. Победил штормы жизни, победил самого себя».

Виталий Степанович Рехлов родился 3 апреля 1914 года в старинном сибирском селе Копёны Красноярского края, на берегу Енисея. С ранних лет в семье Виталия, от поколения к поколению, передавалось предание о том, что их прапрадед за участие в Стрелецком бунте при Петре Первом был пытан на Москве и сослан в Сибирь. От пыток раскаленными клещами один бок у прапрадеда стал «толстым», поэтому в родной деревне к фамилии Рехловых (ударение на «о») прибавляли еще и кличку Толстобокowy. Любовь к старине воспитывалась у мальчика матерью – большой мастерицей сказывать сказки, предания и былины. «Родители мои и бабушка с бабушкой любили меткое народное слово, удачную шутку, – вспоминал писатель. – С малых лет ценить это богатство, с уважением относиться к прошлому учились и мы, дети».

С огромным увлечением, будто зная наперед, что это пригодится ему, слушает он рассказы и предания взрослых об алтайских рудниках и заводах, о непомерно тяжелом труде на них простых рабочих и их малолетних детей, о безжалостных мастерах-бергалах.

«А если попробовать написать об алтайской старине?» – не давала покоя мысль совсем юному Виталию. В последствии писатель рассказывал: «Не выдержав искушения, взялся за карандаш. Несколько месяцев, не досыпая, пытался изложить все слышанное от дедов... В конце концов должен был признаться, что ничего у меня не выходит. Да ина-

че и не могло быть. Ни русского языка толком не знал я, ни истории русской. Да и общий-то запас знаний был ничтожно мал». Сей замысел удалось осуществить ему только через четверть века.

В то переломное и бурное время (Первая мировая война, революция, Гражданская война и последовавшая за ними разруха) детство и отрочество будущего писателя безмятежно-спокойными и быть не могли. К труду приобщался с малолетства. Юношеские годы прошли в городе Петрозаводске, у родственников. А в год, когда началось массовое раскулачивание крестьян и высылка на необжитые места, вернулся Виталий обратно в родные края. Коллективизация не обошла и лично его – вступил в колхоз. Был комсомольцем, искренне верил в светлое будущее. По комсомольской мобилизации оказался на шахте, работал простым шахтером.

По путевке крайкома комсомола он едет на культурно-просветительскую работу в села Красноярского края. Стремление быть всегда на передовой и в курсе событий привело его к тому, что он начинает писать небольшие заметки и корреспонденции в газеты. И уже в 1934 году, двадцатилетним, он становится корреспондентом газеты «Советская Хакасия», а немного позднее – «Красноярский рабочий». В голодные годы коллективизации, обнищания деревни и первых пятилеток Виталий видит стремительное преобразование города, невероятный энтузиазм молодежи, самоотверженность набирающего силу рабочего класса. И сам он – как в песне более позднего времени – готов хоть «трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете».

«Однажды он побывал на Севере. И его взяли в полон бескрайние белые просторы. Он навсегда запомнил сказочное северное сияние, мощный весенний ледолом, неистовство зимней пурги, нарядные краски осенних таежных дебрей. И не только запомнил, но и полюбил навеки. С той поры он устремлялся на Север, в поисках материала проделывал сотни километров на оленьих упряжках, приплывал на маленькие острова в Полярном море, объезжал фактории, никому не ведомые таежные стойбища и Богом забытые деревеньки. Не раз, и не

два голодал, ночевал в снегу под волчьими стенами вьюги. И был счастлив встречами с людьми, быстрыми сменами картин природы, всей такой нелегкой и нужной профессией». Так напишет о нем ставший другом Виталия и редактором одной из его книг писатель из Красноярска Николай Устинович.

В 1940 году Рехлов стал работать в Таймырской окружной газете. Зимой этого года по заданию редакции он отправился на Таймыр – самый север Красноярского края и попал в сильную пургу. Чудом остался жив. От переохлаждения всего организма он тяжело заболел, отказали ноги. Болезнь приковывает его к постели... А ему всего-то 26 лет! Не напоминает ли это всем нам легендарного Николая Островского?! Виталий пытается противиться болезни. И как только появляется хотя бы малая возможность, он тут же включается в активную жизнь. Рехлов переезжает в Кемерово и держится сколько может. Журналистская работа приводит его в газеты «Кузбасс» и «Комсомолец Кузбасса».

В начале 1950-х годов В. С. Рехлов решает поведать о первооткрывателе кузнецких углей, рудознатце Михайле Волкове. Толчком послужила статья из «Горного журнала» за 1915 год, в которой инженер Н. Я. Нестеровский сообщает о случайно обнаруженной рукописи XVIII века, в которой некий «Волков заявлял по Томи, в семи верстах от Верхо-Томского острога горелую гору от двадцати саженей высотой». А еще был документ, указ царя Петра Первого, о создании в 1719 году Берг-коллегии, по которому давалась широкая дорога изысканиям всевозможных полезных ископаемых на обширной территории России: «Соизволяется всем и каждому дается воля, какого бы чина и достоинства ни был, во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях, искать, копать, плавить, варить и чистить всякие металлы, сиречь: золото, серебро, медь, олово, свинец, железо, також и минералов, яко селитра, сера, купорос, квасцы и всяких красок, потребные земли и каменя... А тем, которые изобретенные руды утаят и доносить о них не будут, объявляется наш жестокий гнев, неотложное телесное наказание и смертная казнь».

Очень скуден и крайне невелик был материал об этом первооткрывателе «горючего камня» на земле Кузнецкой. Не было и доподлинно известно, кто же он, Михайло Волков. По одним слухам, он происходил из тобольского казачьего рода, по другим – был крепостным крестьянином Центральной России, которого барыня на долгое время отпускала на оброк. Вот тут-то и нашло свое воплощение писательское воображение Виталия Рехлова: обе версии о происхождении Михайлы Волкова он очень удачно обыгрывает в сюжете о рудознатце. А еще были невероятные по сложности и необычные по ходам документальные разыскания, извлечения из подлинников и мемуаров фактов, на основе которых и строится вся сюжетная и идейная линия художественного произведения.

И потянулись месяцы и даже годы кропотливого, напряженного труда, порой невыносимого из-за тяжелейшей болезни. Проштудированы десятки, сотни книг о Сибири и Кузнецком угольном бассейне: сочинения Гмелина, Фалька, Палласа, Германа, Чихачева, Яворского, Усова, Мушкетова. Более трех лет потребовалось Рехлову на подготовку и создание работы о Волкове. Сначала это были исторические исследования. Потом возникает идея повествования о нем, «потому как уже ясно представлял себе и личность первооткрывателя, и обстоятельства, при которых совершалось открытие». Еще три года понадобилось, чтобы появилась повесть.

«Шел медленно, словно всматриваясь в глубь веков, сверял каждый свой шаг по компасу истории, не давая себе передышки и не устраивая привалов. При этом сомневаясь: может быть, не стоит и продолжать, может, взялся за непосильное дело?» – напишет о нем к пятидесятилетию Раиса Лобанова.

С первой книгой-повестью Виталий Рехлов принес в литературу свою, глубоко выношенную, определенно очерченную тему, которой он останется верен до конца дней своих – тему исторического повествования на местном, кузнецком материале.

В одиннадцатом номере альманаха «Огни Кузбасса» за 1958 год напечатана повесть, названная в первоначальном варианте «Рудозна-

тец». Иллюстрации к ней выполнил замечательный кузбасский художник Герман Захаров.

Судя по повести, Михайло Волков был рудознатцем-самоучкой. Отправляясь на поиски месторождений, оброчный крепостной крестьянин надеялся на удачу: «Натакаюсь, думаю, на богатую руду, получу знатное вознаграждение – тогда с барыней о выкупе говорить можно. Страсть как хочется мать, жену, сына видеть вольными... Перевез бы их в Сибирь. Покою не дает мне эта думка».

Само открытие «горючего камня» произошло едва ли не случайно. И описано это событие лишь в «шестой вехе», почти в финале повести. Вот как это выглядело по Рехлову: «...Окинув небо, гребец задержался взглядом на береговом обрыве... Что такое? Оттуда лениво тянется струйка бледного, временами чуть-чуть желтоватого дыма. Мелькнула мысль, что дым – от костра, который палит человек. Однако тут же это предположение отпало: горит в обрыве. Сразу в нескольких местах из слоя темной земли, что саженях в десяти от низа, вырывается дымок». Помня приказ Берг-коллегии о предоставлении образцов, «в твердый берестяной короб уложил он фунтов пятнадцать каменного угля, чтобы отправить в горную контору при заявке».

Так ли это было на самом деле – сказать никто не сможет. Да и Виталий Степанович предложил читателям лишь свою художественно-литературную версию знаменательного события земли Кузнецкой. Как бы то ни было, но повесть напечатана, а уже в 1960 году эта вещь издается отдельной книгой в Кемеровском книжном издательстве, тиражом 15 тысяч, под названием «Повесть о Михайле Волкове». В 1972 году книга была переиздана. Как скажет позднее писатель Геннадий Юров, это было началом историко-краеведческой художественной литературы. А Виталий Рехлов явился своего рода первооткрывателем нового направления. Повесть не осталась незамеченной среди как собратьев-писателей, так и многочисленных читателей.

Виталий Рехлов задумывает написать повесть для детей и подростков – о первых промышленных предприятиях на территории Алтая и современного Кузбасса: о горнодобывающих рудниках, железоде-

лательных, серебро- и медеплавильных заводах, о людях, которые на них работали, об условиях их труда и быта. А первоотлчком к созданию повести послужили найденные документы, потрясшие его. Точнее, это был царский указ от 1781 года, по которому предписывалось призывать на рудники рекрутским набором всех детей горнозаводских работных, начиная с семи лет. Рехлов снова берется за сборы документов, изучает местные архивы, консультируется у живущего в Новокузнецке ученого Зворыкина, сидит над рукописями, правя и редактируя их. В результате кропотливейших трудов в 1962 году новая повесть «Горные рекруты» выходит отдельной книгой. В 1963 году В. Рехлова принимают в Союз писателей СССР.

«Горные рекруты» – историческое повествование для детей и подростков. В ней хрестоматийное и доступное для ребят изложение. Яркость образов персонажей непременно сочетается со строгим соблюдением фактов. При этом присутствует и элемент занимательности. Трудно представить в наше время, что в не таком уж и далеком прошлом десяти-, а то и семилетние пашки, сеньки и тишки обязаны были трудиться в невероятно тяжелых условиях на рудоразработках.

«...Вместе с дедом на телеге четверо парнишек семи – двенадцати лет. Двое самых младших лежат, приклонив головы на мешки, куда уложен скудный хлебный запас, деревянные чашки, ложки, рубахи и штаны. Десятилетний Артюшка и самый старший Тихон сидят, свесив с телеги ноги. «Работные... – с горечью думает дед Федот. – С малолетства сам этой дорожкой начинал. Им бы самые годы в бабки играть, а не камни ворочать... Эх вы, горные рекруты...»

На любопытные расспросы ребятишек дед Федот отвечает: «Волость-то наша, Салаирская, – горнозаводская. Все мужики в обязательной казенной работе находятся. Многие с семьями по алтайским рудникам и заводам постоянно живут, работают... А мужики приписные, из дальних деревень Кузнецкого уезда, приезжают отрабатывать подушные. Даже вас, малолеток, горное начальство не забывает. Всем ребятишкам горнозаводских работных, начиная с семи лет, а за нехваткой их и вам, приписным, рекрутским набором определено явиться

для разработки руды. Сбор по веснам в Салаире. Оттуда уже распределят вас по рудникам...»

Живут приезжие «на хлебах» в семьях рабочих. По пуду муки определено каждому мальцу в месяц – на харчевание. В отличие от взрослых, малолетние рудоразборщики должны были трудиться только днем. По воскресеньям им полагалось отдыхать. Но ребята работали и в эти дни: на воскресные заработки покупали им одежду, которая от каменюк быстро приходила в негодность. А с восемнадцати лет эти самые подростки уже и впрямь становятся рекрутами – после принятия воинской присяги вместо службы в царской армии отправляются на рудники.

И возникают перед глазами читателя картины дикой беспробудной тоски, нищеты и горя наших прапредков – первых сибирских рабочих людей и их детей – на горных рудниках, сереброплавильных и железоделательных заводах... Приписным рабочим людям денег за тяжкую работу почти не платили. На прокорм, на семью, независимо от числа едоков, выдавали по два пуда муки в месяц.

Нормы выработки для приписных устанавливались подушно, в соответствии со списками. А «списки те – с последней ревизии, а она эвон когда была. С той поры мужики многие уже поумирали или сильно немощные стали. А работа дана на все ревизские души. Вот и приходится живым исполнять работу и за себя и за мертвых. Кряхтим да стонем, а выполняем да ждем новой ревизии, чтоб неживых вычеркнуть из списков». За малейшую провинность били шпицрутенами, а беглых прогоняли, как провинившихся солдат, сквозь строй и отправляли в каторжные работы. На тех же рудниках, только в более тяжелых условиях.

«С интересом читается книга. Язык ее сочен и лаконичен. Мастерство писателя, несомненно, возросло после повести «Рудознатец». Стремление быть полезным людям, принимать участие в воспитании нового человека – вот что является путеводной звездой писателя», – напишут о Рехлове в газете после выхода книги «Горные рекруты».

А между тем «медленно и все злее, злее болезнь приковывает человека к постели. С годами ноги перестают повиноваться хозяину. Вся связь с внешним миром – окно, из которого видна часть улицы, да кни-

ги. Становится трудно не только передвигаться, но уже и сидеть, а лежать много не наработаешь». Так напишет в газете «Кузбасс» за 15 июня 1962 года о Виталии Рехлове В. Карпович.

И вот в таком состоянии Виталий Степанович отправляется в путешествие по местам его следующей повести о серебряном руднике в Салаире. Этот городок и его окрестности, где будут разворачиваться события повествования, Рехлов изъездит вдоль и поперек на... телеге в сопровождении директора Гурьевского музея. А героями явятся все те же пацаны, что и в «Горных рекрутах», только немножко подростшие.

Главному герою Тишке (Тихане) уже восемнадцать. И он, побывав подростком трижды на отработках, теперь из рудоразборщиков переведен в рудокопы. Житье и труд на рудниках такие, что люди Нерчинской каторге завидуют и бегут с Салаирских рудников – то по отдельности, то целыми ватагами – недели не проходит. И ловят беглецов. А пойманных отдают под суд. Так, Салаирская военно-судная коллегия, разбирая дело беглого Евдокима, постановила: «Прогнать его пять раз через тысячу палок» и, «коли жив останется, послать обратно в рудничную работу». Наказывали в воскресные дни, на площади. В стороне от шеренги солдат стояли работные, их женки и ребятишки – все, кого удалось пригнать из слободки. «Пусть запоминают, что их тоже не минет доля сия...»

Тиханя теперь не только выполняет установленные нормы по вырубке руды, учится у старших, как половчее это делать, но и, сострадавая, помогает каторжникам бежать, делая для них подкопы и пряча в лесах. А сколько ненависти копится у него к надзирателям и их тайным соглядатаям!

В 1965 году издается книга «Серебряный рудник», куда вошла и первая часть дилогии – «Горные рекруты». Эту книгу высоко оценил московский критик и редактор Дома детской книги Г. Трухачева: «Известный писатель Виталий Степанович Рехлов написал историческую повесть «Серебряный рудник» (Кемеровское издательство), которая служит продолжением ранее изданной книги «Горные рекруты». Человек очень трудной и мужественной судьбы, уже много лет прикованный к постели тяжелым недугом, потомственный сибиряк Рехлов

через всю свою жизнь пронес интерес к истории родного края. В своей книге он создал сильные, убедительные картины, запоминающиеся образы. Ярко написана страшная судьба «рабочего» Семёна, замученного невыносимым трудом и звериным бездушием надзирателей. Надолго остается в памяти образ негибавшего старика Якова Шишова. Герои книг В. Рехлова отделены от нас почти двумя столетиями, но воспринимаются они как живые люди, они близки и понятны читателю» («Замечания о книгах для детей, вышедших в издательствах Сибири». 27 августа 1966 г. Государственный архив Кузбасса. Фонд № Р-195. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 14).

Жизнь преподнесла писателю новые испытания. Жена, врач-фтизиатр, умерла от скоротечной болезни. В однокомнатной квартире писателя, на Советском проспекте, которую ему выделили из спецфондов, собирается большая библиотека. Иногда сюда заходят собратья по перу и редакторы Кемеровского книжного издательства, среди которых следует отметить Раису Федоровну Лобанову, Людмилу Владимировну Глебову и Нелли Николаевну Соколову (жена писателя Анатолия Срывцева). Они помогают больному человеку хоть как-то скрасить свое одиночество, сварить обед, прибраться в квартире, закупить в магазинах продукты.

Вспоминает Н. Н. Соколова: «Вот часто пишут, что он был прикован к постели. Это не так. Скорее он был прикован к столу. Работал очень много. Всегда был опрятно одет, обычно в костюме. И ни разу я не видела, чтобы он лежал. Пытался дома делать все сам – и посуду помыть, и прибраться... Не любил, когда обращали внимание на его физический недостаток, стеснялся этого. Не нравилось ему и то, когда журналисты расписывали, как он в снегах замерзал. Никак не хотел, чтобы это подчеркивали. Дескать, он не потому заслуживает внимания, что инвалид, а потому – что писатель. Мужественный был человек. Никогда про болячки свои не говорил. Чего ему всегда не хватало – общения с писателями. Зато бывал он частым гостем в школах, много общался со школьниками, а особенно с учителями литературы и краеведами. Дарил свои книги с автографами, даже и ученикам».

Верный теме своей и избранному пути, В. С. Рехлов задумывает написать продолжение своих повестей. И опять идет сбор нового материала. И повзрослевших героев-рекрутов он переносит теперь на Алтай, в Сузун, на медеплавильный завод, при котором есть еще и монетный двор. Так появляется новая повесть «Монетные ученики». Отрывки из нее печатаются в газетах «Кузбасс» и «Комсомолец Кузбасса».

«Стоит завод на берегу Сузуна – медеплавильный, а при нем монетный двор. На всю Сибирь деньги чеканят, а переее всего – для нужд Барнаульской горной канцелярии, для оплаты работным да приисковым мужикам, со своим гербом, где вместо орла – два соболя. Многие мешки денег. И, конечно, соблазн для людей большой. Деньги ведь! Всякий старается добраться поближе и зачерпнуть в свой карман. Кто-то от нужды великой, с голода, а есть которые и по другой стати... Бегут людишки. От тягот заводских, от кнутобойства да изгони приставников. Потому слободка разбита на кварталы, чтобы люди на постоянном счете были...

Домишки заводского начальства стоят рядом, под защитой стены крепостной, а вот рабочих расселяют в избенках слободских. Живут в тесноте. Встают до рассвета, торопливо собираются и на полсуток – на завод, к смрадным печам, пыльным толчейням, в жар плавильной фабрики. Ближе к заводскому частоколу – низенькие казармы. В них тоже рабочие, но те, кто даже избенку – четыре стены поставить не в силах.

...Звон била два раза в сутки напоминает мастеровым, что они крепостные и жить им не по своей воле, а по регламенту для рабочих царских Кольвано-Вознесенских заводов и рудников. Не щадя живота, должны они быть две недели подряд в заводской работе: обжигать, плавить и переплавлять руды».

Уже в этом небольшом отрывке явно угадывается незаурядный писательский стиль и педантичность во всем: в описании быта рабочих людей, их нелегкого, почти каторжного труда, технологических процессов.

Удаются ему и портретные зарисовки – от внешнего вида и до характеров, поведения героев. Так, «шмельцера» (плавильщика) он представляет нам как мужика угрюмого, пышнобородого, смоляно-черного (волосы даже из ушей лезут), прозванного Лешаком.

Совсем иной добродушный увалень Илья – в заношенной холщовой рубаше и таких же штанах. А вот разлищик Василий Расторгуев (Полторы Сажени – так его окрестили за высокий рост – человек удивительно спокойный, с доброй улыбкой на лице. Засыщик Пимен Тюриков – мужичонка юркий, с беспокойными глазами и белесой кудельной бородкой. «Сквозной» герой трилогии Тихон показан в динамике, в контексте исторического времени: ребенок, подросток, молодой рабочий, с малых лет терпящий эксплуатацию, учится понимать жизнь такой, какова она есть, копит про запас ненависть к тем, кто издевается над трудовыми людьми.

Помимо повестей, пробует себя Виталий Степанович и в качестве новеллиста. Но и тут он остается верен избранной теме и родному краю. В этом отношении примечателен рассказ «Крещение», который был напечатан во втором номере журнала «Огни Кузбасса» за 1974 год, всего за год до кончины писателя.

Место действия рассказа – деревушка Чарлык на реке Кондоме, «не деревня даже, а так, засёлок вокруг редута. От самого Томска и до сердца Алтая протянулась эта цепочка крепостей, редутов Кузнецкой сторожевой линии. Надежно защищает улусы и деревни от набегов джунгар». Даже новенькая церковка «цыплячьей желтизны зорко усталилась слюдяными оконцами на Кондому и лесное заречье, высоко взметнув с купола деревянный крест». Время действия – XVIII век, начало активного освоения юга Западной Сибири. Каким же должно быть писательское воображение и наблюдательная память, чтобы большому человеку, в четырех стенах так сочно написать картину весны: «Гордо вскинув головки, рдели алые саранки, красовались кандыки и желтые хлебенки. В таежных затишках, под строгой охраной елок и пихт, робко теснились голубые незабудки».

«Крещение» – обозначен как рассказ-быль – написан с элементами легенд и преданий. О любви молодого казака Дениски Летаева и туземной девушки-шорки Торты. Чтобы им соединиться, необходимо принятие языческой девушкой христианской веры, т. е. совершить обряд крещения. На этом настаивает и христианский миссионер – священник Смарагд. Этому противятся шаман Керге и бай Мултык, наме-

ревающийся взять себе Торты четвертой женой, заплатив родителям девушки богатый калым. Финал рассказа трагичен: «Только молва людская по сей день зовет ту скалу у Чарлыка скалой Горя. Всю жизнь туда приходила и слезы лила казацкая женка Торты Летаева».

Свое шестидесятилетие писатель Рехлов встретил за письменным столом, дорабатывая повесть «Монетные ученики». А в замыслах – новая книга «Кольчугинские зори». Сюжетом послужил один из трагических эпизодов уже революционного движения в Сибири – мартовское Кольчугинское восстание шахтеров против колчаковского режима. Еще пишутся первые главы, а уже новые неизведанные тропы вновь зовут писателя-следопыта в очередной творческий поход. И главным героем книги должна стать комсомольская юность Кузбасса времен первых пятилеток...

3 апреля 1974 года в Союзе писателей проходило чествование Виталия Степановича Рехлова в связи с его 60-летием. По просьбе Владимира Мазаева поэт Михаил Небогатов написал под дружеским шаржем четверостишие, обыграв название книги «Горные рекруты»:

Переплыл, забыв покой,  
Лет большую реку ты.  
Но на вид еще такой,  
Что годишься в рекруты!

А на своей книге стихов «Спасибо сентябрю» Небогатов оставил такой автограф:

Многими любим Рехлов-Туманов.  
Дорогой Виталий, так держись!  
Пусть из исторических туманов  
Твой талант высвечивает жизнь!

Свою колею, свою торную тропу в послевоенной отечественной литературе историко-краеведческого направления, вне всякого сомнения, оставил прозаик Виталий Степанович Рехлов. Его книги будут интересны кузбасским читателям-краеведам двадцать первого века.

Екатерина Тюшина

## БИОГРАФИЯ ВИТАЛИЯ РЕХЛОВА

Виталий Степанович Рехлов родился 3 апреля 1914 года в старинной сибирской деревне Копёны Красноярского края, расположенной в живописном месте на берегу Енисея. В 1967 году Копёны попали в зону затопления при строительстве Красноярской гидроэлектростанции.

В метрической книге Усть-Ербинской церкви Знаменской волости за 1914 год есть запись о регистрации рождения 3 апреля и регистрации крещения 5 апреля Виталия, сына крестьянина деревни Копёны Стефана Михайловича Ряхлова и его законной жены Иулиании (Ульяны) Федоровны, оба православного вероисповедания. Таинство крещения было совершено священником Антонием Силиным. Крестными восприемниками были инородец Симеон Богояков и крестьянская вдова Евгения Ивановна Путинцева из деревни Тесь. Имя новорожденному было дано в честь преподобного епископа Виталия, VII век, Александрия, память церковная 22 апреля (Национальный архив Хакасии. Фонд № И-29. Дело 168, лист 230).

В семье Рехловых из рода в род передавалось предание, что «прапрапрадед за участие в Стрелецком бунте при Петре I был пытан в застенках в Москве и сослан в Сибирь». От пыток раскаленными клещами один бок у него стал «толстым». Поэтому в деревне к фамилии Рехловых прибавляли кличку Толстобоковы.

Годы юности Виталий Рехлов провел у родственников в Петрозаводске. В 1930 году вернулся в Красноярский край и вступил в колхоз. По путевке крайкома комсомола отправился на культурно-просветительскую работу в села края, начал писать небольшие заметки в газеты. В 1934 году становится корреспондентом газеты «Советская Хакасия», а немного позднее начинает работать в газете «Красноярский рабочий». По заданию редакции Рехлов неоднократно бывал на севере Красноярского края, плавал на маленькие острова в Ледовитом океане. Сотни километров преодолевал на оленьих упряжках, посещая

фактории, далекие таежные стойбища и деревеньки. Много раз голодал, ночевал в снегу.

По комсомольской путевке работал в шахте. В 1938 году окончил школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) при Кемеровском химическом заводе. В 1940 году стал работать в газете «Советский Таймыр». Зимой по заданию редакции отправился на Таймыр и попал в затяжную пургу. Чудом остался жив, но от переохлаждения всего организма тяжело заболел. У него отказали ноги, и болезнь надолго приковала молодого журналиста к постели. Получив воспаление спинного мозга, он в 26 лет стал инвалидом второй группы. Во время Великой Отечественной войны работал заведомом, литературным секретарем краевой газеты «Красноярский рабочий». И все время боролся с болезнью! А как только появлялась возможность двигаться, тут же включался в активную жизнь. Однако болезнь прогрессировала, и он стал инвалидом первой группы.

В 1953 году Рехлов переехал в Кемерово к брату и сестрам. Жил на ул. 40 лет Октября, д. 5, кв. 33; позднее персональному пенсионеру, инвалиду труда была выделена квартира на первом этаже по адресу: Советский пр., д. 110 (ныне дом 50), кв. 9.

Переехав в Кемерово, журналист Виталий Степанович Рехлов писал статьи, рецензии на новые книги, которые печатались в газетах «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса». Работал в типографии областных газет сменным корректором. Подготовил и издал брошюру «В помощь редактору районной газеты». Это были дружеские советы тем, кто пишет, от человека, влюбленного в родной язык и непримиримого к безграмотности.

Изучал историю Сибири. Увлёкся биографией первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы Волкова. Решил написать о нем книгу. Материалов о рудознатце было очень мало. Три года Рехлов изучал документы той далекой эпохи. Полученные знания и легли в основу «Повести о Михайле Волкове». Первый вариант был написан в 1956 году. В 1958 году повесть появилась на страницах альманаха «Огни Кузбасса» под названием «Рудознатец». Повесть была признана «удачным, интересным произведением». В 1960 году она вышла в свет под названием «Повесть о Михайле Волкове». В 1972 году повесть была дополнена

и переиздана. Своей первой книгой Рехлов принес в литературу тему исторического повествования на местном, кузнецком материале. «Повесть о Михайле Волкове», как считал сам автор, «в определенной мере выражает Кузбасс, Волков является олицетворением народных сил, всегда думающих о Родине и ее природных богатствах, стремящихся «изобрести» эти богатства и поставить на службу людям». Это строки из письма В. С. Рехлова директору Кемеровского областного книжного издательства Виталию Банникову, написанного 23 октября 1970 г.

В апреле 1963 года Виталий Степанович Рехлов был принят в Союз писателей СССР. Несмотря на тяжелую болезнь, он всегда активно участвовал в работе писательской организации Кузбасса. Бывал на собраниях, заседаниях правления и редколлегии журнала «Огни Кузбасса». Его приглашали в школы и библиотеки для выступлений перед читателями. Выделяли специальную машину для инвалидов, чтобы он мог бывать в рабочих коллективах, в колхозах, общаться с людьми, наблюдать жизнь. И он, опираясь на костыли и испытывая невероятные страдания и физические муки, преодолевая себя, рассказывал о своем творчестве, делился многими наблюдениями, интересными фактами, народными поговорками, сказаниями о прошлом Сибири. Давал рекомендации молодым кузбасским прозаикам.

Иногда Рехлову удавалось съездить в Крым. В Коктебеле была литфондовая дача, куда в 1950–1970-х годах могли съездить и писатели из провинции, чтобы подлечиться и отдохнуть. Впоследствии он стал уполномоченным Литфонда СССР по Кемеровской области, переписывался с замдиректора Литфонда В. И. Федоровским по вопросам выделения путевок кузбасским писателям и членам их семей в Гагры, Ялту, Коктебель, Переделкино, Комарово, Дубулты (Рижское взморье) и т. д. Занимался вопросами оплаты Литфондом СССР больничных листов, курировал вопросы вступления писателей из Кузбасса в члены Литфонда.

Работая над новой исторической повестью «Монетные ученики», Рехлов летом 1970 года дважды летал в Барнаул, работал с архивными материалами краевой библиотеки и краеведческого музея. Ездил по железной дороге в Новосибирскую область, смотрел место, где раньше

был завод. Повесть «Монетные ученики» писатель рассматривал как завершение двух ранее изданных вещей «Горные рекруты» и «Серебряный рудник». Все три произведения, по словам автора, о «беспрочно-страшной жизни малолетних рабочих» (Государственный архив Кузбасса. Фонд № Р-195. Оп. 1. Ед. хр. 60. Л. 15–16). Повести Виталия Рехлова удивляют читателя достоверными подробностями жизненного уклада горнорабочих и приписных крестьян, первых рабочих серебряных и железорудных копей и металлургических заводов Кузбасса и Алтая.

В. С. Рехлов – автор книг «Повесть о Михайле Волкове» (1960, 1972), «Горные рекруты» (1962), «Серебряный рудник» (1965). Печатался в газетах «Красноярский рабочий», «Советская Хакасия», «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», журнале «Огни Кузбасса».

Виталий Степанович Рехлов ушел из жизни 1 мая 1975 года. Похоронен в Кемерове на старом кладбище Кировского района. В Государственном архиве Кузбасса в личном фонде В. С. Рехлова № Р-195 хранятся рукописи, письма, материалы служебной и общественной деятельности писателя за 1955–1975 годы. Среди незавершенных повестей В. С. Рехлова – «Монетные ученики», которую он посвятил жителям деревни Копёны, «Кольчугинские зори», «Пача».

*Книги Виталия Степановича Рехлова:*

*Повесть о Михайле Волкове.* – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1960. – 178 с.

*Горные рекруты : повесть.* – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1962. – 87 с.

*Серебряный рудник : повести.* – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1965. – 114 с. : ил. – Содерж.: Горные рекруты; Серебряный рудник.

*Повесть о Михайле Волкове.* – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1972. – 215 с.

Анатолий Пантелеевич Соболев  
(А. Сибиряк)

*6 мая 1926 г., с. Кытманово, Алтайский край –  
28 июня 1986 г., Москва.*

*Участник Великой Отечественной войны.  
Прозаик. Член Союза писателей СССР с 1964 года.*

## СТАРУХА

*Виктору Астафьеву*

Крест врос в землю, покосился, исхлестан непогодой и щеляст. Давно не обихоженный могильный холмик осел и густо порос полынью.

Что-то остановило меня перед этим крестом, хотя он ничем не отличался от других на деревенском погосте. Вглядываюсь в выжженную надпись и еле различаю слабый след букв: «Здесь покоится раба Божия». Ниже совсем плохо видно: «Чуркина Анастасия Евлампиевна». И глубоко четко выжжено: «Преставилась 1946 г.».

Сдается мне, что я уже видел когда-то этот крест, именно этот.

Или возвращение в деревню через двадцать пять лет так подействовало на меня, что я во всем ищу что-то знакомое, давнее, полузабытое. Даже на этом кладбище, куда завернул, прежде чем войти в деревню.

Кто такая Чуркина? Сорок шестой. Раба Божия. Год рождения не указан. Молодой бы так не написали и крест не поставили. Старуха, значит.

Знавал я одну старуху. Уж не она ли? Анастасия Евлампиевна... А как же звали ту старуху? Лицо помню, ясно помню, а вот как звать... Стоп! А уж не тот ли это крест, который мы видели тогда у нее ночью? Вот тут была иконка, теперь углубление только осталось, тонкий слой земли нанесло туда и вьюнок принялся. А тогда крест был совсем новый и блестел в лунном свете. Мы в ту ночь... Нет, это было потом. Мы на покосе ее увидели... Хотя нет, тоже нет. Из города мы прибыли сразу после окончания девятого класса. Покосу было еще рано...

Я смотрю вверх креста в даль, открывающуюся с косогора, на котором находится погост, и вижу степь, березовые колки, рожь, речку, уходящую за холм. Направо деревня. Ровная улица, дома большие, новые. Тогда избы были темны, приземисты и разбросаны как попало. А вон свинарник. Он и прежде на этом месте был. Мы тогда сидели и ждали плотника. Семка, Вовка и я. Школьная бригада ушла пропалывать свеклу, а нас, поздоровше, председатель оставил крыть свинарник, сказал, что придет плотника.

Мы сидели и ждали, болтали о чем попало и не обратили внимания на босую старуху с обеденным узелком в руках и с двумя ребятишками. Сухая, длинная, как жердь, она приморенно опустила на доски.

– Ох-хо-хо, ноженьки мои! – сказала она нараспев и погладила набрякшие, в синих толстых уздах, запыленные ноги.

– Отвалились, баба? – спросило маленькое существо, закутанное в старый платок по случаю раннего утра.

– Отвалились, касатушка, отвалились, – ответила старуха и начала распеленывать существо, которое через минуту предстало перед нами девчуркой лет четырех.

Второе существо, тоже закутанное в драную шаль, сопело и угрюмо разглядывало нас черными диковатыми глазенками. Когда бабка распутала и его, это оказался мальчишка, тоже лет четырех.

– Ай, помощники сидите? – спросила нас бабка.

– Плотника ждем, – небрежно кинул Семка.

– Угу, – согласилась старуха. – Покурить вот...

На удивление нам вытасила она откуда-то из-под юбки большой кисет, вышитый узорчиком, и начала сворачивать здоровенную козью ножку.

– Вы поиграйте, порезвитесь, – сказала она ребятишкам и пояснила нам: – Внучата мои. Ванятка да Полюшка.

Мальши послушно отошли и сразу же затеяли игру.

– В «еду» играть будем? – спросила Полюшка.

– В «еду».

Ванятка сел на горбыли и, явно кому-то подражая, сказал басовито:

– Ну-ка плесни мне штец, да поболе. Цельный день, чай, спины не разгибал.

– Нетути штец... – Полюшка развела руками.

Большие глазенки ее светились правдиво и ясно, как два голубых солнышка.

– Ну, тогда чаю с сахаром, – потребовал братец.

– Нетути сахару, – снова развела руками крошка. – Кипяточку без заварки хошь?

– Чо ты все без заварки да без сахару! – уже сердито сказал мальчонка, исподлобья глядя на сестренку.

– Вот тятя с войны придет, – пообещала Полюшка, – леденцов принесет и пышки будут. – Подперев подбородок рукой, как делают пожилые женщины, и тоже кому-то подражая, вздохнула: – Даст бог, похоронку не принесут.

Мы переглянулись, нам стало не по себе от такой игры.

– Всё в «еду» забавляются, – вздохнула старуха.

С терпеливым смирением глядела она на внучат и о чем-то думала.

Потом тщательно притушила окурок о толстый кривой ноготь большого пальца босой ноги и сказала, тяжело подымаясь:

– Примемся, касатики!

Мы выупили глаза. Теперь только дошло до нас, что это и есть тот самый плотник, которого ждем.

– Я на потолок взлезу, – сказала она, – и один кто со мной, остальные горбыли подавайте. Только сначала ошкуряйте, с корой не след ложить, загниют быстро.

По приставной лесенке старуха с трудом взобралась на потолок. Водрузила себе за ухо плоский плотницкий карандаш (за другим у нее была недокурная козья ножка) и застучала топором.

– Касатик, – сказала мне, – изладь-ка вырубку в горбылю, а то гвозди коротки, не доходят до стропил.

Я рубанул с силой и, вместо того чтобы сделать вырубку, перерубил тонкий горбыль.

– Ты силушкой-то не балуй, – с мягкой укоризной заметила старуха. – В плотницком деле глаз да взмах нужон. Силушку-то дуриком чо спускать. Поначалу изладься, как рубить, смекни, семь разов отмерь, один – рубани.

Сама она работала споро, без роздыху и на вид легко. Порою выпрямлялась медленно, брала щепку, нюхала ее глубокой затяжкой, говаривала:

– Дух от дерева пользительный. Понюхайте-ка!

Мы нюхали, перемигивались, нас так и подмывал смех: уж больно необычна была старуха-плотник. Она или же не замечала наших ухмы-

лок, или делала вид, что не видит, и смотрела на нас спокойно и добро.

– Кто с деревом дело имеет, тот век проживет, потому как здоровым духом дышит.

– Нюхай, ребя! – орал Семка. – По сто лет обеспечено!

– Эк горластый какой, – незлобиво качала головой старуха. – Луженая глотка-то.

В полдень старуха слезла с потолка и, охая, прилегла на траву. Кликнула внучат.

– Опять помираешь? – серьезно спросил Ванятка.

– Сердце закатывается, – ответила старуха. – Потопчите-ка мне спину, поясница совсем отломилась.

Внучатам, видать, это было не впервой. Они живехонько взобрались на бабкину спину и старательно топотали по сухому телу. Бабка кряхтела.

– Ну будя, вот и ладно. Отмякло малость. Не упадите, слазимши-то. Поди, промялись, ись хотите?

– Хочем, – басом сказал Ванятка, а Полюшка кивнула.

Старуха поднялась на колени, черствыми пальцами вытерла носы ребятишкам, вытащила из узелка горбушку хлеба, перья зеленого лука и соль. В туюске у нее был квас.

Внучата уплетали за обе щеки.

– Может, и вы покормитесь? – спросила старуха нас.

– Нет, спасибо, – сказал Вовка. – У нас обед скоро. Вот с нами, пожалуйста...

Как же звали ее? Вот память! Хорошо помню лицо – усталое, спокойное, длинное, перепаханное морщинами. Толстые губы, большой висячий нос. Глаза блеклые – когда-то, видать, голубые. Помню голос – грубый, с хрипотцой, какой бывает у заядлых курильщиков и у людей, которые не прочь выпить. Помню жест, интонацию, а вот имя совершенно забыл.

Может, здесь, под этим крестом, совсем и не она. С чего я решил, что она? Поди, живет и здравствует старуха, а я ее похоронил.

А что было потом?

Та ночь...

Тогда вечером вся наша школьная бригада сидела у костра. Неожиданно из темноты вынырнула лошадь, верхом сидел председатель колхоза, однорукий усатый фронтовик. Пустой рукав выгоревшей гимнастерки был заправлен за офицерский новый ремень. Он поманил меня пальцем. Я подошел.

– Просьба есть, – тихо сказал председатель, нагибаясь в седле. – Возьми парней да покарауль ночку в горохе. Кто-то горох шевелит, косит, подлец. Ночью опять полянку выхватили за ельником. Покарауйте, кроме вас, некому. А?

– Ладно.

– Ну вот, спасибо. Хватайте и тащите ко мне, я его, гада, в тюрьме сгною за это дело. По законам военного времени.

На облаву со мной пошли Семка и Вовка.

Мы представляли себе, что лежим в разведке и вот-вот появятся немцы, но это не мешало нам потихоньку переговариваться и уплетать молодой сладкий горох.

– Когда же наконец возьмут? – вздохнул Вовка.

Мы сразу его поняли.

– Люди воюют, а мы тут среди девчонок, – поддержал Семка. – Так и война кончится...

Семка был прав. Война шла третий год, а нас всё не брали. Вся надежда была на осень.

Луна светила неистово. Гороховое поле блестело. Под косогором речка, будто расплавленное серебро, струилась. Поля уходили в призрачную даль и где-то терялись в светящейся дымке горизонта. Красота этой ночи заставила нас замолчать, и мы зачарованно глядели вокруг.

Около полуночи, когда нас стало уже клонить ко сну, на фоне светлого неба возникла темная фигура. Мы вздрогнули, такой она показалась большой и внезапной. Всмотрелись: женщина. Ожидали здорового детину, который стал бы отбиваться и с которым сразу-то и не справишься. А тут – женщина. Стало обидно. Втайне мы уже видели восхищенные взгляды девчонок.

Женщина подошла к краю поля и принялась рвать горох и совать его в мешок.

– Пусть нарвет, – шепнул Вовка. – С поличным накроем.

Когда она нарвала достаточно, Вовка вскочил и крикнул:

– Эй, что вы делаете?

Женщина охнула и уронила мешок.

– Господи, перепугали-то как! – сказала она.

Мы охватили ее кольцом, по всем правилам военной тактики.

– А ну, тетка, пошли с нами! – сурово сказал я.

Когда она повернулась лицом к луне, мы растерялись. Перед нами стояла старуха-плотник.

Первым опомнился Вовка.

– Забирайте мешок и идемте к председателю! – приказал он.

– Не надо меня вести, касатики, – вздохнула старуха. – Засудят. Ребятенки останутся.

– Раньше надо было думать, – отрезал Вовка.

– Да рази ж пошла бы я? Полюшка прихворнула, кисельку горохового просит. Вот и побегла чуток сорвать.

– А чего мешок притащили? – усомнился Семка.

– Да мешок-то я вовсе не за этим взяла. Думала на возврате веничков наломать, попариться завтра – поясицу разломил.

– Ну-у, веники! – понимающе протянул Вовка. – Знаем мы эти веники.

Я молчал. По законам военного времени за килограмм колхозного зерна давали три года, не считаясь ни с чем. Толком не отдавая себе отчета, куда идти и что делать, но внутренне озлобляясь на Вовку, закинул я легонький мешок на плечо и шагнул к деревне.

– Как вам не стыдно, – совестил Вовка. – На старости лет. Люди на фронте воюют, а вы...

Старуха безропотно слушала, вздыхала.

Мы шли по теплой мягкой пыли, отогревая босые ноги. Пыль не успела остыть, ночь только началась. Вовка все строжилась, Семка сопел.

У околицы я спросил:

– Где ваш дом?

– Вот моя изба...

Старуха кивнула на крайнюю хибарку.

Покосившийся тын, воротца из жердей. Никак не походило, что тут плотник живет.

Я свернул к избе и сбросил мешок на крылечко:

– Забирайте.

Почему не повел ее к председателю, не знаю. Обещал доставить вора, а главное, сам был твердо убежден со всей непримиримостью и бескомпромиссностью юности, что с расхитителями нечего церемониться, и все же не повел.

Старуха пожевала губами, поглядела на тощий мешок и вдруг поклонилась в пояс.

– Век не забуду, касатики.

– Ты чего?! – оторопел Вовка. – К председателю надо.

– Катись ты!.. – вместо меня огрызнулся Семка.

– Кваску не желаете? – засуетилась старуха. – Свеженький квасок.

– Желаем! – весело согласился Семка и первым шагнул на порожек.

Вот тут-то мы и увидели крест. Большой, новый, блестящий, он подпирал дверь в избу.

– Что это? – разинул рот Семка. – Крест?

– Он, – подтвердила старуха, опережая Семку. Поднатужилась, отодвинула, видать, тяжелый крест от двери и прислонила к стенке. – Замок куда-то запропастился. Дверь подпираю, чтоб корова Маланькина не влезла. Такая скотина дикошарая, все по дворам шастает, в двери лезет.

Семка хмыкнул, мы с Вовкой тоже смотрели с удивлением.

– А зачем он вам? – спросил я.

– Как – зачем? – в свою очередь удивилась старуха. – Помру – поставят. Как без креста? Я ведь крещеная, а не какая-нибудь. Без креста нельзя. Сама и изладила. Заходите в избу-то, заходите.

Старуха вздула огонь, и при свете чадающей лампы без стекла мы увидели убогое жильё.

На широкой деревянной кровати с высокими спинками спали вну-чата, укрытые одеялом из лоскутных ромбов. Ванятка разметался во сне и, уложив ноги на Полюшку, сладко посапывал.

Старуха убрала ноги мальчика, но они тут же опять оказались на сестренке.

– Ах ты, варнак! Ну завсегда так. Хворая ведь Полюшка-то, пожалел ба, – ворчала старуха.

Она все же упрятала упрямые мальчишечьи ноги под одеяло, потрогала лоб девочки.

– Спит, касаточка. Видать, полегчало.

Она кивнула на стену:

– Его вот они.

С увеличенной фотокарточки смотрел паренек в фуражке с ромашкой за ремешком козырька. Веселые глаза, чуб набок. Совсем мальчишка.

– Хозяин был, – с уважением сказала старуха. – Старика-то давно у нас порешили, вот он за мужика в доме с тринадцати годков и остался. Перед финской женился. Рано женился-то, семнадцати годов. Сходил повоевал, вернулся живой, Клавдия ему двойню принесла, Полюшку вот да Ванятку.

Сонный внук успел уже выпростать из-под одеяла ноги и уложить их на сестренку. Старуха снова убрала их, сокрушенно вздохнула, продолжая прежнюю мысль:

– Только и пожилы-то, что перед войной. Повеселила жизнь маненько, опосля опять петлю накинула. Ой, да чо это я! Совсем умом тронулась. Напоить, поди-ка, вас надо.

Она принесла жбан. Мы никак не могли напиться душистого и вкусного напитка, пахнущего и медом, и воском, и хмелем, и березой одновременно.

– Что это за квас? – спросил я.

– Березовик, – отозвалась старуха. – На березовом соке замешан.

Она свернула козью ножку, прикурила от лампы.

– Не курите, примечаю.

Мы дружно кивнули.

– Ну и ладно. Не к чему отраву-то глотать. А я давно курю, как старика порешили, так и курю. Чудно небось – старуха самосад смолит?

Мы замялись.

– Чудно, знамо. Через это меня и ведьмой кличут. И образина у меня удалась редкая, и курю вот. Как старика порешили, так и курю, – снова повторила она.

– А кто порешил? – осторожно спросил Семка.

– Люди, кто ж, – спокойно ответила старуха. – В тридцать третьем еще.

Застонала во сне Полюшка, старуха подошла к ней.

– Матери-то нету у них. Померла сношка в первый год как война началась. Семушку-то, сына моего, как объявили войну с немцем, так на второй день и забрали. А тут невольге возьми да помри сноха на Покров. Остудилась на переправе, коров гоняла сдавать на мясокомбинат, к вам, в город. Всего и хворала-то три дни. Вот и кукую теперя с двойней. А мне ить седьмой десяток под горку. И сердце заходится, и ноги опухают. За день-то так умаешься – к вечеру месту рад. До нынешнего лета все ждала, – старуха взглянула на фотокарточку сына, – все надеялась, Господь помидует, воротится. А теперь и жданки кончились.

Она скорбно поджала губы, замолчала, вытирая стол ладонью.

– Похоронную получили? – тихо спросил Семка.

– Нет, – вздохнула старуха.

– А-а... почему тогда?..

– Получу.

– Не всех же убивают, – сказал я.

– Знамо, не всех, – горько согласилась старуха. – Токо его-то убили. В сумке у почтальонши похоронка-то лежит. Две недели уж.

– Да откуда вы взяли? – пораженно глядел я на старуху.

С мудрой печалью подняла она глаза на меня.

– Вижу, касатик. Сердце у нее ласковое, а на личике-то все прописано. То, бывало, бегала, письма носила, когда были, а когда не было: пишут, скажет, ждите. Взгляд-то раскрытый. А теперь мимо торопит-

ся, глаза в сторону отводит, будто сама виновата. А я-то вижу – время оттягивает. Меня боится убить, сердечко-то пташечье еще. И на том спасибо, за жалость спасибо.

Глубоко затянулась дымом.

– Мы тут, бабы-то, почтальонов страсть как боимся. Как увидишь, так сердце и обомрет. Господи, думаешь, пронеси мимо, оборони, милостивец! Хоть бы не в наш двор! Ласточка, милочка, молишь почтальоншу, пройди мимо, пройди, желанная! Со взгляду уж видишь – несет. Еще только появится в деревне из району, а уж все бабы знают – несет. Сердцем чувят. Только кому несет – не знаем. Завернет к соседке, а ты слушаешь: что там? Выскочит простоволосая на крыльцо с ревом аль нет? Согресишь иной раз со страху-то: «Хоть ба кому-нибудь, лишь ба не мне». А как увидишь, что выскочила баба да ударила в голос по убиенному, так еще хуже на сердце камень ляжет. Свет белый не мил. Теперь вот мой черед.

– Да вы что! – сказал я. – Просто вам кажется.

– А может, только ранен, – высказал догадку Семка.

– Кабы ранен, я б давно из ее рук весточку получила. Хоть и горькая известия, а все радостная – жив. А тут нет, и сердце ноет, будто заноза вонзилась. Вещует сердце... Вот и надо теперя выхаживать мне двойняток-то. Дура старая, сраму понатерпелась с горохом с этим, будь он неладный. Думаете, легко мне перед вами гляделками-то хлопать! Хоть и говорят: стыд не дым, а душу-то томит.

Шли мы от нее молча.

Все так же неистово светила луна, и ночь была прекрасна.

– Вот ведь как бывает, – задумчиво сказал Семка.

– Заливает, – отозвался Вовка. – И про киселек, и про похоронную тоже.

– Ну, это ты брось, – возразил я.

– Да вы что, чокнулись?! – закричал Вовка. – Бабка про какие-то предчувствия им поет, а они и уши развесили. Все это она сочинила, чтобы головы вам заморочить. Сторожа! Ее в контору тащить надо, а они квасок попивают да басни слушают: «Сердце вещует»... Дурачье!

– А ты чего, умный, сидел и тоже слушал? – наершился Семка.

– Думаешь, я ей поверил? Как бы не так, держи карман шире. А завтра я вам докажу, что никакой похоронки нет. Вы лучше скажите: что председателю говорить будем?

– Ничего не скажем, – ответил я.

– А-а, – протянул Вовка и даже присел, иронически разведя руками. – Жалеем старуху и черт с ним, с государством! Так? Гуманизм проявляем. Пусть, значит, все воруют колхозное добро, а мы в сторонке, мы гуманисты, мы людей любим, мы будем молчать! На обман идем?..

Он долго тогда распинал нас на кресте. Я помню, Семка все насккивал на Вовку и кричал, что существует обман ради спасения человека. Вовка отвечал, что все это ерунда. Обман есть обман, и нечего прикрывать его высокими фразами.

Мы были тогда юны, азартны, бескомпромиссны, у нас часто были споры о честности, о совести, о чести. И я тоже горячо доказывал, что человек не должен лгать ни при каких обстоятельствах, только тогда он может прямо глядеть людям в глаза. Впрочем, я и сейчас говорю это своим детям...

Что было потом? Потом Семка набил морду Вовке...

На следующее утро девчонка-почтальонша привезла нам письма из дому. Она всегда приезжала верхом на сером мерине. На почтальонше была новая косынка, а голенастые ноги болтались в огромных мужичьих сапогах, густо смазанных дегтем. Как они не спадали с нее – оставалось загадкой.

Мы все знали, что эта пятнадцатилетняя девчонка безответно влюблена в Вовку, самого красивого из нас, высокого, стройного и чернобрового. Тогда мы посмеивались над этим, а сейчас мне грустно. Ведь это была ее первая любовь, самая чистая, самая открытая. Как наивно хотела она понравиться, обратить на себя внимание! То завьет себе челку гвоздем, то ленту вплетет в свои русые косы, то платком чистым повяжется...

В тот раз, когда она раздала нам почту, Вовка спросил:

– Ты только письма раздаешь или и похоронные тоже?

– Всё раздаю, – ответила она, в восхищении глядя на Вовку.

– Если так, то почему не отдаешь похоронную старухе?

Почтальонша побледнела и испуганно округлила глаза.

– Откуда вы знаете? – только и нашлась что ответить она.

– Знаю, – сказал Вовка и тоже побледнел.

Видать, он и сам не ожидал такого оборота, и его взгляд растерянно заскользил по лицам ребят, молча наблюдавших за этой сценой.

У почтальонши задрожали губы, она неверными руками засовывала в сумку газеты и никак не могла засунуть. Потом она пошла как слепая, а за ней покорно двинулся конь. Мы все молча проводили ее глазами.

Семка бледный – веснушки еще ярче выделились – подскочил к Вовке:

– Ты что, с ума спятил? С ума спятил, да?

– Я, я... – отступал Вовка, – я не думал...

– Думать надо, думать! – орал ему в лицо Семка. – Олух царя небесного!

– Ну ты, не очень, – огрызнулся Вовка.

И тут Семка закатил ему звонкую оплеуху.

– Ты это брось! – повысил голос Вовка. – Брось, а то я тебе тоже!

И он ударил Семку прямо в нос. Семка дал сдачи. Они сцепились. Семка явно брал верх.

Я растащил их и сказал:

– Иди, милый, к маме, а то и я бить начну.

– Ах, вот вы как! – заорал Вовка. – И уйду! И уйду! Еще попомните!

Таким я его и запомнил.

Мы видели его тогда в последний раз. Через два месяца его убило на реке Псел, под городом Веприн. Об этом мне написали уже на фронт девчонки из нашего класса. Если бы мы знали тогда, молодые петухи! Если бы знали! Он ведь был хороший и честный парень...

Потом мы пошли к председателю, еще разгоряченные, и рассказали о драке.

Он выслушал нас и начал сворачивать одной рукой на груди у себя сигарку.

– Дайте я, – предложил Семка.

– Ничего, я уж и сам наловчился.

Председатель ловко скрутил сигарку, провел языком по бумаге, взглядываясь прищуренными глазами в нас.

Потом достал «катюшу» и подал мне:

– Вот тут еще не могу. Высеки огонька.

Я высек, председатель прикурил, затянулся, а сам все продолжал рассматривать нас, будто впервые видел.

– Вон вы какие, оказывается, – произнес наконец он.

Что он этим хотел сказать, мы не поняли.

А он, отвернувшись к окну, вдруг спросил:

– Ну, а как дежурство прошло?

Мы с Семкой замаялись, поглядывая друг на друга. Председатель не оборачивался, и мне показалось, что спина его выпрямилась и весь он внутренне напрягся.

– Проморгали, что ль?

– Проморгали, – обрадованно ухватился Семка за спасительную соломинку, подброшенную председателем.

И тут я увидел, как председатель облегченно расслабился, мне показалось, что он боялся услышать другой ответ.

– Луговинку-то выпластали опять у полевого стана.

Мы не успели сообразить, про какую луговинку говорит председатель, как за окном неожиданно раздался громкий плач и причитания. Председатель метнулся к окну и распахнул его.

По улице, шатаясь, шла женщина с тремя малышами и причитала:

– Егорушка, родной мой, да что я теперь буду делать, ненаглядный ты мой!

Мальши дружно поддерживали мать ревом.

– Та-ак, – скрипнул зубами председатель. – И Егора, значаца...

Возле женщины быстро образовался круг колхозниц. Среди них металась почтальонша. Женщины опасливо косились на конверты в ее руках.

– Раздает, – со стоном вздохнул председатель и яростно затянулся сигаркой так, что глубоко запали щеки.

А старуха была уже здесь и отхаживала Егорову вдову. Она усадила ее на крылечко конторы и требовательно крикнула в открытую дверь:

– Водицы дайте, холодненькой!

Семка вперед меня зачерпнул ковшом из бадейки и выскочил на крыльцо, я за ним, следом за нами председатель.

Старуха набрала в рот воды и прыснула на сомлевшую женщину, привела ее в чувство. Успокаивала, как малое дитя, гладила по худому плечу, а женщина билась и рвала на себе волосы, немо хватая ртом воздух и дико устремив невидящие глаза в одну точку.

Рядом заходились в плаче пацаны, мал мала меньше.

Старуха встретила глазами с председателем, и они какое-то время смотрели в глубину зрачков друг другу.

– Дай-ка, курну я, – сказала старуха.

Председатель протянул окурочек. Она жадно затянулась несколько раз, бросила сигарку и решительно шагнула к почтальонше:

– Давай уж и мне, дочка. Чтоб до разу.

Почтальонша с плачем кинулась старухе на грудь:

– Бабуня, прости меня, бабуня!

– Да кто ж тебя виноватит? – гладила ее по голове старуха. – Рази ж твоя вина есть, несмышленьш?

– Вот она, проклятая война! – глухо сказал председатель. – Неужто не последняя? А?

Я испугался тогда. Лицо его враз почернело, обрезалось, слепые от ненависти глаза полоснули меня как бритвой. В пустом рукаве его шевелился обрубок.

– Не может быть! – закричал председатель. – Не может быть, чтоб не последняя!!

Грохнул кулаком по перилу крыльца...

Неужели не последняя была? В мире все сильнее и сильнее пахнет порохом. Все слышнее бряцание оружием. Неужели опять по таким

вот дорогам будут уходить отцы, братья, сыновья? Уходить и не возвращаться.

Я смотрю на дорогу, по которой четверть века назад ушли мы на фронт. Для многих она стала последней.

Сейчас по ней гремит самоходная сенокосилка. Машину ведет молодой парень в фуражке. За ремешок козырька вдега ромашка. Он с любопытством глядит на меня. Чего, мол, этот городской делает на погосте. Я тоже смотрю на него, он мне кого-то напоминает. Парень здоровается со мной по деревенскому обычаю приветствовать незнакомого человека, и машина тарахтит дальше.

Может, это Ванятка? Нет, какой Ванятка... Ванятке сейчас под тридцать...

Тогда тоже был покос. Косили литовками. Машин таких еще не было. В первый день деревенские пришли, как на праздник, в чистом, в новом. Председатель медали повесил на выстиранную гимнастерку. Старуха пришла в новом переднике, почтальонша ленту вплеала.

Председатель снял фуражку, постоял, поглядел на луга, на нас и сказал:

– Кажись, с кормом будем. Трава ноне как по заказу. Ну, с богом! Начинайте.

Старуха пошла передом. Мы за ней. Ходко шла, сноровисто, мы утнаться не могли. Но когда кончился первый прогон, она не могла никак отдышаться. Пот так и катил бисером по ее лицу. И она все утиралась новым передником.

У меня ныла спина, шея налилась свинцом, и рук не поднять. Но сдаваться было стыдно – впереди шла старуха.

Когда выкосили полянку, она сказала, с трудом переводя дыхание:  
– Передохнем, касатики.

Мы побросали литовки и кинулись к ручью.

– Погодите, – остановила нас старуха. – Так передыш'итесь аль лицо сполосните, а то нутро остудить можете, и сила уйдет, ежели напьетесь...

Позднее, в многочисленных марш-бросках, в больших переходах, когда двигались к фронту, я не раз вспоминал старуху. Действительно, нельзя пить человеку разгоряченному. Сила уходит. Перетерпеть надо.

Старуха села на кошенину и смотрела на внучат. Они собирали клубнику, срезанную литовками.

– Бабушка, бабушка – ягодка! – кричала в восторге Полюшка и показывала бабке каждую ягодку.

– Ешь, касаточка моя, ешь, – говорила старуха. – Зубками ее, зубками.

Ванятка собирал ягоду молча. Сопел и деловито клал рдяные капельки в картуз. Хмурился, думал о чем-то своем, серьезном.

Старуха отдышалась и закурила козью ножку, задумчиво и ласково глядя на поля, простирающиеся до самых дальних гор на окоеме. Березовые колки, речка, поспевающая рожь – все это хорошо было видно с косогора. Тихая, горестная и радостная улыбка не сходила с лица старухи.

– Соберешься помирать, – вдруг сказала она, – а как посмотришь на эдакую красоту, так и раздумаешь. Я чо молвить-то вам хочу. Вы к своей земле приглядывайтесь, к родной сторонке. Она устойку человеку дает, земля-то. И кто на войне, и кто тут – всем. В народе сказывают: где отцы-матери произрастали, где самим вам пупок отрезали, тут вам и корень жизни, тут вам и сила. Родной сторонке цены нету. Без родины человек не человек, дырка от бублика – пустота одна.

И мы затихли и пристально посмотрели вокруг, посмотрели на землю.

И потом, на фронте, не раз вспоминал я этот солнечный день, синие дали, покос и мудрую старуху на пригорке...

Я иду по косогору, узнаю и не узнаю места.

Вон там вроде березовый лесок должен быть. Свели, что ль? Или не было вовсе? Ручей вот есть. Не пересох. Живуч родник. Черемухой зарос, тогда ее не было. Дорога сейчас пойдет вбок, за холм. Точно, пошла. Тогда ночью здесь я их и встретил, у этой дороги.

Я шел в лунном свете и сочинял стихи. Стихи в ту ночь не получались, и все время вертелась в голове есенинская строчка: «Свет луны, таинственный и длинный...»

Луна заливала землю, и вправду свет ее был длинный, пришедший из глубин мироздания. Голубовато-серебристый, рассеянный, он был таинственным. Было удивительно тихо, и где-то нежно, загадочно и прекрасно позванивало. Казалось, сам воздух звенит.

Я шел, охваченный восторгом, благоговейной любовью к земле, видел каждую высветленную былинку, улавливал трепет каждого листка. Пахло увядающими травами, их теплый аромат доносило с луга, где мы косили днем.

– Так я и думала – ты это, – вдруг раздался голос за кустарником.

Я вздрогнул, оглянулся.

И тут же услышал ответ:

– А ты всюду затычка.

Я вытянул шею и увидел за кустами старуху и приземистого чернобородого мужика с лошадей, запряженной в телегу. Мужика этого я видел раньше, он нас всех удивлял. Он был одиноличник и имел собственную лошадь. Нам было странно видеть одиноличника, мы о них знали по истории, а тут – на тебе! – живой осколок старого.

– Покричи, покричи, – сказала старуха. – Моget, и лом у тебя припасен, как в тридцать третьем.

– Слышь, – с придыхом сказал мужик, – не наводи на грех! Никакого лому у меня нету. Кто ты такая? – Голос мужика набирал высоту. – Председатель? Уполномоченный? Думаешь, я не знаю, как ты тут паслась? Парней-то чем улестила? И то сказать, недаром ведьмой кличут.

– Для тебя ведьма, верно сказал. И боишься ты меня как ведьму. После амбаров боишься.

– Ты брось, ты это брось поклеп наводить! – захлебнулся криком мужик. – Доказать надо! Ты мне дела не пришивай!

– Злобишься, сердце на меня имеешь – вот и весь доказ. Пойдешь со мной сейчас.

Старуха взяла лошадь под уздцы.

– Не подходи! – стонущим от ненависти и страха голосом закричал мужик и ударил жеребца ногой в пах.

Конь всхрапнул, рванулся, но старуха не отпустила узду и, повиснув на ней, волочилась под ногами жеребца. А мужик все бил и бил коня, люто матюкаясь.

– Что вы делаете? – закричал я и выскочил из-за кустов.

Мужик испуганно оглянулся и кинулся бежать.

Жеребец остановился и храпел, высоко вздергивая головой.

Я поднял старуху с земли. Она охала и не могла шагнуть.

– Ногу выставила, о господи. Ты откель взялся-то?

Я помог ей взобраться на телегу, где лежала охалка свежескошенного гороха.

– Больно вам?

– Ничего, Бог миловал, ничего, – с перерывами ответила она.

Мы поехали по дороге, и я все поглядывал по сторонам, боясь, не покажется ли мужик.

У околицы встретили председателя, рассказали ему все.

– Та-ак, – протянул он. – Подозревал я его... А тебе не надо было самой. Мы его и так выследили бы.

– Ох, сама я виноватая.

– Ну, мне бы твою вину, – сказал председатель, заскакивая на телегу.

– А как с ним? – спросила старуха.

– Далеко не уйдет, – заверил председатель. – За лошадью явится.

Мы отвезли старуху домой. Тогда я еще раз увидел крест. Он тускло блестел под навесом крыльца. Потом мы поехали в колхозную конюшню, поставить лошадь.

– Живуча старуха – страсть, – сказал председатель. – Диву даюсь. Она ведь перед войной совсем помирать собралась. Крест вон стоговила. Сама. Под образами лежала. Деревенские уж и простились с ней, со дня на день ждали – преставится. А тут война. Сына ее сразу забрили, а осенью сноха померла. И встала старуха. Внучат, говорит, подымать надо, не время помирать. И живет вот. А теперь ей и вовсе помирать недосуг. Семен погиб.

Помолчал, почмокал на лошадь.

– Да-а, жизнь. По иному она так переедет, что за одно то, что живет еще, – к награде представлять надо. Ее же вот возьми. Смолоду батрачила, хрип гнула, за кусок билась. Революция свершилась – полегше дышать стало. А в коллективизацию мужа у ей убили, Ивана. Амбары он сторожил с колхозным хлебом. Помню, от набата деревня вскинулась. На пожар сбежались, глядим – Иван лежит и в рот ему зерно насыпано, снег кровью улит. Голову проломили. А амбары огнем пластают...

– Нашли их?

– Кого?

– Ну, кто убил и поджег.

– Где найти?

– Так и не узнали?

– Знать-то, может, и знаем, а поди докажи. Не пойманый – не вор.

Лошадь остановилась по малой нужде, председатель терпеливо ждал. Тронулись, и он снова начал:

– А до этого у ей ребята мерли. Трех похоронила. Парней уже. Одного конь зашиб, другой утоп, а третий с крыши сорвался да животом на кол. За одно лето все убралось. Сенька один остался, он у них последний, поскребышек. Умом тронуться можно от такой напасти.

Председатель свернул сигарку, подал мне «катышу»:

– Выбей огонька.

Я выбил, председатель пыхнул крепким дымом.

– А плясунья была в девках-то, с кругу не сходила. А уж песню как заведет! Иван-то, муж ее, смолоду буен был во хмелю, никто, бывало, усмирить не мог. А как услышит ее песню, так сядет и слезу уронит. Рубаху на себе порвет, скажет: «Душу ты из меня вынаешь!»

Я никак не мог представить старуху молодой. Мне казалось, что она всегда была такая вот старая, сухая, с хриплым голосом и козьей ножкой во рту.

– Поднатузиться придется бабам, войну одолеть, – задумчиво продолжал председатель. – Повертаются мужики с войны и поклонятся женам своим в пояс. Еще неизвестно, чья чаша перетянет, мужичья или

бабья, кому солонее за войну достанется. Опять же голод. Летом-то еще полбеда, травы всякой много, ягоды там, грибы. А вот зима навалится – люто будет...

А наутро мы косили без старухи. Семка шел передом, я за ним. Навлечились уже, косили ходко и были довольны этим и веселы.

Мы давно заметили председателя. Он выехал из березок, сидел верхом на коне и смотрел на нас. А мы старались показать себя и сделать вид, что не замечаем его. А он грустно глядел на нас.

Когда поравнялись с ним, он сказал тихо:

– Бросайте работу, ребята.

– Докосим вот, – сказал я, как старший.

Оставалось совсем немного на этом лугу, еще пройти прокоса два.

– Ну, докосите, – согласился он.

Мы докосили.

– Подойдите-ка, – подозвал председатель.

Мы, довольные работой, подошли.

Он оглядел нас всех с седла и сказал, будто извиняясь:

– Призывают вас, ребята. Вот повестки.

У нас радостно и испуганно застучали сердца. А он смотрел на нас и грустно улыбался.

Только позднее я понял и его взгляд, и грустную улыбку. Он уже побывал там, куда уходили мы, и вернулся без руки. Он понимал, что кончилась наша юность, наше детство, и кто знает, все ли вернутся обратно.

Я вернулся, а шестеро из нашего класса остались.

Остался и Семка. Он погиб в конце войны на Балтике, он был матросом на торпедном катере.

Мы уходили вот этой дорогой, по которой шагаю я сейчас.

Тогда мы здесь и увидели в последний раз старуху. Она вышла из березника с вязанкой хвороста.

– Мы уходим, бабушка! – крикнул Семка.

– Куда-то? – спросила она.

– На фронт! – гордо сказал я.

– Господи! – уронила она вязанку. – Дай-то вам Бог живыми вернуться, касатики.

Она перекрестила нас широким крестом.

– Мы в Бога не верим, – сказал Семка.

– Зато я верю, – сурово сказала старуха. – С Богом, сыночки, живыми вам, живыми...

Я оглянулся, она все стояла, приложив ладонь козырьком к глазам, и все смотрела нам вслед. Такой и осталась в памяти, сухой, высокой, сутулой. И лицо, спокойное и мудрое...

И вот опять я на этой дороге. Вернулся на круги своя.

Старуха как-то сказала: «Война пройдет, а жизнь останется». Война давно прошла, а жизнь осталась. И я иду в деревню, теперь совсем новую, с новыми людьми, с новой жизнью.

(«Тополиный снег», 1970)

## НАГРАДЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ

(отрывок из повести)

...Он камнем падал вниз.

Касаясь рукой спускового пенькового конца, пробивал скафандром стылую толщу воды. Воздух по шлангу едва поспевал за ним. Тревожный холодок теснил сердце – там, внизу, была торпеда.

Серо-зеленая, с коричневым оттенком вода все сильнее и сильнее обжимала водолазную рубашу, будто кто заковывал его в железные латы. Многопудовый скафандр давил на плечи и неудержимо тащил на дно. Грудь стискивали свинцовые груза, дышать становилось все труднее и труднее, но Костя держал воздух в скафандре на низшем пределе – лишь бы не наступило кислородное голодание, лишь бы не закружилась голова. И как можно быстрее вниз, вниз, на грунт!

В ушах потрескивало, барабанные перепонки покалывало тонкими иглками. И как только возникала эта боль, как только начинало закладывать уши и шипенье воздуха глохло, Костя придавливал нос к холодному запотевшему стеклу переднего иллюминатора в шлеме и «продувался». Боль в ушах исчезала, звук воздуха, поступающего в скафандр, приобретал чистоту и четкость.

Вода темнела, надвигалась густо-коричневая мгла. И в этой мгле Костя должен найти и застропить невзорвавшуюся торпеду. Нельзя сказать, чтобы он боялся – не впервой ему иметь дело со взрывоопасными штуками, – но холодок все же подсасывал в груди. Он был начеку и внимание держал предельно заостренным.

Там, наверху, на водолазном боте, мичман Кинякин открыл вентиль баллонов со сжатым воздухом на полную катушку, и воздух гнался по шлангу за Костей; там, на боте, Димка Дергушин травил шланг-сигнал, сбрасывая его кольцами за борт; там, наверху, был ветреный, по-октябрьски пасмурный день с «зарядами» мокрого хлещущего снега, а здесь он, Костя Реутов, в глухом скафандре вламывался в надвигающуюся темь, летел вниз, на дно.

Он ударился ногами о грунт неожиданно, даже слегка испугался. И сразу же заревел в шлеме воздух – нагнал! Чтобы не выбросило наверх, Костя схватился крепче за спусковой канат и изо всех сил, до боли, надавил головой клапан в шлеме. Надо было провентилировать скафандр, насытить кислородом организм, наполнить живительным газом каждую клетку. Водолазную рубашку раздувало.

– Меньше воздуху! – приказал Костя.

Теперь с воздухом надо быть предельно осторожным. Чуть прошляпишь – и вылетишь на поверхность «лапти сушить», выбросит будто пробку из бутылки шампанского. Полопаются барабанные перепонки. И – не дай бог! – кессонку еще схватишь.

– Есть меньше! – тотчас откликнулся по телефону мичман.

Рев в шлеме прекратился, перешел в ровное шипенье.

– На грунте? – спросил мичман.

– На грунте, – ответил Костя.

– Двадцать семь метров, – сообщил глубину мичман. Это он по манометру на баллонах со сжатым воздухом определил. – Оглядишься!

– Есть оглядеться.

И Костя зажмурился.

По опыту он знал, что, подержав глаза закрытыми, легче привыкнуть к темноте придонной глубины. Костя открыл глаза.

Так и есть – не такая уж и темень на дне. Вода коричневая, со слабым зеленым оттенком, и чем дальше от ходового конца, тем гуще, темнее. Грунт ровный, серо-коричневый, светлее воды. Видимость метра два. «Ничего, жить можно». Приходилось работать и в крошечной тьме на ощупь.

Медленно поворачиваясь, Костя напряженно вглядывался в толщу воды. «Где она, проклятая?» Буй сброшен приблизительно, и Косте предстояло делать круги по грунту, увеличивая и увеличивая радиус, пока не найдет торпеду.

– Иди к берегу, – посоветовал мичман. – Она, говорят, туда взяла направление.

Там, наверно, рядом с водолазным ботом стоит МО – морской охотник. Он и поволокет зацепленную торпеду на расстрел. Это с него дают советы. «А где тут берег? В какой он стороне?»

Костя огляделся. Он находился будто бы внутри стеклянного шара с видимостью во все стороны метра в два, дальше шла коричневая плотная тьма.

Идти было трудно: начался отлив, и вся огромная масса воды в заливе медленно двигалась от берега в море, тащила Костю назад.

Приходилось идти, пробивая шлемом толщу воды, и, согнувшись в три погибели, тащить за собой несколько десятков метров шланг-сигнала. Он хоть и воздушный, этот шланг, а тяжелый, черт! На грунте не расшагаешься, как по улице, во весь рост – вода не пустит, а сейчас еще и отлив навстречу.

Костя шел, почти касаясь шлемом дна. Дно было чистым, без растительности, с мелкими песчаными складками. Время от времени Костя выпрямлялся, осматривался. «Куда она делась? Может, совсем в другую сторону упорала?»

Он долго искал торпеду.

– Не вижу, – доложил он. – Может, она мористее затонула?

– Ищи! – приказал мичман. – Говорят, тут где-то.

«Ищи!» Хорошо говорить там, наверху! Поискал бы сам ее тут!»

Костя поднял голову и вздрогнул.

Из коричневой стены торчало тупое железное рыло. Он вышел прямо ей в лоб! Торпеда казалась неправдоподобно огромной. Предметы в воде кажутся больше своей истинной величины, но торпеда, вот так вот – один на один! – казалась особенно большой. Мрачно, с затаенной злобой, недвижно торчала она перед ним. У Кости пересохло во рту.

– Есть, – тихо сказал он.

– Есть? – торопливо переспросил мичман.

– Есть.

– Осторожно! Заходи в хвостовое оперение и стой там. Будем спускать трос.

– Добро.

Костя шагнул к торпедe – она еще больше всунулась внутрь видимого шара, будто сама двинулась навстречу. У Кости испуганно сдвоило сердце. Он остановился, но, пересилив себя, сделал еще шаг вперед, он затем и спустился на дно, чтобы встретиться с ней, ненаглядной.

Мичман сказал, что торпеда неконтактная, срабатывает в магнитном поле. Костя, конечно, не корабль, чтобы вокруг него было сильное магнитное поле и чтобы торпеда рванула, но все равно – черт ее знает! А вдруг сработает! Шарахнет – от него и пыли не останется. В ней же взрывчатки с полтонны! Идиоты, как они там ее упустили! За такие дела в штрафбат! Они теперь там, вдалеке, посматривают, покуривают, а он тут должен с ней целоваться. Она чмокнет – гул пойдет.

Костя остановился, перевел дыхание. Старшина Лубенцов говорит, что он в таких случаях с минами и торпедами обращается, как с девкой, которую первый раз уламывает, – нежно, ласково, обходительно. А у Кости и такого опыта нет. «Я ее, – говорит, – Марусенькой называю. Ласковая ты моя, дорогуша ты моя ненаглядная, будь ты проклята! Ты уж не рвани, пожалей меня и баб моих!» Самого трясет, а

зубы скалит. Лубенцов говорит, что лучше в штрафбате быть, чем один на один с миной или торпедой. А уж он-то знает, бывал. «Я ей мурлыкаю, уговариваю, а руки не дремают. Тут главное – не спугнуть. Тут, как с милашкой, уговаривать-то уговаривай, но и руками действуй. Спугнешь – все! Помянем раба Божия!»

Костя осторожно двигался вдоль мощного веретенообразного туловища торпеды. Торпеда лежала хорошо, брюхом на ровном месте. И то слава богу! Не подкапываться хоть, чтобы застропить.

Путь вдоль торпеды показался ему долог. Никогда не думал, что она такая длинная. Дошел наконец до хвоста, остановился. Лопастей винта тоже не врезались в грунт. Все же подфартило ему хоть в этом.

Выброска в руке подрагивала, значит, там, наверху, к ней прикрепляют трос.

– Готов? – спросил мичман.

– Готов, – выдохнул Костя, понимая, что самое главное только начинается.

– Тяни! – приказал мичман.

Костя потянул выброску, она легко подалась. Тянул долго, пока над головой в коричнево-зеленоватых слоях воды не показалась какая-то тень. Потом эта тень превратилась в трос.

– Стоп! – скомандовал Костя.

Травить прекратили.

Теперь надо было захлестнуть петлю троса на хвост торпеды. Костя осторожно придвинулся к молчаливому чудовищу, дотронулся рукой до стылого металла, почувствовал злобную затаенность торпеды и на миг опять оробел. «Ну как шарахнет! Не вздумай, милая!»

Чтобы охлестнуть петлей хвост торпеды, ему пришлось подвсплыть. Набрав воздуха в скафандр, Костя оторвался от грунта. На миг он проворонил предел воздуха и почувствовал, как его потянуло вверх больше, чем нужно. Испуганно екнуло сердце, Костя изо всех сил нажал головой на золотник в шлеме и крепко ухватился за трос. Стравив воздух, он упал на торпеду, охнул.

– Ты чего? – тревожно спросил мичман.

– Ничего. – Костя не узнал своего голоса.

– Ты там гляди в три глаза!  
«Хорошо ему советовать!»

Костя сидел верхом на торпеде и боялся пошевелиться.

Но не век же так сидеть, тут не отсидишься. Переборов робость и поднабрав воздуха в скафандр, тщательно следя за его количеством и огребаясь руками, Костя снова подвсплыл и, стравив излишки, упал рядом с торпедой.

И только теперь перевел дух.

Долго стоял, чувствуя, как взмок.

– Захлестнул, – наконец сказал он. – Обожмите. Только тихо!

«Ну, молись, мама, за меня!» Костя затаил дыхание, не спуская глаз с петли. Трос натянулся, петля стала обжимать хвост торпеды. Заскользило железо о железо, оставляя светлую царапину на корпусе. Облачком пошла рыжая пыль.

– Стоп!

Трос затих. Костя осмотрел петлю.

– Еще чуть-чуть! – приказал он.

– Добро, – ответил мичман. – Ты там смотри!

– Смотрю.

Петля снова заскрипела по корпусу торпеды, и скрип этот ударил по нервам. Трос натянулся, торпеда качнулась. Косте показалось, что она валится на него.

– Стоп! Стоп! – закричал он, обливаясь холодным потом.

– Что такое? – испуганно спросил мичман.

– Да так... – перевел дух Костя.

– Ты отойди от нее подальше! – наставлял мичман.

«Подальше, – усмехнулся Костя. – Куда подальше? Она везде достанет». Костя отдышался, успокоился. Снова осмотрел петлю. Хорошо обжало – не сорвется. Можно и поднимать.

– Хорош! – доложил Костя.

– Отойди! – приказал мичман, и Костя почувствовал, как натянулся шланг-сигнал – Димка Дергушин выбирал слабину.

Не спуская глаз с торпеды, Костя попятился. Огромное хищное чудовище начало удаляться, исчезать в размытой мгле, будто само от-

ступало, и хотя торпеда исчезла в толще воды, Костя все равно знал, что опасность не миновала. Еще неизвестно, как поведет себя торпеда, когда ее будут отрывать от грунта. Ударится о какой-нибудь камень...

Костя вернулся к спусковому канату, ухватился за него, спросил:

– Как она там?

– Вышла на панер, – ответил мичман.

Значит, трос с морского охотника натянулся вертикально и сейчас начнут отрывать торпеду от грунта.

«Не шарахнула бы!» – опять подумал Костя. В скафандре от него одна смятка останется. Бомба упадет за милю, а у водолаза лопаются барабанные перепонки от гидравлического удара, а тут рядом... Бывали такие случаи. Месяц назад водолазы Петька с Аскольдом снимали глубинные бомбы с торпедированного эсминца. Рвануло. От Аскольда ничего не осталось, только обрезанный шланг вытащили, а вместо Петьки в исполосованном осколками скафандре было кровавое месиво...

Костя стоял и ждал. Он пока не имел права выходить наверх. Мало ли что случится! Сорвется с троса – опять ее стропить. Мучительно медленно тянулись минуты. Что они там, уснули?

– Порядок, – сказал мичман. – Потащили в море.

«Ну, наконец-то!» Костя почувствовал, что бесконечно устал и мелкой дрожью трясется каждая жилка тела. И теперь только обнаружил, что мокрый он насквозь – нижнее белье пропотело, свитер тоже. Ноги стыли. Не спасали ни меховые шубники, ни ватные штаны.

– Выходи на выдержку! – приказал мичман повеселевшим голосом.

Набрав в скафандр воздуху, держась за спусковой канат, Костя быстро поднимался вверх. Вода светлела, вновь приобретала голубовато-зеленый цвет.

– Стоп! – приказал мичман. – Первая выдержка. Сиди!

«Беседки» – доски, прикрепленной к двум канатам, – не было, как это обычно делается при глубоководных спусках. И Костя, держась одной рукой за спусковой канат и регулируя воздухом плавучесть скафандра, висел в толще воды между поверхностью и грунтом.

Для него это было нетрудно – Костя умел владеть воздухом и мог болтаться, как поплавок, на любой глубине. Главная наука для водола-

за – владеть воздухом в скафандре. Но прежде чем Костя постиг эту науку, прежде чем почувствовал себя как рыба в воде, с него сошло семь потов, потом еще семь раз по семь, и еще – семь. И «сушить лапти» выбрасывало; и, придавленный грузовой корабельной стрелой, задыхался; и в тросах при обследовании судна на дне запутывался; и в недрах потопленного корабля, заблудившись, искал выхода... Чего только не было с ним под водой за эти два военных года!..

Теперь он был уже опытным водолазом, знал такие тонкости и хитрости своего дела, которые можно познать только под водой. Он, например, знал, что идти под воду с насморком – заведомо рисковать своими барабанными перепонками. Он никогда не спустится на грунт со слабо завязанными плетенками на галошах, потому как можно потерять галошу, и тогда задерет одну ногу, как у балерины, или – не дай бог! – перевернет и выбросит наверх. Не спустится он под воду и в малой, не по росту, водолазной рубашке – на дне, когда скафандр наполнится воздухом, не согнуть коленей, будешь стоять как статуя. Не пойдет он и в большой рубашке, потому как под водой в раздутом скафандре руки не будут доставать до рукавиц – окажешься в смирительной рубашке с длинными рукавами. Не сделает он и шагу к трапу, пока не убедится, что нижний брас между ног не зажимает – в воде, когда воздухом разопрет скафандр и нижний брас натянется, можно потерять сознание от дикой боли в паху. «Эта вещь в хозяйстве нужная, – зубоскалит обычно старшина Лубенцов перед спуском в воду. – На запасную господь Бог поспешил. И по благу нигде не закажешь». Многое знал и умел Костя, но всего предусмотреть нельзя, всего не предугадаешь заранее...

Сейчас Костя замерзал, особенно стыли ноги. «Зря у Димки не одолжил новые ватники», – снова пожалел он. Мокрая спина взялась холодом. Костя начал греться: сгибать и разгибать руки и глубоко выдыхать, стараясь побыстрее выгнать из организма азот. Из-за него, проклятого, и приходится околевать на выдержках. При быстром подъеме или после долгого пребывания на грунте растворенный в крови азот «закипает» пузырями, рвет кровеносные сосуды – наступает кессонка.

– Как там торпеда?

– Все в порядке. Тащат в море, – ответил мичман.

– Тащите и меня! – взмолился Костя. – Окошел я тут.

– Ничего, сиди.

– Сиди! – недовольно повторил Костя. – Сам бы тут посидел.

– Не ворчи.

Костя отлично понимал, что мичман поступает правильно, о его же здоровье печется. Чтоб уж наверняка без кессонки обойтись. И тут уж просись не просись, а отсидеть на выдержке положенное придется...

– Реутов! Тревога! Срочно наверх! – вдруг раздался торопливый голос мичмана.

«Налет!» – сразу понял Костя.

А в шлеме уже ревел воздух – это мичман открыл до отказа вентиль баллонов со сжатым воздухом. Костя прижал нос к иллюминатору и начал «продуваться», чтобы не полопались барабанные перепонки, когда будет вылетать наверх. А его уже выбрасывало из воды! Костя с силой поджал ноги под себя, не давая воздуху проникнуть ниже пояса. Надо вылететь из воды шлемом вперед, «солдатиком», чтобы не перевернуло вверх ногами.

Костя делал все то, что делает всякий опытный водолаз при срочном выходе наверх, а сам прислушивался – не слышно ли взрывов в воде. Не дай бог, упадет где-нибудь рядом!

Он вылетел из воды, и тут же прекратилась подача воздуха – мичман перекрыл вентиль, чтобы не лопнул раздутый скафандр. И в наступившей тишине Костя услышал глухие частые выстрелы зениток и отдаленные взрывы, бомбы падали где-то в сопках.

Димка Дергушин и Игорь Хохлов торопливо, в четыре руки, выбрали шланг-сигнал, с силой буксировали его к корме бота, все время опасно поглядывая на небо.

Костя тяжело поднялся по трапу. Скафандр, потеряв плавучесть, гнул книзу. Торопливо застучал ключ по гайкам манишки – Димка отворачивал шлем, а Игорь укладывал в бухту шланг-сигнал.

Димка снял с него шлем, взопревшую Костину голову обдало морозным ветром, и сразу же заложило уши от стрельбы зениток и пу-

лементных очередей. Все миноносцы, все сопки ошетинились огнем. Костя вертел головой, стараясь увидеть немецкие самолеты. Серое низкое небо вспухало частыми белыми облачками разрывов.

– Отогнали! – с нервным смешком сказал Димка.

Костя и сам уже понял, что стреляли вслед, для острастки. Немцы уже убрались восвояси.

– Пронесло. – Мичман, все еще поглядывая на небо, принялся укладывать телефон. – Выходи, чего стоишь!

Костя перевалил через фальшборт ноги в тяжелых, со свинцовой подошвой галошах, встал на палубу бота. Ах, как хорошо выйти из сумрака воды и вдохнуть живого воздуху после пахнущего резиной, мертвого, сжатого в баллонах, дистиллированного! Об этом знают только водолазы.

Костя огляделся. Спокойный залив отливал стылой блеклой синевой, лобастые, заснеженные сопки угрюмо подсунулись к берегу, миноносцы, будто врезанные в стеклянную гладь воды, маячили посреди залива, морской охотник на малых оборотах удалялся в сторону моря – тащил торпеду на расстрел.

Стрельба зениток прекратилась. Будто и не было никакого налета. Тихо-мирно все.

– Ну дали ему! – нервно всохотнул Димка. – Долго помнить будет.

– Дали-то дали, а ушел, гад! – сокрушенно покачал головой мичман. – Вывернулся из-за сопки, как из-под земли. И всего один. Псих какой-то. Ушел, гад! – повторил, а сам с тревогой всматривался в лицо Кости.

Дергушин, Хохлов и мичман взяли за резиновый фланец водолазной рубахи и под возбужденно-веселый крик Дергушина: «Раз, два, три!» растянули ворот, и Костя выскочил из скафандра по пояс. Когда сел на бухту шланга, чтобы стянули рубаху с ног, у него вдруг закружилась голова и тягостно потянуло в груди, будто вот-вот стошнит.

– Ты чего? – тревожно спросил мичман, и светло-голубые глаза его заострились.

– Ничего, – с придыханием ответил Костя, но его уже окатило холодом в предчувствии беды.

Бесконечно огромный мир потерял свою устойчивость, покачивался, стило мерцал, бесстрастно-сторонний, чужой, в лучах какого-то необъяснимого света, неизвестно откуда исходящего.

– Чего не заводишь? – закричал мичман на старшину катера.

Тот стоял, прислонившись плечом к рубке, и глазел на водолаза.

– Куда теперь торопиться-то? Не к теще на блины, – хмыкнул старшина.

– Заводи, говорю! Немедленно!

Старшина кинулся в рубку.

– Ну что? Как?

Мичман испытующе заглядывал в глаза, и Костя видел, как побледнело вечно красное, нахлестанное ветрами лицо мичмана, видел, с каким испугом смотрели на него Хохлов и Дергушин. Костя хотел было беспечно улыбнуться в ответ, но не успел. Дикая боль полоснула по ногам, пронзила от паха до самых кончиков пальцев на ногах, и он, глухо охнув, задохнулся от жгучей рези. Дневной мир пошел темными кругами.

– Реутов! Реутов!

Голос мичмана слабо пробивался сквозь шум в голове, как сквозь огромную толщу воды. Костя был на дне горячей боли.

Не успевший выйти из крови азот «вскипел» и рвал Косте кровеносные сосуды. В глазах стоял багровый туман. Казалось, режут тело чем-то раскаленным. Он кричал, со стоном всхлебывая воздух. Казалось, он чувствовал, как под кожей вспухают и лопаются пузырьки, отдирая кожу от мяса. Он то терял сознание, погружаясь в красную зыбкую тьму, то пробивался сквозь болевую пелену, будто выныривал, и тогда слышал, как мичман горестно повторял:

– Не хватило выдержки! Не дал этот гад – прилетел! И не сбили ведь, не сбили! Мазилы!

И прежде чем совсем потерять сознание, прежде чем хлынула в голову горячая тьма, Костя успел подумать, что выдержка оказалась мала – «юнкерс» не дал досидеть.

Водолазы подхватили Костю и понесли в кубрик. Он стонал в беспамятстве, и ноги его безвольно волоклись по сырой палубе.

Его уложили на рундук в кормовом кубрике. Хохлов и Дергушин в растерянности стояли над другом, бессильные чем-либо помочь.

Мичман кинулся в рулевую рубку и крикнул старшине катера:

– В Мурманск! Полный ход!

И произнес страшное для водолаза слово:

– Кессонка.

Сутки пробыл Костя в рекомпрессионной камере спасательного судна «Святогор». Ему давали двойное давление, чтобы растворить в крови азот, и медленно «выводили на поверхность», но не помогло. Слишком долго шел водолазный бот по заливу, и пока добрались до базы на Дровяном, разрушительная работа кессонной болезни обрекла Костю на неподвижность.

С парализованной нижней частью туловища, с синяками и кровоподтеками на теле от лопнувших сосудов, будто после жестокого избивания, он был доставлен в мурманский госпиталь.

...Рядом с Костей лежал пожилой шофер санбата. Укороченные забинтованные руки покоились у него на груди. Костя знал, что он вез раненых с передовой и попал под бомбежку. Осколками посекло руки, кабина стала как решето, но все же пригнал он полуторку в санбат. И теперь руки с отнятыми кистями неподвижно покоились у него на груди, как два спеленатых младенца.

Косте шофер казался стариком из-за рыжих усов и седины на висках, хотя было ему только под сорок. Родом он был с Алтая, и это сразу сблизило их. Оказалось, что оба из-под Бийска и села их всего в полусотне километров одно от другого. «Ты гли-ко! Ну ты гли-ко! – дивился шофер. – Вот земляк дак земляк! Почти с одного двора. Да я ваше село-то наскрозь знаю. Я по Чуйскому-то тракту тыщи верст намотал и каждый раз через ваше село еду, бывало. Ты гли-ка, чо деется! Ну прям в самую точку земляк!»

Палата с завистливой радостью глядела на них. «Повезло, – говорили. – Вы тут вдвоем-то быстро с хворями справитесь. Земляк на войне родней матери». Шофера величали Митрофаном Лукичом, но палата его звала просто Лукич, сразу и безоговорочно признав его

старшинство. Костя подавал ему пить, кормил с ложки, когда нянечке некогда было, – их разделяла только тумбочка.

За Лукичом лежал молодой парень с красивым и хмурым лицом. О нем было известно только то, что он из штрафного батальона и штурмовал Муста-Гунтури. На вопросы он не отвечал или резко обрывал, кто лез к нему с разговорами. Ранен был он в обе ноги, и на правой ему отняли ступню. Штрафник нюхал сам себя, брезгливо морщился: «Трупом пахну». «Человек – он не цветок на клумбе, чтоб ароматами пахнуть, – отвечал Лукич. – Он больше потом воняет».

Был в палате контуженный сапер Сычугин. Он вскакивал с кровати, будто подброшенный неведомой силой, лицо его дергалось, и если чуть что не по нему, начинал кричать, закатывать истерику. Костя его побаивался. Сычугин был весь изукрашен татуировкой – не человек, а картинная галерея. На груди орел, раскинув крылья, нес в клюве обнаженную женщину; от локтей до запястья, обвивая руки, ползли толстые змеи; на тыльной стороне ладоней были надписи: «До гроба люблю Аню» и «Не забуду мать родную». Кулаки были синие от надписей и рисунков.

Костя завидовал этим людям. Хоть они и увечные, израненные, искромсанные осколками и пулями, но вышли они из настоящего боя, знали, что такое война. Ему было стыдно перед ними. У него целы руки, ноги, и на передовой он не был. Когда прибывали в палату новые раненые и спрашивали, куда он ранен, Костя не знал, как и ответить.

От его постели шел тяжелый запах, кальсоны, простыня и матрац были постоянно мокры. Он тяготился своей немочи, сгорал от стыда, был неразговорчив и угрюм. Отводил душу только с Лукичом, который относился к нему как отец к сыну. Они вспоминали милые сердцу родимые места, договаривались после войны обязательно встретиться.

Раненые, когда узнавали, что Костя водолаз, с наивным интересом расспрашивали его про морское дно, что там да как? Костю удивляли их детское любопытство, их искреннее изумление, что вот он – водолаз и спускался на дно, видел потопленные корабли и всяких рыб. Все ждали от него рассказов про что-то необычное, диковинное, чуть ли

не сказочное. А он им – про пушки, про танки, которые доставал со дна, да про утопленников. «И не боялся?» – задавали вопрос. «Нет, – неуверенно отвечал Костя, – ничего». «Так уж и ничего, – сомневался Сычугин, и губы его начинали дергаться. – Бывало, на базаре в карман лезу – и то трясет, как в лихорадке, сердце в пятки упрыгивает, а тут...» Сычугин до войны был вором-карманником. «Ночью один в поле останешься – и то оторопь берет, – поддакивал психу Лукич. – Бывало, на Чуйском тракте мотор заглохнет, ночь коротаешь до свету, и то напривидится всякое. А тут на самом дне, да один. Это, паря, како сердце надо иметь!» Костя пожимал плечами: надо было спускаться под воду, он и спускался. Сами они вон в огне побывали, на передовой, всякого понатерпелись, понагляделись. Что он по сравнению с ними!

Улучшений у Кости пока не было. Ног по-прежнему не слышал, от постели шел удушливый запах, и это его мучило больше, чем неподвижность. Он стыдился всех в палате, но особенно молоденьких сестричек. Когда меняли ему судно или утку, он готов был провалиться сквозь землю и проклинал свою судьбу.

Просыпаясь ночами и слушая, как маются изорванные металлом, искалеченные люди, как бредят, как зовут сестричку на помощь, Костя понял, что здесь труднее трудного. В спертom, тяжелом от запахов крови, гноя, застиранных бинтов, хлорки и медикаментов воздухе стояло надсадно-хрипкое дыхание, стон сквозь стиснутые зубы, бред и мат. От мертвого синего света лампочки под потолком было еще тягостнее и тоскливее. Съедала Костю мысль, что он – калека, истайвал он от тоски и бессилия.

– Ты, паря, людей-то не чужайся, – тихо говорил ему Лукич. – Ты прислонись к нам, мы тебе подмогнем всем миром. В одиночку-то – последнее дело. Без людей беда, хушь в бою, хушь в жизни.

Костя молчал.

– Ну как хушь. Не хушь говорить – молчи. Только тоску с сердца скинь. Пропадешь. Кручина задавит.

В палате всегда тревожно смолкали, когда начинался врачебный обход. Свита врачей и медсестер в белых халатах и шапочках сопровожда-

ла главврача. Руфа входила, как глыба весеннего льда, угласта и велика, шириною своей заполняя весь проем двери. Мощь телес ее выпирала из белоснежного, только что отутюженного халата. Под столбообразными ногами, казалось, прогибался пол. На верхней губе чернели усики. Большие навывкате глаза будто всасывали в себя палату целиком, и все ранбольные были перед ней как на ладошке, обнаженные и беззащитные. Она все видела, все знала, сквозь землю на аршин смотрела. От нее за версту разило табачищем. Папиросу из зубов она выпускала только на ночь. В природе явно произошла непоправимая ошибка. Руфа задумывалась мужиком, но по родительскому недосмотру пришла на свет женщиной. Ей бы грузчиком работать или молотобойцем, а она была хирургом. Ее боялись как огня и врачи, и медсестры, и подсобный персонал, а раненые любили и звали ее слонихой. Но слонихой редко, по обиде. А так – Руфа. Она скажет – отрежет. Скажет: через месяц будешь ходить – значит, будешь. Скажет: рука-нога останется цела – значит, останется.

На этот раз впереди нее легким колобком вкатился в палату маленький кругленький и розовый человечек в очках с золотой оправой. Он был на две головы ниже Руфы.

Все поняли, что это и есть светило из Москвы, знаменитый академик, которого давно ждали в госпитале.

Дольше всего он провел возле Корсета, тщательно выслушивая и осматривая его. Связист был без движения, на худом смертно-белом, будто гипсовом, лице чернела яма открытого рта. Лежал он всегда тихо, стонал только во сне. Из-под гипса сочилась гнойно-кровавая жижка. «Не жилец», – сказал однажды Лукич и вздохнул. Сычугин окрестил связиста Корсетом. Так и звали его все, как-то сразу позабыв его имя и фамилию.

Наконец настал черед и Кости.

– Ну-с, морячок-сибирячок, – сказала светило. – Покажемся.

И сам отвернул одеяло. Обдало запахом мочи, нечистого мокрого белья. По тому, как он сам взялся за одеяло, Костя понял: академик все знает о нем. Костя невольным жестом потянул одеяло на себя.

– Ну-ну, Реутов, – прокуренным голосом пробасила Руфа.

Трясущимися руками Костя развязывал тесемки кальсон на поясе и никак не мог с ними сладить. Академик неожиданно сильным рывком стянул с него кальсоны до самых колен, обнажив тело с багрово-синими подтеками – следами кессонки. Долго и внимательно осматривал и ощупывал Костин пах.

– Чувствуешь? – нажимал он пальцем. – А так? Больно – нет? А так? Совсем не чувствуешь?

Он колот иголкой, но Костя не слышал уколов. Руфа что-то говорила академику по-латыни, он кивал розовой круглой головой. А Костя стыдился своей наготы, запаха и молодых женщин в белых халатах, молча толпившихся у его постели.

– Позывов по утрам не бывает? – вдруг услышал Костя тихий шепот академика и совсем рядом увидел внимательные, серые, с тусклой уже синевою глаза.

– Каких? – не понял Костя.

– Мужских, – все так же шепотом спросил академик, наклонившись к нему.

– Не-е... – Костя польхнул огнем, у него даже в горле пересохло.

У академика сбежала с лица мягкая улыбка, глаза потеряли живость. Он что-то сказал по-латыни Руфе, она кивнула и внимательно осмотрела Костин пах. Молодые женщины-врачи тоже изучающе и серьезно смотрели на обнаженное Костино тело, а у него было только одно желание: съежиться, стать незаметным, исчезнуть. Сгорая от стыда, он потянул на себя кальсоны.

– Ну-ну! – строго сказала Руфа.

Наконец академик запахнул одеяло. Сняв очки и протирая их белоснежным носовым платком, он близоруко щурился и молчал. По этому молчанию Костя понял – дело его швах.

– Ну-с, морячок-сибирячок, – бодро сказал академик, – надобно еще полежать. Все будет в порядке. Да-с.

Он похлопал по одеялу и улыбнулся, но Костя ему не поверил. Когда врачи ушли из палаты, Сычугин сказал:

– Розовый. Харч у них хороший. Особый паек.

Костя накрылся одеялом с головой и уже там, под одеялом, в душной темноте завязал тесемки кальсон и сжался в комок. Его трясло. Он поскуливал от ужаса – неужели на всю жизнь останется калекой?

Ночью умер Корсет.

Под утро Костя услышал какой-то шорох, приглушенный разговор. Он открыл глаза и в синем свете лампочки увидел санитаров, перекадывающих Корсета с койки на носилки. Он был тяжелым в своем гипсовом панцире, и санитары не сразу справились со своим делом.

Капля по капле уходила из Корсета жизнь, и вытекла вся.

– Отмаялся, – тихо произнес Лукич, когда мертвого вынесли.

– И Героя не дождался, – подал голос штрафник.

– А откуда он родом? – спросил Сычугин. – А? Братцы?

Костя обнаружил, что никто из раненых не спит. И оказалось, что никто и не знает, откуда был Корсет, где дом его, где семья.

– Был человек – нету, – вздохнул Лукич. – Дешевше соли стал человек.

Все утрюмо молчали, гнетущая тишина придавила палату.

– Морфию! Морфию дайте! – кричал кочегар.

«Мне легче, мне легче!» – шептал Костя, накрывая подушкой голову, чтобы не слышать диких криков кочегара. Этого обваренного паром матроса привезли в госпиталь два дня назад и положили на освободившееся после Корсета место. Говорят, кочегар не покинул своего поста, когда пробило осколками паровые трубы на корабле и пар заполнил все котельное отделение. Кочегар до конца поддерживал давление в котле, пока шел бой. Его вытащили как обваренного рака. На нем не было живого места. Голова была сплошь забинтована, и виднелся только сырой черный провал рта, из которого все время тек тягучий, полный мучительной боли крик.

«Мне легче, мне легче!» – как молитву, как заклинание, повторял Костя.

– Братцы! – просил кочегар. – Позовите сестру!

– Аня! Анечка! – кричал Сычугин. – Ну дай ты ему морфию, пусть заткнется!

Сычугин уже сам кричал истерично, и все знали, что сейчас с ним начнется припадок.

– Нет, – отвечала сестра, входя в палату.

– Каплю, каплю одну! – молил кочегар, услышав голос сестры. – Сил нету терпеть! О-о!

– Нет, – отвечала сестра.

– Сука ты! Тебя бы в мою шкуру! – рыдал невменяемый кочегар.

– Нет, не могу я его слышать! – кричал и Сычугин и конвульсивно кривил рот. – Дай ты ему морфию! Жалко тебе?

Сестра бледнела, но твердо стояла на своем:

– Нельзя больше. Поймите.

– Лучше конец, чем так мучиться, – хрипел кочегар. – Лучше бы сразу!

Он рычал от боли, матерился, оскорблял сестру. Было страшно слушать, страшно видеть спеленатую мумию, у которой нет кожи, а есть сплошная вздутая рана, обваренная до мяса.

«Мне легче, мне легче!» – шептал Костя, и его трясло.

И так каждый день.

Но больше всего кочегар боялся перевязки, и когда приближалось время, беспокойство охватывало его.

– Дайте курнуть, братцы!

– Нельзя, в палате запрещают, – говорил обычно Лукич.

В ответ шипел штрафник:

– Хрен с ним, что нельзя. А муки такие терпеть можно? Вариться живьем можно? – Скручивал сигарку, втихую прикуривал ее под одеялом и вставлял в чмокающую дыру среди бинтов.

Мумия пыхла, пуская клубы дыма.

– Опять в палате курение! Кто разрешил? – строго спрашивала сестра, появляясь в дверях с санитарями, которые толкали перед собой каталку.

Никто не отвечал на ее вопрос. Она подходила к кочегару, бралась за сигарку, но он, сцепив зубы, не выпускал.

– Ну поймите, нельзя курить в палате, – говорила сестра умоляющим голосом. – Отдайте.

Кочегар крепко держал зубами сигарку и густо дымил, стараясь побыстрее искурить ее.

И так повторялось каждый раз, прежде чем увозили его на перевязку.

Перевязочная была напротив через коридор, и Костя однажды видел в приоткрытую дверь все мучения кочегара во время перевязки. Кочегар затих на столе, а сестра разбинтовывала его, наматывая на руку серый окровавленный бинт. Намотав марлю на руку, она с силой, одним рывком, срывала прикипевший к телу бинт, рвала с кровью, с гноем, с мясом.

Кочегар кричал рыдающим голосом:

– Фашистка! Жалости у тебя нету!

– Кричи, миленький, кричи! Легче будет, – просила сестра и продолжала свою работу: вновь наматывала следующий бинт на руку и, стиснув зубы и зажмурившись, будто сама испытывала дикую боль, срывала присохшую марлю. Коричневые, пропитанные кровью бинты бросала в большой эмалированный таз.

– Изверги! Гестапо! Что ты делаешь, сука? Дай помереть! – кричал обезумевший от боли человек.

– Кричи, миленький, кричи! С криком боль уходит, – говорила сестра.

«Мне легче, мне легче!» – шептал Костя, забиваясь под одеяло, в свою вонь, в свои мокрые простыни, лишь бы не слышать нечеловеческой боли кочегара. «Что же они не пожалеют его? Разве так можно!»

После перевязки кочегару делали укол морфия, привозили в палату. Мычащая от боли мумия уходила в тяжелый сон, стонала, материлась, хрипела и страшно зияла черным провалом рта среди белоснежных свежих бинтов. Палата тоже облегченно затихала.

Лукич вздыхал:

– Это ж какие муки терпит человек!

– Исус терпел и нам велел, – не то в насмешку, не то всерьез говорил штрафник.

– Иди ты со своим Исусом! – взрывался Сычугин. – Исусу таких мук и не снилось.

– По мукам-то мы все – святые, – говорил Лукич.

– Святые! – зло усмехался штрафник. – Кто – святой, а я так – грешный, и вариться мне в котле со смолой на том свете.

– Тебе еще только вариться, а он уже сварился, – кивал на кочегара Лукич.

По ночам кочегар опять кричал, просил морфию, матерился, плакал. Забинтованная голова его, будто белый шар одуванчика на тонкой шее, бессильно перекатывалась по подушке.

– Ну пожалей, силов нету никаких. Помираю, – слезно молил он.

– Нет, миленький, нельзя. Еще хуже будет. Потерпи.

– «Потерпи», – хрипел кочегар. – Нету у меня силов терпеть. Нету-у!

– Кровопийка! – взрывался Сычугин. – Тебе бы так! Уколи ты его!

Но сестра была неумолима.

«Ну что она не уколет его? – думал Костя, страдая за кочегара. – Какое сердце надо иметь!»

А потом видел, как плакала сестра, тихо, чтобы никто не заметил. Вытирала слезы со щек и все гладила и гладила обваренную забинтованную руку кочегара и что-то говорила слабым голосом, будто напевала колыбельную.

Синий свет ночной лампочки, мертвенно-бледное лицо сестры, черные запавшие глазницы, скорбно поджатые губы – все казалось нереальным, каким-то кошмарным сном, и Костя хотел пробудиться, бежать куда-то подальше от всех этих мук и страданий и как молитву повторял: «Мне легче, мне все же легче!»

...Кончался уже март – вьюжный, холодный. И хотя на сопках лежали еще не тронутые солнцем снега и сосульки боялись спустить ноги с крыш, все же и здесь, на Крайнем Севере, дни стали светлее и дольше, и вот-вот очнется земля от студеной дремы, ударит оттепель, присядут, покроются ноздреватым настом сугробы и засинеют дали.

Лукич подсказал Косте соорудить из железной воронки и солдатской фляжки приспособление и подвесить себе на пояс. Кальсоны теперь были сухие. И Костя поверил, что вернется к нормальной жизни.

Он уже начал понемногу ходить. С костылями. И хотя волочил еще за собой непослушные ноги, но все же двигался и был рад этому несказанно. «Теперь – все, – ободрял его Лукич. – Молодость, она возьмет свое».

Костя любил, пристроившись на подоконнике, рассматривать разрушенный и сожженный Мурманск. За развалинами виднелся залив, порт, корабельные мачты.

Предчувствуя наступающее тепло, все повеселели, в палате начались весенние разговоры.

– Была у меня до войны сударушка, – сказал как-то Сычугин, припустившись рядом с Костей на подоконнике. – Настей звали. Мы с ней в одном бараке жили, на самой окраине города. Вхожу раз, а она полмоя. Подол подоткнула за пояс и двигается на меня задом. А ноги белые, толстые. Ну, братцы!.. – Сычугин глубоко, со стоном, вздохнул. – Помутилось у меня в глазах. Принимаю боевое решение: иду в атаку!..

Сапер замолчал. Палата ожидающе затихла.

– Ну? – не вытерпел кочегар. Ему стало легче, и он уже вникал в разговоры.

– Чего «ну»? – невинно спросил Сычугин, глядя в окно.

– В атаку же пошел, – напомнил штрафник.

– А-а... – вспоминаясь протянул сапер. – Отбила.

– Чего так? – усмехнулся штрафник.

– «Чего»? Я ж говорил: тряпка у нее в руках. Мокрая.

– Захлебнулась, значит, атака, – всхотнул штрафник.

– Тебя бы туда! Она – с центнер весу, а я вишь какой – один нос. Тут маневр нужен, тактика и стратегия. Отступил я по всем правилам военной науки на заранее подготовленные позиции.

– Ну и брехун ты! – встрял в разговор Лукич.

– Почему – брехун? – обиделся Сычугин. – Потом такую любовь закрутили – танками не растащишь. Смертная любовь произошла. Она меня на руках носила. Возьмет на руки, как дите, и несет по полю, а у меня дух захватывает.

– Чего захватывает-то? – ожидающе спросил кочегар.

– «Чего»! Несет-то не куда-нибудь, а к стожку. Я ж отблагодарить должен. А она раза в три больше меня. И силища, как у быка. Бывало, драка в бараке случится, за ей бегут: «Настя, разымай!» Она мужиков сгребет за шкурку, держит на весу и приговаривает: «Целуйтесь, а то память отшибу». Как щенят держит. А мужики-то не кто-нибудь, не шаль-валь, а подручные сталеваров. Туда народ ядреный подбирают. Там лопатой восемь часиков шуровать надо. В общем, проволынились мы с ней лето, от меня ни кожи, ни рожи не осталось. Миленький, говорит, люблю тебя до смерти, а сама белугой ревет. От счастья. Ты, говорит, мне свет в окошке. Ты ж, говорит, обабил меня, соколик ты мой ясный. Ко мне, говорит, мужики-то робели подступиться, а я любвеобильная. Как стиснет меня, аж кости трещат. Удушит, бывало, до смерти...

Палата весело хохотала, а Лукич ворчал:

– Ну, варнаки, жеребцы застоялые! Пора вас из госпиталя выписывать. Завтра скажу Руфе, пушай гонит вас. Как чирьи токо не вскочут на языке-то!

– Ты, Лукич, старый уже, зубы роняешь, – отбивался сапер. – А в нас еще кровь играет, не гляди, что мы ранетые. Весна вон на дворе. – И, посмотрев в окно, вдруг тоскливо вздохнул: – Эх, славяне! Когда же победа? А?

– Теперь уж чо, – отозвался Лукич. – К лету завершим. К пахоте, даст бог.

– Или к покосу, – вклинился в разговор Костя, вспомнив милую сердцу крестьянскую работу, напоенные солнцем июльские дни, степную даль и синие горы в жарком мареве на окоеме.

– К пахоте бы, – вздохнул Лукич. – К пахоте в самый раз. Солдаты бы домой подвалили. Руки нужны деревне.

Он покосил глазом на свои забинтованные укороченные руки.

– А ты-то как думаешь? – спросил Сычугин, поймав взгляд Лукича.

– А чо я! – спокойно отозвался Лукич. – Тоже не в поле обсевок. В колхозе бригадиры нужны. Полеводом буду. – Он вздохнул с сожалением: – Шоферить вот больше не смогу. Любил я это дело. Едешь, бывало,

по степи – простор! Ветерок в лицо бьет. От Бийска до Белокурихи или по Чуйскому тракту до самой Монголии. Душа не нарадуется на наши алтайские места. Красивше нету.

Костя сердцем рванулся за словами Лукича, вспомнил родное село, синь высокого неба, жаворонков над полем и запахнутый простор: куда ни кинь глаз – степь, травы, хлеба. И так захотелось домой, что слезы на глаза навернулись. Он уставился в окно, чтобы никто не заметил его минутной слабости.

– Ничо, – убеждал самого себя Лукич. – Буду теперь бабами командовать, свеклу садить, горох, огурцы, морковь...

– Да-а, – задумчиво протянул Сычугин. – Я тоже отсаперился. Тонкая работа теперь не по мне. Я теперь даже в карман не залезу. – Сычугин горько усмехнулся, взглянув на трясущиеся руки. – Там ювелирная работа нужна, чуткость пальцев. Не легче, чем мины разряжать. Все специальности порастерял...

Наступил час, и штрафник ушел из палаты на костылях, уехал к себе в Воронеж. На прощанье в дверях он поклонился всем и сказал:

– Не поминайте лихом.

– С богом, – откликнулся Лукич.

Увезли куда-то в глубь страны, в другой госпиталь кочегара. Ему предстояли пластические операции на лице, пересаживание кожи. Ему еще долго лежать по госпиталям.

Когда разбинтовали лицо, в палате ужаснулись. Оно было багрово-сизым, покрыто гнойными коростами. А там, где ссохшиеся струнья отвалились как еловая кора, обнажилась красная новорожденно-тонкая пленка и глянцево блестела. И над этим обваренным до мяса лицом по-детски наивно вились мягкие – желтое солнца – волосы. Уши были распухшими, обвисли красными лопухами и тоже в струпьях. Среди отталкивающе-багровой маски по-весеннему чисто голубели глаза в безресничных веках, и взгляд от этого был обнажен и странно-длинен.

Кочегар попросил зеркало и отшатнулся, увидев себя.

– Ничего, – успокаивал его Лукич, – бороду отрастишь, усы – прикроешь наготу.

- Если расти будут, – ответил кочегар.
- По голове глядя, чуб красивый был, – заметил Сычугин.
- Был... До войны все было, – кочегар заплакал.

Все замолчали...

В палату привезли новых раненых.

Из старых остался Сычугин, которого все еще били припадки, да Лукич – ему раздвоили обе культяпки, чтобы мог он хотя бы ложку держать.

Как-то в палату вошла сестра и сказала Косте:

– Там водолаза привезли. В седьмую. Может, твой знакомый? Колосков фамилия.

Медленно переставляя непослушные и тяжело отстающие от туловища ноги, Костя на костылях пошел в седьмую палату.

Колосков был тоже парализован. У него отнялась вся правая половина тела. Говорил он невнятно, тяжело ворочая непослушным языком. Колоскова тоже спешно подняли с глубины при бомбежке. Но в рекомпрессионную камеру на «Святогоре» попал осколок бомбы, и, пока Колоскова доставили на Дровяное (так же, как и Костю, с опозданием), кессонка сделала свое дело.

– Конец мне, – тихо сказал Колосков, когда Костя пришел навестить его.

– Брось, Колосок, не паникуй. – У Кости защемило сердце. – Видишь, я...

– Нет, – качнул на подушке головой Колосков и вдруг забеспокоился. – Ты знаешь... напиши письмо.

– Давай, – согласился Костя, обрадованный хоть чем-то помочь товарищу. – Домой?

– Нет. – Смущенная улыбка коснулась бледных губ Колоскова. – Девушке одной. В Москву. Мы с ней познакомились, когда я сюда из водолазной школы ехал, с Байкала. А она домой из эвакуации возвращалась. Ехали в одном вагоне целую неделю. Два года уже мне письма шлет. Пишет, что ждет меня.

Помолчал.

– Куда я ей такой. Верно? – спрашивающе смотрел он в глаза Кости. – Верно я говорю?

Костя не знал, что ответить.

– Ты напиши, что я погиб.

– Как погиб? – ошарашенно уставился на него Костя. – Ты что?

– Напиши. Зачем я ей такой? А она красивая...

Он задохнулся, что-то замычал, ворочая непослушным языком.

– Ты напиши, что я в бою погиб.

– Не буду писать, – отказался Костя.

– Ты пойми, – убеждал Колосков, глаза его горячечно заблестели. – Ей легче будет, что я погиб. Смертью храбрых.

Он перевел дыхание, снова невнятно забубнил:

– Напиши, бежал, мол, в атаку и упал. С пулеметом бежал. С ручным. Впереди всех. Чтоб красиво было, чтоб как в кино. Пускай она вспоминает мою геройскую смерть. Будь другом – напиши.

– Что ты себя хоронишь? Видишь вот, я... – пытался урезонить его Костя.

– Ты – одно, я – другое. Будь другом, прошу.

Костя написал.

Через неделю Колосков умер.

Костя был потрясен, мрачно лежал в палате, не разговаривал, не ходил. Его поразило предчувствие Колоскова. Думал он и о себе.

– Не боролся, – сказала Руфа. – А за жизнь надо бороться.

Она строго глядела на Костю в тот день, когда делала обход.

– Воля к жизни – главное в выздоровлении. Вот пример, – она кивнула на кровать, где когда-то лежал обваренный кочегар. – Будет жить.

Костя вспомнил, как кочегар хрипел: «Врешь, мне еще расквитаться надо. Врешь!»

– И ты молодец, – неожиданно похвалила она Костю. – Скоро выйдешь отсюда.

И Костя поверил. Раз Руфа сказала – значит, выйдет.

...В начале мая Костя выписался из госпиталя.

И когда вышел, у него закружилась голова от чистого, настоящего

за зиму на полярных снегах воздуха. Костю качнуло, он ухватился за косяк двери и долго стоял, ощущая звонкую легкость тела и болезненно-щемящий голод по чистому, не пахнущему гноем, кровью и хлоркой воздуху. Дышал и не мог надышаться. Дышал до боли в груди.

Костя неуверенно сделал шаг, другой – и пошел, боясь еще, что земля ускользнет из-под ног. Но чем дальше шел, тем увереннее и тверже ставил ногу, и птахой, выпущенной на свободу, ликовало сердце.

Костя оглянулся. В окнах белели лица раненых. Он различил знакомые – вон Лукич, вон Сычугин. Раненые что-то напутственно говорили, но за стеклами не было слышно, он различал только доброжелательные улыбки.

Костя поднял руку, и в ответ взметнулись десятки рук, и у него от любви и жалости к этим людям перехватило дыхание и навернулись слезы.

Полгода пролежал Костя в госпитале и теперь, покинув его, верил, что все муки позади. Прости-прощай, госпиталь! Прощай, душная палата, прощайте, тяжелые бессонные ночи, стоны, хрипы и боль человеческая!

Сквозь предпобудную дрему, что охватывала Костю каждый раз около шести часов утра – когда спишь и не спишь, то очнешься, то опять уйдешь в сон, когда ушки на макушке и ждешь команду «Подъем!» – он услышал поспешный топот сапог в коридоре барака, кто-то ворвался в комнату и заорал на высокой ноте:

– Победа! Кончай ночевать!

Костя не поверил, подумал: пригрезилось в дремоте.

– Победа, братва! Победа, кореша! – кричал Дергушин, и голос его срывался.

– Врешь! – хриплым со сна голосом сказал Вадим Лубенцов, и лицо его побледнело, но в голосе уже слышалось сомнение в своем озлоблении, было ясно, что он уже верит, только очень боится ошибки.

– Не вру, славяне! Не вру! Победа! – слезно смеялся Димка.

– Кто сказал? Кто? – допытывался мичман Кинякин.

Он уже вскочил с постели, в кальсонах, в тельняшке, растерянно хлопал белыми ресницами и топтался босыми ногами по холодному

полу. Сухоребрый, маленький, с прямыми тонкими плечами, среди рослых водолазов он казался мальчишкой. И только морщинистый лоб да короткие пшеничные усы выдавали, что он уже не первой молодости.

– По радио передали! – кричал ему, будто глухому, Димка. – Да вон, глядите!

Димка ткнул рукой раму, и в распахнутое окно ворвалась пальба: хлопали зенитки на бурых с заплатами нестаявшего снега сопках; возле главного пирса, на эсминцах, звонко били крупнокалиберные «эриконы»; тянулись в низкое, по-утреннему бледное небо разноцветные автоматные очереди.

Долгожданная радость опалила водолазов, выкинула из нагретых постелей. Не успев одеться, в тельняшках, в кальсонах толклись они между нарами, тискали друг дружку молодыми крепкими руками и целовались. Трещали кости, раздавались увесистые шлепки по спинам, кто-то весело с лихими коленцами матюкался в адрес Гитлера. Лубенцов морщился – ему ненароком задела недолеченную рану на спине.

– Ну дали звону! Ну дали! – смеялся Игорь Хохлов и тряс за плечи Костю. – Чего лежишь? Вставай! Обалдел?

Он стащил Костю с постели и так стиснул, что у Кости дух зашелся.

– Теперь мама придет, – шептал на ухо Игорь. – Теперь – все.

И колот рыжими усами, которые отпустил для солидности, пока Костя лежал в госпитале.

Костя знал, что у Игоря где-то в Сибири находится в эвакуации мать. И сам Игорь был призван на службу оттуда же, хотя родом он из здешних мест, из Мурманска. Теперь вот вернется домой и его мать.

А Димка Дергушин стоял и плакал.

Он пытался извинительно улыбаться, но слезы текли и текли. Шея его вытягивалась, большие, будто белые лопухи, торчащие уши резко выделялись на темном проеме открытой в коридор двери и казались еще больше, чем всегда.

В комнате постепенно затихало. Все знали – у Димки погибли два брата. Один на фронте, другой умер с голоду в блокадном Ленинграде, откуда самого Димку вывезли еле живым.

Помрачневшие водолазы молча смотрели на товарища. Лубенцов морщился, как от зубной боли. Не было среди них ни одного, у кого бы кто-нибудь не погиб на войне. У Кости тоже двое дядей легли, оба в сорок втором, и школьный друг в сорок четвертом.

Мичман Кинякин объявил:

– Форма одежды парадная! Начиститься, надраиться! Великий праздник наступил!

Голос его осекся. Он сжал челюсти, сурово свел белые брови и, справляясь с минутной слабостью, глядел в окно.

Водолазы, возбужденно переговариваясь, приводили в порядок редко надеваемую парадную форму: гладили черные брюки, суконные синие форменки, драили ботинки, прикрепляли к бескозыркам новенькие, из заглашника, ленточки с золотыми буквами «Северный флот». В обычные дни носили они кирзовые сапоги, толстые водолазные свитера, телогрейки, шапки, ватные штаны и больше смахивали на стройбатовцев, чем на матросов.

(«Награде не подлежит», 1981)

Сергей Баруздин

## ПРОЗА АНАТОЛИЯ СОБОЛЕВА\*

Это было в 1963 году. В кулуарах IV Всесоюзного совещания молодых писателей меня встретил Леонид Сергеевич Соболев и со свойственной ему улыбкой сказал: «А вы знаете, у меня появился серьезный конкурент в литературе. И тоже моряк. И тоже Соболев, только Анатолий».

Позже, кажется в том же году, мы с Леонидом Сергеевичем прочитали первую книгу Анатолия Соболева – «Безумству храбрых...». Леонид Сергеевич читал ее с особым, только маринистам присущим пристрастием. Помню его слова: «Настоящий моряк!» А меня привлекло

---

\*Печатается в сокращении.

в первой книге Анатолия Соболева другое: точность, жизненность наблюдений, искренность и правдивость и, пожалуй, удивительно цельные, сильные характеры водолазов-североморцев, населяющих книгу.

Я стал внимательно следить за работой прежде мне незнакомого человека и литератора, не пропуская, пожалуй, ни одной его новой книги. А книг этих было немало. В шестидесятые годы вышли «Грозовая степь» и повесть «Тихий пост» – одна, по-моему, из самых сильных у Анатолия Соболева. Потому закономерно, что она переиздается и по сей день. А позже были книги «Кешка и Василек», «Зимней ясной ночью», «Ночная радуга», «Бушлат на вырост», «Какая-то станция», «А потом был мир», «Три Ивана», многие сборники рассказов.

Писатель оставался верен своей теме. О войне ли, о мире он пишет, его герои – люди страстные, сложные, устремленные к правде и честности. Такова повесть «Штормовой пеленг» – самая свежая в творчестве Анатолия Соболева. Ее герои – моряки-спасатели наших дней. Острые коллизии в повести разворачиваются вокруг судеб двух капитанов – Чигринова и Щербаня, капитанов «Посейдона» и «Кайры». По вине Щербаня «Кайра» терпит бедствие. В трудную штормовую ночь капитан Чигринов со своим судном приходит на помощь «Кайре».

Второй, но не менее важный пласт повести – взаимоотношения капитана Чигринова и его сына, курсанта мореходки, Славки. Славка видит отца в благородном деле и сам проявляет, может быть, первую в жизни смелость. На Славкиных глазах гибнет водолаз Грибанов, фронтовой товарищ отца. Так тема долга и ответственности перед людьми, характерная для военных повестей Анатолия Соболева, продолжается и в этой, построенной на мирном материале повести. Повесть «Штормовой пеленг» написана скупой, мужественно и вместе с тем очень лирично. Прекрасны в ней картины меняющегося моря, но, пожалуй, еще прекрасней люди с их тонкими душевными порывами и волнениями, горячностью и деловой рассудительностью. Очень, по-моему, хорош в повести Славка – натура ищущая, сомневающаяся и одновременно незаурядная...

Валентин Курбатов

## ЖИВОЙ ПОТОК

Предваряя одну из своих книг пятилетней давности, А. Соболев писал: «Чем дольше работаю в литературе, тем больше убеждаюсь, что читатель только тогда поверит тебе, если ты не будешь «высасывать из пальца», если сам испытаешь и перечувствуешь все, о чем собираешься поведать ему. Это и заставило меня в 1972 году выйти на полгода в рейс матросом... Избороздив за шесть месяцев Атлантический океан, побывав за это время в различных ситуациях, собрал я большой материал, который сейчас использую в книге «Якорей не бросать». Но книга пишется трудно...»

1972-й... А теперь вот уже 1986-й. Полезно ли материалу такое медленное освоение? Не лучше ли ковать железо тотчас? Наверно, каждый раз по-разному. Опытный писатель с годами все отчетливее понимает, что торопить книгу нельзя, что коли она не пойдет, так, значит, у нее есть на это причины. Постепенно между книгой и автором устанавливаются необходимые отношения равноправия. Беспокойство оставляет художника. Он знает, что книга будет написана, что в свой час найдутся и слова, и герои и сюжет повернет куда надо, а пока можно писать другие книги. Они потом все равно выведут к этой и, как тени облаков на поле, будут отражаться в ней. Как в жизни мы припоминаем давние события, чтобы объяснить себе сегодняшний день и всю полноту смыслов нынешнего нашего состояния, так и в большой книге всплывают минувшие сюжеты и прежде казавшиеся самостоятельно законченными тематические узоры выстраиваются в общую цепь судьбы.

Вызывая свое водолазное прошлое и вспоминая отца, автор заставляет и читателя припомнить уже знакомые страницы его прозы, те дрожжи, на которых возшла основная сегодняшняя книга – «Якорей не бросать». Когда герой этой книги, alter ego автора, будет в сбивающемся сне поднимать утопленника, выполняя свое первое «боевое задание», и утопленник будет приникать к потрясенному водолазу,

мы вспомним, как вот так же бился под мертвым телом Костя Реутов из повести «Награде не подлежит». Когда «кессонка», страшная болезнь водолазов, будет крутить одного, то это будет эхом болезни другого. Книги перекликаются как страницы судьбы, поддерживают одна другую и сообща обдумывают неисчерпаемые в своей простоте дни обычной человеческой жизни.

Когда отец героя «Якорей...» убежит с алжирской каторги через пески, пересечет на греческом корабле Средиземное море и пешком вернется в Россию, чтобы здесь вместе с бесстрашными своими товарищами воевать на фронтах Гражданской войны и устанавливать новую власть, мы вспомним, как в повести Соболева «Грозовая степь» вот так же шел отец другого мальчика и жил такую же страстную и мужественную жизнь. Теперь, в «Якорях...», мы увидим только окончание отцовской жизни, разделенной с народом до последней трагической точки. Книги, основанные и на прямых событиях биографии автора, в отличие от реальности складываются не подряд, а когда какая глава вызреет в сердце до прозрения в ней общей народной правды.

Не для частных укоров обращается прозаик к драматической истории отца, не для сведения счетов с памятью и историей (история неуязвима, она – всегда прошлое, сколько бы мы ни говорили, что она делается сегодня. Сегодня ее можно только обдумать). Он писал отца в «Грозовой степи», чтобы мы увидели, из какой нравственно-мировоззренческой плоти, на каких заветах выросло поколение детей, выстоявших войну. И писал сыновей в «Пятьсот веселом», «Тихом посте», в «Награде не подлежит», чтобы теперь, когда душа начала успокаиваться и повлеклась к самодовольству, вернуть ей необходимые болевые ощущения, без которых наша литература не живет, додумать то, что по недостатку опыта или по недостатку мужества не додумал прежде. Надо было написать минувшее полно и жестко, с неуклончивой прямоотой, вспомнить всех, кто не дожил, и всех снова, без военной спешки, по-людски, похоронить, отпеть и оплакать, сказать им с клятвенной обязательностью, как говорит герой повести «Награде не подлежит»: «Я жив. Я помню вас, ребята, и всегда буду помнить, родные мои».

Соболев написал свои предыдущие книги в той традиции нашей литературы, в которой всегда было, по слову Твардовского, «не прожить без правды сущей, да была б она погуще, как бы ни была горька». Тут он шел бок о бок с товарищами по поколению В. Астафьевым, Е. Носовым, К. Воробьевым и старался делать свое дело в высокую меру правды, продиктованной все той же военной памятью, вполне понимая, что «сегодняшняя реальность – не только то, что происходит с нами сейчас, но и то, что было когда-то... Без прошлого мы не можем жить в настоящем».

Кроме правды, «другого ветра у истории нет и не будет, а все остальное – не ветра истории, это ветра конъюнктуры», – как писал когда-то Константин Симонов. Это верно не только для истории. Без правды конъюнктурны и ветра сегодняшней реальности и сегодняшней литературы. Это вот, удвоенное войной и традицией, чувство правды и побудило Соболева искать выхода к новому материалу, а за ним и к открытой форме, где традиционная проза могла соседствовать с путевыми заметками, публицистическими отступлениями и обширным цитатным материалом, позволяющим автору расширить круг своих обобщений и вывести их далеко за пределы одного своего рейса и одной области жизни.

Основная проблема начинает проклеиваться в книге сразу с началом рейса, когда траулер еще в порту загружается свежей рыбой с другого судна и везет ее в море, потому что на берегу ее негде хранить, чтобы сдать на рефрижератор, который во второй раз привезет ее домой, так что поймали простую, а продавать уже будут золотую рыбку, но продавать за медяки. Потом этих экономических, а с ними и нравственных парадоксов будет делаться все больше, и по мере прояснения общей истины суждения станут резче.

«С лица планеты навсегда исчезло немало видов животных... На суше человек уже натворил дел, теперь взялся за океан. А древние индусы говорили: «Этот поток – поток жизни и принадлежит всем». Поток жизни – вот что надо понять! И всем нам надо думать, как спасти его. А мы еще не отвыкли от мысли, что океан – бездонная бочка».

Убедительность и существенная дельность книги в том, что это не отвлеченные суждения – я только для удобства цитирования выхватываю их из текста, – а в книге мы видим все это в ежедневном обиходе: неразборчивость лова, случайность планирования, заражение океана отходами до такой насыщенности, что рыба становится источником раковых заболеваний и в ее поколениях уже полно генетического брака, уродств, искажений породы. Автор прибегает к цитированию авторитетных источников, специальных журналов, энциклопедических справочников, призывает имена исследователей Мирового океана Джона Куллини и дочери Томаса Манна Элизабет Манн-Боргезе, являющейся председателем Совета планирования международного океанического института на Мальте и написавшей тревожную книгу «Драма океана».

Эта драма тем более жестока и несправедлива, что если вспомнить «Курьер ЮНЕСКО», посвященный исследованиям моря, то мы прочитаем там, что еще в 1959 году ученые знали о Луне больше, чем, например, об Индийском океане. От этого незнания происходят оплошности вроде той, которая произошла с промыслом нототении. Мы не привыкли к ней, потому что ее выловили прежде, чем успели изучить длительность биологического цикла, а он оказался дольше, чем у других рыб, и порода может быть невосстановима.

Это незнание не только неэкономично. Оно и нравственно неблагоприятно. Знаток океанов Жорж Блон справедливо назвал одну из глав своей книги об Атлантическом океане «Атлантика дала Европе все» и последовательно доказал это, а Европа могла отблагодарить «свой» океан только библиотекой книг о необходимости его спасения.

Нападающая сторона особенно не выбирает аргументации – ей хватает того, что наработано столетиями. В книге Соболева есть примечательный разговор капитана траулера с автором. «Завелись» ни с чего, но повернули всё туда же: автор искал разумного подхода, капитан крыл практикой: «Сам видишь, какая наша работа – недаром хлеб едим. И у всех семьи, каждый – кормилец. И жить на что-то надо. А ты с высокими материями, с философией». – «Какая философия!.. При

чем тут философия! Океан гибнет... и много ума не надо, чтобы понять это. Сам знаешь – вычерпали». – «А что ты мне предлагаешь? Бросить рыбалку? Взять курс домой? Кто мне это разрешит. Я сюда пришел рыбу ловить...»

Ну, капитана тут винить действительно не в чем – автор с досады схватился с первым, кто под рукой. Дело капитана – план выполнять. А вот тем, кто эти планы формирует, прислушаться в этом споре и во всей этой книге есть к чему. В книге мелькает Некто в сером из высокого кабинета. Этот Некто в ответ на вопрос автора о том, что будет с китами, поголовье которых катастрофически уменьшается и все настойчивее встает вопрос о приостановлении промысла, не задержался с ответом: «Будем бить». И сказано это было так, что стало ясно – он перебьет всех китов и глазом не моргнет. Потому что нет еще статьи в «Правде». Такая статья была о селедке, и Некто в сером «полностью разделил мнение автора статьи», а вот о китах не было. Будет – и он с ней целиком согласится. Вот в чем боль книги и глубоко важная проблема, о которой уже не может молчать художник – где начало этой цепи, конец которой становится концом океана? Дело тут не в одном этом Некто, а в ошибочности самой этики одного дня и сиюминутных интересов.

Как скоординировать рациональность и справедливость, которые стоят рядом, но на первый взгляд с повернутыми в разные стороны лицами? Рациональное ищет сегодняшней выгоды, а справедливость зовет помнить о детях и внуках, которые могут оказаться перед неразрешимыми экономическими проблемами. Борьба этих начал ежедневна и наглядна. Надо сохранить Байкал, а как тогда с планом по целлюлозе; надо сберечь Ясную Поляну, но как сократить хоть на день поставку удобрений, вырабатываемых соседним с Ясной Поляной объединением «Азот»; надо регламентировать лов, а кто будет увеличивать рыбопоставки? Справедливость оказывается «неэкономична». Она неопределима цифрами, и всегда кажется, что важнее именно сегодняшние экономические задачи, а нравственные заботы – это потом.

Соболев всей этой книгой стремится доказать, что в жизни нет понятий «ближе» и «дальше», что вся она – единое тело, «общий по-

ток». Для этого он пишет свободную стремительную жизнь луфаря от беспечной игры на родном рифе до страшной гибели в трале во время нереста, жизнь той самой богатой рыбы, на которой рыбаки собираются «заколотить деньги». Традиция взглянуть на мир и человеческие отношения глазами животных в нашей литературе довольно богата – от толстовского «Холстомера» до казаковского «Арктура». Были и птицы от детской Серой Шейки до возвышенных птиц А. Битова («Мы живем на дне воздушного океана. Среди домов и деревьев, как меж ракушек и водорослей... Птицы – рыбы нашего океана»). А вот рыбы, кажется, еще не было (хоть они существенно правили сознание хемингуэевского старика и астафьевского Игнатъича). Мы напрочь забыли свою прародину и свидетелей нашего отделения от земноводной пуповины. Только иногда в больших аквариумах или спускаясь на дно с аквалангами, с тревогой и странным волнением следим за тяжелым и вместе невесомым и сильным скольжением больших рыб и с робостью встречаемся с их взглядом.

Водолазы, вероятно, знают эту жизнь лучше, и можно наверное сказать, что замысел этой книги, основное направление ее мысли явились даже не в 1972 году, а много-много раньше – может быть, в последний год войны, когда автор юношей поднимал в Кольском заливе корабли, чинил подводные части пирсов и выполнял бездну другой тяжелой необходимой работы, которую так подробно и с таким настоящим знанием дела написал в повести «Награде не подлежит». Вот там-то и произошла эта первая и потом уже неизбежная сознанием встреча с прежде неведомой жизнью, о которой Соболев рассказал сейчас в главе «Парамон». Там-то и проблеснула догадка о единстве «потока жизни», да только молодое сознание не было готово закрепить и додумать еще слишком неожиданную мысль.

Глава эта рассказывает о том, как водолазы «приручили» оберегающую икру рыбу, весело назвали ее Парамоном, подкармливали, а потом надо было взорвать мешающую работе скалу, ее взорвали и, спустившись, увидели, что Парамон переворачивается вверх брюхом. «Я осторожно подвел под него руку. Парамон не двинулся... Я сжал

его в рукавице, чтобы он вновь не перевернулся... Странное чувство охватило меня – чувство счастья и жалости, родства и любви к этой незащищено и доверчиво лежащей на ладони рыбе. Я вдруг осознал и, осознав, испугался, что в руке у меня находится жизнь, властелином которой теперь был я. И я затаил дыхание, боясь нечаянно повредить или уничтожить эту драгоценную и такую хрупкую, неустойчивую каплю жизни... И опять я увидел его глаза, мы заглянули на миг друг другу в зрачки. На меня глядело что-то древнее, таинственное, из глубины природы, куда нам не дано проникнуть. И этот взгляд ничего не прощал».

Молодой водолаз, мучаясь потом кессонной болезнью, вспомнит Парамона и подумает о возмездии. На иронический рассудительный взгляд это может показаться ребячеством, но с точки зрения художника и высокой подлинной правды, которая умнее нашего высокомерного самодовольного рассудка, может быть, это действительно так? – ведь океан еще неведомее Луны.

Это понимание единства живого и разделяет спорящие стороны и служит пограничным камнем между экономикой, утверждающей первенство развивающегося человечества с его потребностями, растущими быстрее возможностей удовлетворения, и молодой идеей сохранения окружающей среды, которая призывает поступиться эгоистическими требованиями потребительства для утверждения непрерывности «потока жизни». Книга Соболева, примыкая к твердому строю мировой художественной, научной и публицистической литературы, посвященной этой первостепенной проблеме, самой своей энергией, живой болью и страстной настойчивостью в призывании единства и взаимопонимания как будто равно прогрессивных, но несогласимых сторон, сулит надежду, что такое взаимопонимание будет достигнуто и появятся необходимые условия для создания «общественного стыда и общественного понимания», которые В. И. Вернадский называл первыми принципами целесообразно развитого и всесторонне здорового общества.

Писатель на наших глазах терпеливо и осторожно нащупывает соединительные нити тонкого организма жизни, доверчиво обнажа-

ет процесс своей работы, предлагая нам вместо пассивного чтения совместное размышление. Книга потому и рождалась так долго, что материал слишком близкий, исповедный, где одного опыта было мало. Так вместо отвлеченного романа, «еще одной книги о море» явились «записки рулевого», позволяющие пустить материал на волю, не тесня его сюжетом, и самому входить в книгу для живой беседы.

Прежде Соболев писал ясно построенные, хорошо пригнанные сюжетно книги и сейчас перед новой формой чувствует и радость, и неловкость, как будто даже запретность этой откровенной свободы, но уже не может отказаться от нее, потому что ее начинает требовать сам материал. Поэтому является в книгу беспокойный, ядовито-настойчивый дед автора – самая дальняя родная, консервативно-традиционная ветвь, без которой дерево жизни не крепко. Только в конце долго будет звенеть горькая нота и темнеть воспоминание – могила деда будет погребена под новым сквером. Поэтому явится и отец и тоже оставит занозу вопроса – почему и его могилы нет на земле. В главе «Тезка» придет и вовсе странный герой – сверстник автора, завернутый судьбой в противоположную от войны сторону, и надо было ему, как отцу и деду, найти место в своей и народной судьбе. Явится в книге и вся родимая земля – та детская, до смерти первая в сердце, где бы ты потом ни жил, ибо Соболев, как писал о нем его товарищ В. П. Астафьев, «болен неизлечимой и пока еще плохо объясненной болезнью – тоской по родине... В ином краю сибиряки приживаются плохо», потому что без земли, без рода мы только носимая ветром пыль, а не бесконечная жизнь.

Придут следом капитан, штурман, матросы – все со своей правдой, но и все с какой-то центростремительной нитью, соединяющей их в организм. И в организм этот равноправно войдут не только товарищи по рейсу или те же отец, дед, тезка, но и летящий в океане луфарь, прирученный и убитый Парамон и сам этот властно притягательный океан. Робость писателя понятна – надо было вместе с резкими, изнуряющими сердце спорами написать как бы и разрешение их, самую интонацией и сближением дальнего доказать воссоединенность всего со всем, воссоздать «поток жизни» с такою убедительной полнотой,

чтобы он лучше умозрительных аргументов сказал о Единстве мира, чтобы вопрос книги был и обещанием ответа, прообразом желанного экологического равновесия во всей его уязвимой тонкости и одновременно нестигаемой прочности.

Самая же дорогая, здоровая и перспективная мысль, которую обдумал и подтвердил своей мужественной книгой автор и которую неизбежно и необходимо придется обдумывать и принимать каждому по-настоящему заботящемуся о будущем обществе, – что целостность биосферы находится в непосредственной зависимости от целостности общественной правды. Сказать короче: сохранение среды есть сохранение правды. Каждый человек, каждый художник рано или поздно сознает это и, оборачиваясь, видит, что вся жизнь, все творчество были как бы постепенным прозрением, проступанием в сознании этой простой, многообъемлющей мысли о единстве живого. И тогда обнаруживается, что и все книги, писавшиеся порознь и представлявшиеся суверенными, теперь связываются в звенья единой цепи и перекликаются от первой к последней, все яснее выговаривая связь всего земного организма.

Соединив под этим переплетом свои главные книги последних лет, Соболев собирает в их фокусе и основные мысли, формировавшиеся на протяжении предшествовавших лет. В обобщенном виде они, очевидно, будут сводиться к тому, что поколения, вышедшие из войны живыми, принимают на себя главную ответственность за сегодняшнее состояние мира во всех смыслах этого значительного слова и перед памятью погибших, и перед будущим, потому что оно – это поколение – главная опора того моста, по которому человечество переходит в завтрашний день. И если мы взглянем на книгу с этой колокольни, то легко поймем и ее итоговую интонацию, и тревогу, и настойчивость, с которой автор выходит вперед для прямого разговора.

Мы давно зовем наш мир «домом», но все никак не привыкнем к мысли, что это не художественная метафора, а простое человеческое определение. С этой книгой наш дом станет теснее и наша забота о нем бережнее.

Татьяна Киреева

## БИОГРАФИЯ АНАТОЛИЯ СОБОЛЕВА

Анатолий Пантелеевич Соболев родился 6 мая 1926 года в селе Кытманово Алтайского края. Он был единственным ребенком в семье. Мама – Елизавета Карповна Пучкова – родом из Москвы. Отец писателя Пантелей Петрович Соболев – человек яркой судьбы. Родился на Алтае. Сражался против немцев в составе экспедиционного корпуса русской армии во Франции в 1917 году, затем был на каторге в Алжире, оттуда бежал. Добравшись до Греции, одиннадцать месяцев пешком шел до России. Очувтившись на родине, в 1919 году был мобилизован в армию Колчака. За агитацию был арестован и приговорен колчаковцами к расстрелу, но снова бежал. Заканчивает Гражданскую войну командиром роты конной разведки Красной армии. Занимает партийные и государственные должности на Алтае: село Кытманово (райисполком), районное село Смоленское (председатель Смоленского райисполкома, с 1932 года первый секретарь райкома партии), Новосибирск (завсектором Запсибкрайздрава), село Болотное (и. о. председателя райисполкома, директор школы). Был хорошо знаком с Робертом Эйхе, первым секретарем крайкома, тот помог ему избежать репрессий.

В июне 1939 года Пантелей Соболев увольняется с должности директора школы, с записью в трудовой книжке – «вследствие переброски на работу в г. Сталинск» на основании распоряжения Новосибирского обкома ВКП(б). Соболевы переезжают в Сталинск (Новокузнецк), живут в бараке. Пантелей Петрович устраивается в сентябре 1939 года экспедитором в цех ширпотреба Кузнецкого металлургического комбината. Потом работал в разных местах, ушел на пенсию с должности начальника отдела заготовок молочного комбината. Жили Соболевы в своем доме в районе Сад-города на улице Верхне-Восточной, 1. Умер Пантелей Соболев в декабре 1957 года. Похоронен в Новокузнецке. Мама писателя пережила мужа на 33 года и умерла в 1990 году в Сочи, куда переехала после смерти сына.

Отец не дожил до того времени, когда Анатолий Соболев стал признанным писателем, не увидел его книг. Хотя самые первые небольшие рассказы Анатолий Пантелеевич начинал писать при его жизни. Тогда отец подарил ему большую амбарную книгу и сказал: «Пиши, может, и правда что-то получится». Отцу посвящена повесть «Грозовая степь», ее эпиграф: «Памяти отца-большевика». Многие страницы повести воссоздают образ Роберта Эйхе.

Анатолий Пантелеевич Соболев детство провел в селе Смоленском, которое считал своей родиной. В Смоленском пошел в первый класс и свою первую учительницу Калерию Анатольевну Шебалину помнил всю жизнь, посылал ей свои произведения, вел переписку, навещал ее, когда приезжал в село. Шестой класс Анатолий Соболев окончил в Болотном. В школе Сталинска будущий писатель кроме литературы увлекался авиацией, рисованием. Он вспоминал: «Война сломала все мои планы. И сожаление, что не пришлось стать художником, осталось до сих пор. И свет посмотрел, и во многих странах побывал, и по морям-океанам поплавал, даже на сказочных Канарских островах бывал <...>, но все равно, когда попадаю в галерею или на выставку, щемит сердце по несбывшейся мечте стать художником» (Литературный Кузбасс. 1990. № 1. С. 123–124).

Семнадцатилетним, из девятого класса, в 1943 году Анатолий Соболев подал заявление в военкомат и был мобилизован в армию. Направлен в школу военных водолазов на Байкале, по окончании которой начал служить матросом-водолазом на Северном флоте в Заполярье, где проходила линия фронта, а закончил служить в 1950 году на Балтийском флоте, в Германии. Семь лет поднимал торпедированные корабли, орудия, баржи с минами и снарядами.

После демобилизации в 1950 году поступил в СМИ (Сибирский металлургический институт, ныне Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк), который окончил в 1956 году. Затем работал на металлургических заводах Челябинска и Новокузнецка инженером-механиком в мартеновских цехах. Потом Анатолий Соболев вернулся по состоянию здоровья в СМИ – получил приглаше-

ние на работу преподавателем на кафедре механического оборудования металлургических заводов. Работал с 1958 по 1965 год, читал курс «Подъемно-транспортные машины».

В институте он начал писательскую деятельность. Ночами вместо диссертации писал повесть, посвященную водолазам. Эта повесть, опубликованная под псевдонимом А. Сибиряк и под названием «Чайки над морем», была напечатана в газете «Кузбасс» в 1961 году. Под вторым названием – «Безумству храбрых...» повесть была издана в Кемеровском книжном издательстве в 1963 году и стала первой книгой Анатолия Соболева. Из литературного автопортрета: «Прологом к книге о водолазах можно считать пережитый страх и чувство безысходности, когда при подъеме судна, промывая туннель под его днищем для крепления понтонов, оказался я заживо погребенным в морской пучине. Шанс остаться в живых был ничтожно мал, но судьба подарила его мне. За долгие годы водолазных работ (под водой я провел около 3000 часов) повидать и пережить довелось с лихвой, и не рассказать о безвестных парнях, о чернорабочих моря было нельзя» (Литературный Кузбасс. 1990. № 1. С. 122).

Повесть «Грозовая степь», написанная по воспоминаниям о детстве, о селе Смоленском, была отмечена второй премией на Всесоюзном конкурсе на лучшую книгу для детей и юношества в 1963 году. Главы из повести были опубликованы в новокузнецкой газете «Кузнецкий рабочий» в 1964 году.

В 1963-м Анатолий Соболев стал участником IV Всесоюзного семинара молодых писателей в Москве. В 1964 году был принят в члены Союза писателей СССР от Кемеровской областной писательской организации, руководителем которой был Е. С. Буравлев. В 1965–1967 годах Соболев учился на Высших литературных курсах в Москве при Союзе писателей, после окончания работал старшим редактором Пермского книжного издательства. С 1968 года на профессиональной писательской работе. Соболев признавался, что «во время работы в литературе испытал влияние разных писателей, но наиболее сильное и устойчивое до сих пор это влияние Михаила Шолохова и Ивана Бу-

нина. Из современников, из писателей военного поколения, огромное значение имеет для меня творчество Виктора Астафьева, Василя Быкова и Евгения Носова» (Литературный Кузбасс. 1990. № 1. С. 124).

В 1963 году выходит его первая повесть «Безумству храбрых...». Затем последовали: «Грозовая степь» (1964), «Бушлат на вырост» (1968), «Ночная радуга» (1968), «Тихий пост» (1969), «Какая-то станция» (1972), «Награде не подлежит» (1981), «Курсом норд-вест» (1981) и другие.

Анатолий Соболев в своих произведениях рассказывает о своих ровесниках, прошедших войну и выстоявших. «Мне хочется показать, как в тяжелых условиях войны формировались и закалялись характеры молодых людей» (Кузнецкий рабочий. 1965. 14 февраля). Писатель в военных повестях создал характер советского молодого человека, со школьной скамьи ушедшего на фронт, рассказал о превращении его в мужественного защитника Родины. «Не былинные витязи, не легендарные герои, не супермены, говоря нынешним модным нерусским словом, а ясноглазые да застенчивые парни из городов и деревень России, еще безусые, нецелованные, в свой смертный час не дрогнувшие, всё идут и идут ко мне из туманной дали грозových лет» (Литературная Россия. 1984. 14 сентября). Писатель говорил, что «основной герой у меня всегда человек, корни которого уходят на Алтай. Все главные герои – моряки. Допустим, служат они в Заполярье, воюют там, а памятью возвращаются в свои родные места...» (Кузнецкий рабочий. 1988. 7 мая).

Повести «Ночная радуга» и «Тихий пост» были удостоены первой премии и второй премии конкурса книг на военно-патриотическую тему, который был объявлен ЦК комсомола, Союзом писателей СССР и ЦК ДОСААФ (1967). Повесть «Какая-то станция» удостоена диплома им. А. Фадеева на конкурсе книг на патриотическую тему (1971). Анатолий Соболев руководил секцией «Детская литература» на Зональном семинаре молодых писателей Западной Сибири и Урала в г. Кемерово (1966). В 1968 году за создание литературных произведений для молодежи награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. По

мотивам повести «Грозная степь» в 1966 году в Московском центральном детском театре состоялась премьера спектакля «Сыновья идут рядом». Позже спектакль был поставлен и другими театрами.

Имя Анатолия Соболева получает широкую известность. В 1960–1970-х годах по произведениям А. П. Соболева сняты фильмы и поставлены спектакли: «Избрание апостолов», по рассказу «След стакана» (1964; Новосибирская телестудия); «Грозная степь», фильм-спектакль (1967; Ленинградская студия телевидения, режиссер В. С. Горлов); «Про Ромку и его друзей», фильм-спектакль (1971; Центральное телевидение, режиссеры А. Моисеев, А. Зеленев; «Письмо из юности», по повести «Какая-то станция» (1973; Киностудия им. М. Горького, режиссер Ю. Григорьев); «Посейдон» спешит на помощь» (1977; Киностудия им. М. Горького, режиссер С. Косовалич, сценарист А. Соболев), по этому фильму была написана повесть «Штормовой пеленг».

В 1968 году Анатолий Соболев переехал в Калининград, где прожил последние годы жизни. Для написания книги «Якорей не бросать» Соболев в 1972 году, в солидном возрасте, нанялся на судно простым матросом, рулевым, и ушел на полгода в Атлантику. Он жил и трудился с рыбаками, и никто, кроме капитана, не знал, что он писатель, что здесь он собирает материал для работы. Избороздил за шесть месяцев Атлантический океан, побывал в различных ситуациях, собрал огромный фактографический материал. Роман вышел в 1986 году, когда автора уже не было в живых. Последняя книга писателя «Искушение вины», о Великой Отечественной войне, вышла в 2005 году благодаря стараниям его жены писательницы Галины Васюковой.

Произведения Анатолия Соболева свыше 50 раз издавались в нашей стране и за рубежом: в Германии, Польше, Чехословакии, Югославии. Книги переведены на польский, немецкий, сербский, лужицкий, албанский, македонский, болгарский, латышский, украинский, киргизский, армянский, алтайский, чувашский языки.

Анатолий Пантелеевич Соболев награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За

оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Умер 28 июня 1986 года в Москве, где участвовал в работе VIII съезда писателей СССР. Захоронение состоялось в селе Смоленском (Алтайский край) во время Шукшинских чтений 26 июля на Аллее Славы. Об Анатолии Соболеве изданы сборники воспоминаний: его жены Галины Васюковой-Соболевой «Гори, гори, моя звезда» (Минск, 2001), «Память людская – тоже жизнь» (составитель Виктор Ащеулов, Белокуриха, 2011).

Память писателя Анатолия Пантелеевича Соболева увековечена на Алтае и в Калининграде. Его именем названы улицы в селе Смоленском и в Белокурихе. В Смоленском, в доме, где прошло детство Соболева, с 1989 г. работает Смоленский историко-мемориальный музей А. П. Соболева (ул. Соболева, 4). На здании открыта мемориальная доска. В селе Кытманово открылся музей, посвященный жизни и творчеству писателя. С 2001 года в селе Смоленском проходят Соболевские чтения, имеющие краевой статус. Первые прошли в 1987 году. Инициаторы проведения чтений – Алтайская краевая писательская организация, администрация Смоленского района. Местным литературным объединением «Родники» каждый год к Соболевским чтениям выпускается альманах под тем же названием. В каждом томе есть или отрывки из произведений А. П. Соболева, или воспоминания и стихи, посвященные ему. В 2001 году на Аллее Славы (с. Смоленское) открыт памятник А. П. Соболеву работы новосибирского скульптора В. П. Грачева. В 2003 году районной библиотеке (с. Смоленское) присвоено имя А. П. Соболева. В 2004 году учреждена администрацией Смоленского района Соболевская премия, которую вручают ежегодно на Соболевских чтениях. Шестого мая 2016 года в детской библиотеке им. А. П. Соболева Калининградской централизованной библиотечной системы открыт музей «Якорей не бросать» с интерактивными зонами, посвященными памяти участников Великой Отечественной войны и А. П. Соболеву.

## Книги Анатолия Пантелеевича Соболева:

- Безумству храбрых...* : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1963. – 138 с. : ил.
- Безумству храбрых...* : повесть. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1964. – 130 с.
- Встречи на дорогах* : рассказы. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1964. – 60, [2] с. : портр. – (Кузбасс литературный).
- Грозовая степь* : повесть. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1964. – 84 с. : ил.
- Грозовая степь* : повесть. – Москва : Детская литература, 1964. – 110 с. : ил.
- Безумству храбрых...* : повесть и рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 251, [4] с. : ил., портр.
- Безумству храбрых...* : повесть. – Киев : Молодь, 1965. – 175 с. – Укр. яз.
- Грозовая степь* : повесть. – Москва : Детская литература, 1966. – 112 с. : ил.
- Грозовая степь* : повесть. – Рига : Лиесма, 1967. – 112 с. : ил. – Латыш. яз.
- Безумству храбрых...* : повести. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1968. – 292 с. : ил.
- Бушлат на вырост* : роман. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 223 с.
- Олуја степа = Грозовая степь* : повесть. – Крушевац : Багдала, 1968. – 175 с. : ил. – (Мала б-ка). – На серб. яз.
- Ночная радуга* : повесть. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 78 с. : ил.
- Ночная радуга* : повесть. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1968. – 292 с.
- Бушлат на вырост* : роман / вступ. ст. Л. Глебовой. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1969. – 207 с. : ил.
- Тихий пост. Ночная радуга* : повести. – Москва : ДОСААФ, 1969. – 110 с. : ил.
- Тополиный снег* : повести и рассказы. – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1970. – 254 с. : ил.
- Кешка и Василек* : повести. – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1971. – 239 с. : ил.
- Бушлат на вырост* : роман. – Киев : Молодь, 1971. – 226 с. : ил. – Укр. яз.
- Грозовая степь* : повесть. – Домовина, 1971. – 132 с. : ил. – Серб. яз.
- Грозовая степь* : повесть / ил. У. Маутхеуер. – Баутцен, 1971. – 133 с. : ил. – Нем. яз.
- Безумству храбрых...* : повести. – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1972. – 286 с. : ил. – (Морской роман).

*Берег студеных туманов : повести.* – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 254, [2] с. : ил.

*Бушлат на вырост : повести.* – Москва : Современник, 1972. – 429, [2] с. : ил.

*Бушлат на вырост : роман.* – Варшава : Изд-во Министерства обороны, 1972. – 324 с. – Пол. яз.

*Грозовая степь : повесть.* – Москва : Детская литература, 1972. – 111 с. : ил.

*Март, последняя лыжня : рассказы.* – Москва : Детская литература, 1973. – 128 с. : ил.

*Морская душа : повести и рассказы.* – Мурманск : Мурманское кн. изд-во, 1974. – 302 с.

*А потом был мир : повести и рассказы.* – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1975. – 336 с.

*Безумству храбрых... : повесть.* – Москва : Детская литература, 1975. – 142 с. : ил.

*Тихий пост : повесть.* – Краков : Литературное изд-во, 1975. – 91 с. – Пол. яз.

*Грозовая степь : повесть.* – Киев : Веселки, 1976. – 239 с. – Укр. яз.

*Зимней ясной ночью : повесть, рассказы для сред. шк. возраста / предисл. Е. Носова.* – Москва : Детская литература, 1976. – 302 с. : ил., портр.

*Тихий пост : повести / вступ. ст. И. Козлова.* – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1976. – 272 с. : 1 л. портр. – (Подвиг).

*Тихий пост : повесть.* – Краков : Литературное изд-во, 1976. – 91 с. – Пол. яз.

*Тихий пост : повесть.* – Берлин : Воениздат, 1977. – 67 с. – Нем. яз.

*Какая-то станция : повести / предисл. В. Быкова.* – Москва : Современник, 1978. – 493, [2] с.

*Тихий пост : повесть.* – Фрунзе : Мектеп, 1978. – 56 с. – Киргиз. яз.

*Тихий пост : повести.* – София : Воениздат, 1978. – 165 с. – Болг. яз.

*Кукуртту чол = Грозовая степь : повесть / пер. с рус. Н. Кучияк.* – Горно-Алтайск : Горно-Алтайское отделение Алтайского книжного издательства, 1979. – 67 с. – На алт. яз.

*Штормовой пеленг : повести / предисл. С. Баруздина.* – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 334, [2] с.

*Курсом норд-вест : повесть и рассказы.* – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1981. – 357 с. : портр.

*Награде не подлежит : повести / вступ. ст. Б. Леонова.* – Москва : Современник, 1981. – 448 с. : ил. – (Новинки «Современника»).

*Ночная радуга : повести.* – Москва : Воениздат, 1982. – 240 с. : ил.

*Звенит в ночи луна : повести и рассказы / предисл. В. Астафьева.* – Москва : Детская литература, 1982. – 335 с. : ил.

*Ночная радуга : повести.* – Москва : Воениздат, 1982. – 240 с.

*Пролог после боя : рассказы и повести.* – Москва : Советская Россия, 1983. – 316 с. : [1] л. портр., ил.

*Кешка и Василек : повести.* – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1983. – 288 с. : ил.

*Воробей – птица морская : повести.* – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1985. – 191 с.

*Морская душа : рассказы.* – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1985. – 40 с. – (Мужество).

*Избранные произведения : в 2 т. Т. 1 / предисл. И. Дедкова.* – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 415 с. : портр.

*Избранные произведения : в 2 т. Т. 2.* – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 445, [2] с. : ил.

*Ван Гог из шестого класса : повесть и рассказы : для сред. возраста / предисл. В. Астафьева.* – Москва : Детская литература, 1986. – 269, [3] с.

*Якорей не бросать : повести, роман / вступ. ст. В. Курбатова.* – Москва : Современник, 1986. – 590, [2] с. – (Новинки «Современника»).

*Якорей не бросать : записки рулевого : роман.* – Москва : Известия, 1990. – 361, [1] с. : ил. – (Библиотека советской прозы).

*Грозовая степь : повести.* – Барнаул : Алтайское кн. изд-во, 1990. – 460, [2] с. : ил.

*Пролог после боя : повести.* – Москва : Советский писатель, 1991. – 560 с.

*Якорей не бросать : записки рулевого : роман / послесл. О. Павловского.* – Калининград : Янтарный сказ, 1996. – 384 с.: [1] л. портр.

Степан Семенович Торбоков

*21 декабря 1900 г., улус Тагдагал (ныне г. Осинники) –  
10 июля 1980 г., Осинники.*

*Поэт, фольклорист, кайчи-сказитель.*

## ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

Заходящее солнце золотило верхушки берез. На востоке громоздились облака, напоминая горы Кузнецкого Алатау. Братья Мигашевы, Касинкен и Ипанакан, сидели рядом на скамейке под окошком и беседовали.

– На какой шут завели мы эту сенокосилку, – говорил Касинкен. – Сегодня снова поломалась, а угля в кузнице нет. Как сваривать дергач? Придется опять в Абашево ехать.

– Кто виноват, братишка, сам настаивал купить. Вот и мучайся.

– Машина – хорошая вещь, но управу над ней надо иметь. За день три десятины скосить можно, а то и больше.

– Так-то оно так, но надо знать, как ладить с ней.

– Ничего, помучимся – научимся.

Ипанакан помолчал и спросил:

– А ты видел в Шоолоке черную сажу? Может, там уголь?

– Да, я давно замечал: весной вода выносит очень много этой сажи и даже черные камешки.

– Тогда пойдем завтра, попробуем, может, найдем что.

Утром братья взяли лопату и пошли к Шоолоку, разыскали место выноса породы и начали копать. Под вечер, нагрузившись драгоценными камешками, братья вернулись домой. А на следующий день Касинкен навьючил уголь на верхового коня и, захватив на всякий случай поломанный дергач, поехал в Шурак к кузнецу Недорезову. Попросил помочь беде.

– Это дело нехитрое, – ответил кузнец, – да только-то уголька нет.

– А я со своим углем приехал!

– Из Абашева привез?

– Нет, зачем, свой – осинниковский!

– Ты что, очумел, парень? Откуда здесь углю взяться?

– Не веришь – на, попробуй. Настоящий уголь, не хуже абашевского.

Кузнец, выпучив глаза, смотрел на черный кусочек угля, который достал из мешка Касинкен. Поняв наконец, что приехавший не шутит, Недорезов взял у него мешок и насыпал угля в горн.

Когда дергач был сварен, кузнец спросил Касинкена, где он взял уголь. И Касинкен рассказал ему.

Весть о добыче братьев мигом облетела улус. Все удивились. А братьям находка не давала покоя. Однажды Касинкен сказал:

– Я думаю, брат, в этих горах что-то есть, надо к кому-нибудь обратиться за советом. Но к кому?

– Эглету надо сказать: человек он мудрый...

– Вот в пятницу поедем за мукой в Кузнецк на базар и завернем к нему.

День выдался ясный, солнечный. Вдалеке на востоке виднелись горы, а по долине, где синим шелком текла Томь, были рассыпаны шорские улусы.

В улусе Абинца (ныне Абагур) переправились на пароме через Томь, купили на базаре четыре пуда муки и поехали к Эглету.

Эглет, как и всегда, встретил братьев весьма радушно. Стал спрашивать о житье-бытье.

– Вот что, друг: мы приехали к тебе за советом, – сказал Касинкен, кладя на стол кусок угля. – Куда нам написать об этом камешке?

– Где взяли? – спросил Эглет.

– У нас, в Осинниках, нашли.

Эглет подумал и сказал:

– В Барнауле есть горное управление. Туда и пишите. Пошлите маленький кусочек угля, пусть посмотрят, чем богат наш край.

Вернувшись домой, братья продиктовали письмо грамотной сестренке:

«В Алтайское горное управление...

Сим сообщаем, что мы, братья Мигашевы, в наших горах нашли уголь. Просим приехать проверить нашу находку. Считаем, что это очень полезное дело. Маленький комочек угля направляем вам».

Узнав, что братья Мигашевы направили письмо в Барнаул, к ним рано утром пришел Куртук-бай. Не поздоровавшись, он начал кричать:

– Что вы наделали! Вот приедут русские – и нам житья не будет. О господи! Несдобровать теперь улусу.

Долго еще ругался Куртук-бай. Братья молчали. Наконец он ушел, зло хлопнув дверью.

Как-то зимой братья слышали скрип саней. В распахнутую дверь ввалились двое мужчин в дохах.

– Здравствуйте! – приветствовали они. – Здесь живут братья Мигашевы?

– Да, здесь, – отозвались хозяева растерянно.

– Тогда мы к вам, – сказал широкоплечий мужчина. – Я инженер-геолог Хлопов Петр Семенович. А это Меркулов Иван Петрович.

Долго продолжалась беседа в доме Мигашевых. Приехавших интересовало все: глубоко ли залегает уголь, какой мощности пласт и как добраться до того места?

Вскоре началась разведка каменных углей Осинниковского рудника, о высоком качестве которых известно далеко за пределами нашей области. К сожалению, имена братьев Мигашевых, открывших этот уголь, незаслуженно были забыты.

(«Шория всюду со мной», 2006)

## ПОЗОВИТЕ В ПЕРЕВОДЧИКИ ШОРЦА

Некоторые названия на карте Кемеровской области настолько таинственны и замысловаты, что каждому хочется узнать: откуда они? Позовите в переводчики старого охотника-шорца. И он, вспомнив легенды, расскажет вам историю многих географических названий.

Речка называется Сарбала... И село, и железнодорожная станция – тоже. А шорец скажет по-своему: «сарыг-пала» – желтый ребенок. По преданию, охотники-шорцы нашли в этих местах заблудившегося рыжеволосого мальчика.

Алатау... Что значит это слово? Буквальный перевод: пестрые горы. Посмотрите на горы зимой – и точнее названия не придумаете. Именно пестрые!

А как вы переведете слово «Таштагол»?

Новосибирский писатель А. Смердов считает, что «Таштагол» – это «камень на ладони». У других русских исследователей нашего края я читал: «Таштагол» – «каменистый лог». И это ближе к истине. Я перевожу так: «долинка на камне». Не правда ли, название очень образное?

А откуда – Кондома? Шорцы опять вспомнят легенду. По-шорски река называется Кондум (в переводе: «ночевал»). По преданию, однажды к левому берегу реки подъехал на коне богатырь. Река бушевала: половодье прибавило ей воды и сил. Переправиться на другой берег не смог даже богатырь. И он переночевал на берегу...

Я был еще мальчишкой, когда старики-шорцы запрещали мне поить лошадей и пить воду из речки Кандалепки. Они говорили, что в ней – кровь моих предков, вода священна. Кандалеп – искаженное от Кантогул (в переводе: «кровь лилась»). В долине речки когда-то шли кровавые бои шорцев с поработителями, киргизскими ханами.

На юге Шории, сверкая перламутровой шапкой, стоит Мустаг (в переводе с шорского: «ледяная гора»). В годы моего детства жители гор ежедневно обращались к могущественному Мустагу с молитвами: один просил даровать его семье детей, сыновей, другой хотел удачи на охоте, третий надеялся таким образом уберечь от болезней скот.

Есть такой голец – Амзас Таскыл. Часто при переводе этого названия на русский язык допускают невероятные искажения, называя даже гору – «мать рек». Страшная неправда! Слово «Амзас» приблизительно можно перевести так: теперь болото, а «таскыл» – большая скалистая гора...

Торгу-таг – в переводе «шелковая гора». В самом деле, с подошвы до вершины она покрыта густым хвойным лесом. Издали кажется, что гора закуталась в зеленый шелк...

Многие названия овены шорскими легендами. Если вам доведется путешествовать по нашему краю, пригласите в проводники и переводчики шорца. И он, я в этом уверен, откроет вам тайны десятков географических названий.

(«Огни Кузбасса», 1968, № 2)

## ШОРСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

### ПЧЕЛКА

Жили два брата: Овод и Муравей. Овод жил богато. Муравей – бедно. У Муравья была дочь Пчелка.

Однажды Пчелка говорит отцу:

– Пойду я к дяде и попрошу у него корову. А то мы скоро с голоду помрем при такой жизни.

– Не ходи, дочка, – отвечает отец. – Скупее моего брата нет никого на свете. У него зимой снегу не выпросишь. Не кланяйся богачу. Я век прожил и, кроме обид, ничего от него не видел.

– Нет, схожу, – настаивает дочь. – Может, он пожалеет меня.

Отец не стал перечить. Пчелка пошла к богатому дяде.

Вошла в его хоромы, поклонилась, ласково поздоровалась и обратилась с такими словами:

– Добрый и мудрый мой дядя, я часто думаю: почему я не твоя дочь? Как бы мне хорошо жилось! С моим отцом я, наверное, скоро с голоду помру, потому что он бедный и вдобавок глупый.

Слова племянницы по душе пришлись дяде, и он дал ей теленка. Теленок стал расти не по дням, а по часам и скоро вырос в корову. Отец и дочь нарадоваться не могут. Корова отелилась и стала давать по сорок ведер молока в день. У богатого дяди целое стадо столько не давало. Отец с дочерью живут и нужды не знают. Не только сами кормятся от коровы, но и бедных кормят. Люди любят корову, хвалят Пчелку, смеются над Оводом.

Богачу стало завидно, и он сказал брату:

– Отдай мою корову.

– Что ты, дядя, – говорит Пчелка, – мы у тебя корову не брали. Брали теленка. Возьми теленка обратно.

– Не надо мне теленка!

И подал на суд.

Вызывает их хан-судья. Они рассказали, как было дело.

Хан-судья рассердился и говорит:

– Дураки, одну корову поделить не можете! С таким пустяком ко мне лезете. Следовало бы вас, глупцов, наказать, да ладно уж. Отгадайте мне три загадки, тогда спор ваш решу. Первая загадка: что на свете всего жирнее? Вторая – что всего быстрее? Третья – что больше всего? Завтра придете сюда и скажете мне.

Ушли братья и задумались.

Овод рассказал жене все три загадки. Она посмеялась и говорит:

– Пустяки! Вот что надо говорить... – И научила его, как следует отвечать хану-судье.

А Муравей, в свою очередь, обо всем поведал дочке, Пчелке. И сам шибко загрустил. Пчелка и говорит ему:

– Не печалься, отец, ложись спать, утро вечера мудреней... – И научила его, как нужно отвечать хану-судье.

Приходят утром братья. Хан-судья и спрашивает:

– Ну что, отгадали?

– Отгадали.

– Говорите.

Сперва сказал Овод:

– О великий хан-судья, я думаю так: жирнее моей пестрой свиньи, пожалуй, нет ничего на свете; быстрее моего вороного коня тоже нет ничего на свете; самое большое на свете – это мой дом.

Потом ответил Муравей:

– О великий хан-судья, у меня нет ни свиньи, ни коня, ни дома, чтобы судить, насколько они лучше подобных себе. Но скажу: жирнее всего на свете – земля; быстрее всего на свете – мысль; и больше всего на свете – солнце.

– Твоя правда! Молодец! – воскликнул хан-судья.

И оставил за Муравьем корову-молочницу. А когда братья уходили, хан-судья спросил:

– Скажи, Муравей, ты сам придумал эти ответы?

– Нет. Дочка Пчелка подсказала мне, – сознался Муравей.

– Если она у тебя такая умная, пусть сошьет мне из шкур вшей шубу, – сказал хан-судья.

На другой день приходит Муравей и говорит:

– О великий хан-судья, дочка моя сказала так: «Пусть хан-судья найдет мне ниток из песка, тогда я сошью ему шубу из шкур вшей».

– Когда ты придешь домой, – говорит хан-судья, – на дворе увидишь быка; передай своей дочери, пусть она заставит его отелиться.

Утром хан-судья ждал Муравья с ответом, но Муравей не пришел. Тогда хан-судья сам пошел к Муравью. Приходит. На постели лежит больной Муравей. Входит Пчелка с охапкой травы. Хан-судья спрашивает:

– Где теленок?

Пчелка молчит.

– Зачем тебе трава, если нет теленка?

– Мой отец родил ребенка, – отвечает Пчелка. – Видишь, он лежит больной. А мы настолько бедны, что нечего подстелить. Вот я и нарвала травы.

– Что ты глупости мелешь! – вскричал хан-судья. – Слыхано ли было, чтобы мужчины детей рожали?

– А ты слышал, чтобы быки телят рожали?

Хан-судья повернулся и тотчас же ушел домой.

Через некоторое время присылает он к Муравью сватов, сватать Пчелку за сына. Пчелка ставит ему такие условия:

– Я выйду за твоего сына замуж, если ты, хан-судья, будешь добр и милостив к народу, не будешь обижать другие народы, если будешь обиженных защищать и обидчиков наказывать.

Хан-судья согласился принять такие условия. Головы молодых соединились, и начался пир на весь мир. Долго пировали. Потом хан-судья с сыном сели на коней и поехали на охоту. На обратном пути отец сказал:

– Давай будем дорогу коротать.

Сын сразу свернул с дороги, и они поехали напрямик. В болоте чуть не утонули, в лесу чуть не заблудились. Приехали домой. Когда легли спать, сын и говорит жене:

– Какой глупый у меня отец. И как он только народом управляет. Когда мы ехали домой, он говорит: «Давай, сынок, будем дорогу коро-

тать». И поехали мы напрямик. Чуть в болоте не утонули, чуть в лесу не заблудились.

– Это не отец глупый, а ты, – сказала жена. – Длинную дорогу разговорами коротают, а не так, как ты сделал. Отец вызывал тебя на разговоры, но ты не догадался.

Следующий раз, когда они отправились в дальнюю дорогу, сын все время развлекал отца разговорами. И длинный путь показался им коротким.

– Как хорошо я сделал, что женил сына на Пчелке, – думал хан-судья. – Это она наставляет его уму-разуму.

## **ЧОК АНЧЫ (БЕДНЫЙ ОХОТНИК)**

Давным-давно это случилось. В дремучей тайге жили старик со старухой. Весь век они охотились и, кроме старого ружьишка, ничего не имели. Был у них единственный сын. На охоту ходить он был еще мал. А отец совсем состарился, стал хил и слаб. Руками пищу в рот не может положить. Даже встать не может, чтобы воды напиться.

Много ли, мало ли прошло времени, однажды старик говорит сыну:

– Эзе, мой сынок, охотиться на зверей и птиц прошло мое время. Хотя ты еще мал, но придется тебе заменить меня. Возьми вон мое ружье и иди в тайгу, промышляй зверя, птицу. Себя будешь кормить и нас.

Старухе жалко было сына, но делать нечего. Собрала его на охоту, отдала последние съестные припасы. Навьючил на себя паренек сумку, попрощался с родителями и отправился в лес. Забрел в самые дебри. Сделал шалаш и начал охотиться. День ходит, другой – ничего не может добыть. Неделю ходит, другую – пусто. Словно кто нарочно всех зверей и птиц выгнал из тайги. Даже мышь не попалась ни разу. Заблудился в лесу и не знает, где дом, где шалаш. Чем больше ходит, тем больше блуждает. А тут вся пища вышла. От усталости и голода занемог паренек. Забрел в болото, и нет сил выйти. Лег и думает:

– Вот здесь, наверное, и умру. И никто не будет знать об этом: ни мать, ни отец.

Сказал так и горько заплакал.

Ни мало, ни много прошло времени, вдруг синее небо почернело, светлый день померк, как будто солнце закрыли грозовые тучи. Паренек открыл глаза и видит: прямо на него с неба спускается Хан-птица с железными крыльями и железным клювом. Сцапала его острыми когтями и подняла в воздух. Паренек ни жив ни мертв – сам не может понять: если считать себя мертвым – живой кажется, если считать живым – мертвый кажется.

Летела, летела Хан-птица и долетела до черноскалистых гор, за которыми лежало громадное черное озеро. На берегу черного озера, у подножья черноскалистых гор раскинулось великое стойбище, конца-краю которому нет. Жило здесь много народу, подчиненного Кара-хану. На тучных полях и лугах паслись бесчисленные стада коров, отары овец, табуны лошадей. Посередине стойбища стоял каменный дворец невиданной красоты. Хан-птица опустилась к этому дворцу. И только прикоснувшись к земле, сразу спало с нее оперение и перед всеми предстал человек. Это был сам Кара-хан. Сорок дочерей кликнул он и передал им полуживого-полумертвого паренька. Сказал:

– Посадите его в курятник. Пусть живет вместе с курицами. И кормите его отрубями.

Сорок дочерей, не смея ослушаться отца, приняли паренька. Жалея и вздыхая, отнесли его в курятник, заперли вместе с курами. Насыпали ему отрубей. Проголодавшийся паренек, не брезгуя ничем, набросился на отруби.

Жалко стало паренька младшей дочери Кара-хана. Тайком, чтобы никто не видел, она пробралась в курятник и принесла ему пищу с ханского стола, а сама незаметно скрылась. Паренек, наполнив опустевший желудок, сразу повеселел.

Однажды Кара-хан потребовал к себе паренька и спрашивает:

– Ну что? Скучно с курами сидеть и отруби есть? Чтобы ты не скучал и зря не ел отруби, я дам тебе одно дело.

Сел он на вороного коня, посадил за собой паренька и поехал. Приезжают на берег черного озера, обросшего густым высоким камышом, слезают с коня. Кара-хан подает пареньку железное сито и говорит:

– Вот этим ситом ты должен за ночь перетаскать все черное озеро вон за тот черный таскыл. К утру чтобы галька была сухая, песок рассыпался. Сделаешь – награжу, не сделаешь – голову сниму.

Дав такой наказ, Кара-хан уехал.

Остался паренек один на берегу. Зачерпнет железным ситом воду – она сразу вытечет обратно в озеро. Ничего не получается. Сел он на камень, обхватил голову руками и горько заплакал.

Незаметно подбегает к нему младшая дочь Кара-хана.

– Здравствуй, паренек. Что случилось? Почему плачешь, слезы льешь? Я Кара-хана младшая дочь. Хочу помочь тебе. Скажи, не скрывай, что за горе у тебя?

– Как мне не плакать, как слезы не лить, когда я последний день живу на свете, – отвечает паренек. – Видишь это озеро? Твой отец Кара-хан приказал перетаскать всю воду вот этим ситом за тот вон высокий таскыл. Если, говорит, не выполнишь к утру – голова с плеч долой. Вот почему я плачу, слезы проливаю.

– О, паренек, это уж не такая большая беда, – говорит девушка. – Большая беда – впереди. У моего отца есть волшебная книга, в которой заключается вся мудрость, собраны все смекалки. Я постараюсь завладеть этой книгой и помочь тебе, а сейчас ляг, усни. Утро вечера мудренее.

Паренек повеселел, успокоился. Лег и уснул.

Закатилось красное солнышко. Наступила темная ночь. Когда все уснули, девушка тайком овладела волшебной книгой. Когда стала читать ее, вдруг черное озеро, обросшее густым камышом, заволновалось, зашевелилось и вода сама собой потекла за черный таскыл. За ночь все озеро перелилось на новое место. Ни капельки не осталось. На дне галька сухая да песок рассыпался.

Паренек всю ночь проспал. Утром поднялся, смотрит – глазам своим не верит. А когда руками пощупал – поверил.

Появилась девушка и говорит:

– Ну, паренек, скоро отец мой приедет. Чтобы не вызвать подозрений, что это не ты сделал, займись делом. Ходи по дну озера, травку и прутики собирай. Будто работаешь. А я скроюсь, домой убегу.

Паренек нарадоваться не может. Спустившись на дно озера, прутики и травку собирает, в кучу складывает. Вид показывает, будто усердно трудится.

Видит, Кара-хан на вороном коне едет, стальной меч по земле волочится.

– О, здравствуй, хан, великий начальник из начальников, твой наказ, насколько мог, выполнил. Посмотри! – говорит паренек.

Кара-хан смотрит и от удивления качает головой.

– Молодец! У тебя много оказывается смекалки и мудрости.

Сажает паренька на седло сзади себя и едет домой. Приехав, велит снова запереть в курятник да побольше отрубей дать. Сорок дочерей, не смея послушаться отца, выполняют его приказание. Младшая дочь Кара-хана, скрываясь и прячась, опять тайком пробирается в курятник и приносит пареньку пищу.

На следующий день Кара-хан снова потребовал к себе бедного охотника. Посадил его на седло и поехал в лес. Приезжают в дремучую тайгу. Кара-хан дает пареньку деревянный топор и говорит:

– Вот этим топором ты должен за ночь вырубить весь лес. Не оставить ни одного дерева, ни одного прутика. Дрова собери и сложи в одну поленницу. Работу выполнить к утру. Сделаешь – награжу, не сделаешь – голову сниму.

Дав такой наказ, Кара-хан сел на вороного коня и уехал. Остался паренек один в лесу. Взял топор, рубанет дерево – топор отскочит. Не только дерево свалить, даже ни одной щепки не смог вырубить. Сломал топор. Бросил. Сел на сырую землю и горько заплакал.

Незаметно подбегает к нему дочь Кара-хана.

– Здравствуй, паренек! Что случилось? Почему плачешь, слезы льешь?

Паренек отвечает:

– Как же мне не плакать, как слезы не лить, когда я последний день на земле живу. Видишь этот лес без конца и края? Отец твой Кара-хан приказал вырубить его деревянным топором за одну ночь, порубить на дрова и сложить в одну поленницу. Если, говорит, не выполнишь – голова долой. Большая беда на мою голову свалилась!

– О, паренек, это уж не такая большая беда, – говорит девушка. – Большая беда – впереди. Я постараюсь помочь тебе. А сейчас иди и спать ложись. Утро вечера мудренее.

Паренек успокоился, лег и уснул крепким сном.

Закатилось красное солнышко. Наступила темная ночь. Девушка вытащила из кармана волшебную книгу. Когда стала читать, вдруг весь лес повалился. На месте поваленного леса куча дров образовалась. Она росла все больше и больше и вскоре до самого неба поднялась. Шум и треск такой стоял, что за девять земель было слышно.

Утром паренек проснулся и видит: что за чудо, там, где был лес, – чисто, гора дров лежит до неба. Глазам не верит. А когда руками потрогал – поверил. Мудростью девушки восхищается. Слов не может подобрать, чтобы отблагодарить ее.

Появилась девушка.

– Ну, паренек, приготовься, отец сейчас приедет. Прутья и щепки собирай, делай вид, что работаешь.

И сама снова исчезла.

Обрадованный паренек деловито ходит по поляне. Ветки, прутья и щепки собирает, в кучу складывает, делает вид, будто он усердно трудится.

На вороном коне подъезжает Кара-хан, стальной меч по земле волочится. Смотрит кругом и от удивления головой качает.

– Молодец! У тебя много оказывается смекалки и мудрости. Садись на коня, поедем домой.

Паренек сел, и поехали они в стойбище Кара-хана.

Кара-хан опять велит запереть паренька в курятник. Отрубей еще больше дать велит. Младшая дочь Кара-хана опять тайком пробирается в курятник и приносит ему пищу.

На третий день Кара-хан снова вызывает к себе паренька.

– Ну, последний раз испытаю тебя. Если выполнишь мое поручение – богато награжу, не выполнишь – пеняй на себя.

И поехали они – Кара-хан в седле, паренек сзади.

На середине осушенного черного озера спешили. Кругом песок, вдали густой камыш растет.

Кара-хан дает пареньку деревянный топор и пилу и говорит:

– Вот на этом месте за ночь построй золотой дворец из шестидесяти комнат о девяноста углах.

Дав такое приказание, сел на коня и уехал.

Остался паренек один на дне громадного высохшего озера. Посмотрел кругом: не только золота, но даже ни лесу, ни камней поблизости. Сел на горячий песок и горько-горько заплакал. До самого вечера смотрел в сторону ханского дворца, не появится ли девушка. Как только наступили сумерки, девушка тут как тут.

– Здравствуй, паренек! Что опять случилось? О чем плачешь? Что за горе у тебя? Может, я помогу?

– О, добрая девушка, разве удивительно, что я плачу? Нет уж, наверно, мне больше не жить, – печально опустив голову, говорит паренек. – Сегодня последний раз я видел солнечный свет. Кара-хан, твой отец, опять дал мне задачу: вот этим деревянным топором и пилой построить золотой дворец.

– О, паренек, это уж не такая большая беда, – говорит девушка. – Большая беда – впереди. Я помогу тебе. Утро вечера мудренее.

Паренек повеселел, успокоился, лег и уснул. Опять закатилось красное солнышко. Опять наступила темная ночь.

Девушка вытащила из кармана волшебную книгу и стала читать. Расступилось дно озера, из-под земли медленно стал подниматься золотой дворец, освещенный яркими огнями.

Всю ночь паренек крепко спал. Утром, проснувшись, видит перед собой великое чудо: золотой дворец стоит из шестидесяти комнат о девяноста углах. Появилась девушка.

– О, сумею ли я отблагодарить тебя! – воскликнул паренек, ища глазами девушку. – Ты трижды спасла мне жизнь.

– О, паренек, благодарности мне твоей не нужно, – ответила она. – Ты скорей бери свой топор, иди по дворцу и стучай, будто работаешь. Мой отец Кара-хан больше не даст тебе поручений. Он тебя полюбит теперь и скажет: «У меня есть сорок дочерей, самая лучшая из них – младшая. Если сумеешь из них выбрать ее – замуж за тебя отдам». Он посадит нас за книги. На лицо мы все одинаковы и одеты одинаково, так что меня трудно будет узнать. Но ты не теряйся, примечай: кто слегка корочку в книге пошевелит, ту и хватай за руку. Когда поймашь, скажешь: «Вот моя суженая». Он ответит: «Хорошо, хорошо, молодец!» Потом он превратит нас в сорок гусей и скажет: «Если ты мудрый, найди свою суженую среди сорока гусей». А мы все будем белые, как снег. И прежде чем меня найдешь, можешь трижды умереть и трижды воскреснуть. Нам насыплют овса, и все мы будем есть. Но чтобы ты узнал меня среди сестер, я буду слегка крылья поднимать. Ты тогда хватай меня за шею правой рукой и громко говори: «Вот моя суженая». Отец ответит: «Молодец, паренек. Острый глаз у тебя. Разузнал свою суженую, бери ее себе в жены». Две головы наши тогда соединятся. Смотри же, паренек, не забывай, что я тебе сказала.

Научив так, сейчас же скрылась. Паренек берет топор, ходит и по углам постукивает. На вороном коне подъезжает Кара-хан, стальной меч по земле волочится. Смотрит на дворец и надивиться не может.

– Молодец! Ну что же, теперь больше поручений не будет тебе. Из сорока моих дочерей самая красивая – младшая. Если хочешь – в жены тебе ее отдам. Зятем моим станешь. Когда я умру – ханом будешь.

Садятся на вороного коня и едут домой.

Кара-хан теперь не сажает паренька вместе с курами. Заводит в свой каменный дворец. За стол золотой усадил, самой лучшей пищей кормит, самой лучшей аракой угощает. Потом за руку берет, в другую комнату ведет. Здесь за сорока столами сорок девушек сидят, все книги читают. Все красивые, все румяные, все одинаковые на лицо.

– Это мои дочери, – говорит Кара-хан. – Найди свою невесту.

Сорок девиц сорок раз они обходят. Сколько паренек ни смотрит, не может узнать свою невесту. Потом заметил: одна девушка слегка корочку книги приподняла.

Паренек подходит к ней и берет за руку:

– Вот твоя младшая дочь, моя невеста.

Кара-хан ответил:

– Хорошо, хорошо! Молодец, паренек!

Тут же, пока они говорили, сорок девушек в сорок гусей превратились, насыпали им овса. Они смешались все, гогочут.

– Ну, молодец, – говорит Кара-хан, – если ты мудрый, найди свою невесту среди сорока гусей. Найдешь – своими руками отдам тебе ее. Больше поручений у меня не будет.

Паренек сорок гусей сорок раз обошел. Видит – все белые, все одинаковые, все красивые, которая из них младшая дочь – узнать не может. А потом замечает: одна гусыня слегка приподняла крылья, торопливо ест овес.

Паренек подходит к ней, хватая за шею правой рукой и говорит громко:

– Вот твоя младшая дочь, моя невеста!

– Молодец, паренек, – отвечает Кара-хан. – Смекалки и мудрости у тебя много. Глаз как у сокола. Ну что ж, мою младшую дочь своими руками тебе отдам. Две головы ваши соединяю. Будь моим зятем!

За руки обоих берет, в каменный дворец вводит, самой хорошей пищей угощает, самой крепкой аракой поит. Две головы соединили – большой той устроили. Много-много народу собралось на свадьбу. Девять дней угощали всех до единого.

Когда той прошел, Кара-хан говорит:

– Ну, мои дорогие детки, у вас есть свой золотой дворец из шестидесяти комнат о девяноста углах. Идите и живите в своем дворце. Когда я умру, народом управлять будете.

И, обращаясь к зятю, говорит:

– Девять моих сыновей – все дураки. Ханом, кроме тебя, некому быть.

(«Шория всюду со мной», 2006)

Геннадий Косточаков

## СЛОВО О СТЕПАНЕ ТОРБОКОВЕ

Вряд ли в Кузбассе найдется кто-нибудь из образованного старшего поколения, кому было бы неизвестно имя Степана Торбокова – нашего замечательного поэта-земляка, выдающегося представителя шорского народа. Когда-то он имел довольно широкую известность. Можно даже сказать, он был своим, кузбасским Расулом Гамзатовым.

В 1950–1970-х годах поэтические произведения Степана Торбокова нередко печатались в областных журналах и сборниках, областных и городских газетах, вышло несколько его поэтических книг. Степан Торбоков имел своего благодарного читателя, его слово трогало, находило отклик, он просто и вместе с тем глубоко переживал и воспевал изначальное родство человека и природы, побуждал к любви и милосердию, пробуждал чувство сострадания. Для жителя индустриального Кузбасса такое энергоемкое слово его было особенно значимо.

Но было бы неверно видеть в поэте противника промышленности и прогресса. Как раз напротив: он был активным поборником улучшения и совершенствования мира, искренне радовался и приветствовал изменения жизни в своей родной Горной Шории и в Кузбассе. Все это можно видеть в его стихах.

Лишь вчера тут сырело болото, гниль,  
А сегодня – город во всей красе.  
По уму и по сердцу преобразил  
Человек, чтобы было уютно всем.  
Создают нам машины завтрашний день,  
Недра родины вскрыв, берут плоды...

Но он хотел, чтобы человек, внедряясь в природу, т. е. в изначальное сообщество зверей, птиц, деревьев, воды, ветра, солнца и звезд, всегда помнил, что сам он есть когда-то отделившаяся, но тем не менее

все еще неотъемлемая часть этой самой природы, причем часть не самая большая и не самая сильная, но, что чрезвычайно важно, могущая быть мудрой и сострадательной.

В 1980-е мглистые годы, сразу после смерти Степана Торбокова, нас всех увлекло в дали отнюдь не поэтические. Поэта стали постепенно забывать. Везде, только не на его малой родине – в городе Осинники и не в среде шорского народа. В 1990-х годах появилась группа энтузиастов из числа осинниковцев, которая поставила перед собой задачу возродить славное имя Степана Торбокова. У них нашлись образованные шорцы – единомышленники из других городов. Они собрали выпускную книгу произведений поэта, широко отметили его 95-летие, организовали ставшие традиционными Торбоковские чтения, потом было 100-летие и так дальше. Имя поэта снова стало на слуху, его произведения снова начали читать.

Степан Семенович Торбоков родился в 1900 году в том месте, которое много позже стало именоваться городом Осинники. А во время его рождения это был аймак (район), состоявший из нескольких шорских аалов (деревень) во главе с улусом (селом) Тагдагал (параллельное название – Осиновка). Родным селением поэта был аал с поэтическим названием Тайлеп. Поэтическим в этом аале было не только название. Аал являлся одним из центров бытования традиционного шорского сказительства, т. е. здесь испокон веков жили потомственные кайчи – мастера-исполнители героических сказаний. Кайчи в поэтической форме повествовали о тюркских древних героях и их деяниях, исполняя свои сказания не только ритмизованным рассказыванием, но и параллельно (в первую очередь) – горловым пением (называется «кай») под собственный аккомпанемент кай-комуса – двухструнного инструмента типа кобзы. Сохранились имена некоторых выдающихся тайлепских кайчи: Н. К. и Г. С. Тельбезековы, Г. С. Торбоков и др.

Традиционное шорское сказительство в тех местах кроме Тайлепа еще бытовало в селе Кинерки; тамошние выдающиеся кайчи: братья К. М. и А. М. Атконовы, С. В. Шалбыгашев, С. Т. Тайбычаков. Эти два села и были центрами бытования так называемой кондомской тради-

ции шорского сказительства. Кроме кондомской в Шории существовала еще мрасская традиция, ее центры – улусы Чувашка, Казас, Усть-Мрасс, Красный Яр и Карай.

Степан Торбоков вырос в удивительной атмосфере народной поэзии. Более того, от своих прямых предков по линии отца он унаследовал талант кайчи, т. е. обладал великолепной памятью, мог после первого или второго слушанья какого-нибудь кайчи запомнить, а потом хранить в памяти десятки сказаний, каждое из которых вмещает в себя несколько тысяч строк-стихов; великолепно пел горлом и виртуозно подыгрывал себе на кай-комусе. Талант кайчи у него проявился очень рано, мальчиком он прошел, как было принято, период ученичества у кайчи Н. К. Тельбезекова, очень быстро стал мастером. Спустя многие годы исполнительства у него появился свой ученик, по свидетельству А. И. Чудоякова, им был Т. С. Камзачаков. В соответствии с кондомской традицией кая-сказительства Степан Торбоков пел с сильным сжатием гортани, но тихим голосом и в чуть замедленном темпе. Всю свою жизнь он успешно исполнял героические сказания, их в его репертуаре было более 50. Шорский народ знает его и помнит как одного из великих своих кайчи. Его имя стоит в одном ряду с именами великих шорских кайчи: Морошки (Н. А. Напазакова), Акмета (А. И. Абокаева), Аккоке (П. Н. Амзорова) и Пабела (П. И. Кыдыякова).

Шорский кайчи часто был не просто исполнителем издревле существовавших героических сказаний, но и как бы соавтором этих произведений. Роль повествователя, отводившаяся ему в сказаниях, позволяла не просто вести слушателя по дорогам вечно живого героического прошлого народа, рассказывать, показывать, выражать переживания героев-богатырей, вызывать сопереживание у слушателя, но и позволяла все это интерпретировать по-своему, выражать события по-своему, через свое понимание того времени и тех людей-героев. В тексты сказаний иногда вносилось свое особенное, авторское (здесь – соавторское) представление, ведь шорский жанр героических сказаний был устным, а, следовательно, многовариативным. Жанр предусматривал вариации «узлов» сказания (терминологически – «общие

места», «эпические формулы»). Кайчи выбирал тот «узел», который соответствовал бы его нынешнему пониманию события, своему настроению на тот или иной период времени и интересу конкретной публики. Кайчи мог варьировать повествование (мотивы поступков героя), горловой голос и мелодии кай-комуса. Мог даже вносить в седые сказания что-то от современности и от себя лично (осторожно, конечно). Возможностей было много, жанр был относительно свободным: в нем неизменным оставался лишь сюжет, который мог обрастать вариациями мотивов и характеристик.

И еще, кайчи редко когда ограничивался одним жанром героических сказаний, он знал и исполнял и другие жанры шорского фольклора: сказки, легенды, пословицы, песни, частушки, загадки. В этих жанрах тоже было возможно соавторство.

Увлеченный возможностью соавторства, Степан Торбоков особенно преуспел в жанре народной песни-сарын. Он стал создавать свои, как бы торбоковские, песни. Первую известность принесла ему «Колыбельная», затем были многие другие. Все созданное Степаном Торбоковым в жанре народной песни впоследствии широко распевалось народом и пополнило сокровищницу шорской народной песни-сарын. Некоторую часть таких соавторских произведений шорского фольклора (песни, пословицы, загадки и одно сказание), созданных Торбоковым, перевел Г. Сысолятин и в 1975 году издал в московском издательстве «Современник» книгу «Волосяная струна. Произведения устной поэзии горных шорцев».

Известно, что если человек действительно талантлив, то талантлив во многом. У Степана Торбокова в молодости проявился дар поэта (он как поэт – единственный из шорских кайчи, остальные довольствовались лишь возможностями соавторства). Ему стало тесно в рамках фольклорного соавторства, он жаждал полного литературного авторства. Поэтому он начал писать стихотворения, не скованные фольклорными жанровыми рамками. Именно стихотворения, которые уже не нужно было петь (хотя иногда он их пел, подыгрывая себе на кай-комусе). К написанию собственных стихотворений Торбоков приступил в

начале 1950-х годов, но первые редкие опыты были еще в 1930-х годах. Кроме собственно поэтического дара к данной работе его подвигнули следующие обстоятельства.

Шорский язык и шорская культура, в том числе фольклор, в его время были обречены. Это было вызвано репрессиями 1930-х годов, когда был уничтожен, в частности, Горно-Шорский национальный район (1939), свелось на нет национальное образование (школы в 1940 году перешли исключительно на русский язык), была закрыта газета на шорском языке (остался только русскоязычный вариант под названием «Красная Шория»), прекратилось издание книг и учебников на родном языке для школ и педагогического техникума (который был сначала в улусе Томазак-Мыски, потом был переведен в улус Куздеево).

Репрессии коснулись в первую очередь всех грамотных шорцев, деятелей культуры, в том числе кайчи: кто-то был расстрелян, кто-то – посажен, кто-то – просто замолчал. Все национальное стало восприниматься как националистическое, подозрительное, даже – «шпионское», направленное на «отделение» национальной территории от страны. Уцелевшие от репрессий кайчи перестали петь, в том числе и Степан Торбоков, да и слушатели перестали ходить к ним, боялись. Многие уцелевшие кайчи погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Торбокова же на фронт не взяли по возрасту. Торбоков стал искать другое средство для самовыражения.

К этому времени Степан Торбоков успел получить образование: до революции окончил церковно-приходскую школу, участвовал в ликбезе (сперва окончил, а потом и сам вел курсы ликвидации безграмотности), получил среднее образование, окончил учительские курсы, заочно окончил в 1943 году географический факультет Томского университета, стал работать учителем, завучем и директором школы в селах Кинерки, Рябиновка, Тайлеп. Не менее важно, что в школе и особенно в культурном Томске он приобщился к великой русской литературе. Вспомните:

Стих я даже писать замахнулся,  
Пушкинский почувствовав ритм.

Появилась потребность проявить себя на поприще шорской литературы, вернее поэзии, лирики. Он захотел в стихах отразить свое неслыханное время – эпоху революционных преобразований в Шории и России. Известно, поэт (в отличие от прозаика) может писать лишь на родном языке. Время Торбовым было упущено, так как на родном языке он уже не мог опубликоваться. Но все равно это его не остановило, он стал активно писать стихотворения и тут же делал для будущих переводчиков подстрочники своих произведений. Первым переводчиком его стихотворений стал хакасский поэт-собратья А. Кильдичаков, которому подстрочник не требовался (хакасский и шорский языки – это почти один язык), потом появились другие переводчики, кому подстрочник уже стал просто необходим, так как они не знали шорского языка (Геннадий Сысолятин, Михаил Небогатов, Валентин Махалов и др.).

Стихи Степан Торбов создавал одновременно со своей титанической деятельностью по собиранию и записыванию произведений родного фольклора. Седой фольклор позволял ему уточнять свое миропонимание, подсказывал темы и мотивы, помогал оценить масштаб революции, потрясшей его молодость.

Уверенный (конечно, не до конца), что шорский фольклор и язык скоро навсегда уйдут в небытие, Степан Торбов решил все-таки оставить на бумаге все то фольклорное богатство, которое он помнил сам. Но кому нужно сие богатство? Кому нужны результаты его огромного труда? Области они не нужны – шорцев как бы не существует в природе, Москве не нужны по той же причине. Торбов обращается к государственным научным структурам родственных народов – алтайцев и хакасов (АлтНИИЯЛИ – Горно-Алтайский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, ныне Институт алтаистики им. С. С. Суразакова, и ХакНИИЯЛИ). Те не сразу, но соглашаются за очень небольшие деньги приобрести параллельные (оригинальный и построчно переведенный на русский язык) тексты произведений шорского фольклора, аккуратно им записанные на листах ученических те-

традей, тетради аккуратно сшиты друг с другом нитками. Эти тетради с тех пор принадлежат этим институтам и хранятся в их фондах.

С. Торбоков навсегда сохранил для истории, для своего народа и всего человечества более 50 шорских героических сказаний (опубликовано в переводах 3), несколько сказок (опубликовано в переводах 4), много песен (опубликовано в переводах 54), загадок (опубликовано 101), пословиц (опубликовано 2).

Миропонимание Степана Торбокова сложилось в 20–30-х годах XX века и коренным образом больше не менялось. Он, как на черное и белое, делил историческое время на две разноценные части: то, что было до Октября, и то, что было после Октября, т. е. было создано Октябрем. Первая часть уничтожалась, вторая часть идеализировалась. Знакомая идеологическая структура. Но Торбоков не был бы Торбоковым, если бы все-таки по-своему не связал эти два отрезка исторического времени. То есть у него это не отрезки, а части единого времени, которое характеризуется дружбой простых людей, людей труда, людей разных народов, в его случае – шорцев и русских. Просто Октябрь, по мнению Степана Торбокова, усилил существовавшую более трехсот лет дружбу народов, и это дало удивительные результаты.

Можно уверенно сказать, что Степан Торбоков – своего рода мост между шорским и русским народами, мост взаимной симпатии и взаимного уважения, мост, насущно необходимый во всякие времена. Совершенно не случайно гуманистическая тема дружбы между народами проявляется во многих его стихотворениях, ибо это была мысль, которую он постоянно переосмысливал, и воздух, которым он постоянно дышал. Данная дружба, как считал Торбоков, имеет более чем трехсотлетнюю славную историю, и она началась с тех простых казаков, которые защитили шорцев от джунгар в XVII веке.

Был джунгарский хан нам сосед,  
Его всадники нам несли  
На копье вражды слезы бед –  
Унижали, грабили, жгли.

И до наших дней было б так,  
 Если б не объявился сосед  
 Новый – храбрый и добрый казак  
 (Тогда русских так звали все).  
 Тот казак усмирил джунгар  
 И включил землю шорскую в Русь.  
 Лучше тяжкий ясак, чем пожар,  
 Притеснение, аркан, кровь и гнусь.

Но особенно, как далее полагает Торбов, эта дружба проявилась в начале XX века, когда эти народы в боях отстаивали свое право на свободу, равенство и труд и стали сообща строить новый мир, руководствуясь дружбой уже свободных тружеников.

У шорского народа с русским  
 Общих триста лет.  
 Мы вместе в радости и грусти  
 И вместе живем на земле...  
 Нет силы такой, чтобы  
 Нас развести по углам!  
 Наша дружба – высокой пробы!  
 Все идите к нам!  
 И в жару, и в стужу,  
 В счастья и горя час,  
 Мы триста лет жили в дружбе,  
 Тем более – сейчас.

Мы, люди XXI века, конечно, несколько скептически оцениваем взгляд Торбова на Октябрь и вообще на начало XX века, но с одним не согласиться нельзя: дружба между шорцами и русскими, основанная на взаимной симпатии и взаимном интересе, всегда была, есть и, хочется верить, будет. И нельзя отрицать того, что начало

XX века значительно улучшило Горную Шорию: из одинокой окраины она действительно превращалась в один из центров совместного труда народов, здесь появились города и стали культивироваться невиданные тогда блага (электричество, радио, различные машины, в том числе автомобили, трактора и т. п.).

Та же советская власть (у Торбокова она вместилась в символы – Октябрь, Москва) в те годы административно объединила разрозненные шорские земли и создала доселе невиданное – Горно-Шорский национальный район, в котором простые шорцы сами стали решать свои насущные вопросы, в том числе культурные. Впервые за всю историю шорского народа стала выходить газета на родном языке, публиковались книги, учебники, каждый ребенок мог свободно учиться на своем родном языке. Истины ради заметим, что шорская письменность и преподавание родного языка в школе были и ранее (с 40–50-х годов XIX века), но учились в школах не все дети, а только явно способные, родственники паштыков и те, кому повезло попасться на глаза пришлому миссионеру. Речь идет о церковно-приходских школах, их в Шории было сначала одна-две, к началу XX века стало десять, одну из которых в свое время окончил сам Степан Торбоков. И однажды публиковались на шорском языке рассказы из Библии и псалмы. Начало же XX века внесло в национальное просвещение невиданный демократизм (школ стало более сорока, что для маленькой Шории очень даже немало).

Все это сообщается для того, чтобы мы могли понять, почему Степан Торбоков всю жизнь был очарован советской властью, т. е. Октябрем и Москвой.

Я слышал с детства о тебе, Москва,  
Ты для меня – как святыня!  
Я с детства мечтал увидеть тебя, Москва,  
А посчастливилось только ныне!  
...Радость наделяет силой,  
Сносит трудности, преграды.

Уж давно она вселилась,  
Октябрём зову ту радость.  
За Октябрь я бился, стал я  
Вечно молодым за это.

Тем более что революционные преобразования в Шории при-  
шлись на самые молодые его годы (человеку ведь так свойственно  
идеализировать время своей молодости), поскольку именно тогда он  
сформировался как личность, а значит, это были лучшие годы его жиз-  
ни. И что с того, что свободный труд, равенство, братство оказались на  
деле только декларацией? Что с того, что та же советская власть со вре-  
менем ликвидировала Горно-Шорский национальный район, вернув  
шорские земли и народ в прежнее состояние разрозненности, закры-  
ла газету, убрала преподавание по-шорски, не стала печатать книги и  
учебники на шорском и вообще обрекла язык на умирание? Что с того,  
что благодаря той же власти сам Торбоков никогда не видел и даже не  
имел надежды увидеть свои замечательные стихи напечатанными на  
родном языке, а только переводы? Все равно для Торбокова время его  
молодости – лучшее и советская власть – лучшая. Такова логика фор-  
мирования человеческой личности, с которой нельзя не считаться. И  
все, им любимое, прекрасное и высшее, отразилось в его стихах.

Можно добавить, что Степан Торбоков – своего рода мост между  
человеком и природой. Он в стихотворениях воспроизвел характер-  
ное для шорской культуры уважительное отношение к природе как к  
живой целостности, как к отдельному миру, который не ниже челове-  
ческого. Более того, природа у Степана Торбокова стала настоящим  
героем его произведений, например деревья, горы, ветер и т. п. Они  
умеют чувствовать, переживать, они имеют свою судьбу.

В свое время книжка поэта «Струны кай-комуса» потрясла меня.  
Первое мое впечатление было таково: сквозь слова я уловил, что поэт  
вполне серьезно и искренне уравнивает деревья, зверей и горы с чело-  
веком. Для него они такое же человечество, как и сообщество людей.  
Относится к ним как к живым людям, радуется встрече с ними, чув-

ствует их душу, знает их судьбы, сопереживает им. Это было для меня неслыханно! И узнаваемо. Я вспомнил, как мои бабушка-нанека, бабушка-авий и мама относятся к своим домашним животным. Они разговаривали с ними, словно с людьми, сопереживали им, иногда посмеивались над ними, иногда упрекали, сердились на них всерьез. А в дни, когда кололи этих животных, они затворялись в доме и тихо плакали. И как отец мой, перед тем как срубить дерево возле дома или в тайге, долго курил и шептал себе под нос какую-то молитву. То же самое он делал и на охоте, прежде чем идти за зверем.

Я понял, что у моего народа это не было блажью, чудачеством или, скажем, ненужной сентиментальностью, а было исконным шорским отношением к природе, отношением живого к живому, души к душе, одного мира к миру другому, равного к равному. Шорцы уверены, что животные умеют чувствовать, понимают человеческий язык, они тоже люди, тоже человечество. Шорцам бывает стыдно перед животными, могут ждать от них отщепенства, а также душевности. Просто животные, звери сказать не могут. Охотясь, срубая деревья, шорцы искренне и серьезно просили прощенья, это был целый ритуал.

Именно такое исконно шорское отношение к природе прослеживается в произведениях Степана Торбокова. И это не характерное для литературы олицетворение, нечто созданное для красоты, хотя в олицетворении главный герой – тот же самый человек, а не природа сама по себе. Здесь же природа выступает полноправным героем, а человек (в данном случае лирический герой) лишь путешественник, общающийся, скажем, с осиной, березой и сопереживающий им. В этом случае человек не чистый лирический герой, а, скорее всего, лироэпический, водящий читателя по природе и знакомящий его с ней, отображающий ее так насыщенно, что способен вызвать сопереживание у читателя. Такой лироэпический герой у Степана Торбокова остался от его деятельности кайчи, лишь была усилена лирическая струя. Его поэзия лироэпична по своей природе, экстравертивна, направлена на внешний мир более, чем на свой внутренний. Вот отрывок из стихотворения о январе:

Однако красив ты, вот возвращаюсь я лесом,  
еловые ветки в снежных шубах сидят –  
как будто зайцы – вверх по дереву тесно  
и на меня доверчивым взглядом глядят.  
Но стоит ветру верткому объявиться,  
холодным порывом выскочить исподтишка,  
как тут же зайцы наземь стали валиться  
и разбиваться, гибнуть в моих ногах.  
Погибли, видно, не все, один – настоящий – заяц  
помчался вброд от ног моих юрко прочь,  
то будучи виден средь снега, то с ним сливаясь,  
и скоро исчез в поземке – призрак точь-в-точь.

Мы думаем, что и человек нашего века найдет в поэзии Степана Торбокова много для себя нового, интересного и полезного, узнает что-то свое в его поэтическом мире, почувствует свою сопричастность этому удивительному миру, а также – миру шорского фольклора.

Екатерина Тюшина, Татьяна Киреева

## БИОГРАФИЯ СТЕПАНА ТОРБОКОВА

Степан Семенович Торбоков, замечательный кайчи-сказитель, неутомимый собиратель шорского фольклора, подлинно национальный шорский поэт, родился 21 декабря 1900 года в улусе Тагдагал (ныне г. Осинники). Во время его рождения это был аймак (район), состоявший из нескольких шорских аалов во главе с улусом Тагдагал (параллельное название – Осиновка). Его дед и отец были потомственные охотники. Степан рано приобщился к охотничьему ремеслу, вместе с отцом уходил в тайгу на несколько месяцев. А еще с детства тянулся к знаниям. В 1913 году он окончил церковно-приходскую школу и попытался поступить в Бийское катехизаторское училище, однако не вы-

держал вступительных экзаменов. А в гимназию сыну охотника-шорца в дореволюционной России дорога была закрыта. Он вернулся в свой улус и вновь занялся таежным промыслом. Ему было девятнадцать лет, когда умерла мать, пришлось помогать отцу воспитывать младших братьев и сестер. Потом и отец погиб в тайге: один отправился на охоту в лес, попал в ураган и замерз.

Тайга для Степана была вторым домом. Неделями он не бывал дома – в любую погоду, и в летний зной, и в зимнюю стужу, ходил охотничьими тропами вдоль Томи, Мрассу, Кондомы, охотясь на соболей, белок, коз, маралов. По возвращении домой охотников встречали шумно. Устраивали праздник – той. Степан любил эти необычные вечера, наполненные народным фольклором. Сам он был хорошим певцом и исполнителем шорских песен. Пел и песни собственного сочинения, рождавшиеся в его сердце на привале у костра. Песни звучали в сопровождении любимого музыкального инструмента – кай-комуса.

Так бы и жил он жизнью охотника, если бы не пришла в Шорию революция. Во время колчаковщины хотел идти в партизаны, но ему посоветовали ходить с кай-комусом в народ и петь героический эпос, с тем чтобы герои сказаний были похожи на партизан. И Степан стал петь о храбрых богатырях, зажигая патриотизмом сердца слушателей.

Еще шла Гражданская война, а Торбоков уже мечтал получить высшее образование и стать учителем, чтобы учить детей своего маленького народа. Однако мечта не сразу сбылась. «После изгнания колчаковцев, – вспоминал Торбоков, – стал работать в родном селе заведующим народным домом и уполномоченным сельсовета, стал разъяснять односельчанам советское законодательство и помогать людям управлять своим хозяйством». Он организовал в Шории потребительскую кооперацию, учил грамоте. Тогда же начал записывать песни своего народа и песни, сочиненные самим, отличавшиеся своеобразной композицией и удивительными метафорами.

В 23 года Степан Торбоков заявил о себе как поэт. И хотя, по его мнению, стихи были слабы, они полюбились шорскому народу, ведь в них была воспета родная природа, чувства и быт населения. Его по-

трясающее воображение, поэтическое чутье, природный вкус и в то же время простота и лаконичность стихов восхищают до сих пор.

В 27 лет Степан Торбоков поступил на курсы ликвидации неграмотности в городе Мыски, а после окончания их открывает ликбез у себя в улусе. Обучал грамоте взрослых, посадил за парту и жену Татьяну, которой было в то время 22 года. В 1930 году его посылают на учительские курсы в Красноярск, по окончании которых Торбоков становится учителем в Тенеше, а через два года был переведен в тайлепскую школу преподавателем географии и биологии. А еще преподает шорский язык. Село Тайлеп входило в состав Горно-Шорского района, и наряду с русским языком и литературой все учащиеся школы, в том числе и русские дети, изучали шорский язык. Вскоре его назначают директором школы, и он не только учит детей, но и занимается ремонтом помещения, заготовкой дров. Кроме того, надо было содержать в тепле и чистоте два общежития – для девочек и мальчиков, учащихся тайлепской семилетней школы, в которой учились дети из соседних сел. Из-за отсутствия транспорта детям приходилось жить в этих общежитиях. Степан Семенович часто приходил по вечерам в общежития, играл с детьми, рассказывал им сказки, загадывал загадки.

Кроме многочисленных школьных дел Торбоков вел большую пропагандистскую работу – агитировал за колхоз. Руководил художественной самодеятельностью, сам писал инсценировки для кружка, под кай-комус исполнял свои песни. Жизнь его была разнообразной и интересной, но он постоянно чувствовал нехватку знаний. В 37 лет Торбоков поступает на заочное отделение Томского университета, которое окончил в 1943 году с правом преподавать географию в средней школе.

Работая учителем, Степан Торбоков постоянно собирал и записывал сказки, песни, сказания шорского народа, слышанные еще в детстве. Дополнял свои знания рассказами стариков, знающих толк в народных преданиях и горловом пении. С детства он не расставался с шорским инструментом комусом, даже на охоте. Именно на этом инструменте Торбоков сочинил свою первую колыбельную для маленького братиш-

ки, которая впоследствии стала почти народной: ее распевали все матери в Тагдагале своим малышам, передавали в другие улусы.

Зная сотни сказок, Торбоков был прекрасным кайчи-сказителем. Сельчане приходили к Торбокову и просили сводить их в старинный мир богатырей, чудес и подвигов. Как и все кайчи, Торбоков сопровождал сказания каем, добавляя в красивую древнюю музыку что-то свое. Сказания были длинными, иногда рассказывались в течение долгой зимней ночи, а то и двух ночей.

И все-таки главным делом всей жизни, предназначенным Торбокову, была поэзия. В начале сороковых годов его стихи были переведены на русский язык хакасским поэтом Кильдичаковым и опубликованы в газете. В лихолетье Великой Отечественной войны поэт подчеркивал в своем творчестве тему единения с братскими народами. В это время он создавал патриотические песни, обращаясь к народному эпосу.

После войны Степан Семенович продолжал работать учителем и руководить тайлепской школой. И сочинял стихи, которые без всяких публикаций находили дорогу к сердцам людей. Из уст в уста передавали их из одного улуса в другой наряду с возрожденными им сказаниями шорского эпоса. Первое стихотворение на русском языке «О прошлом и настоящем» было опубликовано в 1949 году на страницах газеты «Кузбасс». В августе 1950 года Степан Торбоков был участником литературной среды Кемеровского литературного объединения при газете «Кузбасс», прочитал свои стихи на шорском и русском языках. В 1950-х годах Торбоков познакомился с поэтом Ильей Авраменко, который поддержал его творчество. Встреча эта окрылила шорского поэта, заставила еще более серьезно заниматься поэзией. В 1952 году в журнале «Сталинский Кузбасс» было напечатано стихотворение «Песня шорца» в переводе С. Соколовской. В 1950–1970-х годах стихи Степана Торбокова в переводах поэтов М. Небогатова, В. Махалова, Г. Сысолятина регулярно появляются на страницах журналов «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», в газетах «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», «Красная Шория» (Таштагол), «Маяк коммунизма» (Осинники), «Путь к победе» (Мыски), «Сельская

правда» (Новокузнецкий р-н). Печатаются в коллективных сборниках «Цветущая земля» (Кемерово, 1954), «Под звуки чатхана» (Абакан, 1958), «Поэты народов Сибири» (Новосибирск, 1967), «День поэзии» (1966, 1970, 1979), «Дыхание земли родимой» (1979), «Песнь о Сибири» (1982), «Сибирские строки» (Москва, 1984).

Особенно плодотворным было сотрудничество Степана Торбокова с Геннадием Сысолятиным. Хорошо знающий Хакасию, Горный Алтай и Горную Шорию, переводчик очень тонко прочувствовал и передал языковой и национальный колорит поэзии Торбокова. Именно в переводе Сысолятина вышли сборники шорского поэта «Белая береза», «Пихточка», «Струны кай-комуса». Сборники – это настоящая песня народу Шории, гимн ее красотам. А стихотворение «Шория» – настоящая увертюра ко всем стихам Торбокова. Много у поэта и философских стихов, которые заставляют задуматься. В стихотворении «Белая береза» он размышляет об исторических судьбах русского и шорского народов.

Все, кто хоть однажды соприкоснулся с творчеством Степана Торбокова, будут нести в своем сердце светлый восторг от простых и душевных стихов поэта. Его произведения переводили на языки народов СССР. Но, к сожалению, ни одно произведение Торбокова при жизни поэта не было напечатано на родном языке. А ведь именно Торбоков, когда из жизни шорцев стали исчезать последние черты национальной самобытности, сумел донести до наших дней записи на родном языке, делая подстрочные переводы на русский. В них тонко передана красота, напевность и необычайное музыкальное очарование шорской культуры. Его сказки вместе с реалистической точностью деталей проникнуты романтическим и глубоко сочувствующим отношением к простому народу, болью за его судьбу и восхищением его духовной силой.

В последние годы жизни Степан Семенович Торбоков жил в Осинниках. Писал воспоминания по истории Осинников и окрестных сел. Сейчас они хранятся в краеведческом музее г. Осинники. Торбоков жил всегда в гармонии с природой, у которой черпал жизненные силы. Из всех работ по хозяйству он предпочитал работу с пчелами. Во дво-

ре его дома было несколько ульев, и он ухаживал за ними. За этим занятием его и застала внезапная смерть. Это случилось 10 июля 1980 года. Степан Семенович ушел из жизни в саду, глядя в небо, куда, как он глубоко был убежден, улетает душа человека. Похоронен в пос. Тайлеп.

Степан Семенович Торбоков совершил гражданский подвиг. Его деятельность фольклориста поражает количеством и качеством проделанной работы. Творческое наследие Степана Торбокова – это золотой фонд шорской национальной культуры. Произведения С. Торбокова неизменно включаются в сборники и хрестоматии кузбасской литературы: «На родине моей повыпали снега» (1998), «Чедыген» (2007), «Писатели Кузбасса. Проза. Поэзия» (2007).

Центральная городская библиотека г. Осинники проводит большую работу по разысканию, сохранению и популяризации творческого наследия поэта. В 1995 году в Новокузнецке вышел сборник шорского фольклора, собранного Торбоковым, «Шорские народные сказки», а в 2006 году в Кемерове издана книга «Шория всюду со мной».

С 1993 года ежегодно в день рождения поэта в городе Осинники проходят областные чтения «Торбоковская яркая звезда». Результатом многолетней реализации программы «Великий кайчи» и проведения Торбоковских чтений стало создание электронной базы данных «Торбоков С. С. – певец Горной Шории». Она включает в себя библиографические записи, оцифрованные документы, презентации, иллюстрации, фотографии и песни шорского кайчи.

В 1999 году в Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского Валерием Степановичем Торбоковым, сыном Торбокова, были переданы предметы быта, утварь, среди которой и пчеловодческий инвентарь, фотографии, книги, документы, письма, рукописи, записи шорских народных сказок, загадок в его переводе. Среди рукописного наследия С. С. Торбокова хранится интересный письменный памятник – это рукопись произведения «Роман в письмах». Большое место в музейной коллекции занимают документы семьи С. Торбокова: диплом об окончании географического факультета педагогического института заочного обучения при Томском государственном универси-

тете, военный билет, свидетельство о браке с Анастасией Алексеевной Торбоковой, классификационный билет спортсмена сына Валерия о присвоении ему третьего разряда по шахматам и др.

Поэта, сказочника, собирателя шорского фольклора чтят и помнят его потомки. Школе пос. Тайлеп, где Степан Торбоков проработал много лет, присвоено его имя, в школьном музее создан мемориальный уголок с материалами о жизни и творчестве поэта. Именно в тайлепской школе написал С. Торбоков свои последние стихи. Самый из них известный – «Сельская учительница» – он посвятил Фаине Васильевне Апанасовой. В 2008 году в Тайлепе на месте захоронения установлен памятник С. С. Торбокову. Творческое наследие Степана Торбокова, мемориальная плита-памятник в пос. Тайлеп Сосновского сельского поселения в 2010 году названы одним из семи чудес Новокузнецкого района.

*Книги Степана Семеновича Торбокова:*

*Белая береза : стихи / перевод с шорского и обработка Г. Сысолятина. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1960. – 56 с.*

*Пихточка : стихи для детей / перевод с шорского и обработка Г. Сысолятина. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1960. – 12 с. : ил.*

*Струны кай-комуса : стихи / предисл. А. Глебовой ; перевод с шорского Г. Сысолятина. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1967. – 72 с.*

*Моя Горная Шория : стихи, сказания, сказки, загадки. – Новокузнецк : Изд-во НИУУ, 1995. – 94 с.*

*Шория всюду со мной : сборник произведений / перевод с шорского М. Небогатова и др. ; вступ. ст. Г. В. Косточакова. – Кемерово : Кузбасс, 2006. – 211 с.*

*Кок-Торчук : богатырские сказания кондомских шорцев / Б. Токмашов ; сказитель С. С. Торбоков. – Новокузнецк : [б. и.], 2018. – 341 с.*

*Шорские народные сказки / записал С. С. Торбоков ; составитель О. А. Упорова ; литературная обработка, вступ. ст. и коммент. Г. В. Косточакова. – Кемерово : Технопринт, 2019. – 142 с. : цв. ил.*

Софрон Сергеевич Тотыш

*11 апреля 1907 г., Мыски – 27 апреля 1981 г., Мыски.*

*Прозаик, фольклорист.*

## ШУНО-ХАН

### Шорская героическая сказка

Приехал сказочник-кайчи! Этот слух облетел аал, словно птица. В том доме, где остановился кайчи, готовится праздник. Стряпают пельмени, моют песком скамейки и пол. Еще не стемнело, а ребятишки и девчонки уже собрались. Им не терпится слушать сказку. Постепенно собираются взрослые мужчины и женщины, старики и старухи.

Наконец зажигают огни, приглашают кайчи садиться, сказочник берет комус, опускается на тахту и начинает настраивать инструмент. Все молчат. Если разговаривают, то тихим голосом. Старики и женщины сидят на скамейках или на стульях, а взрослые мужчины и ребятишки на полу. Некоторые даже лежат.

Кайчи настраивает струны кай-комуса. Сперва тихо, а потом громче. Все слушатели замирают. Тихо в доме, будто здесь никого нет, кроме сказочника.

Хриплым, горловым звуком начинает петь кайчи. Голос его сильный, мелодичный. В то же время его пению вроде бы подпевает совсем другой, послабее и ниже. Он идет неотступно за первыми звуками, то радостный, то грустно-печальный.

Все это двухголосое пенье, звуки комуса создают слушателям замечательные, восторженные впечатления. Но кайчи, спев минут десять, останавливается и начинает рассказывать.

1

Это было прежнего поколения позже, нынешнего шестисотлетия раньше. Там, где, синяя, нагромождались горы и, бушующая-шумя, текли реки, на берегу прозрачной реки Ак-су стоял девятиугольный дворец.

Вокруг без края, без конца, угол к углу прижимаясь, тут и там растянулись аалы. На необъятных пастбищах, друг другу на хвост наступая, бесчисленный пасся скот.

К окнам золотого оргея, солнцем и луной освещаемых, подошла толпа чайзанов и паштыки. Они шапки сняли и, колени согнув, поклонились. Просили выйти на крыльцо единственную дочку хана – Адору.

Из глубины девятой комнаты дворца выходила молодая Адора. Шесть няnek и семь прислужниц шли за ней. Три женщины ей кемис расстилали, пять девиц над ней веером колыхали.

Прищуриив черные глаза, взглянула Адора на покорно склонившихся чайзанов и паштыков, слегка скривив тонкие губы и о чем-то раздумывая, остановилась.

Молодая ханша Адора была красива, как полная луна, и сияла, словно восход солнца. Окутана в синие шелка, похожа на волны реки Ак-су при тихой погоде.

Все паштыки показали рукой на торе Шубая, чтоб он за всех слово сказал. Шубай в белом халате вперед вышел и громко сказал:

– Великий Кудай-бог у нас отнял три колена прожившего старика Кумуш-хана. Вчера мы схоронили его. Нет теперь у тебя, Адора, кормившего и растившего отца, родившей тебя матери. Слушайся нас, сорока паштыков и тридцати чайзанов. За тебя, ханша Адора, и за ханство наше мы постоим! Шестистенную каменную крепость воздвигнем, трехрядный забор построим. Ни один богатырь в нашу страну с криком не войдет! Ни один хан солнечного мира не посмеет войной прийти. Сильнейшей из всех ханов будешь ты, прекрасная Адора! Самым великим паштыком будешь ты!

Ханша поблагодарила, всех за стол посадила. Наилучшей пищей чайзанов и паштыков угощала и поила их свежим айраном.

Одни веселую песню затянули, другие, хвастаясь, себя в грудь били, что им теперь никакая война не страшна:

– На что нам топотом ста коней землю топтать, зачем голосом ста людей кричать?! Нужны ли нам каменные стены и железные запоры?!

– А если какой-либо злой хан к нам войной явится? – спрашивали чайзаны. – Кто отцовское стойбище и материнский очаг защищать будет? Кто силой меряться выйдет?

– Ханша Адора наша, – с улыбкой на губах ответил Шубай. – Любой богатырь, я надеюсь, красавицу Адору не тронет. Знайте, друзья, у

самого умного мужчины тридцать девять хитростей, а у самой глупой женщины все сорок. Чуть Адора улыбнется, неволнованный богатырь заволнуется, перед ней на колени встанет. А если заблестит она черными глазами, любого хана бестрепетное сердце затрепещет. Женская чара, друзья, кого не пленила?

После пира Шубай, провожая чайзанов и паштыков по аалам, махая рукой, повторял:

– Живите, родимые, спокойно в своих стойбищах! Пусть спины ваши не ноют и ребра не сминаются! На нашей милой земле ничего плохого не случится!

Уехали паштыки и чайзаны, ушел домой и Шубай.

Дни потекли, месяцы невидимо проходили.

Адора, как назначили ее ханшей, совсем неузнаваемой стала. Отощало стройное тело, похудело молодое лицо. Ходила, устало ногами перебирая. На все печально глядели прекрасные глаза.

Сказки нянек Адора перестала слушать. Не желала смотреть на танцы девушек. Только часто, наклонившись к окну, смотрела на синешую тайгу.

Однажды печальная Адора, задумчиво сидевшая у окна, вдруг встрепенулась. Лицо засияло, огнем загорелись глаза. Она, подобно ласточке, вылетела на крыльцо из дворца.

Приветливо улыбаясь, Адора белой ручкой подозвала к себе дюжего молодца, едущего по дороге на игреневом коне краснее крови. К крыльцу ханши он прискакал быстро, как ветер играя. Радуюсь встрече, поднял правую руку, горячо приветствуя прекрасную Адору, сделал девять поклонов.

– Ох ты, друг Шуно! Шуно! – со слезами на глазах воскликнула Адора. – Где ты годами, как странник, блуждал? В отцовское стойбище не показывался, в материнский очаг не приходил. Не знаю, какие мои слова тебя обидели? Чем я могла огорчить? Неужели по родине не скучал? Имеющий реку, пить не хотел?

Помнишь, когда ты был подростком, Шуно, в степи скот пас, ко мне тогда часто прибегал? Мы с тобой на прутики верхом садились, воображая их конями, по берегу бегали. Потом, вспотев, в Ак-су подолгу купа-

лись и катались на золотом песке. А как ты большим стал, Шуно, исчез из стойбища, как будто ты здесь на солнечной земле не был и не жил. Я никогда не боялась – испугалась. Не волновалась – заволновалась.

Шуно несколько раз тяжело вдохнул.

– Ох, милая Адора, превосходно сотворенная Адора! Если бы ты, прекрасная, все знала, таких горьких слов бы не говорила! Слушай, я все поведаю тебе.

Когда я пас скот в степи, ко мне подошел в шелковом халате старик Шубай. Он поглядел на меня, не мигая, и спросил:

«О Шуно, однако, ты взрослым стал? Сколько тебе лет минуло?»

Я ответил: «Семнадцатая весна миновала».

Шубай, раздувая левую щеку и скосив правый глаз, поинтересовался:

«Ты к ханской дочке ходишь? С ней вместе в реке Ак-су купаешься?»

Я, подтверждая, что это так, кивнул головой: врать и кривить душой совсем не умею.

С этого дня торе Шубай меня с пастухов снял. Отругал, чтобы я больше к тебе, Адора, не ходил и на тебя даже краем глаза не глядел.

Он сказал:

«Ты, Шуно, знай себя. Ты есть простой раб-кул. Недостоин на руки Адоры, когда она умывается, воды наливать. Адора скоро в отцовских стойбищах хозяйкой станет. На нашей тюлиберской земле ханшей будет! Ты, щенок, ей голову не тумань, сердце ее не порть. Она у нас самая лучшая из всего народа. Глаза у нее огня полны. Любого богатырь-хана, который с войной придет, без оружия победит!»

С гневом и горестью сказала в ответ ханша:

– Вот какой заступницей народа хочет меня сделать Шубай?! Под завоевателя подложить. Не выйдет! Мечта его не исполнится!

Шуно продолжал:

– Шубай отправил меня в тайгу охотиться. Велел по году домой не показываться. Там, в горах живя, тебя, Адора, я ни на один день не забывал, часто во сне видел. Иногда высоко на хребет горы поднимался. Далеко-далеко, где серебрится река Ак-су, виднелся ваш белый дворец. У меня сердце вихрем бушевало, а ум мой все к тебе, Адора, летел!

Тут прислужник Шубая издали рукой замахал, подзывая Шуно.

Сказал Шуно:

– Видимо, нас с тобой, Адора, Шубай увидел. Меня домой к себе вызывает.

Вымолвила ханша:

– Ладно, езжай, а вечером ко мне во дворец приходи. Теперь я сама себе хозяйка. За один стол сядем. Разговаривать будем, друг на друга глядя, скуку укоротим и печаль с сердца разгоним.

Шуно уехал.

## 2

Только он успел открыть дверь родного дома и через порог переступить, как за ним пришли три тас-ола Шубая. Они Шуно, как опасного преступника, повели к торе.

В этот раз у Шубая глаза скосились, увидев охотника, и руки в лихорадке затряслись.

– Ты пошто, упрямый баран, моих слов не слушаешь?! Опять с ханшей Адорой разговариваешь и мутишь ей голову! Знать, сказанное не доходит?!

Шуно как столб стоял перед торе, не проронив ни одного слова сквозь сорок зубов.

Шубай все громче кричал:

– Еще раз заметим, как ты к Адоре мылишься, шкуру с тебя сдерем или в степь вывезем. Там ухлопаем так, что собаке лизать крови не останется, ворон клевать мясо не будет!

Шуно поморгал-поморгал глазами и сказал:

– Адора теперь, однако, ханша наша. Если она останавливает, ты, торе, приказываешь не останавливаться? А когда подзывает к ней – не подходить?

Вздрыгнул Шубай от этих слов Шуно и, раздувая ноздри, проговорил:

– Ее слушать все мы должны. Но ты, Шуно, к ней с другим умыслом ходишь, иным чувством на нее глядишь. За это тебя в тайгу охотиться

отправляю. Три года в отцовское стойбище чтоб не приезжал, у материнского очага не показывался! Все, что надо будет тебе для жизни, мои тас-олы привезут. Переночевать тебе в аале не разрешаю.

Повернувшись, Шубай сказал тас-олам:

– Вы своих коней седлайте, в тайгу Шуно проводите. Каждый месяц ему доставляйте вдоволь толокна, меда и айрана. Мясо, рыбу пусть сам добывает. Пусть он в горах, среди леса, как в храме живет.

Сказал Шуно:

– Шубай! Больше не приду в твою юрту, не наступлю на твой порог!

Он резко повернулся и гордыми шагами ушел. Вошел в отцовский уй, сел на тахту. Внимательно оглядев материнский очаг, проговорил:

– Здесь мать моя готовила лапшу с мясом, пекла горячие лепешки. Теперь даже тени ее не видать. Мастерил у окна отец мои седла. Он ушел спокойно в страну доброго Ульгена. Теперь не у кого слова спросить. Не с кем посоветоваться. Мне здесь, в солнечном мире, имеющий черный разум торе Шубай спокойно жить не дает.

Прошло немного времени, как в дверь вошел тас-ол. Он, удивленно выпучив глаза, спросил:

– Ты, Шуно, громко разговариваешь с кем-то невидимым! Неужто ты кам?!

Шуно ни слова не сказал. Три раза поклонился материнскому очагу, шесть раз обошел вокруг отцовского дома, взял костяной лук и свистящие стрелы. Оседлал кроваво-игреневого коня, оперся в серебряное стремя. Поскакал. Следы копыт остались, а где скачет, взором не поймаешь.

За Шуно, подобно свирепому ветру, три тас-ола понеслись.

Не прошло времени сорок раз глазом моргнуть, Шуно уже на высокий хребет горы поднялся, в толщину спустился, на берегу реки Эмсу остановился. Коня на волю отпустил и вошел в старый свой отаг.

К вечеру явились тас-олы. Шуно их, за руки схватив и под мышками поддерживая, усадил за стол. Крепким айраном поил и сладкой медовухой угощал.

Опьянев, тас-олы стали корить Шуно и над ним смеяться:

– Ты, упрямая скотина! Великого Шубая не слушаешь?! Заставил его огорчаться! Скоро будешь видеть солнце сквозь отверстие иглы, из собачьей чашки будешь есть!

Сильная злоба охватила Шуно. Всех тас-олов схватил за шиворот, вытащил на поляну. Как с мячом с ними поиграл и домой отправил.

После этого он три дня, как больной, в отаге провалялся, затем захотел хотя бы издали посмотреть на белый дворец Адоры. Сел на игреневого коня, поднялся на гладкую седловину. Остановил коня и с высоты увидел молодую маралиху.

Заиграло сердце Шуно охотничьей страстью. Ударил коня и погнался за зверем. Маралиха заметила погоню и в полдневную сторону быстрее ветра понеслась.

Много стрел выпустил по зверю Шуно, но ни одна не смогла догнать маралиху. Много раз охотник ударял коня, но так и не настиг рогатую.

Рассердился Шуно. Отцовскую землю оставил далеко, к чужой стране стал приближаться. Игреновый конь так несся, что если сказать – бежит по земле, то стука копыт не раздается. А если сказать – летит, то шума крыльев не слышно.

На хребте желтой горы маралиха совсем из глаз скрылась. Видит Шуно, в степи разношерстный скот пасется, по-разному построенные юрты растянулись. На вечерней стороне, около голых скал, от земли к небу черное облако поднимается. Красное пламя блеснуло, яркая молния просверлила.

К голой скале поскакал Шуно. Там здоровый желтый парень камни срывает со скал и в степь бросает. В степи юрты разоряются и скот погибает.

Спросил Шуно:

– Зачем такую игру затеял, парень?

Улыбаясь правой стороной рта, желтый ответил:

– Там, где камни мои падают, люди старухи-хана живут. Пусть уходят подальше от нашей земли.

Шуно, удивляясь, пожал плечами:

– Значит, ты их озорством отгоняешь?

Желтый парень выпрямился, поглядел на охотника:

– Как я родился, такого, как ты, человека не видел! Из какой ты земли, красивый хан, будешь? С каким именем-прозвищем по свету ездить?

Ответил Шуно:

– Не хан я, не богатырь, а простой охотник. Гонясь за маралихой, в вашу страну попал. Сам я из древней страны тюлиберов буду. Присохшее имя мое – Шуно.

– Апо! – Радуясь, закричал желтый парень. – Ты человек из ханства Адоры! Какая удача! Великое счастье привалило мне! Я давно хотел увидеть человека-тюлибера. К вам в гости собираюсь, силу свою меряю. Если там беда приключится, смогу ли я за себя постоять? Пойдем в мой оргей поговорим.

Повел желтый парень Шуно в сторону шестиугольного дворца. Там у чугунной коновязи темно-карий конь стоял, сияя золотым седлом и серебряными уздечками. Собравшийся народ шапки снимал, здороваясь с Шуно, и между собой шептался:

– Чужой поступью конь пришел, другого обычая хан прибыл.

Желтый парень завел Шуно во дворец, посадил в почетный угол, за золотой стол. Чайзаны поднесли айран в больших пестрых чашках. Сказали, низко кланяясь:

– Пейте, потомки ханов!

– Конечно, – кивал головой желтый. – Пей за нашу дружбу. Я только с виду молодой, вокруг меня закрутились многие годы. Я, покоривший семь ханств, богатырь хан Муken буду. С девяти стран народ мне албан платит!

Весь день и всю ночь Шуно и хан Муken гуляли. Хозяин будто стал пьянеть, все расспрашивал у Шуно:

– Правда ли, что ханша Адора молодая и прекрасная? Верно ли, что она сверкает, как восходящее солнце, сияет, как полный месяц?

Шуно, подтверждая, кивал:

– От ее красоты днем половина лучей солнца темнеет, а ночью свет луны тускнеет.

От такого ответа хан Мукен так обрадовался, словно на седьмое небо поднялся. Сам ел и пил и Шуно угощал. Все интересовался:

– Сказывают, что торе Шубай, если какой богатырь или хан войной явится, Адору одну навстречу пустит – войска победить красотой. Великое чудо! Великое удивление! – хохотал до упаду хан Мукен. – Старик Шубай, видно, от старости умом ослаб?! Да, я хочу по вашей стране проехать. Красивую девушку встречу – в жены возьму. Ваш скот со своим соединю. Ваш народ со своим объединю. У меня пять жен. Ваша ханша Адора будет у меня шестой женой. Пять жен мне пятки скребут. А Адора, как молодая, будет мне голову гребешком чесать. Ты, Шуно, когда приду к вам, поможешь Адору взять. Скот и народ пригонишь в мою страну. У меня служить золотым чайзаном будешь. Дело есть – богатая, а без дела – плясать и как вихрь крутиться будешь. А пока будем друзьями, как два рога одного быка.

Хвастливые слова хана Мукена сильно рассердили Шуно. Он отставил пеструю чашу с айраном, вышел из-за стола.

– Ты, охотник, куда? – крикнул хан.

– У кого есть родина, тот всегда скучает, – ответил Шуно. – Гость, сколько бы ни сидел, уходит.

– Ну, смотри, охотник, – погрозил кулаком хан Мукен. – О чем мы с тобой здесь говорили, никому не говори. – Вдруг хан Мукен встряхнулся и, глядя исподлобья на Шуно, проси: – Ты, случаем, не богатырь?! Может, просто прикидываешься охотником? Испытаю, ну-ка ударь меня!

Поднял руку Шуно и по щеке ударил хана Мукена, словно девятиглавую стрелу пустил. Эхо загрохотало в долинах голых скал, черной рекой гул прошел.

– Теперь знаю, – сказал хан. – Ты Шуно-богатырь.

Шуно раскланялся. Хан Мукен сказал:

– Не тоскуй!

Шуно вскочил на игреневого коня, понесся. Куда понесся, хан Мукен глазами не нашел.

На восток по ровной земле на кроваво-игреневом коне Шуно быстрее ветра, сильнее стрелы мчался. Ни один зверь копытный забежать вперед его не мог, ни одна крылатая птица пересечь дорогу ему не сумела.

Долго ли, коротко ли Шуно ехал, на свистящий хребет поднялся. Увидел с высоты серебристую реку Ак-су, заметил отцовское стойбище. Дальше с горного хребта в степь спустился. Родная земля впереди расстиралась.

Тут навстречу ему из леса на беломолочном коне выехала молодая всадница. Одета в белый шелк, она сияла подобно солнцу. Это была ханша Адора. За ней ехали верховые в пестрых халатах. Впереди торе Шубай. За ним скакали тас-олы. Держали они путь в сторону дворца.

Узнала Адора охотника, коня во весь опор пустила.

Охотник снял шапку и низко поклонился ханше. Адора, радуясь встрече, с обидой спросила:

– Где ты, дорогой Шуно, пропадаешь? Зола твоего костра холодна, срубленные дрова не тронуты.

– Неужели ты на берегу реки Эм-су в моем отаге была? – удивился Шуно.

– Да! Да! – затряс острой, как шило, бородой Шубай. – Он шибко самовольным стал, теперь пустым ездит Шуно. Ни диких коз, ни глухарей не ловит. Иль лесной хозяйкой увлекся?

Адора раскраснелась, сильно волнуясь, спросила у Шуно:

– Помнишь, я тебе велела вечером ко мне во дворец прийти? Почему не явился, а в тайгу поспешил?

Ответил Шуно:

– О всякая Адора! Я еще тогда говорил: Шубай мне близко подходить не велит к тебе и даже глядеть в твою сторону не разрешает. Он считает, что наша дружба повредит делу ханства. Шубай в тот же день меня в тайгу погнал. Это знают тас-олы.

– Апо! Апо! – зашумели тас-олы. – Мы никого не видели! Ничего не слышали! Знать ничего не знаем!

– Вот ему и верьте! – злобно произнес Шубай.

Ханша посмотрела исподлобья на охотника и опять спросила:

– Куда Шуно ездил так далеко? Твой игреневый конь весь в пене.

– Слушайте, – ответил охотник. – Я расскажу вам великую новость! Охотясь на молодую маралиху, попал я в страну хана Мукена. Он сказал, что году не пройдет, как к нам войной явится. Отцовское стойбище усыпит, материнский очаг разорит.

Услышав это, громко захохотал Шубай:

– Не расстелется на нашей земле черный туман! Не поднимется грязная пыль! Не потускнеет солнце! Не побледнеет луна! На нашу землю вошедший богатырь обратно не выбежит! Иным обычаем будет сражение. Узнают другую поступь борьбы.

– Что-то непонятное говоришь, Шубай, – сказала ханша. – У нас нет богатыря, нет войск. Взять на испуг хана Мукена собираешься?

Шубай слегка махнул рукой:

– А, краснеть нам, как заря, не надо. Не нужно бледнеть, подобно бересте. Хан Мукен к нам не придет. Ему народ семи ханств албан платит. Он просто озорник! Зачем ему война? Он знает: на войне не родят, а убивают. У него уже есть пять жен, для чего ему шестая жена? А если все-таки в наш край придет хан Мукен с войной, мы свое дело сделаем. Побежим к нему и схватим его за руки ласково. Во дворец, Адора, к тебе поведем и за золотой стол посадим. Угощать хана Мукена крепким айраном будем. Ты, Адора, с ним наедине посидишь. Чашками чокаясь, поговорите. Про худое разговаривая – погорюете. Про хорошее беседа – посмеетесь.

– Скверные твои слова, Шубай! – сказала ханша. – Пусть ветер их унесет!

Она прижала стремя, помчалась, как вихрь, в сторону девятиугольного дворца. За ней поскакали Шубай и тас-олы.

Шуно тихим шагом направился в свой берестяной отаг. Три дня там спал и отдыхал. Утром на четвертый день умылся, поел. Выйдя из отага, стал звать игреневого коня. Но конь не отвечал и не показывался. Слова охотника только эхо повторяло, а конь словно в воду канул.

Шуно поднялся на высокую гору, чтоб поглядеть кругом подалее. Но нигде коня не видно и не слышно.

Сел охотник на белый камень отдохнуть. В сердце его кипел черный ком обиды. Он подумал: «Не зверь же игреневого украл? Все это дело рук Шубая. Он, наверно, тайно послал своих тас-олов, чтобы меня пешим оставить. Чтоб больше в чужие земли не ездил и о намерениях богатырей ханше не говорил».

Шуно долго глядел в небо до самой синевы, где высокие горы казались низкими, а большие реки – маленькими. Там, где река Ак-су серебристой лентой блестит и, солнцем освещаемый, раскинулся отцовский аал. Стремилось туда сердце Шуно. В душе словно золотые колокольчики зазвенели и будто запели шесть соловьев.

А когда Шуно глянул на склоны зеленой долины, то опять увидел пасущуюся молодую маралиху, за которой гнался он до земли хана Мукена. Маралиха поднимала девять раз голову, но Шуно не замечала.

Опять у охотника закипело сердце поймать зверя. Но тут он сам над собой посмеялся: «На игреневом коне догнать не смог, стрелы свистящие не смогли поразить, а пешком что можно сделать?»

Потом охотник думал, думал и решил взять маралиху хитростью.

Три дня, прячась, следил Шуно за маралихой. Узнал: перед утром она у горного озера на водопое бывает.

Вечером охотник на тропе маралихи на толстой ветке спрятался, как хорек. Не шевелился, тихо дышал. Уши его ловили малейший шорох, каждый шелест листьев. Глаза внимательно глядели на тропу.

Почти всю ночь пролежал Шуно, маралиху не видел, не слышал. Вот уже краски ночи стали меняться. На утренней стороне заалело небо. Деревья ясней стали видны. В долинах туман поплыл, вершины гор зазолотились. Услышал Шуно: на горе сухая ветка сломалась, маленький камешек оттуда вниз скатился. Потом опять стало тихо, только птицы свистели.

Пришло время выкурить трубку табаку. Шуно заметил тихо спускающуюся с горы маралиху. Долго не думая, охотник, как рысь, прыгнул на спину зверя.

Фыркнула маралиха и понесла Шуно быстро, как пуля, и скорей, чем сказанное слово. Обмотал охотник кушаком шею маралихи. Сколько ни старался остановить ее – не в силах был. Через острые скалы перепрыгивала, высокие горы перелетала, через большие реки переплывала. Далеко позади осталось отцовское стойбище и материнский аал. Не знает Шуно, по какой земле несется.

Вот опять горы и реки, дальше ровная синеющая тайга раскинулась. Вдруг маралиха резко остановилась и шарахнулась в сторону. От этого толчка слетел на землю Шуно и не видел, куда зверь делся.

Он встал, посмотрел вокруг. Так же, как на его родине, чистые реки текут. Такие же озера блестят. Лес тянется из зеленых пихт и белых берез, но человеческого жилья нигде не видеть.

Побродил охотник по тайге, из речки воды напился, под дерево спать улегся. Не мог он без лука и стрел добыть зверя или птицу. Три дня, кроме ягод, ничего не ел.

Шуно, никогда прежде не скучавший, скучать начал. Раньше не утомлявшийся – утомился. От голода его тело опало, показались толстые кости. Малый ветер его стал качать. Скоро, видно, солнце и луна насквозь будут его просвечивать. Сам не знает Шуно, в какой земле положит свои кости.

«Жаль, – думает он, – что не на родной земле умру. Еще хуже того: наш народ будет угнан в чужую страну и я горести вместе с ним не разделю».

Вдруг слышит, кто-то к нему приближается. Собрав последние силы, поднял голову. Но это был не зверь, а белолицый, бородатый человек.

## 4

Движением рук и выражением лица рассказал Шуно незнакомому богатырю, как он в эту страну попал. А теперь от голода свет забывать стал.

– Нет, – покачал головой бородатый. – Этого в нашей стране не будет.

Он поднял скорей охотника на ноги. Поддерживая, вывел Шуно на дорогу.

Долго ли, мало ли шли охотник и белолицый, на большое селение вышли. Дома здесь были четырехугольные, а крыши сеном и соломой покрытые. Окна не скотской брьюшиной желтели, а блестели стеклом. Дальше, на горке, большой десятиугольный дом стоял, сияя пятью крестами. После охотник узнал, что в этом доме часто шаманы песни пели и жгли богам восковые свечи. По широкой улице одомашненные гуси ходили, гуляли чушки-свиньи жирные.

Бородач к себе в дом завел Шуно и за широкий стол посадил. Жена его, золотоволосая, еду и питье подала.

За три дня охотник тело подкрепил, силу восстановил. Хозяина, оказывается, звали Константином, жену его – Марией.

Каждый день Константин показывал гостю, как скот держит, каких птиц кормит. На телеге возил Шуно по пашням, рассказывая, каким путем сено заготавливают. Оба любовались, как хлеба созревают.

Шуно так подружился с Константином, словно заблудившиеся голуби друг друга только что нашли. Охотник думал, что в этой земле тридцать дней живет, а оказалось, три луны прошло.

Он, давно забывший отцовскую заботу, вспомнил вновь. С малых лет не зная материнской ласки, здесь от Марии ее испытал.

Хозяева просили Шуно остаться навсегда на это земле. Говорили:

– Тебе, Шуно, дом построим и на белотелой россиянке женим.

Охотник от души поблагодарил Константина и Марию. Рассказал, почему он со дня приезда не спит спокойно и глядит все время на полдень. Его сердце кровью обливается, и думы покоя не дают. Скоро на землю тюлиберов злой хан Муken пойдет. Родные аалы разорит и сожжет. Половину людей усыпит, а остальных в плен угонит.

– Мне жаль. Долю их я не разделю, их горе мимо меня пройдет. Отпор злодею дать у нас нет ни богатыря, ни войска. Торе Шубай давно уговаривает не готовиться защищаться. Поэтому мы, тюлиберы, воевать не умеем и никакой военной хитрости не знаем, – говорил Шуно.

Константин внимательно выслушал и сказал:

– Я, брат, солдатом бывал.

Охотник попросил хозяина рассказать, как они отражали врага.

Хозяин охотно стал рассказывать:

– Наши деды и мы сдерживаем врага очень просто. Делаем на двоих доску-щит, как покрывшку стола, высотой в рост человека, сзади щита прикрепляется толстая палка. Она держит. Чтобы доска, когда поставишь, не падала. Видим: враг налетает на конях нас растоптать и замять. Мы мигом щиты ставим и за ними ждем. Неприятель об щиты ударяется и рушится, а мы из-за щитов его колем, из лука бьем. Ловко получается! Если надо наступать, мы щиты с собой берем иль позади себя оставляем.

Константин три дня и три ночи рассказывал Шуно, как они воевали.

Шуно словно учебу прошел. У него разгорячилось сердце, волнение покоя не давало. Губы его шептали: «Как мне без коня до родной земли добраться? Туда даже мысли мои с трудом доходят!»

Имеющий родину о своей стране скучает. Живший у реки свою воду жаждет.

Сказал Константин:

– Верны твои слова, друг Шуно. Буду тебя собирать домой.

Константин взял в руки аркан. Зашагал Шуно за другом.

Тихо перешли они реку, перевалили через хребет горы. В одной долине Константин велел другу немного отстать, а сам неслышно пошел вперед.

Не успел Шуно тридцать раз глазом моргнуть, как Константин привел заарканенную маралиху. От удивления Шуно чуть разум не потерял. Это была та самая маралиха, из-за которой он в страну хана Мукена попал, а потом на ней в эту землю приехал.

Дома Константин маралиху заузда и к большой сосне привязал.

Перед отъездом посадил Константин Шуно за стол и самой лучшей пищей угощал. Долго рядом вдвоем сидели, по-дружески разговаривая. Затем друг другу руки пожали, чтобы не скучать. Попрощались, чтоб не тосковать. Константин и Мария проводили Шуно.

Сел Шуно верхом на маралиху, помчался, словно вихрь, в полдненную сторону.

Видит Шуно: уже через желтую пустыню, куда сорока не долетит, маралиха его несет. Потом он над ковыльной степью пролетел, много гор перевалил, без счета рек перешел.

Отцовские горы уже ему стали кланяться, материнские реки ласково улыбаться. Поднялся Шуно на высокий хребет, с маралихи соскочил. Стал внимательно всматриваться в родную землю.

Но что это такое? Звери из логовищ своих бегут, птицы из гнезд улетают. В аале народ в движение пришел. Спустился Шуно бегом в родное стойбище.

Видит, около дворца много народу собралось, пеших и конных, вооруженных луками, пиками и саблями. Рядом с ними на земле старики, женщины и дети сидят. Белая, как снег, на крыльце стоит ханша Адора. Рядом с ней седой, как куропатка, старик Комалдай застыл и громко говорит:

– Наступил для нас печальный день! Проклятый хан Мукен на нашу землю идет! Не в гости, а опрокидывать наши очаги, усыплять отцовские аалы! Пройдет три дня – он здесь будет. Народ наш, старый и малый, против хана Мукена поднялся! Никому не полагается пятиться назад! Как пущенная стрела камня не боится, так воин с войны не побежит! Кто из вас готов сразиться с ханом Мукеном?

Шуно подумал: «Умереть за народ – не каждому такое счастье выпадает».

Он поднял руку и громко крикнул: – Я!

Все взглянули на молодого охотника. Тысячи глаз с восхищением смотрели на Шуно. Старый Комалдай искал глазами человека, пожелавшего один на один с могучим ханом Мукеном сражаться.

Народ на две стены разделился, давая дорогу Шуно.

«Это уже стоит моей жизни!» – подумал охотник, смело шагая к девяноступенчатому крыльцу дворца.

– Где ты бродишь, Шуно? – мягко спросила Адора.

– Скрывался, что ли, молодец? – крикнул кто-то.

– Нет, – ответил Шуно. – Меня за то, что с ханшей разговаривал, торе Шубай на три года в тайгу сослал. Лук и стрелы, игреневого коня украл.

– Повесить Шубая! – закричали люди. – Он теперь больным прикинулся!

Продолжал Шуно:

– Увидел я с хребта: неладное в стойбище происходит. Скорей сюда. Я хочу, чтобы вернули моего коня. Дайте мне железную кольчугу и саблю.

Адора приказала выполнить просьбу богатыря. Она спустилась с крыльца, взяла за руки Шуно и повела во дворец.

Когда Шуно и Адора остались вдвоем, он рассказал ханше, как был в далекой стране, о Константине, что там видел и слышал. Самое главное, поведал, как предки Константина воевали. Рассказал, как щиты делать.

Не теряя времени на вдох и выдох, Адора приказала народу делать щиты.

Днем и ночью готовили воинские щиты старые и малые. Шуно учил воинов, как их применять при обороне, при наступлении.

Три дня не прошло, как на три версты щиты были готовы.

## 5

Настал день боя. Одевшись в кольчугу, вооружившись саблей, Шуно стал как хан-богатырь.

Когда вышел он на крыльцо, весь народ громко крикнул:

– Эзен, Шуно! Живи, наш алып!

– Постой же за них! – показала рукой Адора на народ и прижала руку три раза к сердцу Шуно.

– Не пожалею сил! – ответил Шуно.

Быстро подошел к своему любимому коню. По шее его погладил и как птица взлетел на серебряное седло. Сняв шапку, впереди войска и народа поехал. У дворцового крыльца остановил коня.

– Храбрый Шуно на игреневом коне ездящий! – проговорил громко старый Комалдай. – Пусть не будет такого перевала, через который ты не смог бы проехать! Пусть не будет такого брода, через который не

смог бы перейти! Трехглавая стрела хана Мукена пусть тебя не сразит! Солнечного света пуля пусть тебя минует!

От этих слов почувствовал Шуно прилив в себе богатырской силы. Сердце его билось теперь только для отваги.

Вдруг, когда еще разговор не кончился, когда смотрящий глаз не успел моргнуть, на берег реки Ак-су ворвался ветер. Вершины деревьев закачались, вдали гора задрожала. На краю хребта саврасый конь остановился. На нем сидел сам хан Мукен.

Увидев врага, лицо Шуно три раза переменилось. Сперва как белая береста стало, потом оно почернело, подобно печени, наконец, как пламя, покраснел Шуно. Коня повернул, ветром понесся к хану Мукену. Колыбелью закачался дворец с крыльцом. Конные войска понеслись за Шуно.

Как только выехал он на широкое поле, с горы спокойно спустился на саврасом коне хан Мукен. На боку держит он обнаженную саблю, за ним, подобно черным муравьям, конные и пешие войска двигаются.

Стал горячить своего коня хан Мукен, криком тысячи богатырей заорал:

– Где ваш алып? Кто храбрый, иди со мной бороться! Я скручу его, как сыромятный ремень!

В это время, за конными прячась, подошли пешие войска Адоры. Приказал Шуно:

– Стойте, не показываясь, за хвостами коней. Когда войска хана Мукена двинутся на нас, разверните щиты свои, как загородь поставьте, наших конников пропустите назад. Как налетят войска хана Мукена к щитам, бейте и колите их. – И добавил: – А сейчас торе Шубая сюда доставьте немедленно!

И Шуно вперед своих войск выехал. Увидев его, хан Мукен захохотал и спросил:

– Эй, комар, как твое имя-прозвище? Ты не охотник ли?

– Да! – сказал Шуно. – Я буду на игреневом коне ездящий охотник Шуно!

– Ха-ха-ха! – залился смехом хан Мукен. – А я думал, ты богатырь-а-лып! Запомни, на игреневом коне ездящий охотник! В мою руку попавший заяц вновь по степи не побежит никогда!

– Ты, хан Мукен, с короткой памятью! – закричал Шуно. – Забыла мою руку? Ты извергал черную кровь!

– Тогда я прикидывался! – засмеялся хан Мукен. – Лучше ты побыстрее Адору веди сюда! Если хочешь, чтоб жива была твоя голова! Я вашу ханшу, сквозь стремена протаскив, в свою страну увезу!

В этот момент в ухо Шуно шепнули:

– Привели торе Шубая.

Приказал Шуно:

– Пусть торе вперед выходит!

Спотыкаясь на каждом шагу, дрожа, как береговой тальник в половодье, вышел на открытое место Шубай.

– Иди навстречу хану Мукену! – сказал Шуно. – Ласково его встречай! Веди его к себе в гости! Ты же хотел хана Мукена хитростью ума взять.

– О, Шубай! – засмеялся хан Мукен. – Ты своих недорого продаешь, а меня подавно даром отдашь!

Он послал одного всадника к приближающемуся Шубаю. Конник махнул саблей, и Шубай положил средь поля свои кости. Никто из тысячи людей войск Адоры не сказал ни слова горести, ни один человек глазом не моргнул.

Только Шуно у хана Мукена спросил:

– Зачем в нашу страну пожаловал?! Аль толстая шея зачесалась?!

Услышав последние слова Шуно, лицо хана Мукена подобно копыти казана стало. Как гора надулся, исподлобья поглядел. Полы шелкового халата подогнул, рукава засучил. На бешеного быка стал похож.

Шуно на полном скаку ударил кулаком по надувшейся щеке хана Мукена. Звуки удара разнеслись по степи, перекатились, как гром, по горам. Слетел с седла хан Мукен, по полю перекатился. Вверх лицом перевернется – черной кровью харкнет, вниз лицом перевернется – красной кровью фыркает.

– Есть, оказывается, богатырь в этом солнечном мире – так ударить меня! – проговорил удивленно хан Мукен, вскочив на ноги.

– По-хорошему прошу, хан Мукен, убирайся отсюда, пока жив и здоров!

Без слов подбежал хан Мукен, схватил за кушак Шуно и с коня вместе с седлом сорвал.

Долго они на земле, как злые собаки, дрались, подобно свирепым быкам орали. Долго бились, топтали друг друга, но никто из них победить не мог.

На третий день плечом к плечу сошлись. На шестой день на том месте, где они бились, черный туман пал. Связанные из цепей кольчуги распозлились. Высокие деревья ломали, низкие с корнем вырывали.

Тут Шуно крепко-накрепко за ремень схватил хана Мукена и к небесам поднял. Перед луной трижды повернул, перед солнцем шесть раз обернул и на черный камень бросил. Пыль с земли до неба поднялась. Темные туманы на землю с высоты упали. Там, куда упал Мукен, красное пламя блеснуло. Из черного тумана Шуно вышел. На лбу его даже пот не выступил, к рукам его кровь не пристала.

Сказал Шуно:

– Дикая коза, которая умереть хочет, сама бежит перед охотником. Хан, который погибнуть хочет, сам лезет с войной в чужую страну.

Тут из войск погибшего Мукена кто-то выскочил вперед, подняв саблю, заорал во все горло:

– Отомстим за хана Мукена!

Задвигались войска хана Мукена и черной волной пошли. Лица воинов покраснели подобно пламени, а пики их словно темный лес двигались. Как грозная волна зашумели. Быстрее ветра неслись, на солнце стальные сабли заблестели.

– Подготовиться! Гостей встречать! – скомандовал Шуно. – Щиты плотно поставьте перед собой.

Вмиг перед войском Адоры, как крепость, сплошной стеной выросли щиты и на три версты растянулись.

Налетели на загород войска Мукена о щиты ударялись, как горох об стенку. Падали, шарахались кони, сбрасывая седоков. Воины Адоры

кололи и били врагов, из их трупов горы выросли, а из их крови потекли реки.

Наконец воины хана Мукена закричали:

– Великая беда к нам пришла! Бежим!

И бросились бежать.

За ними понеслись конники Адоры. Направо и налево махали стальными саблями. Уже не осталось из войск хана Мукена стоящих на ногах. Не стало ударяющих руками. В войске Адоры запели победу!

## 6

Возвращались с песнями с поля сражения войска ханши Адоры. Впереди всех ехал на игреневом коне Шуно. Люди стойбищ, как реки на перекатах, радостно шумели. Шуно, улыбаясь, молодым головой кивал, старикам руку подавал, слезая с коня.

Когда остановил коня у дворца, ханша Адора как десятилетняя девочка выбежала. Взяв за руку Шуно, сойти с коня помогла и, поддерживая под руку, повела во дворец.

Ханша немедленно велела чайзанам пир устроить.

Не успел Шуно тридцать раз глазом моргнуть, как во дворе дворца и на улицах загорелись костры. Из казанов пар до седьмого неба поднялся, наполнились шестирядные тугеса айраном, накладывались горы жареного мяса на столы.

На великий той стал собираться со всех сторон народ. Приходили люди в заплатанных шубах, приезжали в шелковых халатах. Толпились, как ласточки, вокруг дворца, кишели подобно муравьям.

Адора от себя Шуно не отпускала ни на шаг. Самую хорошую пищу сама подавала, что есть лучшего во дворце показывала.

Старый Комалдай подошел к ним и сказал:

– Собралось много народу перед дворцом. Ханша и алып, скажите им добрые слова.

Шуно, Адора и Комалдай вышли на крыльцо. Увидя их, зашумел народ.

Адора налила в чашу вина, подняв, поклонилась людям и сказала:

– Хан Мукен шел к нам, чтобы очаги наши потушить, стойбища усыпить и скот угнать! Хотел великим ханом быть. Над нашими трупами свой кай играть и веселую песню петь! Нас от этого спас наш альп Шуно!

– Слава Шуно! – закричал народ.

– Пусть его жизнь долгой будет! – крикнул Комалдай, высоко подняв чашу с вином.

– Пусть славными дела его будут! Пусть не прольется кровь твоя! Будь нашим хан-альпом!

Крики приветствия как гром раскатились по народу.

Шуно в ответ сказал:

– Дикая коза, которая погибнуть хочет, сама навстречу охотнику бежит. Человек, который хочет быть битым, сам затевает драку. Так и хан Мукен.

– Верно! – согласились люди.

И пошли по рукам пестрые чаши с айраном.

Повела ханша Адора Шуно к себе в девятую комнату. Самым хорошим угощала. Долго сидели, дружно разговаривая, они вдвоем. Вспомнив о плохом – печалились, вспомнив о хорошем – радовались. Веселый огонь горел в глазах, в губах пылали ласки.

Адора держа за руку Шуно, уговаривала его пятьюдесятью словами, поворачивала шестьюдесятью примерами к себе. Смотря в глаза, запела:

В других странах я не была,  
Далекие земли не видела.  
Сердечного друга я здесь нашла,  
В своем стойбище нашла.

Весь загорелся от этих слов Шуно, тоже песней ответил:

В великом слове нет стыда,  
Песня твоя пусть сватом будет,  
О милая, прекрасная Адора!

Не отводя глаз от лица Шуно, она сказала:

– О молодой и храбрый Шуно! Честным и смелым родившийся, будь другом мне навечно.

Шуно ответил:

По горе ходить будешь ты –  
Посохом твоим буду я.  
По воде плавать будешь ты –  
Опорой твоей буду я.

Адора взяла за руку Шуно и вывела в большую комнату, где пировали самые почетные гости. Увидев ханшу и альпа, все на ноги вскочили и склонили низко головы.

Адора сказала:

– Постоять за меня – нет у меня братьев. Посочувствовать в горе и несчастье – нет у меня отца и матери. Придет тяжелый день – заступится за меня Шуно. Наступит горестный день – защитит от беды он меня.

Чуть не полопались от удивления глаза гостей, но ни один не вымолвил слова. А Комалдай погладил головы Адоры и Шуно и сказал:

Ударяющие руки пусть не достигнут вас!  
Выстреленная пуля пусть не берет Вас!  
Жизнь ваша пусть долгой будет!  
Дела ваши пусть великими будут!  
Мирно и спокойно живите.

Чайзаны зашевелились, тасы забегали. Устроили отцовского обычая свадьбу, сделали материнского обычая той. Шелковый платок подняв, лучших коней на бега посылали. Вытащив берцовую кость, выбрали сильных мужчин на борьбу.

Только на шестой день окончился пир. Истошились на бересту наложенные горы мяса, опустели туеса, загремели пустые казаны. Народ расходиться стал. Улетели птицы, насытившись. Собаки, ожирев, убежали.

Прошло три луны, как Шуно и Адора свадьбу сыграли и мирно, спокойно зажили. За это время на их земле ни разу большой ветер не дул, ни один чужеземный богатырь не являлся.

Шуно опять к себе тайга потянула. С утра до ночи на охоту стал ездить, зверя на бегу бил, птицу на лету стрелял.

Однажды, когда Шуно явился из тайги домой, чайзаны сказали ему, что Адора уехала к старому человеку, который их благословил, и велела ему туда же ехать.

Шуно стрелой помчался к дому Комалдая. Переступив порог, низко поклонился старику.

Комалдай был бледен, как бумага, худ, как лучина. Серебристая борода часто поднималась от тяжелого дыхания. У постели его сидела задумчиво Адора. Присев рядом, Шуно тихо спросил:

– Улучшается ли твое здоровье?

– Худо, – ответил Комалдай. – Но это не горе, не беда. – И, собрав последние силы, сказал: – Имеющий ворот, не позволяй хватать себя. Имеющий губы, не давай клеветать на себя. Сын Шубая, по имени Пайтан, хочет отомстить вам за отца...

Прервался на этом голос Комалдая, голова его бессильно упала на подушку. Больше ни слова он не уронил, грудь подняв, не вздохнул.

В стойбище собрался народ. Старику гроб сделали, поминки устроили. Женщины рыдали, расплетая раздвоенные косы. Мужчины плакали, закрыв лицо ладонями. Связали вершины молодых лиственниц вместе, туда кочак с костями Комалдая положили. Так он был схоронен. С собой унес тайны, какие хотел сказать.

После его смерти скончался сороковой паштык, а через день скончался старый чайзан. Так каждый день пошло. Какой-то невидимый враг стал сталкивать одного за другим самых хороших людей. Вскоре слух облетел стойбища, что вот-вот алып Шуно споткнется и упадет навсегда. До дворца дошел этот слух.

Залилась горькими слезами Адора. Тут чайзан сообщил, что Пай-

тан к ней идет. Адора быстро слезы смыла и как ни в чем не бывало вышла в переднюю комнату.

Поговорив с ханшей о погоде, Пайтан начал хвалить умершего Комалдая, но в конце разговора добавил:

– Последние дни жизни у старика совсем мало разума осталось. – Хитро посмотрел на ханшу, спросил: – Комалдай перед смертью ничего не наплел?

– Смерть помешала, – ответила Адора.

– Ну, пойду, – сказал Пайтан. – Что-то у меня спина ноет и сорок ребер сжимаются. Что-то у нас в ханстве случиться должно!

– Что-о? – сердито спросила ханша.

Пайтан как вкопанный встал.

– Ты у нас, Пайтан, полукам, – мягче сказала Адора. – Скажи, кому несчастье ожидаешь? Какую беду почуял? Ведь невозможно закрыть лучи солнца, нельзя потушить свет правды.

– Знайте, прекрасная Адора! – закрыв глаза, начал Пайтан. – Мне нет еще сорока лет. Простому чайзану не годится везде свой нос совать. Отец мой, Шубай, всюду лез со своими советами и пожеланиями – что же случилось? Обо мне тоже могут сказать: «Хвост волоча, лезет во дворец. За саблю держась, со злым умыслом к ханше ходит». Хотя у меня нет в голове наговоры шептать и заговоры плести. Милая Адора, у меня за твою честь сердце ноет, за ханство наше душа болит!

– Ну, если ты, Пайтан, что-то от своей ханши скрываешь... – сердито сказала Адора. – Какой же ты верноподданный?

– Это шибко верно! – кивнул Пайтан. – К моим ушам много неладных слухов доходит о нашем Шуно-хане. Правдивы ли они, я сам не знаю. Боюсь больше всего честного очернить, чистого замазать.

Внимательно слушая чайзана Пайтана, ханша глаза потупила, три раза вздохнула.

Продолжал Пайтан:

– В том, что наш уважаемый и любимый Шуно-хан горными девами увлекся, виноватым считаю своего собственного отца – Шубая. Это он своего раба-кула Шуно пристрастил к охоте. Он на много лун

отправляя его в тайгу. Шуно привык там в золе и пепле кататься. Там и познакомился с лучшими красавицами гор. Они закружили ему голову. Имея прекрасную жену Адору – не желает из леса выходить! Все же я шибко боюсь, – почесал затылок Пайтан, – что наговаривают на нашего любимого Шуно-хана люди по зависти или по злобе. Надо бы нам самим съездить к берегам реки Эм-су, где его отаг. Поглядеть своими глазами, что там делается.

Долго задумчиво стояла Адора. Она вспоминала последние слова старика Комалдая, что Пайтан хочет за отца отомстить. «Неужели Пайтан коварные сети плетет? Нас с Шуно-ханом в ловушку хочет поймать?» Потом она подумала: «А если на самом деле горные красавицы обнимают Шуно-хана и целуют?»

От ревности Адора аж вздрогнула и спросила:

– Ты, Пайтан, знаешь, где стоит отаг Шуно-хана?

– Как же не знать? – развел руками Пайтан. – Когда-то мы вместе с Шуно строили этот отаг. Он же был нашим рабом-кулом.

– Тогда поедem к берегам Эм-су.

Адора и Пайтан оседлали лошадей и быстрее ветра помчались в сторону гор.

На полном скаку чайзан Пайтан без умолку говорил:

– Вокруг нашего ханства живет много людей с черным разумом. Они нашему народу покоя не дают. Недавно в наши пастбища загнали много скота и целых девять дней пасли. На днях три табуна лошадей у нас украли, а где-то у истоков реки Ак-су трех красивых девушек увезли. Послушаешь, как наши паштыки в стойбищах простых людей в бараний рог гнут – волосы дыбом становятся! Разве мало дел для Шуно-хана?

– О воровстве девушек я не слыхала, – приостановила коня Адора. – Если правда – это ужасно!

– Эко, ханша, – ответил Пайтан. – Выше правды ничто не поднимется. Недаром говорят: ругай меня, но будь правдивым.

Пайтан и Адора вскоре подъехали к берегу Эм-су, где стоял отаг Шуно-хана. Обрадовалась ханша, что вот-вот увидит мужа. Но у коновязи не было игреневого коня. Не оказалось Шуно-хана и в отаге.

Увидев на топчане женское белье, Пайтан не своим голосом заорал: – Глянь, Адора, на это своими глазами, пощупай своими руками! Знать, слух о Шуно правдив и слова мои верны! – Понюхал Пайтан жадно нижнее женское белье и добавил: – Ух как пахнет! Приятным ароматом горного цветка! Аж голова у меня кругом пошла!

Стала Адора бледней бумаги. Рассердилась, злей свирепой росомахи стала. Быстро вышла она из отага, села на коня. За ней поехал Пайтан. Молчала ханша, и чайзан ни слова не уронил. По вольному шагу коней поднялись на хребет горы.

Вдруг округлил глаза Пайтан, показал рукой направо. На соседней вершине горы шли какие-то игры. Там раздавались песни, играл да-лей-комус, золотые колокольчики звенели и шесть красавиц без устали плясали.

– Однако, среди них веселится там Шуно-хан! – сказал Пайтан.

Адора даже головы не повернула, ни слова не уронила. О чем она теперь думала, нетрудно было догадаться.

Пайтан тоже старался выглядеть убитым горем, будто с занывшим сердцем возвращается домой. А на самом деле он весь светился изнутри. Чужое горе его всегда радовало.

## 8

Возвращался Шуно-хан из тайги в родное стойбище, играя на кае и напевая веселую песенку. Он думал, что на охоте был всего три дня и его любимая жена обрадуется встрече. Двумя руками его руки возьмет и с ласковыми словами во дворец заведет. Он преподнесет Адоре каменный цветок и тайменя из реки Эм-су. Скажет жене: «На охоту теперь ходить редко буду, больше по стойбищам буду ездить. Погляжу, посмотрю, как наш народ живет. Не обижают ли паштыки, не издеваются ли чайзаны?»

Адора обрадуется. Прошлый раз замечал он, что жена подолгу ночами не спит, часто вздыхает. Когда спросит о чем-либо, только горюет. Отвечала Адора, что ей жаль старика Комалдая, то вспомнила мать или

отца. По-своему ее понимал Шуно-хан: «Видно, стало обидно Адоре, что вышла замуж за простого охотника, который пропадает в тайге». Сегодня, полагал Шуно, он уладит все и жизнь у него как солнце засветится.

Тут почему-то на душе горестно стало, а сердце больно начало сжиматься, будто предчувствуя горе и беду.

– Откуда сердце знает, что будет впереди? – махнул рукой Шуно и громко засмеялся. – Ничего плохого не предвидится! Нет в моей семье места беде! Скоро будем мы с женой друг друга приветствовать и добрый пир устроим!

Задержки не было в пути Шуно-хану. Никого не встречая, быстро добрался до стойбища. Только хотел игреневого коня привязать к коновязи и бегом подняться по лестнице, как верь дворца настежь отворилась и на крыльцо вышла Адора, хмурая, как дождевая туча.

Она, показывая на дорогу, вскрикнула:

– Не смей, Шуно, к крыльцу подъезжать! Вон отсюда, мерзавец негодный! Затоптал в грязь мою любовь. Как отец твой был бродячим, так и ты таким же будь! Езжай к своей горной деве, а мне ты больше не муж!

– Адора, прекрасная моя! – вымолвил изумленный Шуно-хан. – Опомнись, что ты говоришь?! Откуда ты взяла, что я связался с горной девой?! Какой злодей наклеветал на меня? Вспомни, красавица моя, слова старого Комалдая, что он говорил перед смертью. Он же предупреждал нас: не попасть в ловушку чайзана Пайтана. Наверно, тебя огорчили его ядовитые слова?

Адора кинула прямо в лицо Шуно-хана нижнее женское белье:

– Это что?! Оно лежало на твоём топчане в отаге, на берегу Эм-су! Видишь, побледнел и растерялся! Правда блещет, а ложь заикается!

– Э, это коварная проделка врага! – сказал Шуно-хан. – Хотят нас с тобой поссорить. По правде сказать, горных дев на этой земле нет и не было. Я подолгу бываю в тайге, но никогда горных дев не видел.

– Не криви душой, Шуно! – резко вскрикнула Адора. – Люди говорят, что есть горные красавицы. Они устраивают всякие каверзы, а молодых мужчин к себе завлекают. Ты попал в их сети. Я ездила в твой отаг у Эм-су, где ты часто пируешь с горными красавицами. Обратным

путем своими глазами видела, как на тупой вершине одной горы полуголые красавицы танцуют. Уезжай, Шуно, отсюда. Я не только разговаривать, даже смотреть на тебя не желаю!

«Да, знать, хотят сделать рост низким, а жизнь короткой» – подумал Шуно и поехал в свой старый берестяной отаг. Лег в постель из легкого озагата и задумался. Ребра его заняли, закипело неволновавшееся сердце.

«Знать, кто-то невидимый для моего глаза старается, – подумал Шуно. – Черной грязью меня замазать и оклеветать скверными словами! Кто же мог положить на мой топчан женское белье и на тупой горе заставить девушек плясать? Эх, не жаль было бы простого народа, уехал бы на север к другу Константину, но не дело уезжать очерненным. Кто же старается меня с Адорой поссорить? Кроме чайзана Пайтана, больше некому. Только он может мстить за отца Шубая.

Тут легкий на помине в отаг Шуно крадучись вошел чайзан. От удивления глаза он скосил и развел руками:

– Апу! Что за диво? Наш славный Шуно-хан снова в своем старом отаге почивает, опять на ветхой постели лежит? Неужели с бедой встретился и несчастье на плечи его легло?

Лицо краснее печени стало у Шуно, а потом, как береста, побледнело. Он вскочил на ноги и гневно сказал:

– Тебе, хитрый чайзан, лучше знать, почему я в старом отаге оказался! Не твои ли коварные слова меня из дворца выгнали? Если ты алып – давай бороться! Если ты храбрец – давай сражаться!

Начал горестно Пайтан:

– По што такие недобрые слова, славный наш богатырь Шуно-хан? Лучше выслушай меня, тогда поймешь, что у меня нет в этом деле грехов. Я тебе не желаю никакого зла. Моя душа чиста, как воды реки Эм-су. Увидел, что из твоего отага дым столбом поднимается, пасется в ограде игреневый конь и зашпешил к тебе, алып Шуно-хан, чтобы сесть друг против друга и об истине поговорить. У старых друзей ни в чем не должно быть сомнения. Когда-то мы с тобой, Шуно-хан, на охоту ходили и из одной чашки воду пили. Дружны были, как два рога одного быка. Был я во дворце у ханши, спрашивал ее:

«Комалдай, выживший из ума, перед вечным сном не наговорил ли худого на меня?» Оказывается, всевысшая смерть не дала злословить на меня. Вижу, наша ханша Адора ходит хмурой, подобно дождевой туче. Глядит, как злая россомаха. Она сказала: «Ты знаешь, чайзан Пайтан, где отаг Шуно у берега Эм-су? У меня что-то сжимается сердце и на душе поднимается волна. Хочется скорей увидеть Шуно-хана».

Разве можно возражать ханше? Не слушаться ее – грех великий! Когда мы с Адорой доехали до твоего отага, славный Шуно-хан, тебя не было в нем. Увидела Адора на топчане женское белье. От гнева затряслась, как тростник. Побелела, подобно снегу. На обратном пути мы видели, как на тупой горе шесть девиц плясали без устали, но Адора сказала: «Это горные девы, которые с Шуно в любовную игру играют!» Она была вне себя от ревности. В это время я боялся ей слово сказать. Ты знаешь, Шуно-хан, я не верю, в горных дев. Это могли быть девушки, идущие по ягоды из стойбища. А вот женское белье на топчане, ума не соберу, откуда? Дураку ясно, что чья-то живая рука положила! Стало быть, великий Шуно-хан, не все люди нашего ханства имеют на тебя светлый разум. Видно, некоторым шибко тяжело, что наша ханша Адора тебе на правое плечо правую ручку положила!

На меня тебе даже нечего думать! Когда вы с Адорой поженились, я прыгал от радости до потолка. Разве могу быть тебе соперником, Шуно-хан? Погляди на меня – я красив как пень, а женщине надо сперва глазами приглядеться. Ты же здоров и красив, ты ведь из рода персов.

Сидел на тахте Шуно-хан и громко молчал. А Пайтан, сердито блестя глазами, продолжал:

– Адора не желает о делах ханства мозгами шевелить! На все скверные дела тебя, Шуно, сует. А когда выгоняла из дворца, наверно, немало унижала и оскорбляла?

– Да! – кивнул Шуно-хан.

– Эти скверные слова богатырю нельзя терпеть! – задыхаясь от гнева, вскричал Пайтан. – Отсеки ей голову!

Молча Шуно взял со скамейки нож с ножнами, заткнул их за пояс. Не сказав ни слова, вышел из отага.

Так обрадовался Пайтан, что готов был заплясать. Он думал: «Шуно-хан – человек очень горячий. Это уж точно – пошел казнить ханшу Адору». По обычаю старины, когда нет наследника хана, сын торе должен стать ханом.

Пайтан своего тас-ола подозвал и сказал:

– Скорей к дворцу! Последи за Шуно, но, что бы ни делал Шуно, в его дела не вмешивайся!

Тас-ол кивнул и помчался.

Веселый Пайтан вернулся домой. Сел он на тахту и размечтался:

– Скоро этот дом оставляю, во дворец ханский войду! Шесть жен заимею! Кто будет мне возражать, буду плеткой учить. Мешающих мне чайзанов и паштыков, как мух, буду уничтожать! Противников всех до одного перебью!

В это время прибежал тас-ол и доложил:

– Шуно-хан даже к дворцу не приблизился, сразу уехал в тайгу!

– Апу! – закричал Пайтан. – Что делать?

Он схватился за голову и закружился на одном месте. От досады и горечи сердце его защемило. Выпил горячительного айрана и винным паром подышал. Вызвал он самого преданного тас-ола.

– Когда ты смотришь на золото, огнем загораятся твои глаза. Я хочу тебе дать целый мешочек! Только сделай мне одно маленькое дельце. Ты знаешь?

Где на берегу реки Эм-су отаг Шуно-хана стоит? Ты там бывал.

Тас-ол кивнул.

– Возьмешь топор, секанешь по голове Шуно и вернешься домой. За это получишь мешочек золота, согласен?

Тас-ол уехал. Пайтан ходил взад-вперед по комнате и рассуждал в уме: «Если не убить Шуно, что может получиться? Шуно-хан и Адора могут снова сойтись. Как говорят? Ревность – душа любви. Тогда Шуно расскажет ханше, что я подбивал его отрубить ей голову. После этого мне остается, словно быку ждаться обуха!»

Перед утром возвратился из тайги тас-ол. Положил средь пола запачканный кровью топор и сказал:

- Гони, хозяин, золото, я выполнил твое указание!
- Уговор дороже денег, – сказал Пайтан и вышел из дома.

Не успел тас-ол три раза глазом моргнуть, в дом вместе с Пайтаном вошли пять соседей. Чайзан указал на тас-ола:

- Он убил Шуно-хана! Свяжите и заткните ему рот.

Повели убийцу во дворец. Пайтан первым вошел к ханше, на пол положил топор, запачканный кровью. Сделав большие глаза, доложил:

– Этим топором тас-ол со света сжил нашего Шуно-хана! Его душу в страну бога Ульгена отправил!

– Как?! За что?! – ударила себя по бедрам Адора, чуть не теряя сознания.

Не успела Адора еще вопрос задать, как ввели избитого тас-ола. Когда развязали преступника, ханша спросила:

- За что так сильно обозлился на Шуно-хана, что за топор взялся?

– Я на него не злился, – ответил тас-ол.

– Почему же ты убил его? – допытывалась Адора.

– За золото.

– Шуно-хан охотился, – поправил Пайтан. – Золото он не копал.

– Ты, Пайтан, нанял меня за золото убить Шуно-хана, – проговорил тас-ол. – А теперь, когда я все сделал, платить отказывается.

– Если ты, Пайтан, нанимал его на такие дела, – сказала Адора, – почему честно не рассчитываешься?

– Нет! – закричал чайзан. – Тас-ол лжет, я не нанимал его на такие дела. Перед отъездом в тайгу Шуно-хан любезно разговаривал со мной. Мы расстались друзьями.

– Все ясно, – сказала Адора. – Этим топором повредите голову тас-олу так же, как он сделал Шуно-хану!

Тут раскрылась дверь настежь. В большой зал вошел сам Шуно-хан, живой и здоровый. Подняв правую руку, всех поприветствовал. Склонив голову, сказал:

- Здравствуйте!

Увидев мужа, ханша от радости залилась слезами и глаза закрыла ладонями. А чайзан Пайтан громко вскрикнул:

– Что за диво! Что за чудо!

И упал на пол вниз головой.

Тас-олбросился к Шуно-хану:

– Скажи Адоре, что я не собирался тебя убивать! А то мне хотят, по настоянию чайзана Пайтана, голову снять.

Глядя на ханшу, Шуно-хан объяснил:

– В прошлую ночь ко мне в отаг на берегу Эм-су приехал этот тас-ол. Я крепко спал. Он разбудил меня, показал топор и рассказал, что его хозяин, чайзан Пайтан, послал его убить меня. Мы разговорились. Я его айраном угостил, покормил медом диких пчел. А чтобы он от Пайтана обещанное золото получи, топор замарали кровью дикой чушки.

– Уведите Пайтана к берегу Ак-су и умертвите! – приказала Адора.

Нукеры вмиг схватили Пайтана, скрутили веревкой. Только хотели чайзана вытащить за дверь, вмешался Шуно-хан:

– Подождите! – сказал он. – Не все выяснено. Скажи, сын Шубая, кто в мой отаг на берегу Эм-су отвез женское белье?

– Я! – ответил Пайтан.

– А кто девушек нанимал на тупой горе танцевать?

– Я!

У ханши Адоры от удивления округлились глаза. На лице светлей стало, будто его яркие лучи солнца осветили.

– Ты, наследник торе, подбивал и меня убить Адору! Для чего? Аль ханом хотел быть на этой земле?

– Теперь, когда я стою на краю могилы, скрывать мне нечего, – ответил Пайтан. – Да, я хотел быть ханом! Надеялся на свой пытливый ум. Но судьба отсекла мне дорогу к власти. Видимо, злом не добиться успеха. Но больше всего толкала на преступление моя безумная любовь к Адоре! Ее красота не давала мне покоя днем и ночью. Напрасно думаете, что любовь есть высшее благородное чувство! Нет, в ней есть черное!

– Развяжите Пайтана и отпустите! – сказал Шуно-хан.

Упал чайзан к ногам Шуно-хана:

– Служить буду тебе, как раб. Преданным буду, как собака.

И ушел.

А Шуно-хан сказал Адоре:

– Если считаешь меня своим мужем, приезжай в отаг у берегов Эм-су. Вскочил на коня и умчался.

10

По следу Шуно-хана к отагу на берег у Эм-су подъехала ханша Адора. Засиял от радости богатырь. Взяв Адору за руку, бережно с коня спустил, ввел в таежный отаг, за стол посадил.

Сварил уху, нажарил рябчиков. Сидя за столом, они дружно, как невеста с женихом, разговаривали. Вспомнив о печальном – вздыхали, беседа о веселом – смеялись.

Три луны жили неразлучно Шуно-хан и Адора, как будто только что головы соединили и вновь великую свадьбу справили.

Вдруг закачались вершины деревьев. Пронесся с шумом сильный ветер. Дождик прошел, чуть морося. К отагу подъехал чайзан Пайтан.

Заикаясь от волнения, он сообщил:

– Большая беда, великое горе скоро нагрянет на наше ханство! С восхода на заход солнца идет туча – туча войск! Ширина его будет на тысячу верст, а длина столь же. Эта устрашающая рать все опустошит на своем пути, все выжжет. Навсегда погаснут наши очаги, уснут наши аалы! В стойбищах беспокойно. Не зная, что делать, носятся люди, как ласточки перед грозой. Нет у нас такой силы, чтобы остановить эту грозу!

Лицо Шуно-хана стало чернее чугуна. Задумался, накинув шелковый халат на плечи. Лицо Адоры стало бледнее мела. Тяжело вздохнула и взглянула на Шуно-хана:

– Что будем делать?

– Не бежать же от народа в горестный день.

Шуно-хан и Адора быстро сели на коней и торопливо поехали в стойбище.

Глядя на желтеющие листья деревьев, Адора сказала:

– Пришла осенняя пора. На сердце великая печаль надвинулась. Грустно!

«Что за наказание от великого Кудая? – думал Шуно-хан. – Хотели жить без ссоры, без ругани. Чтобы ветер не дул на нас, вокруг ханства построили высокий забор. Чтобы холод не проникал, теплые дома поставили. Кольчуги стальные хотели навсегда в сундук положить, мечи на вешалки повесить. В голову не приходило, что вновь разорять нас война придет, на рать вызывать богатырь явится».

– У дворца люди, как муравьи, суетились. Женщины, подняв руки к небу, молились:

– Пусть нам не будет наказания от великого Кудая! Пусть не падет на нас обвинение Творца!

Хан и ханша на дворцовое крыльцо поднялись и низко поклонились людям. Обращаясь к народу, Адора сказала:

– Несметная сила надвигается! Что будем делать? Войной встретить полчища мы не сможем. У нас малый народ.

С высоты крыльца Шуно-хан заметил, как чайзан Пайтан прильнул к уху паштыка Макая, о чем-то шушукался, улыбаясь. Чувствовалось, он не боялся беды.

– А ну-ка, Макай, скажи, что тебе Пайтан поведал? – крикнул Шуно-хан. – Может быть, он что-нибудь стоящее сказал?

Паштык выпрямился и ответ:

– Да! За него я выскажусь. Прекрасная наша ханша Адора сияет красотой, но на пользу народу свои чары не применила. Зачем нашему малочисленному народу на поле сражения погибать, когда Адора одна может главудвигающего на нас полчища покорить, чтоб был от нее без памяти. А Шуно-хан пусть рукава свои кусает. Поживет без ревности.

– Не ходи на такую уловку, цветочек наш Адора! – закричала одна старуха. Сделают тебя рабыней! Узнаешь унижения и оскорбления, через игольное ушко свет будешь видеть, из собачьей чашки еду будешь есть!

– Какой злодей это выдумал? – закричали люди. – На позор и разврат послать дочку покойного Кумуш-хана! К позорному столбу того, кто сказал!

Принесли веревку, Макая вмиг связали.

– Пайтана не забудьте, – приказал Шуно-хан.

Один паштык взволнованно выступил:

– Чем позор, лучше смерть! Нам деда рассказывали. Когда мы кочевали по реке Хем, по соседству племя баркутов жило. Они были крупными людьми. Ростом до половины пихты. Когда пришла опасность, они себя засыпали в своих землянках, но не сдались врагам. Вот какие гордые люди были! Мы на этой земле выросли, в этой земле нам надо раствориться!

– О, это не выход, – сказал один старик. – Сгубить самих себя и детей? Есть племя тодут. Они к реке Хем подались, к озеру Тодош, где когда-то жили наши предки. Может, и нам туда двинуться? А сперва на разведку послать Шуно-хана, у него крылатый игрневый конь!

– Ну, что делать, дорогая? – сказал Шуно-хан. – Против воли народа не пойдешь.

...Проводила Адора мужа. Чтоб не скучал – руку подала, чтоб не печалился – поцеловала.

Нажал ногой Шуно-хан натянутое стремя. Куда прыгнул его кроваво-игрневый конь, следов не осталось. Если сказать – летит, то шума крыльев не слышно. Если подумать – бежит, то стука копыт не раздастся.

Перевалил гор без счета, неизвестных рек столько переехал. Через песчаную пустыню пролетел словно птица. За ней степь раскинулась – глазом не охватишь. На ней желтели травы, деревья совсем не росли.

Шуно-хан, поднявшись на плоский хребет, остановил коня. У подножья зеленой горы стоял девятиугольный шатер. Открыв шелковую дверь, поздоровался, но никто не ответил ни слова.

На золотой кровати лежал старик-хан. Девять красивых женщин в нарядных одеждах растирали ему пятки, семь юных девиц седую голову скребли, а самая молодая на многострунном комусе играла и какую-то песню напевала на своем языке.

– Один разговор с тобой, хан, иметь хочу! – громко сказал Шуно.

Играющая на комусе красавица песню не прервала, но все женщи-

ны вскочили на ноги.

– Если есть слово, скажи! – разреши с комусом.

– Я из страны тюлиберов, где правит ханша Адора! – еще громче произнес Шуно. – Хотим наш народ с вашим объединить, чтоб врага легче отразить было. Сорок паштыков со своими сухарями к вам приедут.

– Я спать хочу, а этот кул про какие-то сухари мне толкует! – недовольно произнес старик.

– Он тертые яблоки жевать не может, а что ему с сухарями делать? – сказала одна из женщин.

Повернулся Шуно и выбежал из шатра. Вскочил на коня, дальше поехал. Вдруг слышит позади себя топот. На чалом коне старик-хан догоняет его. Поравнявшись с Шуно, сказал такие слова:

– Моя девятая жена отгадала, что ты посланец ханши Адоры, хотел подарить мне сорок паштыков. Если отдашь с народом и скотом, я приму.

– Ты, старик, кто такой? – спросил Шуно-хан.

– Я хан кара-китаев, – ответил подъехавший.

– Где живут огузы и турки? – поинтересовался Шуно.

– У, они давно подались в сторону солнца. На моей земле вы ладно будете жить. Из винограда вино выделывать, вкусные лепешки есть и кумыс пить.

– Не хочу я ехать в твою страну, – сказал Шуно. – Ты хочешь за счет другого народа наживаться, богатеть чужим скотом.

– Я тебе голову отсеку! – заорал старый хан.

– Всё бы головы рубил, больше ничего не знаешь!

Меч вынул Шуно, коню хана одно ухо отсек, хану один палец отрубил.

Закричал хан:

– Ой! Олям-болям!

Повернул коня, только хвост чалого мелькнул да сутулая спина хозяина.

Улыбнулся Шуно. И направил путь туда, куда ему давным-давно хотелось. Проехал по большой желтой пустыне, через которую и ворон

не пролетал. Много рек переплыл, немало хребтов перевалил, добрался до земли друга Константина.

Встретились они, как родные братья. Сто слов в бег пустили, тысячу слов в одну мысль объединили. Сказал Константин:

– Переселяйтесь в Северный Алтай. Война вас минует, горе стороной обойдет.

Обрадовался Шуно, пожал руку Константину. Не успел друг его и глазом моргнуть, как Шуно на коня вскочил. Взвился игреневый конь, под тучами над самым туманом понесся. Устанет правая рука Шуно – он левой коня ударяет. Поднялся на поднебесный хребет, опустился на гладкую седловину, остановил коня. Перед ним расстилалась страна Адоры.

Спустился вниз по склону Шуно, подъехал к родному аал. Навстречу выбежала ханша Адора. Помогла с коня слезть, за руку поддерживая, во дворец завела, за большой стол посадила, самой лучшей пищей угощала.

– Вернулся мой друг! – все повторяла.

## 11

Слух о возвращении Шуно пролетел, как птица, по всем аалам и стойбищам. С самого утра во дворец стали собираться шелковые халаты и лисьи шапки.

Когда собрался народ у крыльца, Адора и Шуно вышли к нему. Стало тихо, как у горного озера.

Поздоровался со всеми Шуно и сказал:

– Путь мой длинный был! Много рек я пролетел, пересек много пустынь. Землю Турке-хана видел. Но турки и огузы дальше на закат солнца ушли. Туда на коне за три поколения не добраться. Был у хана каракитаев. Он хочет нас превратить в кулов...

Паштыки и чайзаны опечались. Первым заплакал Пайтан, за ним зарыдали другие.

– О великий Кудай! За что нам такое наказание? О яснейший бог

наш Ульген! Скоро кости наши горой станут, кровь наша рекой потеет.

Тогда сказал Шуно-хан:

– Если желаете, я вас поведу на Северный Алтай. Там много пастбищ с сочными травами. Там красивые горы, чистые реки.

– Это верно! Там хорошая земля! – прошел веселый шум по народу.  
– Согласны ехать на Алтай!

Крикнул Шуно-хан:

– Давайте время не терять!

В тот же день пешие и конные двинулись на вершину земли. Пустые аалы остались крапивой зарастать, белый дворец до черноты ржаветь.

Впереди народа ехали Шуно и Адора, путь показывая к хребту. Когда стали на гору подниматься, позади едущий Пайтан вдруг заорал:

– Эй, паштыки! Мы попали в великий обман Шуно! Нас там самих в сохи запрягут и весь скот отберут! Лучше поедем к кара-китаям, там будем жить как раньше жили.

Натянули было поводья паштыки и чайзаны, но народ не сокращал шаг за Шуно. Люди перевалили через хребет. Там тюлиберы по долинам и рекам аалами и стойбищами расположились.

Здесь пастбища были – глазом не охватить. Травы не вяли, деревья не блекли. По этой земле никто пешком не ходил, все на рослых конях ездили. Люди сбросили истрепанные шубы, надели одежды с украшенным воротником.

На новых стойбищах тюлиберы спокойно, мирно зажили. Чтобы в уях светло было, окна сделали. Чтобы холодный ветер не студил, двери закрыли. Ни один злой богатырь сюда с криком не являлся.

...Шуно и Адора не умерли. Они в горы вошли. Дети их и поныне по рекам Томь, Кондома, Мрассу и Абакану живут.

Геннадий Косточаков

## ПИСАТЕЛЬ-ПАТРИОТ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ УНИКАЛЬНОСТИ ШОРСКОГО НАРОДА

Софрон Сергеевич Тотыш – один из лучших писателей шорской литературы. Ему с самого начала пришлось публиковаться только по-русски. Потому что пробудился к писательству он лишь после ликвидации Горно-Шорского национального района, т. е. после 1939 года. Теперь публиковаться на шорском уже было нельзя. А писать по-русски было крайне сложно, трудно, так как художественно он мыслил по-шорски. Ему всю жизнь приходилось перестраиваться, чтобы свое шорское мышление и логику и шорские стереотипы поведения передать на хорошем русском языке. Как вспоминает его жена Клавдия Диомидовна, даже «перед самой своей смертью Софрон Сергеевич перелистывал Толковый словарь Даля». Поистине, трудно быть шорским писателем на русском языке.

У него были большие творческие планы, написано было много – и не только рассказов, но и романов. Однако тернист был путь к публикациям. Многое от горя и обиды, что не хотят печатать, было сожжено. Но талантливое своеобразное слово все-таки нашло путь к читателю. Пять рассказов о Шории в 1951 году, а в 1953 году небольшой сборник рассказов вышли у писателя в Новосибирске. Рассказы были посвящены жизни охотников в период становления советской власти. С этого началась непростая писательская судьба Софрона Тотыша.

С. С. Тотыш и Ф. С. Чиспияков почти ровесники (соответственно, 1907 и 1906 годы рождения), однако их жизни и, что для нас важно, писательские судьбы сложились по-разному. С. С. Тотыш как писатель сформировался поздно, для него уже не представляла актуальности проблематика 1920–1930-х годов, существовавшая в шорской литературе. Его уже не так волновали вопросы социального переустройства Шории, как Ф. С. Чиспиякова, вопросы влияния этих изменений на души и жизнь простого народа, вопросы отображения этого непро-

стого процесса. Для Тотыша это был как бы вчерашний день. А сегодня его волновали вопросы иного порядка – этнокультурная проблематика.

Основной идейно-эстетической доминантой творчества Тотыша явилась попытка отображения национально-особенных черт шорского народа, его культуры, его мироотношения, мировоззрения, всего того, что, с точки зрения писателя, утрачивается безвозвратно. Говоря проще, он создавал портрет неповторимой шорской национальной культуры. И эта задача приобретала необыкновенную актуальность на фоне безвозвратного утрачивания оной.

Его беспокоила неизбежность культурной ассимиляции народа, который имеет все права избежать тем не менее этой печальной участи. Забвение в настоящем (1960–1970-е годы) молодыми и юными людьми культурных достижений и непреложных ценностей, добытых и созданных предками, ему, пожилому уже человеку, кажется исторически несправедливым. Тотыш весь свой недюжинный писательский талант использует для исправления этой несправедливости.

Софрона Тотыша можно назвать писателем-патриотом шорской уникальности. Его душа болела за свой народ, который вдруг подошел к краю пропасти. Он всеми своими талантами и энергией пытался остановить его, показывая прежде всего ему самому, какой он гений и величина. А в родном народе его уникальность он пытается, очаровывая, показать прежде всего детям, молодым, потому что народ живет поколениями, передавая народный гений от одного поколения к другому.

Он, видимо, полагал, что поколение своих детей он упустил, и потому книги адресовал поколению внуков. В результате такого его как бы мышления поколениями в его произведениях актуализируются два героя: старик – носитель этнокультурной уникальности шорского народа и внук, как губка впитывающий эти самые этнокультурные ценности и преобразующий эти ценности в свой стереотип поведения и уклад жизни.

Путь к сердцу читателя (прежде всего детей, однако не в меньшей мере и взрослых) Тотыш нашел в 1959 году, издав сборник рассказов «Сказки Шапкая». По многочисленным просьбам читателей этот сборник был в 1965 и 1985 годах красочно переиздан и дополнен.

Последнее переиздание произошло в 2011 году, когда наряду с русским языком рассказы (сказки) зазвучали и по-шорски: текст и компакт-диск с чтением четырех сказок. С самого начала они должны были звучать по-шорски, но так было нельзя. А ныне, когда уже давно нет автора – можно, но оригинальных текстов сказок не сохранилось, М. Л. Судочаков сделал обратный перевод их в 1990-х годах.

Переиздавался у С. С. Тотыша и другой его сборник «Сын тайги». Это говорит о том, что произведения писателя отвечали потребностям времени, которое обратилось в сторону этнических местных культур с целью выявить их изюминку и общечеловеческую ценность.

«Сказки Шапкая» на самом деле являются не одними только сказками, а еще легендами и преданиями. Причем произведения названных жанров составляют истинное сокровище шорского фольклора, и писателем С. Тотышем именно так они и понимаются – как высочайшая этнокультурная ценность шорского народа. Писатель обработал произведения родного фольклора, довел их, как ему казалось, до совершенства. Более того, он превратил их в собственные произведения, в устные рассказы, которые якобы излагает старик по имени Шапкай. Тот Шапкай мыслится человеком, выросшим на родном фольклоре, и фольклор стал неотъемлемой частью его собственной личности.

«Сказки Шапкая» – это литературно обработанный С. Тотышем фольклор, и жанрово представлен он, можно сказать, в виде повести в рассказах или – сборника рассказов, если хотите. Кто же является здесь главным героем? Главный герой – старик Шапкай, а вместе с ним и весь шорский фольклор, который понимается как оставшаяся от веков жизни великая ценность шорской культуры. Другим героем данного сборника являются дети-слушатели. Так вот, старик Шапкай не просто рассказывает свои сказки-рассказы детям (а вместе с детьми и нам, читателям), а старается передать их, эти рассказы-сказки, как эстафетную палочку, от своего старшего поколения (поколения дедов) – поколению внуков (заметьте: через голову поколения своих детей), чтобы таким образом все-таки сохранить бесценное сокровище родного народа. Своими «Сказками Шапкая» С. Тотыш впервые пытается установить виртуально-художественную связь между поколениями, ту

связь, которая начала утрачиваться. Писатель впервые стал остро ощущать (еще в 1950–1960-х годах), что шорский народ с его древнейшей культурой скоро может кануть в небытие. От него следов может и не остаться. И данная книга становится похожей на попытку сохранить хотя бы что-то из культурного наследия народа и передать все это своим внукам: чтобы помнили!

Итак, все эти обработанные народные произведения были объединены образом старика Шапкая, память которого хранит множество сказок, легенд и преданий. Старик Шапкай – сказочник по призванию. У него внимательные и благодарные слушатели – его внук и другие дети. Время от времени он собирает их и погружает в удивительный мир шорского фольклора, в мир духовной красоты народа, где переплетаются быль и небыль, прошлое и вечное, высокое и низкое, чудесное и обычное, справедливость и несправедливость. Но не просто пересказывает старик фольклорные произведения, он к ним относится как соавтор (всякий сказочник фольклора – непременно соавтор рассказываемых произведений, так как пытается соединить: прошлое и настоящее, героев сказки и реальных слушателей), и потому он усиливает нравственное звучание и значение (ведь перед ним – дети). Значит, старик Шапкай не просто рассказывает детям сказки, передавая им фольклор как духовную ценность, но он передает им и вековую нравственность народа в действии, то есть сказками – воспитывает детей, новое поколение.

К этому следует добавить, что в «Сказках Шапкая» происходит полное совпадение оценки тех или иных поступков героев сказок народом и самим стариком Шапкаем. Следовательно, старик Шапкай – носитель народного взгляда на вещи. Сказочник то поразит душу героическим подвигом Мустакая, то заставит посмеяться над незадачливым трусом и глупцом Баем, у которого Кокан украл жеребца и сундук с деньгами, над жадностью мужика, которому было мало двух мешков золота, над которыми он трясся и заболел.

В сказках фигурируют образы животных и птиц, под которыми подразумеваются поступки и характеры людей. Таковыми являются глухарь, который захотел стать ханом, потому что увидел свою огром-

ную тень и загордился, возомнил о себе; сова-завидушка, которая ничего не могла делать, а лишь всем завидовала; лось и лягушка: как самое быстрое животное в тайге, лось загордился, лягушка же решила хитростью осмеять его, подговорив других лягушек по дороге отвечать, мол, это она; ленивый бурундук, которого лентяем воспитала мама, все дела за сына; муравей Кмыс, который ленился, и потому его совестили, но ему надоело слушать мораль, он убежал и встретился с медведем, после чего исправился; журавль и ворон-кускун: журавль загордился, что, мол, он лучше всех видит, с ним поспорил ворон и выиграл спор, пристыдил журавля; зайчик: встреча и разговор его с дятлом изменили зайчика; медведь, который очень хотел стать добрым, но его медвежья сущность ему этого не позволяла: стало ему жалко корову, застрявшую в болоте, он ее вытащил оттуда, но – оторвал голову; верная лебедь Ку: раньше она была человеком, красавицей, влюбленной в охотника Очана, который не вернулся с охоты. Героями сказок выступают также горы и реки, например гора Пустак. Образы животных позволили автору увеличивать смыслы за счет напряженной параллели между животными и человеком.

В «Сказках Шапкай» Тотыш впервые решает композиционную сторону субъектно-объектной организации произведений для своей идейно-эстетической задачи. Ценности той или иной стороны шорской культуры становятся содержанием монолога (в «Сказках Шапкай») или диалога (в других произведениях) между двумя главными персонажами: стариком и юношей. Здесь старик – это Шапкай, а юноша – его внук и другие дети. Со временем субъектно-объектная организация приобретает необходимую стройность и выверенность.

Старик при этом является носителем актуализируемых ценностей, своего рода звено от прошлого к настоящему. Сказки Шапкай унаследовал от своих предков, они стали неотъемлемой частью его внутреннего мира, он руководствуется ими в обычной жизни. Юноша при этом есть внимательный и благодарный слушатель, сторона, добросовестно воспринимающая передаваемые ценности, и они сразу же становятся мотивами его поступков. Правда, в «Сказках Шапкай» композицион-

ный элемент «юноша» еще не разработан. О таком можно говорить только в сборнике «Сын тайги» и в повести «Записки молодого кама».

Целью монолога или диалога между двумя главными персонажами произведений С. Тотьша является не только передача культурных ценностей, а прежде всего воспитание молодых (юноши и читателя) в духе народной педагогики на примере сообщаемого содержания. В «Сказках Шапкая» – это сюжеты, персонажи и коллизии.

В 1961 году в Кемерове вышла еще одна книжка для детей – «Хозяин гор». Ее составили небольшие рассказы об охоте, о привычках и повадках диких животных шорской тайги. В этом сборнике такая же двухгеройная структура: старый охотник Адо и его внук – мальчик Амас. Композиционно второй сборник более разработан. Наставления деда становятся для его внука руководством к действию, мотивом поступков. Тематически же эта книга открывает новую страницу в творчестве писателя. Тотьш понимает охотничье дело не только как искусство, но и как часть мифолого-практического взгляда на природу. Охотничье дело овеяно древними мифологическими представлениями шорцев (легенды о хозяине гор, который по своему усмотрению наделяет охотника дичью), но тем не менее охотник здесь мастер своего дела, он досконально знает тайгу, повадки животных, постоянно читает следы и обладает интуицией. В «Хозяине гор» Тотьшем впервые многовековой опыт общения шорских охотников с тайгой воспринимается как культурная ценность, которая имеет большой воспитательный потенциал и должна быть передаваема от поколения к поколению.

Все шире и глубже разрабатывая эту идею, писатель в 1980 году выпускает свой лучший сборник рассказов «Сын тайги» (переиздан в 1990 году). Сынами тайги являются и старик Постан, пасечник и старый охотник, и мальчик Анчол, только осваивающий искусство охоты. Они приходятся друг другу как дед и внук. Юноше (Анчолу) в этой книге уже дана большая активность, а то, что он при этом пользуется наставлениями деда, передается через всплывающие в его сознании в нужный момент дедовские фразы и мысли. В «Сыне тайги» все внимание уделяется миру тайги как самоценности. Но акцент поставлен на проблеме взаимоотношений между природой и человеком. А именно

на том, что человек обязан уважать природу как самоценность и может брать из тайги только излишек. Поэтому он должен хорошо знать и чувствовать природу.

Постан как учитель не дидактичен и не назойлив. Он редко когда прямо рассказывает внуку о тех или иных тайнах леса, чаще провоцирует его догадаться и додуматься самому, разжигая его природную любознательность, его желание самостоятельно разобраться, выяснить, принять то или иное решение (правильное решение – признак настоящего охотника). Лишь несколько постулатов шорской охотничьей этики он повторяет часто, сформулировав их в виде поговорок:

- «охотник не тот, кто живет рядом с тайгой и хорошо стреляет»;
- «охотник умеет понимать и беречь все живое»;
- «охотник стреляет только при крайней необходимости»;
- «на охоте не просто пошел в лес да поймал зверя. Походишь-походишь по тайге, и покажется дело-то тягостным»;
- «все интересно в тайге, все знать надо»;
- «когда на что-либо смотришь, другие думы из головы выкинь»;
- «когда ружье в руках держишь, крепко думай, прежде чем на курок нажать»;
- «весной убивать птиц и зверей – большое зло»;
- «старое забудешь – ошибаться будешь» и т. п.

Постан передает своему внуку Анчолу вековую шорскую традицию содружества с природой, бережного и гуманного к ней отношения. Такой взгляд на природу является сюжетообразующим ядром, стержнем книги. Все сюжетные линии подчинены раскрытию главной темы – темы гуманизма, природолюбия.

Однако в этом и определенная слабость книги. События показаны без конфликтов, а лишь как загадка-разгадка той или иной тайны обитателей природы (птиц, зверей, насекомых). Но на самом деле это не слабость книги, а особенность, ведь книга ориентирована на детей, является частью детской литературы. Такое развитие сюжетов книги обнаруживает главную задачу писателя – так заинтересовать читателей, чтобы им (юным) захотелось быть такими же любознательными,

добрыми, чуткими и внимательными к природе, как мальчик Анчол. Чтобы им захотелось:

– тоже спасти и выходить больного журавля, и он бы улетел со стаей на юг, а весной журавль Таныш прилетел бы к тебе с благодарностью и подругой;

– вырастить осиротевшего мараленка, и она выросла в маралиху и пришла с двумя детенышами выразить свою благодарность;

– помочь кукушонку вылезти из маленького для него гнезда, и он вырос и был благодарен;

– почувствовать сострадание к рыси, пришедшей к человеку от бескормицы, хотя она как бы враг человека, хищник;

Важно заинтересовать юных читателей вопросами, например:

– где птицы ночуют? (таежные птицы в сорокаградусный мороз, рассказ «Где птицы ночуют»)

– можно ли зимой найти в тайге кедровые орехи? («Зимой за орехами»)

– что делать, если ты оказался в лесу в буран? («Буран в тайге»)

Ведь дети любят походить на героев произведений, которые им нравятся. Софрон Тотыш книгу писал прежде всего для шорских детей. Поэтому героям он дал исконно шорские имена, а брата Анчола, мальчика черствого и глухого к природе, назвал Ильей.

В 1992 году, через 11 лет после смерти автора, стараниями сына Софрона Сергеевича – Юрия Тотыша вышла из печати незаконченная повесть «Записки молодого кама». В ней искусство шамана передается как высочайшая культурная ценность шорского народа. Камлание основано на древнейшем оригинальном мировоззрении, глубочайшем знании народной медицины, психики и физиологии человека. Оно утрачивается, потому и является объектом пристального внимания Тотыша в названной повести.

И здесь у писателя обнаруживается дар просветителя и пропагандиста, но не нового, а забываемого старого в шорской культуре. Он открывает перед современным читателем искусство, которое испокон веку в народе было и блистало, прославляло народ, а теперь его почти нет.

Но изюминка этого искусства в том, что оно часть природы. Ведь

способности шамана – качество, не приобретаемое по желанию, а передаваемое по наследству от поколения к поколению, от деда к внуку, оно заложено самой природой как сумма неистребимых задатков и способностей, от которых, если их не замечать и не развивать, можно погибнуть. Этой природной губительной болезнью заболевает главный герой повести Шаран Отуш (видимо, измененное Софрон Тотыш). И он действительно погиб бы, кабы не помог ему старый шаман Кычай (от слова «кыча» – страсть, желание).

Тотыш своей повестью как бы предлагает пути и способы излечения таинственного недуга природных шаманов будущего среди представителей шорского народа. Речь идет о том, что среди молодежи много оказывается возможных шаманов, но они не обращают внимания на свое предназначение на земле, и «кам агрыйы» – «шаманская болезнь» изводит их, доводя до самоубийства.

В повести и Шарана хотели убить, потому что он болен якобы болезнью айны – злого духа (падучая, эпилепсия). Его нужно умертвить, так решил совет народа, но Кычай не дал совершиться этому, потому что у парня иная болезнь. Композиционное решение субъектно-объектной организации традиционно для писателя: старик Кычай, носитель шаманского искусства, теоретик и практик шаманизма, передает свой опыт молодому шаману Шарану, который со временем становится полноценным камом.

Однако прежде чем это случилось, Шаран вынужден был бросить гимназию и ездить по врачам, даже в губернский город Томск, но и там никак не могли поставить точного диагноза. Болезнь протекала в виде неожиданной слабости, что невозможно было встать с постели и передвигать руками и ногами. Она протекала волнообразно, как прилив и отлив. Во время приступа начинался шум в голове и все меркло. Возникали яркие галлюцинации. И от этой болезни, которая, в сущности, является шаманским избытком энергии, излечивает его только Кычай, в свое время тоже излечившийся, – тем, что направляет эту излишнюю энергию на шаманскую практику, на дело лечения и помощи нуждающимся людям.

Время действия – начало XX века. Примет времени мало, это меньше всего интересует писателя. Главное – описание признаков шаманской болезни и практики камлания, которая в повести нетрадиционна. У шамана здесь нет бубна, он не путешествует своими тёсями к Эрлику за душами болеющих людей (к Эрлику эти души уносит айна). И нетрадиционно для шорской литературы отношение людей к шаману: его боятся, считают шарлатаном, обманщиком легковверных, но – идут лечиться, если не может помочь фельдшер.

А Шаран, как образованный юноша, особенно стоек в таком отношении к шаманам: он даже представить себя не может шаманом, потому что боится унижающего смеха со стороны сверстников и друзей. Пока не осознал свою к ним (шаманам) причастность.

Шаман в повести – это шорский аналог экстрасенса, народный целитель и тела, и души больного человека. Он обладает даром гипноза (обезболивание), лечения словом и травами и даром мысленного перемещения в пространстве (Шаран спас заблудившихся детей, увидев их и сказав родителям, где они находятся).

И еще играют роль древние рецепты лечения тех или иных болезней, оставшиеся от предков (дед Кычая эти рецепты народной медицины записал, и ими пользуются Кычай и Шаран). Все эти способности шамана, по С. Тотышу, есть результат целенаправленного гуманного использования шаманского избытка энергии, каковой дается природой ради добрых дел. Только ради добрых дел. В этом основной пафос повести.

Повесть написана в ключе детской литературы: сюжетом является постепенное приоткрывание тайны шаманского дара – как чего-то удивительного и даже сверхъестественного.

Все творчество Софрона Тотыша направлено на то, чтобы попытаться сохранить для потомков общие и особенные стороны шорского национального мировоззрения и с точки зрения содержания (фольклор, охота, шаманское искусство), но главное, с точки зрения морально-нравственных норм, выработанных в шорском этносе веками. Его произведения представляют собой художественную актуализацию этих норм через фольклорные и личные сюжеты, через внутренний мир и поведение персонажей, через погружение читателя в

необычный, но понятный мир взаимоотношений человека с другим человеком и человека с великой природой.

Юрий Тотыш

## БИОГРАФИЯ СОФРОНА ТОТЫША

Шорский писатель Софрон Сергеевич Тотыш родился 11 апреля 1907 года в поселке Томазак (ныне город Мыски) в семье хозяина пасеки Сергея Николаевича Тотышева. Фамилия Тотыш получилась в результате ошибки в паспорте. Софрон был младшим ребенком в многодетной семье, у него было четыре сестры и два брата. Дед Софрона Сергеевича был сыном паштыка Альчука, основавшего Томазак в 1796 году.

Сергей Николаевич держал жену и детей в строгости. Он думал, что его младший сын Софрон по шорскому обычаю останется в доме и будет хозяином пасеки. Обучал его ездить на любом резвом коне и метко стрелять, быть смелым и сильным, брал его с собой шишковать, собирать хмель. В горах любил рассказывать сыну различные легенды, рассказы, прибаутки. Брал его в Кузнецк, когда ездил продавать мед и воск. Но Софрон захотел учиться, как и его старшие братья Ефрем и Алексей Тотышевы (Алексей учился в гимназии, Ефрем был студентом Омского сельхозинститута). Отец отвез его учиться в приходскую школу в Кузнецк (в то время началась Первая мировая война). Трудно давался Софрону русский язык, но, выучив его, он стал высказываться против угнетения народов царизмом, за что был отчислен из школы, а когда была открыта школа в Мысках, за год прошел обучение в ней за пятый, шестой и седьмой классы.

В 1917 году произошла Февральская революция, которая свергла царя. Потом Октябрьская революция. С приходом советской власти Софрон вступил в комсомол, организовал комсомольскую ячейку в Мысках и помогал чекистам вылавливать остатки банд, которые уничтожали коммунистов.

Однажды два его приятеля пошли на охоту и взяли у Софрона табельную винтовку. Из нее они убили зажиточного шорца. Преступление раскрыли и Софрона посадили в тюрьму на два года за безответственность и халатность при хранении оружия. Было тогда ему 16 лет. Он сидел в тюрьме с белогвардейскими офицерами, махновцами, общение с которыми расширило его кругозор и понимание происходящих событий. В тюрьме, работая в библиотеке, разносил заключенным газеты и журналы, сам много читал, изучал бухгалтерское дело, начал сочинять стихи, которые потом писал на протяжении десяти лет, а позднее стал писать рассказы.

Освободившись, вернулся в Мыски. Поступил в Омское пехотное училище, но вскоре был отчислен, так как из Мысков пришло письмо в училище, что он сын бая и сидел в тюрьме. Окончив курсы бухгалтеров, Софрон не стал возвращаться в Мыски. Он путешествовал по стране. Его манили горы и южное солнце, и он уехал на Кавказ. Судьба затем забросила его на Кубань, а когда ему надоело путешествовать, он решил заработать денег и вернуться на родину, по которой стал сильно тосковать. Однажды его отправили провести ревизию потребкооперации в станицу Медведковскую. В доме, куда его определили на ночлег, он увидел юную девушку, которую полюбил и которая стала его женой. Звали ее Клавдией Диомидовной. Вместе с женой они уехали в Москву, затем в Киргизию, затем в Новосибирск, Омск, Красноярск, Дудинку и, наконец, в 1939 году в Сталинск (ныне Новокузнецк) – уже с двумя детьми.

В конце 1941 года Софрон призван в РККА, прошел переподготовку как офицер запаса, командовал взводом десантников, готовился к боевым действиям в тылу врага, но во время учений с самолетом, в котором летел Софрон, произошла катастрофа: самолет сел на брюхо. Многие получили травмы, в том числе и Софрон, у него пострадало зрение.

После лечения в госпитале в 1942 году вернулся домой, к радости всей семьи. Работал главным бухгалтером в столовой Кузнецкого алюминиевого завода. Занимаясь в литературной студии при редакции городской газеты «Кузнецкий рабочий», стал писать не только стихи, но

и рассказы. Тогда же сдружился со многими известными кузбасскими писателями и поэтами: Евгением Буравлевым, Геннадием Молостновым, Михаилом Небогатовым, Александром Волошиным, Александром Смердовым, Геннадием Блиновым.

В конце пятидесятых годов переехал в родной город Мыски, где прожил до кончины, работал бухгалтером в пассажирском транспортном предприятии и писал в свободное от работы время, наблюдал и изучал жизнь природы Шории, которую любил. Вместе с женой они вырастили восемь детей. Его дом в Мысках на берегу реки был построен своими руками. Несколько лет упорно, по кирпичику он складывал просторное жилье для большой семьи. Клавдия Диомидовна работала старшим бухгалтером до самой пенсии. Утром она вставала раньше всех, готовила завтрак на большую семью, уходила на работу. Вечером бралась за ужин и допоздна копалась в огороде. Огород, особенно во время войны, спасал семью от голода. Еще они держали коров, свиней, которые требовали внимания. Дети подрастали и тоже помогали родителям.

Софрон никогда не был в стороне от домашних забот. С лопатой, тяпкой вечерами пропадал у делянки картофеля, у грядок с морковью, свеклой и очень любил возиться с кустами смородины, малины. Когда семья вечером укладывалась спать, он усаживался за письменный стол и писал до двух часов ночи, чтобы утром уже в семь подняться, перекусить и отправиться в Мысковское автохозяйство, где его ждала работа главного бухгалтера и секретаря парторганизации.

Софрон Сергеевич любил встречаться с шорцами, охотниками, которые слышали от родителей, сказителей сказки и легенды. Он и сам любил общаться с кайчи и слушать их горловое пение героических поэм, был лично знаком с ученым-этнографом Надеждой Дыренковой и как бесценную реликвию хранил ее книгу «Шорский фольклор». Софрон Сергеевич был напитан художественным творчеством своего народа. Это позволило ему создать собственный цикл рассказов и легенд, которые вылились в книгу «Сказки Шапкая». После выхода на пенсию он продолжал много писать, печатался в местной газете, ездил по Шории, работал в архивах, добивался издания своих книг.

В 1951 году в Новосибирске вышло пять рассказов С. С. Тотыша о Шории в сборнике «Молодые силы». В 1953 году в Новосибирске же издана его первая книга «В тайге», посвященная жизни охотников в период становления советской власти. В 1959 году в Кемерове вышел сборник для детей «Сказки Шапкая», который по просьбам читателей переиздавался в 1965 году. Повествование в книге ведется от лица доброго старика Шапкая, который раскрывает интересный мир шорских сказок и легенд. Образ старого охотника и народного философа, конечно, выдуманный, но он и реалистичный, узнаваемый для тех, кто знает мудрых шорцев. В 1961 году в Кемерове издан сборник рассказов об охоте «Хозяин гор». В 1980 году вышла книга для детей «Сын тайги» о деде Постане и его внуке Анчоле. Мудрый Постан, бывший охотник, учит своего внука любви и бережному отношению к природе, ко всему живому.

Софрон Тотыш писал на русском, так как шорский язык тогда был под запретом. Но герои его произведений: старик Шапкай, старый охотник Адо, мудрый дед Постан – отражают шорское мировоззрение и менталитет, в которых важную роль играет единение с природой. Им чуждо бездумное уничтожение природы, так же как это чуждо самому писателю, который считает, что люди должны быть гуманными, понимать природу и беречь все живое. Многие из написанного им не было опубликовано и в минуты отчаяния сожжено, в том числе и роман «Бухгалтер».

В начале 1970-х годов в семье Софрона Тотыша случилась беда. На Дальнем Востоке в тридцать три года погиб сын Валерий. Упал лицом на раскаленную плиту, получил ожоги и к утру умер в больнице. Отец съездил на край света, привез тело сына. Последствием стресса стал сахарный диабет. Обычно жизнерадостный, он стал задумываться, перестал улыбаться, много пил воды. Жена повезла его на Кавказ, где он бывал в лучшие годы молодости. Месяц они прожили в Железноводске. Софрон все больше лежал. А лежа, обдумывал свои произведения. Мысли, как всегда, записывал в тетрадях. Перед смертью в снах его навещали родители и давно умершие друзья молодости. Он рассказывал о таких встречах с тревогой. Вскоре, закончив легенду, в тетради сделал последнюю запись: «Прощай, мое вдохновение! Я много думал, много написал. Я

ухожу, а куда – сам не знаю. Не знаю, что ждет впереди. Так, значит, прощай, мое вдохновение!» Больше он не прикоснулся к ручке.

Умер Софрон Сергеевич в Мысках от тяжелой болезни 27 апреля 1981 года. После смерти писателя в 1992 году вышла повесть «Записки молодого кама» о древнем искусстве шаманов, а в 1997 году в журнале «Огни Кузбасса» была напечатана эпическая поэма «Шуно-хан». Критик Евсей Цейтлин в очерке о Софроне Тотыше (альманах «Огни Кузбасса», № 3 за 1985 год) рассказывает такой случай. Софрон Сергеевич выслал рукопись повести «Записки шамана» в одно из московских издательств. Оттуда рецензент возмущенно написал: «Ваш герой ставит диагноз заболевания по цвету волос. Разве такое может быть?» Книжку тогда забраковали из-за подобных «придумок» автора. Софрон Сергеевич потом показывал Цейтлину статью, опубликованную в «Советской России» о международном медицинском конгрессе, на котором был прочитан доклад о методах диагностики серьезных заболеваний ...по волосам.

В 2002 году в сборник «Шорские сказки и легенды» А. И. Чудояков включил сказку «Беглая девушка», записанную Софроном Тотышем, и легенды «Мрассу» и «Кара-Том». В 2007 году в сборник произведений шорской литературы «Чедыген» вошли рассказы С. Тотыша «Паштык» и «Охотник Окай». В 2005 году вышла в свет книга «Перкут» Юрия Тотыша, сына писателя, об отце, где напечатана документальная повесть Софрона Тотыша о репрессиях и жизни спецпереселенцев в Кузбассе «Муки смертные» и другие произведения. Неизданными остаются повести «В верховьях Мрассу» (о жизни шорцев после Гражданской войны), «Записки бухгалтера» (автобиографические очерки о работе), «Собачка и я» (о дружбе 14-летнего мальчика с псом Ййитом).

Имя Софрона Сергеевича Тотыша вошло в хрестоматии «Литература земли Кузнецкой» (1998) и «Писатели Кузбасса. Проза. Поэзия» (2007).

По мотивам его книги «Сказки Шапкая» в 2014 году в Мысках в центре города установлена скульптурная композиция. В 2017 году

в Мысках Городским благотворительным фондом «Развитие Горной Шории» учреждена национальная премия «Шапкай»; ежегодно она вручается тем, кто внес наибольший вклад в развитие культуры, спорта и традиций шорского народа. Символом премии является деревянная статуэтка сказителя Шапкая – героя произведений Софрона Тотыша.

*Книги Софрона Сергеевича Тотыша:*

*В тайге : рассказы шорского охотника / литературная обработка А. Куликова. – Новосибирск : Новосибирское кн. изд-во, 1953. – 112 с.*

*Сказки Шапкая : сказки и легенды Горной Шории : для младшего школьного возраста. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1959. – 92 с. : ил.*

*Хозяин гор. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1961. – 56 с. : ил.*

*Сказки Шапкая / худож. Р. Г. Берг. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1965. – 100 с. : ил.*

*Сын тайги : рассказы / литературная обработка Л. В. Глебовой ; худож. А. С. Ротовский. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1980. – 176 с. : ил.*

*Сказки Шапкая / худож. А. А. Заплавный. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1985. – 80 с. : ил.*

*Сын тайги : рассказы / худож. А. С. Ротовский. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1990. – 144 с. : ил.*

*Записки молодого кама : повесть. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1992. – 64 с.*

*Перкут : история жизни шорского писателя. К 100-летию со дня рождения С. С. Тотыша / Ю. С. Тотыш, С. С. Тотыш ; худож. Л. Л. Тупилова. – Кемерово : СКИФ, 2005. – 240 с. : ил. – Произведения Софрона Тотыша : Ростки забытого поверья [28–36] ; Каталог черт старорежимного шорца [38–42] ; Зарисовка о камлании шамана Кычая [44–57] ; Павел и его жена Марке. Старая Мака [61–67] ; Убийство без наказания [68–70] ; Слепая воля. Шайтан. В тюрьме. Марфуша [72–76] ; Муки смертные : повесть [88–144] ; Записки бухгалтера [162–187] ; За жизнь потомства (из повести «Юный охотник») [192–194] ; Из дневника [198–205] ; Перкуты [206–210] ; Цветок любви [212–213].*

*Сказки Шапкая = Шапкай Ыскан Ныбактары / сост. Н. А. Сандыкова, Е. Н. Чайковская ; перевод на шорский язык М. Л. Судочакова. – Кемерово : Примула, 2011. – 112 с., [8] л. отд. ил. + 1 CD-ROM.*

## Владимир Алексеевич Чивилихин

*7 марта 1928 г., Мариинск – 9 июня 1984 г., Москва.*

*Прозаик, журналист. Член Союза писателей СССР с 1961 года.*

*Лауреат Государственных премий СССР (1982) и РСФСР (1977).*

## СЕРЕБРЯНЫЕ РЕЛЬСЫ

(отрывок из документальной повести)

### СЮДА, СЧАСТЬЕ, СЮДА!

*Но, видно, судьба хотела, чтобы мы  
вконец испытали все невзгоды, которые  
могут грянуть в здешних странах над головой  
путника.*

*Н. Пржевальский*

Когда ребята заснули, Кошурников разулся. Он долго грел у костра босые ноги и сушил прокисшие грязные портянки. Потом собрал остатки Алешиных ботинок, взял с плаща гвоздики.

Обувь была сейчас для изыскателей проблемой номер один. Ведь тайга есть тайга. Будь у тебя даже сколько угодно еды, одежды и сил – пропадешь ни за грош в зимней тайге без хорошей обуви. Сейчас бы изыскателей выручила любая обувь: пусть ботинки на деревянном ходу, пусть стеганные бурки с шахтерскими галошами или даже лапти – ведь носили их деды и не жаловались.

Кошурников отхватил от полушубка продолговатый кусок овчины, сделал из него стельки. Потом порезал на тонкие ремешки пояс от патронташа, обмотал ими передки сапог, стал обуваться. Вдруг он заметил, что ноги у него будто потяжелели. Потянул штанину, надавил пальцем на лодыжку. Осталась ямка. Почти спокойно пришел к выводу, что ноги стали пухнуть. Что же тогда с ногами у Кости? Стофато уже не сушил свои пропитанные водой валенки. Сегодня вечером он попросил Кошурникова вынести пимы на ветерок, чтобы они замерзли. Пимы были тяжеленными, из них пахло падалью...

Вечер все тянулся и тянулся. Кошурников достал часы. Не было еще и полуночи. Какими долгими стали вечера! Зато день уменьшался на глазах. Странная получалась ситуация: изыскатели спешили, торопились, чтоб уйти от зимы, но вынуждены были бóльшую часть суток

сидеть, не продвигаясь ни на один метр. Ведь в темноте не пойдешь – пара пустяков сломать ногу. К тому же вечером резко понижалась температура, и промокшие плащи и полусубки вставали колом...

Кошурников нащупал в кармане кителя блокнот и карандаш.

*«28 октября. Среда*

Левый берег Казыра, пикет 1666. Исключительно тяжелый в смысле ходьбы день. С 6 часов утра пошел снег и шел хлопьями весь день и сейчас идет (23 часа). Навалило сантиметров 15, а главное – все это повисло на деревьях и падает при малейшем прикосновении. В результате к вечеру все были мокрые до нитки. Журавлев шел без плаща и промок насквозь. Меня несколько спас плащ. За день прошли всего 10 км по трассе. В натуре это километров 12–15.

Завтра пройдем Базыбай, а там, если река не имеет тенденции замерзнуть, сделаем плот и поплывем. У меня сегодня за день пропали сапоги. Или я их сжег во время сушки, или на подошвах была гнилая кожа, но в результате подошвы на обоих сапогах пропали.

Утром перешли речку Бачуринку по льду на устье, днем прошли мимо реки Соболинки, впадающей с правого берега. Около устья Соболинки на правом берегу зимовье. Соболинка впадает в Казыр на одном уровне.

По левому берегу все время тянется широкая терраса. От пикета 1660 до пикета 1690 горизонталы изображены неверно, здесь ровная терраса шириной 1–1,5 км, а на карте указан довольно крутой подъем от реки. При трассировании не следует идти берегом, а излучину Казыра нужно срезать, что дает сокращение длины километра на 2,5 при минимальных работах.

Продовольствия осталось мало, хлеба на два дня при экономном расходовании. Табаку на один день. Полагаемся на мясо».

...С продуктами худо. Хлеба, главное, нет совсем. Придется, наверно, теперь есть по одному сухарю в день. Утром – бульон на оленьем мясе, в обед – мясо от завтрака и чай. Вечером горячее мясо, бульон и сухарь. Надо меньше тратить времени на обед, а то и так день короткий...

Кошурников заснул незаметно и увидел во сне, будто варит он в кастрюле картошку-рассыпку, а потом ест ее, бархатистую, горячую и невыразимо вкусную. Ночью он просыпался от холода, поправлял костер, грелся и снова укладывался на пихтовые ветки.

Утром сказал:

– Какой я сон видел! – Он хотел было рассказать про картошку, но вовремя спохватился. – Сына видел, Женьку. Дерется будто бы с Ниночкой, а я их разнимаю.

Он насупился и спрятал глаза. Ну зачем ребят расстраивать, когда с продуктами такая беда? А если б им сейчас картошки! Вот было бы радости! Однако чудо не могло произойти...

Днем Кошурников снова отстал от своих товарищей.

– Идите потихоньку, ребята. Догоню.

Они побрели дальше, а он полез на приверху, где из-под снега торчали густые метлы малинника. Но черные, гнилые ягоды есть не будешь – отравя. Засохший шиповник под берегом тоже был безвкусным и жестким, как опилки. Если б лето! В низинках растет сочная и острая черемша, или, как ее называют под Томском, колба́. А рядом кислица, черная смородина, костяника, малина, черемуха – да разве перечислишь все таежные дикоросы! А по весне можно есть корешки кандыка, вкусные пучки, мучнистые и сладкие луковицы саранок...

Сейчас все это пропало, скрылось под снегом. Правда, луковица саранки и зимой живет, но как ее найдешь? Один раз ему показалось, что он увидел стебель саранки. Сдвинул вокруг снег, копнул топором мерзлую землю, однако это оказался стебелек не то горицвета, не то сон-травы. Разорить бы дупло белки либо бурундука – там полно крупных ядреных орехов. Да разве эти шустрые зверушки поселятся у реки, на бойком месте, куда все население тайги сбегается на водопой? Может, поискать шишку-падунец?

Кошурников выбрал кедр поразвесистее, порылся палкой в жухлой траве, но ничего не нашел. Под другим кедром тоже. Обрадовала стоящая подле молодая кедрюшка – выкатил из-под корня пару шишек. Однако орешки в них были склеваны кедровкой – пестрой хлопотли-

вой пичугой. Нет, если нельзя добыть зверя, не пропитаешься в зимней тайге! Сейчас что-то ни птицы не видно, ни зверя. Хоть бы дятла снять либо белку. Нет ничего...

У елки осторожно чиркнул спичкой, поджег янтарную смолу, натопил вязкой серки. Ребят догонял долго, взмок даже весь. Они шли молча, тяжело волооча ноги.

– Пожуйте серки.

Алеша попробовал.

– Еловая, – сказал он. – С лиственницы-то помягче будет.

– Нету лиственницы здесь. Пошли, что ли? Базыбай скоро...

Загребая ногами свежий снег, они двинулись дальше по гачедеру и колоднику.

Во время дневного чая Кошурников сказал:

– Видел я сегодня зубы лося на осине. Но, правда, несвежие. А если б убить сейчас сохатого...

Потом Алеша шел рядом с Кошурниковым и расспрашивал его об изысканиях разных дорог. А Кошурникову хотелось мечтать о том, как бы хорошо на самом деле сейчас свалить сохатого. Они бы тогда никуда не пошли. Заготовили бы дров, сделали плотный шалаш и жгли бы добрый костер. Ведь их все равно скоро начнут искать. А то дожидаться, когда забережки прочные образуются, и по ним, как по асфальту, можно пройти эти оставшиеся несколько десятков километров.

Но все это зависело от лося. А следов его нет. Наверно, весь зверь ушел в гольцы. Там нет глубоких снегов – ветры все в долину сдувают, и волки не доберутся туда...

...Скоро ли Базыбай? Громов велел бросать перед ним плот – это, говорил, не порог, а чертова мельница. Но неужели после Щек и Кита-та их можно чем-то удивить? Интересно...

К вечеру дошли до Базыбайского порога. Казыр собирался здесь в узком гранитном горле, падал почти с трехметровой высоты. По камням бился в судорогах и глухо ревел. В рыбацком домике под порогом, куда вошли изыскатели, лежали старые, сгнившие сети, берестяные полавки, в углу стояло запыленное полведерко дегтя. Пищи никакой,

одежды и обуви тоже. Изнутри стены домика, будто бархатом, были покрыты толстым слоем сажи.

Но у них была хоть крыша над головой. Дом отапливался по-черному. Сложенная из камней грубая печка стояла посреди избышки. Ее затопили, но пришлось бежать наружу – дым невыносимо ел глаза.

– Под кедром лучше, – сказал Кошурников, – хотя и стосковались мы по жилищу – спасу нет.

– Кто хочет, пусть идет под кедр. – Костя был явно не в духе.

– В избышке не дует и снега нет, – поспешил все загладить Алеша. – Хотя можно и под кедром. Где, как говорит Михалыч, наша не пропадала!

Кошурников обнял Журавлева. Они вдвоем сейчас очень были нужны Косте, характер которого подвергался главному испытанию.

В домике Кошурников долго перебирал брошенные сети, разыскивая более или менее крепкие бечевки. Потом взялся за дневник. Писать было лучше лежа – не так щипало глаза.

*«29 октября. Четверг*

Пикет 1585. Порог Базыбай. Дом рыбака. За день пройдено по трассе 8 км, что составляет километров 12 в натуре. Порог проходили уже в потемках, так что видел его плохо. Обратило на себя внимание, что вся река здесь собирается в сливе шириной не более 7–10 м. Шуму много. Собственно, порог состоит из одного главного слива, совершенно непроходимого ни на плотях, ни на лодках. Выше этого слива имеются несколько шивер и перекатов, которые при малой воде легко проходимы.

Перешли реку Сиетку. Речка маленькая, и в самое половодье, вероятно, ее можно перейти бродом. Начиная со Спиридоновской шиверы по левому берегу большие заросли малины. В нынешнем году было очень много ягод, и все они посохли и висят почерневшие и никуда не годные. Начал попадаться крупный березняк и осинник. Встречаются экземпляры диаметром до 70 см. Из хвойных преимущественно пихта и кедр, меньше ель, лиственницы совсем нет.

Зверя мало. Медведь лег, его следов давно уже не видно, сохатый и изюбр, вероятно, подались на зиму на северные склоны Саян, так как

здесь очень много снега. Кстати, снег продолжает валить. Выпало уже очень много, что очень мешает идти. Мы буквально за собой с Саян тянем зиму. Снег нас просто преследует и не дает убежать. Однако надеюсь, что в районе Курагино – Минусинск снега еще нет и я застану осень, очень позднюю, но все-таки без снега».

Вечер этот казался длинным-длинным. Разделили на три равные части последний сухарь. Поделали из бересты треугольные стаканчики – чуманы, зачерпывали из кастрюли и медленно пили соленую воду с едва уловимым запахом оленины. Кошурников знал, что с потом у них выходит много соли, и щедро солил суп. Он и чай стал пить соленым.

Хотелось курить. Как о несбыточном счастье, Кошурников грезил о щепотке самосада. Легкие, сердце, мозг, кровь, жилы, кости требовали хотя бы одной затяжки, после которой по телу разливается горькая сладостная истома...

Дневник отвлек его немного. Неужели ребята не мучаются, особенно Алешка, который не курит уже с неделю? Кошурников взглянул на товарищей. Костя весь вечер методично и неторопливо жевал серку, но сейчас с отвращением выплюнул ее:

– Еще больше есть хочется от этой штуки. И курить...

К горлу Кошурникова мгновенно подступила тошнота. Было бы счастьем встретить сейчас пограничников, у которых рюкзаки набиты консервами, а кисеты – томской либо канской махорочкой! Счастьем было бы встретить медведя. Кошурников, не задумываясь, пошел бы на него с топором. А еще лучше, если бы лето сейчас! В крайнем случае пошли бы босиком по отмелям Казыра и ели бы всю дорогу малину.

Кошурников долго смотрел на темный снег и вдруг отчетливо увидел лесную поляну, покрытую синими колокольцами водосбора и розовыми горлянками... «Стоп! Уж не галлюцинация ли? Не хватало еще спятить мне. А ребятам надо сейчас силу показать, Костя особенно нуждается в этом». Кошурников открыл глаза, встряхнул головой, и сразу все стало на свои места: заснеженная чужая тайга, тяжелые черные холмы, дымная изба, утомленные голодные товарищи...

– Может быть, о другом поговорим? – спросил Алеша, не отрывая взгляда от вишневых углей в печке. – Михалыч, помните, мы начали разговор о счастье? Что это ваш отец по-латыни говорил насчет счастья?

Кошурникова вдруг пронзила мысль: «Ведь Алешка все понимает! А разговоры, которые он затевает, не жалея своего простуженного горла, – это же для всех нас! Чтоб не было тягостного молчания – страшной болезни одиночества. И курить он бросил, чтобы нам с Костей досталась лишняя крошка махорки! Умница ты, Алеша, но что же отвечать тебе?»

– Костя, – сказал Кошурников. – Костя, что ты считаешь счастьем?

– Увидеть сына либо дочку. В общем, что там родилось. – Костя мечтательно посмотрел в темноту, с опаской оглянувшись на Алешу. – И поесть бы, как до войны...

– Ну и что, Михалыч? – снова подал голос Алеша. – Как вы-то смотрите на счастье? Я ведь о другом счастье спрашиваю, понимаете?

– Понимаю.

Кошурникову думалось с трудом. Он слишком устал. Начало сказываться, что он всю дорогу лоцманил на передней гребне, плотничал, палил ночами костер, вел записки экспедиции. Но отец бы одобрил его работу. Кошурников вспомнил, как отец первый раз показал ему теодолит. Мальчишка нашел Полярную звезду и заявил, что хочет все время смотреть в эту волшебную трубу. «Per aspera ad astra!» – смешно вскричал тогда отец, подняв руки к небу.

Спустя годы сын тоже стал прокладывать железные дороги. Свертывая изыскательскую партию где-нибудь в Кузбассе или Хакасии, на Урале или Алтае, он в последнюю ночь выносил из палатки теодолит, и рабочие, техники, кухарки смотрели через него на звезды. Невыразимо прекрасными были эти минуты. Они возвышали мысли, помогали людям осознавать свое место на земле. Ведь идеал изыскателя – кратчайшее расстояние и минимальные уклоны – давался тяжким и бесконечно честным трудом, результаты которого скажутся не скоро, и только будущие поколения соотечественников рассудят, любил ли этот инженер свою Родину и свой народ...

Но как все это объяснить ребятам? Кошурников чувствовал на себе вопросительный взгляд Журавлева и понимал, что должен отвечать.

– Счастье! Я никогда на эту тему не говорил, Алеша, – начал он, подняв тяжелую голову. – Понимаешь, счастье, о котором ты спрашиваешь, – это осуществление мечты, достижение цели, идеала, что ли. До войны я на каждый год планировал себе счастье. Сейчас надо хорошо делать все, что заставят. А после победы мечтаю проложить невиданную трассу. Непонятное объяснение счастья, Алеша?

– Вы настоящий человек, Михалыч! – Прикрыв широкой ладонью глаза, Алеша придвинулся вплотную к горячим камням.

В избушке было тихо, а на дворе разгулялась непогода. С неба падал и падал густой снег. Оседал на елках и пихтах, вил воронки вокруг осиновых комлей, собирался в кустах рыхлыми сувоями. А в логу, что тянулся у самого домика, уже намело по пояс, и вряд ли этот забой теперь растает до лета...

...Рыбаки не придут сюда. Хариуса, омуля и тайменя полно и ниже Базыбая. А белковать еще рано, так что охотники тоже не встретятся. Пограничники могли бы выручить, но ведь катер не пройдет сюда – ледяные перехваты не пустят. На лыжах только...

«До жилья осталось 58 км, а может быть, и меньше, если встретим рыбаков, охотников или пограничников. И то, и другое, и третье очень желательно, так как с продуктами дело обстоит очень плохо. Сухарей, собственно сухарных крошек, осталось на один день. Мяса в той норме, как мы его потребляем, – на четыре дня. Табак сегодня кончился. Это портит настроение. Идти очень тяжело, несмотря на небольшой груз, который несет каждый из нас. Хуже всех чувствует себя Стофато, он идет очень плохо, все время падает и сильно устает. Стал раздражительным, а это уже плохой признак. Лучше всех чувствует себя Журавлев, а я средний. Правда, мне идти значительно тяжелее, так как я в сапогах, а Алеша в пимах».

Кошурников, подкладывая дрова, обжег руку, помотал ею в воздухе.

– Михалыч! – сказал вдруг Алеша. – Вам ведь неважно огонь всю ночь поддерживать.

– Да ничего.

– Нет, давайте уж так: половину ночи я топлю, половину вы.

– Ну давай. Только трудно это тебе будет.

– Вы что? – раздался высокий голос Кости. – Вы что, меня за человека не считаете? Я тоже дежурить буду.

– Тогда совсем хорошо, – обрадовался Кошурников, и глаза его заблестели. – Знаешь, что сейчас скажет Европа? А?

– Знаю, – коротко отозвался Костя и будто переменился сразу, повеселел.

«С сегодняшнего дня установили трехсменное ночное дежурство: с 21 до 24, 0–3, 3–6; это в отношении присмотра за костром и приготовления завтрака, а то до сего времени я был штатным кочегаром – топил всю ночь, а ребята спали, как суслики.

Завтра день еще пойдем пешком – хочу посмотреть, как ведет себя река. Во всяком случае, пока ничего радостного не предвидится, так как выше порога есть перехват и ниже порога река тоже замерзла, на большом протяжении или нет – не знаю. Ниже порога долина Казыра расширяется, горы отступают, и вообще такое впечатление, что горная часть кончилась и началось предгорье.

Как-то мы его одолеем, почти без продовольствия и без дороги?»

Назавтра прошли километра два по сплошным заснеженным завалам. Больше всего хотелось перелезть через последнюю колодину и посидеть, отдохнуть, минутку поспать. «Колодник, валежник, заваль, – вяло думал Кошурников. – А в других местах Сибири эти завалы называют не так. Ветровал, чертолом, каторга... Нет, надо делать плот... Дурнина, гибельник...»

– Нет, надо делать плот, – сказал он товарищам. – Пока здесь чистая река...

Сделали небольшой салик – груза-то у них не было никакого. Решили, что один пойдет по берегу, чуть впереди, чтобы сигнализировать о ши-

верах и ледяных перехватах. Ведь если они сядут на перекате, у них уже не хватит сил сняться и они останутся навсегда посреди реки...

Первым пошел Алеша – у него были еще довольно крепкие валенки Кошурникова. Когда отплыли, Алеша уже был далеко впереди. Салик пошел хорошо, хотя гребь плохо слушалась ослабевших рук.

Плыли около часа. Далеко от берега салик не пускали – вдруг перекат?

Кошурников зорко смотрел вперед. Там, в синей влекущей дали, все так же наплывали друг на друга знакомые «шеломы», только стали они плавней и ниже. Начальник экспедиции – он остался им, хотя судьба сейчас равняла всех троих, – внимательно оглядывал и берега. Но нет, никаких признаков жизни не было на этих лесистых, застывших в морозном воздухе кручах. Фигурка Алеши еле двигалась по террасе, и Кошурников старался держаться поближе к берегу, где течение было послабее. Не раз останавливался, поджидая, пока Алеша снова опередит их.

В их положении это был, конечно, самый лучший способ передвижения. Уж больно надоел бурелом! Выматывая последние силы, он тянулся бесконечно и однообразно. Сейчас, правда, бурелом кончился, и Алеша идет мелким кустарником, но на плоту все же лучше – работает, отмеривает пикеты Казыр, двое на гребях фактически отдыхают и, что сейчас стало очень важным, не треплют обувь, если можно было назвать обувью остатки сапог Кошурникова и расплзающиеся на глазах валенки Стофато. Алеше вот только несладко достается, но надо будет сейчас его сменить. Что это, однако, его там беспокоит?

– Алеша руками машет, – всмотревшись, сказал Кошурников. – Неужели Поворотную яму перехватило? Бей лево, Костя!

Изыскателей несло на перехват. К берегу все равно не успели – уткнулись в лед. Это был даже не лед, а снег. Кошурников, изучая вчера карту, опасался за это место – Казыр здесь уширялся, вода текла медленнее, и ее могло остановить. Да, опасения оправдались. Наверно, несколько дней назад в этой излучине был широкий спокойный плес, а сейчас от берега до берега Поворотную яму зашуговало, заморозило, а сверху насыпало толстый слой снега. Проклятье!

Кое-как выбрались на берег, молча надрали бересты, собрали сухих сучьев, развели костер.

Темнело. Сверху спустился промокший насквозь Алеша, без сил лег у костра.

– Тоже мне! – презрительно сказал он. – В Сибири не был, а берется судить...

– Кто?

– Да Джек Лондон. – Алеша сунул руки прямо в огонь.

– Все равно это был хороший писатель, – обронил Кошурников.

Молча сварили небольшой кусочек мяса, разделили его, выпили бульон.

– Михалыч, – сказал Алеша, – а каких вы еще писателей любите?

– Пржевальского. Только это не писатель. Однако пишет хорошо: «Сибирь совсем меня поразила: дикость, ширь, свобода бесконечно мне понравились». – Кошурников прикрыл глаза тяжелыми веками. – Ильфа и Петрова часто перечитывал. И еще Пушкина любил...

Костер вздыхал и тонко попискивал, будто жаловался на свое одиночество.

1960

## **ЕЛКИ-МОТАЛКИ**

(главы из повести)

### Глава первая

С л е д о в а т е л ь. Вы давно знаете обвиняемого?

– А я его не виню.

С л е д о в а т е л ь. Свидетельница Чередовая, отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Давно его знаете?

– Как будто всю жизнь.

С л е д о в а т е л ь. А точнее?

– Год сравнялось.

С л е д о в а т е л ь. Где вы с ним познакомились?

– В Чертовом бучиле. Только зачем это вам?

С л е д о в а т е л ь. Где-где?

– Под Байденовом. Жигановского района.

С л е д о в а т е л ь. Чертово бучило – это что? Населенный пункт?

– Нет, бучило...

С л е д о в а т е л ь. Болото, что ли?

– Ну да, бучило...

Сейчас Родион прыгнет в пустоту и полетит – глазами к лесному пожару, не дыша, ни о чем не думая, затягивая до последнего эти бесценные, лишь ему принадлежащие секунды.

– Давай! – прошевелил губами летчик-наблюдатель. Его не было слышно, потому что самолет вбирал в себя тарахтенье и гулы мотора, от этого сам гудел и тарахтел – особенно-то не разговоришься.

– Не снижайся ко мне, чтоб захода не терять! – крикнул Родион и увидел, что руцких кивнул.

Пропела сигнальная сирена, ветер толкнулся в самолет, забился, зашумел в синем проеме. Родион, чувствуя, как тяжелеет сердце, замер над бездной, глубоко вдохнул тугой воздух, в который вплетались ароматные бензинные струйки, и, чуть толкнувшись ногами, повалился вперед.

Он шел к земле, как ястреб, – головой. Глаза его были широко раскрыты, локти прижаты. Родион знал, что через несколько секунд начнет переворачиваться на спину, если не раскинет руки или не вырвет кольцо, но эти мгновения он хотел взять полной мерой. Сияло высокое негреющее солнце, пел воздух, медленно, смещаясь, плыла внизу осенняя желто-зеленая тайга, чернело пожарище меж рекой и болотом. Он не падал – летел легко и сладостно, как в сновидении.

Ну, вот и пора. Родион напряжился весь, чтобы заполнить лямки мускулами и смягчить рывок, не торопясь и не волнуясь, рванул кольцо. Полотно разом вытянуло, и купол наполнился с мягким и гулким хлопком. Дернуло.

Он вырвет сейчас прямо к болоту, на мелкий кустарник. Начал доить стропы, примеряясь к площадке, потом скрестил на свободных концах руки, повернул себя лицом к слабому ветру, еще раз оглядел пожар. Неужто огонь угнездится в торфянике и перехлестнет в эти леса неоглядные? Родион засек кордон лесника на другой стороне болота, развернулся, чтобы встретить землю ногами. Она приближалась, росла, но восходящие земные токи будто бы держали парашют. Еще казалось, что зеленое болото прогибается.

Пахнуло дымом. Родион схватился за полукольца, изготовился. Сейчас земля словно бетонная делается, крепко ударит в ноги и позвоночник. Но Родион, хорошо чуя землю, за мгновение до встречи с ней рвал полукольца на себя, и сила удара куда-то уходила.

Вот он, край болота. Трава зеленая. Вдруг прямо под ним блеснула темная вода, и сердце прыгнуло – зыбун! Рванул руками, запрокинул голову и последнее, что увидел, – полярное отверстие в куполе, голубой кругляшок неба. Родион весь, с головой, вошел в то, что должно было быть землей, вошел с хлюпом, но мягко, без удара, и понял, что конец, кранты, если сейчас его накроет парашютом. Начал бешено бить руками, однако ноги держало что-то вязкое – не то ил жидкий, не то мертвая трава. Вынырнул, раздул легкие воздухом и, охваченный острой радостью, увидел небо. Купол отнесло, положило на траву; он смялся, потерял форму, уже начал намокать. Утопит? Родион вытянул шею, огляделся, не переставая месить вокруг себя грязную воду. Ага, несколько стропов легло на куст багульника, у корня. Метров десять было до этого куста, а за ним такая же зеленая трава в воде, и только дальше, еще, пожалуй, на полдлину стропов, в ржавом, редящем к зиме папоротнике, первая березка.

Березка эта была недосягаемой. Ноги держало плотно, и Родион боялся ими шевелить, загребал и загребал руками, надеясь на свою силу и зная, что устанет не скоро еще. Чуть слышным ветром переливало осоку вокруг, лопались у глаз большие мутные пузыри, пахло гнилым колодцем и падалью. На руки была вся надежда. Он вроде начал подаваться вперед, но тут же почувствовал, что его обжало и держит

плотно, даже будто бы засасывает, а он, перемешивая болотную жижу под боками, лишь помогает этой вязкой силе. Начал быстро выбирать стропы одной рукой, спутал все в мокрый грязный клубок и никак не мог найти шнуры, что тянулись к багульнику. Где же они, эти проклятые стропы? Нашел. Уцепился обеими руками, осторожно подтянулся. Славно! Однако трясина, плотно охватившая его крупное тело, будто тоже собралась с силой, держала. А тут еще запасной парашют. Он, правда, был в водонепроницаемом ранце, но его мертво взяло вниз, и лямки мягко осаживали плечи. Врешь, елки-моталки! Теперь-то уж врешь! Родион потянул стропы, еще потянул и замер, тяжело дыша.

Надо было успокоиться, вот что. Донесся едва слышный рокот самолета. Ага, Платоныч, как договорились, решил раструсить ребят с того же захода. Три купола уже сносило по небу, и вот еще один комочек вывалился картошечкой. Санька Бирюзов, Копытин, Ванюшка, Серега – пожарники всегда садились у бортов самолета таким порядком. Нет, ребята не вдруг догадаются, что он пропадает по первому разряду. Тут уж надежда на Гуцких. Сейчас летнаб развернется, сбросит Прутовых, Митьку Зубата и остальных, а с грузового захода увидит, что у меня тут нелады.

Родион почуял, как холодна вода. Спецовку сразу пропитало насквозь, но холод подступил только сейчас, когда Родион присмирел. Ноги начали неметь, и руки тоже – стропы впились, перехватили кровь. Одно надо – вон ту березку повалить, иначе дело его табак. Пока Гуцких увидит, что он попал в беду, да пока вымпел ребятам сбросит... Добираться им сюда не меньше часа.

Вот сэкономил время, ничего не скажешь! Так доэкономилсья. И какой тут, к черту, торф, в этом бучиле? Значит, огонь здесь не пройдет, на косогоре надо его держать...

Болото залило чистой водой свое тухлое нутро, однако едва заметно дышало, пузырилось вокруг шеи, перешевеливало траву. Как это он угодил в эту проклятую топь? И в Приморье прыгал, и в Якутии, и на Сахалине курильский бамбук тушил, встречались всякие болота, но в такой переплет Родион еще не попадал. Мысли вспыхивали и гасли, и неясно

меж них текли слова, обращенные к Гуцких: «Неужели ты, Платоньч, с грузового захода не пройдешь надо мной? Давай сюда, сюда, летнаб! Погляди, я ведь не расстелил парашюта, – может, седая твоя фронтовая голова сообразит, что я пропадаю по первому разряду...»

Руки совсем затекли, и вода стояла под самыми ушами, леденила затылок. Еще попытать? Родион знал свою силу и чувствовал, что кое-что у него в руках еще есть. Есть! Задержал дыхание, потянул стропы до дрожи во всем теле и увидел, что куст – единственная его зацепка – подается, мягко приныривает. Нет, лучше уж не двигаться.

Пожар был рядом, однако не трещало пока и не ухало, шумело едва слышно, ровно – так доносит свои шорохи большая река. Из лесу плыл медленный серый дым. На болото он не садился, и у воды можно было дышать. И еще Родион подумал о том, что ему повезло: комаров уже нет – осень, а то они бы сейчас зажрали его насмерть. Усмехнулся в душе, подивился тому, что может в своем пиковом положении еще чему-то радоваться и даже усмехаться.

Родиона охватывал озноб. Холод подступил к груди, однако Родион надеялся на свое сердце, оно еще ни разу в жизни себя не выказывало. Где же Гуцких? Конечно, пока развернутся, пока туда-сюда...

Родион вздрогнул, вскинул голову. В лесу ломало сучья. Неужто пожар дополз? Еще какой-то звук, будто шарится огонь в продувах.

– Шалава! – услышал он вдруг мальчишеский голос. – У, шалава!

– Сюда! Эй, парень, сюда!

Родион понял, что спасен. По крайней мере, он уже не один. Мальчишка с кордона, видно. С Родионом не раз бывало близ деревень – не успевают он опуститься, как ребятня окружает. Расспрашивают, помогают с парашютом сладить, просят куда-нибудь и зачем-нибудь послать.

– Эй! – закричал он. – Я тут! Сюда!

Меж кустов показалась голова в кепке. Стоп, не баба ли? Точно. Вернее, девчужка. На коне. В штанах, а сверх штанов юбка.

– Как тебя, дяденька, занесло сюда? – растягивая слова, спросила она.

– Топор есть? – Родион не очень-то надеялся на пигалицу. – Топор с тобой?

– Нету-у-у, – пропела она.

– Погоди!

Он всегда прыгал с топором – это ничего, не мешает, Санька Бирюзов, тот даже с ружьем наловчился. Родион распутал правую руку, нащупал на поясе чехол и пряжку.

– Посторонись! – Он с силой швырнул топор на берег. Хлюпнуло там, и Родион испугался, не утопил ли он неразлучного своего дружка. – Нашла?

– Ну, – ответила она, и Родион обрадовался.

– Руби березку вон ту, видишь?

Она тюкать начала по березке. Задрожал, задержался вершинный лист у деревца. Родион увидел, что замахивается девчонка хорошо, по-мужичьи, и щепки полетели. Меж замахов она говорила нараспев:

– А я пока бучило объехала... Как это ты, дяденька, не утоп?.. В это бучило паровоз уйдет... Терпи, я ее мигом повалю. На тот вон куст, да?

– А то куда еще? Скорей! Веревки у тебя нет?

– Нету-у-у.

– Ты с кордона, что ли? А где отец?

– Лежит. Язва у него.

Березка упала с плеском и шумом и хорошо легла, метров пять до ее вершины было, всего только. Девчонка ловко полезла по березке, перебирая сучья. Они гнулись, и березка гнулась, топла серединой в мокрой траве, и Родион боялся, что его неожиданная спасительница сама угодит в болото. Правда, кочки там и такой глубины не должно быть. Нет, добралась до куста хорошо, потянула за стропы, но так слабо, что Родион едва слышал. Подергала еще немного.

– Весу-то в тебе, дяденька, наверно... – Она села в траву.

Родион перестал ее видеть.

– Без малого девяносто кило, – сказал он. – А где ты?

– Тут.

– Вяжи-ка стропы к сучьям.

– Сейчас, дяденька, сейчас. Не готово еще, нет. Сейчас... Есть!

Родион напряг бицепсы, но без толку – то ли ослаб уже, то ли трясина так держала. Еще попытался, вложив все, однако подалась березка – она была срублена напрочь и не держалась на сломе. Нет, это ему уже не нравилось. Девчонка балансировала на кусту, хватаясь то за листья березки, то за тонкие стволы багульника, то за стропы, взглядывала на его мокрое, грязное, искаженное от усилий лицо и неожиданно кинулась по березке к берегу.

– Ты что? Испугалась, что ли?

– Вот еще! Ты сам, дяденька, не испугайся.

С топором в руках она лезла назад, в болото. Что это она делает? Разбирает парашютные шнуры у куста, рубит их. Зачем? От рыхлого податливого корневища удары передавались по тугим стропам к его рукам.

– Что ты делаешь? Зачем ты там рубишь?

Родион вытянул шею и увидел, что она бросила топор на берег, начала связывать стропы, однако тугие шелковые шнуры были скользкими и узлы расходились.

– Ты чего хочешь? – уже спокойно спросил Родион.

– Терпи, дяденька! Конем я сейчас тебя дерну.

– Вот это, пожалуй что, верно! – Родион завозился в воде. – Давай, только морским узлом надо. Можешь морским, а?

– Каким еще морским?

– Тогда на берег, – скомандовал он. – Петлю на комель березки, да и только, поняла?

– Как не понять? – бормотала она, пробираясь на берег. – Сейчас я тебя конем. Лишь бы шнуры не оборвались. Весу-то в тебе, дяденька...

– Считай, центнер, – весело сказал Родион, поняв, что через минуту будет на берегу. – А одна стропа выдерживает полтора. Так что...

Чтобы не попортить руки, Родион освободил их и, хлюпая из последних сил в грязно-рыжей воде, примотал стропы к стальной защелке на груди. Теперь-то уже в порядке! Славно. И желтеющий папоротник на близком берегу, и насквозь продымленные лиственницы за ним,

и большое пустое небо – все будто ожило и приблизилось. Девчонка на берегу ласковым голосом уже уговаривала невидимую «шалаву».

Низко пролетел самолет. Сейчас было ни к чему беспокоить ребят. Гуцких, конечно, сделает над ним еще один заход, потом уж полетит бросать вымпел. Успеть бы! Пристроилась она там или нет?

– Гони! – крикнул он.

Вот его дернуло, потянуло, окунуло с головой. Родион выгнул спину, чтоб ее не переломило, однако сила хорошо передалась на круговую лямку. Зыбун, облежавший холодной и вязкой резиной его ноги, неохотно, с храпом и вздохами отпускал жертву. Родиона проволокло до куста багульника, проволокло грубо и скоро, будто непогасшим, парусящим куполом. Он вскочил и тут же упал в прибрежную траву – ноги не держали.

– Ну как? – раздалось в кустах. – Дяденька, слышь?

Он не ответил, сияясь подняться. По пояс в воде, почти ползком добрался до берега, быстро вытянул тяжелое полотнище на чистое место, стал расстилать его.

– Хорошая материя! – В этом знакомом уже напевном голосе Родиону послышались заботливые бабьи нотки. – Шелк?

– Перкаль. Клинья только шелковые. Но материя ничего. Подарить?

– Казенным имуществом разбрасываетесь? – с шутовой строгостью спросила она.

Вот он, Гуцких. Летит. Ага, качнулся с крыла на крыло. Увидел. Все. Родион выбрался на сухой берег, лег, с наслаждением ощутил всем телом твердь, узнал огуречный запах папоротника и только тут взглянул как следует на свою спасительницу. Она тоже смотрела на него, грязного, дрожащего от озноба, смотрела весело, но ей, видно, тоже досталось: юбка была мокрая и полы старого мужского пиджака, перетянутого солдатским ремнем, потемнели от воды.

– Подарить, говорю, парашют-то?

– Да нет, дяденька, не возьму. Это же казенная вещь.

– Спишем, – сказал Родион. – Ему уже пора. Чиненый-перечиненый, да еще ты его топором порубила.

- Я нечаянно, дяденька.
- Слышь, тетенька, а сколько тебе лет?
- Девятнадцать.

– Да? – удивился Родион. – Сразу-то я подумал, что вы парнишка.

Он снова засмеялся, радуясь всему, и она улыбнулась. Зубы у нее были ровные и белые, как у барышни на коробке от зубного порошка. И смеялась она по-своему – тихо, будто затаивая смех для себя.

Родиону надо было срочно согреться. Он вскочил, стал прыгать и приседать, вырвал из мягкой земли добрую березку с корнем, раскачал еще одну и тоже выворотил.

- А я думала, вы дяденька! – весело сказала она.
- Дяденьки у нас не прыгают.
- Почему?
- Отпрыгали свое.
- И на пенсию?
- Кто куда.

– А вы в это бучило зачем? – поинтересовалась она. – Чтоб помягче?

Интересная была у нее манера. Она мгновенно думала, прежде чем сказать первое слово, и губы у нее чуть заметно шевелились, будто она уже начала говорить про себя. Потом неспешно и мягко тянула слова – так все говорили в Жигановском районе.

Родион не раз встречал на пожарах деревенских девчат. Они мнутсья в разговоре, стесняются неизвестно чего, а эта совсем другая. Форменная бритва. Молчит вот сейчас, ждет ответа, а видать, уже настороже, чтоб тут же резануть. «Чтоб помягче?» Родион не стал отвечать на последний вопрос: ясно, что он был с подначкой.

Огляделся вокруг, спросил:

- Как зовут?
- Бураном.
- Кого?
- Как кого? – Она кивнула на кусты. – Шалаву эту.
- Да я не про коня, – сказал он. – Вас как зовут?
- Так бы и спрашивали... Пина.

– Что? – не понял Родион.

– Агриппина. А что?

– Ничего. А меня Родион. Давно горит?

– Давно! – махнула она рукой. – Мы всем колхозом пробовали гасить, да только отец слег с той работы.

– Про какой колхоз вы говорите?

– Да про семью нашу.

Родион прислушался. За лесом низко шел самолет – взрывчатку, наверно, сбрасывал. Сейчас Платоныч совсем опростает машину, даст еще один круг, пересчитает ребят и, чтоб все сразу сориентировались, уйдет в сторону пожара. А у них тут начнется.

– От чего загорелось? – спросил Родион.

– Кто его знает! Шатались тут какие-то, с бороденками – не то руду искали, не то карту снимали. Больше никого не было...

– Ну, пойдёмте, Пина, – сказал Родион, поднимаясь.

– А у нас баня еще теплая со вчерашнего.

– Ну? Вот это дело! – Он посмотрел на ее странную одежду, на большие сапоги и усмехнулся: – Пина...

– На себя-то гляньте!

– А что?

– Чудище болотное, – засмеялась Пина. – Леший! Здоровый да грязный, тьфу!

На кордоне Родион сразу же полез в баню, а Пина, собрав ему для смены кое-какую отцовскую одежонку, поехала предупредить команду. Она вернулась, когда распаренный Родион, обжигаясь, пил чай в горнице. Отец с лежанки что-то рассказывал ему, а ребяташки, окружившие стол плотным кольцом, безмолвно и жадно разглядывали гостя.

– В порядке там? – спросил Родион, посматривая в окна.

– Вы нехороший человек, – неожиданно сказала Пина. Раздвинув сестренку и братишек, она тоже налила себе чаю. – Очень нехороший! Хитрый.

– Агриппина! – приподнялся отец. – Цыть!

– А что такое? – Родион раскрыл на нее глаза.

– Я им сказала, что ваш приятель в бане, а они переглянулись и говорят: «Понятно». Я сказала, что вы чуть не утопили в болоте, а они опять смотрят друг на друга, перемигиваются. «Ясно», – говорят. А сознайтесь, вы нарочно в болото?

– Что за чушь!

– Они рассказывают, что вы хитрый, как змей. Специально в бучило залезли, чтоб я вас тащила.

– Агриппина! – грозно закричал отец. – Замолкни!

– Ну и трепачи! – Родион крутнул головой, вглядываясь в девушку. Серые глаза ее были преувеличенно серьезны, а влажные полуоткрытые губы таили неуловимую улыбку. – Далеко они?

– У ручья. Вещи стаскали, костер наладили.

– Вы им сказали, что через болото огонь не пройдет?

– А как же! Мы и так знали, говорят. И велели гнать вас отсюда. Говорят, что вы после бани по два самовара выпиваете.

– Вырву я тебе язык, Агриппина! – застонал отец.

– Обошьетесь, а потом лежите, – продолжала Пина. – А тайга горит...

– Вот черти! – изумился Родион. – Ну и черти...

Пина вышла, а мать сказала нараспев:

– Ты уж не сердчай на нее, милый человек! Это она такая перед тобой. Злится, что поздно прилетели. Ведь о пожаре-то мы давно уже общили...

– Язва она! Неизлечимая! – закричал на лавке отец. – Идейная! Пилит меня, что газеты выписываю, а не читаю. Это отца-то! И запошная, вроде меня, когда я не больной. Последнюю неделю, как я слег, просеку рубит по приверхе. Я говорю, все равно одной не остановить пожар-то, а она только сопит. Смирная приходит, куда и вредность ее девается. Поест и спать.

– Она ведь у нас ученая, – всхлипнула мать. – Десятилетку закончила в Гиренске, хотела дальше учиться, да разве сейчас куда попадешь...

– В интернате она такая и сделалась, языкатая да уросливая, – ласково сказал отец. – А если еще до диплома доучится, что с нее будет? Ух и язва! Такое иной раз отчубучит...

Родион попрощался. В сенцах мать его догнала, сунула узелок с теплыми шаньгами и шепотом, со слезой в голосе попросила:

– Милый человек, ты уж не серчай на Пинку-то.

– Да что вы!

– Она у меня из всех детей...

Мать заплакала неслышно, подбирая слезы узластыми руками.

– Что вы? – встревожился Родион. – Что с вами?

– Боюсь, кабы с ней чего плохого не случилось, – протянула она. –

Посоветоваться с вами хочу.

– А что такое?

– Она у нас задумывается, – сказала мать.

– Как задумывается?

– Отец-то не замечает, а я все вижу. Сидит за книгой – пароход тут раз в месяц плавает и книги привозит, – сидит и потом закаменеет вся. А то слезу ей будто бы на глаза нагонит. Я уж книги стала прятать...

Родион, как умел, успокоил ее, вышел во двор. Пина у коновязи тихо о чем-то разговаривала с Бураном.

– Я заберу коня? – спросил Родион. – Отец разрешил.

– И я разрешаю, – засмеялась она, разглядывая его. – Только у меня просьба. Пожарники про вас много такого еще говорили, только вы меня не выдавайте. Хорошо?

– Ладно, – пообещал Родион. – До свидания. Спасибо за баню.

До вечера он успел объехать пожар. Огонь медленно шел низом, дымил по контуру, а середина уже прогорела. На черном фоне зеленели уцелевшие островки леса, но Родион знал, что скоро тут все превратится в гибельник. Вообще-то лиственница хорошо переносит огонь, и бывает, что она много лет еще растет на сквозном подгаре, но здешний лес стлал корни почти поверху. Огонь пережигал тонкие подземные жилы, которыми деревья держались за землю, делал их черными, хрупкими, смолу в них запекал твердыми тромбами – одним словом, конец листвягам. До зимы-то протянут, конечно, а лютыми морозами все перемрут. Держаться уже нечем будет, и ветер начнет их валить рядышком да крестом.

А пожар хорошо попал в клещи меж рекой, болотом и ручьем. Главная забота и работа на приверхе, куда медленно подвигался фронт огня. Если прорвется оттуда к водоразделу, то дымы до Красноярска свободно дойдут и подсинят по всей тайге речные долины. Но ничего, ничего! Схлестнемся. Родион почувствовал знакомый приступ азарта, что охватывал его перед всякой работой. Надо только по ручью разобрать заломы, а то огонь запросто перекинется...

У костра он дулся на ребят за то, что выставили его перед незнакомой девахой, а они как ни в чем не бывало смотрели на старшего невинными глазами, без смешиночки. «Артисты! – думал Родион, укладываясь спать. – Трепачи!»

Вскочил он еще затемно, растолкал своего друга и первого помощника Саньку Бирюзова, который вечно оттягивал побудку до последнего. Надо было закладывать и рвать взрывчатку. Родион расставил ребят по взгорку, а сам, захватив топор и лопату, поехал на Буране вниз по ручью. Он еще злился на команду за вчерашнее и у первого же залом сорвал эту злость на корягах, на старых, пересохших стволах, что перекинулись через мелкий ручей. Рубил прибрежные деревца, раскидывал сапогами сушняк, сбрасывал бревна в воду – аж брызги летели.

Буран прядал ушами и приседал за кустами испуганно, а Родион только начал согреваться. Потом он решил пройти пониже и там начать отжиг. Тонко и прерывисто заржал на той стороне ручья Буран, однако Родион не обратил на это никакого внимания – ворочал по-медвежьи, рубил и ломал сухостой, осыпал в воду голые, пересушенные сучья, мох и хвою, похожую на старинный желтый порошок, колкую, хрустящую. Она, проклятая, и вспыхивает, как порох, и легко бы перенесла по заламам огонь на ту сторону ручья, где его не остановишь уже до зимы. А так славно выходит! Вот это еще бревно здоровенное убрать. Обрубить ельник придется, иначе не стронешь. Ну-ка! Еще раз! Еще! Нет, не выходит. Даже во рту пересохло...

Родион вздохнул полной грудью, бросил топор, лег к ручью и долго, не отрываясь, пил. Потом отвалился на куст, закурил сигарету и с наслаждением вытянул ноги, примеряясь глазами к толстой сухой лесине. И как ее, дуру, сдвинуть? Это же настоящий мост для огня...

– Ну вот! – послышался знакомый голос, и Родион вскочил. – Я так и знала. Значит, правду про вас рассказывали? Опился и полеживает. А тайга-то горит!

Из-за кустов вышла Пина, блестя глазами и зубами, и у Родиона от этой улыбки все заныло внутри.

– Хотя что я удивляюсь? – она вздернула плечом. – Вы же все такие. Одно слово чего стоит – пожарник...

Откуда было знать Родиону, что Пина давно уже наблюдает за ним с того берега ручья? И как ворочал дерева, она видела, и как рушил сапогами сушняк. А сейчас он стоял перед ней, хлопал глазами, и в груди у него саднило.

– Я с утра уж думаю, что без меня тут ничего не будет, – сказала она, безнадежно махнув рукой. – Думаю, залезет еще раз в бучило. Пойти помочь, думаю-у-у?

Родион остервенело бросил в воду недокурную сигарету, взялся за лесину. Она вдруг подалась, а тут еще Пина подскочила, помогла, и они вдвоем перекатали бревно, которое тяжело плюхнуло в ручей. Потом они разобрали еще несколько завалов, начали зажигать лес вдоль ручья. Кромка огня, медленно раздымляясь, поползла навстречу главному пожару. Родион носился на Буране вдоль ручья, спешивался в тех местах, где заломы не удалось разобрать, заплескивал ползущий куда не надо огонь. Злость прошла от работы. К тому же спасительница Родиона молчала. Она бегала по горящему берегу и топтала огонь сапогами.

## Глава пятая

С л е д о в а т е л ь. Свидетельница Чередовая, вы первый раз увидели Евксентьевского на пожаре?

– Нет, в вертолете еще обратила внимание.

С л е д о в а т е л ь. Обратили внимание? А он на вас тоже обратил внимание?

– Ну, все в одной кабине были...

С л е д о в а т е л ь. И Гуляев?

– Рядом сидел.

С л е д о в а т е л ь. А он ухаживал за вами?

– Зачем вам нужно знать такие вещи? Ну, ухаживал, если в вашем понимании...

С л е д о в а т е л ь. Я спрашиваю, этот Евксентьевский-то не ухаживал за вами?

– Вы считаете, я бы позволила?

С л е д о в а т е л ь. Значит, вы не думаете, свидетельница Чередовая, что причиной преступления была ревность?

– Я даже не думаю, что и преступление-то было.

С л е д о в а т е л ь. Ваше особое мнение мы знаем. Но учтите, за ложные показания вы несете уголовную ответственность по статье сто восемьдесят первой.

– Не боюсь я ваших статей. Я правду сказала.

В субботу после обеда Родион позвонил на базу.

– Какие пироги, Платоныч?

– Горячие, – донесся голос Гуцких. – Это ты, Гуляев? Горячие пироги. Горимость высшая, пять баллов. Пластает тайга.

– Ясно. Бирюзов не прилетал?

– Хватился! Утром еще. Про тебя спрашивал.

– Ты сказал, что я в порядке?

– Сказал. А он группу-то отправил поездом, а сам пробился на гражданских самолетах. У него целая история была на пожаре...

– Что за история? Где он сейчас?

– А я его тут же на самолет и скинул в одно интересное место. Народу, понимаешь, не хватает.

– Куда же это его?

– В район Атаманки. Одного. Там здоровый пожар, надо срочно готовить вертолетную площадку. За день, думаю, сделает...

– Платоныч. – Родион сильно прижал трубку к уху. – Ты как хочешь, Платоныч, а я к нему. Когда туда вертолет?

– Послезавтра. Бригаду Неелова повезу. Ну хорошо, хорошо, Гуляев. Бюллетень ты закрыл?

– Да.

– погоди, не бросай трубку! Еще новость. Твоя подопечная уже тут. Оформляется. Она, оказывается, с десятилеткой. Что? Придешь?

Родион слушал и не слушал – ловил краешком глаза такси, переминался в телефонной будке, и вся она ходила и скрипела...

Они встретились во дворе конторы. Родион боялся этих первых минут, думал всю дорогу, что он ей скажет, как поздоровается, и никак не мог придумать. А получилось, что они даже не поздоровались, вроде бы забыли.

– Приняли! – радостно крикнула Пина с крыльца, заметив его у ворот.

– Ух ты, елки-моталки!

Он рассматривал ее, словно увидел впервые в жизни. Да на то оно и выходило, потому что Пина представлялась издалека другой. Платье на ней легкое было сейчас и чулки такого цвета, будто их не было совсем. А от туфель Пина длинноногая сделалась, точно городская студентка, к которым Родион всегда боялся подходить. И вся она ничем не напоминала ту бабу-растрясуху, с которой он встретился на Чертовом бучиле, только в глазах те же бесенята. Пина приблизилась.

– Ты не хлопотал тут за меня, дяденька?

– Что ты, тетенька!

– Смотри, а то я не люблю, если что-нибудь по знакомству. И ноты отца не приходило?

– Какой ноты?

– Видно, я ее опередила. Написал, что, мол, мою дочь Агриппину Петровну Чередовую, когда она приедет, прогоните назад, если сможете.

Они рассмеялись. Пина весело, от души, а Родион сдержанно, как бы не решаясь, потому что он не мог освободиться от волнения и не знал, как поддержать разговор.

– Мне еще надо паспорт из гостиницы выцарапать и сдать сюда, – сказала Пина.

– Может, завтра?

– В воскресенье-то?

– А мы дней не разбираем, когда горит.

– Тогда в кино, – предложила Пина.

– А что? Можно и в кино, – обрадовался Родион. – Поехали.

В городе было людно. Билеты, оказалось, порасхватали на все сеансы, и это огорчило Родиона, потому что теперь надо было придумать разговоры с Пиной.

– Как здоровье отца? – спросил он.

– Ничего. Я же писала.

– Хотя верно.

Они шли по большой улице. Пина разглядывала толпу, нет-нет да окидывала Родиона быстрыми глазами, улыбалась, а он страдал, не зная, чему она улыбается.

– Ты мои книги получала?

– Все получила. Я же писала тебе.

– Хотя верно, – согласился он.

– Еще раз спасибо.

Родион молчал. Как всегда, слова приходили потом, когда нужды в них уже не было. Если б билеты они достали! Он бы просто сидел рядом с ней, а кино бы работало за него.

– За что спасибо-то? – с запозданием сказал он. – Я сам сначала читал, а потом уже посылал.

– Видишь, я говорю, что ты хитрый человек! – засмеялась Пина. – Все до одной прочел?

– Все.

– Ну и как?

– Разные они, – осторожно сказал Родион.

– Ремарк, например? «Три товарища»...

– Да, да, помню. Немец, у которого два имени? Эрих и зачем-то еще Мария.

Пина снисходительно заулыбалась:

– Ну и как тебе он?

– Пишет крепко, но смотря что взять из него, – неуверенно протянул Родион.

– А что бы ты, например, взял?

– Что это парни у него не поддаются, хотя их жизнь всяко ломает.

– Еще?

– Словам цену знают. И товариществу у них можно поучиться. Без этого они бы там пропали.

Пина удивленно заглянула сбоку в лицо Родиона, осторожно взяла его под руку, а он покраснел, и ему стало жарко вдруг от этого непривычного прикосновения. Когда раньше он гулял с девушками – сам брать больше старался, а так, оказывается, все по-другому, и даже сердцу горячо, и легко идти.

– Знаешь, а я одну твою книгу привезла. Она же с печатями! Зачем ты ее из библиотеки?

– А что было делать? – отозвался Родион. – Искал, искал – нет нигде. Деньги внес, да и только.

– Нет, надо сдать.

– Можно и сдать, – согласился Родион.

К вечеру толпа стала гуще. Пина уже насмотрелась на нее, а Родион вообще не любил толочься среди праздных людей. Его не толкали, но само это многолюдье Родиона угнетало.

– Посидим? – предложила Пина.

От пестроты и тесноты они забились в крохотный сквер на главной улице, нашли краешек скамейки. Родион с наслаждением вытянул ноги, погладил колени. И вдруг вспомнил о том, что забылось на часок. Как там Санька сейчас? Распалил небось костер, кусты рубит, таскает колодины. А может, уже наворочался, спать лег?

– Ты о чем задумался?

– Знаешь, – помедлив, ответил Родион, – летом да осенью толпа у нас пожиже, а вот весной откуда только берется народ!

– И ты об этом задумался? – засмеялась она.

– Да нет, как бы тебе объяснить? – Родион торопливо закурил. – Мы весной в городе почти не бываем. Горит сильно.

– Весной? Почему?

– Прошлогодня трава. Одна искра – и пошло. Еще снега по низам, а в суходольных местах и на солнцепеках все звенит. Да и хвоя самая

сухая в году, и лесорубы сучья дожигают, и в воздухе влаги нет – весняк ее выпивает. Скучно тебе все это?

– Говори, говори! – сказала Пина, рассматривая в сумерках его профиль.

– Да причин-то много. Леспромхозы вырубки плохо чистят. Земля холодна и не отдает пока воду. Что отпустит – деревья сосут, им сейчас только дай. Да не в этом дело...

– А в чем?

– Санька Бирюзов там один сейчас. Конечно, не впервой... Но у него какая-то история вышла, а он один, понимаешь?

Зажглись фонари, посвежело, и Родион отдал Пине свой пиджак. Она вошла в него, скинув туфли, а гуляющие оглядывались на них и улыбались. Действительно, какая уйма людей в этом городе!

– Понимаю, – сказала Пина.

– В понедельник я лечу к нему.

– И я тоже.

– Вообще, не женское это дело, Пина.

– Ну, знаешь!

– Да я-то знаю. Не пора тебе?

Гостиница была недалеко от сквера. Пошли по затихающим улицам, и Родион, будто воробья, держал ее кулачок в своих широких и грубых ладонях. Она зашевелила пальцами, потрогала его мозоли.

– Ого!

– Что? – спросил Родион.

– Бобы.

– Прошлогодние, – сказал Родион, пытаюсь высвободить руку. – За зиму не сошли.

– Родион, а почему у тебя здесь пальца нет?

Он отдернул руку.

– Отстрелил?

– Да нет...

Родион стеснялся своего недостатка, однако Пина спрашивала как-то очень участливо, просто, он почувствовал себя с ней свободно и

легко, почти как с Санькой Бирюзовым. Но вдруг забоялся, что может каким-нибудь неловким словом все испортить, хотя история, которую он мог бы сейчас рассказать, была всем историям история.

– Расскажи, Родион, – попросила Пина.

– Знаешь, не к месту. Это целое дело...

– Ну хорошо, – сразу согласилась она.

Родион шагал домой темными городскими улицами, курил одну папироску за другой, не замечая, что курит, что не видит города, ровно глаза притупились и уши заложило.

А в воскресенье он рывком вскочил с кровати. Сон не просто сил прибавил, а как бы омолодил его, и ноги не болели совсем. Примчался на базу пораньше, чтоб приготовить все – взрывчатку, инструмент, палатку еще надо было выбрать, продукты закупить, принять людей, что полетят с ним.

– Видишь, я в твою команду попал, – сказал Евксентьевский. Он сидел на крыльце и победно смеялся. – Вместе будем помогать стране бороться со стихийными бедствиями. Правильно я говорю, товарищ Гуляев?

Родион не хотел портить себе настроения – промолчал, пошел к складу. Там уже хлопотал Гуцких. Родион пожал ему руку, спросил:

– Тунеядцев ты мне много отвалил?

– Троих. Мы их рассыпаем среди наших. А что ты улыбаешься?

– Да так... Спецовку сейчас им выдадим?

– Нет, к отлету.

– Каб не пропили?

– Ясное дело.

– Платоныч, пускай Чередовая летит с нами?

– Да мне-то что? Гляди только.

– Ладно.

– Вот эти лопаты забирай... А интересная девчонка! Откровенная. Я спрашиваю – зачем, мол, тебе в наше пекло? А она смеется. Справку-то, говорит, для института надо зарабатывать. Как у тебя ноги?

– В порядке. – Родион собрал топоры, пилы, подтащил к двери про-

копченный котел. – Да пускай летит! Варить будет, а то я ведь всегда сам кашеварю. Пускай!

– Уже решили об этом.

– Да я так просто... Там низовой?

– Низовой.

– Беглый?

– Нет, стеной идет. Капитальный пожар.

– Ладно.

– Бригада Неелова уже в городе, а твои черти подъедут, я их сразу же туда.

– Идет. Как со взрывчаткой?

– Скинул я ее Бирюзову. Можно и еще захватить.

– Платоныч, а что это у него случилось?

– Тунеядец один отравился.

– Консервой?

– Да нет. Сам.

– Как сам?

– Да так.

– Тьфу! – сплюнул Родион. – Жив?

– Живой. А что ты сегодня такой улыбчивый?

– Да так...

Они стояли в дверях склада, подпирая косяки, тихо разговаривали, а на дворе сидели и лежали вразброс чужаки. Странно, они не собирались вместе, а каждый был сам по себе.

– Не могу привыкнуть, Платоныч! – сказал Родион.

– Что же поделаешь? Мы тут много про них без тебя говорили.

Надо...

– Понятно. Как ты, Платоныч, думаешь – откуда такое добро?

– Вообще? – глянул на него Гуцких. – Пережитки капитализма...

– Может, и так...

– А может, и не так?

– Может, и не так.

– Что ты имеешь в виду?

– Как бы это сказать? – заволновался Родион. – Понимаешь, если есть возможность жить и не работать – такие будут долго еще.

– А от кого это зависит?

– Не знаю, – помедлив, проговорил Родион. – Наверно, от каждого из нас. Ты вот, Платоныч, допустишь, чтоб твои сыновья стали такими? А есть папы, что держат детей в достатке да в безделье, от которого подохнуть можно, не только что. А другой – совсем другой, но видит красивую жизнь и тоже тянется, на все идет...

– Это правда, Родион, они разные. Даже из рабочих один есть. Пьяница запойный, и через это попал. С тобой просится, изнылся весь.

– Знаю.

– И еще один говорит, что будет работать честно.

– А почему он там не работал?

– У него другое. Он к нам на поселение. Срок отбыл.

– За что?

– От армии уклонялся.

– То есть?

– По религиозным соображениям.

– Ну и! – сказал Родион, мотнув головой, и тут же радостно воскликнул: – А вот и она!

Он махнул рукой, Пина заулыбалась и пошла к складу. Чужаки лениво подымали головы, когда она проходила мимо. Вот подсвистнула кто-то. Пина быстро оглянулась и показала язык, а Родион и Гуцких засмеялись.

– Паспорт принесла! – доложила Пина, чему-то радуясь.

Гуцких пошел с ней в здание конторы, а у склада замаячил Евксентьевский. Он с любопытством заглянул в дверь, громыхнул лопатой.

– Весит!

Родион промолчал.

– Клевая? – спросил Евксентьевский, подмигнув.

– Что-что?

– Девочка была тут сейчас. Клевая?

– Как это?

– Не понимаешь?

– И понимать не хочу, – внятно произнес Родион, тяжело посмотрев ему в глаза.

Ничто, однако, не могло испортить Родиону этого хорошего дня. Не обращая внимания на Евксентьевского, он загремел посудой. Отсчитал чашки-ложки, потом выбрал палатку поцелей и пошел в контур: надо было выписать капсюли и бикфордов шнур.

К обеду они с Пиной уехали на такси в город. Радость, что жила в Родионе с самого утра, передалась Пине, а может, ей и не надо было заниматься этого – она сама с кем хочешь готова была поделиться своей беспричинной радостью. Когда машина с моста плавно взяла в гору, Пина склонилась к Родиону и негромко, чтоб не слышал таксист, проговорила:

– Знаешь, будто я не по дороге еду, а по земному шару...

Обедали в главном городском ресторане, и Пина улыбалась все время, и Родион тоже, хотя ничего смешного не видел в том, что это не ресторан, а настоящая обдираловка, что прислуживают в нем молодые неслышные парни, которые делают все с хамской вежливостью.

– За версту чуют, – сказал Родион.

– Что?

– Что мы не ресторанный парочка... А знаешь, Санька Бирюзов одного такого в прошлом году допек.

– Как?

– На углу у нас в галантерейной палатке торговал. Здоровый лоб, ему бы землю пахать! А Санька всякий раз, как проходит мимо, останавливается и спрашивает: «Почем соски?» Допек – куда-то делся этот торгаш...

– А ну их! – махнула рукой Пина. – Давай и сегодня не пойдем в кино?

– Давай! – охотно согласился Родион.

– Знаешь, мне еще надо чемодан сдать.

– Куда?

– На вокзал, в камеру хранения.

– Зачем?

- А куда я его дену?
- Ко мне.
- Нехорошо, – задумалась Пина.
- Почему? – удивился Родион.
- Так.
- Ерунда. Сейчас прямо и отвезем. А потом погуляем.
- Пойдем к реке, – предложила Пина. – Вечером она густая и черная.
- А ты откуда знаешь?
- Ты вчера ушел, а я не хотела спать. Схватила свитер и на речку.
- Дурак я, – сказал Родион.

Пина рассмеялась, а Родион совсем забыл то мучительное состояние, когда не шли слова и он отворачивал щеку в пороховых конопушках, засовывая поглубже в карман беспалую руку, чувствуя себя перед Пиной тупицей и уродом.

...Народу на улицах гуляло еще больше, чем вчера. Набережная отделялась от реки старинной чугунной решеткой с горбатыми лупоглазыми орлами, совсем не грозными, а скорей смешными в своей немощности. Родиону с Пиной сегодня все казалось смешным. Они то и дело переглядывались, улыбаясь, и совсем не смотрели на толпу.

В приречных скверах было тепло и сухо, а от реки тянуло сыростью. Вода внизу и вправду чернела с каждой минутой, уже не отражала ни парковых лиственниц по берегам, ни темных громоздких зданий, ни медленных заводских дымов, застилающих закат. За рекой было тихо, а с этой стороны городские шумы приглашивал сквер. Все готовилось к ночи, к покою, а Родион снова вдруг представил себе Саньку в этот поздний час, и отлаженная неторопливая жизнь этого старого сибирского города показалась Родиону совсем другим миром. Как-то не верилось, что не так далеко, в двух часах лету отсюда, ревет в продымленной тайге огонь, обагрывая небо, гулко трескаются в этом содоме деревá, а Санька заканчивает площадку. Костер, должно быть, развел, чтоб посветлей, рубит молодняк, растаскивает коряги.

– Опять о чем-то задумался? – Пина потянула его к скамейке, что стояла у самой решетки. – Может, расскажешь?

– Да что рассказывать-то? – встряхнулся Родион. – Все о том же. Скорей бы отсюда.

– Ночь пройдет быстро, – протянула Пина, и Родион уловил чистый запах ее легких волос. – А ты на вертолете летал?

– На вертолете хорошо-о-о! – успокоил ее Родион. – Только нам век бы его не видать.

– Почему?

– На этой трещалке всегда беда летит.

– Что-то я не пойму, Родион.

– Ты же знаешь – я уже раз пользовался этой машинкой...

– Хорошо еще, что спасли!

– Я не помню ничего, это Санька все.

– А что он рассказывает?

– Говорит, качался тогда я на стропах, как паук, и голова откинута. Он кричит мне снизу, а я ни бе, ни ме, ни кукареку. Прыгнул, говорит, на дерево – он ведь ловкий, как кошка, – выпустил мой запасной парашют и по нему меня кой-как на землю. Потом выложил для Платоныча знак срочной помощи и стал вертолета ждать...

– А у других тоже такие случаи бывали?

– По первому разряду-то? А как же! Санька один раз вырлил на мелколесье и угодил в порубочные остатки. Вскочил сгоряча и пошел. «Потом, – говорит, – чувствую, что-то не то». И тут же с катушек долой. Стаскивает штаны, а там сучок сантиметров на пять вошел, извини меня, в самую мякоть. А дальше – смех один! Прибегают бабы-сучкорубы, плачут в голос, будто на похоронах, а Санька как рывкнет на них: «Дуры! Тащите из меня дерево-то!» А они подталкивают друг друга, платками закрываются, боятся к кровище подойти...

– Смешно, – сказала Пина.

– И у меня был один смешной случай. Тоже недалеко от деревни. Я тогда еще в «голубой дивизии», особом пожарном отряде, числился. Нас кидали на самые красивые пожары по всей Сибири. Ну вот. Спускаюсь на покос, чтоб поровней. Хорошо сел, погасил парашют и тут гляжу, – елки-моталки! – бабы бегут с вилами наперевес. Бурятки и русские. Уперли в меня вилы со всех сторон, кричат: «Мериканец?»

А я скорей достаю свою красную пожарную книжку и говорю: «Какой же я американец?» Они вилы повтыкали в землю, извиняться начали. Говорят: «У нас вчера кино казали – вот так же одна гадина спрыгнула».

– Тоже смешно. – Пина смотрела остановившимися глазами в темноту.

Глава восьмая  
(отрывок)

...Пожарники отставали, растягиваясь цепочкой, и сзади уже стало вспыхивать на просеке. Навстречу такому огню надо бы добрый отжиг, чтоб расширить мертвую зону, но это дело хлопотное, тяжелое, а тут все были уже на пределе. Да хоть бы кое-как отжечь, чтоб главный вал не стеной подошел, не перекинулся на живой лес.

– Рукавицы взяла? – вдруг спросил Родион.

– Какие рукавицы? Нет.

– Голова! – сказал Санька. – На-ка мои.

– Да нет, зачем же твои? – проговорила Пина.

– Бери. Живо! – Санька сунул ей рукавицы, пошел назад, торжественно вскричал: – Я приступаю, леди и гамильтоны!

– Запаливай, Саня, – отозвался Родион.

Вот и конец полосы. Фронт пожара перекосило немного ветром, и тут огонь уже трепало совсем рядом. Даже земля горела, будто поддувало снизу сквозь мох и лесной хлам. Легкие желто-красные огоньки сновали из одного пылающего ручейка в другой, разбегались по сторонам. Трещало сильно, было светло, однако, на удивление, не слишком чадно – воздух быстро грело, уносило вверх, а огонь подтягивал себе из живого леса свежий.

Родион рубил длинные ветки с молодым листом, а Пина раскладывала их по полосе. Она совсем не волновалась, потому что работа началась, и Родион спокойно так, сноровисто и красиво снимал кору с гладких крепких березок. Он просекал бересту топором, и она будто сама сходила широким белым листом.

Тушить пока было нечего. Наоборот, начали запаливать. Береста хорошо пошла в дело. Родион сгребал ногами лесной хлам под елочки, поджигал его, и скоро совсем стало светло. Пина помогала, как могла, растаскивая огонь вдоль полосы на берестяных факелах. Загоралось плохо. Все же дымно было, и пламя задыхалось. У Родиона как-то лучше выходило, его костры быстро пронзали дым искрой и огнем, сами начинали подсасывать воздух и шуметь, трещать, как там, за подлеском, на главном огневом рубеже.

Пина все еще не могла освободиться от сна, войти в эту дымную, душную явь. Родион то и дело исчезал в горящем лесу, метался в зыбком, беспокойном дыму, и там тоже загоралось. Он выпрыгивал оттуда, прикладываясь к земле, чтоб глотнуть воздуха посвежей, и тут же вскакивал, бежал по полосе, озаряемый красным огнем, а большая тень его на стене живого леса множилась, образуя целую толпу.

Вал подошел буднично и страшно. Горели земля и лес, и в самом воздухе метался огонь. А когда хватало снизу кроны елей и несчетные хвоинки обращались вдруг в гудящее пламя, Пина невольно подавалась назад, в живые кусты. Счастье, что не было стороннего ветра, но пожар жил своим – дым взмешивало и крутило на полосе, а пламя рвалось вверх. Подсушенный со всех сторон остаток леса погибал под свирепеющим огнем трагично и просто.

На полосе стало жарко, даже одежда жгла, и казалось, что она вот-вот вспыхнет. Огонь то в одном, то в другом месте уже перекидывало через полосу, и его надо было гасить. Родион обметывал ветками пламя, топтал сапогами искры, а то хватал руками какую-нибудь стрельнувшую в живой лес пылающую головешку и швырял ее назад, в огненное озеро. Отжиг, что успели сделать, все же помог: низом не могло пройти много огня, а занимающийся верх быстро погасал без поддержки.

Пина тоже бегала и топталась в огне и дыму, хватала с полосы поникшие уже ветки, чтобы смахивать ими пламя.

– Шуруем? – вдруг послышался рядом выкрик. – Не бойся! Это ж мы...

Из дыма выскочили двое, должно быть, дежурные парашютисты, которые держали левый фланг, – Копытин, парторг отделения, и один

из Иванов. Они были черны, только зубы блестели, и Пина обрадовалась поддержке.

– Вода есть? – хрипло спросил Копытин, часто дыша и облизывая губы.

– У Родиона! – Пина бросилась по полосе – метрах в двадцати перекинуло шапку огня.

Сбила, затоптала, присела к земле вдохнуть поглубже воздуха, и у нее поплыло перед глазами красное пламя, а голову совсем разломил.

– На мою территорию забралась, – послышался голос Бирюзова. – Агриппина, слышь?

Вот появился Родион подле, крепко взял Пину, повел. Пожарище дымило еще и потрескивало, но там, в черноте, вспыхивало уже не мощно, слабо. Неужели остановили? Родионова рука обнимала ее всю, будто несла, а Пина, закрыв глаза, переставляла свои ватные ноги, и это все было снова как во сне...

Она очнулась в зеленом прохладном лесу. Светало, воздух был упительным свежим, только росы почему-то не видно на кустах и траве. Пожара тоже будто бы не было, лишь от комбинезона пахло дымом. Пина почувствовала, что не одна тут. Подняла голову и увидела две спины – Родиона и Саньки Бирюзова. Парни сидели на мшистой колодине, курили, оглядывали светлеющее небо, чуть слышно разговаривали.

– А рабочий пожар достался, язви его совсем! – сказал Санька.

– Один на один не похож, – послышался глуховатый голос Родиона.

– Хоть бы дожди скорей! Платоныч толкует, что сегодня же надо на новое дело: долина где-то занялась...

– Что ж, полетим, елки-моталки. Сесть можно?

– Говорит, сядем. Река там, и он присмотрел отмель подходящую.

– Кто-кто, а Платоныч-то уж присмотрит...

– И «туников» тащить? – спросил Бирюзов.

– Надо, Саня.

– Да я ничего. Только это ботало. Однако на нем свет с клином не сошелся... Гришка-то парень с пользой, да и Баптист ничего, вкальвает.

– Что там за долина, интересно? – протянул Родион.

– Только так, Родя, – решительно сказал Санька. – Давай уж я.

– А я?

– Позже подскочишь. Подежуришь тут, в лесничестве все оформишь, а дома в баню сходи, отоспись – ты же с бюллетеня. Кроме того...

– Что?

– Видно, кончается, Родя, наша армейская и пожарная дружба...

– Почему? – удивился Родион.

– Слепой я, что ли?

– Да погоди ты еще! И неужели, Саня, ты думаешь, что наша дружба так просто порушится?

Санька оглянулся, увидел, что Пина уже смотрит, толкнул в бок Родиона. Они поднялись все, вышли на полосу, обезображенную огнем. Дымило еще, искрило пожарище, даже посверкивало пламя, но было видно, что делу конец. Слева лес почти не пострадал, лишь кое-где черные и рыжие подпалыны вклинивались в него. По полосе, спотыкаясь, бродили дежурные десантники, затапывая последние головешки.

А на стане было сонное царство. Спали кого где свалило. Пина нашла еще в себе силы сходить с Родионом к бочаге и умыться. Потом Родион поставил на костер воду для варева, прилег рядом и заснул. Пина, улыбаясь, вытащила у него из пальцев дымящийся окурок, сняла в шалаше комбинезон и забралась в спальный мешок.

Она не слышала, как наступил день, как пожарники поели и засобирались, как снимали палатку и считали инструмент. Не проснулась она и когда оглушительно затарахтел вертолет, подымая парашютистов. Часа через три, вторым рейсом, увезли остальных, но Пина спала беспробудно. Все еще не в силах стряхнуть с себя дремоту, она удивленно потом оглядывала опустевший стан, где не провела и трех суток, а будто целый месяц прошел.

А Родион, оказывается, уже обед готовит! Сидит у костра, помешивает в котелке ложкой, рассматривает живой лес, в сторону пожарища иногда поглядывает, на солнце. Пина залюбовалась его лицом – то сосредоточенным, то спокойно-удовлетворенным, то веселым, и ей стало хорошо, что Родион вот такой, когда его никто не видит.

- Ты что улыбаешься? – крикнула Пина из шалаша.
- Проснулась? – вздрогнул Родион.
- Нет еще. А что ты улыбаешься?
- Да так, – протянул он, оглядывая лес.
- Понятно.

Они пошли в низинку с ведром. Родион разделся у бочаги до пояса, и Пина лила ему воду меж лопаток, на крепкую шею, в широкие ладони. Брызги летели, и Родион даже кряхтел от удовольствия. Пина тоже поплескала на лицо, однако утренней бодрости не пришло после умыванья. Неужто настолько она переутомилась?

Зато Родион выглядел так, словно не было этой ночи, которую и не захочешь вспоминать, а она сама будет вспоминаться. Что с ним? Родион смеялся над пустяками, хлопотал у котелков, двигался все время, и казалось, вот-вот запоет. Пина улыбалась, наблюдая за парнем, и, как тогда, в городе, меж ними незаметно возникло то понимание, какое только и возникает незаметно. Вот Родион закурил, в который уже раз огляделся.

– Отстояли! – улыбнулся он Пине, снова глянул в глубь тайги и, будто прислушиваясь к себе, произнес: – Русский лес...

1964

Николай Сергованцев

ВЛАДИМИР ЧИВИЛИХИН  
(фрагменты из книги)

...Экспедиция Кошурникова была направлена в Саяны в 1942 году, когда враг, захватив многие наши города и села, грозил существованию всего государства. Промышленность эвакуирована на Урал и в Сибирь, и ее нужно мощно развернуть. Это трудно было сделать без развития транспорта, главным образом железнодорожного. Перед экспедицией стояла задача срочно изыскать в Саянах путь для новой магистрали Абакан – Тайшет. У коммуниста Кошурникова было толь-

ко два помощника – комсомольцы Алексей Журавлев и Константин Стофато. По условиям тяжелого военного времени – все шло на запад, где ковалась победа, – выделили минимум снаряжения, средств и продовольствия. Каждая буханка хлеба, каждый килограмм сухарей, мяса, крупы – на учете. Так же обстояло дело с одеждой и обувью. Опытные изыскатели и геологи знали, что с такой экипировкой в малоизвестных горно-таежных районах будет крайне трудно, опасно. Знал об этом, конечно, и Кошурников. В последнем письме к жене он писал: «Если меня долго не будет, то жди спокойно. У меня слишком большая жажда к жизни, и со мной ничего не случится».

В повести шаг за шагом прослеживается путь отважной тройки через тайгу, горные кручи и перевалы, показана сумасшедшая гонка на плотах по стремительной порожистой реке, тесно зажатой в скалах. Автор с обстоятельностью и доскональным знанием дела – это качество своего метода ведения художественно-документального повествования он окончательно утвердил в «Серебряных рельсах» – показывает тяжелый труд изыскателей. Это важно для того, чтобы понять подлинную меру подвига группы Кошурникова.

Изыскатель должен работать в любых условиях – в жару, лютой мороз, ветер, дождь, – ибо ему нужно знать, как в разных условиях ведет себя камень, вода, снег. Он должен обладать универсальными знаниями: проектировщика, геолога, строителя-экономиста, организатора работ. Его задача – найти кратчайшие расстояния и минимальные уклоны, чтобы поезда не пробегали лишние километры, чтобы не снижался вес составов и экономилась энергия. Вот почему группа Кошурникова не могла искать более проходимых для себя троп, ее задача – выбрать лучший вариант трассы. И это часто создавало для них почти непреодолимые преграды. Цель их нечеловеческой по напряжению работы была поистине великой – поднять к жизни огромный край и щедрые его богатства открыть всему народу. Ради этой благородной цели они отдали свои жизни до последней минуты.

Дневник Кошурникова – сам по себе документ огромной эмоциональной и нравственной силы, – положенный в основу повести, рас-

крывает удивительный и прекрасный духовный мир отважных изыскателей. В записях Кошурникова поражает то, что все его внимание, как и внимание молодых его друзей, обращено исключительно к делу – к поиску лучшего варианта трассы, так что поначалу мы не встречаем у него почти ни строчки о трудностях таежного быта и опасностях, которые их постоянно подстерегали. «...Не буду писать о наших бедах, – читаем в дневнике всего за неделю до гибели. – Строителям разве это интересно? А добра тут в горах, наверное! В Щеках можно гидроэлектростанцию соорудить, сколько тут энергии пропадает дешевой! Потом электровозы пустить...» И так всюду – только о деле. Им придают силы и постоянные думы о событиях на фронте, под Сталинградом, где свершается главное, где гибнут люди, где всего труднее. Рано и неожиданно грянувшая зима окончательно поставила под угрозу жизнь изыскателей. Осталось каких-нибудь полсотни километров, чтобы пробиться к ближайшей погранзаставе. Но лед и шуга забили узкое русло бешеного Казыра. Приходилось один за другим бросать плоты, на каждый из которых тратились последние силы. А в записях вот такое: «Изумительно красивое место этот порог! Вчера мы видели только его начало. Дальше, через небольшой промежуток, всего в метрах 600–700, река снова входит в узкие щели и течет почти на протяжении целого километра по извилистому узкому коридору. Ширина коридора местами достигает вряд ли более 10 метров». И в записи этого же дня о положении экспедиции всего несколько осторожных строк: «Как будто получается то, чего я больше всего боялся. Забило шугой, и вряд ли до весны растает... Если так будет дальше, то перспектива у нас не особенно завидная».

Когда они, вконец обессиленные, без пищи, в разбитой обуви – а это в зимней тайге верная гибель, – бросили реку и решили пешком пробиться к людям, состоялся такой труднодостижимый, как будто за пределом человеческих возможностей, разговор.

«– Опять пишите? – приподнял голову Алеша. – Отдыхали бы, Михалыч! Что пишите-то? Как мы вкальиваем тут?»

– Да нет! Помнишь, днем я отклонился и догонял вас? Террасу смотрел, строителей здесь все будет интересовать. Могут сказать – халтурщики прошли».

Последние записи уже несут в себе трагическое осознание обстоятельств, в которых оказалась экспедиция. Кошурников, самый опытный и старший, первым понял неотвратимость беды, хотя всячески скрывал это от своих молодых помощников. Первого ноября (группа погибла 3-го) он коченеющей рукой вынужден был записать: «Перенесли лагерь к месту постройки плота на пикет 1512, против впадения реки Базыбай. Все ослабели настолько, что за день не смогли сделать плот. Я совсем не работал. Утром не мог встать, тошнило и кружилась голова. Встал в 12 часов и к двум дошел до товарищей...

Все погорели. Буквально нет ни одной несожженной одежды, и все равно все мокрые до нитки... У всех опухли лица, руки и, главное, ноги. Я с громадным трудом утром надел сапоги и решил их больше не снимать, так как еще раз мне их уже не надеть...

Продовольствие кончилось».

Но следом же идут строки, пронизанные заботой об успехах будущих строителей: «Базыбай – большая река, впадает в Казыр справа в одном уровне. Воды несет много».

...Прежде они даже не были знакомы. Несхожесть их характеров, житейского опыта была очевидной, и трудно было даже предположить, что всего за четыре недели этих столь разных людей скрепят такие нерасторжимые узы, какие встречаются нечасто, а если встречаются, то надолго остаются нравственным примером. Александр Михайлович Кошурников – потомственный инженер-изыскатель, на редкость одаренный человек, за свою недолгую жизнь сумевший изыскать, спроектировать и построить около двадцати крупных железнодорожных объектов, исходивший всю восточную часть Южсиба – от Кулунды до Лены. Алексей Журавлев – покладистый, немногословный парень, взятый в проектный институт прямо со студенческой скамьи, его хорошо знали в изыскательских партиях. И, наконец, Константин Стофато – типичный горожанин, который даже не бывал в тайге, не хлебнул экспедиционного лиха. Но время было военное, каждый человек на счету.

Владимир Чивилихин, опираясь на документы и живые свидетельства, доверяясь собственному психологическому чутью, сумел

раскрыть индивидуальность каждого из этих недюжинных людей, показать, как в кратчайшее, полное драматических событий время происходила видимая эволюция их характеров. Особенно заметно было мужание, вызревание в жестоких испытаниях характера Константина Стофато. Кошурников вначале с некоторым опасением смотрел на него: выдержит ли парень? Непривычный к таежной работе, Костя поначалу растерялся. Если Алеша Журавлев быстро научился плотничать, вязать плот, хотя и для него это было внове, словом, вполне освоился, то Костя страдал физически и нравственно, был задумчив и рассеян... Но постоянный пример друзей, их преданность делу, надежная мужская солидарность вызвали восхищение у Кости, он невольно подтягивался сам, собирал все свои физические и духовные ресурсы, стараясь быть вровень с друзьями...

...При всей многозначности содержания повести «Серебряные рельсы», ее высокой гражданственности, идейности, патриотичности и концентрации огромного человеческого материала – она и гимн дружбе, этой жизнестроительной и окрыляющей силе. Наверное, без нее последние дни кошурниковцев были бы сплошной агонией умирания, затухания жизни. Эти люди смогли не только сохранить высокое человеческое достоинство, упорно и трогательно поддерживаемое друг в друге, но и с профессиональной обстоятельностью и добросовестностью довести до конца дело экспедиции – изыскание трассы...

В подвижнической жизни группы Кошурникова поражает и другое – присутствие своеобразной ненавязчивой нравственной педагогики, которая немалую роль сыграла в их духовном восхождении. Они не просто притирались друг к другу, в силу стихийных обстоятельств неосознанно приспособлявая характеры. Зачастую, и в особенности старший из них, Кошурников, они совершали продуманные поступки, чтобы предупредить малейший срыв, трещину во взаимоотношениях. Когда Стофато по рассеянности забыл мешочек с долотом, гвоздями и другими необходимыми предметами и не признался в этом, ни Кошурников, ни Журавлев не упрекнули его. Стофато в критический и

потому для него вроде бы неблагоприятный момент признался в своей оплошности – это-то и нужно было его друзьям...

...Стоит обратить внимание на то, как в этой повести мастерски и многоцельно используется бесценный дневник Александра Михайловича Кошурникова. Он лег не только в основу содержания произведения, определил его социально-нравственную проблематику, но и позволил, во-первых, методом документирования, о котором уже говорилось, восстановить духовный мир героев, реально существовавших людей, во-вторых, безукоризненно выстроить фабулу и композицию повести и направить движение сюжета в единственно возможное русло. И в-третьих, используя высокий драматизм этого уникального человеческого документа, усилить динамику сюжета. Повесть читается с неослабевающим интересом, но отнюдь не как приключенческая или детективная беллетристика, где увлекательная смена событий обычно оставляет в стороне внутренний мир героев. Динамика сюжета в книгах В. Чивилихина – это одно из средств более полного раскрытия характеров.

В «Серебряных рельсах» произошло гармоническое слияние в нечто целое, живое, единое авторского текста и записей дневника...

...И вот в ткань повести начинают врываться записи из дневника – деловые, бодрые, свидетельствующие о жизнестойкости и неумной энергии того, кто их вел. Их эмоциональный настрой контрастирует с сопутствующим авторским текстом, с его нарастающим трагическим звучанием. И только в конце произведения, когда тревога и беспокойство закрадываются в строчки дневника Кошурникова, постепенно приобретает другую окраску авторский текст – он наполняется восхищением подвигом героев, – и во всей теме теперь явственно слышен торжествующий мотив, несущий в себе оптимистическое утверждение бессмертия дела мужественных изыскателей, нерушимость и притягательность их высоких идеалов. И если дневник Кошурникова кончается словами: «Вероятно, сегодня замерзну», то книга Чивилихина завершается так: «Он шел всю жизнь теми дорогами, которые больше всего были нужны людям. Шел и упал. Лежит он на высоком берегу Казыра, торжественно шумят над ним кедры».

...Да, это книга о подвиге, где писатель снова соединил романтику и самые что ни на есть земные дела. И сплав этот вновь помог ему раскрыть для всех недюжинные души своих героев. Но существует еще одна сторона повести, о которой почему-то обычно забывают: в «Серебряных рельсах» ведь речь идет о героическом труде советских людей в тылу в годы нашего тяжелейшего испытания... Тема войны звучит отчетливо, она идет не главным планом, но всякий раз врывается властно и настойчиво в повествование...

1978

Ирина Ащеулова

## ФИЛОСОФИЯ ТРУДА В ЖИЗНИ И ПРОЗЕ ВЛАДИМИРА ЧИВИЛИХИНА

Владимир Алексеевич Чивилихин прошел большую жизненную трудовую школу. Слесарь, механик, машинист паровоза, чертежник, рабочий корреспондент, журналист – перечень не полный, но в полной мере отражает понимание и знание человека рабочей профессии. Видимо, поэтому в творчестве писателя много повестей о людях труда: «Елки-моталки» – о пожарных, «Про Клаву Иванову» – о рабочих железнодорожного депо, «Над уровнем моря» – о таксаторах, «Серебряные рельсы» – о геологах-изыскателях трассы будущей железной дороги. Непопулярная, забытая сейчас «производственная проза»? Наверное, если развешивать ярлычки и искать аналогии, контексты, типизировать. Но есть захватывающий сюжет, неожиданные повороты повествования – и производственная тематика превращается в поэзию и философию труда, в образы красивых и размышляющих людей, понимающих свое место рабочего человека. К сожалению, объем настоящей книги не позволяет представить повесть «Елки-моталки» полностью, но тем интереснее представить читателю обзор, размыш-

ления об этой повести, надеясь, что в дальнейшем произойдет знакомство с полным текстом.

Начнем с композиции. Повесть состоит из 11 глав, каждая из которых начинается с фрагмента допроса следователем свидетеля или обвиняемого Родиона Гуляева. Фрагмент допроса как бы является конспектом событий, описываемых в главе. События разворачиваются в обратном хронологическом порядке: о том, что случилось, читатель узнает только в последней, 11-й главе. Такой прием способствует нарастанию интереса, глубокой психологизации персонажей. К моменту описания события «преступления» мы уже точно знаем, мог ли Гуляев убить человека, что Гуляев за человек, что за человек жертва Виталий Евксентьевский. В сущности, преступление квалифицируется как несчастный случай (в пожарной лесной команде погиб рабочий Евксентьевский, упал с обрыва). Но межличностные отношения между московским «туником» (тунеядцем) Евксентьевским и сибирским лесным пожарником Гуляевым позволяют трактовать данную смерть и как сведение счетов, и как месть со стороны Гуляева. Поэтому и ведется опрос свидетелей конфликта, поэтому Гуляев под подозрением. В рамках композиционной структуры повести кульминацией нарастающего конфликта становится сцена разорения Евксентьевским гнезда глухарки в последней главе: «Гнездо было разорено, растоптано – и не смотреть бы на него совсем. Тут Родион увидел Евксентьевского меж камней, его мерзейшую рожу, беспокойные глаза и палку в руке. Глухарка слетела с края обрыва и клекотала где-то внизу». Именно реакции Гуляева («фашист») испугался Евксентьевский, неосторожно отшатнулся и упал с обрыва, сломав шею. Что это: глупость, неосторожность, случайность, мелочь? Чтобы ответить на вопросы следователя, необходимо разбираться в характерах персонажей, и для этого повествование разматывается в обратную сторону, пытаясь отразить важнейшие черты «преступника» Гуляева и «жертвы» Евксентьевского.

Родион Гуляев. Около тридцати лет, грузен, плотен, высок, особой красотой не отличается, на одной руке не хватает пальца, холост, соб-

ственного дома не имеет, живет на съемном жилье, ничем, кроме работы, не интересуется. Но много читает, когда есть свободное время. Кто же Родион по профессии? Лесной пожарный, десантник, за плечами которого более 300 прыжков с парашютом, работага, на счету которого сотни потушенных пожаров и тысячи гектаров спасенного леса. Это профессионал высочайшей квалификации, которым гордится его команда, который умеет работать так, что простое прорубание просеки становится поэмой труда. «Родион пошел. Топор заблестел, зазвенел, описывая кривые круги и для своей секундной работы почти не задерживаясь у земли, где мелькала под лезвием беспалая Родионова рука, что жила будто бы своим отдельным движением, прибирая и отшвыривая в сторону все отсеченное от корней. Славно!» Безусловно, при создании художественного образа Родиона автор в какой-то мере использует клише. Например, Родион немногословен, старается больше делать, нежели говорить, – это типичное клише «человека дела». Но, с другой стороны, немногословность Родиона позволяет полнее выразить его внутреннее состояние, так сказать «жизнь души». В этом смысле это человек неоднозначный и глубокий. Например, он много думает о жизни тайги, о ее судьбе. Каждый весенне-летний сезон Родион становится свидетелем уничтожения тайги, и его заботит, что причина лесных пожаров не случайность, а вполне определенный человеческий фактор: тайгу поджигают туристы, геологи, таксаторы, топографы, леспромхозы, охотники. Естественно, это не злой умысел, но от этого не становится легче. Для полноценного роста кедра нужно сто лет, а тайга горит ежегодно, и ее сил для собственного воспроизводства может не хватить. Родион говорит – «гложет», его терзает и гложет эта мысль о даровом, случайном отношении к лесу, «он сторит, а мы будто ничего не потеряли», но Родион, как никто другой, понимает, что мы теряем. Думается, именно поэтому он вспоминает книгу Л. Леонова «Русский лес», потому что он определенно считает, что проблема леса – это проблема общечеловеческая, гуманистическая и историческая. Герой говорит Пине, что в этой книге есть много всего, «сказать не могу, как много». Именно такая человеческая глубина

не позволяет Родиону хитрить и изворачиваться в той ситуации, что сложилась из-за гибели Евксентьевского. Простой и по-своему честный выход предлагают пожарники: тайга, в ней многое бывает, никто не видел, как произошел несчастный случай, сход камня, шквальный ветер, пожар – однако Родион не может принять такой вариант, ему нужен честный и правильный, единственно верный оправдательный приговор.

Другая сторона конфликта – Виталий Евксентьевский. То немного, что читатель успевает о нем узнать (из его слов, поведения, поступков), чрезвычайно неприглядно и непонятно. Взрослый человек из интеллигентной московской семьи, не имеющий профессии, не работающий, высланный из столицы за тунеядство. По его признанию, он успел побывать сутенером, маклером, снимался в массовке, писал стихи и играл на гитаре, он разыскивал редкие книги редких авторов и читал их, чтобы выделиться, быть «не как все». Богемный образ жизни? Свобода от реальности и социума? Человек-вселенная? Возможно. Но интересно, что адресат этих слов – Пина не может заставить себя верить Евксентьевскому, она пытается понять, даже предлагает ему рассказать о себе, но чутко улавливает его пустоту. В нем чувствуется чрезвычайно завышенная самооценка, настолько, что, презирая всех людей, он не стесняется жить за их счет. При этом оснований для высокой оценки нет: он пишет плохие стихи, не умеет себя вести, не приспособлен ни к одному делу, труслив. Это тип человека, обиженного на весь окружающий мир, на саму жизнь, потому и не понимает он людей, с которыми столкнула его судьба, потому и видит выгоду и подвох там, где их нет и быть не может. Собственно, его нелепая гибель закономерна, это месть тайги, над которой он так бездумно издевался, разоряя гнездо глухарки и топча яйца. В этом жесте ощущается явный символический подтекст, ведь яйцо есть символ жизни, ее начала и конца, бесконечного цикла. Думается, автор выполнил художественную задачу, если он хотел наказать персонажа, ему это удалось. Евксентьевского не жалко, не получается жалеть людей, которые сами не способны на жалость, сострадание, удивление перед теми жизненными чудесами, что

открываются каждое мгновение. Этими качествами сполна обладают Родион, Пина, Санька, Гуцких, дядя Федя, к этому приближается «туник» Гришка. Остается только надеяться, что следствие разберется и Родион женится на Пине, что перестанут гореть русские леса.

Нельзя не сказать несколько слов о главном труде творчества В. А. Чивилихина – романе «Память». Роман состоит из двух частей-томов, писался он с 1968 по 1983 год, отдельными частями публиковался в литературных журналах и «Роман-газете». Роман принес Чивилихину известность, но и вызвал огромный резонанс. Главным художественным приемом писателя становится разворачивание индивидуальной личностной памяти в пространство, контекст общероссийской истории. История в понимании Чивилихина предстает как огромный текст, бесконечное свидетельство о жизни, мыслях, мечтах и устремлениях наших предков. Причем текстом могут быть не только документы, записки, дневники, письма, но и архитектурные памятники, устные воспоминания, художественные тексты, археологические находки. Пользуясь подлинными документами, называя подлинные имена, Чивилихин тем не менее пропускает историю через собственную судьбу, собственное понимание, поэтому все люди в исторической событийности оказываются связанными незримыми нитями. Таким образом, роман-эссе Чивилихина вписывается в контекст русской советской исторической прозы 1960–1980-х годов с ее поиском подлинной исторической истины.

В первой книге повествование начинается пространным автобиографическим объяснением автора о необходимости сделанного труда. Опыт жизненно-индивидуальный, по мнению автора, обязательно является опытом историческим, каждая отдельная жизнь вписывается в судьбу народную, судьбу Отечества: «Любой из нас, на свой срок становясь участником жизни, проходит в ней неповторимый путь, приобретает сугубо индивидуальный опыт, представляющий, однако, интерес и для других, потому что сила людей, их вера в будущее основывается на опыте каждого, включающем и знания – опыт ума, и чувства – опыт сердца, на том самом ценном, что, слагаясь, формирует

народную память, передается из поколения в поколение и становится опытом историческим». Исходя из этой максимы, автор рассказывает о важных этапах своей жизни, важнейшим из которых становится учеба на филологическом факультете МГУ и прочтение «Слова о полку Игореве», которое стало любовью и интересом Владимира Алексеевича на всю жизнь. «Слово» становится и одним из героев «Памяти». В последней части первой книги автор выдвигает смелую гипотезу об авторстве «Слова», подтверждаемую различными научными источниками. Учеба в Москве связана с любовью к архитектуре города; студентом Чивилихин обошел все знаменитые дворцово-парковые комплексы. Измайловская усадьба, Лефортово, Фили-Кунцевский парк, Коломенское, Останкино, Царицыно стали навсегда любовью писателя. От рассказов об архитекторах автор переходит к историям о людях – хранителях этих памятников. Например, пронзителен рассказ о Петре Дмитриевиче Барановском, специалисте-реставраторе, архитекторе, сохранившем и воссоздавшем после Великой Отечественной войны церковь Параскевы Пятницы в Чернигове. Именно так – от текста к человеку, от памятника к личности – движется повествование в романе. История – это люди, судьбы, голоса, их надо помнить, искать, ценить, воскрешать. Так возникает имя забытого декабриста Николая Мозгалевского, оказавшегося далеким предком жены писателя, а его судьба выводит к судьбам всех декабристов и их семей, поражающих своими талантами, энергией, силой душевной и нравственной. От связей декабристов Чивилихин вдруг натывается на тесную связь русских писателей, и появляется интереснейший рассказ об отношениях А. О. Смирновой-Россет и Н. В. Гоголя. А Гоголь выводит писателя на историю Оптиной пустыни, города Козельска и Чернигова, появляются имена и судьбы русских князей. Через тонкие нити, связывающие тех или иных людей, в романе выстраивается огромная грибница, где нет чужих, а есть только близкие и дальние родственники. История оказывается тем кругом, по мысли Чивилихина, где все связаны родственными, кровными узами, и искать, обнаруживать их – значит понимать не только себя, свою отдельную жизнь, но и жизнь всей страны,

всего государства на протяжении долгих столетий.

Проза В. А. Чивилихина является образцом глубинного понимания и осмысления жизни, ее правды, человеческого труда и русской истории.

Наталья Богданова

ТАЙГА – МАЛАЯ РОДИНА  
ВЛАДИМИРА ЧИВИЛИХИНА\*

*Владимир Чивилихин сделал все, что мог,  
и даже много больше, чем мог один человек.  
Ему упрекнуть себя не в чем. Имя его навсегда  
занесено в святцы отеческого служения.*

*В. Распутин*

Известно, что славу любого учебного заведения составляют его выпускники. Среди выпускников Тайгинского техникума железнодорожного транспорта (с 2007 года – института) кавалеры ордена Славы и герои труда, руководители структурных подразделений ОАО «РЖД» и общественные деятели, лауреаты государственных премий и крупные ученые. Но даже среди них Владимир Алексеевич Чивилихин занимает особое место. И это неудивительно: Владимир Чивилихин был не только талантливым писателем, самобытным историком, действенным экологом, который «навечно обрек себя на заботы о лесе», но и яркой, неординарной личностью, а его жизненный путь может служить хорошей иллюстрацией к словам горьковской старухи Изергиль: «Каждый сам себе судьба...» Литературный критик, поэт Станислав Куняев сказал о нем: «Писателем он стал, выбившись из полной бедности, нищеты, безотцовщины. Борьба за кусок хлеба, за крышу над головой, за одежду и обувь была для него обычным и необходимым

---

\*По материалам музея Тайгинского института железнодорожного транспорта.

делом всю первую половину жизни. Поистине горьковский, народный путь в литературу...» И в этих словах нет ни слова кривды: полжизни – нищета и голод! Но все-таки самыми тяжелыми для него были детские и юношеские годы, проведенные в Тайге.

Родился Владимир Чивилихин 7 марта 1928 года в Мариинске, но уже через год их семья переехала в Тайгу и поселилась в маленьком домике, что стоял на перекрестке улицы Максима Горького и Пожарного переулка (ул. М. Горького, 41). Здесь будущий писатель прожил 18 лет. Здесь он набирался сурового житейского опыта, получил трудовую закалку, формировался как личность, приобрел и начал оттачивать свой литературный талант, поэтому именно Тайгу «числил своей родиной».

Благодарная память писателя бережно хранила воспоминания о тайгинском периоде его жизни. «Мои первые и самые свежие детские впечатления были связаны с железной дорогой, – вспоминал В. Чивилихин. – Я жил тогда на станции Тайга в окружении людей, которые принадлежали к славному коллективу железнодорожников. Хорошо помню отца, который возвращался после поездки домой (он работал главным кондуктором на товарных поездах). Помню, как, обнимая его, я чувствовал неистребимый запах паровозного дымка, который хранила его спецовка. Шумы и звуки дороги до сих пор живут в моей душе... Среди наших первых детских игр была игра в поезда, и мы, ребята, не научившись еще как следует выговаривать слова, уже спорили, кто будет машинистом, а кто кондуктором...»

Володя рано научился читать. Первым словом, которое он прочел самостоятельно, было слово «Гудок» – название газеты, которую выписывал отец. В семь лет пошел учиться в школу № 2 и с первого же класса пристрастился к чтению. «Едва научившись читать, я пожирал глазами все буквенное: газеты, отрывные календари, бабкину Библию, школьные учебники за любой класс, книги и старинные журналы», – вспоминал Владимир Алексеевич.

В 1937 году его отец, Алексей Иванович, трагически погиб на работе под колесами паровоза на станции Анжерской, и дома главным муж-

чиной и помощником матери стал девятилетний Володя. Семья оказалась на грани нищеты. Особенно трудно стало, когда началась война. «Осенью 1941 года... нас было девять ртов, и среди них я – единственный мужик, тринадцати лет», – вспоминал Чивилихин. На попечении его мамы Аграфены Тихоновны находились трое несовершеннолетних детей, старшая дочь с двумя малолетними детьми, бабушка и приемная девочка-сиротка. Мать, не имеющая никакой грамоты, вынуждена была стирать белье на железнодорожной станции, а старшая дочь Мария работала медсестрой – на эти ничтожные доходы выживали с трудом. Бедность была удручающей.

В 1942 году Володя окончил семь классов. Несмотря на то что учился он хорошо, вопрос о его дальнейшей учебе не рассматривался: надо было помогать матери кормить семью. И он устроился работать учеником слесаря в паровозное депо. Однажды, когда он, шатающийся от усталости и голода, в своей мазутной одежке шел с работы, его встретила школьная учительница Раиса Васильевна Елкина. Под проливным дождем она дошла с ним до дома, где жили Чивилихины, и смогла убедить мать отдать его учиться в железнодорожный техникум, который в январе 1942 года был эвакуирован в Тайгу из Харькова. Так как семилетку Володя окончил с похвальной грамотой, в техникум его приняли без экзаменов и зачислили в группу № 6 специальности «паровозное хозяйство».

Условия, в которых приходилось заниматься студентам военных лет, были очень тяжелыми. Харьковский техникум (с 1 декабря 1943 года – Тайгинский) располагался в учебном корпусе, принадлежащем технической школе паровозных машинистов. Здесь же был размещен и эвакуированный в Тайгу ленинградский техникум. Это было неприглядное на вид одноэтажное кирпичное здание, в котором находилось всего 9 учебных кабинетов и 3 цеха производственных мастерских.

Для трех образовательных учреждений этих учебных площадей было совершенно недостаточно, поэтому заниматься приходилось не только в две, но и в три смены. Обычно уроки оканчивались в 22 часа 30 минут, а в мастерских они иногда длились до 24 часов. В отдельные

дни занятия во вторую смену проводились в полумраке, при наличии одной лампочки мощностью 40 ватт на весь кабинет, потому что электролампы купить было очень сложно. Здание техникума было настолько холодным, что во время зимних морозов приходилось заниматься в шапках и верхней одежде.

В организации учебной работы не хватало самого необходимого: не было тетрадей, чернил, чертежных принадлежностей. Многие ребята, в их числе и Володя Чивилихин, конспекты нередко писали на старых книгах или журналах между печатными строчками, а чернила им заменяла разведенная марганцовка. В большом дефиците были и учебники.

В годы войны железнодорожный транспорт военизировали, поэтому в техникуме была организована круглосуточная караульная служба и создана гауптвахта.

Так как большинство мужчин находилось на фронте, студентам приходилось заменять их на производственных объектах. Никаких скидок на возраст не делалось. Большую помощь ребята оказывали железной дороге в ремонте вагонов и паровозов, а также колхозам и совхозам во время посевных и уборочных. Они работали в лесу на заготовке и вывозке дров, привлекали их к выгрузке из вагонов и складированию угля. Весной и осенью неделями трудились в подсобном хозяйстве техникума. Однокурсники Владимира Чивилихина вспоминали, как по 6–10 дней они лопатами перекапывали землю на огромных картофельных полях. Норма была – не менее двух соток ежедневно. Зимой очень часто вместо занятий студентов отправляли на снегоборьбу. Работать приходилось в любую погоду, несмотря на то что у многих из них не было зимней одежды и теплой обуви. Не было ее и у Володи Чивилихина – во время морозов он ходил в сапогах и полупальто из серого шинельного сукна.

Поэтому неудивительно, что в своих воспоминаниях он писал: «Война запомнилась мне больше работой, чем учебой. Надо было и огород копать, и сено косить, и дрова пилить, и стайку чистить, а техникум куда нас только не «бросал». На снегоборьбу, где мы непре-

менно обмораживались, в шахты Анжеро-Судженска – наваливать на ленту уголь, на картошку в подсобное хозяйство, в депо, где мы катали паровозные скаты и тянули дышла. Как тянули, не знаю...»

Во время учебы в техникуме бедность повсюду сопровождала Чивилихина. По воспоминаниям друзей, будущий писатель ходил на занятия в военной гимнастерке с заплатками, а на ногах были шахтерские калоши. О том, в какой беспросветной нужде находилась их семья, свидетельствует дневник, который Володя начал вести еще в школе, когда ему исполнилось 13 лет. Его дневниковые записи очень откровенны, самокритичны и воссоздают картину полной нищеты и безысходности.

Своему дневнику он доверял самые сокровенные мысли и переживания:

«28.01.1945 г. Вчера был вечер в техникуме, впрочем, о нем мне нечего писать. Не был я... Все собираются, одеваются. Мне же нечего одевать. Сегодня ночью в 5 часов сгрелся – и на поезд в Юргу. Приехал, сходил на базар, купил картошки – назад. Вот эта постоянная забота о куске хлеба как-то воспитывает, чему-то учит – не могу объяснить».

«06.10.1945 г. Уже 2 дня не хожу на занятия. Причина незначительная, пустячная и (для многих) смешная – не в чем. Начались холодные ветры, изредка снег, у меня же «костюм» из «чертовой кожи». Ни телогрейки, ни пальто. Когда бежишь из техникума, зубы выбивают дробь и сам дрожишь всем телом, какие усилия ни прикладываешь... Как держаться? Я в среде обеспеченных... И многие хвастаются своими успехами в том или другом отношении. Чувствую, что у меня бы на их месте вышло лучше – и становится горько... Спуску я не дам никому, это знают, и это почти единственный способ оградить себя от насмешек».

«14.11.1945 г. Сегодня днем навязалась мысль – просто не находил места, думал о фразе: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно»... Ведь это кричит человек, у которого в жизни действительно было такое мгновенье, до того хороша фраза. Я раздумался о себе. У меня не было такого мгновения – и будет ли?»

Отдельные записи в дневнике свидетельствуют о крайней степени его отчаяния:

«19.01.1944 г. Мама плачет. Уж маме-то горше всего... Дома все прехом идет. Сена не хватает, картошка кончается, нет ни у кого ни обуви, ни одежды. Сама в обрывках тряпья ходит. Недоедает, все нам отдает... Мама, сестра и все остальные издергались, измотались от нужды, голода... Изредка плачу, хотя и стыдно плакать парню в шестнадцать лет».

«11.03.1946 г. Через три недели начало занятий. Мне абсолютно не в чем идти. Вокруг западни, все рвется, потому что все тонко. Сена нет, и корова еще не отелилась, картошка скоро вся, дров и угля нет, одеть что-либо нет, и денег – тоже нет. Нет, нет и нет. Что делать?»

Забота о матери, боль за нее проходят через весь дневник:

«27.02.1945 г. Это безропотное, трудолюбивое существо, прожившее всю жизнь без радости и развлечений, как оно свято и драгоценно! Мы бедны, но совесть чиста, и все женщины-соседки частенько приходят к матери поделиться горем и счастьем, она всем найдет слово».

«17.10.1945 г. Мать! Святое слово. Я посмотрю на свою мать, на ее согбенную спину, на ее опухшие суставы и согнутые пальцы, которым уже никогда не разогнуться. Сколько переработал этот человек! Сколько мало радости он видел! Сейчас одна цель и мысль – дети».

«14.01.1946 г. Съездил с мамой за углем. Дорогой потерял душевное равновесие. Встречалось очень много знакомых, смотрели на меня в роли лошади, на мать, которая бежит сзади. Она одета была беднее и хуже любой нищей. Кругом заплааты, лохмотья. Я был спокоен, жутко спокоен, но внутри все кипело. Сказал маме, чтобы не помогала, и повез один, выбиваясь из сил, по этой проклятой, еще не торной дороге. Вез так, что во всем теле слышал сердце, его биение и прыганье».

И при этом Володе удастся сохранить позитивный настрой и бодрость духа: в дневнике своей сокурсницы Веры Прудниковой 3 апреля 1946 года он оставляет запись: «Несмотря ни на что, Вера, жизнь – самая хорошая штука!»

В техникуме Владимир Чивилихин учился хорошо. На младших курсах особенно любил историю и литературу. Вот как сам он, будучи студентом, оценивал свое отношение к учебе:

«08.03.1944 г. У всех почему-то сложилось мнение, что я человек с повышенными способностями и не учусь на «отлично» только пото-

му, что лень, но я же думаю про себя так: способности у меня есть, а не учусь на «5» потому, что не всегда есть настроение учить, потому что настроение вообще зависит от настроения желудка, которое у меня не всегда нормальное. Затем моя тяга к художественной литературе. На уроках я читаю, в столовке читаю и дома тоже читаю. Время, нужное для уроков, я использую на чтение».

Он начинает тренировать свою волю, заставляет себя больше времени уделять учебной литературе, и в его дневнике появляется запись:

«26.03.1945 г. За последнее время пятерочником стал, кроме немецкого, по всем – пять. Занимаюсь все время. Так и придется до конца учебы».

В октябре 1945 года, когда Володя учился уже на 4-м курсе, ему даже предложили вести занятия по черчению, правда, от этой заманчивой перспективы он отказался. Но книги по-прежнему оставались главной страстью В. Чивилихина. Об этом свидетельствует и его дневник: он пестрит именами русских и зарубежных авторов, в нем много цитат и рассуждений о прочитанных произведениях. В те годы литература была для него не просто увлечением, но и своеобразной отдушиной, спасением от гнетущей действительности. И Володя это отчетливо понимает:

«10.01.1944 г. О книги! Что бы я делал без вас в эти тяжелые дни? Безо всякой задней мысли скажу, что книги поддерживают меня, и крепко поддерживают. Откуда бы я брал бодрость и жизнерадостность?»

Алексей Афанасьевич Иванов, который был соседом В. Чивилихина, вспоминал, что нередко видел его читающим книги на улице на ходу. Не только друзей, но иногда и преподавателей Володя поражал своими знаниями. Однажды во время летних сборов в военно-спортивном лагере у него завязалась беседа с начальником штаба майором Бобовичем о прочитанных книгах. Они называли их героев, вспоминали отдельные эпизоды, задавали друг другу вопросы, спорили. И это были произведения, которые не входили в программу по литературе и на уроках не изучались. Все, кто присутствовал при их разговоре, были потрясены начитанностью Владимира Чивилихина. Книги открывали

перед ним целый мир, который ему хотелось не просто объездить и изучить, но и самому описать. И это желание все больше и больше укреплялось в нем. И в его дневнике появляется запись:

«10.11.1945 г. Мечта моя – стать писателем. Это ужасно трудно, это почти недостижимо для меня, провинциального парнишки из захолустного сибирского городка. Я верю, что писать смогу, надо большое хотенье и учиться, учиться. Как было бы хорошо, если бы не было войны. Сейчас я бы уже учился на первом курсе университета...»

Но интересы Володи Чивилихина не ограничивались только книгами. Еще обучаясь в школе, он увлекся шахматами. В техникуме решил серьезно заняться этой игрой, потому что считал, что шахматы – это «состояние в уме и выдержке». Он взял в библиотеке «Учебник шахматной игры» Э. Ласкера и начал заниматься по нему самостоятельно. Кроме того, стал посещать занятия шахматного кружка и был выбран его председателем.

Володя очень любил музыку, в том числе и классическую:

«18.01.1946 г. Сейчас 10 часов. Ложусь. Буду слушать «Хованщину» Мусоргского».

«28.01.1946 г. Дожидаюсь передачи: выступление заслуженного артиста Кирикова о Шаляпине».

«06.01.1946 г. Пока ужинал, слушал Штрауса – «Сказки Венского леса», «Жизнь артиста» и др. Я немного начинаю понимать музыку».

Иногда он обращался к своему однокурснику Евгению Свиридову с просьбой сыграть что-нибудь на баяне. Володя не только любил слушать музыку, но и сам учился играть на гитаре и увлекался игрой на мандолине. На мандолине он мог исполнить вальс, танго, марш, песню, самостоятельно разучивая их по нотам.

«27.11.1945 г. Сегодня разобрал и выучил первую часть вальса «Майский сон» и учу (подается) марш «Привет».

«18.01.1946 г. Учил «Амурские волны» – старинный вальс».

Любил Володя и танцы:

«18.11.1944 г. Научился танцевать. Танго и фокстрот. Вальс еще плохо».

Но на вечерах в техникуме он танцевал не всегда, о чем с горечью пишет: «Сходил на днях на вечер. Лучше бы не ходил. Одет очень плохо. Танцевать идти стыдно...»

Среди студентов Владимир Чивилихин пользовался авторитетом: его выбрали в состав профкома техникума, в группе у него было еще одно поручение – агитатор, и, кроме того, он являлся постоянным корреспондентом техникумовской газеты «За кадры» – это был первый опыт его журналистской деятельности.

По воспоминаниям его друга Владимира Кривошеина, «в обращении он был прямолинейный, часто с ребятами говорил шутками и остротами, на которые был довольно горазд. Иногда высказывался четверостишиями». Владимиру Чивилихину всегда было присуще обостренное чувство справедливости. Он не принимал ложь ни в каком проявлении и не молчал, когда с ним поступали нечестно. Так, 31 декабря 1944 года он пришел на новогодний вечер в техникум. К нему подошел военрук и приказал отправиться на пост для несения караульной службы. Володя возмутился, так как знал, что по графику он должен был дежурить не в новогоднюю ночь, а 2 января, и, кроме того, он уже трижды был в карауле, в то время как многие ребята не были ни разу. Несмотря на угрозы военрука отправить его за неподчинение на десять суток на гауптвахту, Володя отказался выполнить распоряжение, считая его несправедливым. С вечера ему пришлось уйти, праздник был испорчен. Результат этого конфликта отражен в приказе № 475 по Тайгинскому техникуму от 31.12.1944 г.: «Параграф 5: Учащемуся 6-й группы Чивилихину В. А. за невыполнение распоряжения о явке в караул арест на 10 суток без исполнения служебных обязанностей». Но даже после этого наказания он не пожалел о своем поступке.

Вот еще один случай, характерный для Владимира Чивилихина. Осенью 1943 года администрация обратилась к нему и еще к одному студенту с просьбой перегнать овец из Тайги до совхоза «Тутальский», где находилось подсобное хозяйство техникума. За это им обещали выдать картофель, и ребята согласились. Дело было трудное: до совхоза почти 70 километров, дорога шла рядом с железнодорожными

путями, овцы разбегались. Но задание ребята выполнили. Однако картофеля им выписали намного меньше обещанного, и, когда Володя узнал об этом, он вообще отказался его получать. После такого протеста картофель был выдан в полном объеме.

Очень упорным В. Чивилихин был в достижении своей цели. Владимир Кривошеин вспоминал: «У нас в группе только Толя Шевкунов умел «крутить солнце» на турнике, так Володя решил тоже научиться выполнять это гимнастическое упражнение во что бы то ни стало. Тренировался, несмотря на недоедание, переутомление. И научился! Таким он был во всем». Еще до производственной практики на железной дороге Володя начал совершенствовать свою физическую подготовку: принес домой кусок рельса килограммов на 25 и научился выжимать его одной рукой. Вскоре он уже поднимал 45 килограммов правой рукой и приседал с двухпудовой гирей. Кроме этого, он стал посещать секцию штангистов, иногда занимался боксом и с удовольствием ходил на лыжах. Очень любил лыжные прогулки в зимний лес, красоту которого затем поэтично описывал в своем дневнике.

В 1945 году Володя был на практике на паровозоремонтном заводе в Красноярске. Часто вместе с друзьями ходил купаться на Енисей. Он хорошо плавал и не раз переплывал его. Это вызывало уважение однокурсников: далеко не каждый мог решиться переплыть самую многоводную реку страны. Производственную практику в паровозном депо Тайги он проходил в должности кочегара. Уже после нескольких поездок на паровозе необходимость в физических упражнениях отпала. Работа в тендере закаляла лучше всяких гирь.

Работать приходилось не только лопатой, но и ломом, кувалдой и просто руками. Угольная пыль забивала нос, глаза, уши. Иногда не было никакой возможности передохнуть. Однажды он оказался на волосок от смерти: его чуть не засыпало углем. Он находился в тендере, разбивая большие угольные куски, и не заметил, как огромный ковш подъемного крана уже навис над ним, чтобы высыпать уголь. Володя увидел его в последнее мгновение, он успел спастись, выскочить из тендера, но при этом попал под струю горячего пара и получил сильный ожог ноги.

30 июня 1946 года Владимир Чивилихин сдал последний государственный экзамен, получил специальность техника-механика паровозного хозяйства и направление на Южно-Уральскую железную дорогу в депо Троицка, где был назначен техником паровозного цеха. Затем была работа в Чернигове, потом станция Узловая Московской железной дороги. И наконец – Москва! Мечта Чивилихина осуществилась. Он стал студентом филологического факультета МГУ, но связь с земляками и друзьями-однокурсниками поддерживал всю свою жизнь. Сибирь навсегда осталась особым местом для Владимира Чивилихина, его малой родиной. Он писал: «Осенью птицы улетают на юг, в теплые края, а меня почему-то тянет на восток, в Сибирь. Вначале я думал, что это обыкновенная ностальгия, тоска по родимым местам, однако друзья придумали для моей болезни другое название – «сибирка».

В период учебы в Московском университете в письме Владимиру Кривошеину он прислал стихотворение, названное им «Песнь о Сибири». Начиналось оно словами:

Я тоскую по родине вьюжной,  
По далеким сибирским лесам,  
По глубоким снегам, по высоким стогам,  
Я тоскую по родине вьюжной...

При встречах с однокурсниками Владимир Алексеевич всегда с теплотой вспоминал годы учебы. Так, в 1957 году в дневнике Веры Прудниковой появилась его новая запись: «Сейчас мы другие, время другое, но как это было бы здорово, если бы в нас осталась хоть маленькая частичка того, что в нас было».

6 декабря 1968 года Тайгинский техникум железнодорожного транспорта отмечал свое 25-летие. На юбилей прилетел и Владимир Чивилихин, который был уже признанным журналистом и писателем. Его выступление вызвало особый интерес у всех собравшихся. Директором техникума в те годы был его друг Николай Павлович Смирнов, бывший староста их группы № 6. После торжественного собрания и вечера В. А. Чивилихин долго общался с друзьями. Они говорили о де-

лах, о жизни, и Н. П. Смирнов посетовал, что уже не один год затягивается решение вопроса о необходимости строительства нового корпуса техникума, хотя все понимают, что старое здание слишком мало, совсем обветшало и не обеспечивает необходимых условий для нормальной организации образовательного процесса. Владимир Чивилихин не мог остаться безучастным к судьбе родного учебного заведения. И уже 28 января 1969 года в газете «Комсомольская правда» была опубликована его статья «Дорогая экономия», в которой он описал положение дел в Тайгинском техникуме и остро поставил перед Министерством путей сообщения вопрос о необходимости постройки для него нового здания. Эта статья сыграла свою роль. Техникум наконец включили в план строительства, и уже 15 августа того же года был заложен первый блок фундамента его нового корпуса.

Живя в Москве, Владимир Алексеевич по сути своей оставался сибиряком и всей душой был предан земле, на которой вырос. Он любил Сибирь, кропотливо изучал ее историю и культуру, прославлял в своих книгах ее людей и природу. Исторически достоверно описывает он Сибирь и старую Тайгу в повести «Про Клаву Иванову», в романе-эссе «Память» и в других произведениях. Огромный материал о Сибири и строительстве Транссибирской магистрали был собран им для неоконченного романа «Дорога».

Приобретя заслуженную славу, В. А. Чивилихин никогда не демонстрировал свое превосходство перед остальными. Приезжая в Тайгу, запросто общался с друзьями и соседями, искренне интересовался их жизнью, помогал в решении проблем. Он по-прежнему оставался добрым, чутким и душевно щедрым человеком, трепетно относился к тем, кто его окружал, радовался жизни, любил ее и дорожил тем, что имел.

Владимир Кривошеин вспоминал, что в 1974 году Владимир Алексеевич обратился к нему с просьбой: «У меня к тебе, Володя, такое дело. Ты, конечно, помнишь нашу учительницу во 2-й школе Раису Васильевну Елкину, эвакуированную из Ленинграда. 24 мая она дает последний урок и уходит на пенсию. Я ее не видел 30 лет и, очевидно, съезжу на это событие. Не мог бы ты к этому сроку, 24 мая, послать те-

леграмму соответствующую по адресу: Ленинград, Ждановский район, школа № 47, Дударевой Раисе Васильевне».

В этом – весь Чивилихин! Он ценил настоящих друзей и умел быть благодарным.

Н. В. Гоголь, обращаясь к своим собратьям по перу, сказал когда-то: «Писатель земли русской! Прежде, чем братья за перо, воспитай в себе гражданина. Иначе все будет невпопад...» У Владимира Чивилихина все было «впопад», в яблочко, потому что он всегда был честен, трудолюбив и совестлив, неистово любил свою Родину и хранил чистоту великой русской литературы.

Как же верно сказал о нем академик РАСХН Николай Моисеев: «Если бы он был жив сегодня, когда страна и ее народ переживают не лучшие времена, то он, без сомнения, не мелькал бы в ряду тех «звезд» сомнительной культуры, напоминающей «шабаш на Лысой горе», а был бы в первых рядах тех, кто отстаивает и воспекает идеалы национальной культуры как основы жизни, благополучия и процветания своего народа».

Труды Владимира Чивилихина получили достойную оценку: он лауреат двух государственных премий, премии Ленинского комсомола, награжден орденами и медалями. Но главная его награда – это наша память.

В Тайгинском институте железнодорожного транспорта имя Владимира Чивилихина хорошо известно. С его жизнью и творчеством студенты знакомятся на уроках литературы, на классных часах. По его произведениям проводятся читательские конференции. В музее и библиотеке института о нем собран материал, оформляются выставки. Лучшие студенты института получают именную стипендию В. А. Чивилихина. «Добропамять», к которой он призывал, живет в наших сердцах.

## БИОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА ЧИВИЛИХИНА\*

Владимир Алексеевич Чивилихин родился 7 марта 1928 года в небольшом сибирском городе Мариинске Кемеровской области. В том же году семья переехала в город Тайгу, в котором прошло его детство и юность.

Отец, Алексей Иванович Чивилихин, до революции крестьянствовал, работал бондарем на заводе Нобеля в Петрограде, после революции – рабочим-кондуктором товарных поездов на железной дороге. Член партии с 1924 года (Ленинского призыва). Погиб в 1937 году в результате несчастного случая при исполнении служебных обязанностей на станции Анжерка Западно-Сибирской железной дороги.

После окончания семи классов в 1942 году Владимир пошел работать в железнодорожное депо учеником слесаря, а затем поступил учиться в Тайгинский техникум по специальности «паровозное хозяйство». Окончил техникум в 1946 году, получив квалификацию техника-механика паровозного хозяйства. Трудился в железнодорожном депо слесарем, кочегаром на паровозах, по окончании техникума – техником паровозного депо на станции Троицк Южно-Уральской железной дороги и в городе Чернигове – в железнодорожном училище № 8 мастером производственного обучения, преподавателем спецдисциплин, чертежником.

Печататься начал как рабкор с 1946 года. Рабочая среда, невыдуманные проблемы жизни, неравнодушные к ним определили судьбу и голос будущего писателя.

В 1949 году Владимир Чивилихин поступил в Московский ордена Ленина государственный университет им. М. В. Ломоносова на отделение журналистики филологического факультета. Во время учебы в университете получал именную лермонтовскую стипендию как один из лучших студентов.

В 1954 году Владимир Чивилихин окончил с отличием факультет журналистики МГУ и, пройдя хорошую практическую школу в газетах

---

\*По материалам сайта [chivilihin.ru](http://chivilihin.ru).

«Гудок», «Вечерняя Москва», «Брянский рабочий», «Углярка», воронежская «Коммуна», черниговская «Деснянская правда» и других, почти десять лет работал в газете «Комсомольская правда». В «Комсомолке» в разное время занимал должности литературного сотрудника отдела рабочей молодежи, заместителя ответственного секретаря, редактора отдела литературы и искусств, был членом редколлегии.

В 1957 году выходит первая книга Чивилихина «Живая сила» – о молодых железнодорожниках Воркуты и заполярных лесоводах. Автор много ездит по стране, чаще всего на новостройки родной Сибири, наблюдает, изучает, пишет. Так родились книги «Здравствуйте, мама!» (1958), «Серебряные рельсы» (1960), «Шумы, тайга, шуми!» (1960), за которые в 1961 году он был принят в Союз писателей СССР.

Последующие повести Владимира Чивилихина «Про Клаву Иванову» (1964), «Елки-моталки» (1964), «Над уровнем моря» (1967), «Пестрый камень» (1969) свидетельствовали о творческом росте молодого прозаика, принесли ему широкую известность и читательское признание. Свообразные по форме, интонационно богатые, написанные отличным русским языком, проникнутые гражданским пафосом, эти произведения рассказывают о романтике буден и нравственных исканиях современников, раскрывающих себя в драматических ситуациях.

За повести «Серебряные рельсы», «Про Клаву Иванову» и «Елки-моталки» Владимир Чивилихин в 1966 году был удостоен премии Ленинского комсомола.

По произведениям В. А. Чивилихина на киностудии Мосфильм в 1969 и 1976 годах были сняты художественные фильмы «Про Клаву Иванову» (по одноименной повести) и «SOS над тайгой» (по повести «Над уровнем моря»). По повести «Серебряные рельсы» поставлен спектакль театром-студией ЦДКЖ и радиоспектакль «Рельсы через годы».

Объектом пристального писательского внимания Владимира Чивилихина более четверти века является одна из самых важных проблем современности – взаимоотношения человека и природы. Художественно-публицистические произведения автора на эту тему охватывают широкий комплекс вопросов, связанных с рациональным и раз-

умным использованием почв, лесов, вод, с озеленением городов, сел, охраной воздушного бассейна, с международными, политическими, социальными, экономическими, философскими, нравственными коллизиями и аспектами этой великой сегодняшней проблемы.

Большой общественный отклик получили в свое время очерки Владимира Чивилихина «Месяц в Кедрограде» (1962), «Светлое око Сибири» (1963), «О чем шумят русские леса?» (1965), «Земля в беде» (1968), «Шведские остановки» (1973) и другие. Его сборник «По городам и весям» (1976), в который вошли наиболее значительные произведения на тему «Человек и природа», был отмечен в 1977 году Государственной премией РСФСР им. М. Горького. Произведения Чивилихина переведены на девятнадцать языков народов СССР и иностранных, в том числе английский, арабский, болгарский, венгерский, испанский, немецкий, польский, финский.

Более десяти лет Владимир Чивилихин работал над историческим романом-эссе «Память». Он так писал об этом труде: «Роман-эссе «Память» – произведение сложное, поисковое, многооттеночное, синтетичное. В нем присутствуют художественная проза, гражданская публицистика, элементы научного исследования, гипотезы, полемика. «Память» рассказывает о тысячелетней величественной истории нашего Отечества, зарождении и становлении русской государственности и культуры, ратных и мирных днях нашего народа. Роман посвящен событиям XIII века в Центральной Азии, Куликовской и Грюнвальдской битвам, отдельным эпизодам Отечественной войны 1941–1945 гг., памятникам нашей средневековой литературы, русскому зодчеству, эпосу и летописанию, истории земли вятичей. Композиционный и тематический центр романа – героическая семинедельная оборона Козельска в 1238 году. Летописные герои – патриоты, ученые, малоизвестные подвижники многих сфер русской жизни идут со страниц романа к читателю, утверждают уважение к прошлому, принципы интернационализма, патриотизма, антимилитаризма...»

Вторая книга романа-эссе «Память», изданная раньше первой, отмечена Государственной премией СССР в 1982 году. Член КПСС

с 1952 года, Владимир Чивилихин вел большую общественную работу, избирался членом правлений Союза писателей СССР, РСФСР и Московской писательской организации, членом ЦК ВЛКСМ, депутатом Фрунзенского районного исполнительного комитета, был членом многих других общественных организаций.

Чивилихин был женат на Елене Владимировне Чивилихиной, в браке родилась дочь Ирина.

Писатель В. А. Чивилихин награжден двумя орденами, медалями и многочисленными почетными грамотами.

Умер 9 июня 1984 года в возрасте 56 лет от обширного кровоизлияния в мозг. Похоронен на Новокунцевском кладбище Москвы.

12 июня 1985 года именем Владимира Чивилихина названа одна из улиц в г. Мариинске. 14 мая 1986 года Мариинский районный Совет народных депутатов принял решение № 99 «О присвоении Центральной библиотеке г. Мариинска имени писателя В. А. Чивилихина». 3 августа 1986 года в доме, где родился писатель, был открыт литературно-мемориальный музей В. А. Чивилихина, установлен его бюст, прошли Первые Всероссийские Чивилихинские чтения. Кемеровским художником Иваном Ивановичем Филчевым написан живописный портрет В. А. Чивилихина, который хранится в фонде Музея изобразительных искусств Кузбасса. Телекомпанией «Летопись» создан документальный фильм о Чивилихине «Память». Семейой писателя создан официальный сайт В. А. Чивилихина – [chivilihin.ru](http://chivilihin.ru), где размещены произведения писателя, а также дневники, письма, воспоминания современников и материалы о его жизни и творчестве.

*Книги Владимира Алексеевича Чивилихина:*

*Живая сила. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 167 с.*

*Серебряные рельсы : документальная повесть. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 206 с. : ил.*

*Шумы, тайга, шуми! : очерки. – Москва : Правда, 1960. – 80 с. : ил.*

*Здравствуйте, мама! : повесть-быль. – Москва : Знание, 1963. – 96 с.*

*Сибирка : повести и путевые дневники.* – Москва : Советский писатель, 1965. – 399 с. : ил.

*Сибирка : повести, путевые дневники.* – Москва : Советский писатель, 1966. – 400 с. : ил.

*Над уровнем моря : пять повестей.* – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 720 с. : портр.

*Здравствуйте, мама! : повесть-быль.* – Москва : Детская литература, 1968. – 111 с.

*Серебряные рельсы : повести.* – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1968. – 524 с. : портр. – (Молодая проза Сибири).

*Серебряные рельсы : документальные повести.* – Москва : Воениздат, 1969. – 272 с. : ил.

*Земля в беде.* – Москва : Правда, 1969. – 62 с. – (Б-ка «Огонек» ; № 37).

*Пестрый камень : повести.* – Москва : Московский рабочий, 1970. – 456 с.

*Повести.* – Москва : Современник, 1972. – 559 с. : ил.

*Серебряные рельсы : повести / послеслов. Л. Ивановой.* – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 480 с. : портр. – (Тебе в дорогу, романтик).

*Повести / предисл. Н. Сергованцева.* – Москва : Художественная литература, 1974. – 432 с. : ил.

*Шведские остановки : путевые заметки.* – Москва : Советский писатель, 1975. – 175 с.

*Деревья и люди : очерки.* – Москва : Советская Россия, 1976. – 88 с.

*По городам и весям. Путешествия в природу.* – Москва : Современник, 1976. – 367 с.

*Избранное : в 2 т. / предисл. В. Чалмаева.* – Москва : Молодая гвардия, 1978. – Т. 1. Про Клаву Иванову ; Елки-моталки ; Над уровнем моря ; Пестрый камень. – 1978. – 559 с. : ил. – Т. 2. Серебряные рельсы ; Здравствуйте, мама! ; По городам и весям. – 1978. – 592 с. : ил.

*Над уровнем моря : повести.* – Москва : Профиздат, 1978. – 334 с. : ил.

*По городам и весям. Путешествия в природу.* – Москва : Советская Россия, 1979. – 319 с. : портр. – (Государственная премия РСФСР имени М. Горького).

*Светлое око : статьи и очерки.* – Москва : Современник, 1980. – 492 с.

*Пестрый камень : повести / послесл. Е. Осетрова.* – Москва : Профиздат, 1981. – 350, [2] с. : ил.

*Память : роман-эссе.* – Москва : Современник, 1982. – 767 с.

*Память : роман-эссе.* – Москва : Современник, 1983. – 767 с.

Память : роман-эссе : книга вторая / послесл. В. Свининникова. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 688 с. – (Страницы истории Отечества).

По городам и весям : путешествия в природу. – Переработанное, дополненное издание. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 494, [2] с. : портр.

Серебряные рельсы. Здравствуйте, мама! : документальные повести. – Москва : Советская Россия, 1984. – 240 с. : ил.

Над уровнем моря : повести. – Москва : Советский писатель, 1984. – 432 с.

Про Клаву Иванову : повести. – Омск : Омское кн. изд-во, 1984. – 224 с. – (Современная сибирская повесть).

Память : роман-эссе. – Москва : Современник, 1984. – 640 с.

Память : роман-эссе. – Москва : Художественная литература, 1984. – 574 с. : портр.

Собрание сочинений : в 4 т. – Москва : Современник, 1985. – Т. 1. Повести. – 1985. – 526 с. – Т. 2. Проза и публицистика. – 1985. – 607 с. – Т. 3. Память. Кн. 1. – 1985. – 719 с. – Т. 4. Память. Кн. 2. – 1985. – 701 с.

Жить главным / предисл. С. Викулова. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 254, [2] с., [8] л. ил. – (Писатель – молодежь – жизнь).

Зеркало души : сборник публицистики / вступит. ст. Е. И. Осестрова ; примеч. В. М. Свининникова. – Москва : Советская Россия, 1987. – 461, [2] с.

В нашем доме : повести / послесл. Н. М. Сергованцева. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1987. – 493, [2] с.

Память : роман-эссе : в 2 книгах / вступ. ст. В. Свининникова. – Москва : Художественная литература, 1988. – Кн. 1. – 1988. – 768 с. – Кн. 2. – 1988. – 716 с.

Дорога : роман : из архива писателя / сост. Е. В. Чивилихина. – Москва : Современник, 1989. – 541, [2] с.

Князь Игорь – автор «Слова о полку Игореве» : фрагмент романа-эссе «Память». – Москва : Современник, 2000. – 223 с.

Дневники, письма. Воспоминания современников / сост. Е. В. Чивилихина. – Москва : Алгоритм, 2009. – 606 с. : ил. – (Властители дум).

Память : роман-эссе в 2 книгах. – Москва : Министерство обороны : Вече, 2010. – Кн. 1. – 2010. – 605 с. – Кн. 2. – 2010. – 605 с.

Серебряные рельсы : повести. – Кемерово : Печатный двор Кузбасса, 2013. – 340 с.

## СОДЕРЖАНИЕ

Продолжают светить (Б. Бурмистров) .....	3
<b>Александр Никитич Волошин</b> .....	<b>8</b>
Земля Кузнецкая.....	9
Всё про Наташку.....	36
Нюра .....	42
Творчество Александра Волошина (Н. Герасимова) .....	49
Биография Александра Волошина (Н. Герасимова) .....	63
Книги Александра Волошина.....	70
<b>Владимир Сергеевич Ворошилов</b> .....	<b>72</b>
Солнце продолжает светить.....	73
Свет души Владимира Ворошилова (Е. Тюшина) .....	85
Биография Владимира Ворошилова (Е. Тюшина) .....	90
Книги Владимира Ворошилова .....	93
<b>Александр Максимович Голунчиков (Максим Сибирцев)</b> .....	<b>94</b>
Кольчуга Ермака .....	95
Нравственные, духовные, экологические проблемы в творчестве Александра Голунчикова (Е. Чазова).....	119
Биография Александра Голунчикова (Е. Чазова).....	126
Книги Александра Голунчикова .....	129
<b>Геннадий Арсентьевич Емельянов</b> .....	<b>130</b>
Душа народа.....	131
Слово о родном городе Геннадия Емельянова (О. Голуб).....	152
Биография Геннадия Емельянова (О. Голуб) .....	159
Книги Геннадия Емельянова .....	161
<b>Илья Васильевич Зыков</b> .....	<b>164</b>

Свет на болоте.....	165
Огневка из Голубой долины .....	167
Вот он, Кузнецкий Алатау! .....	179
Журавли летят.....	183
Восторженный писатель-натуралист Илья Зыков (Г. Карпова).....	186
Биография Ильи Зыкова (Е. Зыкова, Г. Карпова).....	190
Книги Ильи Зыкова .....	193
<b>Владимир Михайлович Мазаев .....</b>	<b>194</b>
Гармошка на том берегу .....	195
Дорогу делает не первый .....	198
Бабье лето Большого Каньма .....	199
Черемуховые холода .....	204
Багульник – трава пьяная.....	216
Лицо осушит ветер .....	229
Жив останусь – свидимся .....	240
Искушение сорок пятого года.....	256
«Окруженец» .....	262
Без любви прожить можно?.....	266
Потеснись, завалинка! .....	274
«Рожден для мук и в щастье не нуждаюсь» .....	276
Ни единой буквой не солгав (И. Ащеулова).....	294
Биография Владимира Мазаева (М. Войцеховская).....	301
Книги Владимира Мазаева .....	308
<b>Михаил Сидорович Прудников .....</b>	<b>310</b>
Особое задание.....	311
Его называли «Неуловимым», а он гордился,	

что сибиряк (Т. Потеряева) .....	328
Биография Михаила Прудникова (Т. Потеряева, Л. Смокотина) .....	333
Книги Михаила Прудникова .....	340
<b>Виталий Степанович Рехлов .....</b>	<b>342</b>
Горные рекруты .....	343
Серебряный рудник.....	345
Повесть о Михайле Волкове .....	352
«Победил самого себя...» (В. Арнаутов) .....	365
Биография Виталия Рехлова (Е. Тюшина) .....	378
Книги Виталия Рехлова .....	381
<b>Анатолий Пантелеевич Соболев.....</b>	<b>382</b>
Старуха.....	383
Награде не подлежит.....	403
Проза Анатолия Соболева (С. Баруздин) .....	430
Живой поток (В. Курбатов) .....	432
Биография Анатолия Соболева (Т. Киреева) .....	441
Книги Анатолия Соболева.....	447
<b>Степан Семенович Торбоков.....</b>	<b>450</b>
Из истории родного края.....	451
Позовите в переводчики шорца .....	453
Пчелка.....	455
Чок анчы (Бедный охотник) .....	458
Слово о Степане Торбокове (Г. Косточаков).....	466
Биография Степана Торбокова (Е. Тюшина, Т. Киреева).....	477
Книги Степана Торбокова.....	483
<b>Софрон Сергеевич Тотыш .....</b>	<b>484</b>

Шуно-хан .....	485
Писатель-патриот этнокультурной уникальности шорского народа (Г. Косточаков) .....	524
Биография Софрона Тотыша (Ю. Тотыш) .....	534
Книги Софрона Тотыша .....	539
<b>Владимир Алексеевич Чивилихин .....</b>	<b>540</b>
Серебряные рельсы .....	541
Елки-моталки .....	551
Владимир Чивилихин (Н. Сергованцев) .....	580
Философия труда в жизни и прозе Владимира Чивилихина (И. Ащеулова) .....	586
Тайга – малая родина Владимира Чивилихина (Н. Богданова) .....	592
Биография Владимира Чивилихина .....	605
Книги Владимира Чивилихина .....	608

## БЛАГОДАРНОСТЬ

Составители выражают признательность родным и близким авторов книги «Избранная проза Кузбасса» за помощь, оказанную при работе над вторым томом серии «Классика земли Кузнецкой»: женам прозаиков – Зинаиде Ивановне Волошиной, Светлане Александровне Мазаевой, Лидии Васильевне Павловой, Розе Петровне Рудиной, Елене Владимировне Чивилихиной; детям прозаиков – Марине Владимировне Войцеховской (Мазаевой), Наталье Александровне Герасимовой (Волошиной), Елене Геннадьевне Емельяновой, Татьяне Геннадьевне Кармановой (Естамоновой), Зое Владимировне Коньковой, Светлане Михайловне Прудниковой, Вадиму Вильевичу Рудину, Юрию Софроничу Тотышу, Елене Владимировне Трофимовой (Куропатовой), Ирине Владимировне Чивилихиной, Елене Александровне Чигарёвой, Константину Анатольевичу Яброву; внукам прозаиков – Елене Михайловне Зыковой, внучатой племяннице М. С. Прудникова Веронике Валерьевне Резинкиной.

Составители второго тома благодарят за оказанную помощь и предоставление материалов о писателях Кузбасса: директора Государственного архива Кузбасса Людмилу Ивановну Сапурину; председателя ревизионной комиссии Боградского района Елену Анатольевну Голощাপову (с. Боград, Республика Хакасия); главного архивиста Национального архива Хакасии Екатерину Валерьевну Голубцову (г. Абакан); зам. директора по воспитательной работе Тайгинского института железнодорожного транспорта (филиал ОмГУПС) Валентину Викторовну Одинцову; зав. библиотекой им. В. М. Мазаева Маргариту Карловну Бруль, библиотекаря библиотеки им. В. М. Мазаева Наталию Николаевну Чудинову; командира студенческого поисково-добровольческого отряда «Память поколений» КемГУ Ксению Александровну Штейсель; главного редактора журнала «Кузнецкая крепость» Василия Александровича Галактионова; краеведов-общественников – Владимира Павловича Нады (г. Березовский), Михаила Николаевича Шеховцова (пгт Ижморский).

Литературно-художественное издание

КЛАССИКА ЗЕМЛИ КУЗНЕЦКОЙ  
ИЗБРАННАЯ ПРОЗА КУЗБАССА

ТОМ II  
Книга первая

Дизайн, вёрстка: М. А. Худякова

Корректурa: М. Н. Долгов



ISBN 978-5-6045440-5-1



9 785604 544051

Подписано в печать 16.06.2021. Формат 60×90/16.  
Бумага офсетная. Усл. печ. л. ???. Тираж 500 экз. Заказ № ????

Отпечатано в ООО «ИНТ».  
650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28 (левое крыло), 2-й эт.  
тел. 8 (3842) 65-78-93.